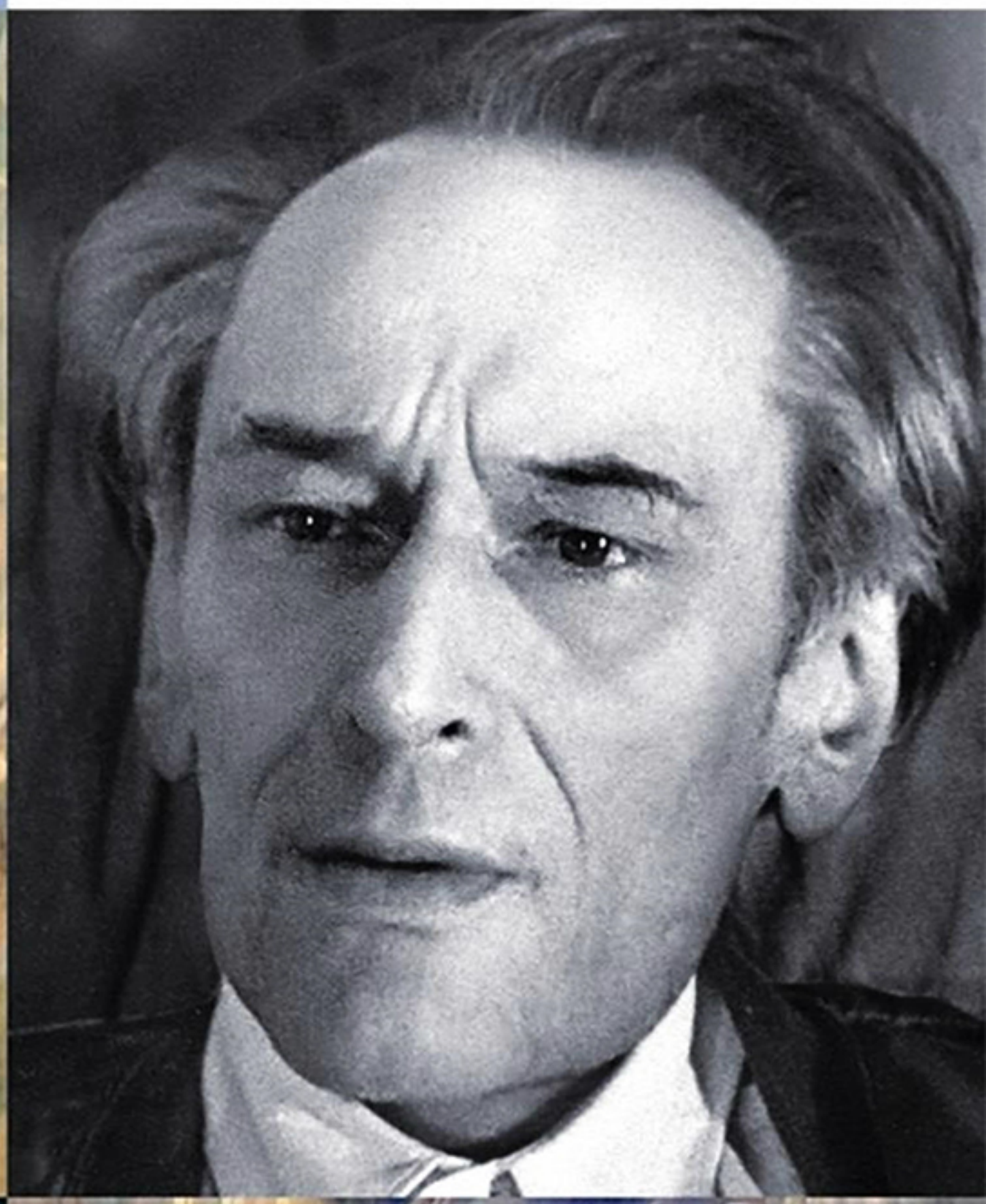
ДАНИИЛ АНДРЕЕВ



Борис Романов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Борис Романов

ДАНИИЛ АНДРЕЕВ

ВЕСТНИК ДРУГОГО ДНЯ

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2021

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Романов Б. Н.

Даниил Андреев: Вестник другого дня / Борис Романов. — М.: Молодая гвардия, 2021. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1897).

ISBN 978-5-235-04616-0

Судьба Даниила Леонидовича Андреева (1906—1959) — поэта и мыслителя, сына выдающегося русского писателя Леонида Андреева, вместила все трагические события отечественной истории первой половины XX века. Книга, издающаяся к 115-летию со дня рождения Даниила Андреева, основана на архиве поэта и его вдовы, воспоминаниях друзей и современников, письмах, протоколах допросов и других документальных источниках и воссоздает подробности его биографии, рассказывает об истоках его мироощущения, неотрывного от традиций русской и мировой культуры, о характере его мистических озарений.

Издательство выражает искреннюю благодарность Фонду метаисторических и религиозно-философских исследований «Родон» за содействие в издании книги.

На переплете:

Д. Л. Андреев. 24 февраля 1959 года. Фотография Б. В. Чукова

Фрагменты живописного цикла А. А. Андреевой «Жизнь Пресвятой Богородицы»

16+

© Романов Б. Н., 2021

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2021

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВОСХОД. 1906—1923

1. Родословная

Даниил Андреев так ощущал бессмертие и вечность, или распахнутость времени во все концы, что земную жизнь представлял лишь краткой частью пути. Когда и где этот путь начался? Он вспоминал себя в других мирах, под двумя солнцами, одно из которых, «как ласка матери, сияло голубое», а другое «ярко-оранжевое — ранило и жгло». Он вспоминал о матери и деде у шалаша под пальмами, о купанье в водах Меконга, о Непале, о дороге от Гималая на Индостан, тосковал о любви в утраченной отчизне. Но об этих жизнях-снах, о которых он романтически намекнул в стихах, большего, чем сказано им самим, не узнать. Можно верить в них или не верить.

Земная жизнь поэта доступней. Но и в ней пробелы, тайны, загадки. Не только потому, что пропали, сожжены бумаги, что свидетели умерли, не оставив показаний. Нет, все объяснить, все описать в чьей-то жизни —

значит воскресить ее. Совершить чудо. Но не человеческое это дело покушаться на чудеса.

«Я плохо знаю моих восходящих родных»1 — вот с чего начал автобиографию его отец. И в одном из последних писем давнему другу, Ивану Белоусову, сообщал: «По отцу — я великоросс; по матери и деду — поляк; по бабке и всему ее роду (Кулиш) я — хохол... Далее, по деду с отцовской стороны (орловский предводитель дворянства) — я помещик... по бабке — крепостной беднейший крестьянин...»2

Семейное предание, по которому отец Леонида Николаевича Андреева, Николай Иванович, был сыном орловского помещика Карпова и крепостной красавицы Глафиры Иосифовны, документами не подтверждается, но и не опровергается. Были слухи и о том, что предводитель орловского дворянства сошелся с таборной певицей. Правда это или нет — кто знает? Но встречавшийся с Леонидом Андреевым в октябре 1918-го Рерих увидел в нем «лик индусского мудреца, хранящего тайны»3. И во внешности Даниила и его старшего брата было нечто индусское, заметное даже на некоторых фотографиях. Знавшие Даниила в юности в эти слухи верили, называли его индийским принцем и не удивлялись поэтической любви к Индии.

В незаконченной повести Вадима Андреева «Молодость Леонида Андреева» предание рассказано по-другому. Прабабушку он называет Дарьей. Дарья была дочерью крепостного Карповых — Степана Бушова, за черноту прозванного цыганом. После смерти отца Дарью взяли в помещичий дом. Овдовевший Андрей Карпов в нее влюбился. Когда у них родился ребенок, «он отправил Дашеньку в Красные горы, выдав замуж за своего же дворового, дал приданое — 1000 рублей и отпустил на волю. Сына, крещенного Николаем и по имени отца получившего фамилию — Андреев, — он отобрал у матери и оставил при себе: “Не годится Карпову, и незаконнорожденному, быть простым мужиком. Дам образование, пусть выйдет в люди”».

Известно, что одна из ветвей рода Карповых восходит к Рюриковичам. А орловские Карповы были в родстве с Нилусами, Тургеневыми, Шеншиными. «Род Карповых был не из древних — первый Карпов, о котором можно сказать что-либо с уверенностью, был послом царя Алексея Михайловича при Богдане Хмельницком. Большинство Карповых жили из поколения в поколение в своих поместьях... Карповы усердно занимались хозяйством, скопидомами не были, но собственность свою не разбазаривали — у Андрея Карпова в сороковых годах прошлого века было больше шестисот душ крепостных и тысячи четыре десятин: леса, заливные луга, отличный конский завод...» — повествует Вадим Андреев.

Бабушка Даниила Андреева по отцу, Анастасия Николаевна, была из орловского рода дворян Пацковских, польского происхождения, но давно обрусевших.

Род матери Даниила Андреева — Велигорских — с Украины. Это одна из ветвей тоже польского дворянского рода, к которому принадлежали и известные графы Вельгорские, или Виельгорские[4]. Первый известный представитель рода Велигорских, поручик Григорий Никитич, во времена Екатерины II жил в Черниговской губернии. О Михаиле Михайловиче Велигорском (или Корде-Виельгорском) известно немного. По семейному преданию (вряд ли достоверному), его отец за участие в Польском восстании 1863 года лишился имений и графского титула, после чего в надежде вернуть семейное состояние он перешел в православие. Но надежды, если и были, остались надеждами. Образование он получил совсем не графское, как и другой дед Даниила, начав карьеру со звания «землемера и таксатора». С 1879 года служил в Киевской удельной конторе. Командированный затем на должность помощника окружного надзирателя, жил в местечке Голованевске Балтского уезда Подольской губернии. Там 4 февраля 1881 года и родилась его младшая дочь Александра. Всего детей у него было пятеро. Позже, с 1883 по 1894 год, Михаил Михайлович служил в Трубчевске, а жену с детьми, которым пришла пора учиться, устроил в Орле (в Трубчевске гимназия открылась только в 1914 году). Жилось им трудно — отец семейства все время находился в «крайне стеснительных обстоятельствах». Затем его перевели в Севск — городок той же Орловской губернии. Там в 1898 году он вышел в отставку, дослужившись до надворного советника. Умер в Киеве, в год рождения внука Даниила.

Бабушка Даниила Андреева, которую он очень любил, Евфросинья Варфоломеевна (Бусенька), была дочерью Варфоломея Григорьевича Шевченко, троюродного брата, свояка и побратима украинского классика. О Варфоломее Григорьевиче известно, что в 1864 году он побывал под следствием за связи с польскими повстанцами. Позже опубликовал воспоминания о великом брате, которого правнук в «Розе Мира» поместил в Синклит Мира.

Евфросинья Варфоломеевна, как и ее отец, родилась в селе Кириловка Киевской губернии в 1847 году. Училась в киевском пансионе Соар. Тарас Григорьевич в письмах ее отцу не забывал племянницу, называя то Присей, то Рузей — на польский лад, от Розалии. И она его помнила, до старости берегла в сундуке коралловые бусы и голубую корсетку, им подаренные, хранила «Робинзона Крузо» на французском языке с дарственной дядюшкиной надписью.

В старости Бусенька производила впечатление женщины властной и гордой, даже чопорной, «с манерами старинной помещицы»[5]. «Она гордилась тем, что она родная племянница Тараса Шевченко, гордилась родом Велигорских, никогда никому не позволяя ни малейшей фамильярности»[6], — вспоминал Вадим Андреев.

2. Родители

В повести «Детство» Вадим Андреев пишет о Евфросинье Варфоломеевне: «В свое время она была против замужества моей матери, считая, что Шурочка должна сделать блестящую, соответствующую ее положению партию, что брак с молодым, никому не известным писателем без роду и племени — мезальянс, что отец с его бурным и тяжелым характером сделает несчастной мою мать»7. По всеобщему мнению, брак Леонида Андреева и Александры Велигорской оказался на редкость счастливым. Но, видимо, материнское сердце предчувствовало трагическую краткость этого счастья.

Познакомились они в 1896 году, на даче в Царицыне. Шурочка Велигорская была пятнадцатилетней гимназисткой.

Леонид Андреев писал друзьям: «Летом был на уроке в Царицыно... и жил у Вильегорских, чудеснейших людей, у которых я теперь так же хорошо себя чувствую, как в Орле, у вас. Целыми днями торчу там»8. С семейством Велигорских, недавних орловцев, его познакомил, очевидно, Павел Михайлович Велигорский. А может быть, его приятель, доктор Филипп Александрович Добров, муж старшей сестры Велигорской — Елизаветы Михайловны.

Семья Добровых, с младенчества родная семья Даниила, была дорога и его отцу. Еще до женитьбы в одном из писем он признавался: семья Добровых «страшно много сделала для меня в нравственном отношении и до сих пор служит сильной и даже единственной поддержкой во всех горестях жизни. Короче сказать, не будь на свете этих Добровых, я или был бы на Хитровке, или на том свете...»9.

Ухаживал Андреев за Александрой Михайловной долго, отношения их развивались непросто. В первое свое царицынское лето он восхищается Шурочкой и — «неожиданный роман» — увлекается Елизаветой Михайловной. Последняя несчастная любовь еще не изжита, но в горячечном исповедальном дневнике мелькают записи и о Е. М., и о Шурочке. В следующее лето он признается, что «увлечение Е. М. миновало совершенно и бесследно», но зато «в мыслях и в сердце занимает много места Шурочка»10.

В 1898 году, летом, Андреев опять в Царицыне, с Добровыми. Счастливое лето кончилось быстро. «Вот уже более года как я... ни с кем почти из своих знакомых не виделся (исключая опять-таки той особы, с которой в то или иное время я спрягаю любовь). С переезда же в Москву из Царицыно (sic!) я перестал спрягать и любовь и два уже с лишним месяца провожу время дома, или в суде, или в трактире. Пишу отчеты и рассказы»11, — пишет он орловским друзьям. Работа, трактиры, метанья. Лето кончилось разрывом.

В письме в Нижний ее брату Петру Михайловичу Андреев доверительно делился переживаниями: «Не знаю, что думает и чувствует Алек<сандра> Михайловна. Я же думаю и чувствую, что, отдавши сердце, не легко взять его обратно... Как-никак, а больно»12.

В начале следующего года он лег в клинику: лечиться от «нейрастении». Александра Михайловна навещала его тайком от матери. Они помирились. В рассказе «Жили-были» Леонид Андреев описал эти посещения: «К нему приходила высокая девушка со скромно опущенными глазами и легкими, уверенными движениями. Стройная и изящная в своем черном платье, она быстро проходила коридор, садилась у изголовья больного... и просиживала от двух ровно до четырех». Она уже знала о нем почти все. Он давал ей прочесть страницы дневника, взвинченно-откровенного.

Жених, неустроенный, неуравновешенный, страдал припадками меланхолии, депрессиями, кончавшимися запоями. Недовольство Евфросиньи Варфоломеевны понятно. Она немало узнала о будущем зяте за пять лет знакомства. Леонид Андреев делал успехи: в 1901 году вышла в горьковском «Знании» его первая книжка рассказов, о которой заговорили, — но это ее не поколебало.

Венчание состоялось в половине шестого 10 февраля 1902 года в церкви Николая Явленного на Арбате.

Заснеженная Москва неспокойна. «Анархия в самом воздухе... страшное возбуждение»13. В ночь на 31 января у Андреева полиция провела обыск: искали письма Горького, на письма Пешкова внимания не обратили, но взяли с обысканного подписку о невыезде. Горькому он писал: «Плохая, друже, свадьба. Вчера пропал без вести мой брат (художник); вероятно, сидит в Бутырках. Маминька моя воет.

...Центр города занят войсками и казаками; улицы оцеплены... Встретил я несколько черных и длинных, как гроба, карет под сильным конвоем казаков — и заплакал. Тошно.

А отложить свадьбу нельзя. Съехались со всех концов родственники, старики и старухи...»14

Поручитель при женихе поручик Воронежского пехотного полка Михаил Александрович Добров. Невысокий, уже полнеющий, как все Добровы. В год рождения Даниила за устройство под Тамбовом тайной лаборатории, изготавливавшей бомбы, он был арестован и сослан в Иркутскую губернию. Может быть, слухи о его революционных занятиях и вызвали воспоминания Андрея Белого: «...дом угловой, двухэтажный, кирпичный: здесь жил доктор Добров; тут сиживал я с Леонидом Андреевым, с Борисом Зайцевым; даже не знали, что можем на воздух взлететь: бомбы делали — под полом...»15 Речь идет о доме на углу Арбата и Спасо-Песковского переулка, позже надстроенном еще двумя этажами. Андрей Белый, как всегда, попал в самую точку. Другой дом, в котором Даниил Андреев прожил большую часть жизни, не уцелел, революционные взрывы разметали его обитателей и посетителей, отправившихся в эмиграцию, в тюрьмы, лагеря, ссылки, в преждевременные могилы.

Приехал на свадьбу отец невесты, ставший посаженым отцом. Александра Михайловна была моложе мужа на десять лет, ей исполнился

двадцать один год. Все, кто знал ее, говорили и писали о ней если не восторженно, то с явной симпатией, называя юной и милой, веселой и нежной. Все свидетельствовали: «...в семейной жизни Андреев был очень счастлив»16. Вересаев, не склонный к преувеличениям, заметил: «Лучшей писательской жены и подруги я не встречал»17. Горький запомнил ее «худенькой, хрупкой барышней с милыми ясными глазами», скромной и молчаливой. Говорил о ней как о редкой женщине с умным сердцем и называл «Дамой Шурой». В воспоминаниях он приписал себе авторство прозвища, нравившегося самой Александре Михайловне. На самом деле так прозвал ее едва начавший говорить сын. Она об этом написала в дневнике.

В свадебное путешествие, убегая из беспокойной Москвы, Андреевы отправились через Одессу в Крым. Там в Олеизе, у Горького, на просторной даче «Нюра» пробыли около месяца. Для Леонида Андреева годы, прожитые с Шурой, стали счастьем — незамечаемым, недолгим. Годы, в которые он сделался одним из самых знаменитых русских писателей.

3. Рождение Даниила

На Рождество, 25 декабря 1902 года, родился их первенец, Вадим. Родился в Москве, на Большой Грузинской, а почти всю жизнь прожил за границей. В отличие от младшего брата, появившегося на свет в Берлине и за рубежом, если не считать гощений у отца на финляндской даче, больше не побывавшего.

Из Москвы, где жизнь, как он признавался, для него становилась невозможной, Леонид Андреев уехал в октябре 1905-го: «...не хочу видеть истерзанных тел и озверевших рож». Революционный год, при всей его вере в «благодатный дождь революции», был тяжек. Арест. Две с лишком недели в Таганской тюрьме. Он с семейством перекочевывал с квартиры на квартиру. Автору «Красного смеха» угрожали: «Надо убить эту сволочь!»

Из Петербурга Андреев отправляется в Берлин. В мае следующего года селится под Гельсингфорсом. За ним следит полиция. Опасаясь ареста, скрывается две недели в норвежских фиордах и, хотя не любит этого города, опять едет в Берлин.

Рождение Даниила (доктора обещали дочь) ожидалось Леонидом Николаевичем с тревогой, к которой он старался не прислушиваться.

В Берлин они переехали 14 августа. В городе стояла тяжелая, угарная жара.

В сентябре Андреев писал Горькому: «Шуркино здоровье плоховато, а на днях нужно ожидать приращения»18. Все, что мог, он сделал — из раскаленного каменного центра они перебрались в дачное предместье: роскошная вилла, комфорт, рядом мать и теща, опытная акушерка, берлинские врачи.

А в рассказах и пьесах предощущение роковых событий, неминуемых. Но это в нем было всегда. В письмах же старается быть шутливым: «Работать тут удобно... На днях должна родить Шура... Грюневальд, вилла Кляра. — Хороша, брат, вилла: живу прямо в райской местности. Зелень и цветы»19. «Живем мы так. Вообрази: Грюневальд, барская квартира, в которой одних фарфоровых собачек и свиней около миллиона да 500 тысяч портретов Вильгельма и Бисмарка; принадлежит вилла бургомистру... И живут в квартире: мы, акушерка, мать Шуры и мать моя, и все ждем, когда Шура разродится»20.

Он гуляет по лесистому Грюневальду, катается на велосипеде, работает. Здесь дописывалась «Жизнь Человека». Через год вспоминает: «И последнюю картину, Смерть, я писал на Herbertstr., в доме, где она родила Даниила, мучилась десять дней началом своей смертельной болезни. И по ночам, когда я был в ужасе, светила та же лампа»21.

Даниил Андреев родился 2 ноября (20 октября по старому стилю) в Грюневальде на Гербертштрассе, 26.

Поначалу казалось, что все благополучно. В письмах тех дней счастливый отец пишет о здоровом мальчишке, сообщает подробности: «...весом около 9 фунтов, большие, как у франта, ногти, громкий голос. Плачет не жалобно, но сердито, водит глазами и вообще принадлежит к “сознательным” младенцам. Не дурен, красивее Дидишки в ту пору»22.

Но через несколько дней у матери началась послеродовая горячка.

Вот письмо Леонида Андреева Горькому от 24 ноября 1906 года:

«Милый Алексей! Положение очень плохое. После операции на 4-й день явилась было у врачей надежда, но не успели обрадоваться — как снова жестокий озноб и температура 41,2. Три дня держалась только ежечасными вспрыскиваниями кофеина, сердце отказывалось работать, а вчера доктора сказали, что надежды, в сущности, нет и нужно быть готовым. Вообще последние двое суток с часу на час ждали конца. А сегодня утром — неожиданно хороший пульс, и так весь день, и снова надежда, а перед тем чувствовалось так, как будто уже она умерла. И уже священник у нее был, по ее желанию, приобщил. Но к вечеру сегодня температура поднялась и начались сильные боли в боку, от которых она кричит...

Сейчас, ночью, несмотря на морфий, спит очень плохо, стонет, задыхается, разговаривает во сне или в бреду. Иногда говорит смешные вещи.

И мальчишка был очень крепкий, а теперь заброшенный, с голоду превратился в какое-то подобие скелета с очень серьезным взглядом.

<...> Не удивляйся ее желанию приобщиться, она и всегда была в сущности религиозной. <...> 23 дня непрерывных мучений!»23

27 ноября Александра Михайловна умерла. Новорожденного забрала бабушка и увезла в Москву, в семью Добровых, к другой своей дочери. Даниил много болел, его с трудом выходили.

Александру Михайловну похоронили в Москве, на Новодевичьем, 5 декабря, на том месте, которое Леонид Андреев когда-то купил для себя, где год назад похоронил младшую сестру, Зинаиду. Стужа была в этот день, вспоминал Борис Зайцев, присутствовавший на похоронах, жестокая.

Андреев, в полном отчаянии, со старшим сыном и матерью отправился на Капри, к Горькому, ища участия. Вот и после свадьбы он с Шурой поехал к Горькому... На Капри запил. Боялись за его рассудок. «Все его мысли и речи, — вспоминал Горький, — сосредоточенно вращались вокруг воспоминаний о бессмысленной гибели “Дамы Шуры”»24.

Он винил в смерти жены берлинских врачей, и, видимо, небезосновательно, как считал, судя по его рассказу, Вересаев, сам врач.

Все речи его сводились к ней. Он говорил Екатерине Павловне Пешковой: «Знаете, я очень часто вижу Шуру во сне. Вижу так реально, так ясно, что, когда просыпаюсь, ощущаю ее присутствие; боюсь пошевелиться. Мне кажется, что она только что вышла и вот-вот вернется. Да и вообще я часто ее вижу. Это не бред. Вот и сейчас, перед вашим приходом, я видел в окно, как она в чем-то белом медленно прошла между деревьями и... точно растаяла...»25

Младшего сына он называл несчастным Данилкой и попросил быть его крестным отцом ближайшего друга. Крестили Даниила 11 марта 1907 года на Арбате, в храме Спаса Преображения на Песках, который изобразил когда-то Поленов в «Московском дворике». Горький, политический эмигрант, оставался на Капри, на крестинах его заменил дядя Даниила — Павел Велигорский, а в духовную консисторию подали горьковскую записку: «Сим заявляю о желании своем быть крестным отцом сына Леонида Николаевича Андреева — Даниила. Алексей Максимович Пешков». В «Метрической книге на 1907 год» сделана следующая запись:

«В д. Чулкова. В Германии в Груновальде, уезд Тельстов родился 1906 г. Ноября 2-го дня по новому стилю. Помощник Присяжного поверенного Округа Московской Судебной Палаты Леонид Николаевич Андреев и законная его жена, Александра Михайловна, оба православные. Записано по акту о рождении за № 47, выданному 12 ноября по новому стилю 1906 года Чиновником Гражданского Состояния Рапшголь и удостоверенному Императорским Российским Консульством в Берлине ноября 30 / декабря 13 1906 года за № 4982-м.

Кто совершал таинство крещения: Приходской Протоиерей Сергий Успенский с Диаконом Иоанном Поповым, Псаломщиками Иоанном Побединским и Михаилом Холмогоровым.

Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: Города Нижнего цеховой малярного цеха Алексей Максимович Пешков и жена врача Филиппа Александровича Доброва, Елисавета Михайловна Доброва.

Запись подписали: Приходские Протоиерей Сергий Успенский, Диакон Иоанн Попов, Псаломщик Иоанн Побединский, Пономарь Михаил Холмогоров»[26].

Позже кое-кто поговаривал, что Леонид Николаевич Даниила не любил, видел в нем причину смерти Александры Михайловны. Так ли это? Смерть жены он переживал тяжело. Работа, запои, мучительная тоска. Томясь на Капри — в России его могли арестовать, — он пишет «Иуду Искариота». Его Иуда спрашивает апостолов: как они могут жить, когда Иисус мертв, как они могут спать и есть?

Тяжесть и болезненность переживаний сказались на сыне. Он любил его с какой-то тревожностью.

Леонид Андреев называл себя писателем-мистиком. В одном из первых его литературных опытов, в сказке «Оро», шла речь о мрачных демонах в надзвездных пространствах и светлых небожителях, ангелах, о гордыне зла и всепрощении любви. И позже метафизический, мистериальный пафос не исчезал. В этом он все дальше расходился с Горьким, называвшим мистицизм «серым киселем». «Долго, очень долго путался я в добре и зле. Был христианином недолго; был буддистом, ницшеанцем (еще до Ницше), язычником...»[27] — признавался Андреев. Поиски «истинной цели» мучили его до последних дней. Георгий Чулков, вспоминая, писал, что у него «был особый внутренний опыт, скажем “мистический” <...> но религиозно Андреев был *слепой* человек и не знал, что ему делать с этим опытом»[28]. Чулков, придя от невнятицы «мистического анархизма» к православию, мог бы говорить о слепоте многих из своего литературного поколения, не исключая себя.

Мистические озарения Даниила Андреева связаны и с «внутренним» религиозным опытом отцовского поколения, и со слепотой его блужданий. Сходство с отцом в некоторых чертах характера, привычках, взглядах тоже заметно, все больше обнаруживаясь с годами.

Сына он увидел в мае 1907-го, хотел забрать к себе, но этому воспротивилась Бусенька. Даниил остался у Добровых. Несколько дней Леонид Николаевич провел на даче Добровых в Бутове, гуляя среди знакомых берез, привыкая к Данилке. Побывал на Новодевичьем. В одном из писем довольно сообщал: «Данилочка выглядит хорошо, очень веселый, на меня смотрит и удивляется»[29].

В октябре снова приехал в Москву: в Художественном театре готовилась постановка «Жизни Человека». Пьеса была последним сочинением, написанным при жизни жены, как он говорил, вместе с ней. Ей, называемой им «тихий свет мой», он читал, будя под утро, написанные ночами сцены. И не мог забыть тех осенне-черных берлинских ночей.

Жена Бунина вспоминала те дни: «Кто-то спросил Андреева, почему он сегодня не в духе?

— Я только что от Добровых. Видел сына, который все чему-то радуется, улыбается во весь рот.

— Но это прекрасно, значит, мальчик здоров, — сказала я.

— Ничего прекрасного в этом нет. Он не имеет права радоваться. Нечего ему быть жизнерадостным. Вот Вадим у меня другой, он уже понимает трагедию жизни»30.

Трагедии начавшегося века достало всем, не только обоим братьям. Но горшее выпало Даниилу. Русскую трагедию он пережил, не избежав ни тюрьмы, ни сумы, как метаисторическую, вселенскую. А в том ноябре ему только исполнился год, он был окружен любовью и доверчиво улыбался. Улыбался и невеселому отцу.

В цикле «Восход души», в котором Даниил Андреев с кем-то спорит: «Нет, младенчество было счастливым...» — отец присутствует неспокойной тенью: «Он мерит вечер и ночь шагами, / И я не вижу его лица».

Так отец и присутствовал в его жизни, незримо, но шагающий рядом, погруженный в свои видения, тревоги, писания.

4. Добровы

Доктор Добров был близким другом Леонида Андреева. Когда-то в дневнике он написал о Доброве: «...он правдив и, кроме того, умен — раза в 1½ больше меня»31, — и мнения этого не изменил. В одну из последних встреч, даря издание драмы «Мысль» помнившему ее неудачную мхатовскую постановку другу, надписал: «Светочу медицины, пирамиде знания, Хеопсу глубокомыслия, ангелу кроткой благодати, дорогому ханже Филиппу Александровичу Доброву с чувством необыкновенной солидарности преподносит любящий Джайпур, в земной жизни более известный под именем Леонида Андреева. Дорогой Филипп! Ты помнишь, как мы с тобою, быв еще холостыми обезьянами, прыгали по веткам в лесах Индии, и ты еще прищемил хвост?»32 Конечно, Индия, и даже хвост — это слова из Даниилова детства. Хвост... да, хвост мечтал отрастить сам Даниил, и дядя, прописавший худенькому племяннику, садившемуся за стол без всякого аппетита, лечебные, но горькие капли, убедил его, что это капли «хвосторастительные». «Однако для того, чтобы отрастить хвост, капель было недостаточно, следовало еще и хорошо себя вести, а вот это-то у живого и шаловливого мальчика никак не получалось. И появлявшийся, по словам дяди, росточек хвостика исчезал из-за очередного озорства»33.

После окончания Московского университета Добров всю жизнь — почти пятьдесят лет — проработал в 1-й Градской больнице, и в Москве его знали, как говорится, все. Гиляровский вспоминал, как Добров поселился в меблированных номерах на Лубянке, где традиционно останавливались тамбовские помещики. И Филипп Александрович приехал из Тамбова. Но его отец был не помещик, а известный

тамбовский врач, дослужившийся до действительного статского советника. По преданию, отца хоронил весь город. Говорили: «Умер Добрый доктор».

Когда в декабре 1906-го Даниила привезли в семью Доброва, он снимал квартиру в доходном доме купца Чулкова на Арбате, на углу Спасопесковского переулка. Около 1910 года семья переехала в Малый Левшинский, сняв квартиру побольше.

Живой, в семейном кругу добродушный, к сорока годам располневший, Добров жил среди литераторов, художников, музыкантов, артистов, часто бывших не только знакомыми доктора, но и пациентами, хотя многим казалось, что его призвание вовсе не медицина. В арбатских и пречистенских переулках издавна селилась московская интеллигенция. И у нее, да и у всей Москвы сложившаяся за многие годы репутация доктора была непререкаемой: безошибочный диагноз, умелое лечение, внимательность. В приемные дни выстраивалась большая очередь. Его любили. В послереволюционные голодные годы, и позже, по праздникам, «благодарные пациенты передавали добротные продовольственные подарки. <...> Откуда это... подносилось семье, так и не удалось выяснить. Делалось это молниеносно. Звонок. В открытую дверь просовывались корзины и букеты цветов...»[34].

В просторном кабинете доктора с внушительными книжными шкафами и мягкими диванами, где он принимал больных, стоял бехштейновский рояль. В доме чуть ли не ежевечерне слышалось темпераментное музицирование хозяина. Бывало, появлялся друживший с доктором Игумнов, и они играли в четыре руки. Не чужд был Добров и литературе. Леонид Николаевич, в свояке души не чаявший, читал ему свои рассказы, прислушивался к его замечаниям. Для участников «Сред», проходивших не только у Телешова, но бывало, что и у Добровых, доктор был своим человеком. Членами этих писательских собраний были коллеги-медики Вересаев и Голоушев (Сергей Глаголь). Дружил с Добровыми Борис Зайцев. Жена Бунина запомнила андреевское чтение пьесы «Царь-Голод» у Добровых.

До смерти Александры Михайловны, живя в Москве, Андреев с Добровыми не расставался. Вместе они живали и на даче — в незапамятном Царицыне, потом в Бутове. Позже не раз проводили Добровы лето рядом с Андреевыми в Финляндии. За сына, отданного в руки Лилички, как он называл Елизавету Михайловну, он был спокоен.

Даниил считал Филиппа Александровича и Елизавету Михайловну своими приемными родителями. Дом в Малом Левшинском переулке родным домом, помнившим всю его жизнь. В тюрьме написано стихотворение «Старый дом», посвященное памяти дяди:

Два собачьих гиганта
Тихий двор сторожили,
Где цветы и трава до колен,

А по комнатам жили
Жизнью дум фолианты
Вдоль стен.

Игры в детской овеяв
Ветром ширей и далей
И тревожа загадками сон,
В спорах взрослых звучали
Имена корифеев
Всех времен.

А на двери наружной,
Благодушной и верной,
«ДОКТОР ДОБРОВ» — гласила доска...[35]

Дом был неказистым, двухэтажным, в советские времена темно-коричневого цвета, с деревянным вторым этажом и действительно старым, по преданиям, пережившим наполеоновскую оккупацию. Но на самом деле пожар 1812 года пережил стоявший рядом большой усадебный дом, а дом, в котором жили Добровы, построен в 1832 году. Перед революцией им владел тайный советник и сенатор Рогович. Квартира Добровых до революционных уплотнений занимала весь первый этаж, в ней было девять комнат и кухня в подвале, куда шла крутая лестница — четырнадцать ступеней. В квартиру вела высокая дверь справа, с медной табличкой. В переулке, уютном, старомосковском, с распахнутыми летом окнами, с бузиной и сиренью во дворах и палисадниках, веяло провинцией. Обширный двор за домом, с могучими деревьями и еще с двумя старинными особняками поодаль, помнящими, как эти деревья вырастали. В соседнем, с мезонином в три окна, когда-то жил старик Аксаков. Память об этом не исчезла:

Еще помнили деды
В этих мирных усадьбах
Хлебосольный аксаковский кров.

Хлебосольством запомнился всем и добровский кров, не только с «мировыми темами, спорами, именами и разговорами», но и с обедами, чаем, завтраками, внеочередными сливками, кефирами, квасами из экзотического гриба... С кухней в подвале, где «беспрерывно что-то варят, жарят, приготавливают, разогревают, прихолаживают льдом»[36], откуда неслышно подают Настасья, Леночка, Юзефа...

В доме всегда присутствовала молодежь. Она появлялась вместе со старшей дочерью Добровых, Шурой, с нею врывались в дом все новые веяния.

Шура Доброва училась в драматической школе МХАТа вместе с тихой Аллой Тарасовой, с которой ее познакомила давний, с 1910 года, друг Добровых Вавочка — Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович. А в 1915 году подружилась она и с девятнадцатилетней Ольгой Бессарабовой, приехавшей из Воронежа. Красавица Шура, высокая, стройная, с темными косами до колен, несмотря на явное дарование актрисой не стала — не смогла преодолеть страха сцены. Это выяснилось на выпускном спектакле по пьесе Гиппиус «Зеленое кольцо» и долго ее мучило. Увлечения Шуры были высокими: она затевала «спиритические мистерии», переводила «Цветы зла» Бодлера, бывала на выступлениях Бальмонта, слушала, как Брюсов читал о микенской культуре и Атлантиде. Как вспоминала о ней тогдашней Ирина Муравьева, дочь друзей Добровых: «Шура была очень интересной барышней, с претензиями на оригинальность. Например, чтобы ее лоб казался выше, несколько выбривала волосы надо лбом. Шокировала соседей и родителей тем, что танцевала танго: “Знаете, Шура Доброва танцует т-а-н-г-о...” Тогда считали, что это наполовину неприличный танец»37.

Ее, похожую на египтянку и подчеркивавшую это, любившую экзотические наряды, дома носившую яркие кимоно и манто, писали бывавшие в доме художники — начинающий, еще футуриствующий юнкер из Нижнего Новгорода Федор Богородский и вернувшийся из Парижа Федор Константинов. Шурин портрет зимы 1917 года оставила в дневнике Бессарабова: «Чудные темные ее косы до колен просто высоко заложены над головой и вокруг головы: их так много, что получается что-то вроде тиары. <...> Кажется выше, чем есть, от стройности и манеры держаться. Ослепительной белизны и нежности кожа, без всякой пудры и косметики, кроме ярко накрашенных губ. Черные тонкие крылатые брови над светло-серыми (часто зелеными) глазами»38.

Даниила привезли к Добровым, когда Шуре было пятнадцать лет, он рос на ее глазах. «Посвящается той, кому я обязан всеми своими стихотворениями (Ш. Д.)», — написал он над четверостишием, написанным в январе 1917-го:

Буду Богу я молиться,
Людям помогать,
А чудесная Жар-Птица
Мне тоску свивать.

И в отношениях с двоюродным братом, Александром Добровым, шестилетняя разница в возрасте сказывалась долго.

5. Младенчество

Счастливое младенчество Даниила оберегала бабушка. Она выходила его, вынянчила. Вся ее трепетно-ревнивая любовь после смерти дочери сосредоточилась на младшем внуке.

В доме Добровых другому ее внуку, Вадиму, уже после смерти Бусеньки, все время казалось, что он видит «ее фигуру — высокую, строгую, властную, медленно проходящую полутемным коридором, в длинном, волочащемся по полу платье. Ее руки по обыкновению заложены за спину, худое лицо строго и сосредоточенно. Она проходит, почти не касаясь пола, большими, неслышными шагами... Во всем ее облике, во всех ее движениях — непреклонная воля и величественность»39.

Этот образ напоминает бабушку из андреевской «Анфисы». Добровы в ней видели явный намек на Бусеньку. Мистическая старуха в пьесе почти ничего не говорит, никого ни в чем не укоряет, она вроде бы глуха и занята только тем, что вяжет свой бесконечный чулок, но знает обо всем происходящем. И ее комната с ширмами, цветными лампадами, киотом, конечно, похожа на комнату Евфросиньи Варфоломеевны. Наверное, с ней, с Бусенькой, неразрывно связана та неколебимая верность православию, которая жила в ее внуке несмотря на все искания, видения и еретические доктрины. И ее ревностная любовь к младшему внуку стала главной причиной того, что Даниил рос не в отцовском, а в добровском доме.

Леонид Николаевич хотел взять сына к себе. По крайней мере, зиму 1909/10 года Даниил жил на Черной речке в его многооконном, с квадратной бревенчатой башней доме. Дом построили чересчур громоздким и причудливым, он нелегко обживался, но был впору болезненно-тревожному духу хозяина, которого пережил ненадолго.

В памяти Даниила остались зима, хрустевшая финляндской стужей, кутавшая морозным дымом близкие скалы, и огромный дом со страшными закатными окнами в вишневых шторах.

Его брат считал, что Даниилу не хватало в отцовском доме той заботливости и душевной теплоты, к которым он привык у Добровых. Потому он в нем и не прижился. Но дело было не в изнеженности и хотеньях четырехлетнего мальчика, а в его бабушке, которая и не жаловала знаменитого зятя, и не хотела, чтобы любимый внук рос с мачехой, до неприязни чуждой ей Анной Ильиничной. Повод забрать внука появился скоро.

«В 1957 году <...> уже безнадежно больной Даня <...> рассказал мне о случае, послужившем причиной его увоза с Черной речки, — вспоминал его брат. — Ледяная гора, с которой мы катались на санках, выходила прямо на реку. Трехлетний Даня съезжал с устроенной внизу горы специальной детской площадки вместе со своей няней, правившей санками. Анна Ильинична, придерживавшаяся политики “сурового воспитания”, <...> запретила няне возить его. Даня съехал с горы один

и попал прямо в прорубь. <...> По счастью, нога в толстом валенке застряла между перекладин санок, и няня, бежавшая сзади, успела выхватить его из проруби.

— Ты помнишь Бусеньку, — сказал Даня, — <...> после этого случая она пришла объясняться с отцом. У нее было такое лицо, что отец, не возражая, уступил, и мы на другой же день вернулись в Москву»40.

Не по себе Евфросинье Варфоломеевне было и от запоев зятя. Как вспоминала двоюродная сестра Леонида Николаевича, особенно сильно он пил после смерти жены. «Как приедет в Москву, побывает на могиле, так и запой»41.

Но увезла его Бусенька не навсегда. Есть фотография лета 1912 года, на которой Даниил в большой белой панаме сидит рядом с озабоченным отцом и задумчиво расположившимся в дачном кресле Добровым. У него, как у взрослых, выражение лица строго сосредоточенное. Фотография сделана на Черной речке. И когда Даниил Андреев говорил о счастливом младенчестве, он вспоминал не только дом в Малом Левшинском, но и летние месяцы рядом с отцом на Финском заливе.

Бывал он у отца и в Петербурге. Позже рассказывал, как, взяв за руку, отец шел с ним по Петербургу, но вдруг остановился и стал беседовать с каким-то высоким человеком. Даниил сначала послушно стоял, поглядывая по сторонам, потом заскучал и стал нетерпеливо дергать отца за руку. Но тот не обращал внимания. Наконец взрослые простились, и Леонид Николаевич ответил сыну, спросившему, кто это:

— Это был поэт Александр Блок.

— Как? Разве он не умер? — удивился Даниил, думавший, что все великие поэты давно умерли.

Сохранилась открытка, присланная отцом Даниилу из Италии в январе 1913 года. С узнаваемым андреевским юмором он пишет о римских достопримечательностях, на ней изображенных: «Сыночек Данила. Вот что выросло под носом у твоего папы. Целую тебя. Твой — Леонид-отец».

Умерла Бусенька весной 1913 года, выхаживая любимого внука от дифтерита и заразившись. От Даниила, долго выздоравливавшего, ее смерть скрыли. Шура рассказывала ему о том, что Бусенька в больнице, но очень соскучилась по своей дочке, его маме, а чтобы увидеть ее, надо умереть и отправиться в рай. Бусенька просит внучка отпустить ее. После слез и расспросов Даня написал письмо, отпускавшее ее. Следующим летом, у отца на Черной речке, стосковавшись по бабушке, он решил броситься с моста, чтобы попасть в рай — к Бусеньке и маме. Может быть, их лица вдруг померещились ему в струящейся у черных свай воде. Его успели удержать. Но иной мир, промерцавший в темной бегущей воде, остался в душе навсегда, став, как становилось все в его жизни, многозначащим мифом. В поэме «Немереча» он рассказал:

Да, с детских лет: с младенческого горя
У берегов балтийских бледных вод
Я понял смерть как дальний зов за море,
Как белый-белый, дальний пароход.
Там, за морями — солнце, херувимы,
И я, отчалив, встречу мать в раю,
И бабушку любимую мою,
И Добрую Волшебницу над ними.

Случилось это в их последнее финское лето. Наверное, тогда запомнила его сестра Вера — худенького беленького мальчика, сидевшего на камне около кухонного крыльца многолюдного отцовского дома.

Впечатления этого лета, балтийские дали с островами в плещущей синеве и дымке мечты не истаяли и через годы (он писал: «Большую часть детства я провел в Финляндии и хорошо изучил характер этого своенравного и взбалмошного моря»42), попали в стихи:

А вокруг, точно грани в кристалле, —
Преломленные, дробные дали,
Острова, острова, острова,
Лютеранский уют Нодендаля,
Церковь с башенкой и синева.

В Нодендале их и застало в 1914 году объявление войны. В конце июля туда, к отдыхавшим Добровым, приехал из Гельсингфорса железной дорогой Вадим, а позже, две недели прокапитанствовав в шхерах, Леонид Николаевич приплыл на своей шхуне «Далекий». В связи с войной он решил отправить к Добровым и Вадима.

6. Динозавры и первое стихотворение

В памяти Вадима Андреева осталось от дома Добровых ощущение монотонности жизни. Ему казалось, что само время здесь отставало «точно так же, как отставали на четверть часа большие круглые часы в кабинете Филиппа Александровича». Он тосковал по отцу, по дому, который даже ночами жил его нервными упорными шагами и стрекотом пишущей машинки. Мятущийся андреевский дух, заражающий окружающих, и отличал странный дом с большими окнами и прямоугольной башней на продутом просторе от вросшего в землю дома в московском переулке.

Братьев, живших вместе в бывшей комнате Евфросиньи Варфоломеевны, где «весь угол был уставлен старинными образами», у Добровых окружили особенной любовью. Старший брат вспоминал: «На нас переносилась та любовь к нашей покойной матери, которой долгое время жил весь дом: основоположницей этой любви, с годами

переросшей в настоящий культ, была Бусенька. Перед иконами стояли большие, никогда не зажигавшиеся Шурочкины венчальные свечи, в сундуке, обитом железными полосами, хранились Шурочкины платья, отдельно в ларце лежали бусы и ленты ее украинских костюмов, постоянно рассказывались события ее недолгой двадцатишестилетней жизни»[43].

Гимназия Поливанова, где он стал учиться, была совсем рядом — угол Малого Левшинского и Пречистенки. Гулянье, игры с младшим братом, который избегал его шумных забав, Вадима занимали мало. Их разделила, как он вспоминал, пожарная лестница: «...я силком тащил его на крышу, а брат, высоколобый и женственный мальчик, упирался изо всех сил: он не любил высоты»[44]. Скоро Вадима стала мучить болезненная тоска по отцу, он только о нем и говорил. Елизавета Михайловна, мама Лиля, как ее звали братья, в ноябре решила отправить Вадима на неделю к отцу. Провожая и предчувствуя, что он вряд ли вернется, сказала: «Помни, наш дом — твой дом».

Жизнь добровского дома была вовсе не такой тихой, как показалось двенадцатилетнему Вадиму. А может быть, она лишь вспоминалась такой, когда через годы он писал о своем неспокойном детстве, которое одухотворял вся и всех заслонявший отец. К Филиппу Александровичу и к его жене (некогда окончившей фельдшерско-акушерские курсы) приходили пациенты, друзья, знакомые. За огромным обеденным столом во время вечернего чая становилось тесно и шумно. У них всегда кто-нибудь гостил, и не только родственники, но и знакомые, и знакомые знакомых.

Даниил, как самый младший, стал всеобщим баловнем. Дружил он больше с девочками. Его иногда самого принимали за девочку — ласкового мальчика в клетчатом костюмчике и пальто, которое прикрывало штанишки. А одно время он даже носил подаренную ему девичью шубку. Все они жили неподалеку от Пречистенки. Таня Оловянишникова — в Савеловском переулке. Познакомились они четырехлетними. Потом, когда ей и Даниилу исполнилось шесть, с ними стала заниматься близкая подруга Таниной мамы, тетя Шура, Александра Митрофановна Грузинская. Она научила их читать и писать. Вместе с ними занимались и ее собственные дети — Ирина и Алексей. В 1918-м, после того как отец Татьяны был расстрелян и умерла мать, тетя Шура взяла ее на воспитание.

«Во время перемен, когда мы ссорились, — вспоминала Оловянишникова, — один из нас часто влезал на шкаф (он стоял рядом с кроватью, и по спинке кровати было удобно влезать на него), другой мрачно слонялся по комнатам; но мы скоро остывали и шли друг к другу со словами “Даня (или Таня), перемена маленькая, поиграем лучше!”. Любили мы также во время перемен носиться по квартире на трехколесном велосипеде: один из нас вертел педали, другой стоял на запятках». Еще Оловянишникова вспоминала о детских спектаклях,

которые устраивала для детей ее мама: «Ставили басню Крылова “Зеркало и обезьяна”. Даня изображал мартышку, я медведя...» Даниил верховодил, важно обрывал тихую Таню: «Глупости болтаешь!»45

Другими его подружками стали сестры Муравьевы, Ирина и Таня, жившие в Чистом переулке. С их отцом, Николаем Константиновичем Муравьевым, Добров сблизился в студенчестве, когда они втроем снимали одну квартиру. Третьим был Павел Николаевич Малянтович, в свое время пристроивший Леонида Андреева, только что окончившего университет, в помощники присяжного поверенного и в судебные репортеры «Московского вестника». (С племянником Малянтовича, Вадимом, Даниил позже учился в одной школе.) Муравьев и Малянтович были одногодки, известные юристы. Оба заслужили репутацию борцов за справедливость, выступали защитниками на политических процессах, даже и в послереволюционные годы, пока это допускалось. Оба входили в Комитет помощи политическим ссыльным и заключенным, в 1937-м по приказу Ежова прикрытый.

После отъезда брата Даниил не скучал. Занятия в тети-Шуриной школе в Хлебниковом переулке продолжались, появлялись новые увлечения. Например «допотопными» животными. Об этом и о том, что иногда ему «умопомрачительно плохо», он пишет в чудом сохранившемся письме отцу:

«Дорогой папа! Поздравляю тебя с праздником. Как ты живешь? У меня недавно болели грудь и горло. Я ужасно интересуюсь допотопными животными. Наш знакомый господин надиктовал мне разные названия животных. Там были и Атлантозавр, Бронтозавр, Телеозавр и многие другие.

У нас в школе завели собственную азбуку... Мне ужасно хочется чтобы было лето. В Москве ужасные лужи и так здесь плохо: что на трамваях по четыре четыре (так! — *Б. Р.*) стоят на последней подножке. Шура уедет на осень и на зиму в Тифлис актрисой.

И она так рада что не проходит минуты чтобы она не накричала так что в Петрограде слышно.

Целую крепко бабу Настю.

Как живет Вадим?? Его поцелуй тоже от меня.

Все ли еще Поляна спрашивает у прохожих сидит ли на ней Вадим? Неужели баба Настя играла в опере простого волка. На меня прямо на нервы влияет слово Пасха Х. В. Я ее не могу дождаться. Хотя у нас и светит солнце все-таки ужасно умопомрачительно плохо. Я целую всех. *Даня*».

Письмо написано в марте. Пасха в 1915 году была ранняя — 22 марта, ее с таким нетерпением Даниил дожидался. Следы тогдашнего увлечения остались в одной из тетрадей, где он старательно изобразил Диноцераса, Стегозавра, Ипсилофодона и еще несколько десятков ископаемых животных, так его поразивших. Вся эта ребяческая палеозоология отзовется в «Розе Мира», в которой описаны рарурги — демонические

крылатые ящеры, возникшие после инкарнаций из аллозавров, тираннозавров и птеродактилей. Чудища девона, триаса и мезозоя промелькнут и в «Русских богах». Не зря он так тщательно зарисовывал их в детстве. В том же году Даниил начинает сочинять стихи и прозу. Меньше всего ему хотелось заниматься уроками и музыкой.

Вот один из эпизодов той весны:

«Филипп Александрович сидит в кабинете, углубленный в книгу. Маленький Даня тут же разучивает на рояле заданные ему упражнения и начинает фальшивить. Филипп Александрович... наконец не выдерживает: “Ну, что врешь... Слезай со стула, слушай!” Филипп Александрович сам садится за рояль и начинает отбивать такт: “Раз, два, три... Раз, два, три...” Даня тем временем лезет под рояль и радостно сообщает о своем открытии: “Дядя, а ты знаешь, ножка рояля очень напоминает лапу динозавра...” ...Филипп Александрович взрывается...»[46]

В следующем месяце, в апреле, Даниил пишет отцу:

«Здравствуй Отец как живешь? К нам приехал Игорь Велегорский и Тетя Вера. За ними приехал Арсений. Я ужасно жду лета. Я знаю почти всех допотопных животных. Ты ли написал рассказ “Кусака”? Я надеюсь поехать к Тебе летом погостить. Благодарю Тебя за письмо. Хорошо ли Вадим катается на велосипеде. Я пишу два рассказа. Один называется “Путешествие насекомых”, а другой “Жизнь допотопных животных”.

20 апреля такой ветер, что нельзя гулять. Слава Богу, что ветер южный. У нас сегодня сбор на ромашку. Саша и Немчинов продают ее. Мы с Муравьевыми были в зоологическом саду. Мне больше всех зверей понравились Кенгуру, Зебра и Леопард. Ирину Олину козерог боднул в палец. И у ней опухоль и очень болит. Поцелуй от меня Тебе и другим. *Даня*».

Приезд из Нижнего Новгорода, где Даниил уже гостил, двоюродных братьев, Игоря Велигорского с матерью и Арсения Митрофанова, событие, о котором следовало сообщить, но не из ряда вон — к Добровым все время кто-нибудь приезжал. Братья были куда старше, на пожарную лестницу его не тащили. У Даниила другие интересы. На Пасху он пишет поздравления «солдатикам». «А у нас в городе совсем не чувствуется война. Только в госпиталях и лазаретах лежат раненые», — простодушно сообщает он в одном из посланий на фронт. Тетрадные листки с их черновиками сохранились:

«Милый солдатик. Поздравляю тебя с Пасхой. Скоро кончится война и мы все будем в городе и будем с тяжелыми душами вспоминать о прошлом, что было в 14 году. *Даня*».

«Золотой солдатик. Как ужасно видеть все ужасы, которые творятся на войне. Я во веки не забуду эту ужасную войну. Будьте спокойны. Я предчувствую, что мы победим. Поздравляю тебя с праздником. *Даня*».

«Хороший солдатик. Да!!! было бы хорошо, если бы мы победили. Так надоела эта война, что прямо, кажется, умрешь. Небось на войне нехорошо? *Даня Андреев*».

О том, что на войне нехорошо, о госпиталях, переполненных ранеными, он знал из домашних разговоров: дядя тогда кроме 1-й Градской работал и в госпитале.

Другое заметное событие, о котором он пишет отцу, — «сбор на ромашку». «День белой ромашки» — сбор пожертвований на борьбу с туберкулезом — проводился в предреволюционные годы каждую весну, в конце апреля. В этот апрель сборщиками «на ромашку» вместе с другими гимназистами были и Саша Добров со своим приятелем Андреем Немчиновым.

Даниила интересует Вадим с его исполнившейся мечтой, о которой он не раз говорил, — о «энфильдовском велосипеде», подаренном отцом.

Прочитанный отцовский рассказ о брошенной на даче собаке, о ее тоскливом одиночестве среди всечеловеческого равнодушия Даниила так тронул, что он спрашивает: «Ты ли написал рассказ “Кусака?”» Он хочет подтверждения от него самого. Но если отец пишет рассказы, то почему бы не писать и ему? А кроме рассказов этой же весной, в «ужасном» ожидании лета, написано «самое первое стихотворение» — «Сад»:

Где цветет кустами жасмин,
Где порхают стрекозы гурьбою,
Где сады хризантем, георгин
Расстилаются цепью немою,

Там теперь уже лето другое:
Там построен огромный дом;
Не цветет уже больше левкоев:
Там огромнейший город кругом.

Стихотворение он посвятил «Дроготусе — Олечке». Олечка — жившая в их доме его воспитательница, Ольга Яковлевна Энгельгардт. Когда началась война, она забрала к себе из Риги дочь — Ирину. Ирину в перенаселенном доме тогда разместить было негде, и ее на время поселили у Муравьевых. Потом и она стала жить у Добровых. Олина Ирина, которую боднул «козерог», тут же получила прозвище — Ирина Кляйне (маленькая). В отличие от Ирины Муравьевой, младшей, но на голову выше. С двумя Иринами и Таней он и побывал в зоопарке.

Ольга Яковлевна, или Оля, как все в доме ее звали, сопровождала Даниила все детство. Ее скромный призрак появляется с докучными ребенку заботами и в его взрослых стихах: «А мне — тарелка киселя / И возглас фройлен: “Шляфен, шляфен!”»

Фройлен у него появилась еще при жизни бабушки. Полунемка-полулатышка, она учила его языку, стараясь почаще говорить с ним по-немецки. Он проказничал, не слушался, а когда та обиженно грозилась

уехать от него, что происходило чуть не каждый вечер, кричал: «Олечка, ферцай!» «Дроготуся» Олечка всякий раз прощала.

Кроме фройлен у Даниила была няня. Звали ее Дуней. Это шестнадцатилетняя Дуня в Ваммельсуу вытащила его из проруби. Но Дуня не первая няня Даниила. Ее предшественница мелькнула в стихах:

Вступал в ворота Боровицкие
Я с няней, седенькой, как снег!

Мы шли с игрушками и с тачкою,
И там я чинно, не шаля,
Копал песок, ладоши пачкая
Землею отчего Кремля.

По всей комнате Даниила висели нарисованные им портреты правителей выдуманных династий, сохранились они и в детской тетради. Все это отголоски *о*тчего Кремля, окружавшей памятник Александру II кремлевской галереи с потолком в мозаичных портретах великих князей и царей московских.

7. Отец и сын

Отец Даниила в Первопрестольной не появлялся до лета 1915 года. Тогда, после плавания на пароходике «Орел», он от Москвы сумел добраться до Рыбинска и, заболев, с полпути вернулся домой. О том, что виделся с сыном, свидетельствовал написанный тем летом «Гимн», посвященный «милому папе»:

Грустный гимн прощания,
Тихий гимн полей,
Звонкий гимн свидания,
Длинный гимн аллей.

Это его второе стихотворение в жизни.

Леониду Николаевичу удалось еще раз в Москву приехать в октябре того же 1915 года. Но каждый раз он объявлялся с множеством литературных и театральных дел. В тот год 18 октября последний раз побывал на «Среде» у Телешова, где читалась его не принятая Художественным театром трагедия «Самсон в оковах». Затем появился в ноябре. Даниила видел мельком.

Леонид Андреев жил судорожно и трудно. Писавший много, нервно переживал войну, все творившееся в обреченно приближавшейся к революции России, и заглушал постоянную тревожную тоску сменявшими друг друга увлечениями. По-другому ему не жилось и не писалось. «Почти все лучшие мои вещи я писал в пору наибольшей

личной неурядицы, в периоды самых тяжелых душевных переживаний»47, — признавался он. Один из самых знаменитых писателей России тех лет ощущает себя непонятым, загнанным. «Та травля, которой в течение 7—8 лет подвергают меня в России, — записывает он в том же октябре 1915-го, — чрезвычайно понизила качество моего труда... Кто знает меня из критиков? Кажется, никто. Любит? Тоже никто. Но некоторые читатели любят — если и не знают. Кто они? Либо больные, либо самоубийцы, либо близкие к смерти, либо помешанные. Люди, в которых перемешалось гениальное и бездарное, жизнь и смерть, здоровье и болезнь, — такая же помесь, как и я»48. Это диагноз не только самому себе или читателям, но и современной России. В то же время его здоровое, дневное начало тянется к семье, к детям, кроме Вадима и Даниила их еще трое — Савва, Вера и Валентин. Дом на Черной речке, как и дом Добровых, всегда переполнен. Его тянет к природе, он уходит в море на яхте.

В «Автобиографии красноармейца» Даниил Андреев пишет, что в последний раз виделся с отцом и братом Вадимом летом 1916-го, в Бутове. Дожидаясь их, наверное, здесь же сочинил еще одно посвященное отцу стихотворение — «Соловей». Дача находилась неподалеку от железнодорожной станции по Курской железной дороге. Это живописное в те годы место многим было памятно Леониду Андрееву. Есть фотография, где он снят вместе с женой у бутовской березовой рощи. Александра Михайловна с доверчиво приоткрытым ртом и грустным взглядом, Леонид Николаевич напряжен. Она ждет рождения первого ребенка. И только пережившие русский XX век, знающие о судьбе их сыновей, Вадима и Даниила, о том, что именно здесь, в Бутове, будет огорожен колючей проволокой расстрельный полигон, на котором казнят двадцать одну тысячу мало в чем повинных людей, глядя на эту фотографию, могут представить, о чем они тревожатся.

В Бутово Леонид Николаевич приехал с Вадимом в самом начале июля 1916 года, намереваясь прожить три недели.

«Мы пошли гулять втроем — отец, Даня и я — бутовскими березовыми рощами, широкими, уходившими к самому горизонту полями...» — рассказывал Вадим об этой прогулке, во время которой отец увлекся воспоминаниями. Но чем больше вспоминал, тем мрачней и неразговорчивей становился. «Около маленького, заросшего кувшинками и водяными лилиями пруда, окруженного длиннолистыми ивами и высокими березами, прямыми как мачты, — сюда приходили по утрам купаться отец и мать — отец, резко повернув, быстро зашагал к даче Добровых...»49 На другой день уехал.

Проводившая лето вместе с Добровыми в Бутове Ольга Бессарабова, которую пригласили позаниматься с Даниилом, 22 июля писала в дневнике о братьях: «Что станется в жизни с Даней Андреевым? Теперь это восьмилетний изящный и хрупкий мальчик, замечательное дитя,

необычайно одаренное. Чудесное личико, живое, красивое, умное. Берегут его как зеницу ока. Дима (старший) замкнутый, молчаливый, издали мне кажется умным и много замечающим»[50]. Занятия с Даниилом оказались необременительными. «Кажется, “урок” этот придуман нарочно, — заметила Бессарабова, — чтобы мне свободнее жить на даче летом. Кстати, чтобы и Даня не отвык от занятий»[51].

В последний раз Леонид Андреев приезжал в Москву 14 октября 1916 года. 17 октября в театре Ф. Ф. Комиссаржевского состоялась премьера его пьесы «Реквием». Что, конечно, символично. Виделся ли он на этот раз с сыном, неизвестно. А из их переписки мало что уцелело. В детской тетради есть черновик еще одного начатого письма отцу, судя по всему, писавшееся в 1917-м или даже 1918-м: «Дорогой папа! Как я обрадовался, когда узнал о возможности послать тебе письмо...» Фраза написана латинскими буквами. Это был один из «шифров» их переписки, Леонид Николаевич переписывался с сыном даже азбукой Морзе. Письма эти пропали на Лубянке.

Из азбуки Морзе и название его знаменитой статьи «S. O. S.», написанной 6 февраля 1919 года. По ее поводу Горький, в Петербурге сам возмущавшийся множеством «бессмысленных жестокостей, которые ничем нельзя оправдать», заявлял: «Ничего, ни зерна, не понимает, а — орет...»[52] Но считавший победивших большевиков силой «зла и разрушения», прокричавший о наступлении времени «*безнаказанности* для убийств», о том, что ныне в мире «престолослужительствует сам пьяный Сатана», «орущий» Андреев, как оказалось, предсказал и наступление тирании в России, и кровавое будущее Европы. Апокалипсически-надрывные строки словно бы предопределили судьбу сына, пафос его писаний. Крик, показавшийся бывшему близкому другу неуместным — «И чего лезет не в свое дело!» — оказался пророческим и предсмертным.

В том же 1919 году, 12 сентября, в деревне Нейвола Леонид Николаевич Андреев умер. В Москве о его смерти узнали по лаконичной телеграмме, появившейся в газетах, и многие ей не верили. Такое было время — неверных слухов, путаных сообщений. Не верили и Добровы, пока не получили письма от овдовевшей Анны Ильиничны. Шла Гражданская война. Газеты в том сентябре помещали сообщения с фронтов: оставлен Нежин, взят Житомир, взят Конотоп... 23 сентября опубликован список 66 расстрелянных за шпионство в пользу Антанты и Деникина. 25-го взорвана бомба в Московском комитете РКП в Леонтьевском переулке. 28-го на Красной площади прошли похороны жертв под лозунгом «Ваш вызов принимаем, да здравствует беспощадный красный террор».

Добровы этот год пережили очень тяжело. Весной Филипп Александрович заразился сыпным тифом, к лету с трудом выздоровел. Зима оказалась голодной и студеной. Занесенная сугробами Москва растаскивала на топливо заборы, сараи, всё, что можно сунуть в печь.

Даниил, давно отца не видевший, взрослея, все больше представлял его как отца мифологического. Так все и говорили: Даниил — сын писателя Леонида Андреева. Оловянишникова вспоминала, что, когда они учились в школе, как-то им достали билеты на «Младость» Леонида Андреева. «И, конечно, Данечка по дороге в театр потерял их. Подходя к театру, он размышлял, как нам попасть на спектакль. “Ну, я скажу, что это мой отец написал пьесу”»53. В театр они попали.

8. Дом в Малом Левшинском и его обитатели

Дом Добровых появившаяся в нем в 1915 году Ольга Бессарабова восхищенно назвала сердцем России, сердцем Москвы. «Дом Добровых кажется мне прекрасным, волшебным резонатором, в котором не только отзываются, но и живут:

Музыка — самая хорошая (Бетховен, Глюк, Бах, Моцарт, Лист, Берлиоз, Шопен, Григ, Вагнер). <...>.

Стихи на всех языках, всех веков и народов, и конечно же лучшие, самые драгоценные, а плохим в этот дом и хода, и дороги <...> нет. События. Мысли. Книги. Отзвуки на все, что бывает в мире, в жизни»54, — писала она в дневнике революционного года.

О детстве Даниила Андреева, о том, как рос его удивительный дар, мы бы мало что знали, если бы до нас не дошли сбереженные в семье Сергея Николаевича Ивашева-Мусатова, близкого друга Даниила, две его детские тетради. В них много замечательного. Например рассказы в картинках с подписями, вроде комиксов, рисующие жизнь Добровых. Главный герой рисунков дядюшка Филипп, над которым племянник непрестанно подшучивает.

Вот рассказ «Прерванное воскурение фимиама». На первом рисунке дядюшка, полулежащий у открытого окна, за которым фигурки прохожих, держит в руке дымящую трубку: «Послеобеденный отдых. Дядюшка воскуряет фимиам-полукрупку». Подпись под следующим рисунком: «Шурочка (за занавеской с горячим молоком в руках): — Папа, тебя к телефону». Подпись под третьим рисунком — диалог: «— Кто еще там?! — И с этим разгневанным возгласом дядюшка встает с кушетки! — Не знаю... — испуганно лепечет Шура». Под четвертым: «Ничего не видя за занавеской, дядюшка натыкается на горячее молоко, которое обдает его. Шурочка вопит о помощи». Под пятым: «Дядюшка с проклятиями, но летит к телефону». Под шестым: «Дядюшка ложится на стул и разговаривает по телефону». На двух последних «Дядюшка, отговорившись, возвращается...» «и продолжает воскурять фимиам».

Или сцена «В семейном кружке»: «Дядюшка летит с самоваром. Оба дружно пыхтят»! Рассказы в картинках мало что говорят о способностях к рисованию, но литературный дар несомненен. Он честно описывает свои выходки. Язык точен и ярок: «Я выкомариваю...», «Подшлепник не пролетает мимо», «Но дядюшка помнит свои долги и... я вскрикиваю громким голосом».

Герой рассказов — и глава дома, и его душа. Вадим вспоминал:

«...дядя Филипп по всему складу своего характера был типичнейшим русским интеллигентом, — с гостями, засиживавшимися за полночь, со спорами о революции, Боге и человечестве. Душевная, даже задушевная доброта и нежность соединялись здесь с почти пуританской строгостью и выдержанностью. Огромный кабинет с книжными шкафами и мягкими диванами, с большим, бехштейновским роялем — Филипп Александрович был превосходным пианистом — меньше всего напоминал кабинет доктора. Приемная, находившаяся рядом с кабинетом, после того как расходились больные, превращалась в самую обыкновенную комнату, где по вечерам я готовил уроки. В столовой, отделявшейся от кабинета толстыми суконными занавесками, на стене висел портрет отца, нарисованный им самим. На черном угольном фоне четкий, медальный профиль, голый твердый подбородок...»[55]

Все, кто бывал в доме Добровых, вспоминали о его хозяине с восхищением. Он был уважаем не только как самоотверженный доктор, но и как замечательно разносторонняя, глубокая личность. Вот его портрет зимы 1920 года:

«...сутуловатый, с бородкой клином, пушистыми усами, как бы небрежно подстриженными, блондин. Характерный жест для Филиппа Александровича — поглаживание бородки книзу и реже — поглаживание усов. Густые брови и ресницы подчеркивали серо-голубые, глубоко сидящие глаза. <...> Походка у Филиппа Александровича мешковатая и плавная, почти без подъема ступней от земли, но быстрая. Смех был заразительным и раскатистым, и смеялся он всегда громко, но как-то всегда в меру, ненавязчиво и ненадоедно. Он очень любил юмор, и смех был свойствен его природе. Мягкие красивые руки — музыкальны»[56].

Филипп Александрович и создал ту одухотворенную атмосферу, которая воспитала Даниила. О докторе близкий друг Даниила, Ивашев-Мусатов, писал:

«Он был человеком громадной, редкой и возвышенной культуры и редкой внутренней скромности.

Обычно вечером, часов в 10, Филипп Александрович уходил в свою комнату — и там ложился на свою кровать и читал часов до 12 ночи. Сосредоточенно, вдумчиво и глубокомысленно Филипп Александрович читал книги по вопросам искусства, литературы, философии и истории. Ночная тишина и спокойствие в доме давали Филиппу Александровичу ту внутреннюю собранность и углубленность, которые помогали ему вникать в глубину мысли читаемых книг. В течение 20—25 лет Филипп Александрович все свои вечера проводил за такими чтениями, и понемногу эти его чтения давали ему большой и разнообразный материал, который складывался постепенно в его своеобразное, индивидуальное мировоззрение, глубоко и вдумчиво обоснованное,

прочувствованное и значительное, представлявшее собою нечто цельное и единое. <...>

Вот пример одной из бесед Филиппа Александровича с одним из своих посетителей.

Зашел разговор о начале Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна было написано по-гречески. Оно начиналось так: “В начале был Логос, и Логос был у Бога, и Бог дал Логос”.

Для полного понимания этих слов надо вспомнить, что в Греции понималось под словом Логос. История понятия Логоса была длительной и сложной. <...> И ко времени написания Иоанном его Евангелия, под словом Логос уже понималось возвышенное понятие высшей мудрости, высшей правды, духовного высшего смысла. Поэтому, чтобы вникнуть по-настоящему в начало Евангелия от Иоанна, надо вместо слова Логос вставить его значение, как оно понималось во время Иоанна. <...>

Теперь, когда я вспоминаю мои посещения дома Добровых и мои беседы с Филиппом Александровичем, мне всегда представляется, что я как бы сразу выхожу в какую-то особенную область, в которой куда-то исчезают повседневные заботы и соответствующие мысли и ощущения, и вместо них появляются самые важные в жизни вопросы о величии жизни, о красоте и значительности бытия, о вечности жизни, о высшем назначении жизни, об ее оправдании перед человеческим сознанием, о высшем смысле жизни, — и эти вопросы приобретают огромное значение»57.

Благодаря доктору, который в юности хотел стать музыкантом, мечтал о композиторстве, но по воле отца стал врачом (по семейной традиции старший сын должен был унаследовать профессию), в доме жил «дух музыки». Этот дух, как бы ни сопротивлялся музыкальным урокам племянник, овеял его детство и остался в нем.

...Над клавишами вижу я седины,
Сощуренные добрые глаза.
Играет он — играет он — и звуки,
Струящиеся, легкие, как свет,
Рождают его старческие руки,
Знакомые мне с отроческих лет.

Все Добровы были очень музыкальны, сестра доктора, Софья Александровна, окончившая Московскую консерваторию по классу фортепьяно, стала органисткой. По крайней мере, вагнерианство Даниила начиналось под воздействием дядюшкиного. Бывали в доме и знаменитые музыканты, в нем играл Скрябин, пел Шаляпин.

Даниила, как младшего, баловали. И, по крайней мере, раннее детство было счастливым. По свидетельству его вдовы, «он благодарил за это Бога до последних дней и помнил много веселых и забавных эпизодов

из своего детства. Например, к Дане приходил домашний учитель, который установил две награды, вручавшиеся в конце недели за успехи в учении и поведении. Вручались — одна буква санскритского алфавита и одна поездка по Москве новым маршрутом — сначала конки, а потом трамвая. Санскритские буквы околдовали мальчика любовью к Индии, а поездки по Москве укрепили врожденную любовь Даниила к родному городу»58.

Из его тетради узнаем о семейных увлечениях, это — бильбоке, серсо, крокет, пасьянс.

Даниил часто влюблялся. Одной из первых избранниц стала шестилетняя Ирина Муравьева, которая, конечно, об этом не подозревала, а Даниил хотел на ней, когда вырастет, жениться, она его устраивала, как, смеясь, вспоминал он через годы. О другой влюбленности, бутовским летом 1916-го, рассказано в стихах:

Она читает в гамаке.
Она смеется — там, в беседке.
А я — на корточках, в песке
Мой сад ращу: втыкаю ветки.

Она снисходит, чтоб в крокет
На молотке со мной конаться...
Надежды нет. Надежды нет.
Мне — только восемь. Ей — тринадцать.

Бывало, что летние месяцы он проводил с семьей Муравьевых, у их бабушки, в селе Щербинине в 14 верстах от Твери. Даню к ним отправляли вместе с Ольгой Яковлевной. Приезжал туда и Саша Добров, рослый красивый гимназист, которого Николай Константинович шутливо величал бароном Брамбеусом.

Добровым после революции пришлось потесниться, хотя семья была многолюдной. Из девяти комнат, две из которых занимала прислуга, у них осталось три, квартира стала коммунальной. Но стеснилась вся Москва. Петроградец Чуковский после поездки в столицу заметил, что в квартирах «особый *московский* запах — от скопления человеческих тел»59. Кабинет Филиппа Александровича стал жилой комнатой, хотя рояль стоял на прежнем месте. Комнату, в которой жил Даниил, разделила занавеска. Здесь устроили Ирину Кляйне.

Над ними, на втором этаже, жили некие Михно. Об этом мы узнаем из Даниилова рассказа в рисунках «Водопад в миниатюре»: «Я сплю»; «Внезапно ночью от Михно начинает течь»; «Наконец я не выдерживаю и ставлю таз»; «Но можете себе представить мой ужас, когда об таз капает все громче!!!»

Сестра Елизаветы Михайловны, Екатерина Михайловна, после того как ее мужа, Николая Степановича Митрофанова, как врача

мобилизовали, из Нижнего Новгорода все чаще приезжала к Добровым. У них жил ее сын, Арсений. В 1919-м пришло известие, что муж ее умер от тифа. Так она у сестры и обосновалась. А в 1923-м поселилась в кухонном полуподвале Феклуша, монахиня Новодевичьего монастыря. Весной 1922-го монастырь закрыли, настоятельницу игуменью Веру и еще нескольких клириков предали суду. Среди осужденных — крестивший Даниила семидесятилетний протоиерей Сергий Успенский. Если храм, где он служил, некогда запечатлел Поленов, то отца Сергия для картины «Русь уходящая» написал Павел Корин.

С лета 1917 года и почти до Шуриного замужества у Добровых жила ее подруга Эсфирь Пинес. Поселилась она по предложению Елизаветы Михайловны: «Шура так больна, нервна, и ей это приятно, она дружит с Эсфирью, может быть, Шуре будет легче»60. В тетради Даниила есть стихотворение, посвященное «Эсфирюшке», — «Гимн Венере». Под ним дата 6—7 ноября 1918 года. Строчка «Красавица вечера, ты блестишь в небесах!» или эпитеты «Опалово-яркая, жемчужно-прекрасная», хотя и относились к утренней звезде, должны были ей польстить, по мнению щедрого автора. У Малахиевой-Мирович, как и в «гимне» Даниила, Эсфирь — денница, павший Серафим с чертами скорбными и больными. Богемное создание, предпочитавшая мужской костюм, изящная, часто бесцеремонная Эсфирь вызывала у одних сочувствие, у других неприязнь. К тому же, как и Саша, познакомивший ее с сестрой, как и болезненно утонченный Арсений, Эсфирь пристрастилась к кокаину, как и они, периодически пыталась избавиться от зависимости.

В 1922-м Добровы приютили сироту, старшую дочь умершего от чахотки сибирского священника — Фимочку. Претерпевший множество бед, тот начал служить в их церкви. Батюшку с измученным лицом Елизавета Михайловна после обедни пригласила к завтраку, и тот, ненадолго прилегший на диван, умер. Мать Фимочки умерла на пути в Москву от тифа, оставив девятерых детей.

9. Гимназия Репман

В 1917-м Даниилу исполнилось одиннадцать лет. Революционные события он воспринимал не только из взрослых разговоров, жизнь менялась резко. В последний день февраля толпа собралась перед Городской управой на Воскресенской площади, читали в рупоры телеграммы из Петрограда, поднимали красные флаги. Народ толокся на Тверской. Шура «пошла на Воскресенскую площадь “для сильных ощущений” <...> и “потому, что не могла сидеть за печкой”. Саша пошел с ней, потому что сестра идет, и он ничего не боится...». С детьми пошла и Елизавета Михайловна: «погибать, так вместе»61. Так же вместе Добровы в начале апреля на Страстной неделе и на Пасху шли на службы в храм Христа Спасителя. Но говорят они в эту весну «больше всего о Ленине в Петербурге, об охранке, о грядущем наступлении, письмах Лоллия Львова в “Русских ведомостях”», «о политике, о власти, об

устроении жизни страны»62... Елизавета Михайловна верит, что «народ и страна наша не погибнут. Но будет много катастроф, жертв и бед. Неисчислимо и неизмеримо»63.

А в октябре на перекрестках горели костры, топтались вооруженные люди. На крышах высоких домов пулеметы. Во время восстания юнкеров их переулок оказался под огнем, рядом, на Пречистенке, размещался штаб Московского военного округа. Слышалась стрельба, усиливавшаяся к ночи, ухали пушки. В Кремле верхушку Беклемишевской башни снесло снарядом, на Спасской разворотило часы, в Успенском соборе зияла пробоина, зацепило один из куполов Василия Блаженного. Всюду по уже тронутой снежком ноябрьской Москве следы боев: щербатые стены, выбитые окна. Упоминали о трех тысячах убитых. На улицах замелькали фигуры солдат. В разговорах раскатистую фамилию Керенского сменили резкие — Ленин, Троцкий. Обсуждали то, чем жила Россия, чем жила Москва.

В декабре давали по карточкам четверть фунта хлеба на человека в сутки.

В январе 1918 года обокрали Патриаршую ризницу.

1 февраля ввели новый стиль, и сразу наступило 14-е число.

21-го на закате москвичи видели небесное знамение. От заходящего солнца взметнулся высокий огненный столб, прорезанный поперечной полосой. Багровый крест в полнеба осенял закат несколько минут. На другой день по Москве пошли толки о кресте, идущем с запада.

Ночью с 9 на 10 марта большевистское правительство тайно оставило Смольный и выехало в Москву, объявленную революционной столицей.

На Пасху (она была поздней — 4 мая) народ первый раз не пустили в Кремль.

В соседнем доме, в том самом, где когда-то жили Аксаковы, в квартире 9 ЧК в конце мая схватила контрреволюционную группу «Союз защиты родины и свободы». В два часа дня подъехали грузовики с латышами-чекистами во главе с самим Петерсом и увезли захваченных врасплох неопытных заговорщиков.

В июле стало известно о расстреле царя. Сообщение сопровождалось лицемерной ложью: «Жена и сын Николая Романова отправлены в надежное место».

Революционная современность попала и в тетради Даниила. Вот диалог под рисунком, изображающим брюхастого господина с рукой в кармане и тощего господина в канотье и с тросточкой:

«— Василий! Ты мой дворник бывший?!

— Ишь, буржуй, худышкой стал! А во-вторых, какой я тебе дворник?!

— Кто старое вспомнит — тому глаз вон! А вот мы, Василий, настоящее вспоминаем, ты теперь будешь буржуй, ты, мой дворник».

А вот какую характеристику он дает себе: «Даня Андреев слыл смешным и хитрым мальчиком. Его прозвали “Рейнике-лис”. Он любил пошалить, но драки не любил и всегда избегал».

В сентябре 1917-го его отдали в прогимназию для детей обоего пола Е. А. Репман, основанную в 1904 году и «одну из самых передовых и демократических в Москве», — как он писал в «Автобиографии». В том же году гимназия стала 23-й школой второй ступени Хамовнического отдела народного образования, позже получив номер 90. Находилась она рядом с домом, где жил и умер Гоголь, в Мерзляковском переулке, на месте нынешнего дома полярников (Никитский бульвар, 9). Руководили гимназией ее основательницы Евгения Альбертовна Репман и Вера Федоровна Федорова.

Еще в 1816 году Христиан Карлович Репман, нидерландский подданный, приехал в Петербург, дав начало жизнестойкой русской ветви рода, сумевшей пережить и век двадцатый. Отец создательницы гимназии, Альберт Христианович, был не только действительным статским советником, доктором медицины, но и директором отдела прикладной физики в московском Политехническом музее.

Революционные потрясения меняли ход времени, отзывались на всем и вся. Ровесник Даниила вспоминал, что в 1917 году, когда он поступил в гимназию, в ней «каждый день, во время большой перемены, дети московской интеллигенции устраивали побоища (не слишком грозные и кровавые) между “юнкерами” и “большевиками”»64.

Академик Колмогоров, окончивший школу Репман, которую называл «необыкновенной гимназией», раньше, чем Даниил, свидетельствовал: «В 1918—1919 годах жизнь в Москве была нелегкой. В школах серьезно занимались только самые настойчивые»65. В классах появлялись новые ученики, исчезали прежние. Менялись и учителя. Но традиции, несмотря ни на что, еще хранились. А среди учителей были замечательные.

Надежде Александровне Строгановой в 1917-м было уже за сорок. Жена ученого, она окончила кроме Высших женских курсов еще и Сорбонну. Преподавая французский язык, знакомила учеников с классиками и современными писателями, читала им драмы Ростана, вела — в старших классах — по-французски философские беседы. Вот какой портрет ее оставила познакомившаяся с ней в начале 1930-х современница: «...острый ум, холерический темперамент. Внешность... смуглое сухое лицо, жгучие черные глаза протыкают тебя насквозь... забраны на темя волосы, но заколоты небрежно, темно-серые пряди выбиваются из допотопной прически... черный балахон без пояса, от горла до земли, с узенькими рукавами до пальцев облегает ее тощее подвижное тело»66. Темпераментное учительство, иногда деспотичное, стало ее второй натурой. Диалог Надежды Александровны тех лет с попавшейся под руку ученицей:

«— А вы ходите в церковь?

— Иногда, на похороны. И к заутрене, ради настроения — посмотреть на крестный ход, на свечи, лица... по традиции, конечно.

— Какой ужас! Где ваша душа? — Она припугнула меня адом. И еще:

— Вы читали “Столп и утверждение Истины” Флоренского?

— Нет. Нет еще...

— Стыдно. Вы — крещеный русский человек, занимаетесь философией как язычница! Пора заложить фундамент Православной Веры»[67].

Жили Строгановы в арбатском переулке — в Кривоникольском. В комнате Надежды Александровны «стоял многоярусный киот, мигали две лампады, иконы были занавешены платками от нежелательных советских глаз»[68]. Пламенность натуры с годами сосредоточилась в православной истовости, учительские интонации стали проповедническими. На таких, как она, и стояла «катакомбная церковь». Когда Андреев писал в «Железной мистерии» о криптах, о молящихся в них, наверное, видел перед собой непреклонную Надежду Александровну.

Литературу преподавала Екатерина Адриановна Реформатская, пришедшая в гимназию в декабре 1919 года. Историю — Иван Александрович Витвер, одновременно занимавшийся в аспирантуре Института истории, артистичный, увлеченный театром и музыкой, ей он профессионально учился перед революцией. Географию, так любимую Даниилом, — вдохновенная Нина Васильевна Сапожникова, а естествознание, уже в старших, восьмых и девятых классах (тогда они назывались группами), — Антонина Васильевна Щукина.

Федор Семенович Коробкин, учитель математики, прежде много лет работал в Первой гимназии на Волхонке. Эренбург, там учившийся, в мемуарах упомянул, что для них грозой был инспектор Коробкин. Математику Даниил, по словам одноклассницы, «не любил, не знал и не учил». Поэтому он «каждый раз уходил с урока и прятался. В конце концов наступил последний урок, тот самый, контрольный. <...> Даниил — староста, да еще фамилия Андреев — на “А”. С него начинается обнародование отметок всего класса. Преподаватели по очереди называют свою отметку каждому ученику. Когда дело доходит до математика, он, не поднимая глаз, говорит: “Успешно”.

Через несколько лет Даниил специально пошел домой к этому учителю, чтобы спросить: “Почему вы так поступили?” И вот что услышал в ответ: “Вы были единственным учеником, о котором я не имел ни малейшего представления. Я просто вас никогда не видал. Меня это заинтересовало, и я стал осторожно расспрашивать остальных преподавателей об ученике Данииле Андрееве. И из этих расспросов я понял, что все ваши способности, интересы, все ваши желания и увлечения лежат, так сказать, в совершенно других областях. Ну зачем же мне было портить вам жизнь?”»[69].

А математику в школе преподавали замечательно, судя по тому, что именно ее окончили кибернетик академик Трапезников и гениальный математик Колмогоров. Колмогоров вспоминал: «Классы были маленькие (15—20 человек). Значительная часть учителей сама увлекалась наукой (иногда это были преподаватели университета, наша

преподавательница географии сама участвовала в интересных экспедициях и т. д.). Многие школьники состязались между собой в самостоятельном изучении дополнительного материала, иногда даже с коварными замыслами посрамить своими знаниями менее опытных учителей. <...> По математике я был одним из первых в своем классе, но первым более серьезным научным увлечением в школьное время для меня были сначала биология, а потом русская история...»[70] В 1917 году Колмогоров вместе с одноклассником обдумывал конституцию идеального государства. Учился с ними ставший историком и академиком Лев Владимирович Черепнин.

Учителя здесь сами выбирали, как и чему учить, главное — раскрыть таланты учеников. Зубрежка не признавалась. Обязательных экзаменов не существовало. Творческая увлеченность и учителей и учеников делала особенной школьную обстановку. Поэтому школа была так дорога всем ее выпускникам, сохранявшим связь друг с другом десятилетиями. В «Розе Мира» страницы о воспитании человека облагороженного образа, записи по педагогике в тюремных тетрадях, конечно, связаны с воспоминаниями о родной школе. И не на одного Андреева она оказала такое влияние. Память о «необычной» школе, признавался Колмогоров, «стала одной из идей, которые постоянно носились передо мной, — <...> сосредоточиться на деятельности руководства идеальной, в каком-то смысле, школой»[71]. Такую школу, математическую, он, в отличие от поэта, создал.

Вот одна из шалостей Даниила, которого одноклассники называли «королем игр» за то, что «он в любую игру вкладывал все воображение»[72]. Это рассказ с его слов: «Как-то ребята страстно заспорили о том, сколько груза поднимут воздушные шарики, и решили это проверить. Сложив деньги, выданные родителями на завтраки, они купили связку воздушных шаров и привязали к ним маленькую дворовую собачку. Спор-то шел всего-навсего о том, приподнимут шары песика или нет. Каково же было изумление ребят, их восторг и страх за бедное животное, когда шарики подняли собаку на высоту второго этажа и она с громким лаем понеслась вдоль переулка, задевая по дороге окна»[73].

В гимназию Даниил ходил пешком. Был он смуглолицым, длинноносым, и случалось, что встречная ватага арбатских мальчишек в переулке останавливала его и, обзывая «жидёнком», требовала показать крест. Креста он не показывал, а, отстаивая честь, дрался.

В детской тетради Даниила есть рассказ в комиксах «Гимназия. Несчастный день», построенный по всем законам драматургии. Он состоит из одиннадцати карикатур: «Я опаздываю на урок», «Я рассердил учительницу: — Потрудитесь, Андреев, покинуть класс!», «Я выгнан, я грущу», «На перемене я весел, скачу, играю», «Я играю с Левой Субботиным в салазки», «Я неоднократно падаю... Вдруг в дверях грозная В<ера> Ф<едоровна>!!!», «В. Ф. читает нотацию и

оставляет до 4 часов; я от страха влез под парту!», «Не унывая, я и Лева деремся...», «В дверях божественная Е<вгения> А<льбертовна> — Вон, вон из гимназии!!! Никогда сюда не приходите», «Да! меня выключили! срам, позор! Я плачу...»

Трудные времена сплачивали учителей и учеников. Учившийся в одном классе с Ивашевым-Мусатовым профессор Богоров, гидробиолог, вспоминал: «Первые годы революции Наркомзем стал снабжать школы продуктами. Все было на самообслуживании. Мы, ученики, отправлялись с детскими санками на Чистые пруды. Там нам выдавали сухой компот. На других складах по ордерам выдавали другие продукты»74. Затем учащиеся голосованием выбирали «куховаров», и, конечно, каждая ложка каши, каждый стакан компота были на счету.

В те экспериментальные времена Даниил был членом педсовета. В его тетрадях есть несколько списков одноклассников. Фамилии в них меняются, революционные вихри, проносясь по арбатским переулкам, уносят одни семьи, приносят другие. Среди тех, чьи фамилии повторяются, друзья Даниила. В Воротниковском переулке жил Алексей Шелякин, будущий «одноделец». Он вспоминал, как приходила к ним в дом Таня Оловянишникова: «Мой отец говорил... к тебе пришел Ангел. И действительно, Таня тех лет походила на Ангела. Прекрасное лицо — доброе и открытое».

В тетради Даниил ставил отметки девочкам класса и не был щедр, выше тройки никому, кроме избранницы — Гали Русаковой, ей — пять с плюсом. В записке к Оловянишниковой он признавался, что Галю «любит безумно», и спрашивал: «Ты обратила внимание, какие у нее глаза, особенно когда она танцует вальс?» Так же безнадежно в Галю были влюблены его друзья Попов и Шелякин.

10. Планета Юнона и йог Рамачарака

В детских тетрадях Даниила обнаруживаются прообразы и начала всех его книг. Выдумывая, он прислушивался к необъяснимо возникающим в нем звукам.

Играя мальчиком у тополя-титана,
Планету выдумал я раз для детворы
И прозвище ей дал, гордясь, — Орлионтана:
Я слышал в звуке том мощь гор, даль рек — миры,

Откуда, волей чьей созвучье то возникло?
Ребенок знать не мог, что так зовется край
Гигантов блещущих, существ иного цикла,
Чья плоть — громады Анд, Урал и Гималай —

так он описывал свое начальное сочинительство, как неосознанное прислушивание к иному миру. Вот что рассказывает в «Дневнике» о нем,

восьмилетнем, Бессарабова: «Даня презирает все существующие в мире языки (их надо учить, и они “маловыразительны”) и изобретает свой, новый, с исключениями, спряжениями и очень выразительными австралийскими окончаниями. Иногда звуки и слова “должны сопровождаться мимикой и жестами”»[75].

О врожденном и обостренном чувстве слова, его звучания говорит детская история со словом «валь». Она рассказана со слов поэта его вдовой: «Дамы в те годы носили на шляпках вуали. Даня упорно, не слушая замечаний старших, говорил не “вуаль”, а “валь”. И только вечером в постельке, обняв белого плюшевого медвежонка, погибшего при нашем аресте в 1947 году, мальчик восторженно и тихо шептал: “В-у-аль...” Это слово было таким красивым, что его нельзя было произносить вслух на людях»[76]. Сам он говорил о том, что слово для него «в запредельные страны музыкой уводящие звуки».

Одно из первых его сочинений — история страны «Мышинии». Это нечто вроде летописной хроники двух правящих династий — «Урасовской» и «Климской». Разделенное на параграфы и повествующее о войнах, междоусобицах и смутах, о характерах сменяющих друг друга на престоле властителей, оно говорит о знакомстве юного писателя с тогдашним «Учебником русской истории» Платонова и еще с увлекательной книгой русского естествоиспытателя и путешественника Ященко «Хруп (крыса-натуралист)». Вполне возможно, что он и начал свою хронику после первых уроков истории в гимназии. В хронике остроумно описано около сорока царствований, и можно только удивляться изобретательности летописца «Мышинии». Вот некоторые ее параграфы:

«§2. Пи I Котогуб. Но зря плачут мыши по Урасе, есть сын:
Пи Иждыгарович I. Вот он вступил на престол и шелковым платком вытер слезы старым придворным. И задумал Пи погубить кота, заклятого врага мышиного. Собрал большую рать и двинулся. Тихо подкрался он [к] коту спящему и ловким движением задвинул хвост Кошачий в щелку... Мяучит Кошка, а мыши давай Бог ноги. Прославился этим подвигом Пи I и дали ему название “Котогуб”».

«§21. Урас VII Святой. Долго не хотели мыши брать в цари сына Сера IV Ураса VII, но делать было нечего. Урас был язычник. Он поехал путешествовать, а правление передал своей матери Морщинке I.
Он поплыл в Крысию, где исповедовали Христианство. Урасу понравилась эта вера, и он принял ее, причем получил имя Крыс. Мать его была этому очень рада, а мышиная церковь причислила его к святым. Скончался он в 1477 году».

«§22. Пи Вдохновенный IV. У Ураса осталось 2 сына: Пи и Итдыгар. После долгой смуты и издавания законов воцарился Пи IV. В это время в Мышинии появлялось все больше язычество, а Пи IV исправлял его. За это Пи прозвали “Вдохновенный”, что значит “исполняющий заповеди Божьи”. От мышей и у нас это слово. Итдигару II было завидно

смотреть на Пи. Он убил его, а сам воцарился на престоле. Но Господь наказал его: он скоро умер».

Повествование доведено до 1601 года, но за это время в Мышинии произошли не только смены династий, но и бунты, и революции. Уже тогда для Андреева очень важен религиозный взгляд на историю. «Славный он был император, — говорит юный автор об Урасе I, — любил свою родину, заботился о ней и исполнял заповеди Божии».

Рядом с сочинениями о выдуманных странах и портретами их правителей — рисунки о злободневности: «Русский поезд Москва — Севастополь», с пассажирами, толпящимися на крышах вагонов, «Сознательный большевик» в бескозырке и с дымящей папиросой в зубах (надпись зачеркнута), «Сатана на земном шаре».

В его комнате висела карта полушарий выдуманной им планеты. Она называлась Юнона. Рядом красовались портреты правителей Юноны. Целая серия таких портретов и подробные карты сопровождают в тетради «Краткое описание стран планеты Юноны». Если «Мышиния» сочинение историческое, то описание Юноны — географическое. Чувствуется, что оно создание более опытного и повзрослевшего сочинителя. О Мышинии он пишет как бы играя, а в описании Юноны вполне серьезен. Но и тут поражает тяга к систематизации, к тому, чтобы описать воображаемый мир, совершенно фантастический, с научной обстоятельностью. Это свойство очень заметно в «Розе Мира». С той же последовательностью, как некогда страны Юноны, он описывает в ней структуру Шаданакара, его затомисы, сакуалы, шрастры. Чем необычней видения, тем методичней изображены. Вот и Орлионтана, о которой он вспомнил в стихах, в сочинении страна со своей географией и историей. Правда, кое-что в ее описании напоминает недавнюю историю России. Орлионтана, пишет он, «изобилует всевозможными сектами, партиями, и там нередко происходят революции и восстания, подавляемые, впрочем, обыкновенно при помощи других государств. В недавнем времени там произошла колоссальная революция, во время которой сместили 3 “Думы Страны”. Эта революция известна под именем “Великой Орлионтанской Революции”».

География же Орлионтаны напоминает совсем другие страны:

«На реке Гаглец, которая вытекает на юго-западе Орлионтаны, стоит город Фона. Эта река втекает на южной границе в Герре и, повернув к востоку, впадает в море, в Двухнусный залив. Между рекою Гаглец и Аррено-Тампаниа лежит пустыня Орлионтанская. Она совершенно безжизненна, мертва и не заселена. Там даже не живет зверей. Тут нет ни одного города, и только около Аррено-Тампаниа есть большой оазис Тапешан; но жизнь в нем невозможна благодаря трудности сношения с другим остальным миром. В Орлионтане живут Орлионтанцы и Венерцы, занимающиеся земледелием. Сеют кукурузу, хлопок, пшеницу и сахарный тростник, сажают на севере картофель».

В трех частях описания Юноны поражает огромное количество названий, которые с такой легкостью дает автор тридцати двум выдуманным странам, множеству городов, рек, гор.

Во второй тетради юнонская эпопея продолжена изложением мифологии Цереры, страны на планете Юнона. Она озаглавлена «Сказки и легенды о чудесных богах и богинях церерских». Во «Вступлении» говорится:

«Все 33 бога Древней Цереры разделялись на добрых и злых. Каждая из этих партий имела свою высокую неприступную гору и на ее самой верхушке замок. Замок добрых назывался Дорелийский, а злых — Теппесский. Эти два замка вечно враждовали и ссорились, их главной целью было завоевать Херрину, богиню земных богатств, которая жила одна в великолепном дворце на одиноком острове Мольбоу. Но этот дворец был так неприступен, что долго никто из них не мог завладеть им, а карлики, окружавшие дворец, умели колдовать».

Так, уже в детском мифотворчестве можно разглядеть наивное начало мистического эпоса, «русских богов», плененную в цитадели Навну. Для его вдовы это убедительное свидетельство врожденной связи Даниила с иной реальностью:

«Поток звукообразов и словообразов, который потом воплотился в зрелом поэтическом творчестве, уже тогда изливался на ребенка. Когда знакомишься с детскими тетрадями Даниила, то создается четкое впечатление, что мальчика готовили иные силы, что его ранняя, буквально внутриутробная встреча со смертью — это ранняя близость к иному миру, оставшаяся навсегда. И его, казалось бы, забавные игры со словами тоже были сложными упражнениями в слышании иных миров. Направленность к иным мирам проявилась в нем необыкновенно рано»77.

Тогда же он увлекся астрономией. Вечерами забирался на крышу и часами рассматривал звездное небо. Узнавший о его увлечении отец писал Добровым: «Даня совсем как мой герой из драмы “К звездам”: кругом бушует война и революция, а он пишет мне целое письмо — только о звездах...»78

Книги, прочитанные в отрочестве и пережитые с восторгом откровения, даже если через годы вызывают равнодушную усмешку, запоминаются навсегда. Книга Рамачараки «Основы мировоззрения индийских йогов», проглоченная «в 13-летнем возрасте», «сыграла, — признавался Даниил Андреев, — в истории моего развития очень большую роль»79. 1920 год прошел для него под влиянием таинственного йога Рамачараки. Йог заставил его увериться в прежних рождениях в Индии, запомнить, что «все формы религии одинаково хороши» и что нынешнее человечество очень далеко от подлинной духовности. Под псевдонимом скрывался Уильям Уолкер Аткинсон, врач и юрист из Пенсильвании, увлеченный теософией и Индией. Цикл его популярных книг перед Первой мировой войной в русском переводе

выпустило издательство «Новый человек»: «Религии и тайные учения Востока», «Хатхайога», «Наука о дыхании индийских йогов». Эти книги попали к Даниилу вряд ли случайно. «...К Хатхайоге я отнесся легкомысленно, — сообщал Андреев много лет занимавшемуся дыхательной гимнастикой йогов по Рамачараке однокамернику Шульгину, — во-первых, потому, что был очень молод и здоров, а во-вторых, — у меня в характере нет некоторых свойств, необходимых для планомерных, ежедневных занятий какими бы то ни было упражнениями — физическими или психическими». Но «Основы мировоззрения индийских йогов» определили многие его взгляды. Мечты о прорыве к космическому сознанию, о котором говорил Рамачарака, теория перевоплощений, мысли о том, что человечество в своем развитии должно достичь подлинной религиозной духовности, когда у всех появится чувство «реальности существования высшей силы» и вырастет «сознание братства всего человечества», и еще ряд идей, почерпнутых у «индийских йогов», сделались его собственными.

«В сочинениях древних философов всех народов, в стихотворениях великих поэтов всех стран, в проповедях пророков всех религий и времен мы можем найти следы нисходившего на них просветления — раскрытия духовного сознания»80, — писал теософ Рамачарака, и Андреев стал искать и находить эти следы повсюду. И, конечно, из этих слов, как из неслучайного зернышка, выросла его теория вестничества.

«Только в случайные драгоценные моменты мы сознаем в себе существование духа и в такие моменты чувствуем, что стоим перед страшным лицом Неизвестного. Такие моменты могут приходить, когда человек погружен в глубокое религиозное созерцание или когда отдается произведению поэта, несущего весть от души к душе...»81 Прочтя эти утверждения, Андреев стал прислушиваться к собственным состояниям.

Аткинсон-Рамачарака на первой же странице предупреждал, что «идеи предлагаемой читателям книги изложены на языке западной теософии и спиритуализма»82, и, конечно, теософский след в воззрениях его русского читателя остался. Но теософом Даниил Андреев все-таки не стал.

11. Два Кремля

Тогдашняя московская жизнь была трудной и тревожной у всех, не только у Добровых. Вот добровские портреты из письма близкой и давней знакомой семьи — Надежды Сергеевны Бутовой Малахиевой-Мирович 15 апреля 1920 года:

«Вчера была Елизавета Михайловна Доброва. Принесла: хлеба, масла, сахару, яиц... Они все такие же: от своего рта кусок отнимут, другому отдадут. Она стала еще пламеннее в доброте. А он суров, одинок, желт, сосредоточен (в свободные минутки), в книжке написал Дане 7 стихотворений прекрасных: элегичное, лиричное, трагичное, пышно-торжественное, прозрачно летящее, звонкое и тихое-тихое. Сочинял их

по дороге в больницу пешком, зимой, по сугробам, в рваных сапогах и калошах. У него долго были длинные волосы, как у посвященного Иерея, и бороденка жиденькая, длинноволосенькая, и ватные штаны. Но теперь стал более элегантен! Саша хороший, мягкий, но полузаглубленный. М<ожет> б<ыть>, честность его еще и выправит. Инстинкт в нем есть, и здоровый: религиозен, любит книжку, любит искусство. Даниил — чудесный юноша: пишет стихи, пишет рассказы, пишет историю и географию своей планеты и рисует ее карты, портреты королей и вождей. Накрывает на стол, рвет обувь невероятной беготней и из всех блуз и штанов вылезает вон! Нежен к маме Лиле. Поклоняется дяде, дружит с Сашей и со всеми: но самостоятелен и супротивник старшим закоренелый. В творчестве еще виден родственник отцу: размах и сильные слова, а выдержка и почва под словами не всегда-то есть. Растения добровские почти все погибли. Да и у всех, положим, они поумирали. Кошек и собак, как и лошадей, в городе очень мало осталось»[83].

Филипп Александрович много работал, пытаясь прокормить большую, плохо приспосабливавшуюся к новой жизни семью. Он даже занялся приготовлением лечебных дрожжей: нэп. Они стали пользоваться спросом и так и назывались — «дрожжи доктора Доброва». Участвовал в этом и Даниил: молол на кофейной мельнице ячмень, разносил заказанные дрожжи по Москве. До родственников донеслось: «Даня торгует дрожжами». Наталья Андреева писала из Финляндии его возмущенной тетке, Римме Николаевне: «Я вполне с тобой согласна. Это ужасно и позорно. <...> Это сын Леонида Андреева»[84]. Но и доктор занимался не только лечением больных, а по-прежнему, несмотря на холод в доме (не выше плюс шести), от которого стыли руки, садился за рояль, читал латинские поэмы, сочинял стихи. И сын Леонида Андреева жил творчеством. «Даня читает Бранда и рисует какие-то идиллические усадьбы, дома с колоннами, фонтаны, аллеи. Он закончил “Закат Атлантиды” — роман в трех частях. У него тонкое, истонченное лицо, со следами напряженной работы мысли»[85], — писала Малахиева-Мирович Бессарабовой перед Рождеством 1921 года. А в стихах «Рождественского посвящения» предвосхищала четырнадцатилетнему Даниилу: «В истории есть твое имя / А в сердце храню я твой след»[86].

«Напряженная работа мысли» принимала неожиданные формы. Вместе с одноклассником Юрием Ордынским (ему Даниил в третьем классе выставил четыре с плюсом) было задумано покушение на Троцкого! В Кремль они собирались проникнуть через одноклассницу Марию Курскую, дочь наркома юстиции.

Тяжело начался 1921 год. В январе, то оттепельном, то студеном и метельном, умерла дорогая всем Добровым Бутова, актриса МХТ. Еще прошлой весной Филипп Александрович настоятельно советовал ей уехать на юг. Но пути туда были отрезаны. В 1909-м она играла Суру в нашумевшей «Анатэме» Леонида Андреева, в 1913-м — мать

Ставрогина в спектакле по «Бесам» Достоевского. У нее, занимаясь в драматической студии, брала уроки Шура Доброва.

Бутову называли актрисой-монахиней. Высокая, чаще всего в темном платье, сосредоточенная, внутренне строгая. Становясь старше, она делалась все религиознее. Ее квартира в изукрашенном майоликой доме Перцова напротив храма Христа Спасителя казалась и монашеским затвором, и артистической студией, где киот с образами соседствовал с книгами и живописью на стенах. Борис Зайцев, сравнивавший Бутову с боярыней Морозовой, писал, что «православие у ней было страстным, прямым, аскетическим, мученическим»87. И смерть ее была христиански жертвенной. Взявшись сопровождать в Крым заболевшую скоротечной чахоткой приятельницу-актрису, самоотверженно за ней ухаживая, заразилась сама. Дружеские, хотя и сложные отношения связывали с Бутовой Малахиеву-Мирович. Бутову долгие годы лечил доктор Добров. Но особенно близка она была его жене.

После попытки лечения за границей Бутова поселилась в Успенском переулке, в квартире в особнячке с усадебным садом, переходившим в сад Страстного девичьего монастыря. Здесь, в мезонине над ее комнатами, жили Алла Тарасова, Малахиева-Мирович и одно время Ольга Бессарабова. Сюда к ней заходил Добров, «суровый врач» и давний друг, здесь она умерла. Отпевал Бутову ее духовник, известный на Москве батюшка Алексей Мечёв. В храме Святого Николая в Кленниках на Маросейке бывал и Даниил, известно, что дважды он причащался у отца Алексея, а потом приходил к его сыну — отцу Сергию. Вполне возможно, что посещение отроком Даниилом Оптинской обители, о котором упоминал его друг Василенко, и состоялось в те годы общения с благодатным батюшкой.

Даниил Андреев вспоминал Надежду Сергеевну всю жизнь. Говорил, что это она открыла ему красоту и глубину православной церковности. В актрисе-монахине он видел сплав страстного служения искусству и глубокой религиозности, определявший для него «человека облагороженного образа».

Продолжалась Гражданская война, а обыватели, как могли, сражались за существование. Трудно в доме приходилось всем. «Шура очень похудела, побледнела, углубляется в терпении, но порою не выдерживает. Красивые руки ее огрубели от сора, углей, холода и всякой грубой работы. Жизнь ее — сплошь черная работа — топка печей в квартире и еще помощь Елизавете Михайловне. Эсфирь больна, все больнее. Она обрилась (от нарывов)»88. Главные тяготы ложились на жену доктора, мучившуюся сердечными припадками. Малахиева-Мирович писала 7 февраля 1921 года Бессарабовой: «Вчера было рождение Елизаветы Михайловны. Она месила тесто в холодной, прокопченной крысиной кухне, плакала и сбегала потом в церковь, ее единое прибежище»89. А сидящих за большим добровским столом не убавлялось. Другая жилица дома называла ее героическим, измученным

и прекрасным человеком. В своем всегдашнем длинном платье, делавшем Елизавету Михайловну еще выше, в вязаной шапочке она действительно выглядела болезненно усталой. «Вся ее жизнь сейчас — постоянная, напряженная, без отдыха и срока работа, ухаживание за Сашей, который всю зиму болеет. <...> Ухаживание и тревога за Даню, который тоже болеет непрерывно, борьба с хаотическим духом Филиппа Александровича и всего дома, борьба со стихийными бедствиями, которые валятся одно за другим: порча водопровода, канализации, обвал потолка, несколько раз за зиму потоп в кухне, порча плиты, отсутствие дров...»90

В эту зиму Даниил подружился с Ариадной Скрябиной, как и он, захваченной сочинительством. У Добровых несколько раз состоялись их совместные чтения. Ариадна была старше его на год, писала не только стихи, но и рассказы и пьесы. В прошлом году сочинила «Великую Мистерию», найдя и слушателей, и последователей, большей частью школьных подруг. Ее заветная мысль: пострадать, умереть за русский народ. «Великую Мистерию» она задумала поставить на Красной площади и завершить представление самосожжением актеров — протестом против «страданий человечества». «Хочет пойти к патриарху, чтобы он благословил ее на эту мистерию и смерть, добровольную жертву и искупление за все зло и весь ужас, который царствует в мире, в России, на Поволжье — всюду»91. Стихи она опубликовала в 1924 году в Париже. В них эти настроения:

Смерть смертию поправ — жива,
Как мудрый змей меняя кожу,
Победоносная Москва!
А я — лежу на смертном ложе!

Стихи в доме звучали часто, кроме Даниила их писали и дядюшка, и Арсений, чуть было не издавший их в Нижнем Новгороде под названием «Простые стихи», и Эсфирь. Есть свидетельства, что в те времена, в начале 1920-х, в доме Добровых появлялся Маяковский, бывала Марина Цветаева. По крайней мере, Борис Бессарабов, прообраз героя поэмы Цветаевой «Егорушка», познакомился с ней (1 января 1921 года) именно у Добровых. Он вспоминал, что в один из вечеров в комнате Шурочки увидел гостей: «Владимир Маяковский... около него пристроилась Лиля Брик, с которой я встречал его на улицах Москвы, Марина Цветаева. Тут же была очень милая темноглазая маленькая Татьяна Федоровна Скрябина...»92 И соседка Добровых, учительница литературы Межибовская, рассказывала, что видела Маяковского в коридоре их квартиры, где он разговаривал с незнакомым ей мужчиной. Тот якобы сказал поэту: «Ну и сволочь же ты, Володя». Маяковский ответил: «Все мы немного сволочи».

Другая жительница дома вспоминала, что его «второй этаж до революции занимал генерал Чернов, а потом он с семьей эмигрировал. Этаж “захватили” синеблузники во главе с Маяковским. Потом их оттуда “попросили”, и этаж начали заселять...»93. Так что Маяковский бывал здесь не случайно.

В первые дни августа 1921 года в Москве шли дожди, потом стало сухо и знойно. В Поволжье начинался голод, для помощи голодающим был объявлен сбор пожертвований. В Москву с помощью собирался приехать Нансен. В Китае произошло ужасное землетрясение, погибло 200 тысяч человек. Страшные вести приходили из Петрограда. Умер Блок. Раскрыт заговор против советской власти профессора Таганцева, офицеров Шведова и Германа. Газеты сообщали, что «участники заговора понесли заслуженное наказание». Среди расстрелянных — Николай Гумилев.

В этом августе Даниил пережил состояние, похожее на то, о котором читал у Рамачараки, — состояние прорыва духовного сознания, поначалу недостаточно осмысленное. Позже счел его первым соприкосновением с иноматериальной реальностью. Он писал о нем в «Розе Мира»:

«Первое событие этого рода, сыгравшее в развитии моего внутреннего мира огромную, во многом даже определяющую роль, произошло в августе 1921 года, когда мне не исполнилось еще пятнадцати лет. Это случилось в Москве, на исходе дня, когда я, очень полюбивший к тому времени бесцельно бродить по улицам и беспредметно мечтать, остановился у парапета в одном из скверов, окружавших храм Христа Спасителя... бытие... открыло передо мной или, вернее, надо мной такой бушующий, ослепляющий, непостижимый мир, охватывающий историческую действительность России в странном единстве с чем-то несоразмеримо б*о*льшим над ней, что много лет я внутренне питался образами и идеями, постепенно наплывавшими оттуда в круг сознания».

О том, как он бродил по московским переулкам, любуясь пятиглавиями, заходя в храмы, глядя на «теплящиеся огни православия», о настроении того лета сказано в стихах:

Это — душа, на восходе лет,
Еще целокупная, как природа,
Шепчет непримиримое «нет»
Богоотступничеству народа.

И о своем первом видении Небесного Кремля в час светло-розового предвечерья, когда, облокотившись на мшистый парапет, увидел сквозь трепет березовой листвы нечто скрытое, ощутил подхватывающий его вихрь:

Я слышал, как цветут поверия
Под сводом теремов дремучих

И как поет в крылатых тучах
Серебролитный звон церквей,
Как из-под грузных плит империи
Дух воли свищет пламенами
И развевает их над нами
Злой азиатский суховей.

Рядом с храмом Христа Спасителя, со стороны Пречистенки, где еще торчал пустой пьедестал памятника Александру III, был один скверик, напротив — другой. Здесь он бывал множество раз, еще с няней. Вокруг храма стояли скамейки, поодаль в белесом песке играли дети.

Наверное, после этого озарения, в котором присутствовал и сам храм, и Кремль с «крестами, башнями, шатрами», ему стали видеться архитектурные ансамбли, «великие очаги» религиозной культуры грядущего, о чем он писал в «Розе Мира»:

«Мне было едва 15 лет, когда эти образы стали возникать передо мной впервые, а год спустя я уже пытался запечатлеть их при помощи карандаша. Я не стал ни художником, ни архитектором. Но образы этих ансамблей, их экстерьеры и интерьеры, такие величественные, что их хотелось сравнить с горными цепями из белого и розового мрамора, увенчанными коронами из золотых гребней и утопающими своим подножием в цветущих садах и лесах, становились определеннее от одного десятилетия моей жизни к другому».

Росший в доме, где бывало много художников, любивший рисовать, он скептически относился к своим художническим способностям. Его брат, Александр Добров, окончил архитектурный факультет ВХУТЕМАСа. Архитектором стал школьный друг Алексей Шелякин. И Даниил увлекался архитектурой, мальчишкой собирал коллекцию открыток с видами городов. Но архитектору необходимо знать недающуюся математику. Интерес и любовь к архитектуре отозвались в нем воображаемыми проектами храмов Солнца Мира и мистериалов, верградами времен Розы Мира.

12. КИС

Весной 1923-го Даниил написал брату в Берлин, где поначалу оказалась осиротевшая семья Андреевых. «Очень трогательно пишет: милый мой братец. Как видно, он одинок, про Добровых ни звука, и нуждается ли <в> чем, тоже ни слова. Прислал свои стихи очень недурные»[94] — такое впечатление осталось от письма у его тетки Натальи Матвеевны.

Это был возраст первых воспаленных вдохновений, приступов одиночества. Несмотря на семейное тепло и пламенные школьные дружбы. В последнем классе, в 9-й группе, образовался кружок, который они назвали КИС — кружок исключительно симпатичных.

В письме больному Даниилу Андрееву, поздравляя с наступавшим 1959 годом, Оловянишникова вспоминала:

«А помнишь ли нашу традиционную ромовую бабу, первый и последний вальсы? Помнишь наш клюквенный морс (невероятно кислый), который мы приготовили вместо вина, забыв о том, что оно полагается, когда встречали Новый год в гимназии? Помнишь, все учителя пришли вовремя, а Нина Васильевна опоздала? И как под утро выбегали на улицу и поздравляли прохожих с Новым годом? А у Нэлли наши встречи... Родной мой, вся, вся ведь жизнь связана с тобой...
И спасибо тебе за то, что ты был со мной, “освещал” (по выражению Киры Щербачева) ее».

И в следующем ее письме, 3 января 1959-го:

«Сегодня просматривала фотографии, и попалась наша Кисовская группа. Ты там хорош (это мы снимались в период нашего “увлечения” живым кино. “Граф Магон — товарный вагон”), я тоже не плохо, только немного сумасшедший взгляд; но остальные вышли жутко. Помнишь, когда мы рассматривали эту карточку, то увидали заплаты на Борисовом локте; и решили, что впечатление, что Ада держит на веревочке Галин ботинок».

Кинопьесу сочинил Даниил. Они разыграли ее в добровском зале с аркой, еще не поделенном на комнатки. На фотографии Даниил с моноклем в глазу, в бабочке и цилиндре, с кошкой в руках.

Позже увидевшая тот же снимок Малахиева-Мирович строго оценила участников представления, особенно его «голубую звезду» Галю Р., не отвечавшую «ни да, ни нет на романтическое чувство Даниила. Правильное, маловыразительное, банально-женственное личико, — записала она в дневнике. — И все лица по сравнению с лицом Даниила в нелепом цилиндре, с инфернальными гримасами (играл злодея) плоски и бледны. Его ужимки, позы — шарж и мелодрама, и все-таки при первом взгляде на фотографию, где он среди других фигур, невольно остановишься на нем, как на чем-то значительном и тревожном, мимо чего нельзя пройти без вопроса: кто это?»95.

Еще из тех же писем Оловянишниковой: «Данька, родной, помнишь, как в Кисовские времена шли мы компанией куда-то (по Спиридоновке) и ты, по пути, захлопывал все открытые форточки?..» Она же вспоминала о работе в «Решетихино», за Подольском, рядом со станцией Столбовая. В те годы, чтобы как-то выжить, «бывшие» устроили в имении сельхозартель. Взрослым помогали подростки. Выглядели эти попытки городских интеллигентов «осесть на землю» жалко: «Коров выгоняли в семь утра, вечером же их с трудом загоняли обратно, для чего все члены артели становились шеренгой, сквозь которую прогоняли коров в скотный двор; иногда же задняя дверь оставалась открытой, животные тут же через нее выходили, и вся церемония возобновлялась заново»96. Даниил, чувствуя себя на свободе, баловался, смеялся. Измученным взрослым было не до смеха.

Дружба кисовцев сохранилась навсегда. Одним из самых близких друзей был Юрий Попов: «Веселый мальчик в белом свитере».

День окончания школы — 19 июня 1923 года. Выпускники продолжали называть школу гимназией. В стихотворении «Вальс», посвященном ее окончанию, он писал:

Здравствуй, грядущее! К радости, к мужеству
Слышим твой плещущий зов!
Кружится, кружится, кружится, кружится
Медленный вихрь лепестков.

Знавшие Даниила Андреева долго и близко, вспоминали о его шутках, проказах, выдумках. Рассказывая о них, он никогда себя не выгораживал.

«По случаю окончания школы устраивалась вечеринка. Каждый должен был принести из дому на этот вечер какую-нибудь посуду. Даня вызвался принести вазочку для варенья, а так как вазочка была, видимо, довольно ценная, то дали ее ему только с условием, что он вернет ее обратно в целости и сохранности, что он и пообещал.

Возвращаясь вечером домой, он завязал ее в салфетку и, о чем-то раздумывая, помахивал этим узелком. Вдруг при очередном взмахе узелок задел за фонарный столб, и — о, ужас! — вазочка разбита! Что теперь делать? Как смягчить обиду и возмущение мамы? И Даня придумывает весьма хитроумный психологический план. Кухня в их квартире была в полуподвальном помещении, и в нее вела довольно длинная и крутая лестница. Когда Даня вернулся, мама и еще какие-то женщины были внизу. Даня появляется на верху лестницы, поднимает руку с узелком и с восклицанием: “Вот она, ваша вазочка!” — сбегает до половины лестницы, затем грохается и с остальных ступеней съезжает уже на спине... Все кидаются к нему:

— Боже мой! Данечка! Не расшибся ли? Не сломал ли ногу или руку?

Нет, цел, ничего не сломал. А то, что разбита вазочка, это уже пустяки.

Слава Богу, что сам-то не разбился! Все это Даня рассказывал так живо, с жестами, мимикой и различными интонациями всех восклицаний, что я запомнила эту сценку, как бы сыгранную талантливым актером»[97].

После выпускного вечера кисовцы решили поехать на Сенёжское озеро. На дачу к однокласснице Нелли Леоновой. Именьице Леоновых находилось в шести километрах от Сенёжа в Осинках. Деревня Осинки недалеко от блоковского Шахматова. Друзья бегали на озеро, помогали заготавливать сено, играли в крокет. Поездка в сентябре 1923 года ознаменована эпосом — «Осиниадой», шуточной поэмой в шести главах. Поэму написали Даниил и Ада Магидсон, «два титана» кисовцев, так они названы в другом сочинении тех лет — «Победа острящих». «Осиниада» начиналась с описания приезда:

Порой веселой сентября,
Желаньем шалостей горя,
Три восхитительные рожи
Помчались к берегам Сенёжа.
Кирилл, Данюша и Елена...

(Есть вариант: Некрасов, Даня и Елена). Кирилл Щербачев, Даниил Андреев и Елена Леонова (или, как все ее звали, Нэлли, «прелестная, как ветки ели») были первыми, затем к ним присоединились четыре кисовки — Тамара, ее фамилии мы не знаем, Лиза Сон, Ада Магидсон и Галя Русакова и — тем же вечером — Юрий Попов и Борис Егоров. «Теперь здесь был почти весь “Кис”», — говорится в поэме.

Ночевали на сеновале — девочки направо, мальчики налево. Даниил спал, натянув на голову простыню, которую, смеясь, назвали его чепчиком. Погода не задалась, дождило (на редкость дождливым оказалось все лето 1923 года), но они веселились. Острили, обмениваясь рифмованными репликами. Это был «кисовский» стиль. Вот одна из сцен их времяпрепровождения, описанная, возможно, не без участия Даниила, в сочинении в пятнадцати главах с эпилогом «Победа острящих».

Вот они играют в крокет. «— Увы! напрасны все уловки! Сижу я прочно в мышеловке! — патетически скулил Алеша, стараясь незаметно пододвинуть свой шар на позицию».

Вот их забавы на сеновале. Мальчишки забираются на поперечные балки и прыгают в сено. «— Сейчас такое будет сальто, что вздрогнет остров Мальта!» — кричит Юра Попов. Забравшись выше всех, увлеченный, он непрерывно острит: «— Я сижу на этой балке, как в катафалке!» В «Победе острящих» здесь следует ремарка: «Оля вздрогнула: он предчувствует! Как это мистично!»

Откуда было знать Оле Блохиной, что в 1941-м Попов сорвется с крыши? Судьбы семнадцатилетних кисовцев, талантливых, безоглядно веселящихся, окажутся трагически сложными, как выпавшее им время.

Под «Победой острящих» дата — июль 1924. Победители, как явствует из сюжета, Даниил и Ада, сочинители «Осиниады» и сценариев «живого кино», которым они тогда увлекались. Предпоследняя глава «О нетерпимости посредственных людей и о гонении на истинный талант» вполне в стилистике ее героя:

«Даня несколько лет тому назад, еще в бытность свою цветущим юношей, почувствовал в себе вдруг влечение к живописи. Со свойственной ему талантливостью и широтой кругозора, он в ту же минуту постиг всю сложную технику старых и новых школ. Вместе с Адой они стали искать новый подход к искусству. Эти две многогранные натуры всюду встречали удачу и успех. Все, за что ни брался их гениальный ум, выходило необыкновенно талантливо и ново. Главное, ново. Они создали новую область в деле кинематографии, балета и драмы. Знаменитый Парижский театр

[«Comédie-Française»] во время постановки их пьесы обрушился от аплодисментов, и тысячи людей и франков погибли во славу этих двух самородков. Три режиссера сгорели от стыда и превратились в три кучки пепла, которым остальные посыпали себе головы. Они подвизались на поприще акробатики, и их “мосты” приобрели всемирную известность. Они даже получили приглашение заменить своими телами Бруклинский мост, — но своевременно отказались. Даже Кирилл, построивший мост через ручеек в Осинках, впал в ничтожество и начал наново учиться. При столь сильном напряжении интеллекта они нуждались изредка в абсолютном покое, и в Канатчиковой даче у них были сняты две постоянные комнаты, куда завистливые врачи ежегодно отправляли их на отдых. Вообще вся жизнь их, все их искания и достижения было сплошным триумфальным шествием.

Итак, они решили искать нового направления в живописи. При гибкости их ума они очень скоро нашли его. Он был основан на том же принципе остроумия и заключался в том, что на одном гигантском холсте изображался ряд предметов с одинаковым окончанием названий. Например, и всемирно известная картина “Сон в Иванову ночь”, висевшая в Лувре, изображала целый ряд предметов, оканчивавшихся на “ОН”: граммофон, вагон, Магон, трон, фараон, слон, Лиза Сон, хамелеон и т. д. Необходимым условием композиционного равновесия таких картин являлось то, что правую половину холста писала Ада, а левую Даня; или наоборот.

Теперь они работали над гигантской мистической картиной, называвшейся “Муза Блока” и изображавшей предметы на “АРЬ”: фонарь, дикарь, гарь, пахарь, звонарь и пр. Ее они готовили к Осенней выставке в Москве и рассчитывали на особенный успех.

Меж тем Сережа, тайно от общежития, занял пост эксперта по приемке картин на выставку. Тут-то и разыгралась драма: когда Ада с Даней приволокли картину, им отказали, сказав, что не принимают картин “острящих художников”. В этой интриге Сережа играл, конечно, роль предводителя. Но Ада с Даней не видели его руки в этом грязном деле и, вернувшись домой и рассказав всем о своем фиаско, повесили картину в столовой в назидание потомству».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДУГГУР. 1923—1927

1. Дуггур

Отрочество и юность Даниила Андреева совпали с революционным сломом. Иногда казалось, что вихри улеглись, жизнь, текущая своим чередом, соединяет разрывы и не везде зажата гранитно-чугунными берегами утопии. Но ощущение, что происходящее — отражение неусследимой ожесточенной борьбы, в которой верховодят силы тьмы,

появилось в нем тогда. Оно было поэтическим и мистическим. Грозное и безжалостное проглядывало за лицами и ликами совершавшегося.

Состязания в острословии, придумывание «живых картин», сочинительство, убегание в природу — это не только избыток юных сил, но и попытка уберечь свой мир от натиска злой действительности.

Можно предположить, что «погружение в Дуггур», как Андреев называл несколько лет своей юности, началось следом за последними шумливыми днями в школе, за поездками дождливым летом на Сенёж. Об этом «темном периоде», его наваждениях и соблазнах дошли самые смутные сведения. Не потому, что он утаивал нечто постыдное. Хотя и походя вспоминать о том времени не любил. Но многое, не внешнее, а внутренне пережитое — «соблазн, кощунство, ложь, грехи» — отозвалось и в «Розе Мира», и в трех циклах, названных «Материалами к поэме “Дуггур”». В них ставший мифопоэтическим эпосом рассказ о духовных мороках и развилках ранней молодости:

Не летописью о любви,
Не исповедью назови
Ты эту повесть:
Знаменовалась жизнь моя
Добром и злом, но им судья —
Лишь *Бог да совесть*.

Имя Даниил в переводе с древнееврейского означает: «Бог мне судья». Суд над самим собой, суд совести, в сущности, тоже Божий суд, требующий порыва к Вышнему. Стихотворения дуггуровских циклов и есть суд, заканчивающийся молитвой к Звезде морей, Богородице.

Безумных лет кромешный жар
И путеводный свет Стожар
В любой секунде
Тех непроглядных, вьюжных дней,
Да вспыхнет гимном перед Ней...

Но здесь суд превращается в мистериальное видение собственной юности, когда душа проходит по грани и в ней идет борьба с демонической тьмой. Дуггур — инфернальный слой, где царят демоны великих городов. Это мир хмурой городской ночи, в которой преобладают «тона мутно-синие, сизые, серые, голубовато-лунные». В каждом из городов Дуггура своя великая демоница, населяют же их мелкие демоны обоего пола, едва отличающиеся от человека. Сущность этих демонов — безмерное сладострастие. Дуггур описан в «Розе Мира»:

«Демоницы Дуггура телесно отдаются одновременно целым толпам, и в их обиталищах, полудворцах-полукапищах, идет непрерывная, почти

непонятная для нас оргия во славу демонической царицы Луны, той самой, чье влияние испытываем иногда мы, люди, в городские лунные ночи: оно примешивается к маняще возвышенному и чистому влиянию светлой Танит, возбуждая в человеческом существе тоску по таким сексуальным формам наслаждения, каких нет в Энрофе... Единственным светилом в Дуггуре, его солнцем, служит Луна, поэтому б*о*льшую часть времени этот слой погружен в глубокий сумрак. Тогда вступает в свои права искусственное освещение — длинные цепи мутно-синих и лиловатых фонарей...»

Там есть и предупреждение: «Для человеческой души срыв в Дуггур таит грозную опасность. Срыв происходит в том случае, если на протяжении жизни в Энрофе душу томило и растлевало сладострастие к потустороннему...» Какое же мистическое сладострастие смущало юность Даниила Андреева?

1923 годом помечено стихотворение «Юношеское», дописанное или поправленное в 1950-м. В нем угадываются очертания Дуггура: «Смутно помнятся конусы древнего, странного мира — / Угрожающий блеск многогранных лиловых корон...»

Стихотворение о богоборческих соблазнах первой строкой — «Мы — лучи Люцифера, восставшего в звездном чертоге...» — заставляет вспомнить гумилевскую «Балладу»: «Пять коней подарил мне мой друг Люцифер...» Тем более что у Гумилева можно найти и намек на лунную демоницу Дуггура: «И я отдал кольцо этой деве Луны / За неверный оттенок разбросанных кос...» Были стихи о Люцифере и у домашнего мэтра, Коваленского, в ту пору захваченного сомнительной мыслью о предстательстве перед Богом за Люцифера. Но о каких соблазнах говорит Андреев? Его строки — «Вспомни собственный дух в его царственном, дивном уборе! / Цепь раба растопи в беспощадном, холодном огне!» — действительно «нашептаны» Богоборцем или они отголосок ницшеанства? Нет, за символистскими формулами и словарем не одни книжные умозрения, а и жизненные вопросы. На них поэт не отвечает, но они говорят о состоянии еще не оперившейся души, когда ее затягивают вихревые потоки злого, растерянного времени:

Что разум, и воля, и вера,
Когда нас подхватят в ночи
От сломанных крыл Люцифера
Спирали, потоки, смерчи?

Вообще интерес к мифологическим ликам зла присутствовал в самом тогдашнем воздухе. Бессарабова упоминает в дневнике 1918 года, как они с двоюродной сестрой Даниила разбирали «вереницу демонических ликов»98: Люцифера Мильтона, Сатану Бодлера, Мефистофиля Гёте, Черта Достоевского, демонов Лермонтова и Врубеля, дьявола Ропса и Вия Гоголя.

Рассказывая о трансфизических странствиях, Андреев говорит и о коснувшемся его потустороннем сладострастии:

«Если подобные странствия совершаются по демоническим слоям и притом без вожатого, а под влиянием темных устремлений собственной души или по предательскому призыву демонических начал, человек, пробуждаясь, не помнит отчетливо ничего, но выносит из странствия влекущее, соблазнительное, сладостно-жуткое ощущение. Из этого ощущения, как из ядовитого семени, могут вырасти потом такие деяния, которые надолго привяжут душу, в ее посмертии, к этим мирам. Такие блуждания случались со мною в юности, такие деяния влекли они за собой, и не моя заслуга в том, что дальнейший излучистый путь моей жизни на земле уводил меня все дальше и дальше от этих срывов в бездну».

В те годы он часто рассуждал о теории двух бездн (взятую у Достоевского, ее некогда развивал Мережковский): есть «бездны горнего мира и бездны слоев демонических». В порыве к горнему грозит опасность оказаться в темной бездне. Но это все же лучше плоского существования в затягивающем «болоте». Из темной бездны можно вырваться и взлететь. Раскрывшаяся перед ним бездна приобретала в его сочинениях все более впечатляющие подробности. Среди тех созерцателей горнего, кого сумела затянуть демоническая бездна, Андреев называет Иоанна Грозного. В поэме о нем, потому и названной «Гибель Грозного», он говорит и о собственном опыте. Его Грозный пережил те же детские видения Небесного Кремля и Солнца Мира, играя мальчиком в кремлевском саду, что и он (они описаны в триптихе «У стен Кремля») прошел то же испытание обеими безднами. И от страшного испытания отказаться не хочет:

Но не отрекусь от злого бремени
Этих спусков в лоно жгучих сил:
Только тот достоин утра времени,
Кто прошел сквозь ночь и победил...

Речь идет не только о личном, но и о пепелящем историческом опыте. Такое понимание блужданий еще не определившейся души пришло через годы. А тогда, в «темный период», ему было 18, 19, 20 с небольшим лет — возраст отчаянной влюбленности, болезненности переживаний, возраст безумств, подвигов, преступлений, самоубийств.

Россия переживала тот же темный период. Военный коммунизм, кровавый, тифозный, голодный, в шинелях и кожанках, закончился. В 1921 году провозгласили нэп. Москва с обшарпанными фасадами, прислушивающаяся к погрохатываниям Гражданской войны, медленно оживала. Даниил шел в школу через Арбат, где прилавки становились заманчивыми, расцветая колбасами, сырами, балыками, а витрины пестрели дамскими туалетами и побрякушками. Прохожие с усталыми

и угрюмыми лицами, барышни и неунывающие дети останавливались, глазели. Вечерами загорались огни, высвечивая ресторанные подъезды, на Тверском гурьбой расхаживали проститутки.

ЧК действовала уверенно, аресты никого не удивляли. Заканчивались вооруженные схватки, а война идейная становилась беспощадней: ширилась борьба с религией, религиозной философией, со свободомыслием. Выслали неугодных писателей и мыслителей. В «Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы...» из массовых библиотек в первую очередь включены религиозные философы — Платон, Кант, Шопенгауэр, Ницше, Владимир Соловьев. В библиотеках в отделах религии разрешались только антирелигиозные книги. Но Даниилу, его друзьям, как это и должно быть в юности, казалось, что все плохое вот-вот кончится, они старались расслышать зов будущего.

В январе 1924 года кисовцы поехали в деревню Дунино под Звенигородом кататься на лыжах. Оловянишникова вспоминала: «Останавливались в избе, которая была перегорожена надвое. В большей части расположились мальчики. Даня спал на старой кушетке, в которой, по его выражению, было “море железа”. Мы, девочки, спали на полу, на сене, во втором закутке. После дня, проведенного на морозе, в лесу на лыжах, Даня и Алеша [Шелякин] разлеглись на нашем сене, не оставив нам места, и вели какой-то философский разговор, рассказывая потом, что “девочки с благоговением слушали нас у наших ног”»[99].

22 января умер Ленин, на зданиях вывесили красные флаги с нашитыми черными полосами. Жуткий мороз, надрывные сиплые гудки, молчаливые люди на улицах. Немая очередь в Дом союзов, потрескивание больших костров, у которых грелись тоже молча. Плакат «Ильич умер, Ленин жив». Всеми читается переданная по телеграфу из Тифлиса статья Троцкого «Ленина нет!». Учащихся в Колонный зал пропускают без очереди. Торжественно-мрачное явление государственной смерти, завершившее первое советское царствование, задело всю Москву, всю насторожившуюся зимнюю страну.

2. Врубель, Лермонтов, Достоевский

Образы Дуггура Андреев увидел на «люциферических» полотнах Михаила Врубеля и в стихах второго тома Александра Блока. Блок видел рядом с собой Врубеля, различал на его полотнах «дьявольский сплав из многих миров, преимущественно синего и лилового»[100]. Так и андреевский темный мир с врубелевским колоритом вырастает из символистского, блоковского. Этот вполне декадентский колорит конца — начала века присутствовал и в добровском доме. Малахиева-Мирович описывала комнату Шуры Добровой: «Бердслей, Уайльд и Боделэр / В твоем лилово-синем гроте / Своих видений и химер...»

В «Розе Мира» «Поверженный демон» назван демоническим инфрапортретом, в «Странниках ночи» — «иконой Люцифера». В романе полотно описано с восхищением, рискующим перейти в мистическое сладострастие:

«Казалось, на далеких горных вершинах еще не погасли лиловые отблески первозданного дня; быстро меркли его лучи на исполинских поломанных крыльях поверженного, — и это были не крылья, но целые созвездья и млечные пути, увлеченные Восставшим вслед за собой в час своего падения. Но самой глубокой чертою произведения было выражение взора, устремленного снизу, с пепельно-серого лица — вверх: нельзя было понять, как художнику удалось — не только запечатлеть, но только хотя бы вообразить такое выражение. Невыразимая ни на каком языке скорбь, боль абсолютного одиночества, ненависть, обида, упрек и тайная страстная любовь к Тому, Кто его низверг, — и непримиримое “нет!”, не смолкающее никогда и нигде и отнимающее у Победителя смысл победы».

Расплата за люциферический соблазн неизбежна. Врубелю приходилось спускаться к ангелам мрака. И — вырывается у Андреева — «было бы лучше, несмотря на гениальность этого творения, если бы оно погибло». Художник метался между евангельскими сюжетами, становившимися у него совсем не каноническими, тревожно болезненными, и неодолимой тягой к изображению взбунтовавшегося ангела, олицетворения мятежного человеческого духа.

Врубелевский Христос необычен, в его эскизах «Надгробный плач», «Воскресение» Он предстает неожиданным космическим символом. Такими же мистериальными образами-символами кажутся не только его ангелы и пророки, но и многочисленные демоны. Все они сохраняют лермонтовское начало, и это не только цикл иллюстраций к поэме. Но «Демона поверженного» даже жена художника называла современным ницшеанцем. А Даниил Андреев видел в этом болезненно впечатляющем образе и падшего ангела, и, вслед за Блоком, свидетельство вселенской борьбы, увиденной художником-вестником в инфернальных мирах. В стихотворении «Перед “Поверженным демоном” Врубеля» (1950) описано то, что грезилось ему перед полотном в Третьяковке, где он ощущал и себя «на границе космической ночи»:

В сизый пасмурный день
я любил серовато-мышиный,
Мягко устланный зал —
и в тиши подойти к полотну,
Где лиловая тень
по трёхгранным алмазным вершинам
Угрожающий шквал
поднимала, клубясь, в вышину.

Андрееву казалось, что в нем самом «тлеет» «тусклым углем — ответный огонь...». Но огонь чего — «Бунта? злобы?.. любви?..» — он ответить еще не мог. Стихотворение написано в тюрьме, когда юношеские искусы осмыслены. Но картины преисподних миров, развернувшиеся перед ним, навсегда облеклись во врубелевский пепельно-лиловый колорит. Блок писал в статье «Памяти Врубеля»: «Падший ангел и художник заклинатель: страшно быть с ними, увидать небывалые миры и залечь в горах. Но только оттуда измеряются времена и сроки; иных средств, кроме искусства, мы пока не имеем». Блок называет Демона Лермонтова и Врубеля «символом нашего времени», а самого художника — вестником, который принес весть «о том, что в сине-лиловую мировую ночь вкраплено золото древнего вечера»101. Андрееву не могли не вспоминаться эти слова Блока, из них вырастало его понимание вестничества.

Зачарованность Врубелем связана с любовью к Лермонтову, гениальному поэту-мистику, причисленному в «Розе Мира» к тем, чье «творчество отмечено смутным воспоминанием богоборческого подвига, как бы опалено древним огнем». Лермонтовский Демон для Андреева не литературный образ, а отражение опыта встреч с иерархиями зла.

В «Розе Мира» говорится о духовном разладе, начавшемся в России еще в XVII веке, о том, что творчество и Лермонтова, и Достоевского, и Врубеля, и Блока лишь разные его исторические этапы. Разлад коснулся многих творцов-вестников. Говоря об этом, Андреев обращается прежде всего к собственным переживаниям: «Есть гении, свой человеческий образ творящие, и есть гении, свой человеческий образ разрушающие. Первые из них, пройдя в молодые годы через всякого рода спуски и срывы, этим обогащают опыт своей души и в пору зрелости постепенно освобождаются от тяготения вниз и вспять, изживают тенденцию саморазрушения, чтоб в старости явить собою образец личности, все более и более гармонизирующейся, претворившей память о своих падениях в мудрость познания добра и зла».

Кроме Блока и Врубеля в темных странствиях его сопровождал Достоевский, которого он называет первым из величайших русских художественных гениев. Поступая в институт, на вопрос, в какое время года шел убивать старуху Раскольников, Андреев ответил так, что экзаменовать его больше не стали. Достоевского он перечитывал постоянно, читал о нем все, что попадалось, от Гроссмана до Ермилова. Бессарабова упоминает в дневнике о том, как у Добровых говорили «о “Бесах” Достоевского, о работе Гроссмана о Бакунине и Ставрогине...»102.

Достоевский в «Розе Мира» назван среди тех, кто претворил память о собственных падениях в мудрость познания добра и зла, а также среди великих созерцателей «обеих бездн». Многоголосые романы Достоевского будоражили, их страницы переживались как мистические откровения, их взыскующие последней истины герои и отчаянные

«кощунники» присутствовали рядом. Так Андреев воспринимал не только Достоевского, в любом произведении искусства он различал отражения иных миров. В душах Ставрогина и Свидригайлова ему открывались сумрачные отсветы Дуггура. Достоевский «проводит нас, — писал он, — как Вергилий проводил Данта, по самым темным, сокровенно греховным, самым неозаренным кручам, не оставляя ни одного уголка — неосвещенным, ни одного беса — притаившимся и спрятавшимся».

3. Блок

Среди великих созерцателей «обеих бездн», горней и демонической, кроме Иоанна Грозного и Достоевского в «Розе Мира» назван Лермонтов. «Четвёртым, — говорит Андреев, — следовало бы назвать Александра Блока, если бы не меньший, сравнительно с этими тремя, масштаб его личности». Но именно Блок оказывается его самым близким спутником в «темные годы».

Даниил Андреев вырастал с блоковской поэзией. Блока, чувствуя с ним внутреннее родство, почитал не только его отец, он стал главным поэтом для поколения его сестры. Александра Филипповна рассказывала потьминским солагерницам о Блоке — «не только о творчестве, но и отдельные эпизоды из жизни поэта»103, с актерским воодушевлением читала стихи. Ее муж, троюродный брат Блока, воспитывался в ближайшем символистском окружении поэта.

Когда-то Блок написал о себе: «“Мистицизм” дал мне всю силу *к жизни*, какая есть <...> она проявилась хотя бы в тех же стихах...»104 Андреев воспринимал блоковскую поэзию именно мистически, переживал ее не как «литературу», а как жизненное откровение. Слова любимого поэта о том, что «революция совершалась не только в этом, но и в иных мирах», что она проявление «помрачения золота и торжества лилового сумрака»105, для него не метафоры, а протокольное описание событий. Глава о Блоке в «Розе Мира» названа «Падение вестника». В ней судьбу поэта он представляет как трагедию духовного спуска по лестнице мистических подмен. В его стихах он узнает урбанистические пейзажи Дуггура, слышит призывы лунных демониц: «Бегите все на зов! на лов! / На перекрестки улиц лунных!»

Для него очевидно, что Блок побывал в Дуггуре. Ведь «каждая душа человеческая, побывавшая в этом темнолунном городе, не может не помнить этого, хотя бы и совсем смутно». А в петербургских стихах Блока ему видятся ожившие призраки Дуггура, и среди них демоница Воглеа, исподволь подменившая образ поруганной Прекрасной Дамы. Стихи — самые убедительные свидетельства пребываний там, и, рисуя демонический мир, над которым высится статуя Всадника с дымящимся факелом на исполинском змее, а не на вздыбленном коне, он цитирует строфы блоковского «Петра».

В лирических книгах Блока Андреев всюду обнаруживает демонические отблески и образы. Незнакомка для него существо, влекущее сквозь чадные, мутные ночи в лунный Дуггур, его обитательница. Считая Блока зараженным неутолимым томлением к Незнакомке, он здесь говорит столько же и о себе, сколько о любимом поэте. О своей очарованности лунным образом, мерещившимся за очевидно посюсторонним обликом одноклассницы — Галины Русаковой. За ним ему и позднее чудился Дуггур, ее имя он называл в стихах лунным.

Некоторые стихи Блока Андреев считает документами, говорящими «о жажде саморазрушения, своего рода духовного самоубийства». Эту же тягу к гибели, которой хочет сердце и «тайно просится на дно», пережитую Блоком, влюбленным в Волохову, но видевшем за ней другой, мистически соблазнительный образ (непременно связанный с Дуггуром!), Андреев ощутил вслед за гипнотизировавшим его поэтом. У него гибельность приходит с несчастной любовью к Русаковой. Поэтому, чтобы понять происходившее с ним в «темный период», нужно вчитаться в то, что он пишет о «падении» Александра Блока. В главе «Розы Мира», ему посвященной, любовь и горечь. Он переживает «падение вестника» как собственное:

«Блок всю жизнь оставался благородным, глубоко порядочным, отзывчивым, добрым человеком. Ничего непоправимого, непрощаемого, преступного он не совершил. Падение выражалось во внешнем слое его жизни, в плане деяний только цепью хмельных вечеров, страстных ночей да угаром цыганщины. Людям, скользящим по поверхности жизни, даже непонятно: в сущности, какое тут уж такое будто бы ужасное падение, о какой гибели можно говорить?»

Блоку падение в итоге прощается — после кратковременного пребывания в чистилищах, вместе с Леонидом Андреевым, с Фетом и другими небезгрешными творцами, он — согласно «Розе Мира» — помещается в Синклит Небесной России.

4. Галина Русакова

Поэзия Блока так переживалась Даниилом, что стала высвечивать события его жизни, трансформируясь в образы собственных незнакомок, двойников и снежных масок.

Еще в 1923 году написана позже переработанная «Элегия», обращенная к Галине Русаковой, когда он надеялся, что их «свиданья рассыпаны млечною пылью / У будущих солнц, на еще не пройденном пути». «Элегию» он включил в посвященный первой любви цикл «Лунные камни». Это камни ночного пейзажа Дуггура. Через стихотворения, повторяясь, проходят мотивы заиндевелой, вьюжной Москвы, озаренной фонарями.

«Бульвар уже был совсем пуст, когда на него вышел молодой поэт, — повествовал он в «Сказочке о фонаре», — разгоряченный стихотворным

письмом к своей возлюбленной, которое и писал весь вечер. Теперь ему хотелось, чтобы прохладный ветер освежал его лоб, а над головой сверкали звезды. Но тысячи городских фонарей затмевали свет небесных светил, небо казалось невыразительным и бледным». Поэт сказочки автобиографичен, и в его стихах связавшиеся с блоковской «Снежной маской» переживания ведут в мир заснеженный, ночной и узнаваемо московский.

Там, за городскими пустырями,
За бульваром в улице немой
Спит под газовыми фонарями
Снег любви зеленоватый мой.

Виновница воспаленных страданий поэта вряд ли понимала мистериальный масштаб, до которого они вырастали в его стихах. Но под голубоватым лунным светом тени на снегу становились фиолетовыми, вытягивались и оживали, увлекая, на грани сумасшествия, в иррационально сумрачные миры. Эти миры, для него непреложно реальные, представлялись Дуггуром, в подробностях увиденным позже, в сновидческие тюремные ночи.

Терзания неразделенной любви влекли на полуночные улицы. Часто ему сопутствовал закадычный друг, Юрий Попов. Их бессонные гулянья легко заводили в лунный морок. А в воображении она, земная и своенравная, не кокетливая, но гордящаяся собой, косами «цвета меда», тянувшаяся к человеческому счастью, представлялась нездешним образом, «правящим снами».

Я молил, чтоб идти вдвоем
Сквозь полуночный окоем
В убеленные вьюгой края
В совершенном царстве моем.
Не услышал мольбу никто.
Плотным мраком все залито...

Путь в «совершенное царство» оказывался невозможен без ее лица, ее светящихся глаз.

О Галине Русаковой и Юрии Попове, двух действующих лицах поэмы «Дуггур», нам известно мало. Был ли Попов удачливым соперником поэта? Но именно этот «треугольник» — главное переживание на «темных» и «светлых» кругах юности. Первая и неразделенная любовь выводила на извилистые тропы, воздвигала миражи отчаяния.

5. Юрий Попов

Одноклассника Юрия Попова Даниил Андреев называет темным другом ненастной молодости. Попов был единственным спутником и поверенным его полуночных плутаний, которого он любил «горчайшею из дружб». Дружбу запутала несчастливая любовь:

И вот, святое имя юное,
Намеком произнесено,
Зашелестело птицей лунною,
С тех пор — одно... всегда одно.

Оба соперника были отвергнуты. Но, наверное, только Андреев так мучительно переживал «неразвязуемый» узел. Поэтому в задуманном «безумном бунте» с упорством решил идти до конца, не считаясь ни с чем и ни с кем. Попова он невольно увлекал за собой, так ему казалось.

Долг осмеян. Завет — поруган.
Стихли плачущие голоса,
И последний, кто был мне другом,
Отошел, опустив глаза...

Брезжит день на глухом изгибе.
Время — третьему петуху.
Вейся ж, вейся, тропа, в погибель,
К непрощающемуся греху.

К тому, что сказано Андреевым о друге в стихах, добавить можно немногое. Тогда, в ненастной молодости, Юрий Попов начал пить, потом спиваться. Он стал художником — карикатуристом и мультипликатором. Сотрудничал в «Крокодиле», работал как художник-постановщик, его имя стояло в титрах известнейших в те годы мультфильмов — «Квартет» (1935), «Котофей Котофеевич», «Любимец публики» (1937). Но друзья-художники о нем с осуждающей усмешкой говорили: «Попов всюду, где бывает в гостях, выпивает весь одеколон»[106].

Трагедия произошла в сентябре 1941 года. Попов в подпитии дежурил на крыше, тушил зажигалки и сорвался. В его гибели Даниил винил и себя. Почему? Вряд ли кто-нибудь сможет ответить. То ли он считал себя ответственным за то, что друг стал спиваться, и пил так, что даже казался похожим на одержимого бесами. Так о нем говорили. Или речь идет о неведомом нам поступке? Чуткие совестливые люди всегда ощущают вину, когда погибают близкие. Он переживал эту вину мучительно:

И камень зыбких лестниц мрака
Шатнулся под твоей ногой:

Ты канул — и не будет знака
Из рвов, затянутых пургой.

Лишь иногда, пронзив ознобом,
Казня позором жизнь мою,
Мелькнет мне встреча — там, за гробом,
В непредугаданном краю.

Андреев считал себя недостаточно наделенным способностью к раскаянию. Писал об этом жене из тюрьмы, когда та заметила, что он мучает себя тем, что от него не зависит, что он напрасно не пытается «забыть тропинок», закручивавших его юность[107]. Он возражал:

«Я нахожу, напротив, что одарен этой способностью в весьма недостаточной степени. <...> Я вообще считаю, что человек, если он хочет быть глубоким, и в особенности мужчина, не должен прятаться ни от каких переживаний, сколь бы мучительны и тягостны они ни были. Наоборот, он должен стремиться пройти сквозь них до конца. А концом может быть только полное развязывание данного кармического узла, — хотя бы за порогом смерти. Например, у меня есть на памяти одна большая, очень серьезная вина перед покойным Ю. Поповым. Здесь она развязана не была, и теперь, поскольку его уже нет в живых, так и останется — чтобы развязаться — не знаю, где, когда и как. Но пока она не развязана, острое, жгучее чувство этой вины будет во мне жить, хотя, разумеется, случаются целые дни, когда я ни разу даже не вспомню об этом. А не вспоминаю — по легкомыслию, тупости сердца, по недостатку глубины»[108].

Но зачем же головокруженье
Захватило сердце на краю
В долгий омрак страстного паденья,
В молодость бесславную мою?

Узел жизни — неужели это,
Что я в молодости завязал?

Подобные мучительные вопросы Даниил Андреев не переставал себе задавать всю жизнь, считая, что именно он погубил Юрия Попова, что «виноват, и притом сознательно, в пьянстве друга»[109]. В черновиках «Розы Мира» есть запись о нем, о себе и Дуггуре: «Ю<рий> был в Дуг<гуре> спасен сил<ами> Св<ета> без самоуб<ийства>; т. е. не изжив соблазн до конца. Противовес слаб, но все же есть, и поэтому [он] не отягчит себя так, как мил<лионы> др<угих>. Об этом люди почти всегда молчат, да и смутно понимают. — У меня был противовес, и в момент решит<ельного> выбора *ты бы* отверг Дуг<гур>».

6. Поступки

«Когда произносишь слово “соблазн”, напрашиваются привычные ассоциации с набором недостойных поступков, совершаемых человеком, поддавшимся ему. Ничего этого в жизни Даниила не было: он не пил, не употреблял наркотиков, не предавался и не помышлял ни о каких извращениях, не касался женских объятий. Было сложнее и страшнее. У Даниила все и всегда уходило из реального плана в бесконечность. Так было и в темном периоде юности: да, есть и факты, о которых я знаю и не стану рассказывать, потому что дело не в них, немногих, а в том, что он слушал тот призыв к гибели»110 — так сдержанно о «темном периоде», о котором он очень откровенно рассказывал ей, свидетельствует его вдова.

Андреев искал полной гибели: ряд поступков, ведущих вниз, следовало завершить самоубийством. В блоковские «лиловые миры» и «серую бездну» должны свести, ступень за ступенью, всё более преступные действия. Он выстроил придуманную методологию духовной смерти. Следуя ей, воображал он, можно осуществить уничтожение собственной души. Среди этих поступков должны были быть — убийство животного, женитьба на нелюбимой и даже, если верить одной из современниц, приводящей признание поэта о такой попытке, убийство человека. «Он не сумел это сделать, но при этом поранил себе ножом руку (об этом у него были стихи)», — сообщает мемуаристка, добавляя: «Правда, предлогом для такого намерения было оскорбление девушки (вовсе ему не близкой)»111.

Эти поступки он называл тогда «служением Злу». Что ж, самоубийство тоже демонический вызов, и последний, какой может бросить человек Богу: «Возвратить Творцу билет». Этим вызовом, а не сладострастием тайной блоковской гибели, бредил Маяковский, маниакально, по крайней мере в стихах, примеряясь к самоубийству.

Но Даниил Андреев во власти морока и темного искуса с самого начала чувствовал, что Кто-то хранит его и на гибельном краю. В поэме «Немереча», обращаясь к Судьбе, он откровенен:

Как много раз Охране покориться
Я не хотел, но ты права везде:
Дитя не тонет в ледяной воде,
И ночью рвется шнур самоубийцы.

Ледяная вода — вода проруби на Черной речке, куда он влетел, катаясь на санках, в радужном детстве. Был ли рвущийся шнур петли? Вернее всего, что был, хотя нигде и никому об этом не рассказывал: в стихах он, как и всегда, ни о чем не говорил всуе. Не мог он не пережить те «роковые дни», о которых сказано Тютчевым: «И кто в избытке ощущений, / Когда кипит и стынет кровь, / Не ведал ваших искушений — / Самоубийство и Любовь». О подобном своем состоянии

он написал почти теми же словами: «...росла и пенилась в крови / Тоска, ничем не утоляемая, / О смерти, страсти, — о любви».

Но самым страшным соблазном стал кощунственный замысел духовного самоубийства, последнего вызова: «Все святыни отдам за мгновенье — / Бросить вызов законам Отца...»

Стихотворение, написанное, когда он уже изживал пору Дуггура, в марте 1930-го, говорит о страшном проступке на задуманном пути. После его совершения в душу должна хлынуть мистическая ночь и погубить ее: «Мерно вонзит нож / В сердце свое душа».

Об одном деянии, ведущем вниз, к саморазрушению, рассказано в «Розе Мира»:

«В моей жизни был один случай, о котором я должен здесь рассказать. Это тяжело, но я бы не хотел, чтобы на основании этой главы о животных у кого-нибудь возникло такое представление об авторе, какого он не заслуживает. — Дело в том, что однажды, несколько десятков лет назад, я совершил сознательно, даже нарочно, безобразный, мерзкий поступок в отношении одного животного, к тому же принадлежавшего к категории “друзей человека”. Случилось это потому, что тогда я проходил через некоторый этап или, лучше сказать, зигзаг внутреннего пути, в высшей степени темный. Я решил практиковать, как я тогда выражался, “служение Злу” — идея, незрелая до глупости, но благодаря романтическому флёру, в который я ее облек, завладевшая моим воображением и повлекшая за собой цепь поступков, один возмутительнее другого. Мне захотелось узнать наконец, есть ли на свете какое-либо действие, настолько низкое, мелкое и бесчеловечное, что я его не осмелился бы совершить именно вследствие мелкого характера этой жестокости. У меня нет смягчающих обстоятельств даже в том, что я был несмышленым мальчишкой или попал в дурную компанию: о таких компаниях в моем окружении не было и помину, а сам я был великовозрастным багагаем, даже студентом. Поступок был совершен, как и над каким именно животным — в данную минуту несущественно. Но переживание оказалось таким глубоким, что перевернуло мое отношение к животным с необычайной силой и уже навсегда. Да и вообще оно послужило ко внутреннему перелому».

Внутренний перелом, о котором сдержанно сообщается, мог быть похож на пережитый в молодости старцем Зосимой в «Братьях Карамазовых» Достоевского — любовная неудача, дурной поступок, затем раскаяние и прозрение. Но и позднее Дуггур, судя по стихам, пытался настичь его.

Дуггуром веяло в годы его юности и над домом Добровых, превращенным в стесненную коммуналку. Неожиданный роман обожаемого всеми главы дома. Омраченная кокаином судьба Арсения Митрофанова, двоюродного брата. Присутствие двойственной, порочно обаятельной Эсфири — «падшего Серафима». Нервное болезненное состояние Шуры, живущей образами «Цветов зла». С 1917 года началось

блуждание по богемному Дуггуру его брата Саши, любимца женщин: кокаин, анаша, алкоголь, беспутство. Осенью 1925-го он попал в больницу. Бессарабова записала в дневнике: «Беда-горе о Саше переполнило дом, как чашу, до краев. <...> Мать его, как распятая на кресте»112.

7. Высшие литературные курсы

Темный зигзаг внутреннего пути пришелся на студенчество. После школы Даниил Андреев собирался поступить в университет, но даже к экзаменам «сына контрреволюционного писателя» не допустили. Тогда он стал учиться в Институте Слова, где уже занималась Ариадна Скрябина. Туда принимали всех, занятия проходили по вечерам.
В Институте Слова было четыре факультета: декламационный, художественного рассказывания, ораторский и литературно-творческий. На декламационный поступила его одноклассница Елизавета Сон. Помещался институт на Большой Никитской, недалеко от Никитских ворот.

Институт Слова был образован из института декламации осенью 1920-го. В его организации принимал участие Брюсов, преподававший в нем поэтику. Не всем его уроки казались «занимательными», «уж очень все было точно и формально, — вспоминал художник Сергей Лучишкин. — Но знал он свой предмет блестяще. К тому же он привлекал к занятиям известных поэтов-символистов, поэтому мы имели возможность общаться с Андреем Белым, Вячеславом Ивановым, Константином Бальмонтом»113. С 1924 года в нем профессорствовал Юрий Верховский, читая курс по истории итальянской литературы, а после его закрытия весной 1925-го, на Литературных курсах «при Союзе поэтов»114. Андреев в автобиографии сообщает, что поступил в Литературный институт «в следующем году» после окончания школы. Но, видимо, это потому, что институт преобразовывался, менял названия. В дневнике Бессарабовой 19 октября 1923 года отмечено, что «Даниил учится в Институте Слова»115.

Брюсовский Литературно-художественный институт, который сам поэт называл «консерваторией слова», после его смерти просуществовал недолго, об учебе в нем Андреева ничего неизвестно. Но осенью следующего года «развились взамен покойного института из Студии Союза Поэтов»116 Высшие государственные литературные курсы — ВГЛК. История их возникновения непроста. Первоначально, с 1925 года, существовали Литературные курсы Главного управления профтехобразования на базе Литературной студии Всероссийского союза поэтов, руководимые тем же Брюсовым. С 1926 года это — Государственные литературные курсы Моспрофобра. В следующем году курсам присвоили наименование «Высших», присоединив к ним и Курсы живого слова, как, видимо, тогда уже именовался Институт Слова.

Готовили ВГЛК, согласно уставу, «творческих, редакционно-издательских и клубных работников»[117].

Часть студентов брюсовского института также продолжила учебу на Литературных курсах. Они были вечерними и платными, принимали всех желающих. Заведующий учебной частью Николай Николаевич Захаров-Мэнский — поэт и актер, тридцатилетний, с подпрыгивающей походкой и прядью на лбу, называвший студенток «деточками», — шутил, когда приходили абитуриентки из «бывших»: «У нас уже есть две княжны Гагарины!» Курсы собрали не только молодежь, но и разнообразных чудаков, тянувшихся к литературе, вроде шестидесятилетнего крестьянского поэта-самоучки Степана Аниканова.

Вот как вспоминала о курсах их слушательница Наталья Баранская (тогда — Радченко):

«На курсах собралась довольно пестрая публика: девчонки, только окончившие школу... пожилые учительницы, желающие “обновить знания”; молодые люди разных профессий, пробующие свое “перо”; экстравагантные подруги нэпманов, меняющие еженедельно цвет волос и ежедневно туалеты; девицы, стремящиеся облагородить свою речь; красотки в поисках интересных знакомств. Немногие одаренные талантом и многие просто любящие литературу. Среди них — отвергнутые государственными учебными заведениями за “плохое происхождение”. В их числе были потомки причастных к литературе семейств. На нашем курсе учился Андрей Бэер — праправнук Авдотьи Петровны Елагиной (в первом браке Киреевской) — это имена близких знакомых Пушкина; Игорь Дельвиг (может, и не прямой потомок Дельвига-поэта), внучка знаменитого издателя Лена Сытина. Поступали на курсы и “чуждые элементы” не столь громких фамилий, дети священников, церковных и государственных деятелей прошлых, “царских” времен, так называемых лишенцев (людей, лишенных гражданских прав)»[118].

Почти все на курсах оказались стихотворцами. Поэтами стали немногие. Сомнительным заведением казались эти курсы. Канцелярия их какое-то время ютилась в доме Герцена на Тверском, вместе с таким же временным и пестрым Союзом поэтов. ВГЛК даже не имели собственного помещения — занятия шли то в школах, на одной из Тверских-Ямских, на Садовой-Кудринской (дом 3), то в других местах.

«По преподавательскому составу, по программе учебной — эти курсы, — вспоминала Мария Петровых, — были совершенно блестящим учебным заведением»[119]. Профессура на ВГЛК действительно собралась замечательная, многие перешли сюда из Брюсовского института. Здесь преподавали: теорию драмы — Владимир Михайлович Волькенштейн, римскую и итальянскую литературу — Аполлон Аполлонович Грушка, французскую литературу — Борис Александрович Грифцов (в Институте Слова он читал курс всеобщей литературы), литературу Востока —

Алексей Карпович Дживелегов, теорию прозы — Константин Григорьевич Локс, русскую литературу читал Иван Алексеевич Новиков, немецкую, а потом и курс перевода — Григорий Алексеевич Рачинский (некогда позволявший себе говорить студентам: «Свобода! Покажут еще вам вашу свободу!» — и цитировал Гёте: «Никто в такой мере не раб, как тот, кто мнит себя свободным, им не будучи»), историю искусств — Алексей Алексеевич Сидоров, стихосложение — впалостью щек и торчащей бородкой напоминавший Дон Кихота, «мистически настроенный» Иван Сергеевич Рукавишников, старославянский язык — Сергей Иванович Соболевский, древнегреческую литературу — Сергей Михайлович Соловьев, эстетику — Густав Густавович Шпет. Семинар «Поэты пушкинской поры» вел Иван Никанорович Розанов (также преподававший в Институте Слова), приглашавший студентов к себе домой, удивляя исчерпывающим собранием русской поэзии. Домой приглашал студентов и Рачинский, живший неподалеку. Старик, типично профессорской внешности — седой, бородатый, в очках, слышавший речь Достоевского о Пушкине, приятельствовал с Андреем Белым и пламенно говорил о Блоке. А тот же Захаров-Мэнский начинал свой курс с того, что наизусть, высоким по-женски голосом звонко декламировал «Слово о полку Игореве». Курс современной литературы читал (скучно и серо) Николай Николаевич Фатов. Но к Даниилу Андрееву он, написавший книгу не только о Демьяне Бедном, но и о его отце — «Молодые годы Леонида Андреева», мог питать особенный интерес. Но тот вряд ли явил расположение биографу отца, писавшему о нем: «Последние годы он добровольно провел “по ту сторону” советской черты, глубоко возмущая всех честных граждан Р. С. Ф. С. Р. своими клеветническими выпадами против рабоче-крестьянской власти...»[120]

Студенты и восхищались профессорами, и вышучивали их в курсовых «куплетах». Рукавишникова:

Знак масонский — на груди,
С бородой козлиной,
Рукавишников гряди
В альмавиве длинной!

Розанова:

Слова неспешны,
Слова безгрешны
Под розановским языком.
У Каролины
Справлял крестины
И лично с Вяземским знаком[121].

Перед скандальным закрытием курсов в газете «Безбожник» появилась заметка «На черную доску. Кто калечит нашу молодежь» с подписью «Свой» о преподавателях, названных «букетом вонючего черносотенства»:

«Вот: бывший академик, член Союза русского народа, ближайший друг Распутина, почетный член всех русских и многих заграничных духовных академий А. И. Соболевский, его брат — С. И. Соболевский, не выходящий из церкви И. П. Лысков, на своих уроках грамматики не умеющий подобрать никаких других примеров, кроме примеров из священного писания, собравший всех их Н. Н. Захаров, в религиозном экстазе посещавший лекции тихоновской контрреволюционной духовной академии, занимавшейся в одной из церквей, ксендз Красно-Пресненского костела С. М. Соловьев и, наконец, бывший член святейшего синода при Керенском, известный мракобес Г. А. Рачинский. Не правда ли, блестящий состав профессуры для центрального вуза, подготовляющего деятелей нашей будущей литературы?»122

Занятия на курсах шли вечером, а днем студенты занимались в Румянцевской библиотеке, терпеливо сидя в читальном зале у ламп с зелеными абажурами. Сиживал там и Даниил Андреев. В тюрьме он написал гимн библиотеке «в молчаливом дворце».

На ВГЛК училась его одноклассница — Муся Летник, как и он, глубоко верующая и тоже писавшая стихи, маленькая, тоненькая, с легкой косинкой задумчивых глаз и почти детским голоском. Плохо ее знавшим она казалась жеманной и кокетливой. Они дружили. Муся его познакомила с подругами — Натальей Радченко, Ириной Всехсвятской и Ниной Лурье. Наталья Радченко оставила набросок, рисующий Андреева тех лет: «Он бывал, как и мы, Мусины подруги, неизменным гостем на дне ее рождения. Даня — Мусин одноклассник, друг школьных лет, — думаю, был духовно близким ей человеком. В те юношеские годы он производил на меня впечатление цветка с надломленным стеблем, вернее всего ириса, не яркого, но изысканного, привядшего и все же живого. А может, это сравнение с цветком и надломленным стеблем подсказано словами самого Дани, произнесенными в каком-то споре с Ириной: “У вас типично короткий стебель сознания”. Мы подсмеивались над этими словами, повторяя их с Даниной томной интонацией, которую называли “декадентской”»123.

На курсах он познакомился с приехавшим из Керчи Вадимом Сафоновым, крепко стоявшим на грешной советской земле, несмотря на увлеченное стихописание. Оно их и сдружило. В те годы Сафонов не только сотрудничал в «Труде», а даже напечатал несколько стихотворений, начав с отклика на смерть Ленина. Как и Даниил, был принят во Всесопо — Всероссийский союз поэтов. Его возглавлял профессор ВГЛК и почти земляк Сафонова — Георгий Шенгели124. Союз, объединявший стихотворцев разного толка и калибра, просуществовал до 1929 года, но вряд ли чем-то мог помочь молодым

поэтам. Поэзия, любовь к Лермонтову, юность, когда и самые разные люди легко сходятся, — их подружили. Сафонов заходил в гостеприимный дом Добровых, а поселившись в Сергиевом Посаде, иногда оставался ночевать.

8. Семья

Весной 1926 года Даниил неожиданно получил письмо от брата, от которого долго не было известий.

После смерти отца, окончив гельсингфорсскую гимназию, живущий стихами и романтическими порывами Вадим Андреев в октябре 1920-го через Францию отправился в Добровольческую армию, потом из Батуми попал в Константинополь, где недолго поучился в русском лицее, оттуда в Софию и затем, в апреле 1922-го, в Берлин, город, где родился брат, где умерла их мать. Поначалу он и жил на той самой зеленеющей окраине, в Грюневальде, у поселившейся там мачехи. Не это ли сказалось на том, что Берлин Вадим, как и его отец, невзлюбил. Берлинские годы он позднее назвал «возвращением к жизни», замечая, что «пустить корни на чужой земле так же трудно, как сосне вырасти в солончаковой степи»125.

В Берлинском университете он изучал историю живописи, живя на стипендию Уиттимора для русских студентов. В Берлине в начале 1924-го вышла его первая книга стихов «Свинцовый час». Было в ней стихотворение с вызывающим названием — «Ленин»: «Весь мир, как лист бумаги, наискось / Это имя тяжелое — Ленин — прожгло». Летом того же года, не дождавшись обещанного советского паспорта, он перебрался в Париж, поступил в Сорбонну и занялся русской филологией. Но и в Париже, где дышалось легче, но жилось так же трудно, время от времени Вадим Андреев, плохо представлявший, что на самом деле творится в России, рвется на родину. В 1926 году он женился на Ольге Викторовне Черновой. Черновой она была по отчиму — знаменитому эсеру, настоящий ее отец — художник Митрофан Федоров. Семейство Черновых жило в кругу русского литературного Парижа. Одно время у них нашла приют Цветаева, дружили они с Ремизовыми. Ее сестры вышли замуж за друзей Андреева, Наталья — за поэта Даниила Резникова, Ариадна — за прозаика Владимира Сосинского.

Слухи о Вадиме, об Анне Ильиничне, ее детях до Добровых доходили с трудом. Даниила неожиданное письмо брата, с которым он не виделся почти десять лет, очень обрадовало. Он торопливо отвечал:

«До чего хочется видеть тебя, говорить с тобой! Я уже привык к одиночеству, и оно давит все реже, но брата я хочу иметь до + ∞.

Я пережил недавно одну очень неприятную историю, когда был поставлен в глупейшее положение одним подлым человеком, которому я доверился вполне. Но это было мне наказание, ибо такую же подлость совершил и я сам перед тем с третьим человеком, учась лгать. Вышло

восхитительно, роль свою сыграл я удачно, и даже очень, потому что результат превзошел все ожидания. Но это подло с моей стороны, и я был наказан за дело. Все это путаная и скверная история, которую я расскажу тебе, когда увижу тебя.

А сейчас я очень много занимаюсь; ибо идут зачеты (проклятые!). А перед тем очень много работал над своим романом».

Речь идет о романе «Грешники». Он его начал писать еще перед поступлением в институт, и этот замысел, как и многие его замыслы, прошел через всю жизнь, меняясь, трансформируясь. Позже, когда он писал «Странников ночи», Коваленский заметил: «Это те же “Грешники”». Даниил делился с братом в том же письме: «Знаешь, я прихожу к убеждению, что я за всю свою жизнь напишу всего 2 или 3 романа (и вовсе не длинных, — тот, который я пишу 2 ½ года, будет иметь всего 150 или около страниц, написал сейчас треть). А сижу я целые недели над тетрадями. У меня 16 толстых тетрадей черновиков. И думаю, что буду еще и еще переделывать — сотни раз — авось к старости что-нибудь и выйдет».

Его ночные бдения над романом время от времени перемежали стихи. Об этом он тоже бегло сообщает: «Писал тут стихи, и за них попал в Союз Поэтов. Сейчас уже больше месяца стихов не пишу — слишком занят прозой и учением.

Печататься не думаю еще лет 5—6».

Не спешили печататься и другие его однокашники, серьезно относившиеся к литературе, — Арсений Тарковский, Юрий Домбровский. Мария Петровых свидетельствовала: «Я не носила стихи по редакциям. Было без слов понятно, что они “не в том ключе”. Да и в голову не приходило ни мне, ни моим друзьям печатать свои стихи»126.

Писал Даниил брату и о семье: «А у нас в доме все то же — интересно, мирно и хорошо. Хорошие и интересные люди меня окружают. Все это очень приятно. Но бесконечно, тем не менее, хочется перемены, — и перемены самой простой — уйти и жить одному — совершенно одному, чтоб был сам себе господин. <...> Как твои делишки с переездом сюда?»

Повзрослевшему Даниилу жилось непросто. В переполненной квартире, в сердцах называемой «ночлежкой», трудно уединиться, чтобы писать. Некоторое время он жил в одной комнате с Сашей. С зимы 1922 года, когда Шура вышла замуж и в доме появился Александр Викторович Коваленский, а через полгода женился и Саша, он спал в столовой. Там привык — и привычка осталась навсегда — затыкать на ночь уши, иначе выспаться ему не давали. Тем более что рядом, за занавеской, раз в неделю проходил прием больных, начинавшийся рано, и в этот день Даниил, писавший по ночам, недосыпал.

«Их дом и после жестокого уплотнения так и остался Ноевым Ковчегом, где такие, как я, спасаются от потопа, бездомья и

неустроения»127, — записывала Ольга Бессарабова в октябре 1925 года. Она в это время ночевала в спальне старших Добровых за занавеской, рядом, в прихожей-приемной, спал золотобородый живописец Константинов. Некогда обширный докторский кабинет разделили на шесть комнатушек, в одной большая еврейская семья — Межибовские, в другой Екатерина Михайловна с собакой Динкой, в следующей ее племянник Владимир Митрофанов, поджарый, высокий и остроносый, часто шутивший молодой человек под тридцать, здесь же ее сын Арсений, рядом — Даниил, дальше Фимочка. Напротив спальни — комната Коваленских. Видимо, чуть позже в комнату, где раньше помещалась Екатерина Михайловна, вселились братья Ламакины — старший Николай, ровесник Саши Доброва, и младший Василий. Оба — геологи, учившиеся в университете.

Но и в тесноте коммуналки умели радоваться и смеяться. Когда Даниил спал в столовой, случилась история, названная «Адам и Ева». К Межибовским как-то приехала сестра матери семейства, Евгении Петровны, Ева. А в квартире жили три кошки, одну из которых на ночь обычно запирали в кухонном подвале. Ночью, сквозь сон, Даниил услышал, что кошка лезет в буфет. Спавший нагишом, он поймал кошку, пошел с нею вниз. Услышав шум, Ева встала, зажгла свет, и обнаженный Даниил от смущения и неожиданности запустил в нее кошкой и юркнул назад.

Неутомимый выдумщик, он любил розыгрыши. Вот один из них. Шура Доброва каждый вечер долгое время проводила в ванной. Однажды Даниил, когда она принимала ванну, «ступая на цыпочках, снес из столовой и гостиной все стулья, кресла и даже маленький столик в коридор и бесшумно нагромоздил их друг на друга, так, что на протяжении двух саженей — от двери кухни до двери спальни — образовалось заграждение высотою в человеческий рост». Свет в коридоре зажигался в передней. Шура, не понимая, в чем дело, с трудом выбиралась из ванной, стулья мешали, с грохотом падали, а Даниил сдавленно хихикал. Утром его ругали, но для проформы, даже с тайным одобрением. Через годы эту и другие свои выходки он приписал трубчевскому теоретику инфантилизма Ящеркину, герою новеллы из книги «Новейший Плутарх».

Старшие Добровы вполне понимали Даниила, в семье самого младшего, и прощалось ему многое, но и он, избалованный тетушками, в те нелегкие годы обязан был помогать семье, каждый месяц приносить какие-то деньги на хозяйство.

По всей вероятности, летом 1927 года Даниил побывал в Судаке. Во-первых, там поселилась очень больная, с парализованными ногами Евгения Альбертовна. Жить ей на старости лет стало не на что. Поэтому бывшие ученики ежемесячно собирали для нее деньги. (Эта помощь, свидетельствовала вдова Андреева, продолжалась до ее смерти; и большую роль в ней играл Даниил.) Во-вторых, счастливый случай:

для новых обследований Судакской крепости, начатых в 1925 году, из Москвы отправился профессор Александр Александрович Фомин. А он дружил с профессором Строгановым, мужем Надежды Александровны, их учительницы. Она и пригласила поехать с ними милую ее сердцу Зою Киселеву и Даниила. Это была возможность в то скудное время откормиться и отдохнуть.

Там, в Судаке, участвуя в раскопках византийской базилики (земляные работы — условие поездки), Даниил познакомился с первокурсником ВХУТЕМАСа Глебом Смирновым, и они подружились. Исследования Фомина по заданию Исторического музея и Археологического отдела Главнауки имели серьезное значение, о них тот делал доклад на археологической конференции в Херсонесе. Археология интересовала и Андреева: герой «Странников ночи», одна из проекций автора, Саша Горбов — археолог. Внушительные остатки генуэзской цитадели, стена из серого известняка с боевыми квадратными башнями, опоясывавшая гору Крепостную, откуда открывалась окруженная горами долина, искрящаяся на солнце бухта на юго-западе, — будили воображение. И сам уютный Судак с горами и морем, с саманными домиками и шелестящими тополями, и молодая компания действовали ободряюще. Но даже здесь мучительные переживания всплывали. Может быть, о них он писал, вспоминая берег с крепостными стенами:

За разрушенными амбразурами,
В вечереющей мгле — никого.
Брожу я, заброшенный бурями,
Потомок себя самого.

9. Коваленский

Для его писательства и мировоззрения многое значило общение с Коваленским, мужем Шурочки. Младше ее на пять лет, он был еще студентом. В детстве, по словам поэта Сергея Соловьева, его двоюродного брата, Александр казался блестящим принцем. Но судьба принцу не благоволила.

Род Коваленских, выходцев из Польши, стал русским в XVII веке. Известен в роду Михаил Иванович Коваленский, друг и биограф Григория Сковороды, ездивший к Вольтеру, не чуждый христианским мистикам екатерининских времен, то есть масонам. По отцу Коваленский в сродстве не только с Соловьевыми, но и с Бекетовыми, через которых приходился троюродным братом Александру Блоку.

В 1915 году Коваленский поступил на медицинский факультет Московского университета и, увлекшись физикой и аэродинамикой, одновременно стал заниматься у Жуковского, дедушки русской авиации. Казалось бы, наследственность: родитель — математик, приват-доцент при кафедре механики университета. Хотя настоящим отцом, как глухо говорит семейное предание, являлся старший брат приват-доцента —

Николай. А он казался противоположностью младшему. Как характеризовал его племянник, «с молодых лет посвятил себя живописи, увлекался охотой, был очень активен, остроумен и несколько надменен и высокомерен»128. Мать Александра Викторовича, Вера Владимировна, урожденная Коньшина, женщина с решительным, мужским характером — уродилась в отца, отставного гусара. Достаточно образованная, она говорила по-немецки и по-французски. Этими же языками с малолетства овладел и сын, позднее освоивший еще и польский.

Коваленские входили в тот московский круг, который позднее назвали символистским. В нем нельзя было миновать ни поэзии, ни философии, ни мистики. В доме своими людьми были Эллис, кому показывал первые стихотворные опыты Александр Коваленский, и Андрей Белый, кому он читал стихи в 1924-м. Это его литературные наставники.

В переломном 1918 году Коваленский тяжело заболел — туберкулез позвоночника — и больше года пролежал в постели, потом лет семь носил гипсовый корсет. Кроме того, он страдал недугом избранных — эпилепсией. Болезнь сказалась на характере: сосредоточенность на себе, сдержанность манер, подчеркивавшая высокомерность. Женившись, он снова стал слушать лекции на физико-математическом факультете, но из-за болезни перешел в Психоневрологический институт, который и окончил.

Его брак с Шурой был браком по любви, оказавшимся идеальным. Бессарабова, увидев Коваленского, записала: «Муж Шурочки очень молодой, очень хрупкий и изящный. Первое, что мне пришло в голову о нем: Розенкрейцер и еще: Шелли»129. Описала она и свадьбу, венчание в Левшинском храме (12 февраля), где присутствовали самые близкие: «Дома на пороге разостлали меховую пушистую шубу. Встретили Шурочку и ее мужа золотой иконой и хлебом-солью. На головы их бросали золотой дождь хмеля и ржаных зерен. Это не обряд, а обычай, но здесь даже вид хмеля и ржи был как бы священным от строгих светлых лиц Шуры и Александра Викторовича»130. Писал в эту пору Коваленский, по ее словам, «что-то о лимурийцах, о Люцифере, о Лилит, о грехопадении» и рассказывал «о розе Ада, о Люцифере, о борьбе его и с ним, о предстательстве за него перед Богом, о космическом значении явления в мир Христа»131.

Влияние на Даниила зятя, поначалу подавляющее, объяснялось, конечно, не только его старшинством и образованностью. Поэт и мистик, уже прошедший некий литературный путь, захватывал и увлекал интеллектом, таинственностью внутреннего опыта, уверенной властностью. Даниил долго восхищался им, часто говорил: «Он талантливее меня» — и уважительно замечал, что Коваленский, в противоположность ему, «способен творить, не надеясь ни на каких читателей»132. Речь шла о писаниях «для себя», хотя тот не гнушался

писаниями для заработка и успеха. Позже он трезвее оценивал его черты: властную самоуверенность, эстетский вкус, рафинированность.

Бессарабова приводит рассказ Александра Викторовича «о возникновении мира по учению оккультистов»: «Знаешь ли ты, как в ясные дни за чертой привычного видимого горизонта вдруг возникают новые полосы леса, поля, даль? Так и здесь новая, а может быть, уже и знакомая, но как бы забытая и вспоминаемая даль...»133 Вокруг Коваленского были и люди, принадлежащие к неким мистическим кругам. Муж его сестры, Евгений Константинович Бренев, в 1930 году был арестован по делу «Ордена света» (анархисты-мистики) и сослан, в 1938-м расстрелян.

О своем мистическом опыте Коваленский говорил туманно, ничего не обозначая и тем, замечал Андреев, безусловно ему веривший, создавая «почву для всяких путаниц, недоразумений, подмен и qui pro quo134»135. Одного из героев «Странников ночи», Адриана Горбова, он сделал похожим на него. Голубоглазый блондин с породистым лицом, иронической улыбкой на тонких губах, для малознакомых — неприступный, высокомерно механический — таким запомнили знавшие его.

Характеристику Коваленского оставил Ивашев-Мусатов:

«...всякий, сталкивающийся с Александром Викторовичем, ощущал в нем присутствие могучего интеллекта, властно и неумолимо подчинявшего себе всякого. Трудно указать, в чем именно сказывался интеллектуализм Коваленского, но он ощущался постоянно...

Помимо этого, Коваленский был очень большим и интересным поэтом. Я знаю некоторые его поэтические произведения. Они обладали великолепными, своеобразными замыслами и замечательной художественной формой. Александр Викторович далеко не всем читал свои поэмы. <...> Александр Викторович был очень музыкален. Он даже поступил в консерваторию и не стал пианистом только потому, что с ним произошел случай, сделавший малоподвижной его правую руку»136.

Бессарабова рассказывает в дневнике о впечатлении от его импровизации на фисгармонии: «Сначала было мрачно, тяжело <...> Потом — борьба адовых и светлых сил. Потом было то, что бывает в конце богослужения в церкви, когда круг богослужения замыкается и тает в куполе храма. А потом — светлый, плавный лёт, полет вверх, в музыку сфер...»137

Коваленский естественно-научные знания и умения совмещал с гуманитарными, от теории музыки до теории стихосложения. Началом литературной работы он считал 1925 год. Речь шла действительно о работе. С 1926 по 1930 год он опубликовал десятка три детских книжечек, главным образом стихотворных: «Лось и мальчик», «Сахарный тростник», «На моторной лодке», «О козе-егозе, свинке-щетинке и о домашней скотинке»... Они пользовались спросом, переиздавались, включались в хрестоматии. В эти годы и Малахиева-

Мирович кормилась той же детской литературой, сотрудничала с теми же издательствами. Но главным для Александра Викторовича представлялось писавшееся «в стол»: в 1927-м — драма-мистерия «Неопалимая Купина», в 1928-м — поэма «Гунны». Читал он их только самым близким. Но неизбежная с самого начала раздвоенность — одно сочинять для советских издательств, а другое, настоящее — втайне, для немногих, не могло не ломать и не уродовать его писательства.

В семье Коваленский получил прозвище Биша, так его называла жена. Любовь их была нежной и возвышенной. Эту трогательность сразу замечали все окружающие. Шура, выйдя за Александра Викторовича, посвятила себя служению мужу, считала его гением, новым Гёте. Театр она оставила навсегда. Тем более что муж осуждал театр, считал: цель человека — собирание многих сторон личности, разных жизней, заключающихся в нем, в одну, а актерство — распыление себя, растрачивание не собранных в одно ипостасей души.

На посторонних, не без оснований, он производил впечатление человека сухого. Но не для получившего от зятя прозвище Брюшон Даниила. Для него их отношения стали многое значащей дружбой. Они читали друг другу написанное. О их совместном чтении (9 марта 1924 года) упоминает Бессарабова: «Даня прочел поэму о России, Алекс<андр> Викт<орович> — первую главу поэмы»138. В уцелевшем отрывке одной из юношеских поэм сказано о близких отношениях тех лет с сестрой и ее мужем, называемых любимейшими друзьями, о таких чтениях:

Созвездий стройные станицы
Поэтом-магом зажжены,
Уже сверкают сквозь страницы
«Неопалимой Купины».

И разверзает странный гений
Мир за мирами, сон за сном,
Огни немыслимых видений,
Осколки солнц в краю земном...

— Будь осторожен вдвое! Страшный
Соблазн тобою завладел. —
Так говорит сестра...

10. Московские химеры

«Кто-то из Парижа привез Добровым две статуэтки, изображавшие химер собора Нотр-Дам. Когда это было, точно не помню, во всяком случае, во времена юности Даниила. Тогда было модно их привозить... Статуэтки химер оказались в комнате Саши Доброва, двоюродного брата Даниила. И вот спустя некоторое время с ним стали твориться страшные

вещи. Он был чудным человеком, но вдруг сделался наркоманом, а потом тяжело заболел. Его мама, Елизавета Михайловна, сказала, что во всем виноваты эти чудища, все сделали эти чудища. Одну статуэтку она успела выбросить. Тогда на нее все закричали, в том числе и Даниил, что это произведения искусства, как можно быть такой суеверной, что за нелепость, что за предрассудки.

Уцелевшую химеру Даниил поставил в своей комнате. Тут и с ним стали твориться непонятные вещи. Наступил тот его темный период, который он описал в стихах, вошедших в “Материалы к поэме ‘Дуггур’ ”... Наконец, — рассказывала Алла Александровна Андреева со слов самого поэта, — он понял, что действительно в изображении химеры живет какая-то черная сила. Сказал об этом Гале Русаковой. Галя над ним посмеялась, так же, как он когда-то смеялся над Елизаветой Михайловной, и статуэтку у Даниила, хотевшего уничтожить ее, взяла себе. Вскоре она вышла замуж, они долго не виделись. Потом Даниил узнает, что ее муж тяжело заболел, у него туберкулез. Придя к ним, он увидел, что на шкафу рядом с диваном, где лежал больной, глядя вниз, прямо на него, стоит химера. Придумав какой-то повод, он взял ее и разбил. Но вскоре муж Гали Русаковой умер»139.

В стихотворении (25 августа 1930 года) Малахиевой-Мирович описана «комната Даниила». Это свидетельство, что «химеры» над ним реяли долго: «Со шкафа дряхлая, костлявая химера / Бессильно сеет заклинанья зла». Но над химерой, выше — «Дант и мост св<ятого> Марка, / И Беатриче с розою в руках».

Химеры, готические видения дьявольской свиты, чьи темные статуэтки долго стояли на книжных шкафах, навсегда остались для Андреева символом темных миров, инфернальной нечистью, подстерегающей нас неподалеку. И странным образом химеры в его представлении стали гнездиться в московском пейзаже, над ее темными заулками, над сумеречными окраинами. Присутствие нечистой силы в тогдашней Москве почувствовал не только он.

7 мая 1926 года во флигеле дома номер 9 в Чистом (Обуховом) переулке провело обыск ОГПУ. Обыскивали комнату жившего здесь Булгакова, уходя, забрали машинопись «Собачьего сердца» и дневник. Андреев часто бывал в этом переулке, в доме номер 3, где жили Муравьевы. В Чистом переулке в похожем доме он поселит героев «Странников ночи». А скоро Булгаков поселится на углу Малого Левшинского, в одной из квартир дома напротив добровского, номер 4, где на воротах сохранилась старинная надпись «Свободенъ отъ постоя». Но вряд ли о булгаковском соседстве мог знать Андреев, тогда упорно писавший «Грешников» и ведший свой дневник, тоже не миновавший Лубянки.

В эти майские дни он сдавал зачеты. Иногда ему и впрямь казалось, что и у них в доме, и вокруг «интересно, мирно и хорошо». Ему было 20 лет, и то, что творилось в нем самом, казалось, не связывалось с тем,

что происходило вокруг. Но нет, демоническое, бесовское порождало клубящийся полумрак, в котором так легко сбиться с пути.

«Когда-то, в ранней юности, я любил город...» — писал он брату в 1936 году[140]. Нет, Москву он не разлюбил, но блуждания по освещенным, окликающим луну фонарями улицам открыли ему демонический город. Москва — вечерняя и ночная 1920-х не декорация происходящего с ним, а соучастница. Озаряет ее лунная демоница. Это уже не Москва, а преддверие ее изнанки, где властвует демоническая госпожа города, проявление кароссы Дингры, матери Мрака, в коей таится могущественная мистика пола. Она присутствует в пустынных скверах и притаившихся кварталах, там, где происходит «тайный шабаш страстной ночи», у вокзалов, где «взвыли хищные химеры». Такой ему видится полуночная столица, пронизанная излучениями Дуггура.

Это не только фантазии и сны болезненно переживающего половое созревание юноши, а обостренное восприятие того, что действительно реяло в нездоровом воздухе. Это чувствовал не только Андреев. В есенинской «Москве кабацкой», да и в «Черном человеке», тот же воздух, ночной гибельный разгул. «Революция лишила нас накопленной веками морали», — констатировал Евгений Петров, соавтор Ильфа. «Вместо морали — ирония. Она помогала преодолеть эту послереволюционную пустоту, когда неизвестно было, что хорошо и что плохо». В эти «темные» годы стихия Дуггура выплеснулась на улицы. Мораль религиозную с наглой властностью теснила мораль безбожная. В начале 1920-х проповедовалась свободная любовь. «В Москве появились совершенно голые люди <...> с повязками через плечо “Долой стыд”. Влезали в трамвай...» — занес в дневник 12 сентября 1924 года Михаил Булгаков. Под таким революционным лозунгом узкогрудый коминтерновец Карл Радек провел колонну общества «Долой стыд» по Красной площади. Об этом писали газеты. Дуггур торжествовал. «Комсомольская правда» публиковала статьи на тему «Половой вопрос и комсомол». Когда сексуальная революция стала давать результаты, власти начали ее притормаживать. Издавались популярные брошюры, например «Куда должна направляться половая энергия современной молодежи» некоего А. Тимофеева. Доклад критика Полонского «Массовое упадничество в жизни и литературе в связи с вопросами пола» на диспуте в Политехническом итожил злобу дня: как жить без христианских заповедей, с какой новой моралью?

Одним из поводов закрытия ВГЛК, где власти обнаружили гнездо «чуждых элементов», в 1928 году стало скандальное «дело трех поэтов» (хотя один из них был прозаиком), газетами названное «нэпманской гнильцой», «есенинщиной». Застрелилась из револьвера мужа студентка курсов, комсомолка, изнасилованная, как сообщалось в газетах, тремя сокурсниками, членами РАППа, поэтами Альтшуллером, Аврущенко и Анохиным. Рядом шел Шахтинский процесс, но суд над поэтами, по свидетельству Варлама Шаламова, его затмил.

Москва, пречистенские изгибистые переулки с теснящимися особняками в трескавшейся штукатурке, с перенаселенными квартирами, где уцелевшие «бывшие» ютились бок о бок с действительными и мнимыми победителями, жили не только скудно, но и с ощущением, что переменились понятия добра и зла. В ночи и темных углах действительно властвовала демоническая «госпожа города». По лунной Москве и плутал двадцатилетний поэт:

Я в двадцать лет бродил, как умерший.
Я созерцал, как вороньё
Тревожный грай подъемлет в сумерках
Во имя гневное твое. <...>

И всюду: стойлами рабочими,
В дыму трущоб, в чаду квартир,
Клубился, вился, рвался клочьями
Тебе покорствующий мир.

Но тогда же он заходил в храмы, выстаивал заутрени и вечерни. Те из одноклассников и однокурсников, кто помнил его озорным выдумщиком, стали удивляться слухам о Даниной религиозности. Она казалась вызовом. Священнослужителей отправляли на Соловки, церкви закрывали, бывшие семинаристы сочиняли антирелигиозные брошюры. «Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно Его. Нетрудно понять, чья это работа» — так отметил присутствие в Первопрестольной сил Зла Булгаков в дневнике, оказавшемся на Лубянке.

11. Женитьба на нелюбимой

Одна из намеченных ступенек в последовательном «служении Злу» — женитьба на нелюбимой. Несмотря на мистическое обоснование, женился он словно бы неожиданно для себя. Тем более скоропалительная женитьба удивила семью. Вот как описывала события мама Лиля его брату:

«В институте он познакомился с одной девушкой, виделся с ней на лекциях, бывал у них в доме. Она у нас не бывала; иногда она заходила на минутку за ним, и они уходили вместе. <...> За второй год ученья вызовы участились, причем она совершенно не считалась со временем, она могла прийти и в два и в три часа ночи, поднять его с постели и увести его с собой, ссылаясь на какие-то важные дела. Также постоянно вызывала по телефону, причем из этих разговоров я заключала, что он не очень ею заинтересован, мне даже казалось, что все это неприятно Дане. <...> Вечером сидели мы, читал он мне свою вещь, потом встал так порывисто и вышел, потом входит да прямо ко мне: “Мамочка, я перед тобой очень, очень виноват, простишь ли ты меня

когда-нибудь?” — “Дуся, дитя мое, в чем дело?” — “Мамочка, я женился”. — “Милый ты мой, зачем же ты это сделал?” — “Мамочка, так надо было, да мы и любим друг друга”. — “Почему же ты сделал это так, тайком от нас?” — “В церкви во время венчания я почувствовал, что сделал не так, как надо, мне было так тяжело, что тебя не было в церкви, и мне все казалось, что ты войдешь”. Видя его в таком тяжелом состоянии, конечно, я ничего не могла сказать, т. е. что я действительно поверила, что они любят друг друга, но в этом-то и была главная ошибка; конечно, он ее не любил; любила ли она его, не могу сказать. Словом, после всяких перипетий, к концу второго месяца они разошлись. Теперь уже получили гражданский развод, еще остался церковный. Должна сказать, что все это стоило Дане немало сил и нервов...»[141]

Женился он в конце августа 1926 года. Венчались они в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Родом из Киева, Шура Гублёр училась с ним на Высших литературных курсах и была на год моложе, ей только что исполнилось девятнадцать. С Даниилом ее познакомила, видимо, Муся Летник. Любовь Шуры выглядела, как и каждая первая любовь, сумасшествием. Она преследовала Даниила. Вечерами ехала на 34-м трамвае до остановки «Малый Левшинский» или шла арбатскими переулками к заветному дому. Однажды ходила под окнами любимого по снегу в оранжевых отсветах ламп босиком, заставляя то же делать и подругу, упорно таща ее за собой[142]. Сопровождала Даниила во всех блужданиях по Москве, заходила с ним во все церкви, в которые влекло Даниила. У нее даже стигматы выступили на руках, вспоминала сокурсница, а Даня все-таки считал ее «неправославной душой». Он не любил Шуру. Но, как в дурмане, неустанно кружил с ней по Москве, все более и более чувствуя себя на пути вниз, в заснеженный лунный сумрак:

Сонь улиц обезлюдевших опять
туманна...
Как сладко нелюбимую обнять,
как странно.

Ослепленной любовью Шуре состояние Даниила было совершенно непонятно. Но она принимала его и не понимая: поэт должен быть необычным. Юная, почти красивая, она верила и не верила в свое счастье. А его задевал другой образ, другое лунное имя.

Настоящим мужем Шуре он так и не стал. Переехав после венчания к ней, жившей в Леонтьевском переулке, Даниил тут же заболел. Заболел детской болезнью — скарлатиной, лежал в жару. Прибежавшая к ним Александра Филипповна немедленно забрала брата домой. Выздоровев, он к жене не вернулся. Предзимняя мрачная, но бодрящая погода,

послеболезненная опустошенность принесли какое-то успокоение. Ночами он писал.

После мучительного разрыва с Шурой Даниил не захотел возвращаться на курсы. Огорченная Елизавета Михайловна писала Вадиму:

«Должна тебе сказать, что с Даней ладить нелегко: человек он замкнутый, характер у него упорный, чтобы не сказать упрямый; если что заберет в голову, то переубедить его мало сказать трудно, почти невозможно.

Он решил, что его учение в институте слова, где он учился последние два года и был отмечен профессорами, ему лично для его будущей деятельности ничего не дает, и решил бросить учение. Как мы ни старались общими силами уговорить его этого не делать, все оказалось бесполезно»143.

Дело было не в упрямстве, и домашние, осознав это, не настаивали. Даниил не хотел, не мог встречаться на курсах с Шурой. Ее, ни в чем перед ним не провинившуюся, так получалось, он обманул и оскорбил. Казалось невыносимым видеть ее, объяснять то, что она не понимала, то, что он сам не вполне понимал.

12. Двенадцать Евангелий

В 1926 году в Большом театре поставили оперу Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 25 мая состоялась премьера. Дирижировал Сук, декорации Коровина, Клодта, Васнецова. Постановка взволновала всю Москву. Критики-партийцы называли оперу «поповско-интеллигентским» «Китежем», призывали: «...никакой беды и ущерба искусству не будет, если государство откажется от богослужебного “Китежа”...» Даниила опера потрясла, оставшись одним из главных русских мифов и образцом мистического искусства. Большой театр для него навсегда связался с этой оперой:

Темнеют пурпурные ложи:
Плафоны с парящими музами
Возносятся выше и строже
На волнах мерцающей музыки.
И, думам столетий ответствуя,
Звучит отдаленно и глухо
Мистерия смертного бедствия
Над Градом народного духа.

Китеж стал для него мистерией не только народа, но и «отдельной души, чья неприкосновенная внутренняя святыня, оберегаемая иерархиями Света, остается недоступной никакому, самому могущественному врагу, уходя в таинственную духовную глубь от любого вторжения, от любого враждебного прикосновения».

У него уже тогда сложилось если и не осознанное понимание, то ощущение, что все переживаемое миром, а значит, и им — мистерия. Блуждания урочьями Дуггура он тоже представляет мистерией, борьбой светлого и темного начал. Эту борьбу, спасение собственной души силами Света он и попытался изобразить в поэме о Дуггуре. Как же ему удалось спастись? «Срывы и падения могут быть и после светлых жизней потому, что просыпается то, что спало при солнечном свете»144, — считал он.

«Да, путь был узок, скользок, страшен, / И не моя заслуга в том, / Что мне уйти из темных башен / Она дала святым мостом». Кто эта Она? Шаги чьих легких гонцов он различает под знаком голубого цветка Новалиса, в октавах Гёте о женственности ангельских сфер, в стихах Владимира Соловьева о Неугасимой звезде, в «Стихах о Прекрасной Даме» Блока и, наконец, в поэме-мистерии Коваленского о Неопалимой Купине? Конечно, это Та, чей образ величался Вечной Женственностью, Мировой Душой и в «Розе Мира» получил имя Звенты-Свентаны.

Коваленский, «семейно» унаследовавший мировидение русского символизма, столь же семейно делился им с Даниилом, воспринявшим предание как свое, кровно близкое. Поэтому в стихах об «отблесках голубого сиянья», освятивших не только его юные метания, но и жизнь, он перечисляет именно то, что было свято мистикам-соловьевцам. Новалис, которого Вячеслав Иванов называл первым предтечей «перед последним проникновением в тайну Мировой Души»145, «Посвящение» к неоконченной поэме «Тайны» и строки в «Фаусте» о вечно-женственном Гёте, «Три свидания» Соловьева, первый том Блока — все это стало для Андреева достоверной реальностью. К чему располагало и то, что не один он в добровском доме жил идеями и представлениями уже ставшего историей и громко заклейменного символизма.

Но логично, что в «красной» Москве, принявшей путаницу добра со злом вместе с крикливыми лозунгами и обещаниями земного рая, и его захватил морок подмены. Правда, похожей на ту, что правоверные символисты находили у Блока: Прекрасная Дама обернулась другой — Незнакомкой, Блудницей. А перед Андреевым выросла *другая* — госпожа города.

Но он рассказывает в стихах и о спасшей заблудшего, о Пресвятой Богородице, Звезде морей, завершая повествование о своем падении молитвенным обращением:

Дай искупить срыв в бездну роковой,
Пролить до капли кубок темной жизни
Перед Тобой.

«Даниил рассказывал мне, — писала его вдова, — как удивительно произошло его освобождение от той темной руки. Это случилось буквально в одно мгновение. Он прекрасно помнил, как вошел

в переднюю часть бывшего зала квартиры Добровых и с него внезапно просто как бы спáло что-то темное»[146].

Того, что с ним произошло, он долго не мог осмыслить. Его всегдашняя страсть к систематизации, поэтическая логика толкала на рассудочные попытки свести концы с концами в объяснении необъяснимого. Это он пытался сделать не раз, переживая светлые озарения. Начатое им в 1933 году сочинение «Контуры предварительной доктрины», оставшееся незаконченным, было не первой попыткой. Но слишком уж бессвязными, хотя и яркими, как цветные предутренние сны, казались краткие озарения, а умозрительные схемы ничего не связывали. Все это он понял гораздо позже и объяснил: «Конструкции оказались ошибочными, разум не мог стать вровень со вторгавшимися в него идеями, и потребовалось свыше трех десятилетий, насыщенных дополняющим и углубляющим опытом, чтобы пучина приоткрывшегося в ранней юности была правильно понята и объяснена».

То же было и с «темными» видениями и переживаниями. Их смысл стал угадываться гораздо позже, когда он увидел мир Дуггура с его демоническими насельниками, с прихотливыми подробностями инфернального устройства.

Все же ему хотелось с кем-то поделиться еще не осмысленным, болезненным опытом. Он писал в Париж брату:

«Долго лежало у меня большое письмо к тебе, во много страниц, долго не мог решить — посылать его или нет. И наконец понял, что это невозможно. Понимаешь: так все выходит в нем плоско, деревянно, грубо — просто неправильное впечатление может получиться. Да и трудно вообще посылать подобное.

А многое нужно было бы рассказать тебе. В моей жизни произошло очень много тяжелого за последний год. А так как ни с кем я об этом не говорю, то все это накопилось в душе и требует какого-нибудь выхода»[147]. Его он искал на бумаге и много писал.

Оставался и другой, настоящий выход. Одно из завершающих и, может быть, главных стихотворений дуггуровских циклов — «Двенадцать Евангелий». Так называется церковная служба Великого четверга на Страстной неделе, в которой вспоминается Тайная вечеря. Он не раз бывал на ней и в храме Христа Спасителя, и в храме Покрова в родном переулке. В ноябре того же 1931 года, когда начато это стихотворение, Малахиева-Мирович записала в дневнике такой разговор: «Спрашиваю Даниила:

— Отчего ты так мрачен? Что-нибудь случилось?

— Да. Случилось. Но не внешнее.

— Поправимо?

— Не знаю. Я потерял отправную точку. Ту, которая связана с Евангелием»[148].

Вдова поэта вспоминала, как Даниил читал ей Евангелие. «Особенно о Воскресении Христовом и явлении Господа Марии Магдалине.

Он читал так, что я до сих пор слышу его голос, а то, что произошло две тысячи лет тому назад, чувствую, как если бы невидимо присутствовала в Гефсиманском саду»[149]. С таким же чувством написано стихотворение «Двенадцать Евангелий».

Великий четверг называют еще Чистым, потому что в этот день душа должна очиститься перед праздником Пасхи. Об очищении едва не погибшей души он и рассказал. О выходе, явленном ему в христианской вере:

Прохожу со свечкою зажженной,
Но не так, как мальчик, — не в руке —
С нежной искрой веры, сбереженной
В самом тихом, тайном тайнике.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СОЛНЦЕВОРОТ. 1927—1930

1. Большая отрада, что я не писатель

Весной Даниил Андреев поехал в Ленинград. Там он чаще всего останавливался в бывшей квартире отца на углу Мойки. На нее выходили длинные окна кабинета, а из спальни виделся кусок Марсова поля, и дальше, за липами Летнего сада, можно было разглядеть краснеющий Михайловский замок. Четырехкомнатная квартира стала коммуналкой, но здесь жили двоюродные братья Даниила. В этот раз в Ленинграде он познакомился с потомственным «василеостровским немцем» Георгием Давидовичем Венусом. О нем ему писал Вадим. С Венусом брат подружился в Берлине в начале 1923 года. Они входили в одну литературную группу — «4+1», тогда же выступившую, но без особенного успеха.

В Берлине Венус успел выпустить книгу стихов «Полустанок». Берлин и оказался для него «полустанком», через год после выхода книги он, единственный из группы, вернулся в Россию. В том же 1926 году издал книгу о своем опыте Гражданской войны — «Война и люди. Семнадцать месяцев с дроздовцами». О книге одобрительно отозвался Горький. Она стала пропуском в советскую литературу, куда Венус, поддержанный Алексеем Толстым, вошел легко: одна за другой стали выходить его книги рассказов, романы. Но в 1934-м, после убийства Кирова, он был сослан, в 1938-м арестован, обвинен вместе с группой ленинградских писателей в подготовке теракта против Сталина и через год с отбитыми следователями легкими умер в Сызранской тюрьме.

Венус прошел тот же путь, что и Вадим Андреев. Белая армия, Константинополь, Галлиполи, эмигрантская тоска в Берлине, где одновременно вышли их первые книги. Попытки возвратиться на родину. Тогда они оба получили разрешение, но Андреев, не дождавшись ответа из советского консульства, уехал, как ему казалось,

ненадолго, в Париж. Этого другу Венус долго не хотел прощать.
От Венуса Даниил узнал о брате то, о чем не мог прочесть в его письмах. Да и вообще они могли найти общий язык. Венус, как и он, страстно любил Блока, поэзию. «Он мне очень понравился», — написал Даниил Вадиму. В том же майском письме были строки: «Очень надеюсь на следующий год съездить в Париж. Большая, очень большая отрада для меня в том, что я не писатель (не смейся)».

Наивные даже для того, еще снисходительного времени, так и не сбывшиеся надежды увидеть Париж и кажущаяся странной «отрада» не быть писателем. Но, поговорив с Венусом, с энтузиазмом возвращенца, вступившим на советскую писательскую стезю, созерцая литераторские будни Коваленского, Даниил почувствовал горечь этой стези и не лукавил. Он так и не опубликовал при жизни ни одной стихотворной строки.

Но и ему приходилось думать о заработке, особенно после того, как он оставил курсы. 1926 год сулил надежды: вышли в Госиздате «Избранные рассказы» Леонида Андреева с вводным этюдом Луначарского и четыре небольшие книжки в других издательствах, в театрах ставились пьесы. Казалось, книги знаменитого писателя теперь будут издаваться регулярно, как и других русских классиков. Даниил рассчитывал на отцовские гонорары. «Сейчас мои дела несколько поправляются (денежные), и я думаю, что в ближайшее время смогу тебе высылать регулярно по 30—40 рублей в месяц. Если же выгорит дело с Госиздатом — то тогда будет совсем хорошо»150, — сообщал он брату. В Госиздате вышли в 1927-м отдельными книжечками рассказы «Кусака» и «Петька на даче», но с каждым годом чуждого пролетариату писателя издавали все реже.

В одну из прежних поездок в Ленинград он посетил выставку, открытую к пятой годовщине отцовской смерти в сентябре 1924-го в Пушкинском Доме, куда Римма Николаевна передала часть архива брата, его вещи, хлопоча об открытии музея. Потом газеты сообщали и о том, что вещи и книги писателя решила принести в дар «одному из наших музеев»151 вдова. Но после разговоров с тетей 1 октября 1927-го Даниил написал, как он считал очень резко, Анне Ильиничне: «До меня дошли сведения, что значительная часть папиных картин и пр<очих> вещей передана Вами из Ваммельсуу кому-то в Выборг, где сейчас и находится. В Ленинграде сейчас открылся музей Леонида Андреева, который находится под ведением Пушкинского Дома. Там представлены всевозможные фотографии, снимки, иллюстрации к пьесам, книги, рукописи и т. д. Там находится также несколько папиных картин, спасенных дядей Павлом. Я обращаюсь к Вам от имени Пушкинского Дома с просьбой передать в музей вещи, находящиеся в Выборге»152.

Но музей не открылся — у Академии наук не нашлось денег.

2. Второе озарение

Весной 1928 года, перед Пасхой, антирелигиозная пропаганда становилась все более оголтелой. Пасха в том году пришлась на 15 апреля. Март оказался морозный, и зима отпускала медленно, то подморозит, то завьюжит — снегу оставалось много. 14-го вечером Даниил отправился на пасхальную службу в храм Покрова в Левшине — на углу Большого и Малого Левшинских переулков. Построенный на деньги стрельцов в 1712 году, скромный, белый, прямоугольный, с синим в звездах куполом и невысокой колокольней — восьмерик на четверике, храм славился хором. По преданию, строившие храм стрельцы приискали для него юродивого своего, из стрельцов. Но благодать на юродивого не снизошла, он здесь не прижился, и с тех пор в Москве псевдопредсказателей именовали «левшинскими юродивыми». Напротив храма некогда жил автор «Юрия Милославского», здесь у него бывали Гоголь, Аксаковы, Погодин, Вельтман.

По воспоминаниям соседки, когда в храме Покрова служил патриарх Тихон, то обедал он в семье Добровых.

Патриарх Тихон почти ежедневно служил в московских храмах, особенно часто в храме Христа Спасителя, в кремлевских храмах, в храмах Арбата. В церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Левшине святейший служил литургию трижды —12 /25 сентября 1921 года, затем, уже после заключения (апрель — июнь 1923 года) во внутреннюю тюрьму ГПУ, 29 октября / 11 ноября 1923-го и 1 / 14 декабря 1924 года153. Конечно, на этих службах присутствовали добровские домочадцы. Тетушки Даниила, Феклуша — непременно. Кто-то из них мог быть и среди тех верующих женщин, которые поддерживали патриарха в дни его гонений и заключения в Донском монастыре. Они собирали для него средства, содержали «специального человека, готовившего кушанье для Святейшего», дежурили под окнами. Охрана им грубо угрожала. Среди них, по свидетельству современницы, были «и интеллигентные, высокообразованные и безукоризненно воспитанные дамы, и старуха прачка, и “серые” бабы...»154. За несколько дней до последней службы патриарха в Левшине зверски убили его келейника. На отпевании, как доносил агент ОГПУ, патриарх «выглядел... плохо-болезненно... Бабы кудахтали, что он находится в самом плачевном материальном положении...»155.

Всему этому Андреев не мог не быть свидетелем. В «Розе Мира» он написал о похоронах патриарха Тихона, вылившихся, по его словам, «в такую миллионную демонстрацию, что перед ней померкли все внушенные правительством и партией массовые изъявления горя, которые годом раньше поразили москвичей в дни похорон или, вернее, мумификации первого вождя». Назван патриарх Тихон среди вошедших в Синклит Небесной России.

Свое «второе озарение» в 1928 году Андреев обозначил с трогательной точностью. Оно произошло «после пасхальной заутрени

на раннюю обедню: эта служба, начинающаяся около двух часов ночи, ознаменовывается, как известно, чтением — единственный раз в году — первой главы Евангелия от Иоанна: “В начале бе Слово”. <...> Внутреннее событие, о котором я говорю, было, и по содержанию своему, и по тону, совсем иным, чем первое: гораздо более широкое, связанное как бы с панорамой всего человечества и с переживанием Всемирной истории как единого мистического потока, оно, сквозь торжественные движения и звуки совершавшейся передо мной службы, дало мне ощутить тот вышний край, тот небесный мир, в котором вся наша планета предстает великим Храмом и где непрерывно совершается в невообразимом великолепии вечное богослужение просветленного человечества».

В рассказах поэта о своих озарениях есть нечто, отсылающее к трем видениям Владимира Соловьева. Их Андреев подробно описал в «Розе Мира». Сам философ поведал о них кратко и не без отстраненной иронии («...факты рассказал, виденье скрыв») в поэме «Три свидания», но отнюдь не ссылался на духовидческий опыт в своих софиологических построениях. В «Розе Мира», напротив, говорится об особом опыте как основании трактата. Но отдельные прорывы, причем разных степеней, духовного сознания долго не складывались в целостную картину. Они оставались свидетельствами мистической реальности, без той полноты постижения, к какой он так стремился. Но светлые видения к нему приходили, как правило, или у церковной ограды, или во время службы.

Гонения на церковь становились все беспощаднее. Еще в 1927 году началась кампания по изъятию церковных колоколов. Под окрики властей и репрессии совершалось «богоотступничество народа». Легко вовлекалась в антирелигиозную пропаганду молодежь. Участвовала в разрушении храмов, в глумлении над священниками. В шедшего по улице монаха могли бросить камнем. Уже после Пасхи, в мае, ОГПУ провело аресты в Троице-Сергиевой лавре, примолкшей и разоренной. Арестовали отца Павла Флоренского, о котором нередко говорили у Добровых.

3. Обыденность

Вся жизнь — как изморозь. Лишь на устах осанна.
Не отступаю вспять, не настигаю вскачь.
То на таких, как я, презренье Иоанна —
Не холоден и не горяч! —

это строки тех дней 1928 года, когда Даниил Андреев вновь, и не в первый раз, искал себя, свое, иногда, казалось, находил, терял опять.

Но обыденность настигала каждодневно. Уйдя с курсов, он считал себя обязанным чем-то, кроме писания, заниматься, приносить в дом, пусть небольшие, деньги — «на хозяйство». Издания отца мало что давали, к тому же он долго не мог вступить в права наследства. Судьбой

Даниила были удручены нежно его любившие тети — Екатерина Михайловна, в эти годы добровольно пошедшая работать в психиатрическую клинику, поскольку считала, что «душевнобольным помощь нужнее всего», и Елизавета Михайловна, обремененная заботой обо всей семье. В письме Вадиму она писала:

«...Я все-таки считаю, что вообще учиться Дане необходимо, а также необходимо привыкать к постоянным правильным занятиям, нельзя же считать правильной работой его писание, за которым, правда, он может просидеть целые сутки, а то другой раз сколько времени пройдет, прежде чем он сядет за работу. Ты сам пишешь и понимаешь, что по заказу эту работу делать невозможно.

Относительно нашей жизни могу сказать, что работаю столько, что больше невозможно. Семья у нас, как всегда, большая: нас двое, Шура с мужем, Саша с женой, Катя живет с нами вот уже пятый год, конечно, она помогает в работе; а также живет у нас одна сирота: отец ее четыре года тому назад случайно попал к нам да у нас и умер; осталось 9 детей, 8 из них благодаря одной энергичной женщине удалось устроить, а она так и осталась у нас; еще живет у нас Феклуша, которая ходила за маминой и Бусенькиной могилами, а теперь живет у нас, т<ак> к<ак> ей некуда деваться. Вот так и живем, такой большой семьей»156.

Особенно трудно ей приходилось с сыном. С первой женой, Ириной, Александр через несколько лет расстался. Вино и кокаин он испробовал еще в гимназии. От наркомании удалось избавиться, но время от времени он запивал. При всем том знавшие его утверждали, что, несмотря на слабости, Александр Добров был «порядочным и добрым человеком». Высокий, красивый, голубоглазый — таким его запомнили соседки. Он получил диплом архитектора, но, переболев энцефалитом, работать по специальности не смог, стал оформителем. Шрифтовой работе обучил и брата. «Я не вдумываюсь в то, что пишу, — говорил Даниил об этом ремесле, — только прикидываю количество знаков по тарифам»157. Потребность у всех учреждений для разворачивания наглядной агитации оказалась большей, чем у торговли в рекламе.

В обыденность врывались отзвуки державных событий. 29 марта 1928 года страна с государственным размахом отметила шестидесятилетие Горького, семь лет назад уехавшего из России. Он уезжал недовольный большевиками, Лениным, уставший протестовать против арестов и расстрелов. Но оторваться от бывших «союзников» не удалось. С воцарением Сталина Горького стали опутывать неприметной паутиной: переписка перлюстрировалась, визитеры из СССР подсылались, контролировались. Юбилей он отметил за границей. Но в конце мая неожиданно сел в берлинский поезд и приехал в Москву. Приезд «пролетарского писателя» стал советским торжеством. Пришвин записал в дневнике: «Правительство может сказать сегодня: “целуйте Горького!” — и все будут целовать, завтра скажет: “плюйте на Горького!” — и все будут плевать <...> Юлия Цезаря

так не встречали, как Горького <...> Юбилей этот есть яркий документ государственно-бюрократического послушания русского народа...»[158]

Возможно, именно в этот приезд Горького, опекаемого ОГПУ, к нему, крестному отцу, и приходил Даниил Андреев с тем, чтобы тот удостоверил, что он действительно сын писателя Леонида Андреева. Бумага требовалась для вступления в права литературного наследства. Как передает один из мемуаристов рассказ об этом визите, Андреев объяснил, что деньги ему нужны для того, чтобы, не связывая себя службой, «пуститься в странствия по городам и весям» Руси, как это сделал когда-то сам Горький. Тот же советовал крестнику найти работу по душе, в чем предлагал содействие, а не бродяжничать — времена сейчас другие[159]. Могли они беседовать и о судьбе Вадима, продолжавшего мечтать о возвращении. Вадима Горький тоже считал своим крестником, хотя его официальным крестным отцом был дед Велигорский.

4. Тарусские поля

Летом Андреев попал в Тарусу. Этот городок на Оке давным-давно облюбовала московская интеллигенция, искавшая дачного роздыха и природных красот, писатели и художники. А в 1920-е годы Таруса, находившаяся в двадцати с небольшим километрах от железнодорожной станции, стала и приютом административно высланных.

В Тарусу Даниил приехал с Коваленскими и Беклемишевой, видимо, их и зазвавшей. Очень любил эти места ее сын Юрий. Он приезжал сюда, по его словам, для того, чтобы «промыть себе глаза русской природой и послушать тишину»[160]. Но в этом году сын Веры Евгеньевны все лето пробыл на Черном море и вернулся в Москву лишь в сентябре.

Из Тарусы Даниил писал Владимиру Митрофанову (тот все еще жил вместе с тетей в Малом Левшинском) с восторженностью, несмотря на деловитость сообщения: «Дорогой Вольдемар, советую приезжать непременно. Места действительно необычные. Комнату достать легко за 15—20 рублей в месяц; к концу августа цены снизятся, наверное, еще больше. Продукты, в общем, не дороже, чем в Москве. Сейчас (2 дня) погода плохая, но, наверное, скоро пройдет»[161].

Места не зря показались ему необычными. Зеленый тихий городок на взгорьях над Окой со светящимися крестами храмами. Один — внушительно высившийся собор Петра и Павла, другой — Воскресения Христова, белевший на Воскресенской горке. Всего через несколько лет и до них дойдут руки богоборцев, храмы закроют, обезобразят. Улицы, ближе к окраинам, совсем деревенские, в тенистых палисадах, выбегающие в просторы. В поля, перемежающиеся березовыми рощами, купами былинных дубов, к светящейся Оке, открывающей холмистый, поросший темнолесьем другой ее берег. Там неподалеку, в усадьбе Борок, долго жил знаменитый живописец Поленов. Туда можно было переехать на пароме. Плашкоутный мост власти недавно продали

соседнему Алексину. А впадающая в Оку Таруска, а пересыхающая в зной Песочня, речки, где еще водились и бесстрашно всплескивались щурята? А зовущие дойти до них и вбежать увалистые холмы?..
А ключевая вода? А травы? Заросший клочок поля, золотисто-бронзового от пижмы. Блекло-розовые поросли бальзаминов. Голубые вспышки цикория. Просторы, в живом и редкостном многотравье, Даниил назвал Тарусскими полями. В эти поля он уходил бродяжить.

В конце сентября писал старшему брату: «Лето... провели в Калужской губернии на Оке, в необыкновенно красивом месте. Это дало мне страшно много. Ведь я уже несколько лет почти не выезжал из Москвы. И попав в эту сказочную красоту — черт его знает, даже не знаю, как определить. Природа — хмелит; разница в том, что в ее опьянении нет ни капли горечи»[162].

И в следующем году, опять вспоминая Тарусу, восклицал в письме: «Дима, Дима, неужели ты будешь здесь, вместе будем в Тарусских полях — думать невыносимо!!»[163], и о том же писал невестке: «Жду лета — солнечных полевых дорог, и все не верится: неужели мы все вместе будем скоро бродить по лугам и лесам Тарусы?»

Завороженный природой, зеленой тишиной, Даниил Андреев не замечал захолустного неустройства: «тут и там завалившиеся домишки, упавшие заборы, одичалые сады, бесприютные заросли, бурьян, крапива...» О тогдашнем тарусском разоре, о «бедности и тишине вековечной» написал Иван Касаткин в очерке «Тарусяне»[164]. Он поведал, как мгновенно местные власти «свалили начисто» вековой сосновый лес на Игнатьевской горе, «прихватив кстати и березовые рощи вокруг города». Изобразил торговую площадь с выкрашенной в черный цвет «буйной головой Маркса», окруженной привязанными лошадьми, главную улицу с наполовину нежилыми купеческими домами, с выбитыми стеклами, проржавевшими худыми крышами. Упомянул пивную и чайную «Не унывай» Замарайкина, исполком, дверь в который изнутри запирал кочергой недавно присланный начальник — «рабочий с производства». Тарусяне, обходившиеся без электричества и телефона, кормились своим хозяйством и многочисленными дачниками, сдавая им комнатушки, продавая парное молоко...

Некогда Таруса была окраиной земель Великого Черниговского княжества. И, наверное, не случайно село Трубецкое под Тарусой, так же как Трубчевск, связано с достославными князьями Трубецкими.
Не случайно и то, что отсюда Даниил Андреев через год попадет на другие зеленые просторы того же древнерусского княжества, ощутит с ними родовую и мистическую связь. А восхищение тарусскими полями стало радостью первой встречи с прародиной, таящей грядущие откровения. В них он верил.

5. Ленинград

Вернувшись из Тарусы, Даниил отправился в Ленинград. О поездке подробно написал Вадиму:

«На днях я приехал из Ленинграда, куда ездил “призываться” на воинскую повинность. Пока что ничего не известно, дадут мне отсрочку на год или нет; придется ехать туда в конце октября вторично. Жил я там у Левы и Люси, в старой папиной квартире на Мойке. С Люсей у меня создались очень близкие отношения; это один из весьма немногих людей, с кем я говорю на одном языке. Долгие ночные разговоры по многу часов кряду. Он очень интересный человек. Говорили и о тебе; он рассказывал о тебе с большой теплотой, видно, что он тебя очень любит. Я сказал, что по приезде в Москву буду тебе писать, и он просил передать большой привет.

Левика дела довольно-таки скверны. С ним происходит то, что теперь со многими: сильно пьет, нравственно и умственно опустился. Жаль ужасно: он по существу очень хороший и добрый»[165].

В Ленинграде жило много родных. Дочь Павла Николаевича Андреева, умершего в 1923 году, и Анны Ивановны — Лариса, его двоюродная сестра, с мужем. Другое семейство — сестры отца, Риммы Николаевны, ее дети — Лев, Леонид и Галина. Римма Николаевна в те годы старательно занималась литературным наследием брата, хлопотала об изданиях. С ее сыном, Люсиком, как его звали в семье, Леонидом Аркадьевичем Андреевым (он носил не фамилию отца — Алексеевский, а знаменитого дяди, своего крестного), чем-то очень похожим на молодого Леонида Андреева, Даниил сошелся ближе всего. С ним можно было разговаривать о мистическом.

Но трудно сказать, говорили ли они о мистическом. В начале июля закончился Шахтинский процесс. Судили «саботажников строительства социализма». Арестованных «спецмерами» заставили признаться во всех злодеяниях. По стране организовывалось возмущение трудящихся, требовавших покарать инженеров-вредителей. В Ленинграде на площадь перед Мариинским дворцом выводились толпы с плакатами «Требуем высшей меры наказания!»[166]. Даниил не видел этих плакатов, но знал о них. В стихотворении о Рылееве, написанном в следующем году, имперская столица мрачна:

Вечера мгла седая
По сумрачной шла Неве,
К травам острова Голодая,
К мертвой моей голове.

Несмыкающимися очами
Я смотрел — через смертный сон, —
Как взвивает трехцветное знамя
Петропавловский бастион.

Грубо, упрощенно, так, как требовалось следствию, взгляды его того времени изложены в протоколе допроса от 5 мая 1947 года: «Начало моей антисоветской деятельности относится к 1928 году. К этому времени более четко определилось мое отрицательное отношение к советской власти. Я, считая неправильным отношение советской власти к религии, утверждал, что в СССР не существует свободы печати и неприкосновенности личности. Невозможность свободно выехать за границу для каждого желающего я расценивал как насилие над личностью»167. Конечно, никакой «антисоветской деятельностью» Андреев не занимался, но несоветские взгляды считались уже злейшим преступлением. В том же протоколе он перечислил тех, с кем был тогда близок, с кем делился взглядами: Юрия Попова (тогда покойного), переводчика и стиховеда Игоря Романовича (погибшего в лагере), художника Синезубова (оставшегося во Франции) и тех, с кем давно не виделся, и надеялся, что им его признание не повредит, — Глеба Буткевича и Вадима Сафонова.

6. Восток

Вернувшись из Ленинграда, он вновь углубился в литературные занятия, хотя и продолжал радоваться, что «не писатель».

«Теперь начинается зимний образ жизни: город, работа, тетради, книги. Очень хотелось бы мне к концу октября, когда меня заберут, наверное, на военную службу, окончить мой пресловутый роман; но, кажется, не успею, — отчитывался Даниил перед братом. — Фамильный недостаток: берусь за темы, с которыми почти невозможно справиться. Кроме того, с каждым годом повышаются требования и к себе самому, и к своему “детищу”; приходится чрезвычайно много переделывать, видоизменять, совершенствовать.

Прекрасные отношения создались у меня с мамой, Шурой и ее мужем. Мой дом стал моей совестью, понимаешь? И даже, кажется, я не могу без него долго существовать. Даже за две недели житья в Питере — начал мучаться»168.

Добрые отношения дома, внутреннее равновесие помогали писанию, а оно высвечивало жизнь смыслом. Больше всего усилий уходило на роман «Грешники», то страницами продвигавшийся, то останавливавшийся, то переписывавшийся. Сочинялись стихи. Была написана поэма «Красная Москва». Позже она отозвалась в триптихе «Столица ликует» и, может быть, в «Симфонии городского дня». Был начат поэтический цикл «Катакомбы», завершенный в 1941-м. Судя по всему, в не дошедших до нас стихах так или иначе говорилось об уходе истинной православной веры в катакомбы. В «Железной мистерии» катакомбы изображены в шестом акте — «Крипта». К «катакомбной» церкви, как назывались «тихоновцы», принадлежали и некоторые из его друзей.

По рассказам Алексея Смирнова169, в которых правда, увы, неотрывна от домыслов, Даниил Андреев близко общался с «тихоновцами» на их даче в Перловке, где иногда жил подолгу (в 1934, 1935 и 1936-м).

«Приезжая ранней весной и разместившись во флигеле, он топил на ночь железную печку-буржуйку, — картинно рассказывает Смирнов о происходившем до его рождения, — подвесная труба которой была выведена в форточку. На своем медном примусе он постоянно кипятил крепкий, черный, тюремного пошиба чай. У Андреева был ключ от флигеля, он появлялся неожиданно и так же неожиданно, не прощаясь, уезжал в Москву.

Рядом с флигелем стоял построенный из горбыля дровяной сарай, а под ним — схрон, землянка со скрытым воздуховодом. В этом схроне периодически прятались катакомбные монахи и священники, днем спавшие во флигеле вместе с Андреевым на старинных черных железных кроватях с набитыми сеном тюфяками. Если появлялись подозрительные прочекистские люди, монахи уходили через люк в схрон. По ночам бабушка носила еду и для катакомбников, и для Андреева. <...>

Периодически по ночам в доме около иконы начала XVIII века “Знамение” вполголоса служили молебны»170.

«Моя жизнь ровная — как ниточка на катушке — день за днем, внешних событий нет. Но последнее время это уже не гнетет и не томит, как бывало раньше, и, думаю, в этом виновата не привычка, а что-то другое. Вижу, что полосы “кабинетной” жизни бывают время от времени нужны чрезвычайно.

Осенью довольно основательно засел за Древний Восток — это мне очень нужно, — но скоро выбили меня из колеи хлопоты относительно папиного сборника (Диме я рассказал уже), — и только теперь я мало-помалу вхожу снова в этот изумительный мир — Халдеи. Страшно интересно, не могу Вам выразить как!»171 — делился Даниил с женой брата. Он поведал об этих кабинетных бдениях под голубой лампой:

Один опять. В шкафах — нагроможденье книг,
Спокойных, как мудрец, как узурпатор, гордых:
Короны древних царств роняли луч на них,
И дышит ритм морей в их сумрачных аккордах...

Мемфис, Микены, Ур, Альгамбра, Вавилон —
Гармония времен в их бронзе мне звучала,
Томленье терпкое мой дух влекло, вело,
По стертым плитам их — к небесному причалу.

В сказания Древнего Востока он углубился не без влияния Коваленского. Причудливая древность увлекала не менее, чем

современность, переплетаясь с ней. К новинкам литературы он тоже не был равнодушен, но следить за появляющимися книгами не успевал, да и не хотел утонуть в сегодняшнем, текучем.

Какие же книги открывали ему фантастический мир Халдеи? Двухтомная «История Древнего Востока» Тураева, крупнейшего русского востоковеда, имевшаяся в его библиотеке. Вероятно, популярная «История Халдеи» Рагозиной, использовавшей труды западных востоковедов. И в особенности труды по истории религий. Может быть, еще с отрочества были в его библиотеке два тома из поэтичной «Иллюстрированной истории религий» профессора теологии Шантепи де ла Соссей, посвященные индуизму, буддизму и религиям Китая. Религиозный мир Востока — сокровенное знание жрецов Вавилона и Египта, буддизм, мистическая Индия, увлечение ими в предреволюционные годы кто только не пережил. Даниил Андреев шел следом, ища свое.

Халдея — нововавилонское царство, где правили халдейские цари Набопаласар, Навуходоносор. В Библии Вавилония названа Сеннаром. Той же осенью Андреев написал стихотворение об этой мифической стране, родине астрологов-халдеев. Долгое время о ней знали лишь по Библии и обрывкам сказаний вавилонского историка Бероза. В стихотворении «Сеннанр» поэт видит себя в одной из воображаемых древних жизней странствующим мудрецом-халдеем, проходящим по «площади утихшего Эрэха», где звучат вечерние литургии, клубятся благовония:

Евфрат навстречу мне вздыхает, чуть звеня...
Пересекаю мост — вся ночь луной объята, —
И восхожу один по строгим ступеням
На белые, как сон, террасы зиккурата.

Белые террасы в «Розе Мира» превратились в семиступенчатый белый зиккурат, эмблематический образ *Эанны* — затомиса (небесной страны) древней вавилоно-ассиро-ханаанской метакультуры. Семь ступеней зиккурата обозначали «семь слоев, которые были пережиты и ясно осознаны религиозным постижением вавилонского сверхнарода». Наверное, тогда уже в его воображении вставали «многоступенчатые храмы-обсерватории, сделавшиеся вершинами и средоточиями великих городов Двуречья», пусть в поэтической дымке, стало представляться драконообразное чудовище — уицраор. «Вавилонская метакультура была первой, в которой Гагтунгру удалось добиться в подземном четырехмерном слое, соседнем с вавилонским шрастром, воплощения могучего демонического существа, уицраора, потомки которого играли и играют в метаистории человечества огромнейшую и крайне губительную роль, — с уверенностью посвященного писал он в «Розе Мира». — В значительной степени именно уицраор явился виновником

общей духовной ущербности, которой была отмечена эта культура в Энрофе. И хотя богиня подземного мира, Эрешкигаль, побеждалась в конце концов светлой Астартой, нисходившей в трансфизические страдалища Вавилона в порыве жертвенной любви, но над представлениями о посмертье человеческих душ, исключая царей и жрецов, довлело пессимистическое, почти нигилистическое уныние: интуитивное понимание парализующей власти демонических сил».

Там же, в халдейском междуречье, он обнаружил храмы Солнца.

7. «Реквием»

«В сентябре будет 10 лет с папиной смерти — я все-таки надеюсь, что ты будешь к этому времени здесь. Сейчас я подготавливаю сборник, посвященный папе. В него войдет “Реквием” (здесь еще мало известный), кусочки дневника, много писем и воспоминания Вересаева, В. Е. Беклемишевой и Кипена. Сборник составляем мы вдвоем с Верой Евгениевной. Это большой друг нашей семьи.

До последних дней этот сборник отнимал чрезвычайно много времени — целыми днями приходилось бегать, высунув язык, по городу или печатать на машинке (чего я, кстати сказать, не умею). Теперь почти весь материал уже сдан, на днях будет заключен договор с издательством “Федерация”. Интересно, будет ли отмечена где-нибудь за границей эта годовщина? Хотя представляю себе, что говорили бы и писали бы все эти господа, какого “патриота” и реакционера пытались бы из отца сделать! Не обрадуешься, пожалуй, этому чествованию», — писал Даниил Андреев брату 14 февраля 1929 года.

Сборником он занимался с осени прошлого года и надеялся подготовить быстро. Написал Горькому, с просьбой: «Не можете ли Вы нам помочь — прислать копии трех-четырех писем, выбранных, разумеется, по Вашему усмотрению? ...Ввиду того, что материал сборника надо сдавать к 1 января 1929 года, очень просил бы Вас ответить к этому числу»172. Ответил или нет Горький на это письмо — неизвестно, но просимых писем в «Реквиеме» не появилось.

Беклемишева была опытным литератором. В предреволюционные годы она литературный секретарь издательства «Шиповник», основанного ее мужем. Близко знала Леонида Андреева. Ее подробные воспоминания завершали сборник.

«...Сухая, стройная женщина аристократической внешности, на редкость простая в обращении... Она мигом располагала к себе и сразу же вызывала собеседника на откровенность, какого бы он ни был возраста»173 — такое впечатление Беклемишева тогда производила. Жила с сыном Юрием совсем рядом, на Остоженке. Андреев приходил к Вере Евгеньевне, в ее довольно просторную комнату на втором этаже, где они беседовали среди пыльных стоп книг, журналов, рукописей.

Несмотря на энергию Веры Евгеньевны, издать «Реквием» оказалось непросто. Леонид Андреев, знаменитый и признанный, не считался

желательным автором. Попытки опубликовать в Москве или Ленинграде его последний роман «Дневник сатаны» не удались, а после 1930 года андреевские книги не появлялись четверть века, если не считать двух изданий рассказа «Петька на даче» и одного рассказа «Кусака», ставших детской классикой. Поэтому «Реквием» вышел не к десятилетию смерти писателя, а в следующем году. На титульном листе сборника рядом с именем В. Е. Беклемишевой впервые в печати появилось имя Д. Л. Андреева.

Торопясь с запальчивыми претензиями «к господам из эмиграции», он не мог представить, с каким предисловием — а без него и не вышел бы! — появится «Реквием». В нем писатель назван мятущейся душой «потерявшего нить жизни представителя чуждого нам класса», и объявлено, что «его психика, его мировоззрение, его мироощущение враждебны нам», а «философия», как и «философия» Достоевского, неприемлема. Говоря о «враждебном» мировоззрении отца, большевистский публицист говорил и о сыне. «Для всех серьезно мыслящих и живущих жизнь — мистерия», — приводил он слова Леонида Андреева, под которыми мог бы подписаться его сын, и возглашал: а мы говорим: «жизнь великое творчество трудящихся масс, в своем творчестве разгоняющих тьму веков и изгоняющих тайну этой тьмы...»

Литература — «часть общепролетарского дела». Тайны изгоняются вместе с индустриализацией и коллективизацией. В совершавшемся Андреев позднее разглядел предначертания Противобога и волю Жругра, демона власти, воплотившуюся в сталинские пятилетки, сопровождавшиеся террором.

«В 1929 году замолкли церковные колокола. О том, что это было именно в том году, мне говорил Даниил, — вспоминала его вдова. — Тем летом он уехал специально поближе к Радонежу, чтобы слышать колокольный звон, там остался последний храм, где еще звонили. А московские колокола в это время уже молчали»[174]. Борьба с колокольным звоном «в интересах трудящихся» началась с секретного постановления НКВД «Об урегулировании колокольного звона». Когда был запрещен «звон во все колокола», по всем городам и весям колокола сбрасывали с колоколен и отправляли на переплавку. В ноябре того же года стали снимать колокола в Троице-Сергиевой лавре. Но не только церковные звонницы заставили замолчать. Начали рушить старинные намоленные московские храмы. Уничтожили храм Покрова в Левшине, родной для семьи Добровых. Пытались покуситься на календарь, отменить названия дней недели. Отменили специальным указом празднование Рождества и Нового года, объявив религиозной пропагандой. А крестный Даниила Андреева на открытии второго съезда Союза воинствующих безбожников провозгласил: «...религии нет места в том огромнейшем процессе культурного творчества, который с невероятной быстротой развивается в нашей стране»[175].

8. Хлопоты о старшем брате

«Слушай, Дима, нет ли теперь какой-нибудь возможности тебе вернуться в Россию? Приложи все усилия; здесь (в Москве или в Ленинграде) не так уж невозможно устроиться», — писал Даниил брату в сентябре 1928 года. Тот и сам не оставлял мыслей о возвращении и оставался апатридом, не желая принимать французское подданство. «И не в силах к тебе возвратиться, / И не в силах тебя разлюбить» — строки из тогдашнего его стихотворения о России. В 1928 году в Париже у него вышла вторая книга стихов — «Недуг бытия». Вступив в группу «Кочевье», он участвовал в ее вечерах в «Таверне Дюмениль» на Монпарнасе, где собирались молодые литераторы русского Парижа, читал стихи, в декабре сделал доклад к 135-летию со дня рождения Тютчева, опубликованный в «Воле России». Стал печататься как критик. Но жить в переполненной русскими эмигрантами Франции было трудно, главное — не на что. Литература прокормить не могла, приходилось браться за любую работу: чернорабочий на фабрике, типографский наборщик, киномонтажер. Не зная советской жизни, представляя ее по газетам и рассказам, в своей любви к России Вадим Андреев хотел верить в лучшее. И верил. Об эмигрантских мытарствах брата Даниил позже рассказывал: у него часто не хватало денег даже на пачку папирос. Писал: «После окончания Сорбонны ему пришлось вместо философии заняться развозкой на тачке масла и молока по парижскому предместью».

И тогда, и позже Вадим Андреев был близок к части русской эмиграции, настроенной если и не просоветски, то вполне лояльно к режиму, въяве не знакомому. Левые настроения и симпатии к Стране Советов росли, жаждавшие верить пропаганде верили, от страшных слухов отмахивались. Тем более что предвоенная европейская жизнь не казалась радужной. Видимо, в не дошедшем до нас письме младшему брату он писал о необходимых бумагах, надеясь на помощь тех советских писателей, с которыми познакомился в Париже. Например Бабеля, чей московский адрес просил сообщить.

Исаак Бабель, арестованный в 1939-м, рассказал следователям, что в 1927 году в Париже встречался с Вадимом Андреевым. Тот вместе с молодыми поэтами приходил к нему «на квартиру по улице Вилла-Шовле, дом 15»176, и Бабель позже ходатайствовал о его возвращении в Москву.

Но особенные и небезосновательные расчеты были на помощь Горького.

Отвечая брату, успевший кое-что разузнать и убедившийся в том, какие громоздятся преграды, в феврале следующего года Даниил писал:

«Димочка, дорогой мой, задерживаюсь я с письмом потому, что наведение справок относительно моего ручательства, которое я хочу тебе послать, заняло много времени; до сих пор я не выяснил некоторых пунктов <...>

Относительно твоего приезда у меня есть большие сомнения. Но мне так хочется тебя видеть, последнее время я так много о тебе думаю и так жду тебя, что мне ужасно трудно тебе советовать отложить возвращение. Дело, однако, в том, что, во-первых, тут трудно найти работу, особенно такой, можно сказать, “умозрительной” профессии, как ты (я разумею твою Сорбонну). <...> В общем, можно в Москве достать комнату с тем, чтобы ежемесячно платить от 25 до 50 рублей — сумма, как видишь, довольно солидная. Когда ты думаешь приехать? Если этой весной или летом, то на первое время тебе поможет гонорар, который я, по всей видимости, получу с кинофильма “Белый Орел”, темой которому послужил папин “Губернатор”. Но что будет дальше — сам не знаю, моя дальнейшая судьба “темна и таинственна”. Работа по-прежнему случайная.

Вот такие предупреждения. <...> В конце концов без работы (регулярной) ты можешь сидеть и там и тут, разница же в том, что здесь будут свои, что здесь *своя* земля, *свой* воздух, *свой* народ. Поэтому я далеко не категорически отговариваю тебя от приезда, отнюдь нет. Да, кроме того, сюда примешивается и личная моя тоска по тебе».

Продолжив письмо через две с лишним недели, он сообщил еще более удручающие новости: «Юрист, наведя справки, сказал мне следующее: мое ручательство, как ручательство не члена партии и даже не члена профсоюза (что особенно грустно), не может играть никакой роли. Я проверил эти сведения, и, кажется, они справедливы»177.

Юрист, к которому обращался Даниил, вероятнее всего Муравьев, близкий друг Добровых. Он продолжал непосильную адвокатскую борьбу за справедливость. В 1922 году принял участие в защите ЦК правых эсеров. Как следствие, оказался арестован и на три года выслан из Москвы, правда, через несколько месяцев возвращен благодаря давнему знакомству с Дзержинским. В 1924-м вновь стал адвокатом и продолжал защищать, пока это властями допускалось, гонимых и обвиняемых. В 1929-м пытался защитить тверского крестьянина Чуркина, записанного в кулаки и обвиненного в антисоветской деятельности. Так что не только о возможности помочь возвращению брата, но и о том, с какой политической целесообразностью действуют советские законы, Николай Константинович мог поведать обстоятельно.

Сомнения Даниила, не изведавшего еще всей беспощадности действительности, от коей, как могли, его продолжали оберегать любящие тетушки, наверное, тоже помогли охладить патриотический пыл, с каким старший брат добивался возвращения. В «Стихах о России» он говорил о своей жизни «в огромном пространстве разлуки». От отчаяния его спасала не только поэзия, которая не спасла его друга, Бориса Поплавского. Спасала семья. 22 января следующего, 1930 года у него родилась дочь. Ее, как и мать, назвали Ольгой. Узнавший новость лишь летом, Даниил писал: «Димка, родной мой, если б ты знал, как

мы были счастливы! Мы слышали уже со стороны, что у вас родилось дитя, но не знали более ничего, даже того, мальчик это или девочка. Я писал тебе, и даже очень большое письмо (весной) — разве ты его не получил?

Мне очень понятно твое счастье — не удивись этому, — может быть, это странно слышать от человека, который даже и не женат, но я хотел бы иметь ребенка. За вас с Олей я радуюсь всей душой и целую вас всех троих и обнимаю. Как я хотел бы видеть вас!»178

9. Стихиали

Следующее лето Андреев провел не в Тарусе, как хотел, а на Украине. Это июль — август 1929-го. На Днепре в Посадках, недалеко от Триполья, была дача семьи Аллы Тарасовой. Сюда он приехал с Малахиевой-Мирович. По ее стихам, пометам под ними можно представить их путь до Киева на поезде и дальше долгим знойным днем по Днепру на пароходике, на котором «под низким потолком спрессованные люди, / Таранья чешуя и кости на полу», где вокруг озабоченные, хмурые, «заморенные» лица.

В шутливом дачном стихотворении изображено утро: «В комарином звоне гулком / Даня спит и видит сон: / Принесла торговка булки, / Сливки, масло и лимон». Увы: «Пробуждение ужасно — / пусты стол и кошелек». В другом, обращенном к Даниилу, — звездная ночь, бессонная беседа о «сужденной встрече», признание: «Так мать святого Августина / На эти звездные края / С тревогою за душу сына / Глядела, как сегодня я». И дата: «17 августа 1929, 3 ч. утра».

Варвара Григорьевна называла Даниила «зам. сына». Он ее — баба Вава. Ее одухотворенное присутствие можно разглядеть во многих его увлечениях — поэтических и мистических. Старушечьего в ней не было, несмотря на ее шестьдесят лет. Жизнь она прожила в исканиях, в увлечениях и разочарованиях. Не только в идеях, но и в людях. Учась на Высших женских курсах в Киеве, стала народницей, участвовала в революционном кружке. Отстав от народников, пережив нервное расстройство, поехала за границу, в Европу. Потом, в том же родном Киеве, сблизилась с Львом Шестовым, чье влияние оставило в ней заметный след. Пожив в Петербурге, в 1901-м поселилась в Москве. Всегда много писала — прежде всего стихи, которые всю жизнь были ее дневником. Писала и прозу, переводила. Печаталась как критик — театральный и литературный. В ее писаниях религиозно-философское мироощущение сочеталось с артистизмом. Флоренский говорил, что в Варваре Григорьевне есть какая-то «оккультная топь». Переведенный ею (вместе с М. В. Шиком) труд Уильяма Джемса «Многообразие религиозного опыта» Андреев не мог не прочесть с особенным вниманием, о нем он упоминает в «Розе Мира». Малахиева-Мирович считала, что ее связывает с юным другом духовный и «кармический

мост», они беседовали о «космическом сознании», она рассказывала ему сны, читала свои стихи:

Горит светильник мой не прямо,
И пламя припадает ниц.
Кристаллов слез двойная рама
Туманит взоры звездных лиц.

Тусклы надзвездные просторы,
Земной теснины мрак глубок,
И на меня глядит с укором
Распятый в небе Мотылек.

После революции она печаталась в основном как детский поэт. На следующий год после этой поездки к Тарасовым начала вести дневник «О преходящем и вечном».

Трипольское лето отозвалось в «Розе Мира» рассказом о стихиалях — духах природы:

«Счастливо усталый от многоверстной прогулки по открытым полям и по кручам с ветряными мельницами, откуда распахивался широчайший вид на ярко-голубые рукава Днепра и на песчаные острова между ними, я поднялся на гребень очередного холма и внезапно был буквально ослеплен: передо мной, не шевелясь под низвергающимся водопадом солнечного света, простиралось необозримое море подсолнечников. В ту же секунду я ощутил, что над этим великолепием как бы трепещет невидимое море какого-то ликующего, живого счастия. Я ступил на самую кромку поля и, с колотящимся сердцем, прижал два шершавых подсолнечника к обеим щекам. Я смотрел перед собой, на эти тысячи земных солнц, почти задыхаясь от любви к ним и к тем, чье ликование я чувствовал над этим полем».

Так он описал пронзительное ощущение того, что все в природе не только живет собственной таинственной жизнью, но и являет совершенно иную, отдельную от утонченного созерцателя одухотворенность.

Позже, называя любимым цветком — как героиня андерсеновской сказки — лилово-розовый цветок репейника, он говорил о его особенной ауре, может быть, связанной с символикой вечно женственного или с Готимной — Садом Высоких Судеб.

О растениях, наделенных чувствительностью, писал еще Эдгар По, фантастичность которого Достоевский называл «какой-то материальной». Но одушевление природы, прочувствованное единство с ней — «всё во мне, и я во всём» — свойство не только романтических писателей. Оно есть в любом человеке. В древних религиях существовало поклонение рощам, деревьям и растениям. В Индии священны не только реки и горы, но и отдельные скалы, пещеры,

говорящие деревья — в каждом живет свой дух. Анимизм — вера праотцев в то, что во всем окружающем есть душа, — стал инстинктивной верой поэтов. И то, что Андреев в поле подсолнечников разглядел «невидимые существа» — стихиали, отличало его мировосприятие. Так он был устроен — во всем видел иноматериальную духовную жизнь. Через годы трипольское видение превратилось в обстоятельную классификацию светлых и демонических стихиалей.

Возвратившись в Москву в конце августа, он сразу остро ощутил подступающую осень с холодящими туманами, с утренниками и ледяными росами, желтящими травы. А цветущие поля, вспоминаясь, вызывали теперь строки о подступающей гибели, изображенной с мифологической пышностью: «Злаки падут под серп, заклубится поток Эридана, / Стикса загробного лед жизни скует берега». Наступала осень 1929 года, и для многих и многих грядущей зимой «лед» Стикса станет из метафоры явью.

Той осенью под колокольное молчание и гром газетных заголовков власть железной хваткой взялась за крестьянство, определив врага — «кулака». Началась пора коллективизации, раскулачивания, голодомора. Мужика разоряли, провозглашая принудительный труд социалистическим. «По воле партии» течение жизни направлялось в железобетонные берега ударно строящейся утопии. В те берега погнали и писателей. Со страниц книг должны были звонить сталинские колокола.

«Должен признать, что в 1928—1930 г<одах>, будучи не согласен с решениями партии и правительства об индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, я особенно озлобился против советской власти»179 — за этим признанием на допросе, заключенным в следовательские формулировки, умонастроения Андреева тех лет. И не только его.

Глухо, но и до Москвы дошли известия о массовом расстреле в Соловках в ночь на 29 октября 1929 года трехсот политических заключенных, а следом и уголовников, убиравших трупы.

Но совершавшееся отзывалось пока в стихах Даниила Андреева вместе с его собственными метаниями, любовью и тоской, размеренными строками как далекое эхо: «Кончено лето души. Из долин надвигается стужа. / Белые хлопья кружат, шагом ночей взметены...»

10. Дружба

7 января 1930 года умер Иван Алексеевич Белоусов. Следом, 22 января, — Алексей Евгеньевич Грузинский. Оба — приятели Леонида Андреева из кружка «Среда» и близкие знакомые Добровых.

До издания «Реквиема», куда вошли письма к нему старого друга, снабженные им примечаниями, Белоусов не дожил. В заботах, связанных с книгой об отце, приходя к Белоусовым, Даниил ближе сошелся с сыном писателя — Евгением. Знакомство их началось еще в 1925-м или даже в 1924 году. Когда он первый раз пришел к ним, «Женя... гонял во дворе

тряпичный футбольный мяч. Футбол был его страстью. Ирина Павловна, к которой Даня пришел, захотела их познакомить: ровесники, один — сын Леонида Андреева, другой — Ивана Алексеевича. Она с большим трудом докричалась до сына», — так со слов Евгения Белоусова рассказывает историю их знакомства вдова поэта, позже ставшая и вдовой Белоусова. «Ранние фотографии Даниила (30-х годов) сделаны именно Женей, — сообщает она. — Важной частью их дружеского общения было чтение друг другу: Даниил читал Жене стихи, а Женя Даниилу — свои оригинальные рассказы. Женя благоговел перед Даниилом и полностью осознавал его место в русской культуре»180. Друг с другом они могли говорить обо всем — и о стихах Гумилева, и о злободневности.

В 1930 году в Москве впервые проходила Спартакиада народов СССР. Первый ее день завершился карнавалом на Москве-реке. У Парка культуры проплывали баржи с конструкциями и муляжами на темы пятилетки, пели хоры, гремели духовые оркестры, по берегам толпились зрители. Представления закончились фейерверком. Зрелище впечатлило Даниила Андреева. В поэме «Симфония городского дня» отзвуки этого «советского карнавала» с «социалистической скинией».

В марте в статье «Головокружение от успехов» Сталин одергивал старательно выполнявшую верховные указания номенклатуру. Они, оказывается, перестарались, и «дело организации артели начинают со снятия колоколов. Снять колокола — подумаешь какая революционность!»181 — иезуитски язвил вождь.

В том же году, в октябре, прошли аресты по делу «Промпартии», вредителей, проникших, как писали газеты, повсюду, развернувших шпионаж и диверсии под руководством генштабов Франции, Англии и прочих капиталистических государств. Но бдительное ОГПУ их разоблачило. Опыт Шахтинского дела учли, процесс, закончившийся 7 декабря, прошел гладко, приговоренных отправили в лагеря.

Будущая жена поэта, Алла Бружес, пятнадцатилетняя школьница, заканчивавшая семилетку, запомнила страх того времени: «Арестовали моего дядю. И я полгода стояла у окна каждую ночь и ждала, что за папой придут. Кончилось это трагикомично. Во двор въехала машина... Я была совершенно уверена (это было уже полгода такого еженощного стояния у окна), что приехали за папой. Потом машина развернулась, оказалось, что это — грузовик. Со мной сделалась истерика»182.

Даниил в апреле засел за работу «над книжкой для детей о рыбной промышленности». Вероятно, заказ помог получить Коваленский, бывший тогда членом «комиссии по созданию новой детской книги» при ВЦИКе. Работа не вдохновляла, требовала усидчивости, мешала писать свое. Но заработок был необходим.

Его товарищ по курсам Вадим Сафонов, почти забросив стихи, уже числился опытным очеркистом, издав книгу о естествоиспытателях —

«Ламарк и Дарвин». С ним можно было советоваться о новой работе как с профессионалом. И хотя они встречались реже, Даниил не мог не приехать к нему на свадьбу. Жил в ту пору Сафонов в Сергиевом Посаде, где жила и Малахиева-Мирович. Только что, в январе, городок переименовали в честь взорванного эсерами большевика в Загорск. Гостей собралось немного, невеста, с которой Андреев познакомился еще в школе, где она училась классом или двумя младше, а потом встречался на Литературных курсах, сидела за скромным свадебным столом и ежилась от прохлады. Внимательный Даниил накинул ей на плечи свою куртку. Чувствуя себя взрослой, она вызывающе спросила: «Даня, вы бывали у проституток?» И он со всей доверчивой честностью ответил: «Да, был один раз», хотя и не любил вспоминать о временах «Дуггура».

11. Некоторые перемены

В добровском доме происходили перемены. Они казались не слишком существенными. Но происходили. Саша Добров расстался с Ириной. Жизнь пары, искавшей, но не нашедшей опоры друг в друге, не задалась. Появилась веселая Маргарита. Соседка, тогда совсем маленькая девочка, Викторина Межибовская, любимица дома, на всю жизнь запомнила ее «сказочный подарок — маленьких стеклянных розовых свинок».
Но Саша и его жена жили совсем иными интересами, чем Коваленские и Даниил, в последнее время особенно сблизившийся с Александром Викторовичем. Характеры у всех были непростыми. Да и жилось многолюдной семье, где главным кормильцем пожилых женщин, опорой молодых пар и не готовых к житейским сражениям поэтов оставался старый доктор.

Феклуша его боготворила, трогательно старалась ему услужить, угодить. «Она всегда боялась пропустить момент, когда надо было подать калоши и палку Филиппу Александровичу, когда тот выходил на улицу», — вспоминала соседка. Доктор ежедневно шел пешком на Пироговскую, в больницу, а по вечерам обходил пациентов, почти всегда бесплатно.

В огромном, во всю стену зеркале, которое висело в прихожей, входящие в дом и поднимавшиеся по широким деревянным ступеням взглядывали на себя, прежде чем войти, открыв белую застекленную дверь налево, в переднюю. Приемная доктора теперь помещалась в столовой, перегороженной занавеской. А из передней дверь налево вела в бывший кабинет доктора, где жили его сын с женой, а направо — в гостиную-столовую, где поместился Даниил. Рядом теснились соседи, к которым вел темный и узкий коридор. И вот Саша с Маргаритой уехали попытать счастья в строящийся, прославленный газетами город металлургов, куда только что подвели железную дорогу, — Магнитогорск. Станция — деревянный барак, над стройплощадками

среди степи высится гора Магнитная. На «стройке социализма» работали не одни комсомольцы, но и тысячи заключенных.

«Их отъезд немного разрядил атмосферу, которая в нашем доме сгустилась за последние 2 года до того, что стала трудно переносимой. — Не могу тебе в письме описать всех обстоятельств, взаимоотношений, причин и проявлений антагонизма — для этого потребовалась бы целая тетрадь. К этой зиме семья разделилась на резко очерченные лагери: Шура, ее муж и я — с одной стороны, Саша и Маргарита, с другой, мама и дядя посередине, то ближе к одному стану, то к другому. Все это было ужасно мучительно».

Заняв освободившуюся — до их возвращения — комнату, Даниил не скрывал радости, делился ею с братом:

«После 7 лет, проведенных в нашей “ночлежке”, где жило 5, одно время даже 6 человек, после семилетней варки в хозяйственно-столово-телефонно-разговорно-спально-крико-споро-сцено-дрязго-семейном котле (я преувеличиваю мало!) — после 7 лет почти полной невозможности систематически работать и заниматься — и вдруг очаровательная, тихая, солнечная комната, с двумя окнами на юго-запад, мягкой мебелью, библиотекой, легкими летними закатами за окном — пойми!!

Жаль только одного: я до сих пор мало пользовался этим великим жизненным благом для “своей, серьезной” работы. Третий месяц сижу над книжкой для детей о рыбной промышленности. Это скучно (и трудно), но ничего не поделаешь. Рассчитываю недели через 2 кончить, получить часть гонорара и укатить куда-нибудь. Далеко, вероятно, не придется — разве только, б<ыть> м<ожет>, на Украину. Но и то под сомнением. А осенью, возможно, будет очень интересная работа: о древнеперуанской культуре. Да и “своим” займусь.

С воинской повинностью у меня так: я попал во вневойсковую подготовку, т. е. 1 месяц на протяжении года или двух должен проходить военную премудрость здесь, в Москве. Я доволен этим: к войне и военному делу не чувствую никакого тяготения»[183].

Малахиева-Мирович, у которой перед глазами проходили горести и радости добровского дома, писала о нем: «Странноприимница для одиноких скитальцев, душевный санаторий для уязвленных жизнью друзей и нередко “дача Канатчикова” — для самих членов дома». И добавляла: «Разнообразные горести, усталость, нервы всех членов семьи не мешают попадающему в атмосферу этого дома ощутить себя в теплой целебной ванне и уйти согретым и размягченным»[184].

12. Солнцеворот

Поэма «Солнцеворот» стала одним из главных замыслов 1930 года. Работать над ней он стал, возможно, уже весной и сообщал об этом Вадиму в не дошедшем до нас письме. В нем даже могло быть начало

поэмы. В следующем письме он говорит о стихотворческих проблемах, волновавших его в связи с поэмой, позднее пропавшей:

«Форма диктуется заданием. Поэтому ни в каком случае нельзя осуждать ни того, ни другого принципа, ни “классического”, ни вольного. Можно лишь говорить о конкретностях и частностях. Напр<имер>: тому или иному заданию не свойственна ни монументальная четкость ямба, ни мечтательная напевность дактиля; сама тема диктует: рваный стих.

Можешь ли ты представить себе “Двенадцать” написанными с первой до последней строки, скажем, анапестом? — Абсурд. — Или “Демона”, вздернутого на дыбу “советских октав” Сельвинского? — Абсурд. У Демона затрещат суставы, порвутся сухожилия, и тем дело и кончится: вместо Демона получится мешок костей.

И утверждаю: тема Революции, как и всех вихревых движений, имеющих к тому же и движение обратное (тут *А* опережает *Б*, *В* отстает от *Б*, а *Г* движется назад), — ни в коем случае не может быть втиснута ни в ямб, ни вообще в какой бы то ни было “метр”.

Но, с другой стороны, столь же неправильно было бы пытаться дать напряженную боль и мощь массового движения, сметающего все преграды и все рубежи, в расслабленно-лирических вольных стихах с их развинченными суставами. Вольный стих — явление декаданса, и, напр<имер>, в моей поэме он будет фигурировать именно в этой роли»185.

Поэму он писал с вдохновенным запалом и в сентябре собирался закончить первую часть: «вероятно, строк около 600». Предыдущая поэма «Красная Москва» ему уже казалась несовершенной, хотя лучшие куски из нее он включил в «Солнцеворот». Впрочем, позже он и «Солнцеворот» назовет ученической поэмой. В ней, по его признанию, он находился под сильным влиянием Коваленского, разделяя «его временное увлечение спондеями». Впоследствии он провозглашал спондеику одним из принципов стихосложения в поэтике «сквозящего реализма».

Умелый версификатор, Коваленский широко использовал спондеи и в драме-мистерии «Неопалимая Купина», писавшейся им в 1927 году, но оставшейся незаконченной, и в написанной через год поэме «Гунны». Тогда Даниил находился под всеподавляющим влиянием Александра Викторовича. Впадая в особые мистические состояния, тот просил Даниила записывать его высказывания. Какими они были — неизвестно. Состояния Коваленского, природу которых он умел внушительно, но туманно объяснять, могли быть откровениями иноприродного.

В то время, когда Андреев задумал «Солнцеворот», Коваленский завершал поэму «1905 год»186. На революционную поэму он возлагал надежды, намереваясь выдвинуться «в первые ряды советских поэтов». Исполнялось 25-летие со дня начала первой русской революции. Этой темы он уже коснулся в вышедшем в том же году в издательстве

«Молодая гвардия» историческом очерке «Нескучный сад», уделив 1905 году отдельную главку. Но в поэме, вольно или невольно, Коваленский вступил в самонадеянное соревнование с Пастернаком, чья поэма «Девятьсот пятый год», названная самим поэтом «относительной пошлятиной» и «добровольной идеальной сделкой со временем»187, сделалась известной и признанной.

«1905 год» Коваленского не стал удачей. Продуманный конформизм, раздвоенность, как ни старался автор подхлестывать стиховой рассказ спондеической энергией, сказались. Успеха поэма не имела, хотя появилась в «Красной нови», затем попала в революционную антологию. Но ее своеобразная, местами выразительная метрика отозвалась даже в зрелых стихах Андреева. Он навсегда запомнил строфы с барабанной дробью спондеев:

Гонит чужой долг,
Дышат ряды шпал,
— Слушай снегов толк:
— Пал, Порт-Артур, пал...
— Пал, Порт-Артур, пал!
— Строй, и за ним строй...
Вон — впереди — встал
Новых Цусим рой...188

Поэме Коваленский предпослал два эпиграфа. Первый — из Ленина, второй — из «Медного всадника» Пушкина. Ленинские слова — «Революция началась... Вероятно, волна эта отхлынет, но она глубоко встряхнет народное сознание... За нею вскоре последует другая» — очевидно перекликаются с утверждением Андреева в письме брату, что революции, как и все вихревые движения, имеют и движение обратное. Но больше впечатляла его другая поэма Коваленского — «Гунны», о революции 1917-го. Позже, на следствии, он уклончиво определил ее мысль: «Великая революция — это грандиозный сдвиг национального сознания...»

Судя по всему, «Солнцеворот» был поэмой о Революции и Гражданской войне, о новой смуте, связанной «вихревым движением» с временами самозванцев. Некоторые строфы ее позже органично вошли в «Симфонию о смутном времени» «Рух».

Но не только уроки домашнего ментора усваивал Андреев. Поэзия 1920-х, и не одни Маяковский и Есенин, Хлебников и Волошин, но и Асеев, Сельвинский, Пастернак, часто совсем чуждые его мироощущению и поэтике, отзывалась в его начальных опытах. Работая над «Солнцеворотом», он с особым пристрастием читал размашистые поэмы Сельвинского, прежде всего «Уляляевщину», тоже поэму о смуте. «Слышал ли ты что-нибудь о нем? — спрашивал он брата о Сельвинском. — Хотя поэзия не ступала на эти страницы даже

большим пальцем правой ноги, — все же этот “поэт” — самое значительное, на мой взгляд, явление нашей литературы за последние несколько лет. Он чрезвычайно остроумен, и если разъять слово — то и остр, и умен (по-настоящему).

Он считает себя учеником школы Пастернака, но надо отдать ему честь, отнюдь не Пастернак. Кстати: твоей любви к Пастернаку не разделяю. Мне в оба уха напели, что это гениальный поэт, — но я, как ни бился, сумел отыскать в его книгах всего лишь несколько неплохих строф. Вероятно, я его просто не понимаю. Но мне претит это косноязычие, возводимое в принцип. Он неуклюж и немилосердно режет ухо. Но талантлив — несомненно, и жаль, что заживо укладывает себя в гроб всяческих конструкций».

Пишет он брату и о других новинках:

«Кроме Сельвинского еще рекомендую: Чапыгина, роман “Разин Степан” — первый роман о России, заслуживающий названия “исторического”; Тынянов, “Смерть Вазир-Мухтара” — блестящий роман о Грибоедове и — “Кюхля” о Кюхельбекере. Писатель очень культурный, что ставит его выше огромного большинства наших литераторов, которые, не в обиду им будет сказано, при всей своей революционности, обладают, однако, куриным кругозором. Даже Шолохов — несомненный талант (читал его “Тихий Дон”?), но ведь интеллектуально это ребенок.

В последнее время у нас наблюдается острый интерес к Хлебникову. Появилось наконец 1-е собрание его сочинений, и среди поэтов циркулирует слух, что это — гений, которого в свое время проглядели. Не думаю, конечно, что гений, но черты гениальности — есть».

В том же письме он делится с братом литературными интересами и предпочтениями:

«...нельзя ли достать у вас там Вячеслава Иванова что бы то ни было (если нет какого-нибудь собрания сочинений)? Здесь он стал величайшей редкостью и стоит бешеных денег. Если б тебе удалось его добыть — очень прошу, пришли: это один из моих любимейших поэтов, и я по-настоящему страдаю, не имея его постоянно под рукой.

Мандельштама я знаю скверно — его тоже очень трудно достать — как и Ин<нокентия> Анненского, которого я безрезультатно ищу вот уже 1½ года. Вообще же, если хочешь знать наконец определенно, то ставлю точку над i: учителя мои и старинная и нержавеющая любовь — символисты, в первую голову — Блок...»[189]

Солнцеворот — 25 декабря, в этот день солнце поворачивает на лето, зима на мороз. В названии поэмы символика времени: солнце, как Божий лик, говорит, что мистическое время уже поворотило «на лето», а историческое, зимнее время явно поворачивает «на мороз». Не зная поэмы, подобный сюжет можно только предполагать. Но, прослеживая постепенно складывающийся в миропонимании Даниила Андреева образ

исторического времени, видевшего в нем то вихревые движения, то смену красных и синих эпох, почти с физическим ощущением мистериальности событий, можно думать, что похожая мысль присутствовала и в «Солнцевороте».

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ТРУБЧЕВСКАЯ ИНДИЯ. 1930—1934

1. Первое лето в Трубчевске

В начале августа 1930 года Даниил Андреев, Коваленские и Беклемишева с сыном, только что окончившим физико-математический факультет Московского университета (шестой спутник нам неизвестен), отправились в Трубчевск.

Юрий Беклемишев в письме другу с бодрым юмором так описал дорогу:

«...в 20 ч. 10’ я отбыл с Брянского вокзала... Когда на другой день я прибыл на станцию Суземка, то оказалось, что поезд опоздал на три часа и что поезд, идущий в Бобруйск, ушел. Следующий будет завтра. Катастрофа. Однако тут все могло бы кончиться более или менее благополучно, не будь со мной мамаши и ее чемоданов (впоследствии я подсчитал, что их было 6 штук, не считая мелких вещей). Моя мамаша, конечно, спаниковала, и вот через полчаса мы в компании четырех других товарищей по несчастью на паре колхозных суземских лошадей тронулись в Бобруйск (Суземки — Трубчевск, 50 верст по песку!). Мамашины чемоданы угрожающе грохотали за нашими спинами, связанные в какую-то фантастическую пирамиду предприимчивыми колхозниками. Встречные аборигены с удивлением и испугом смотрели на странное сооружение, медленно движущееся по песчаной дороге среди дремучих брянских лесов. Примерно каждые три версты происходили аварии, и мы ремонтировали наше сооружение. Всю дорогу нас сопровождали тучи слепней и комаров. Заночевать пришлось в пути, не доезжая 15 верст до Трубчевска, потому что лошади явно собрались подыхать. Ночевали на каком-то старом сене, съедаемые комарами. Всю дорогу у меня болел зуб. Однако, несмотря на все, я был тверд, как скала.

На другой день в 12 часов, промокнув под дождем, мы торжественно въехали в Бобруйск. Это удовольствие стоило нам 10 рублей, не считая, конечно, ж. д. билетов. Устроились хорошо.

Трубчевск один из самых старых русских городов. Он упоминается еще в “Слове о полку Игореве”. Здесь масса исторических древностей. В местном музее я видел откопанные черепа финских племен и гуннов с очень покатыми лбами, а также монеты арабов и Римской империи, неизвестно как попавших в трубчевские пески.

Здесь довольно хорошая компания молодежи, в которой я и вращаюсь»190.

Описание дороги у Юрия Беклемишева, в недалеком будущем ставшего писателем-орденоносцем Юрием Крымовым, несмотря на смешливое переиначивание «Трубчевска» в «Бобруйск», документально точно. Но в следующие приезды Андреев с попутчиками мог доезжать уже не на тряской подводе, а на «кукушке», одноколейкой шедшей от Суземки до Бороденки — поселочка у векового соснового бора под Трубчевском.

В Трубчевске мучившийся больным зубом Беклемишев отправился к врачу. Это был Евлампий Николаевич Ульященко, старый земский врач, близко знавший семейство Велигорских еще по Орлу, где учился в гимназии с Петром и Павлом Велигорскими, и помнивший не только Добровых, у которых бывал в Москве, но и родителей Даниила. Жил он с большой семьей в доме при больнице.

Небольшой городок Трубчевск с 1930 года вырос, но не намного, и, может быть, в этом его не всякому понятное счастье. Упоминавшийся в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях как удельное владение Новгород-Северского княжества, славный легендарным Бояном и князем Всеволодом, братом бессмертно невезучего князя из «Слова о полку Игореве», связанный судьбой и именем с княжеским родом Трубецких, тысячелетний Трубчевск пережил все русские несчастья. Ни одна большая война не обошла город. Его неповторимость не в одной древности, но и в редкостном местоположении не только на некогда роковой засечной черте, а и на землях, соединявших Русь Московскую и Малую. Рубежность его, возникшего там, где соседствовали некогда радимичи, вятичи и северяне, всегда была не разъединительной, а объединительной. Помнит город и раздольное Черниговское княжество. Вокруг Трубчевска до сих пор чудом уцелел, почти без порух, древнерусский былинный простор, открывающийся с высокого берега Десны. Даль распахивается, когда выходишь к Троицкому собору. Здесь стоял детинец, размещался княжеский двор, отсюда рос посад. Это место, заглавное в Трубчевске, и называется Соборной горой. Андреев не мог не очароваться зеленым всхолмьем, откуда «вдруг разверзается простор...». Разверзшись, простор затягивал «зелеными певучими дорогами», вившимися среди темных лесов, тихоструйных рек, лебединых озер. Здесь он увидел «непроглядную страну», приоткрывшую и праотеческую Русь, и тайну «космического сознания».

Видный издалека, с Десны, Троицкий собор с обступившим его тенистым парком — душа Трубчевска и память. От допетровских времен сохранилась сводчатая крипта с надгробиями князей Трубецких, затем каждое столетие добавляло свое. В 1824 году пристроили колокольню, в 1910-м Ниловский придел. Во времена первых приездов Андреева в соборе шла служба, целы были храмовая ограда и четыре часовни вокруг. Стояла деревянная часовня и над святым ключом Нила Столбенского. Вниз к нему крутым берегом вели подгнившие ступени.

Здесь его дед Велигорский прожил одиннадцать лет: служил управляющим удельными лесными дачами, избирался гласным трубчевской управы.

Захваченный красотой и мощью открывшихся просторов, Андреев, надеявшийся продолжить работу над «Солнцеворотом», на время забыл о всех замыслах. «Поэму сейчас не пишу: живу в глуши, в маленьком городишке Трубчевске, на реке Десне, — писал он брату. — Красота тут сказочная, и я только смотрю и слушаю. Очень далеко гуляю один. Жара, я черен, как уголь. Был на лесных озерах, куда еще прилетают лебеди»191.

В первое же лето он побывал на Неруссе, извилисто струящейся по лесам речке, впадающей в Десну под Трубчевском. В забытые времена она служила водным путем на Радогощь, Севск. Быстрая, затененная местами смыкающимися над ней ветвями, Нерусса завораживала неожиданностью поворотов. В те поры над ней еще встречались вековые дубы, безжалостно сведенные. Добрался он и до лебединых Жеренских озер, называвшихся Жеронскими. Их было три: Большое, Среднее и Малое Жерено. Но Малое уже и в те времена, наверное, начало умирать, зарастая. Ну а в XIX веке озера кишели рыбой.

До революции город ремесленников и торговцев, большей частью деревянный, украшенный садами, купеческими домами и восемью храмами, в 1930-е годы менялся мало. Хотя и в нем что-то строилось — хлебозавод, новая больница, проводились водопровод и электричество. Гордился тогда Трубчевск двумя учреждениями — Народным театром и Краеведческим музеем. Но год перелома наступил и для них. Театр — должен быть сугубо пролетарским, хотя в нем и ставили революционные пьесы, такие как «Федька-есаул» Ромашова о Гражданской войне, но за ней, бывало, следовал «Лекарь поневоле» Мольера. В музее — никаких икон и монастырских книг, никакого дворянского «хлама». Заведующим музеем местного края, как он тогда назывался, выгнав основателя, виновного в дворянском происхождении, как раз в 1930-м назначили неопытного энтузиаста Павла Николаевича Гоголева, бывшего почтового служащего, завалившего музей разнообразными экспонатами. Чего здесь только не было, но преобладали археологические древности — керамика неолита и раннего железного века. Ну а пришедшие после Гоголева, ушедшего в школьные учителя, временщики, растранжирив, что могли, сушили, как вспоминали старожилы, в музейных залах рыбацкие сети. Гоголева же в 1933-м арестовали и дали три года лагеря по делу организации, якобы собиравшейся «реставрировать строй дореволюционной России». В тот первый приезд вместе с Юрием Беклемишевым музей посетил и Даниил, познакомившийся с его заведующим.

2. Предзимье

Трубчевское лето кончилось, а московская осень возвращала в будни. Начавшаяся опубликованной 7 ноября 1929 года статьей вождя «Год великого перелома» коллективизация, как говаривал народ, «понаделала делов». Начало можно было видеть в трубчевской округе. Крестьяне в колхоз не хотели, в тех деревнях, рядом с которыми Андреев странничал, поголовно устраивались на работу в лесничества. Власти рапортовали о колхозах, любители ухватить чужое кулачили соседей. Ликвидация кулачества шла об руку с богоборчеством — церкви грабили, забирали под склады, жгли иконы, гнобили священников. На восток и на север двинулись с кулацкими семьями товарняки с оконцами, опутанными колючей проволокой. После появления к весне (2 марта 1930 года) другой сталинской статьи, «Головокружение от успехов», об «искривлении партийной линии», кое-кто попробовал выйти из колхозов. Но эшелоны с кулаками продолжали путь на восток и на север. «Перегибы» перешли на город. За ненадлежащее происхождение лишали избирательных прав, «вычищали» со службы, оставляли без хлебных карточек. Кампания шла с размахом, лишенцем одно время числился, к примеру, Станиславский.

За каждым углом и кустом отыскивались враги. Арестованный вместе с женой Алексей Федорович Лосев по воле следствия стал участником несуществующей контрреволюционной организации «Истинно православная церковь». Его чудом изданная «Диалектика мифа» вызвала вспышку ярости. Каганович с трибуны XVI съезда партии клеймил «философа-мракобеса». Лосеву дали десять лет, отправили на Беломорско-Балтийский канал. Не без лубянской ловкой подсказки ударил по «классовому врагу» Горький. В статье «О борьбе с природой», приведя среди прочих слова Лосева — «Спасение русского народа я представляю себе в виде “святой Руси”», — он заявил, что нечего делать в стране «людям, которые опоздали умереть, но уже гниют и заражают воздух запахом гниения».

Неизвестно, прочел ли Андреев «Диалектику мифа», но прочесть мог. Запрещенная книга частично уцелела, в Москве ее читали. Но главное в том, что, увлеченный восточными мифологиями, соседствовавшими в его представлениях с образами Святой Руси, он пришел к пониманию мифа как особой реальности, родственному взглядам Лосева. Отсюда вырос метаисторический метод, описанный в «Розе Мира».

Статья Горького, опубликованная 12 декабря 1931 года сразу в «Правде» и в «Известиях», антирелигиозным пафосом не могла не возмутить крестника. Если он и не прочел этой статьи, то слышал горьковскую фразу: «Если враг не сдается — его уничтожают». «Материалы» о врагах и вредителях писателю присылал сам Сталин.

14 мая 1931 года Горький вновь приехал в СССР. Встреча с толпами народа, оркестрами, речами входила в планы приручения «буревестника». Окончательно Горький вернулся в следующем году,

и опять его встретили с ритуальной торжественностью. «Буревестник» попал в расставленные сети и, даже понимая это, ничего не мог поделать.

Даниил Андреев, как и его отец когда-то, с крестным разошелся. О «триумфальном» приезде Горького написал с беспощадной прямотой:

Шагал он к роскошной машине
Меж стройных шеренг ГПУ.

Все видел. Все понял. Все ведал.
Не знал? обманулся?.. Не верь:
За сладость учительства предал
И продал свой дар...

Врагами власти стали недавние союзники и та русская интеллигенция разнообразных взглядов, что совсем недавно, казалось, находилась в одном лагере с Горьким. К ней принадлежал старинный приятель Доброва — Павел Николаевич Малянтович. Последний министр юстиции Временного правительства, к тому же, на свое несчастье, подписывавший указ об аресте Ленина, для советских властей был затаившимся врагом. Старого адвоката не только «вычистили» из адвокатуры, но и арестовали, приговорив к десяти годам лагеря за давнюю принадлежность к Центральному бюро меньшевиков. На защиту соратника и друга встал Муравьев, используя знакомства среди советских вождей. Их он защищал до революции. А защищал он многих, например Каменева, Сольца, тогдашнего председателя Совнаркома Рыкова.

20 мая 1931 года коллегия ОГПУ Малянтовича освободила. Его черед придет: в 1937-м новый арест, в 1940-м расстрел. Все это обсуждалось у Добровых и стало в подробностях известно Даниилу, часто бывавшему и в Чистом переулке у Муравьевых, и, пусть изредка, на Зубовском бульваре у старшего Малянтовича. Во время допросов на Лубянке следователи вспомнили и Малянтовичей, заставив Андреева подписать протокол со следующим признанием: «Еще в годы революции на квартире у Доброва... постоянно проходили сборища врагов советской власти. Бывшие министры Временного правительства Малянтович Павел и Малянтович Владимир, бывший председатель чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства Муравьев, бывший московский градоначальник Лидов[192] были постоянными участниками этих сборищ»[193].

Признания получены просто. Андрееву предъявили выписку из давнишних показаний сына Малянтовича — Владимира Павловича, где речь шла о некой антисоветской организации. Сына заставили дать показания на отца. Вот что тот подписал:

«В конце 1932 года в квартире моего отца Малянтович П. Н. <...> собрались: я — Малянтович В. П., мой брат Малянтович Георгий

Павлович — б. офицер царской армии и мой дядя Малянтович Владимир Николаевич — б. товарищ министра почт и телеграфа при Временном правительстве. В беседе на политические темы мой отец информировал присутствовавших о том, что в Москве существует нелегальная контрреволюционная организация, возглавляемая так называемым “Народно-демократическим центром”, в состав которого вошел и он сам, <...> что цели и задачи организации сводятся к развертыванию активной нелегальной деятельности, направленной к подготовке государственного переворота, свержению советской власти и установлению взамен советского строя новой государственной власти во главе с правительством “народно-демократического центра”»194.

Конечно, выбило следствие и показания о террористических намерениях. Пусть никакого «Народно-демократического центра» в 1932 году не существовало, ясно, что старая демократическая интеллигенция сталинского режима принять не могла.

3. Космическое сознание

В Трубчевском районе раскулачивание по-настоящему развернулось в 1931 году. Весной, в мае, в Трубчевске стала выходить газета «Сталинский клич», призывавшая: «Ударим по кулакам и их агентам». Но Андреев уходил туда, где злоба дня заслонялась зеленым простором. Нерусса, несколько выше ее впадающая в Десну Навля — у этих сказочно чистых рек, по их лесистым поймам с берегами, то гривисто приподнятыми, то болотистыми, то открывающимися покосными раздольями, он чаще всего и странствовал. В «Розе Мира» он рассказывает: «Это были уходы на целый день, от зари до заката, или на три-четыре дня вместе с ночевками — в леса, в блуждания по проселочным дорогам и полевым стежкам, через луга, лесничества, деревни, фермы, через медленные речные перевозы, со случайными встречами и непринужденными беседами, с ночлегами — то у костра над рекой, то на поляне, то в стогу, то где-нибудь на деревенском сеновале». Загорелый и обветренный, искусанный комарами, усталый, он возвращался в городок — «несколько дней отдыха и слушания крика петухов, шелеста вершин да голосов ребят и хозяев, чтение спокойных, глубоких и чистых книг — и снова уход в такое вот бродяжничество».

Андреев, видимо, уже тогда останавливался у одинокой старушки — Марфы Федоровны Шавшиной. Ее бревенчатый домок под тесовой крышей тремя окнами выходил на улицу Севскую. На задах небольшой сад-огород. Жила она одна. До революции стирала трубчевским купцам белье. А теперь сдавала горенку и подторговывала. Почти восьмидесятилетнюю бойкую старуху, не умевшую ни читать, ни писать, соседи за глаза называли «темной Машебихой». Недалеко высилась пожарная каланча, и раскатистый удар билом означал, что наступил полдень.

Именно этим знойным летом с ним произошло то, что навсегда привязало его к трубчевским просторам, что он считал «лучшим моментом» своей жизни. О нем рассказано в «Розе Мира»:

«...это совершилось в ночь полнолуния на 29 июля 1931 года в тех же Брянских лесах, на берегу небольшой реки Неруссы. Обычно среди природы я стараюсь быть один, но на этот раз случилось так, что я принял участие в небольшой общей экскурсии. Нас было несколько человек — подростки и молодежь, в том числе один начинающий художник. У каждого за плечами имелась котомка с продуктами, а у художника еще и дорожный альбом для зарисовок. Ни на ком не было надето ничего, кроме рубахи и штанов, а некоторые скинули и рубашку. Гуськом, как ходят негры по звериным тропам Африки, беззвучно и быстро шли мы — не охотники, не разведчики, не изыскатели полезных ископаемых, просто — друзья, которым захотелось поночевать у костра на знаменитых плесах Неруссы. <...>

Плесов мы достигли в предвечерние часы жаркого, безоблачного дня. Долго купались, потом собрали хворост и, разведя костер в двух метрах от тихо струившейся реки, под сенью трех старых ракит, сготовили немудрящий ужин. Темнело. Из-за дубов выплыла низкая июльская луна, совершенно полная. Мало-помалу умолкли разговоры и рассказы, товарищи один за другим уснули вокруг потрескивавшего костра, а я остался бодрствовать у огня, тихонько помахивая для защиты от комаров широкой веткой.

И когда луна вступила в круг моего зрения, бесшумно передвигаясь за узорно-узкой листвой развесистых ветвей ракиты, начались те часы, которые остаются едва ли не прекраснейшими в моей жизни. Тихо дыша, откинувшись навзничь на охапку сена, я слышал, как Нерусса струится не позади, в нескольких шагах за мною, но как бы сквозь мою собственную душу. Это было первым необычайным».

Можно подумать, что подробное и обдуманное описание лунной июльской ночи в «Розе Мира» связано и с его последующим опытом, и с задачами самой книги. Но вот что он писал в те же дни Малахиевой-Мирович:

«Тут была одна ночь, проведенная у костра, гораздо более значительная, чем ночь на Ивана Купалу, о которой Вам писал. Река Нерусса одна из тех, что, по легенде, оросила рай. Почти таитянская гармония, хотя и другая по тонам. Спутники мои уснули, и я один бодрствовал у костра и просидел всю ночь с первой затеплившейся звезды до последней погибшей. Ночь была божественная — другого эпитета не может быть, и развертывалась как мистерия со своим финалом — закатом луны, полным необыкновенного трагизма...»[195]

И почти то же, но с подробностями, рассказал через два с небольшим года Евгении Федуловой, недавно переехавшей в Ленинград и ставшей Евгенией Рейнфельд[196]. Она давно была увлечена Востоком и мистикой. В 1927-м и 1928-м участвовала в анархо-мистическом кружке,

организованном Федором Ростопчиным, правнуком поэтессы, изучавшим восточные языки и прозванным еще одноклассниками «старфаком» — «старым факиром». Влияние блестящего и обаятельного «старфака» сказалось на всей судьбе Евгении. Ростопчина хорошо знала Татьяна Муравьева, учившаяся с ним и, вероятно, с Федуловой в одной школе. Муравьева-то и могла познакомить ее с Андреевым.

«Меня тогда охватило невыразимое благоговение, и не кровавым смятением, а великолепной, как звездное небо, гармонией стала вселенная. Я обращался к Луне, быть может, с тем чувством, которое поднимало к ней сердца далеких древних народов, — описывал он удивительную ночь Рейнфельд. — ...Я лежал, то следя за ветвью, слабо колеблемой над моей головой жаром костра, то ловя скрывающуюся за ней голубую Вегу, то отворачиваясь и снова опускаясь взглядом к низко нависнувшим листьям, вырезавшимся на белом диске луны, как тонкий японский рисунок. Звезды текли, и казалось, что вся душа вливается, как река, в океан этой божественной, этой совершенной ночи! Птицы, смолкшие в чащах, люди, уснувшие у хранительного огня, и другие люди — народы далеких стран, солнечные города, реки с медленными перевозами, сады с цветущим шиповником, моря с кораблями, неисчислимые храмы, посвященные разным именам Единого, — все было едино. Все-таки были минуты, когда стерлась грань между я и не я...»[197] «Само собой, разумеется, я не претендую (Боже упаси!!) на космическое сознание, но пережитое в ту ночь было крошечным приближением — все-таки *приближением* — к нему (прорывом), — уверял он. — Я хочу надеяться, что это ко мне пришло не в последний раз, но, кажется, повторение будет не скоро».

О «космическом сознании» стали говорить в конце XIX века. Андреев впервые прочел о нем у Рамачараки, несколько раз цитировавшего книгу канадского психиатра Ричарда Бёкка, так и называвшуюся — «Космическое сознание». Рамачарака назвал это состояние «раскрытием духовного сознания». Позже он мог прочесть о нем и в книге Уильяма Джемса, тоже опиравшегося на Бёкка. Он, по его словам, *увидел*, что «вселенная состоит не из мертвой материи, но она живая», и ощутил «присутствие вечной жизни». Видение, говорил Бёкк, переживший его во время поездки в кебе, продолжалось несколько секунд, но раскрыло перед ним истину. «Характерной чертой космического сознания, — определил он, — является прежде всего чувство космоса, то есть мировой жизни и ее порядка; и в то же время это — интеллектуальное прозрение... состояние особой моральной экзальтации <...> и наконец еще то, что можно бы назвать чувством бессмертия...»[198] Вообще же «вселенское чувство», как показал русский философ Иван Иванович Лапшин в обзоре свидетельств о подобных состояниях, наиболее полно уловлено и передано поэтами. Их Лапшин в статье «Мистическое познание и “Вселенское чувство”» цитирует не менее обильно, чем мистиков.

Пережитое Андреевым состояние, когда перед ним «космос разверз свое вечное диво», искало выхода в слове, но всегда оказывалось больше и значительнее того, что удавалось выразить. «Сколько раз пытался я средствами поэзии и художественной прозы передать другим то, что совершилось со мною в ту ночь. И знаю, что любая моя попытка... никогда не даст понять другому человеку ни истинного значения этого события моей жизни, ни масштабов его, ни глубины». Впрочем, о невозможности высказать сокровенное говорили и говорят все поэты, а к тому же «неизреченность», как утверждалось в исследовании Джемса, первый из четырех признаков мистических переживаний. Три других — интуитивность, кратковременность и «бездеятельность воли». Вопрос Джемса — «не представляют ли мистические состояния таких возвышенных точек зрения, таких окон, через которые наш дух смотрит на более обширный и более богатый мир?» — для Андреева окончательно решился лунной ночью на Неруссе.

Но в тогдашних стихах вставали не трубчевские дали, а, казалось, в иной жизни исхоженная Индия. Там не только семь великих священных рек, там все реки священны. Андреев в буквальном смысле обожествлял, да и ощущал такими, Десну, Навлю, Неруссу. Здесь родились не только стихи, но представления о душах рек:

«Каждая река обладает такой “душой”, единственной и неповторимой. Внешний слой ее вечнотекущей плоти мы видим, как струи реки; ее подлинная душа — в Небесной России или в другой небесной стране, если она течет по землям другой культуры Энрофа. Но внутренний слой ее плоти, эфирной, который она пронизывает несравненно живей и где она проявляется почти с полной сознательностью, — он находится в мире, смежном с нами и называемом *Лиурною*».

Его углубленность в восточные религии и мифологии сказывалась на всех переживаниях, и закатное солнце, увиденное где-нибудь на Десне под Кветунью с ее величественными кручами, становилось египетским Златоликим Атоном, опускающим стопу за холмы, а церкви на высоком берегу — видением Святой Руси, соседствующим с видением храмов Бенареса над священным Гангом.

4. Левенки

Рядом с Шавшиной жила семья Левенков, чей дом выходил на поперечную улицу — Ленина (бывшую Орловскую), но сады их, по выражению Андреева, «соседили». В саду Марфы Федоровны груши росли рядом с изгородью, и в ней, чтобы собирать падалицу с залезших к соседям раскидистых ветвей, была сделана калиточка. Через нее и хаживал шавшинский квартирант в гости к Левенкам. Свои визиты он описал не без умиления:

Завидев, что явился ты —
Друг батюшки, знакомый дедушки,

Протянут влажные персты
Чуть-чуть робеющие девушки.

К жасминам окна отворя,
Дом тих, гостей солидно слушая,
И ты, приятно говоря,
Купаешься в реке радушия.

Для провинциальной русской интеллигенции семейство Левенков и обычное, и необыкновенное. Необыкновенной казалась разносторонняя талантливость, душевная щедрость и чуткость всех Левенков. Потому к ним так тянуло Андреева, сиживавшего у левенковского самовара в дни, когда непогода или вдохновение мешали странствиям.

Глава семьи Протасий Пантелеевич, преподаватель рисования, перед революцией служил сразу в трех учебных заведениях Трубчевска — в высшем начальном училище, в мужской и женской гимназиях. Самородок из казаков села Гарцева под Стародубом, он был из тех, кто даровит во всем, за что ни берется. Учившийся в киевской рисовальной школе у небезызвестного передвижника Пимоненко, он, уже обзаведшийся семьей, выдержал экзамены и получил право на преподавание чистописания, черчения и рисования. Переехав в 1905 году из Волынской губернии в Трубчевск, растил детей, посильно служил прекрасному, сеял, согласно интеллигентским заветам, доброе и вечное. Живописи не оставлял, писал пейзажи окрестностей: «Нерусса», «Плесы», «Поповский перевоз», «Стародубский пейзаж»... Протасий Пантелеевич восхищал живым умом, привязанностью к искусству и литературе. Кроме живописи он увлекался и поэзией, и философией, и музыкой. Делал скрипки, стоявшее в его домике пианино собрал собственными руками. Столярничал, разводил цветы.

У Андреева с каждым из Левенков сложились свои отношения, но дружба была именно с главою семейства. Стихи, написанные в тюрьме и ему посвященные, он озаглавил «Памяти друга», думая, что того нет в живых. В стихах сказано о главном, что их сближало, — о восприятии природы и чувстве мистического:

Был часом нашей встречи истинной
Тот миг на перевозе дальнем,
Когда пожаром беспечальным
Зажглась закатная Десна,
А он ответил мне, что мистикой
Мы правду внутреннюю чуем,
Молитвой Солнцу дух врачуем
И пробуждаемся от сна.

«Нам свои стихи он читать стеснялся, но охотно читал их отцу», — вспоминала Лидия Протасиевна. С Протасием Пантелеевичем он бродил по берегам Неруссы, беседовать они могли «о неизвестной людям музе», не замечая времени.

Детей в многочадной семье было восемь[199]: четверо сыновей, столько же дочерей. Все унаследовали и отцовскую жизнестойкость, и тягу к искусству. Подружился Даниил со старшим сыном Протасия Пантелеевича — Всеволодом, его ровесником[200]. Всеволод вначале пошел по отцовским стопам, стал художником, но страсть к истории, к археологии перетянула. В хождениях по окрестностям Всеволод, как и его младшие братья — Анатолий, увлеченный фотографией, Олег, бывший еще школьником, захватив удочки, не раз сопровождали Андреева. Бывало, вечером выходили из Трубчевска, чтобы перед рассветом выйти к прячущимся за чащобой Чухраям и встретить рассвет на Неруссе.

Левенки видели в Данииле не только высококультурного столичного молодого человека. При всей скромности и застенчивости, необыкновенность, даже таинственность сквозила в его облике — высокий, худой, с густой от загара смуглотой, большелобый, с ясными и лучистыми глазами. Манера говорить резко отличалась от трубчевского выговора. Бросалась в глаза Левенкам его неприспособленность к практической жизни. Казалось смешным, что он пытался, обжигая пальцы, испечь на огне свечи яйцо, что, отправившись на базар за пшеном, принес проса. Но неудачные походы на Ярмарочную площадь остались стихами:

Мимо клубники, ягод, посуды,
Через лабазы, лавки, столбы,
Медленно движутся с плавным гудом,
С говором ровным
реки толпы:
От овощей — к раскрашенным блюдам,
И от холстины —
к мешкам
крупы.

Олег Протасьевич рассказывал: «Мы пошли на Жерено озеро — я, Анатолий и Даниил Леонидович. Говорили на какие-то философские темы. И тут, когда я спорол какую-то чушь, он мне сказал: “Олег Протасьевич, вы ошибаетесь”. И я, мне было лет пятнадцать, был поражен, что он назвал меня на “вы” и по отчеству».

Анатолию Протасьевичу помнилось другое. «Было, Даниил — дурачился. Он начинал: “Подумай, лягушатница — Гоголь, залив Десны, Нерусса — тоже мне красавица — там ни мостов, ни людей нет...” Вот на эту тему он и дурачился. Можно себе представить, Даниил дурачился?

Но это было. С маршалом Жуковым я на ты был. И с Даниилом на ты». Но Анатолий Протасьевич помнил и то, что походка у Андреева была, когда он выходил с посошком в путь, апостольской. Таким и запечатлел: на мутноватой любительской фотографии — высоколобый юноша-странник с мешком за плечами, в подпоясанной светлой рубахе с отложным распахнутым воротом.

Старшая в семье Евгения преподавала астрономию. Она окончила трубчевскую гимназию, много читала, писала стихи, знала языки — немецкий и французский, изучала польский, читала по-польски романы Сенкевича. Увлекалась предметами романтическими — астрономией и поэзией. Она и стихи писала о звездах:

Орион и Сириус выходят
На охоту в звездные поля.
С их очей застывших глаз не сводит
Зимней ночью мертвая Земля...

В ее альбоме, куда она с девичества переписывала стихи, под инициалами Д. Л. А. записано стихотворение, в котором угадывается интонация Даниила Андреева. Оно посвящено ей:

Снова шторы задвинуты вечером темным и хмурым,
И у книжных томов
Вновь зажегся во тьме синеватый цветок абажура,
Чародей моих снов.

Вот по узкой тропинке иду, и весь мир мне отрада.
Раздвигаю кусты.
За калиткою ветхой широкие яблони сада,
Синь июля и ты.

Возможно, ей же посвящено стихотворение «Звезда урона»:

Из сада в сад бесшумно крадусь...
Все теплой ночью залито,
И радость, молодую радость
Не разделил еще никто.

Одно лишь слово прошептала;
А за плечом ее, вдали,
Звезда Антарес колдовала
Над дольним сумраком земли.

5. Уицраор

В августе 1931 года Андреев бродил заросшими берегами Неруссы, а в Москве готовили к взрыву храм Христа Спасителя. Ободрали золотой купол — металлический каркас решетчато чернел, над ним еще вились птицы, но опасались садиться. Сбивали украшавшие храм горельефы. Сбили и «белого старца», с руками «поднятыми гор*е*», ставшего для него образом самого храма:

На беломраморных закомарах,
С простым движеньем воздетых рук,
Он бдил над волнами улиц старых,
Как покровитель, как тайный друг.

Храм начали взрывать 5 декабря в 12 часов дня. После первого взрыва рухнул только один из четырех пилонов, поддерживавших купол. Через полчаса прогремел второй взрыв, потом еще, пока не обрушились стены, могучие остатки которых остались торчать в кирпичных россыпях. Но ненадолго, на месте храма должен был строиться гигантский Дворец советов.

В этом году он продолжал писать «Солнцеворот». И то, что совершалось в продолжавшуюся эпоху «великого перелома», входило в стихи спондеическими барабанными ритмами.

И вот,
штормом взмыло:
— Ура, вождь!
Ура! — <...>

Бренчат
гимн отчизне...
Но шаг
вял и туп.
Над сном
рабьей жизни,
Как дух,
Черный Куб.

Этот «Праздничный марш» завершен в 1950-м, в тюрьме. Маршевый минор тревожен, несмотря на гротескную патетику «фальшивых гимнов». Поэту отчетливо слышно все страшное, что таится за напором лозунгов и призывов.

В том же 1931-м из Магнитогорска, год с лишним проработав прорабом, в Москву вернулся Александр Добров, поселившийся на Плющихе. Он с трудом вырвался с ударной стройки, где, как ему показалось, строители жили немногим лучше египетских рабов.

Вернулся, переболев энцефалитом, приступы которого мучили его всю жизнь.

В начале 1932 года Андреев впервые решился пойти на службу. «...Я поступил на работу на Москов<ский> завод “Динамо”, в редакцию заводской многотиражки “Мотор”, где работал сначала литературным правщиком, потом зав. соцбытсектором газеты. На службе пробыл всего около двух месяцев и ушел по собственному желанию, не найдя в себе ни малейшей склонности не только к газетной работе, но и вообще к какой бы то ни было службе. Больше я не служил нигде и никогда», — лаконично сообщает он в автобиографии.

В те годы завод, соседствующий с Симоновым монастырем, разоренным и теснимым возводящимся дворцом ЗЛК, был одним из самых известных в Москве, он с дореволюционных лет выпускал электродвигатели. А в том году на «Динамо» готовился выпуск первых советских электровозов. Завод расстраивался, работало на нем больше пяти тысяч человек. Издававшаяся на заводе с 1927 года многотиражка выполняла, как и полагалось, свою задачу — пропагандировать «партийную линию среди широких масс динамовцев», и в ней звучали те же фанфары, что и в больших газетах. Выпускали газету три человека. Работал при редакции литкружок.

Причиной увольнения, по рассказу вдовы поэта, стало вот что. В газету приходили заметки и письма на антирелигиозную тему. Тема была актуальной. Среди «антиобщественных центров» бывшей Симоновской слободы, ставшей Ленинской, партийными пропагандистами в первую очередь назывался Рогожско-Симоновский монастырь, и только потом перечислялись винное отделение местного кооператива и пивная. Монастырь взорвали, храм Рождества Богородицы, несмотря на робкие протесты верующих, закрыли. Завод расширился за счет церковной территории, а позже над упокоением иноков Осляби и Пересвета заработали станки. Письма рабкоров, вместо того чтобы готовить к публикации, Андреев складывал в нижний ящик стола. Но «Союз воинствующих безбожников» действовал, рабкоры «Мотора» не покладали рук. И когда ящик переполнился — подал заявление об уходе. Работать в газете не только в те годы, но и позднее можно было или уверовав в передовое учение, или научившись двоемыслию. Но, уйдя из многотиражки, в письме брату он признавался: «Эта работа, главное — завод и его жизнь — дали мне очень много»[201]. Знакомство с большим заводом, с его механическим, но осмысленным ритмом, с мастерами-станочниками, работавшими здесь еще до революции, каким бы коротким ни было, открыло сторону жизни, пречистенскому юноше малознакомую. В строфах его «Симфонии городского дня» отозвались эти зимние месяцы:

Еще кварталы сонные
дыханьем запотели;

Еще истома в теле
дремотна и сладка...
А уж в домах огромных
хватают из постелей
Змеящиеся, цепкие
щупальцы гудка.
Упорной,
хроматическою,
крепнущею гаммой
Он прядает, врывается, шарахается вниз
От «Шарикоподшипника»,
с «Трехгорного»,
с «Динамо»,
От «Фрезера», с «Компрессора»,
с чудовищного ЗИС.
К бессонному труду!
В восторженном чаду
Долбить, переподковываться,
строить на ходу.

Законы заводского производства и пропагандистский натиск в год завершения первой сталинской пятилетки под станочный гул и гром рождали в нем ощущение «стального сверхзакона», управляющего происходящим. Тогда же пришло видение чудовища со странным скрежещущим именем, олицетворяющего беспощадную государственную волю.

«В феврале 1932 года, в период моей кратковременной службы на одном из московских заводов, — рассказывает он в «Розе Мира», — я захворал и ночью, в жару, приобрел некоторый опыт, в котором, конечно, большинство не усмотрит ничего, кроме бреда, но для меня — ужасающий по своему содержанию и безусловный по своей убедительности. Существо, которого касался этот опыт, я обозначал в своих книгах и обозначаю здесь выражением “третий уицраор”. Странное, совсем не русское слово “уицраор” не выдумано мною, а вторглось в сознание тогда же. Очень упрощенно смысл этого исполинского существа, схожего, пожалуй, с чудищами морских глубин, но несравненно превосходящего их размерами, я бы определил как демона великодержавной государственности. Эта ночь оставалась долгое время одним из самых мучительных переживаний, знакомых мне по личному опыту».

Зима, которой он решился пойти на завод, переживалась нелегко. Он писал брату: «Во-первых, все по очереди болели: мама, Шура, ее муж и я. В продолжение всей зимы свирепствовал грипп, зачастую заболевали целые семьи, целые квартиры; дядя Филипп поэтому был загружен работой, а ему ведь уже под 70 лет и у него грудная жаба. Кроме

болезней были и другие тяжелые переживания. Тетя Катя получила телеграмму, что умер Арсений. Его жена была в это время в Москве, так что он умер в Нижнем Новгороде совершенно один. Известие это мы получили всего неделю назад, и сейчас тетя находится в Нижнем — поехала хоронить сына...»[202]

Ему приходилось думать о заработке. Хотя книги Леонида Андреева издавать перестали, до недавнего времени поступали авторские отчисления от постановок его пьес, иногда еще шедших в театрах, особенно провинциальных. Но и отчисления из «Всероскомдрама» стали редкими, а к 1934 году прекратились совсем.

6. Вечера

В том же 1932 году, осенью, он познакомился с художником-гравером, окончившим искусствоведческий факультет Московского университета, Андреем Дмитриевичем Галядкиным. Они были ровесниками. Познакомил их Александр Михайлович Ивановский, сын протоиерея, духовника Зачатьевского монастыря, тоже художник. С ним Андреев не раз подряжался на оформительские работы. Галядкин любил литературу, пробовал писать прозу. Критичный, независимый, чтобы не дуть в общеобязательную идейную дуду, от искусствоведческой карьеры он отказался. «Галядкин, восхищаясь произведением классического искусства, говорил, при советской власти искусство не может развиваться»[203] — так позже зафиксировали в протоколе допроса бывшей жены Галядкина его взгляды. Граверное ремесло он унаследовал от отца, виртуозно резавшего почтовые марки, еще мальчиком работал с ним в мастерских Гознака, а теперь подвизался в издательствах. Галядкин вспоминал:

«Были несколько лет, когда я очень часто хаживал в этот дом. Слушал Данины стихи, спорил с ним, не одобряя его влечение к йогам и пагодам.

Привычна стала тяжелая парадная дверь с отскочившей кое-где краской, самый глубокий слой наложен, пожалуй, лет сто назад.

Желтая костяная кнопка звонка довольно высоко, и сегодня еще указательный палец левой моей руки живо ощущает ямку той костяной кнопочки.

А иногда проходил мимо, видел в окнах: поливает цветы Елизавета Михайловна; ловил отрывки вагнеровской увертюры, чаще всего тягучие басы “Тангейзера”. Это музицировал на рояле старый доктор Добров, супруг Елизаветы Михайловны.

Как правило, открывала дверь Александра Филипповна, по-домашнему — Шурочка, дочь Добровых и Данина двоюродная сестра.

Только надавишь кнопку, Шурочка здесь, — словно так и стоит все время за дверью: быстра, как ветер, большеносая, большеглазая, иногда до зелени бледная, с ярко накрашенными губами большого рта, у нее японская прическа, и с утра до вечера она в фиолетовом капоте вроде кимоно.

Очень декадентская и очень добрая была Шурочка, несмотря на громоподобный бас.

Даня тоже не ленился выходить на звонок, но быстрая Шурочка опережала двоюродного братца.

Бывало, хорошо увидеть в дверях красивое Данино лицо, добрый взгляд его удлиненных глаз, услышать его мягкий и музыкальный тенорок.

Носил он волосы, как старинный поэт, похож был на побритого Надсона, и казалось мне, что в нем живет *вечно-поэтическое*, как бывает “вечно-женственное”. Что-то от Владимира Ленского, недаром тенорок у обоих “и кудри темные до плеч”, у Дани, правда, они “до плеч” не были.

Иногда даже бант вместо галстука, и долго послужившая толстовка из темного вельвета.

Откроет, бывало, дверь и старенькая, немощная, но опора всего дома — Елизавета Михайловна. Она встречала любезного ей гостя тихим и ласковым приветствием, — бледная, седенькая, глаза серьезно-строгие. Были у нее, кажется, гости и нелюбезные, особенно в те дни, когда одолевала ее какая-то таинственная хворь.

В исключительных случаях выходил на звонок сам доктор — почтенный бородатый интеллигент. Под обличием сурового и не терпевшего возражений астматика, — добрый, самоотверженный человек. Непременное чеховское пенснэ с дужкой на переносице, тоненькая цепочка вдета в карманчик чесучовой толстовки»[204].

Тогда же Галядкин познакомил Андреева со своим однокашником, бредившим поэзией, Виктором Михайловичем Василенко. Если Галядкин был сдержан, ироничен, то Василенко восторжен. Увлеченный западным искусством, но понимавший, что с дворянским происхождением следует выбирать иной предмет занятий, он по совету своего учителя Бакушинского обратился к народному искусству. Но призванием он считал поэзию. Некогда первые сонеты, написанные в подражание дельвиговским, приносил Брюсову. В Андрееве Василенко нашел сочувственную душу. Он жил с родителями неподалеку — в Трубниковском переулке, в Малый Левшинский приходил часто, засиживались они допоздна:

«Эти вечера были наполнены разговорами о поэзии, о Блоке, о Волошине, о Гумилеве... О Боге. <...>

Кстати, считая, что поэту необходимо знать о космосе, он много читал по астрономии. И я с тех пор пристрастился к книгам по астрономии. <...>

Любил он читать богословские книги, что в те годы казалось необычным. И рассказывал мне о том, как в детстве побывал в Оптиной пустыни.

У Дани была такая особенность: он не любил больших сборищ. Почти никогда я у него никого не встречал, и беседовали, обычно, мы лишь вдвоем...

Даниил читал мне все, что он писал... Помню, как он описывал свою предыдущую жизнь в иных мирах. Рассказывал он, откинув голову и полузакрыв глаза — прекрасные черты, бледное лицо, негромкий голос. Говорил он всегда медленно, без какой-либо экспрессии, никогда не вскакивал, не делал резких движений. Всегда глубоко сосредоточенный, внимательный, спокойный. А я ему надоедал. В те времена — это начало тридцатых — я часто влюблялся, и все неудачно, и потому приходил к нему и плакался в жилетку. <...>

Даниил был очень красив. Высокий. Стройный. Лучистые, чуть загадочные глаза. А главное, в нем ощущалась большая внутренняя сила. И в то же время он был мягок, дурного слова при нем сказать было нельзя. И женщины его очень любили. А он относился к ним возвышенно, благородно. И был романтически влюбчив.

Несколько раз, подолгу он рассказывал мне о своей жизни в каком-то ином мире. Там было три Солнца: одно голубое, другое изумрудное, третье такое, как наше. <...>

Стихи он читал великолепно. Он не был декламатором, не завывал. У него была какая-то особая проникновенно-певучая манера чтения. Читал большею частью с листа и говорил так: “Я читаю из тетради, Витя, потому что в стихах ошибаться нельзя”»[205].

7. Индия Духа

Василенко вспоминал, что Даниил Андреев не только «чрезвычайно высоко ценил индийскую культуру», он считал, что «индуизм в своих высших проявлениях приблизился к духовному выходу в космос. Его занимала Индия Духа, возвышенные образы Вишну и Брамы»[206]. Конечно, он помнил «Северного раджу» из «Жемчугов» Николая Гумилева, строки: «Мы в царстве снега создадим / Иную Индию... Виденье». Как и строку о билете в Индию Духа «Заблудившегося трамвая».

Отзвуки Гумилева в цикле «Древняя память» очевидны. Но все же Андреев искал Индию не гумилевскую, а представлявшуюся реальной, веря в реинкарнацию, в непобедимое видение первой своей жизни на ее предгорьях. В Индии его интересовало все, но видел он прежде всего страну религиозно-поэтических озарений, святых гор и рек, многочисленных божеств и бесчисленных храмов. Страну, где почти каждый прикосновенен иным мирам, переживает жизнь природы как собственную, преклоняется перед ней и отправляется в путь босым. Несовпадение образов мучило.

«Недавно я попал на один фильм с громогласным заголовком: “Путешествие по Индии”, — писал он в одном из писем. — Но

разочарование было страшное. Более по*о*шло, более бездарно съездить в Индию не умудрился бы даже Демьян Б<едный>.

Представьте себе: половина времени ушла на показ каких-то фабрик, цехов, производственных процессов и т. п., а остальное время перед глазами маячила группа каких-то английских пошляков, то влезавших на слона, то слезавших с него, то входивших в руины, то из них выходивших... И только на несколько мгновений, как фантастический сон, как феерия, мелькнули полунагие, с белыми тюрбанами фигуры, сходящие к реке по каменным ступеням — и громоздящиеся один на другой храмы священного Бенареса.

Бенарес — мечта моя, одна из самых любимых и самых томительных»207.

В стихах он называет Индию «радугой тоскующего сердца», а Бенарес — «негаснущею радугой»:

Кажется: идет Неизреченная
Через город радужным мостом...
Необъятный храм Ее — вселенная.
Бенарес — лампада в храме том.

Бенарес — «лотос мира», город Шивы, священный город всех вер и толков Индии, и не только Индии, буддисты идут туда из Тибета и Непала. В Бенаресе начал свою проповедь Будда. Город запружен паломниками. Толпы у храмов, толпы у священного Ганга. Всюду молитвенное пение. Блаженны индусы, коим посчастливилось умереть у Ганга в Бенаресе. Здесь древнее средоточие религиозной жизни Индии.

Но и в современности явились герои Индии Духа. Прообраз деятелей грядущей лиги Розы Мира — Махатма Ганди. Книгу Ромена Роллана — видимо, поэтому в его творчестве Андреев нашел «отраженный отблеск вестничества», — рассказывающую о подвижничестве Махатмы, он прочел еще в 1920-х. Книга захватила начиная с эпиграфа: «Человек, который слился с творцом вселенной». Не только идеи Махатмы, но и его образ пророка, мистика и народного вождя стал олицетворять для него современную Индию. Ганди — первый «в новой истории государственный деятель-праведник», опровергший «ходячее мнение, будто политика и мораль несовместимы». Слова Ганди о том, что он хочет религию ввести в политику, его призывы к единению религий, рас, партий и каст, признание, что христианство часть его теологии, — все это было и его убеждениями. Индия с традициями соседства индуизма и мусульманства, с попытками соединения их — от Кабира до Рамакришны и Вивекананды, с терпимостью к толкам и сектам, конечно идеализированная, для Андреева и собственная прародина, и прародина чаемой Розы Мира.

«Нас обоих манит Восток — но разные его половины. Вас — Передняя Азия, меня — Индия, Тибет, Индокитай. (Но не Китай и

не Япония: это глубоко чуждо.) Уже давно — это основное русло моего чтения», — писал он Рейнфельд весной 1933 года. И хотя он говорит о чуждости ему культурных миров Китая и Японии, за этим признанием не отрицание чужого. Стоит лишь прочесть написанные в тюрьме новеллы о китайском мандарине Гё Нан Джён и о японском полководце Тачибано Иосихидэ. Но главные интересы Андреева в начале 1930-х сосредоточены на Индии, символом которой виделся Бенарес с восторженными паломниками, встающими друг за другом храмами и гхатами, каменными ступенями, сходящими в священные воды Ганга.

«Молодой мечтатель, юный друг мой, Даниил Андреев сидит в Трубчевске, а душою то и дело пребывает в Индии»[208], — записала Малахиева-Мирович 28 июля 1931 года. В том счастливом и знойном июле он писал ей, что попадет туда не позже чем через пять лет, а через десять появится его книга об Индии. К письму он прилагал стихи о своей прародине:

В утихнувшего сердца заводи
Да отразятся в час отрады
Подобно золотистой пагоде
Бесплотные Упанишады.
И душу золотыми петлями
Завяжут мудрецы и дети,
Чьим голосам внимают медленным
Из сумрака тысячелетий.

8. Трубчевская Индия

В третий раз в Трубчевск он опять приехал на все лето, надеясь набрести на прикровенные места, где открываются иномиры. «В некоторых условиях окружающей нас природы кроется особая власть вызывать... мистические состояния»[209] — в это утверждение Уильяма Джемса он верил и считал, что прошлым августом у Неруссы нашел эти «условия». Но лето 1932 года в благословенном Трубчевске, где он, по его признанию, «так великолепно кейфовал в прошлом и позапрошлом году», не задалось. Брату жаловался:

«На этот раз, однако, обстоятельства были не так благоприятны. Сначала мешала погода. Июнь и первая половина июля были на редкость дождливыми: ежедневно гроза с жестоким ливнем и даже градом, а иногда — так даже 2 грозы на дню. Я несколько раз пробовал уходить гулять (ухожу я всегда далеко, на целый день), но каждый раз промокал до нитки, так что наконец всякая охота бродяжничать отпала.

Едва же наступила великолепная <...> жара, как я сильно повредил <...> пятку, наступив босиком на торчащий из доски ржавый гвоздь. Начался нарыв, очень медленно назревал (очень неудачное место: грубая кожа), потом мне его разрезали — вся эта эпопея заняла 3 недели. Тут

наступили несравненные лунные ночи, и, видя, что лето для меня гибнет, я, раньше, чем это было можно, пустился гулять.

Надо было наверстать пропущенное, запастись на зиму впечатлениями. Хромая на одну ногу, я сделал чудесную четырехдневную прогулку по брянским лесам, вверх по совершенно очаровательной реке Неруссе, проводя лунные ночи в полном одиночестве у костров. Прохромал я таким образом верст 70, причем приходилось переходить вброд, долго идти по болотам, и все это закончилось тем, что я вторично засорил еще не успевшую зажить ранку. Начался второй нарыв на том же месте...»[210]

Когда в ненастливых небесах проглядывало солнце, он отправлялся за Десну, на Неруссу, выходя на тропы, чуть заметные в сырых серебрящихся травах. Ловили редкое вёдро и косари. Но после обеда опять начинало погрохатывать, снова надвигался дождь. «Над Неруссой ходят грозы, / В Чухраях грохочет гром...» — строки об этих пàривших днях. Под сверкание и под шелест дождя он возвращался. А распогодилось, и он не пропускал июльские лунные ночи, звездопады августа. Эти ночи под ненасытный комариный звон и треск костра наполняло ожидание необычайного. Он рассказывает в «Розе Мира»: «...я старался всеми силами вызвать это переживание опять. Я создавал все те внешние условия, при которых оно совершилось в 1931 году. Много раз в последующие годы я ночевал на том же точно месте, в такие же ночи. Всё было напрасно».

В ту мистическую ночь, о которой рассказано в «Розе Мира», рядом с ним вместе с Всеволодом Левенком, «начинающим художником», возможно, были и его братья — Анатолий, Олег. Им он читал стихи любимых поэтов — Тютчева, Блока, Гумилева. Но иногда и собственные — о Сеннаре и Бенаресе, о божественном Индостане.

Олегу Левенку он обещал, бродя с ним по заросшим берегам Неруссы, что когда-нибудь они вместе пошляются по чудесной Индии. В эти годы Индию Духа Андреев искал в трубчевских просторах. В Индии все священно, все одухотворено, имеет религиозный смысл. Именно так, благоговейно, сакрализуя всё и вся, смотрел на мир он сам и хотел, чтобы так смотрели все, приучаясь «воспринимать шум лесного океана, качание трав, течение облаков и рек, все голоса и движения видимого мира как *живое*, глубоко *осмысленное* и <...> *дружественное*». Только тогда тебя охватит подлинное религиозное чувство — «как будто, откидываясь навзничь, опускаешь голову всё ниже и ниже в мерцающую тихим светом, укачивающую глубь — извечную, любящую, родимую. Ощущение ясной отрады, мудрого покоя будет поглощать малейший всплеск суеты; хорошо в такие дни лежать, не считая времени, на речном берегу и бесцельно следить прохладную воду, сверкающую на солнце. Или, лежа где-нибудь среди старого бора, слушать органный шум вершин да постукивание дятла». Этому он сам научился здесь, в лесах под Трубчевском.

Кто-то из спутников Даниила, Коваленские или Беклемишевы, летом 1930-го в Трубчевске жили в доме учительницы, бывшей начальницы женской гимназии Зинаиды Иоасафовны Спасской, ставшей и его знакомой. Тишина городка, по которому катили, стуча и скрипя, телеги только в базарные дни, несуетливость будней помогали, насколько возможно, не замечать назойливую злободневность. Всем им необходимы были эти побеги из столицы. Но старшие спутники Андреева в леса и просторы с ним не уходили, довольствуясь садовыми чаепитиями и прогулками к Десне.

Иногда он навещал Ульященко. Поздоровавшись с хозяйкой, Ольгой Викторовной, смущающейся дочерью — пятнадцатилетней Любой, Андреев проходил в кабинет Евлампия Николаевича. Земский доктор не мог не напоминать ему Филиппа Александровича — та же внимательность, та же самоотверженность. Он любил общаться с людьми старше его, с ними находил больше общего. Этим летом у Евлампия Николаевича родился внук — Владимир, и Даниила пригласили в крестные отцы.

Заходил он и в музей, к энергичному директору. По слухам, через несколько лет после освобождения из лагеря Гоголев стал невозвращенцем. Как он попал за рубеж, когда — неизвестно, но, по тем же непроверенным слухам, он оказался во Франции, где уже после войны встречался с Вадимом Андреевым.

Этим же летом, возможно, и случился недолгий таинственный роман Даниила Андреева и Евгении Левенок. О нем спросить некого, остались только стихи, дошли невнятные слухи.

27 декабря того же 1932 года Малахиева-Мирович записала: «Женится один из моих молодых друзей — внучатое поколение — Даниил Андреев». Желая лучшего, она предостерегла его. «Я вмешалась в письме, очень резком и очень лирическом, в жизнь дорогого мне Даниила. Он был и продолжает быть на рубеже возможного брака с девушкой жуткой наружности, таких же манер, провинциалкой, неразвитой, больной. Года на три старше его (на самом деле на семь. — *Б. Р.*). И все это не было бы преградой, если бы с его стороны было настоящее чувство. Он сам усомнился в его настоящести, пришел в крайне угнетенное состояние, растерялся. В день приезда “невесты” у него был глубоко несчастный вид. Все домашние были почти потрясены впечатлением от будущей родственницы. Все говорим, что необходимо помочь ему выйти из тупика, удержать от непоправимого шага. После общих охов, ахов и совещаний я решилась (не могла удержаться) написать о том, как отразилась во мне (да и во всех нас) “невеста” и как пугает и огорчает предстоящий брак. В результате он обиделся на меня — стал на защиту NN (“она честный, мужественный, критичный, тонкий и гордый человек”). Все это, кроме тонкости, я допускала и тогда, когда писала свое несчастное письмо».

Варвара Григорьевна долго терзалась этим письмом, действительно лишним: «Закрыла непроницаемым экраном глаза сердца от лика и судьбы девушки, очень несчастной, очень некрасивой и трагически вплетшейся в жизнь Даниила (как его невеста). Я думала только о нем, о его ошибке и смятости его душевного расцвета в случае решения на этот брак. Теперь мучает совесть».

В феврале сюжет отчасти завершился: «Мы обменялись с Даниилом письмами по поводу его “невесты” (она пока еще в кавычках невеста). Он простил резкость — и, как теперь оказалось, неуместность моего вмешательства в этот шаг его пути. Понял и поверил, что мной руководила любовь, бережность, страх за его будущее, чутье правды его пути, а не деспотическая воля бабушки, желающей, чтобы внук плясал по ее дудке. Вернулась наша дружественная близость. Я могу, как раньше, подолгу сидеть с книгой или с работой в его комнате, где он корпит теперь над диаграммами»211.

Могла ли этой невестой быть Евгения Левенок? Может быть. Как они расстались, неизвестно. Когда Евгению после войны арестовали и она в 1946 году оказалась в московской пересылке, он приходил к ней с передачей.

9. Дневник поэта

Осенью 1932 года он писал Вадиму: «Дорогой брат, не буду даже пытаться подыскать себе оправдание: мое молчание (само по себе) — самое очевидное и непростительное свинство. Но папа однажды весьма остроумно заметил, что для писателя писать письма то же, что для почтальона — гулять для моциона. А я в эти месяцы носился, как ладья по морю поэзии, и пристать к “берегу” обстоятельных и трезвых писем было для меня почти невозможно».

Вернувшись из Трубчевска с больной ногой, Даниил оказался в постели и запойно писал. «К сожалению, затронута надкостница, и до сих пор неизвестно, удастся ли избежать операции. <...> Как только буду выходить, поступлю на службу: меня ждет довольно уютное место в одной библиотеке», — подробно отчитывался он брату. Писавшиеся стихи составили цикл, или, как он его называл, «маленький сборник» «Дневник поэта». О его содержании можно лишь гадать, вскоре, после очередного вызова в ОГПУ («органы» без присмотра не оставляли), сборник он уничтожил. Видимо, во время вызова его выспрашивали и о Коваленском, который после этого сжег только что написанную поэму «Химеры». 1932 годом помечено всего несколько стихотворений Даниила Андреева, а стихи под заглавием «Из дневника» датированы 1934-м и 1936-м. Но в одном из стихотворений 1932-го — «Самое первое об этом» — узнаются трубчевские просторы:

Ярко-белых церквей над обрывами стройные свечи,
Старый дуб, ветряки —

О, знакома, как детство, и необозрима, как вечность,
Эта пойма реки.

Но вряд ли странствия стали темой «Дневника поэта», скорее о нем можно судить по другому стихотворению, помеченному 1932 годом и включенному в «Материалы к поэме “Дуггур”», где в мистической теме слышится всезахватывающая тревога:

И имя твое возглашали
Напевом то нежным, то грубым
Вокзалов пустынные трубы —
Сигналы окружных дорог,
И плакали в черные дали,
И ластились под небесами,
И выли бездомными псами —
В погибель скликающий рог.

Эпиграф к этим строфам строка Гумилева «Темные грезы оковывать метром...». «Темные грезы» не оставляли Андреева, но, входя в стихи, освобождали душу от сумрака, осветляли ее. Еще и поэтому он считал стихи самым лучшим в себе.

Малахиева-Мирович в дневнике (22 июня 1932 года) решила для будущего биографа поэта «набросать трагический профиль» своего «юного друга» той поры — «мечтательный, гордый и такой мимозный, такой “не для житейского волненья, не для корысти, не для битв”. Мечта. Гордыня. Уязвленность. Острый, беспощадный анализ и детская наивность суждений, навыков, поступков (иногда). Юмор, смех и под ним — мрачная безулыбочность. Жажда дерзания, любовь к дерзанию и страх перед жизнью. Наследие отца, Л. Андреева, — беспокойный дух, фантастика, страстность, хаотичность. От матери — стремление к изяществу, к благообразию, к жертвенности. Чистота, наряду с возможностью тяжелой, может быть даже инфернальной, эротики. Талантливость в ранние годы, почти Wunderkind, потом некоторая задержка роста, трудность оформления. С 23—24 лет определяется его лицо в творчестве: горячий пафос мысли, взор, жаждущий внемирных далей, повышенное чувство трагического, отвращение ко всему, что не Красота, крайний индивидуализм, одиночество духа и вера в конечную мировую гармонию»212.

Осенью он писал брату: «Шура с мужем просидели лето в Москве. Зять очень много работает — больше, чем позволяет здоровье, — но они надеются, что эта работа в скором времени даст им возможность пожить некоторое время, ничего не делая и отдыхая где-нибудь на природе»213. Обо всем было не написать. Коваленский решил, что литературные воспарения небезопасны. Но не зря он учился у отца русской авиации. В автобиографии Коваленский писал о тогдашних занятиях: «...с конца

1930 года я все более и более втягивался в работу над конструкциями авиационных двигателей, моделей и полуфабрикатов. С 1931 года начал работать в Комитете по оборонному изобретательству при ЦС ОАХ СССР, затем в Авиатресте, конструктором-консультантом, а с 1933 года — по организации новых производств в Исправительно-трудовых колониях, где проработал до 1938 года (УНКВД)». Тогда Малахиева-Мирович сокрушалась, что «крупный поэт» — «начальник тюрьмы в Калуге»214.

«Александр Викторович писал стихи, делал модели самолетов, которые летали по нашему длинному коридору»215, — вспоминала Межибовская. С авиамоделированием он познакомился у Жуковского, еще в 1910 году организовавшего первые в России соревнования летающих моделей. В начале 1930-х авиамодельные кружки появились повсюду. Аэропланы, известные по именам герои-летчики, дальние перелеты стали советской романтикой. У Юрия Крымова, видевшего модели Коваленского в коридоре добровской квартиры, в «Танкере “Дербент”» один из персонажей увлекается авиамоделями. Александр Викторович на романтические запросы современности отвечал не без практицизма.

Даниил, размышлявший об иных небесах, где самолеты не летают, писал брату о воображаемых прогулках по Парижу, попасть куда, как он пять лет тому назад надеялся, ему не было суждено: «Сейчас, наверно, у вас прекрасная осенняя погода, и вы иногда ходите гулять в Bois de Meudon. Ты, наверно, удивишься, откуда я могу знать такие подробности. А вот откуда. Я недавно рассматривал атлас Маркса; там есть карта парижских окрестностей; я нашел Clamart и выяснил, что в двух шагах от вас находится большой парк, и вряд ли вы никогда не пользуетесь его близостью. Знаю и кое-что другое, например, что в Париже вы ездите на трамвае через porte Montrong. Интересно, какой № трамвая?»216

Государство следило за гражданами. 27 декабря 1932 года ввели отмененные революцией паспорта. Правда, крестьянам их не выдали. А выдавая москвичам, решали, кого оставить в столице, а кого выселить. Коснулось это и дома в Малом Левшинском. Только что, в мае, вышедшая замуж за соседа Добровых Анна Сергеевна Ламакина вспоминала: «Рядом с нашей комнатой жили Шахмановы — Яков Николаевич и его жена Вера Александровна. Это были добрые хорошие люди, но глубоко несчастные. Вера Алекс<андровна> была тяжело больна. Яков Ник<олаевич> работал и нес всю тяжесть забот о своей семье. Однажды, придя домой, я застала эту семью в ужасном положении. В то время в Москве проходила паспортизация, и большое количество людей лишилось московского паспорта и подлежало выселению. Такая участь постигла и их. Какую глубокую веру, какое терпение и покорность показали эти люди во время тяжелого испытания.

Старый Яков Ник<олаевич> с совершенно больной женой должны были выехать из Москвы куда-то...»

Возможно, именно Шахманов, умерший в Малом Ярославце, и есть тот «член комиссии по исследованию царских усыпальниц» в Петропавловской крепости, который поведал Андрееву о том, что гроб Александра I оказался пустым, о чем рассказано в «Розе Мира». Вдова поэта передавала с его слов, что очевидцем вскрытия императорской гробницы был сосед Добровых, что фамилия его начиналась на Ш.

10. Письма 1933 года

Следующий год принес худые вести из Трубчевска. Туда дошел голодомор. Весной пришла большая вода, летом зарядили дожди. «Что посеяли — всё отмякло», — говорили деревенские, голодавшие и умиравшие. «В Трубчевск мне в этом году уехать, видимо, не удастся, — писал он в апреле Рейнфельд. — Оттуда приходят ужасающие письма, там жестокий голод. Семья из 5 человек живет на 100 р. в месяц, в то время как хлеб стоит 120 р. пуд. Люди не видят всю зиму не только хлеба, но даже картошки. В день варится 5 бураков (по бураку на каждого) — и это всё. А ведь там дети! Удалось тут организовать регулярную отправку посылок, но это, конечно, кустарщина, да и не знаю, долго ли мне удастся продолжать в том же духе...»217 Посылки посылал голодающим не только он. Той же весной в доме Киселевых на Зубовском бульваре, куда изредка заходил Даниил, на обеденном столе раскладывалась груда мешочков, пакетов, кульков, а на стульях стояли ящики для посылок. «Мелитина Григорьевна (мать), Зоя и Катя деловито упаковывают продукты — отправляют одиннадцать посылок на Украину»218. А газеты в эти апрельские дни, когда он беспокоился о трубчевских друзьях, восхищались подвигом летчиков, спасших челюскинцев. О голоде помалкивали.

Семье Левенков приходилось туго. Старшие дети жили самостоятельно, но младшие еще ходили в школу, а главному кормильцу, Протасию Пантелеевичу, было уже под шестьдесят. В трудах и заботах, он держался бодро, приговаривал: «Когда тебя припечет, тогда вволю нафилософствуешься». Философствовать приходилось частенько. Зарабатывал он после революции не только преподаванием, но и тем, что писал портреты вождей: спрос на них возрастал, некоторые лица менялись — Троцкого и Бухарина сменили Молотов и Каганович. Как-то получил за очередной ленинский портрет фунт пшена и две иссохших тарани, в голодное время это считалось заработком.

Даниил не смог поехать не только в Трубчевск, но и в Ленинград. Евгении Рейнфельд он доверительно писал:

«Вот опять идет весна, и опять дух непокоя заставляет по ночам путешествовать... по атласу, — за невозможностью лучшего. Целыми часами сижу над картами Индии, Индокитая, Малайского архипелага. Кстати, Женя, почему мы, русские, создавшие такой великолепный язык,

так осрамились с названиями и именами? Посмотрите на Запад: Нюрнберг... Равенна... Рио-Жанейро... Руан... — Оглянешься на Восток: Гвалиор... Рангун... Айрэнг-Даланг, Бенарес... А у нас: Рыльск! Скотопригоньевск! Вокса!! Икша!!! В чем же дело?! Из каждого названия глядит хулигански ухмыляющаяся, хамская рожа. Или я необъективен и слишком уж поддался отвращению, которое так долго росло и так заботливо вскармливалось прелестями окружающей обстановки?

Идут нескончаемые будни. Пишу книжку для Энергоиздата: серия биографий (для юношества) ряда выдающихся ученых и изобретателей, начиная с Архимеда. Это было бы интересно, если бы дано было время (и задание) писать серьезно, основательно изучая эпохи и личности. Но мне дано время только до 1 июля, а книжка в 6 листов; к тому же материалов мало и доставать их трудно. <...>

С деньгами туго, поэтому приходится брать и работу диаграммно-чертежного характера. Ею загружены вечера и читать почти не хватает времени. Но все же прочел недавно очень интересную книгу, одного из крупнейших современных астрономов сэра Джемса Джинса “Вселенная вокруг нас”. Это описание вселенной с точки зрения последних научных теорий. Страшно интересно!

<...> На лето поеду, кажется, под Москву, в Калистово (недалеко от Хотьково) — там будет жить Нелли Леонова (Вы ее немного знаете) и зовет к себе погостить июль»219.

Переписка с Рейнфельд была ему интересна не столько общими воспоминаниями, сколько интересами. Она занялась арабским языком, и он спрашивает, ссылаясь на недоумение Коваленского: «Почему Вы взяли именно арабский, а не персидский или санскрит?»220 (Рейнфельд потом окончила иранское отделение ЛГУ и преподавала как раз персидский язык.) Их объединяла тяга к тайнам Востока. Этими тайнами, как и любовью к восточным языкам, ее навсегда увлек Федор Ростопчин (был ли с ним знаком Андреев — неизвестно). Именно ей он подробно описал открывшееся на Неруссе. Имея в виду темы такого рода, обсуждавшиеся им далеко не с каждым из друзей, он собирался поговорить с ней в Ленинграде. Там же в те годы жила другая его подруга детских лет, учившаяся с ним еще у Грузинской, — Татьяна Оловянишникова, вышедшая замуж и ставшая Морозовой. В Ленинград она переехала с мужем и двумя дочерьми после нескольких лет работы на Чукотке.

В декабре 1933-го он писал Рейнфельд, подводя итоги уходящему году:

«Летом я никуда не выезжал, если не считать нескольких дней, проведенных у знакомых на даче. Вызвано это тем, что издательство задержало мои деньги за книгу до сентября месяца. Я должен был бы поехать в Трубчевск, но на этот раз поездка эта ничем бы не напоминала partie de plaisir221 прежних лет: она сулила мне только очень тяжелые

переживания. Но их все равно не избежать — они закрутят меня в Ленинграде, куда я съезжу при первой материальной возможности. С февраля по июль я писал книгу — серию биографий ученых изобретателей (для юношества), в которую вошли Архимед, Л. да Винчи, Паскаль, Эйлер, Даниил Бернулли, Фрэнсис (изобретатель турбин) и наш акад<емик> Жуковский. Это была довольно приятная работа, но под конец она мне здорово опротивела. Сейчас к книге подобрано уже большое количество (свыше 50) иллюстраций, и она находится в печати. На невыплаченную мне еще часть гонорара вот за эту-то самую книгу я и надеюсь съездить в Ленинград. Думаю, что будет это в январе — феврале.

Теперь я работаю по другой линии — по графической: делаю диаграммы, таблицы и пр<очую> чепуху. Если б такая работа была постоянно — больше нечего и желать было бы. Работаем мы обычно вдвоем с одним моим приятелем-художником у меня в комнате. И благодаря механичности работы, мы имеем возможность большую часть времени предаваться разговорам или же просто молчаливому размышлению (каждый о своем)»222.

Сообщает он и о Добровых, Евгению помнивших. «Мама больна, она вообще очень ослабела и сдала за этот год, — пишет он. — Моя сестра и ее муж на днях переезжают на несколько месяцев в Калугу, и мы надеемся, что тогда мама сможет поехать к ним на несколько недель отдохнуть. Без такого отдыха все может кончиться для нее (еще больше — для нас, т. к. она сама этого не боится) — самым дурным образом.

Материально — хуже, чем в прошлом году, но по крайней мере есть уголь и в комнате тепло»223.

Книжка для «Энергоиздата», начатая в феврале, требовала серьезных усилий. Нельзя походя написать цикл биографических очерков об ученых-изобретателях, начиная с легендарного Архимеда. В эти годы резко повысился интерес к изданиям о науке и технике. Но каждая рукопись рецензировалась, проходила серьезную, прежде всего идеологическую, проверку. Известный автор научно-популярной литературы Лев Гумилевский, в те времена сотрудничавший с «Энергоиздатом», в воспоминаниях рассказал, как Главлит запретил в мае 1933 года его уже отпечатанную биографию Дизеля. Сорокатысячный тираж книги, в которой якобы «воспевался капиталистический строй», пустили под нож224. То же произошло и с трудом Андреева. В конце следующего года он сетовал в письме вдове Волошина: «В прошлом году я имел несчастье написать книгу — ряд биографий-очерков, посвященных ученым: Архимеду, Леонардо да Винчи и др<угим>. Часть денег была получена мной еще в прошлом году, а оставшуюся тысячу мне должны были уплатить этим летом или осенью. Теперь же оказалось, что книгу закрыл Главлит»225.

11. Контуры

Даниил Андреев рассказывает в «Розе Мира»:

«В ноябре 1933 года я случайно — именно совершенно случайно — зашел в одну церковку во Власьевском переулке. Там застал я акафист преподобному Серафиму Саровскому. Едва я открыл входную дверь, прямо в душу мне хлынула теплая волна нисходящего хорового напева. Мною овладело состояние, о котором мне чрезвычайно трудно говорить, да еще в таком протокольном стиле. Непреодолимая сила заставила меня стать на колени, хотя участвовать в коленопреклонениях я раньше не любил: душевная незрелость побуждала меня раньше подозревать, что в этом движении заключено нечто рабское. Но теперь коленопреклонения оказалось недостаточно. И когда мои руки легли на ветхий, тысячами ног истоптанный коврик, распахнулась какая-то тайная дверь души, и слезы ни с чем не сравнимого блаженного восторга хлынули неудержимо. <...> Содержанием же этих минут был подъем в Небесную Россию, переживание Синклита ее просветленных, нездешняя теплота духовных потоков, льющихся из того средоточия, которое справедливо и точно именовать Небесным Кремлем. Великий дух, когда-то прошедший по нашей земле в облике Серафима Саровского, а теперь — один из ярчайших светильников Русского Синклита, приблизился и склонился ко мне, укрыв меня, словно эпитрахилью, шатром струящихся лучей света и ласкового тепла. В продолжение почти целого года, пока эту церковь не закрыли, я ходил каждый понедельник к акафистам преподобному Серафиму — и — удивительно! — переживал это состояние каждый раз, снова и снова, с неослабевающей силой».

Небольшая церковь Святого Власия «на Козьем болоте» с начала XVII века и поныне стоит на углу Большого Власьевского и Гагаринского переулков. После закрытия в ней размещался овощной склад, но и тогда, проходя мимо, он чувствовал душевное просветление. Это состояние сказалось на замыслах. В первую очередь на сочинении «Контуры предварительной доктрины». Андреев пытался осмыслить и привести в определенную систему то, что, казалось, открылось ему в последнее время — на берегу Неруссы и в церквушке Святого Власия, в индуизме и буддизме. Очертить основы своего мировидения он пытался не один раз, не завершая, откладывая, вновь возвращаясь. Не закончив и это сочинение, он использовал многое из него в первых двух частях романа «Странники ночи».

«Контуры предварительной доктрины» не сохранились, но известно, что, как и в романе, речь шла о теории смены красных и синих эпох. О ней, изложенной в «Странниках ночи» и долго его занимавшей, есть свидетельство Ирины Усовой:

«...У Дани была интересная и оригинальная концепция исторических духовных циклов, охватывающих большие массы людей и даже целые народы. Нечто вроде своеобразной кривой: разгорание, подъем, взлет

духовности, затем спад. Каждый цикл мог охватывать большее или меньшее время, большее или меньшее количество стран и народов, достигать большей или меньшей высоты или, наоборот, глубины падения. К сожалению, я не помню, как располагал Даня эти циклы во времени и пространстве, то есть по годам и народам. Помню только, что окраска циклов соответствовала их сущности: от золотисто-голубой, светло-лучезарной вверху до кроваво-багровой внизу»226.

На этой теории явно сказалось его увлечение астрономией. О спектральной классификации звезд он мог знать не только из книги Джемса Джинса «Вселенная вокруг нас» (любопытно, что тогда же ее прочел и Николай Заболоцкий). И вполне логично, что Андреев представляет эпохи как периоды жизни звезд, которые можно описать, в зависимости от их возраста и количества излучения духовной энергии, оттенками цвета — от красного до фиолетового или синего.

В «Странниках ночи» теорию излагает один из героев — Леонид Федорович Глинский. Суть ее «в чередовании красных и синих эпох в истории России... — пересказывала эти страницы Алла Александровна. — Цвета — красный и синий — взяты условно, но понятно, что они отображают: красная эпоха — главенство материальных ценностей; синяя — духовных. Каждая историческая эпоха двухслойна: главенствует окраска стремления властвующей части общества, и всегда в эпохе присутствует “подполье” противоположного цвета. Позже, созрев и накопив силы, это подполье становится главенствующей, связанной с властью, окраской следующей эпохи, а в подполье уходят силы и течения, прежде бывшие наверху.

С течением исторического времени смена эпох убыстряется, а цвет их становится ярче. В глубинах истории любое материальное стремление не теряло духовного отсвета, а любая духовность не разрывала связи с землей. Имеется в виду государственная структура, а не аскетический подвиг, это — явление другого порядка. Хотя очень часто этот аскетический, как бы оторванный от земли, подвиг предпринимался не для личного спасения, а для спасения мира.

Древние эпохи можно назвать лиловыми — то синее, то краснее. Чем ближе к нашему времени, тем цвет определеннее.

В свете этой теории рассматривается, например, накопление “красных” сил декабристов в конце царствования Александра Благословенного с его синей окраской. А также — соотношение запутанно-мистических метаний начала двадцатого века с приходящими к власти уже вопиюще-красными силами, воплотившимися в победе большевизма»227. Себя герои романа считают «Синим подпольем». Андреевым была разработана специальная таблица чередования синих и красных эпох в истории. Он демонстрировал ее друзьям.

Возможно, отсюда он вывел свое отношение к формам государственности, считая, как признавался на допросах, самодержавие и в форме Империи, и в форме Советского Союза явлением вредным для

русской культуры и возлагающим слишком тяжелое бремя на русский народ. В оправдание теории Андреев, по его словам, выписывал из всемирной истории случаи, когда период усиленного культурного творчества народа совпадал с периодами его политической раздробленности: Иудея, Древняя Греция, Италия эпохи Возрождения, Германия XVIII века...

Говорилось в «Контурах предварительной доктрины» о грядущем Храме Солнца Мира228. А изваяние «белого старца» на храме Христа Спасителя представлялось изображением наставника, открывающего тайны мироздания. Ключи к ним он искал в обдумываемой «доктрине»:

Перед Мадонной
и перед Кибелой,
На берегах Ганга,
на площадях Ура,
Под солнцем инков,
луной Астарты,
Пред всеми богами,
всеми кумирами
Священник бдил в синеве алтарной
И руки к тебе воздевал,
Свет Мира!

Так поэт начинает складывать «лепестки» вер, надеясь вырастить из них чаемую Розу Мира. Здесь он объединяет свой поэтический Восток и поэтический Запад. Откуда и как вырастало такое мировоззрение? По его сочинениям видно, что оно менялось, однако новые открытия не отменяли прежних. Представления о мироустройстве и его божественной основе росли, как многолетнее растение: новые побеги появлялись из уже существующих, порождая все больше листьев и соцветий. Выраставшее становилось не столько учением, сколько мифологией. Но в ней проявилось его свойство, заметное уже в детстве, — тяга к систематизации всего и вся, какими бы причудливо фантастическими ни казались описываемые им подробности увиденных иномиров. Любопытно, что это типично для индуистского миросозерцания, стремящегося к всеобщей классификации таинственного и божественного.

В этом году он написал небольшую поэму «Титурэль», отнюдь не следуя сюжетам рыцарских романов, таких как «Титурэль» Вольфрама фон Эшенбаха или «Младший Титурэль» его последователя Альбрехта. Эти рыцарские романы, как и романы Томаса Мэлори о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, были в России известны по пересказам и изложениям. Они стали любимым чтением Андреева. «Рыцари Круглого стола и связанное с некоторыми из них — тот мир образов, в котором (в значит<ельной> степени) я живу последние года

2»[229], — писал он жене брата, чья шестилетняя дочь в то время читала истории о Парцевале и Ланселоте, признаваясь в любви к книгам, считавшимся детским чтением. В рыцарских романах он вчитывался в важнейшие для мистиков нового времени сказания о Святом Граале. Задетая теми же сюжетами Малахиева-Мирович в стихах 1930 года сравнивала облако с белым лебедем Лоэнгрина, плывущим «Из тайных высей Монсальвата». Титурэль — одно из действующих лиц в оперной мистерии Вагнера «Парсифаль» — из того же предания о Граале.

Титурэль андреевской поэмы, ставший одним из королей Грааля, в «Розе Мира» — великий дух, известный лишь из эзотерических сказаний создатель Монсальвата, проходит мистический путь в поисках Сальватэрры, Святой земли. Мальчиком на ангельский зов он пускается в дорогу. Время обозначено ясно: вторая половина XII века. В пути Титурэль взрослеет. Нищим паломником он встречает рыцарей-крестоносцев, потерпевших поражение от египетского султана Саладина, захватившего Иерусалим, проходит по землям ислама, где его принимают за странника Аллаха, и лишь умирая обретает чаемое. Ангелы вручают ему «дивную Кровь в хрустале», чтобы она хранилась на Монсальвате в горных высотах. Отсюда и будут сходить, говорит поэт, народоводители «к новым и новым векам». О духовной жажде, которая позовет народоводителей, о мистических путях к Граалю забрезжил и стал складываться замысел большой поэмы. Ее Андреев в те годы считал главным своим замыслом.

В написанном в том же 1933 году стихотворении «Серебряная ночь пророка», об известном ночном полете-путешествии пророка Мухаммеда в Иерусалим, он продолжает мистическую тему «Каменного старца»:

В уединенном храме
ждут Моисей и Христос,
Вместе молятся трое
до предрассветных рос.

Говорит он в стихах этого года и о бронзовом музейном Будде: «Каждого благословлял он полураскрытой ладонью, / С благоуханного лика веял внемирный покой...»

12. Предгория

Бодрей звучала музыка, чаще маршировали физкультурники, аплодисменты переходили в овацию. Террор усиливался — ширилась радиофикация. Начало 1934 года — XVII съезд ВКП(б), доклады Сталина, Молотова, Кагановича. Интересующиеся вникали в доступные по газетам и слухам подробности. Еще не отменены продуктовые карточки. Но в Москве появились первые троллейбусы. Соседняя Остоженка, скоро ставшая Метростроевской, перекопана — строилось

метро. Заодно на ней снесли храмы Воскресения и Успения, хотя строительству они не мешали. Но к сносу храмов москвичи привыкли.

17 августа 1934 года открылся первый Всесоюзный съезд писателей: овации Сталину и Горькому, доклад Бухарина о поэзии, речи писателей.

Это лето Андреев большей частью провел в Москве. Возможно, именно тем августом они вместе с Глебом Смирновым поехали в Звенигород, где заказали в соборе Успения Божьей Матери на Городке панихиду по Владимиру Соловьеву. В храме, скоро закрытом, почти пустом, отслужил ее им двоим старый растерянный батюшка. Какое-то время Андреев пожил у Смирновых в Перловке. Там он бывал часто, знал многих. Как уверяет Алексей Смирнов, познакомился с родственниками Джунковского (некогда товарища министра внутренних дел и командира жандармского корпуса, скрывавшегося на даче в Перловке, но выданного их бывшим дворником) и «бывал у них, расспрашивал о Распутине». Джунковского расстреляли в 1938-м. «Мой отец, — пишет Смирнов, — предупреждал Андреева: опасно посещать семью царского генерала! Но куда там!»230

Еще он гостил на даче Муравьевых на Николиной Горе. В это лето они с Николаем Константиновичем могли обсуждать только что вышедшую книгу Ганди «Моя жизнь», которую оба прочли, или говорить о стихах Максимилиана Волошина, увлекших старого адвоката. В сентябре Муравьев писал давнему соратнику в Харьков: «Я сейчас очень интересуюсь Волошиным и собираю его работы. Последний сборник его стихотворений издан в Харькове, если не ошибаюсь, в 1923 г. Не могли бы Вы антикварным путем приобрести для меня эту книжку...»231 Речь шла о книге «Демоны глухонемые».

С первого знакомства, еще в 1929 году, Даниил сошелся с Гавриилом Андреевичем Волковым, мужем Татьяны Муравьевой. Волков занимался Львом Толстым, участвовал в редактировании его Полного собрания сочинений. Занималась Толстым и Татьяна, работавшая с мужем в Музее Толстого на Пречистенке. Любовь к Толстому у нее была наследственной, с ним долгое время общался ее отец, участвовал в составлении его духовного завещания.

Возле дома с мезонином, в сосновом бору, вместе с Волковыми Даниил совершал долгие прогулки. Они дорого обошлись его друзьям. Сравнительно недалеко от Николиной Горы, в Зубалове, находилась дача Сталина. Они меньше всего интересовались правительственными дачами и жившими в них вождями. Андреев и в этом году жил поисками собственной Индии, полугрезами о том единственном образе, который, казалось, мелькнет в московской толпе. *Ее*, видевшуюся выражением идеала настолько достоверным, что он верил — встречался с ней в иной жизни, куда приоткрылась щелочка сознания, и надеялся встретить в этой не сегодня, так завтра.

«Сцена у реки (в поэме) действ<ительно> была», — записал он в тюремной тетради о видении, описанном в поэме «Бенаресская ночь»:

Над грудью влажно расцвело
Жасмина сонного дыханье,
И — обернулась... В первый раз
Забыл я снег и лед в Непале,
И прямо в душу мне упали
Лучи огромных, темных глаз.

Известна связанная с поэмой трагикомическая история. Рассказанная со слов поэта, она не без самоиронии:

«Однажды он ехал в трамвае, и вот на одной из остановок увидал девушку, которая стояла, прислонившись к столбу, держа в руках что-то прозаическое, вроде бидончика для молока и продуктовой сумки, и, видимо, ожидая свой номер. Что-то в ее наружности поразило его: “Она?!” <...> Вслед за ней вскакивает в трамвай и едет, не теряя ее из вида, до железнодорожного вокзала, где она выходит. Он за ней. Она входит в здание вокзала, он за ней. Она, уже смешиваясь с густой толпой, проходит через контроль на перрон, а у него нет перронного билета, и он остается... <...> Уж не помню, сколько дней <...> и по сколько часов ждал там, только однажды он увидел ее опять! А так как он понимал, что невозможно будет объяснить ей кратко — почему он обратился к ней, то он брал с собой эту индийскую поэму, где говорилось о любви, о предназначенности друг другу и прочих поэтических вещах <...>

И он подошел к ней, подал эту тетрадь — “прочтите” — и спросил, когда она снова будет в Москве. Через сколько-то дней он опять помчался на вокзал... Вот она, идет! Что-то она ему скажет?! Она возвращает ему тетрадь со словами: “Я замужем”»[232].

Мир поэта, вторая реальность. Но какой бы фантастической она ни казалась, как бы ни верил он в то, что в прошлой жизни «был индусом, принадлежал к касте брахманов, но был изгнан из нее за брак с неприкасаемой»[233], на столе у него стояла фотография Галины Русаковой, а его видения оказывались связаны с творившимся на московских улицах. Поэтический путь через великие мифы вел к мистерии современности.

В 1933-м он написал строки, ставшие лирическим руководством к действию надолго:

Чтоб лететь к невозможной отчизне,
Чтобы ветер Мечты не стих,
У руля многопарусной жизни
Я поставил тебя, мой стих.

Чтобы сердце стало свободным,
В час молитв — подобным свече...

Стихотворение заключает цикл «Предгория», начинающийся со стихов о Феодосии. В 1934 году он вновь побывал в Крыму. Может быть, эта поездка была связана и с летними беседами с Муравьевым. Поэзию Волошина Андреев любил, и в «Розе Мира» поместил поэта среди тех, кто вступил в Синклит сразу после смерти. Высокой попыткой назвал он религиозно-этическую заповедь Волошина: «В дни революций быть человеком, а не гражданином». О единственной их встрече со слов поэта рассказала вдова, очевидно, путая даты: «Летом 1931 года он встретил в Москве, на улице, Максимилиана Александровича Волошина и, преодолев на этот раз свойственную ему болезненную застенчивость, подошел к нему и представился. Совершенно понятно, что встречен он был Максимилианом Александровичем с полным дружелюбием, радостью и тут же приглашен в Коктебель. Но этим летом у Даниила денег не было совсем, а на следующий год Волошина уже не было в живых». Однако это знакомство могло произойти лишь в феврале или марте 1927-го, когда Волошин в последний раз приезжал в Москву.

В Коктебеле Андреев познакомился с Марией Степановной Волошиной. 20 октября 1934 года помечено написанное там стихотворение «Могила М. Волошина» и тогда же (24 октября) ей подаренное. Беседовали они и об издании книг Волошина, и Андреев не мог не взяться похлопотать об этом в Москве. Вернулся он 28 октября.

Малахиева-Мирович записала: «Стал совсем бронзовый. И совсем взрослый. Через пять дней ему 28 лет. Привез стихи Волошина из “Дома поэта”. А также и свои, написанные у моря»[234]. Ко дню рождения он успел заболеть. 4 ноября бесприютная Малахиева-Мирович все еще у Добровых, в комнате Даниила:

«Он с ангиной лежит на кушетке и весь ушел в творческий процесс. Я сижу у стола. <...> Мы не мешаем одиночеству друг друга — это такая редкость.

Сложное, странное и трагическое явление русской современности — Даниил. Отцовская наследственность — зачарованность неразрешимыми загадками бытия, влечение к недостижимому, пафос ибсеновского одиночества (бессознательного, может быть). “Во мне — сила, я хочу быть один”. Это одна сторона его существа. Другая — смиренность, склонность к самобичеванию. Свободолюбие. Жажда подвига. Культ героя. И тут же детскость. И оранжерейность. И нет женщины рядом. “Душой дитя (как большинство поэтов), судьбой — монах”.

Лирика Даниила искренна, возвышенна, грустна. Родственность с Максом Волошиным. Недаром его так тянуло в Коктебель, и недаром он приехал оттуда, переполненный встречей с М. Волошиным — с умершим как с живым»[235].

Через два месяца, посылая вдове поэта новый вариант стихов, посвященных Волошину, и еще два коктебельских стихотворения, он писал:

«Что казалось возможным в Коктебеле, под непосредственным обаянием творчества и личности Макс<имилиана> Алекс<андровича>, то оказывается вовсе нелегким делом здесь, в Москве, где в представлении партийно-литературных кругов имя Волошина ассоциируется *прежде всего* с мистикой и с “весьма сомнительной” политической позицией. Прибавьте к этому, что идиотское убийство Кирова сильно изменило общую, так сказать, литературную конъюнктуру. Вот почему я не могу написать Вам ничего обнадеживающего».

Писал он и о своих делах:

«Работать приходится очень много, а с Рождества до мая даже придется засесть и не разгибая спины корпеть над диаграммами и таблицами по 14—15 часов в день, — то есть на несколько месяцев *совершенно* вычеркнуть себя из всякой жизни...

Все-таки за ноябрь и декабрь мне удалось писать — урывками, по ночам, иногда даже в трамваях! В результате я привел в порядок около десятка коктебельских стихотворений и написал не очень большую, но очень для меня важную поэму. Переслать ее Вам нет возможности, поэтому ограничусь пока 3-мя коктебельскими стихотворениями.

Стихотворение, посвященное Максимилиану Александровичу, Вы знаете, но я его несколько переделал, особенно конец, который меня не удовлетворял еще и в Коктебеле, “могила-колыбель” — образ слишком уж использованный, не свежий»236.

Много работать приходилось из-за того, что надежды на гонорар за книгу, запрещенную Главлитом, рухнули.

1 декабря страну потрясло и озадачило убийство Кирова. Обсуждали убийство и у Добровых. В 1948 году во время следствия эти разговоры всплыли. По крайней мере, в протоколе допроса Андреева в Лефортове есть такое показание: «Коваленский, будучи особенно озлоблен против Сталина, в 1934 году после убийства Кирова заявлял, что покушение на Кирова не дало ощутимых результатов и не смогло вызвать изменений в стране. Если уж жертвовать собой, говорил Коваленский, так надо было стрелять в Сталина»237. Но ходили слухи, особенно в Ленинграде, о том, что за покушением стоят и НКВД, и Сталин. Словно бы заранее готовясь к покушению, советская юстиция мгновенно внесла изменения в уголовно-процессуальные кодексы, принятые «Постановлением ЦИК и СНК СССР» в тот же день. Изменения касались «дел о террористических организациях и террористических актах против работников советской власти». Пункты были следующими:

«1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней. 2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде. 3. Дела слушать без участия сторон. 4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать. 5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора».

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

МОНСАЛЬВАТ. 1935—1936

1. «С черным дулом бесчестного века...»

16 января 1935 года в Ленинграде Военной коллегией Верховного суда были осуждены Зиновьев, Каменев и 17 их подельников, обвиненных в убийстве Кирова. В августе 1936-го Каменева с Зиновьевым судили вновь, теперь за участие в «троцкистско-зиновьевском» «Объединенном центре» и казнили. Конфискованное имущество репрессированных, хранившее следы чьей-то разбитой жизни, тут же распродавали специальные магазины. Попадался здесь и фарфор из царских сервизов, и мебель из дворянских особняков, доставшиеся новым правителям.

Еще летом 1934-го арестовали соседей Добровых, братьев Ламакиных. История ареста такова. У братьев были приятели, тоже два брата — Владимир и Алексей Прибыловы. Владимир подрабатывал сторожем в консерватории. Как-то на концерте ожидали Сталина. И Владимир спросил: «А что, Сталин приедет с охраной?» Всех друзей задавшего вопрос арестовали. Судили их за подготовку террористического акта против вождя. Братьев Прибыловых расстреляли, Василий Ламакин получил пять лет Беломорканала, Николай угодил на Соловки и в 1937-м был расстрелян. Жена младшего Ламакина вспоминала:

«С этого дня начались наши страдания, наши тяжелые испытания. Передачи в тюрьму, свидания через решетку, ожидания этапа — заполняли всю жизнь...

Увидя меня на улице, знакомые переходили на другую сторону. Редко кто-либо заходил ко мне...

Добровы переживали со мной мое горе. Я приходила домой с работы, оставалась одна в комнате, топила печку в своей одинокой холодной комнате... Растапливая печку, я смотрела на огонь, сердце стонало в одинокой муке, слезы лились из глаз. <...> В такие минуты приходила Елиз<авета> Мих<айловна>, обнимала меня и настойчиво уговаривала прийти к ним. Я шла к ним, садилась за их большой семейный стол, согревалась их уютом и любовным отношением ко мне. Однажды сестра Елиз<аветы> Мих<айловны> — Екат<ерина> Мих<айловна> позвала пойти с ней ко всенощной. Мы стояли в церкви с нею рядом, помню ее старое измученное лицо, у нее ведь так много было в жизни своего страдания и горя...»[238]

И все же бывали праздники. Блины на Масленицу. «Щедрые, с икрой и сметаной. И до отвала. Говорили о культе солнца, о Даждьбоге и ели, ели с энтузиазмом. Особенно Даниил весь сиял застенчивой чувственной радостью»[239]. За длинным столом вечерами засиживались гости. Впрочем, все послереволюционные годы, вплоть до ареста младшего поколения добровского семейства, были наполнены своими и чужими несчастьями. Но дом хранил традиции. «Угощение всегда было очень

скромное: какие-нибудь бутерброды, сухарики, чай, — вспоминал Василенко. — ...Руководил всем его родственник, переводчик Коваленский. А Даня сидел молча, говорил, при мне во всяком случае, редко и ни в каких спорах участия не принимал. Потом он мне делал знак глазами, мы уходили к нему, и Даня обычно читал мне стихи»[240]. Стихи одухотворяли жизнь, давали ощущение внутренней свободы. Ища откровений в звездном небе и в молитвенной сосредоточенности, он воспринимал сегодняшний день в ином масштабе, чем окружающие. Поэтому в стихах его мужественная приподнятость:

Как радостно вот эту весть вдохнуть —
Что по мерцающему своду
Неповторимый уготован путь
Звезде, — цветку, — душе, — народу.

Поэтому он остался в памяти знавших его в те годы «с развивающимися длинными волосами, в блузе художника, с вдохновенным лицом, обращенным немного вверх». Никакой блузы художника не было. Ею через годы представлялась поношенная толстовка из темного вельвета. И, конечно, несмотря на поэтический облик, он не был отрешенным от реальности поэтом, которому нет дела до лозунгов второй пятилетки, арестов, процессов над «врагами народа» и трудной жизни ближних и дальних. Да и художником он себя не считал, хотя в этом году ему удалось вступить в Горком художников-оформителей. Это дало пусть зыбкий, но статус. Шел стаж, выдавались справки о месте работы. В Горкоме состояла армия художников самой разной квалификации, от живописцев-неудачников, не принятых в МОСХ, до самоучек — плакатистов, шрифтовиков, изготовителей портретов вождей и книжных обложек, ретушеров. Наглядная агитация украшала фасады и коридоры, цехи и конторы, клубы и библиотеки, менялась перед каждым красным праздником. Картина перед 1 Мая 1935-го: «Даниил весь заставлен, засыпан бумагами, картинами, банками, жестянками: всюду краски, кисти, плакаты, диаграммы»[241]. Оформительским ремеслом Андреев часто занимался вместе с более умелыми друзьями, чаще всего с Ивановским. «Больше всего приходилось работать в Моск<овском> Политехническом музее, в Моск<овском> Коммунальном музее, музее Моск<овского> художественного театра, музее Гигиены, в различных павильонах Сельско-хозяйственной выставки, в парке культуры и отдыха им. Горького и т. д., — сообщает он в автобиографии. — Работа заключалась в проектировке экспозиции, составлении проектов и чертежей стендов, в рисовании диаграмм, картограмм, всякого рода планов и схем, в фотомонтаже, шрифтовой работе и т. д.».

По ночам он писал, и его позиция в тогдашних стихах о Гумилеве определенна:

Смертной болью томлюсь и грущу,
Вижу свет на бесплотном Фаворе,
Но не смею простить, не прощу
Моей Родины грешное горе.
Да, одно лишь сокровище есть
У поэта и у человека
Белой шпагой скрестить свою честь
С черным дулом бесчестного века.

В конце февраля он писал Волошиной: «Зима была на редкость нелепая, сумбурная и бестолковая в деловом отношении, но внутренне — одна из самых плодотворных. И это несмотря на недостаток времени. Дело не в поэзии (писал я не так много), а в той внутренней работе, без которой поэт не имеет шансов стать чем-либо иным, кроме посредственного стихописца»242.

В этом году он чаще стал бывать у Евгения Белоусова. Они читали друг другу написанное: он стихи, Белоусов рассказы. Неожиданно легко Андреев сблизился с его друзьями. С двадцатилетней Еленой Лисицыной, студенткой Литературного института, скоро ставшей женой Белоусова, и с четой Кемниц: Виктором Андреевичем, русским немцем, инженером завода «Компрессор», и его женой, Анной Владимировной Скородумовой, балериной Камерного театра.

Кемниц был конструктором, увлекался музыкой и цветоводством. О музыке, о цветах и стихах он говорил, как и обо всем, негромко, но с вдохновенными, тонкими подробностями. Лев Копелев, вместе с Кемницем отбывавший срок в «Марфине», вспоминал, как тот рассказывал о знакомстве с музыкой Скрябина: «Внезапно растворился новый мир — еще за минуту раньше неведомый и невообразимый. Но это был мой — лично мой мир. Впервые я услышал музыку совсем свою, о себе... Моцарт, Бетховен, Чайковский, Шопен прекрасны, великолепны. <...> Но это все где-то там... А Скрябин здесь, обо мне и во мне»243. Андреев Скрябина воспринимал иначе: называл «темным вестником», в «Поэме экстаза» видел отражение демонического слоя «с его мистическим сладострастием». Наверное, о Скрябине они спорили. Но высокий, большеголовый, «с крутым, просторным лбом, несколько похожий на Эйзенштейна»244, с доверчивыми светлыми глазами Кемниц ему нравился.

Жена Кемница, к которой муж относился с благоговением, любила поэзию, умела говорить о стихах. С ней у Даниила, рассказывала Алла Александровна, был короткий роман.

Ближе сошелся он теперь и с Александром Александровичем Добровольским, с которым познакомился у Белоусовых еще в 1920-х. Кроме того, Добровольский был родственником его друга, Ивашева-Мусатова. Старший в их кружке, начал печататься он еще в 1911 году,

в 1915-м у него вышла книга рассказов «Молодое, только молодое». Тогда он жил в Петрограде, сотрудничал в «Новом журнале для всех», подружился с Есениным, называвшим его Сашкой. Так Есенин обращается к нему в уцелевшем письме. Книга рассказов, оставшаяся единственной, вышла под псевдонимом из Достоевского — А. Тришатов. Этот таинственный персонаж, молодой человек, появляется в романе «Подросток» в паре с роковым Андреевым. Добровольскому-Тришатову было под пятьдесят, он давно не печатался и занимал должность библиотекаря в клубе Союза писателей, но продолжал всерьез писать. Старший брат Евгения Белоусова, Иван Иванович, говорил о нем как о перегнавшем свое время, ставя его прозу рядом с прозой Андрея Белого и Пастернака.

От той поры осталась фотография, на которой запечатлена вся компания, чьи встречи бывали и шумными, и веселыми, кроме чтений на них иногда устраивались шутливые представления. Той или иной чертой все они попали в роман «Странники ночи», стали прототипами его героев. Тришатов, например, узнавался в пожилом библиотекаре и историке Василии Михеевиче Бутягине. Их встречи внимания органов не избежали. Во время следствия из Андреева выбили подпись под протоколом, где говорилось:

«Присматриваясь к окружению Белоусова, я вскоре убедился, что связанные с ним лица враждебно настроены против советской власти...

Общность антисоветских взглядов объединила нас, и таким путем мне удалось создать еще одну антисоветскую группу, в которую входили: Белоусов и его жена Лисицына, Добровольский-Тришатов, Кемниц и его жена Скородумова.

Вместе с этим должен сказать, что наиболее доверительные отношения у меня установились со Скородумовой-Кемниц, которой я высказывал не только свою злобу и ненависть к советской власти, но и делился с нею террористическими намерениями против Сталина...»[245]

2. Пер-Гюнт

Викторина Межибовская, выросшая в добровской квартире, вспоминала о детстве, согретом вниманием бездетных Коваленских: «Помню... мы с Александрой Филипповной возлежим на софе (она читала мне). И она, и ее муж Александр Викторович рассказывают мне о каком-то маленьком человечке, который живет в книгах и лишь по ночам выходит оттуда и путешествует по комнатам». Возможно, таким человечком иногда чувствовал себя и Александр Викторович, чья жизнь казалась двойственной. Одним, поэтом и мыслителем, он был дома, у камина, рядом с обожаемой Шурочкой, за столом с доверенными собеседниками. Другим — расчетливо деятельным в стремлении обрести устойчивое положение в советской данности, чтобы охранить свой домашний, сокровенный мир. Пока не кончилось — а должно же когда-нибудь кончиться! — сталинское царство, главное для него — по возможности

достойно пережить время, ужас которого он ощущал. Тогдашнее стихотворение Даниила кажется продуманной репликой в долгом, сложном разговоре:

Милый друг мой, не жалей о старом,
Ведь в тысячелетней глубине
Зрело то, что грозовым пожаром
В эти дни проходит по стране.

Вечно то лишь, что нерукотворно.
Смерть — права, ликуя и губя:
Смерть есть долг несовершенной формы,
Не сумевшей выковать себя.

Последние строки отсылают к «Пер Гюнту» Ибсена, к словам Пуговичника, говорящего Пер Гюнту, что тот всю жизнь «не был самим собой», тем, чем был создан, и потому, «как испорченная форма», должен быть «перелит». Как писал об этом эпизоде Блок: «...в лесу с Пер Гюнтом произошло нечто, стоящее вне известных нам измерений»246. В трактате «Мир как воля и представление» Шопенгауэра эта родственная буддизму, а не христианству мысль отчеканена, как афоризм: «Смерть — это миг освобождения от односторонности индивидуальной формы, которая не составляет сокровенного ядра нашего существа, а скорее является своего рода возвращением его...»247

Но то, что произошло с его любимым героем, Пер Гюнтом, происходило со многими. Даниил Андреев переживал вопросы, для него взаимосвязанные: что будет с Россией, претерпевающей насильственную переплавку исторических форм, что будет с ним, все еще ищущим себя. Написанное казалось лишь отдаленным приближением к тому, что он томительно искал, нет, скорее ждал. Поэзии, которой он жил и через увеличительное стекло которой видел мир, казалось недостаточно, чтобы приблизиться к откровению. Необходимо делание. Иначе ему грозит участь Пер Гюнта. Высшая роль поэта представлялась ему как сакральная — вестническая. И в этом слове — делание — для него соединились и буддийское понимание (один из четырех путей к спасению), и православное.

Коваленский, с его мистическими трансами, стихотворными и прозаическими опытами, в которых сквозили предощущения сокровенного, казалось, шел тем же путем. Но и он не представлялся выковавшим себя окончательно. А сам Даниил мучился обыденностью, мешавшей и писанию, и «деланию». Первомай прошел, а работа не дает передышек. Внимательная баба Вава это видит, сочувствует. «С утра до поздней ночи вместе с товарищами-художниками раскрашивают, чертят, рисуют какие-то диаграммы и плакаты. Всегда он на людях. А

к ночи устает так, что не в силах “для души” работать. Похудел, пожелтел, от лица один нос остался, как у Гоголя. <...>

У него, как у многих богато одаренных натур, есть потребность сделать из своей жизни единое, по плану зодчего выстроенное здание, — а жизнь его ставит в такое положение, когда можно лишь пестро и лихорадочно складывать какую-то мозаику в надежде, что она станет некогда фундаментом для такого здания»[248].

3. Миларайба

Индия искателям откровений представлялась страной, где хранятся ключи к иным мирам. Туда устремились искатели Грааля. Такое представление об Индии утвердили теософы в рационально-иррациональном стремлении соединить религии Востока, буддизм и индуизм с христианством. В «Розе Мира» отрицательно говорится о теософии, а в ее черновиках учение Блаватской названо соединением «крайне смутн<ых> предч<увствий> Р<озы> М<ира>», «некот<орых> низших форм инд<ийской> философ<ии>» и «всевозм<ожной> бесовщины от Дуггура до Цебрумра». Но то, что Даниил Андреев в своих духовных исканиях отправился на Восток, в Индию, конечно, связано и с теософскими веяниями, захватившими русских мистиков и богоискателей начала XX века. Как здесь сказалось влияние Коваленского, попадали ли в руки Андреева кроме Рамачараки многочисленные перед революцией теософские издания — мы не знаем. Однако путь автора «Розы Мира» в Индию, Непал и Тибет стал собственным, поэтическим.

В первой половине 1930-х годов Андреев увлечен индуизмом и буддизмом, особенно ранним. Прежде всего, он мог прочесть доступные ему книги русских индологов и буддологов В. П. Васильева, И. П. Минаева (его трудами он интересовался всю жизнь), путевой дневник Г. Ц. Цыбикова «Буддист паломник у святынь Тибета», зарубежные исследования Германа Ольденберга, Т. В. Рис-Дэвидса, Августа Барта и, конечно, поэтические книги — «Жизнь Будды» Асвагоши в переводе Бальмонта, поэму Эдвина Арнольда «Свет Азии», прозаический перевод которой цитируется в «Розе Мира».

Князь Сергей Трубецкой в предисловии к книге Барта «Религии Индии» писал о том, что «по своему необычайному богатству и разнообразию духовная жизнь Индии требует продолжительного изучения» и что «в древнейших памятниках религиозной мысли Индии» заключена философия, изумительная «по глубине и смелости мысли, которая произвела сильное впечатление на многих современных европейских мыслителей»[249]. Книга издана в той же библиотеке «Русской мысли», что и «Многообразие религиозного опыта» Джемса. Среди других религий Индии Барт рассматривал и буддизм.

Буддизм давно интересовал русских поэтов. Например Надсона, Мережковского («Сакья Муни»), Федора Сологуба. О метампсихозе

(переселении душ) писал еще Боратынский. В стихах Даниила Андреева буддийские мотивы входят в то, что он назвал «древней памятью». Погрузиться в нее помогли книжные занятия, но ощущалась она им как собственная память и дорога: «...в дней обратных череду / Я вспять от гроба к колыбели / Прозревшим странником иду». Юношеская вера в «гирлянду перерождений» с годами только утверждалась.

Будда, по верованиям индусов, был девятым превращением Вишну. Прозрение пришло к Будде Гаутаме на берегу речки Найраньджаны, под сенью священного дерева Всеведения — бодхи или баньяна, где он «сидел семь дней в одном и том же положении, поджав ноги, вкушая радость освобождения...»250. И перед Андреевым иные миры забрезжили у столь же небольшой речки Неруссы. Поэтические представления, после того как приоткрывались «щелочки сознания», становились убеждениями.

По воспоминаниям Василенко, среди рассказов Андреева было много из прежней жизни в Индии — «очень подробных и живописных, о природе, о заросших склонах и холодных вершинах, о каких-то прогулках и беседах с монахами. “Я долго учился у буддийских монахов”, — замечал он»251. Его стихотворение «Миларайба» написано от имени поэта и буддийского отшельника, которого почитали на Тибете как Великого Учителя. Миларайба (правильная транскрипция — Миларэпа) ушел из «шумного мира», от земных «страстей и бурь». Он жил в пещерах, созерцал красоту природы и пел гимны о присутствующем всюду божестве, об очищении, которое приносят одиночество и жизнь в безмолвии гор:

И теперь — только
Душистый ветер
Колыхает ветви над моей пещерой,
Да летят птицы,
Идут люди,
Прибегают волки вести беседу
О путях спасенья, о смысле жизни...

В стихотворении точно передан пафос Миларайбы, который повествовал о себе в повести «Гур-Бум»:

Я, Миларэпа, осиянный великой славой,
Памяти и Мудрости дитя.
Хотя стар я, покинут и наг,
Из уст моих льется песня,
Ибо вся природа служит мне книгой252.

В книге Гомбожаба Цыбикова «Буддист-паломник у святынь Тибета» есть описание статуи «певца людских страданий и блаженства,

достигшего всеведения», изображаемого «истощенным, полунагим, с распущенными волосами, приложившим правую руку к уху... Он, по преданию, сделался Буддой в течении одной жизни»253. (У Цыбикова, как и у Андреева, имя святого монаха — Миларайба.) Возможно, что Андреев мог видеть репродукцию картины Николая Рериха из серии «Знамена Востока» «“Миларайпа Услышавший” — на восходе познавший голоса дэв».

В стихотворении Миларайба отчасти похож на православного монаха, спасающегося в пустыни. Увлеченный поэзией буддизма, Андреев пути собственного спасения неизменно связывал с христианством. Но и учение Будды с проповедью ненасилия, сострадания и терпимости принималось им как провозвестие Розы Мира. Ему близок буддийский универсализм, то, что буддийский культ неотделим от искусства — от архитектуры до театральных представлений, музыки и танца, то, что буддийские монахи были поэтами и художниками, астрологами и философами. В дневнике Цыбикова рассказывается о том, как на базарных площадях и улицах Тибета появляются монахи и начинают декламировать религиозные поэмы, вывешивая изображения святых или Будд. Чаще всего среди них паломник видел изображения Падма-Самбави и Миларайбы254. В этом единстве поэзии и религии Андрееву виделся прообраз служений будущих верградов. Но согласиться с тем, что мир — иллюзорен, что действительность — Майя, грёза божества, не мог. Его друг, Василенко, говорил, что Андреев был равнодушен к буддизму. Это и так, и не так. Буддизм как религиозная система ему действительно не близок. Он не мог не сочувствовать резким словам Владимира Соловьева о буддизме, «основной догмат которого есть совершенное ничтожество, “пустота” всего существующего и высшая цель — нирвана, полное погашение всякой жизни»255. Но «поэзию» буддизма, особенно тех времен, когда тот еще не был вытеснен из Индии, он прочувствовал. По крайней мере, в стихах вместе с буддийским монахом-поэтом он проходил «орлиными высотами» Непала и Тибета, нагорьями Индии, джунглями Таиланда, азийскими степями и пустынями. Эти воображаемые странствия, погружения в образы буддизма, индуизма, ислама сказались не столько «контурами доктрины» (а к ним он все время возвращался), сколько стихами. В главном замысле тех лет, в поэме «Песнь о Монсальвате», среди персонажей кроме христианских рыцарей есть их современники — брамин Рамануджа, основатель школы вишишта-адвайта, и принадлежавший к школе Каджуд-па буддийский монах Миларайба. Не раз Андреев обсуждал с Коваленским таинственную тему перемещения центра Монсальвата и Грааля на Восток, в Гималаи. В «Розе Мира» место уточнено — Памир, и кратко сказано, что причины этого очень сложны.

4. Оранжевые зори

Василенко вспоминал о своей довоенной дружбе с Андреевым:

«...я проводил часы многие годы, слушая его стихи, читая свои, восхищаясь его романтическо-поэтическими “воспоминаниями” о его жизни в двух иных мирах, где было несколько солнц (изумрудное, синее, такое, как наше) и были удивительные утра, и дни, и вечера, особенно когда эти солнца встречались утром и вечером; расходясь — тоже; жизнь там была счастливая — без войн, без злодеяний, все любили искусство, поэзию, не было страшных городов-спрутов, городов-чудовищ... Он, Данечка, был всегда влюблен в ослепительно прекрасных девушек, мечтательниц; в одну художницу, писавшую зори и вечера, когда два солнца встречались и расходились. Он очень ярко это описывал и говорил, что он помнит (цитирую на память): “Голубое солнце неохотно уступало место золотому, и мы (с нею) замирали в восторге, глядя, как голубые и золотые потоки света смешивались, голубые ослабевали, гасли, а золото заполняло все мягким сиянием, очень были, Витя (это мне), красивы печальные кипарисы, — они там тоже были, — это дерево, Витя, есть и на других планетах, — они голубели, а потом растворялись в золоте и казались вылитыми из золота; ветра по утрам не было; они были неподвижны; золотом заливались — до дна — озера, — их мы видели с холма, где встречал я с моей возлюбленной восход, — и я слушал, как она произносила стихи... “Скажи, Даня, а ты помнишь эти стихи?” — наивно спрашивал я. “Нет, конечно, — отвечал Андреев, — но я помню, что они возвышенны и прекрасны”. Даня говорил и о жизни своей на земле в Индии: он был воином, она жрицей храма, и свою любовь он и она скрывали. Было это в давние времена, он подчеркивал — “когда складывались стихи ‘Рамаяны’ ”»[256].

Эти воспоминания подтверждают стихи:

Два солнца пристальных сменялось надо мною,
И ни одно из них затмиться не могло:
Как ласка матери, сияло голубое,
Ярко-оранжевое — ранило и жгло...

«Рамаяна» начала складываться в IV веке до нашей эры и рассказывает о подвигах Рамы — царя солнечной династии. В ней память о религии Солнца, оставшегося в индийском пантеоне одним из главных божеств, не говоря о том, что оно воспевается поэтами, творцами религиозных гимнов. В забытой древности в Индии существовали храмы Солнца. Культ Солнца Мира, Храмы Солнца Мира, о которых писал Даниил Андреев, не были для него романтической грезой, они связывали древние цивилизации с грядущим царством Розы Мира. Способность, нет, скорее свойство переживать иные эпохи, жизнь иных народов, иные миры не как иллюзорные видения, а как духовную реальность, наверное, и сделала описываемое им поэтически достоверным.

Воображаемые странствия на Восток и на Запад, в Святую землю и в Индию, в Халдею и средневековую Испанию или Германию, в Египет

были не путаными исканиями, а обретением пути. Стихи 1935 года особенно разнообразны по исторической географии. Он видит себя родившимся и старящимся на берегу Меконга («Дикий берег»), духовным воином ислама, вслушивающимся в протяжный ритм Корана («Я уходил за городскую стражу...»), каббалистом из Пражского гетто («Бар-Иегуда Пражский»). И хотя эти сюжеты связаны с кругом тогдашнего чтения, все они движимы единой интуицией или мыслью, пусть еще смутно брезжущей, ведущей его. Ему верилось, что поэтические путешествия продолжатся, приведут к чаемому свету.
О земных странствиях он писал по-иному: «Лечь в тебя, горячей плоти родина, / В чернозем, в рассыпчатый песок...»

Но ближе всего — о чем он говорил не раз — ему всегда была Индия, где все связано с иными мирами. В индуизме множество разнообразных толков и течений, в нем приемлемо многое и отсутствует понятие ереси. Но он определяет все мировидение — отношение к природе — к священным горам, рекам, животным и растениям, всю организацию общества. А перенаселенный индуистский пантеон полон причудливой поэзии. В нем боги и полубоги, множество сверхъестественных существ. Человеческая история, каждая личность, в ней участвующая, да и все живое включены в вечный круговорот вместе с божествами и существами иных миров.

Учение о карме, в котором определялась ответственность человека за собственную судьбу не только в данной жизни, но и в иных рождениях, зависимость от нравственного выбора, Андреев узнал еще в отрочестве. Для него карма — один из незыблемых принципов мироздания — «закон возмездия, железный закон нравственных причин и следствий». И «русские боги», кишащая демоническими существами изнанка мира, земные просторы с одухотворенными стихиалями, — весь его поэтический космос связан с представлениями индуизма. Пронизанность религиозностью, почти такая, какую он провозглашал как необходимое состояние будущего просветленного человечества, всей жизни Индии — было главным, что влекло его в страну сонма божеств, бесчисленных храмов и святых мест, где чтят не правителей и полководцев, а отшельников, святых и поэтов.

5. Нибелунги

Алла Александровна Андреева вспоминала:

«В середине двадцатых годов, как мне кажется, на Москву обрушилось кино. <...> Во многих кинотеатрах шла немецкая двухсерийная картина “Нибелунги”. В “Арсе” ее сопровождал оркестр, игравший Вагнера. Фильм и вправду был прекрасным. Первая серия называлась “Зигфрид”, вторая — “Месть Кримгильды”. Я, конечно, влюбилась в Зигфрида: он был само совершенство. Кримгильда тоже была прекрасна, особенно ее длинные белокурые косы — несостоявшаяся мечта всей моей жизни.

<...>Даниил, тогда уже взрослый юноша, тоже смотрел этот фильм. Естественно, у него все было гораздо глубже и сложнее. Он влюбился в Кримгильду, да так, что каждый вечер ездил в кино, чтобы ее увидеть. Так было, пока в Москве, хоть где-нибудь, шла “Месть Кримгильды”. Он видел ее 70 раз! К тому времени относится замысел “Песни о Монсальвате” — ранней, юношеской неоконченной поэмы...»257

Трудно сказать, к тому ли времени, то есть к 1925 или 1926 году, относится замысел «Песни о Монсальвате». Но поэма начата в 1935-м. А фильм Фрица Ланга, вышедший на экраны Германии в 1924 году, один из классических фильмов немого кино, произвел на него впечатление, оставшееся надолго. О нем можно судить по другой его поэме — «Кримгильда». Фильм увлеченно смотрели по всей Европе, в Москве. Малахиева-Мирович, описывая (1 апреля 1926) ночной Арбат, упоминает тогда шедший в «АРСе» фильм: «И тут же рядом Зигфрид снится / Стенам облупленным Кино. / С драконом Фафнера сразиться / Во сне опять ему дано». Это Даниил уговорил ее пойти на «Зигфрида». Но Варваре Григорьевне, считавшей кинематограф суррогатом искусства, фильм не понравился. А ему навсегда запомнились и Пауль Рихтер — Зигфрид в сопровождении двенадцати могучих рыцарей, и Маргарет Шён — Кримгильда, в черных одеждах горя, клянущаяся «вражеской кровью» и «беззакатной любовью». С тех пор он полюбил кино. С мстительницей Кримгильдой осуществлялся закон «кармы». Но главным было мистериальное — так виделся фильм — содержание эпоса. Гигантские замки и соборы в таинственной дымке, гранитные лестницы, мосты, зубчатые стены с башнями, леса с фантастически могучими деревами, огромный, правдоподобно живой дракон — вся монументальная пластика фильма, его экспрессионистское средневековье в тевтонском обличье, рыцарские времена.

Конечно, этот фильм сказался и на видении темных миров, и на кинематографическом, вагнеровском колорите его рыцарских поэм «Титурэль», «Песнь о Монсальвате», «Кримгильда». Но более всего повлиял на замысел «германского» цикла поэм Андреева Рихард Вагнер «Кольца нибелунга» и «Парсифаля». Вагнеровскую музыку часто исполняли в доме — дядюшка на рояле, Коваленский на фисгармонии. Увлеченно он читал мемуары композитора — «Моя жизнь». Андреевское вагнерианство, конечно, от символистов, от Блока. Немецкая культура — не зря он родился в Берлине — стала для него одной из самых близких. Многие русские поэты были германофилами.

6. Монсальват

Об истоках «Песни о Монсальвате» говорится в «Розе Мира»:

«Небесная страна Северо-западной культуры предстает нам в образе Монсальвата, вечно осиянной горной вершины, где рыцари-праведники из столетия в столетие хранят в чаше кровь Воплощенного Логоса, собранную Иосифом Аримафейским у распятия и переданную страннику

Титурэлю, основателю Монсальвата. На расстоянии же от Монсальвата высится призрачный замок, созданный чародеем Клингзором: средоточие богоотступнических сил, с непреоборимым упорством стремящихся сокрушить мощь братства — хранителей высочайшей святыни и тайны. Таковы два полюса общего мифа северо-западного сверхнарода от безымянных творцов древнекельтских легенд, через Вольфрама фон Эшенбаха до Рихарда Вагнера. Предположение, будто раскрытие этого образа завершено вагнеровским “Парсифалем”, отнюдь не бесспорно, а пожалуй, и преждевременно. Трансмиф Монсальвата растет, он становится все грандиознее».

Но не только потому, что поэт не пережил всю полноту «метаисторического озарения», осталась незаконченной «Песнь о Монсальвате»...

У Гёте есть неоконченная поэма «Тайны», вернее — ее фрагмент. Он издавался по-русски первый раз в переводе Алексея Сидорова, второй — в переводе Пастернака. Оба раза с предисловием Рачинского, а в третий, уже в 1932 году, в переводе Сергея Шервинского. И с Рачинским, поседелым редактором сочинений Владимира Соловьева, и с Сидоровым, и с бодрым Шервинским был знаком Коваленский, также пытавшийся переводить Гёте. «Тайны» интересовали и Андреева, хорошо помнившего октавы «Посвящения» к «Тайнам». «Посвящением» традиционно открываются сочинения «светоносного» поэта. В примечаниях к фрагменту Гёте так говорит о сюжете поэмы:

«...Юный монах, заблудившийся в гористой местности, обнаруживает наконец в приветливой долине величественное здание, заставляющее его предполагать, что это — обитель благочестивых, таинственных мужей.

Там он находит двенадцать рыцарей, которые, перенеся жизнь, теснившую их трудами, страданиями и опасностями, приняли обет жить здесь и в тиши служить Богу. Тринадцатый, в котором они признают своего главу, как раз готов с ними расстаться <...> начал повествование о своем жизненном пути...» Дальше Гёте сообщает «общий план, а этим самым и назначение поэмы», говоря, что им «имелось в виду провести читателя через нечто вроде идеального Монсеррата, с тем чтобы, следуя по пути, проложенному на самых различных высотах гор, скал и утесов, при известных обстоятельствах выйти на обширные и привольные равнины. Он посетил бы каждого из рыцарей-монахов в его обители и, созерцая климатические и национальные различия, узнал бы, что отменнейшие мужи могут со всех концов земли стекаться сюда, где каждый из них в тиши по-своему почитал бы Божество».

«За сим обнаружилось бы, — продолжает поэт, — что каждая отдельная религия достигает момента своего высшего цвета и плода, в который она приблизилась к этому верховному вождю и посреднику, мало того — всецело с ним воссоединилась».

«А так как все это действие совершается в страстную неделю, и главный отличительный знак этого сообщества — крест, увитый

розами, легко можно предвидеть, что запечатленная пасхальным днем вековечность повышенных человеческих состояний во всей своей утешительности обнаружилась бы и здесь...»

В этом изложении мы видим присутствие мотивов, близких Андрееву, но важнейшие для него — соединение религий, мистическое содружество двенадцати рыцарей-монахов, образ розы и креста.

Замысел «Тайн» Рачинский, истолковывая поэму, связывал с загадочным орденом розенкрейцеров, с преданиями о котором Гёте был хорошо знаком, но подчеркивал, что в обители Монсеррат нет оснований видеть Монсальват с Граалем, хотя простец монах и может напомнить отдаленно вагнеровского Парсифаля. Небезынтересным для Андреева могло быть и замечание Рачинского, что «из креста и розы роза была ближе великому поэту, создавшему... тот величественный гимн Богоматери, каким является вся последняя сцена “Фауста”...».258 Тем не менее в «Песни о Монсальвате» Даниила Андреева ощущается если не влияние, то отзвук «символистского» замысла Гёте.

7. Грааль

Вдова поэта считала «Песнь о Монсальвате» юношеской поэмой. Согласиться с этим трудно, несмотря на то, что поэма осталась незаконченной и ее нельзя отнести к главным удачам поэта. Во-первых, «Песнь о Монсальвате» он задумал на рубеже тридцатилетия; во-вторых, слишком дорог был поэту замысел, не оставлявший его на протяжении трех лет.

Сказание о Святом Граале имеет сложную, до конца не выясненную историю. В кельтском мифе лишь один из его истоков. В XII веке оно предстало во французской литературе сочинением Кретьена де Труа «Персеваль, или Повесть о Граале», затем в немецкой романом Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль», по сюжету которого в 1882 году Вагнер написал знаменитую оперу259. Предание таково. Иосиф Аримафейский, член синедриона и тайный ученик Христа, после распятия, как повествуется в Евангелии от Иоанна, выпросил Его тело у Пилата и предал погребению. Согласно средневековому преданию, он и собрал кровь Иисуса Христа в Чашу. Чаша была вознесена на небо, а затем вручена ангелом Титурэлю и хранится в таинственном замке — Святом Граале. Отыскать замок и обрести Чашу могут лишь чистые сердцем.

Предание о Граале, известное по рыцарским романам, как считается, восходит к эзотерическим сказаниям и христианским апокрифам, таким как «Евангелие от Никодима». Но сказались на андреевской «Песне о Монсальвате» не эзотерические источники, а опера «Парсифаль», откуда и большинство действующих лиц, и название замка с Граалем. Вагнер связывал с легендой о Граале и «Нибелунга», поэтому его оперный цикл «Кольцо нибелунга» и «Парсифаль» предстают частями единого романтизированного национального мифа. Но главное, что их

объединяет, — сосредоточенность на изображении борьбы сил Света и Тьмы. Вагнеровские оперы — мистерии, и Андреев именно так их воспринимает. А в «Розе Мира» миф о Граале становится частью его собственного мифа.

Среди действующих лиц «Песни о Монсальвате» названы брамин Рамануджа и буддийский монах Миларайба, которые должны по логике сюжета прийти к Граалю вместе с христианами. И это первая, но целенаправленная попытка Андреева соединить Восток и Запад, «лепестки» разных вер. Не случайно введены в поэму и служители замка тьмы и гибели — военачальник араб Аль-Мутарраф и первый из двенадцати зодчих Клингзора — Бар-Саамах. Но в завершенных частях поэмы о Рамануджe, Миларайбе и Бар-Саамахе не говорится, хотя очевидно, что именно с их появлением и должны были разрешаться главные коллизии. Но, кажется, сюжет исчерпал себя, не дойдя до задуманной развязки.

Обдумывая поэму, Даниил Андреев пережил миф о Граале по-своему. Для него он стал одним из символов западноевропейской культуры, определившим и высветившим многое. В «Розе Мира» он объясняет:

«Если Монсальват перестал быть для нас простым поэтическим образом в ряду других, только чарующей сказкой или музыкальной мелодией, а приобрел свое истинное значение — значение высшей реальности, — мы различим его отблеск на готических аббатствах и на ансамблях барокко, на полотнах Рюисдаля и Дюрера, в пейзажах Рейна и Дуная, Богемии и Бретани, в витражах-розах за престолами церквей и в сурово-скудном культе лютеранства. Этот отблеск станет ясен для нас и в обезбоженных, обездушенных дворцовых парках короля-солнца, и в контурах городов, встающих из-за океана, как целые Памиры небоскребов. Мы увидим его в лирике романтиков и в творениях великих драматургов, в масонстве и якобинстве, в системах Фихте и Гегеля, даже в доктринах Сен-Симона и Фурье. Потребовалась бы специальная работа, чтобы указать на то, что могущество современной науки, чудеса техники, равно как идей социализма, даже коммунизма, с одной стороны, а нацизма — с другой, охватываются сферой мифа о Монсальвате и замке Клингзора. Ничто, никакие научные открытия наших дней, кончая овладением атомной энергией, не выводят Северо-западного человечества из пределов, очерченных пророческой символикой этого мифа».

Эти мысли — итог пути, начатого в «Песне о Монсальвате».

Миф о Граале давно реял рядом с ним, Чаша Грааля упоминалась в стихах Гумилева, Волошина, Эллиса, учителя Коваленского. У той же Малахиевой-Мирович. В 1918-м она писала: «Предав земле сожжение земное, / В далекий Монсальват идем, / Где, Грааль святой ревниво сохраняя / И не сходя с заоблачных вершин, / Тебе и мне дорогу озаряет / Грааля рыцарь Лоэнгрин».

Миф захватил и близких друзей Андреева. Василенко вспоминал: «Особенно много он мне рассказывал о Монсальвате, о чаше Святого Грааля. Он говорил о трубадуре, который всю жизнь посвятил поискам Монсальвата и в конце концов умер где-то на Востоке, за Ираком, так и не найдя его.

Даня, писавший о Монсальвате, говорил, что в прошлой жизни приходил к Граалю. Храм он видел с близлежащих склонов, дальше его не пустили.

Что здесь было от действительного знания, а что от поэтического воображения — не знаю. Но меня тогда тема Грааля очень волновала, я был под большим влиянием Дани. Я даже написал стихотворение “Монсальват”:

...Никто никогда там не был,
никто еще не видал,
как чисто вечное небо
над высью пустынных скал!

И лишь пастухи слыхали,
идя по горной тропе,
как где-то в туманной дали
печально колокол пел.

Это стихи 1939 года. Тогда я буквально подражал Дане. Потому что он был не просто мастер. Он был поэт глубокого внутреннего содержания. Содержания, подобного которому я не встречал. Оно поражало»[260].

В главе «Замок Святого Грааля» романа Солженицына «В круге первом» пребывавший в Марфинской «шарашке» вместе с автором Ивашев-Мусатов назван Ипполитом Михайловичем Кондрашевым-Ивановым. Нарисован портрет странного художника по-солженицынски резко, почти карикатурно, но документально точно, так, что мы можем представить друга Андреева, рыцарски искавшего в сталинской Москве Святой Грааль. В главе рассказывается о самом заветном замысле Ивашева-Мусатова, о задуманном полотне, которое он называл главной картиной своей жизни. На ней должен был быть изображен Парсифаль, увидевший свет *оттуда* и стоящий «в ореоле невидимого сверх-Солнца сизый замок Святого Грааля», то есть то, о чем говорится в «Песни о Монсальвате». Ивашев-Мусатов был человеком мистически настроенным, что и сблизило его с Коваленским и Андреевым. Вариант картины о Святом Граале он подарил Солженицыну.

Почему средневековое предание так увлекло поэта и его друзей? В «Запеве», с которого и началась поэма, датированном 8 сентября 1935 года, поэт обращается к «вечной святыне»: «Помоги же нам в горестной битве / В этом темном тесном краю!» Он верит, что

существуют и святыня, и братья «с белых вершин Монсальвата», молящиеся за тех, кто оказался в мглистом мире «разрушенья и смут». Эта вера и сосредоточилась в мифе о Граале, ставшем для горстки мистически настроенных мечтателей единственной надеждой там, где, кажется, силы Тьмы восторжествовали. Помощь в их битве могла быть только мистической, надежда брезжила только в молитве и вере. В стихотворении 1936 года Андреев, прямо не упоминая ни о Монсальвате, ни о поэме, говорит о тех вдохновенных ночах, когда он писал ее, опровергавших ложь дня, «подобного чертежу»:

Вот, стройный пик, как синий конус ночи,
Как пирамида, над хребтами встал:
Он был, он есть живое средоточье,
Небесных воль блистающий кристалл.

Он плыл, звуча, ковчегу Сил подобный,
Над гребнями благоговейных гор,
И там, на нем, из синевы загробной,
Звенел и звал невоплотимый хор...

8. Автопортрет

Зимой и весной 1936 года писалась «Песнь о Монсальвате». Поэма, казалось, лучшее, что им написано. Вдохновенные ночи сменялись депрессией, сомнениями. Весною заболела Елизавета Михайловна, и проболела месяц. Как он сообщал брату, ее мучила «злокачественная флегмона в соединении с жестокими приступами малярии»261. Пока мама Лиля не выздоровела, в доме, на ней державшемся, было неуютно, тревожно.

Ему в «скрежещущем городе» не хватало природы. На месте снесенных храмов зияли котлованы и пустыри, и самый большой из них, продуваемый сырыми ветрами, располагался рядом, на месте храма Христа Спасителя. Чем больше старую Москву разрушали, тем громогласней трубили о сталинском плане реконструкции. Но рушили быстрей, чем строили. После зимы, легко прикрывавшей прорехи белоснежьем, это бросалось в глаза. Весной он писал: «Оттого ль, / что в буднях постылых / Не сверкнет степной ятаган, / Оттого ль, / что течет в моих жилах / Беспокойная / кровь цыган — / Оттого / щемящей тоскою / Отравив мне краткий приют, / Гонит страстный дух непокоя / В мир и в марево / жизнь мою». В конце апреля он едет за город: подышать лесной свежестью, очнувшейся землей, пробивающейся травой.

Окруженному дружеской приязнью, ему не хватало сочувственного собеседника, с которым можно было бы говорить о сокровенном. Говорить о себе, о мучившем его, было легче не с ближними, как это бывает, а с дальними. В середине мая, отвечая на печальное письмо

Евгении Рейнфельд, делившейся своими несчастьями, он ищет в ней сочувственную женскую душу. Письмо исповедально.

«Моя жизнь сейчас проходит однообразно и почти совсем без внутреннего света, как и всегда весной. Это четко выраженный годовой цикл с июля по январь — линия восхождения, затем — спад. Кончается все каждый раз гнетущим депрессивным состоянием, с которым я в этом году пытался бороться с особенной настойчивостью, но толку от этого получается мало. Причин этой прострации — 4, между ними 1 внешнего характера, две — исключительно внутреннего, а одна, так сказать, спонтанного. Эта последняя заключается в том, что было отчасти выражено в одной поэмке об Индии, которую я Вам однажды читал. До 30-летнего возраста блуждать в поисках единственно пленяющего образа, отсекая в себе все ростки живого тяготения к другим, — это не только мучительно, но (очень может быть) это ошибка, непоправимая, калечащая душу и жизнь.

Что же касается одной из внутренних причин, то здесь дело заключается в том, что я, по своим интеллектуальным, волевым и пр<очим> данным — только поэт; и вместе с тем с детских лет не смолкает голос, требующий *деланья*. “Пока не требует поэта...” — это формула *данного*, но не *должного*. 1½ года назад я сделал попытку в этом направлении, но продержался на нужной линии едва полгода. Не хватает рел<игиозно>-волевых сил, да и даже просто нервных и физических сил. <...>

Осенью я начал большую поэму из эпохи крестовых походов — свободная вариация на тему центрального мифа позднего средневековья, — очень свободная, озаренная тем пониманием, которое возможно только для человека нашей эпохи и страны. (Впрочем, действие поэмы протекает на пороге XII и XIII вв. И в ней фигурируют, наряду с вымышленными мною, и традиционные персонажи, например Лоэнгрин.) Вещь будет очень объемистая. Написана треть. В художественном (да, впрочем, и в других) отношениях она, к счастью, оставила далеко за собой написанное мною прежде. Сейчас эта поэма — единственное, что по-настоящему заставляет меня хотеть жить: хотя бы для того, чтобы кончить ее. <...>

Ездил раза 3 за город, слушал жаворонков, вел всякие игры в еще лишенном тени лесу, шлялся по-цыгански босиком по талым топям и делал многое другое, что возможно только там, в природе»262.

Но и в этом письме не все выговорено. Через несколько дней в письме брату он продолжает вглядываться на рубеже тридцатилетия в самого себя, рисует автопортрет:

«Твоя карточка, родной мой, свидетельствует о том, что у нас действительно много общего, и не в одной только внешности. Но на тебя жизнь наложила печать таких страданий, каких я, живущий и живший всегда в своей родной стране и в своей любящей семье, не знал и не мог знать. Не подумай, что моя жизнь была безбедной и беспечальной, —

но тяжелое в ней было другого рода, чем в твоей, особенно до твоей встречи с Олей. Внешне я выгляжу не моложе тебя. <...> Многое я порчу себе и своим образом жизни: двойной нагрузкой (графической и литературной), ночными занятиями, беспорядочным сном. <...> Между прочим, я унаследовал от папы страсть к хождению босиком <...>

Насколько я не понимаю прелести зимы, терпеть не могу холода и из зимней красоты могу воспринимать только иней, настолько же люблю — до самозабвения — зной, бродяжничанье по лесам, лесные реки и вечера, ночи у костров, холмистые горизонты, даль — русскую “среднюю полосу” и Крымские горы, — без этого совсем не могу жить.

Хочу еще дать тебе некоторые вехи — некоторые указания на мои частные вкусы и склонности, симпатии и антипатии — это отчасти поможет тебе представить мой внутренний мир.

Я люблю:

Восток больше Запада. (Одной из моих больших жизненных ошибок была та, что я не поступил вовремя в Институт Востоковедения, — мне хотелось бы быть индологом. А теперь уже поздно, нет ни достаточного запаса сил, ни матер<иальных> возможностей.)

В истории Запада мне ближе всего XII—XIII века.

Музыка: Бах, Вагнер, Мусоргский. В особенности Вагнер.

Боттичелли, Фра-Анжелико, но на первом месте среди них — Джотто.

Врубель.

Дон-Кихот. Пер Гюнт.

Тютчев.

Внятен “сумрачный германский гений”, но к острому галльскому смыслу я более чем равнодушен. Исключая Флобера, Мопассана, Верлэна и некоторых драм Гюго, фр<анцузская> лит-ра чужда мне. Крайне неприятен Франс (кроме 2—3 вещей). Очарования А. Ренье не понимаю и скучал, читая его, так же, как (увы) над Стендалем. Очень враждебен Теофиль Готье и все представляемое им направление искусства вообще. Впрочем, фр<анцузскую> лит<ерату>ру недостаточно знаю, но и как-то не ощущаю сейчас потребности пополнять свои знания в этой области.

“Пиквикский клуб” перечитываю почти ежегодно.

Лермонтов и Достоевский возвышаются надо всем.

Из древних культур, к которым вообще чувствую большую склонность, особенно люблю, не перестаю удивляться — благоговейно удивляться — Египту.

После лит<ерату>ры на 2-м месте по силе впечатляемости стоит для меня архитектура (а затем уже музыка и живопись). Наиболее близкие стили: Египет (очень люблю эпоху XIII дин<астии>), готика, арабская архитектура, и южно-индийская XVII—XVIII вв.

В области “точных наук” отличаюсь сказочной бездарностью. Кажется, кроме таблицы умножения, не смог усвоить ничего. Одно время увлекался астрономией, но более серьезному знакомству с ней помешало

именно это отсутствие математических способностей и отвращение к математике. Оно же отпугнуло меня в свое время от дороги архитектора.

Не обладаю, к сожалению, также и способностью к ремеслам. Совершенно лишен дара рассказывания. Речь, вообще, затрудненная, — м<ожет> б<ыть>, следствие, отчасти, образного мышления.

Некоторые из отрицательных черт характера: лень, эгоцентризм, вспыльчивость, любовь к комфорту.

Люблю долгие зимние ночи в тихой комнате над книгами и бумагой.

Но наряду с этим не прочь иной раз повеселиться самым бесшабашным образом (впрочем, теперь — реже); очень коротко знаком мне дух непокоя и странствий»263.

Самоанализ был тем увлекательнее, что помогал преодолевать приступы тоски и отчетливее представить старшего брата, его «внутренний строй». Строй был похожим, мировидение разным. Письма наталкивали на воспоминания об отце, о детстве. Тогдашние стихи Даниила об отце перекликаются со стихами о нем, вряд ли ему известными, Вадима. Схожим был даже почерк братьев. Но они не виделись уже два десятилетия.

9. Смерть Горького

«К Ек<атерине> Пав<ловне> и Бабелю я еще не ходил сознательно, т<ак> к<ак> еще не вернулся из Крыма А<лексей> М<аксимович>, где он провел всю зиму и весну. Но в первых числах июня я разовью бешеную энергию»264, — писал он брату, не оставлявшему попыток возвращения. Что на самом деле происходило в стране, ударно строящей социализм, ни он, ни его просоветски настроенные товарищи не знали. В хлопотах Вадим Андреев рассчитывал и на казавшихся из-за рубежа весьма влиятельными знакомых советских писателей и — главное — на помощь Алексея Максимовича. Даниил писал в автобиографии, что Горький пытался помочь и даже «довел дело до Иосифа Виссарионовича, от которого получил уже устное согласие. Оставался ряд формальностей...». Побывавший у крестного Андреев, даже обедавший у него за одним столом вместе с Генрихом Ягодой, своему другу Глебу Смирнову, если верить свидетельству его сына, говорил: «Дом Горького — какой-то чекистский обезьянник...»

Горький вернулся из Крыма 27 мая уже не совсем здоровым, 1 июня на даче в Горках слег с температурой. Начиная с 6 июня в «Правде» публикуются тревожные бюллетени о состоянии здоровья Горького. 18-го он умер. Смерть Горького стала предвестьем очередной вспышки террора. Через два года виновниками смерти великого пролетарского писателя оказались врачи-убийцы: домашний врач Горького Левин и «содействовавший этому преступлению» Плетнев.

21 июня Даниил писал в Париж: «Дорогой мой брат, прежде всего — не падай духом. Тот факт, что твое прошение было отклонено, еще не решает дела окончательно. Гораздо печальнее другое: смерть

Горького. Благодаря тому, что он всю зиму и весну провел в Крыму, а по приезде тотчас заболел и уже не вставал, он не успел должным образом оформить твое дело. Е<катерина> П<авловна>, у которой я был в самых первых числах июня — тогда трагический исход его болезни никто не предвидел, — считала, что Алексею Максимовичу осталось сделать небольшое усилие, чтобы сбылись твои желания. (Сама она мало что может сделать.) Мне теперь рисуется иная возможность. Недели через 2—3 (сейчас, непосредственно после смерти А<лексея> М<аксимовича>, это неуместно) я напишу Иосифу Виссарионовичу и думаю, он сочтет возможным помочь нам. Одним словом, я отнюдь не оставляю надежду видеть тебя здесь в конце лета или осенью»265. Прекраснодушные надежды, конечно, не сбылись, хотя он продолжает хлопоты, вновь собирается пойти к Бабелю и тоскуя, признается брату: «Ты не подозреваешь, вероятно, как часто, почти беспрестанно я думаю о тебе; как ты воображаемо сопутствуешь мне в моих прогулках; и до какой боли, с мучением, жду я того часа, когда это из мира фантазии превратится в действительность»266.

Как раз во время предсмертной болезни Горького появился проект «сталинской» Конституции.

10. Дивичоры

«Этим летом, вероятно, не удастся поехать никуда...»267 — с грустью писал Даниил брату в мае, но уже через месяц бодро сообщал, что едет в Трубчевск: «Отъезда жду с большим нетерпением, т<ак> к <ак> очень устал и чувствую себя нехорошо и в физическом, и в нервном отношении»268. Погода в Москве стояла на редкость хорошая, такая, какую он любил: солнце, жара, изредка грозы с шумными короткими ливнями. В доме стало тихо. Екатерина Михайловна собралась в Горький, повидаться с сестрой и братом. Коваленские жили на даче у Леоновых на станции Белописецкая около Каширы, на Оке, где неделю с ними провела и Елизавета Михайловна. Ненадолго приезжал на дачу Леоновых и Даниил. Там он познакомился с девятнадцатилетней Ириной Арманд, тут же в него безутешно влюбившейся, и с ее родителями — Львом Эмильевичем (двоюродным братом знаменитой Инессы) и Тамарой Аркадьевной (родственницей Павла Флоренского). Ирина изучала английскую филологию, любила поэзию, была в родстве с семейством Репман.

В Трубчевск Даниил попал в начале июля. За три года, что он здесь не был, городок почти не изменился. И это его, приехавшего из менявшейся Москвы, радовало. Трубчевск, делился он восхищением с женой брата, «стоит высоко над рекой, почти все домики в нем деревянные, окруженные яблоневыми садами. А на пожарной каланче каждый час бьют в колокол. Большинство улиц поросли зеленой травой и ромашками»269. Ему нравилось, что на улице вдоль заборов, на которые клонились яблони, белели ромашки. Здесь город не мешал

зеленому простору, а словно бы вырастал из него, поднимаясь вместе с Соборной горой над поблескивающей внизу Десной.

«Можешь позавидовать: вот уже две недели, как отвратительное изобретение, называемое обувью, не прикасалось к моим ногам <...> — писал он в Париж из Трубчевска, жалея, что брата нет рядом. — Стоит удивительный, чарующий, мягко-обволакивающий зной, грозы редки, пасмурных дней нет совсем во все это лето, — это лето прекрасно, как совершенное произведение.

С круч, на которых расположен городок, открывается необъятная даль: долина Десны, вся в зеленых заливных лугах, испещренных бледно-желтыми точками свежих стогов, а дальше — Брянские леса: таинственные, синие и неодолимо влекущие. В этих местах есть особый дух, которого я не встречал нигде; выразить его очень трудно; пожалуй, так: таинственное, манящее раздолье. Когда уходишь гулять — нельзя остановиться, даль засасывает, как омут, и прогулки разрастаются до 20, 30, 35 километров. Два раза ночевал на берегах лесной реки Неруссы. Это небольшая река, которую в некоторых местах можно перейти вброд (но, в общем, довольно глубокая). Но даже великолепную Волгу не променяю я на эту, никому не известную речку. Она течет среди девственного леса, где целыми днями не встречаешь людей, где исполинские дубы, колоссальные ясени и клены обмывают свои корни в быстро бегущей воде, такой прозрачной, такой чистой, что весь мир подводных растений и рыб становится доступным и ясным. Лишь раз в году, на несколько дней, места эти наводняются людьми; это — дни сенокоса, проходящего узкой полосой по прибрежным лужайкам. <...>

Через несколько дней, когда начнутся лунные ночи, я уйду на целую неделю в леса по течению Неруссы и Навли»270.

Лето 1936 года вошло в его стихи древнерусскими просторами:

Лишь тростник там серебрится перистый,
Да шумит в привольном небе дуб —
Без конца, до Новгорода-Северска,
Без конца, на Мглин и Стародуб.

Всеволод Левенок с июня прошлого года стал заведовать Трубчевским краеведческим музеем. Наступившим летом он со страстью любителя, получившего профессиональный статус, занимался археологическими разысканиями. Обследовал «Холм», или, как еще называли это урочище на Неруссе, — «Осетинскую Дачу». У Жеренских озер обнаружил стоянки мезолита-неолита. Раскапывал курганы под Трубчевском — в Кветуни. Во всех этих местах Андреев не раз бывал. Но Всеволод Протасьевич настолько был занят разоренным музейным хозяйством и археологическими предприятиями, что виделись они редко. А в августе Левенок уехал на раскопки стоянки Елисеевичи и вернулся только в сентябре. Но их встречи оставили след. Герой вскоре начатого романа

«Странники ночи» — Саша Горбов — археолог, и в одной из глав рассказано, как он возвращается из экспедиции, работавшей рядом с Трубчевском. И деревня Кветунь на высоко взметнувшемся правобережье Десны, таящем остатки древнего городища, манила его не только распростертыми лесными далями. Как говорят ученые, сюда, где, может быть, поначалу и располагался древний Трубецк, православная вера пришла еще до Крещения Руси. Рядом теснились бесчисленные курганы Литовских могил и Жаденовой горы, высился старинный Чолнский Спасский монастырь, от коего до нас дошли одни развалины. Андреев же еще застал соборный храм Рождества Христова, колокол которого слышали даже в Трубчевске.

Здесь на полянах — только аисты,
И только цаплями изучен
Густой камыш речных излучин
У ветхого монастыря;
Там, на откосы поднимаясь, ты
Не обоймешь страну очами,
С ее бескрайними лесами,
Чей дух господствует, творя, —

это строфа «Русских октав» о Кветуни, куда он поднимался от старицы Десенки крутыми откосами. С высокого берега, помеченного меловыми выходами, виделось далеко. Синелись луга, изрезанные непостоянством Десны, оставлявшей зарастающие осокой и лозняком старицы, подергивались голубой дымкой чащи.

Кветунь угадывается в уцелевшем отрывке «Странников ночи». В нем Саша Горбов вспоминает похожие места: «Открылась широкая пойма большой реки, овеянная духом какого-то особенного раздолья, влекущего и таинственного, где плоты медленно плывут вдоль меловых круч, увенчанных ветряными мельницами, белыми церквами и старыми кладбищами. За ними — волнообразные поля, где ветер плещется над золотой рожью, а древние курганы, поросшие полынью и серой лебедой, хранят заветы старинной воли, как богатырские надгробия. С этих курганов видны за речной поймой необозримые леса, синие, как даль океана, и по этим лесам струятся маленькие, безвестные, хрустально-чистые реки и дремлют озера, куда с давних пор прилетают лебеди и где он встречал нередко следы медведей...»

Судя по всему, Трубчевск в «Странниках ночи» занимал не меньшее место, чем в жизни автора. В этом же году написан цикл или поэма «Лесная кровь». По словам вдовы поэта, ни истории, описанной в ней, ни ее героини в действительности не было. «Героиня возникла из переживания автором романтики Брянских лесов, а внешность ее Д. А. взял у жены своего друга, очаровательной, сероглазой, русокосой женщины, очень органично связывающейся с природой. Она об этом

не знала и очень удивилась, когда я рассказала ей это на лагерных нарах (и она, и муж ее были тоже взяты по нашему делу). Позже, в тюрьме, дорабатывая поэму, Д. А. усложнил образ героини некоторыми моими чертами — так он сказал»271.

Но, судя по уцелевшим ранним вариантам «Лесной крови», восстановленный и дописанный в 1950-м, цикл не стал иным. «Сероглазой» и «русокосой» была Елена Лисицына, жена Белоусова. И хотя нельзя не верить утверждениям Аллы Александровны, что героиня «Лесной крови» выдумана, как и героиня «индийской поэмы», но в своих лесных путешествиях он мог, пусть и мельком, увидеть дочь лесника с «невыразимыми глазами». И те черты, которыми он ее наделил, были не выдуманными, а увиденными, и характер ее — тот женский характер, который он почувствовал в Галине Русаковой и, может быть, в Евгении Левенок.

Недалеко от лесного урочища Дивичоры, на Лучанском кордоне, действительно жила семья лесника. Люди запомнили редкую красоту лесниковой дочери и то, что в тесной хате находили ночлег прохожие и проезжие. Перед войной лесник умер, жена и дочь перебрались в Кветунь, дом, от которого тропа спускалась к Десне, опустел. На Дивичорах Даниил бывал и вряд ли минул этот кордон. Однажды он рассказал жене, как в очередной раз твердо решив бросить курить, уехал в трубчевскую «глушь, в домик лесника, — не взяв с собой курева. Он решил, что так отвыкнет, но измучился и не написал ни строчки. А когда, возвращаясь, наконец попал на полустанок, с которого надо было садиться в московский поезд, первое, что сделал, — купил папиросы и закурил»272. Так что дом лесника не выдумка.

Но своевольная красавица в поэме не портрет с натуры, а романтическая героиня урочищ и лесных заводей, где являлся ему призрак Дивичорской богини. В поэме лесник встречается поэту в «глуши Барсучьего Рва». Наутро лесник собирается в Староград, то есть Стародуб. Всё в поэме — лесные дороги, деснянские кручи, география и топонимика — узнаваемо. И если героиня «Лесной крови» — создание поэта, то женский образ, мелькающий в других циклах, вряд ли только игра лирического воображения.

В одном из его «трубчевских» стихотворений сказано, что поэту, проходящему «по селам, по ярмаркам, по городам», необходимо «коснуться плоти народной». Попытка «коснуться» — в неудавшейся, как считал автор, поэме «Гулянка». В ней те же впечатления 1936 года и та же история о короткой любви-страсти, перекликающаяся с рассказом о дочке лесника с тяжелым и внимательным взором.

11. Лес Вечного Упокоения

Называя в письме брату обувь отвратительным изобретением, Даниил Андреев не шутил, а высказывал заветное убеждение. Он уходил в странствия босиком, и его «религия» босикомохождения утверждалась

на берегах Десны и Неруссы, на лесных тропах, где покалывание хвои сменялось листвой и глиной, а осыпь оврага выводила на речной песок: «Да: земля — это ткань холста. / В ней есть нить моего следа».

В своих странствиях он редко оставался на ночлег в «душных хатах». Кров искал и находил — «необъятный, без стен и ключа» — в стогу, на охапке сена у полевой межи, чувствуя, как парит земля, нагретая зноем, или устраивал ложе у рыбацкого костра. И шептал вечернюю молитву:

За путь бесцельный, за мир блаженный,
За дни, прозрачней хрустальных чаш,
За сумрак лунный, покой бесценный
Благодарю Тебя, Отче наш.

Свой путь он чаще всего начинал со спуска к Десне. В эти годы она была судоходной, вниз, из Трубчевска к Новгороду-Северскому, по ней сплавляли плоты, сводя еще остававшиеся по берегам мачтовые боры. Но славный Брянский лес, его сосняки и дубравы еще держались, не сдавая рубежи между Неруссой и Навлей. Хотя кое-где лес и отступал — много требовалось древесины второй пятилетке. В стихах Андреева об этом сказано мужественно и ясно, он открыт сегодняшнему дню, его беспощадности:

Лес не прошумит уже ни жалоб, ни хвалы:
Штабелями сложены безрукие стволы.

Устланный бесшумными и мягкими, как пух,
Белыми опилками, песок горяч и сух.

Долго я любуюсь, как из мертвого ствола
Медленно, чуть видимо является смола...

Эта ясность взгляда соседствует с пережитым почти на краю гибели во время блуждания по лесу, который он назвал лесом «вечного упокоения».

Июль 1936-го был особенно знойным, но он всегда любил жару, хорошо переносил ее. Один из путей под солнцепеком описан так:

Люблю это жадное пламя,
Его всесильную власть
Над нами, как над цветами,
И ярость его, и страсть;

Люблю, когда молит тело
Простого глотка воды...

...И вот, вдали засинело:
Речушка, плетни, сады...

Еще один маршрут — в стихотворении «Из дневника». Судя по нему, он семь дней шел лесами, простирающимися между Неруссой и Навлей, а на восьмой «открылся путь чугунный». Он вышел к узловой станции, к поселку Навля:

Зной свирепел, как бык пред стягом алым:
Базарный день всех поднял ото сна,
И площадь добела раскалена
Была перед оранжевым вокзалом.

Тем же вечером сел в поезд и, не заходя в переполненный душный вагон, стоя на подножке и «сжав поручень», видимо, вернулся в Трубчевск — навстречу «душмяным мраком» веял «пост “Нерусный”»...

Еще один путь под палящим зноем описан в «Розе Мира»:

«Однажды я предпринял одинокую экскурсию, в течение недели странствуя по Брянским лесам. Стояла засуха. Волокнами синеватой мглы тянулась гарь лесных пожаров, а иногда над массивами соснового бора поднимались беловатые, медленно менявшиеся дымные клубы. В продолжение многих часов довелось мне брести по горячей песчаной дороге, не встречая ни источника, ни ручья. Зной, душный, как в оранжерее, вызывал томительную жажду. Со мной была подробная карта этого района, и я знал, что вскоре мне должна попасться маленькая речушка, — такая маленькая, что даже на этой карте над нею не обозначалось никакого имени. И в самом деле: характер леса начал меняться, сосны уступили место кленам и ольхе. Вдруг раскаленная, обжигавшая ноги дорога заскользила вниз, впереди зазеленела поемная луговина, и, обогнув купу деревьев, я увидел в десятке метров перед собой излучину долгожданной речки: дорога пересекала ее вброд. Что за жемчужина мироздания, что за прелестное Божье дитя смеялось мне навстречу! Шириной в несколько шагов, вся перекрытая низко нависавшими ветвями старых ракит и ольшаника, она струилась точно по зеленым пещерам, играя мириадами солнечных бликов и еле слышно журча.

Швырнув на траву тяжелый рюкзак и сбрасывая на ходу немудрящую одежду, я вошел в воду по грудь».

Рассказ звучит элегически. Но во время этого странствия он попал в лес, охваченный пожаром, и чудом остался жив. Аллегория «Божественной комедии» Данте Алигьери — «Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу...» — стала реальным переживанием. О своем сумрачном лесе, брянской чащобе, он написал

поэму «Лес Вечного Упокоения», в окончательном варианте названную «Немереча».

Случилось это в жгучем июле, когда солнце вступило в созвездие Льва, и ему, беззаботно пустившемуся в путь, верилось, что знойный ветер в трубчевские просторы летит, как в прапамяти, со священных многохрамных долин Нербадды, Ганга или Джамны. Вначале он шел вдоль Неруссы, миновав одну, вторую деревню, и углубился в такую чащобу — немеречу, где уже не встречалось ни души и только птичий щебет и свист осеняли одиночество.

Неожиданно он увидел быстро поднимающиеся над чащей плотные белоснежные клубы, сквозящую между деревьями, над подлеском голубоватую дымку пожара. Не захотев возвращаться, двинулся в сторону Чухраев — лесной деревеньки на песчаном холме среди болотистой поймы, откуда можно было выйти к Руму, урочищу с поемным лугом ниже по Неруссе. По пути, на краю древнего бора, ему попались остатки избенки лесничего. Брошенное жилье всегда наводит тоску, а тут над развалинами давней чужой жизни, разлетаясь по мглисто-знойному небу, валил густой дым. Здесь и бывалому человеку не могло не сделаться жутко. А дым и клубящаяся тень его с верховым гулом летели по следу, настигали, слезя глаза, и лес, пронизанный июльским солнцем, казалось, сейчас запылает совсем рядом, веселые языки пламени побегут вверх по стволам, негромко потрескивая.

Торопливо двинувшись в сторону от пожарища, он заплутал, оказавшись в непроходимых зарослях. Выйдя к ночи на лужайку, окруженную уцелевшими кустами орешника, решил заночевать, лег в повлажневшую к ночи опаленную траву и провалился в забытье.

Потом, когда писалась поэма и заново переживалось знобкое забытье, ему вспомнилось состояние, описанное Вольдемаром Бонзельсом в книге «В Индии», эпиграф из которой над второй главой «Немеречи». Герой Бонзельса забывает в индийском сне европейскую жизнь как «отвратительный, полный ненужной суеты сон» вместе со своим прошлым, представляющимся сплошным заблуждением. «Я исчезал и возрождался во сне и в бодрствовании, — говорит он, — сменяющиеся части дня и само течение времени слились для меня в одно неопределенное ощущение движения, а чистота растений, окутывавших меня как живым покровом, была самой могучей силой, господствовавшей над моим медленно угасавшим сознанием»[273]. Трубчевская немереча оказалась не менее таинственной и опасной, чем индийские джунгли.

Что-то подняло его еще до рассвета, чтобы снова торопливо идти, почти бежать через заросли, и чем быстрее он двигался, тем больнее хлестали колючие ветки, тем сильнее делалась тревога. Почти три дня без еды. Но, главное, — терзала жажда, думалось только о воде, к которой он и спешил. А наступившее утро вновь обожгло солнцем.

Убегая от него, он потерял счет времени, и ему грезилось и являлось под дымным горчащим солнцепеком то, что, наверное, является перед смертью — лица друзей, мамы Лили, дяди Филиппа, а за спиной, казалось, движутся и настигают злые стихиали чащоб, трясин и лесных палей. Когда он неожиданно увидел перед собой расступающиеся деревья, окошенный лужок и свежесметанный стог, то упал рядом, залез в него и провалился в свинцовый, мертвый сон. Проснувшись, довольно быстро, словно кто-то ему указывал дорогу, вышел к Неруссе, перед которой встал на колени и долго пил. Он понял, что спасен, что вторая жизнь, дарованная чудом, дарована не зря:

Кем, для чего спасен из немеречи
Я в это утро — знаю только я
И не доверю ни стихам, ни речи...

Прикосновение смерти стало потрясением, действительно переломившим жизнь, обновило душу. Весеннее уныние, недовольство собой, недостаточность воли к должному, которая его мучила, — исчезли. Он действительно мог погибнуть и, думая об этом, написал завещание, светлое, как прокаленное солнцем лето, — «Последнему другу»:

Не омрачай же крепом
Солнечной радости дня,
Плитою, давящим склепом
Не отягчай меня...

...в зелени благоуханной
Родимых таежных мест
Поставь простой, деревянный,
Осьмиконечный крест.

12. Бдящие

«С бдящими бодрствует Ангел. — Не спи: / Полночь раздвинет и слух твой, и зренье», — обращался он к самому себе в стихотворении, наполненном символами «Песни о Монсальвате». В нем говорится о братьях-водителях, мерещущихся в белом соборе среди ледников на вершинах Монсальвата. Там чаемая Чаша Грааля, и — «Кровь ли алеет в живом хрустале? / Рдеют дары ли на белом престоле?..».

А на московских улицах, куда он вернулся, догорало пыльное лето. Процессы, разворачивавшиеся после убийства Кирова, не могли не казаться инспирированными, но политическая борьба, за ними проглядывавшая, Андреева тогда интересовала мало. Жупелом стал троцкизм. С 19 по 24 августа прошел процесс «троцкистско-зиновьевского террористического центра». Его контролировал Николай

Ежов, которым 26 сентября заменили Генриха Ягоду. Хотелось верить, что репрессий станет меньше, о их размахе в следующем году никто не мог и предположить. Стихотворение о Грибоедове, тогда написанное, о роке власти:

Быть может, в этот час он понял — слишком поздно, —
Что семя гибели он сам в себе растил,
Что сам он принял рок империи морозной...

Немало осужденных на громких процессах 1930-х, так или иначе, сами приняли рок настигнувшей их тирании.

В «Странниках ночи» возвратившийся из Трубчевска Александр Горбов поражен тяжелой атмосферой, царящей в доме. Мать, оставшись с сыном наедине, перечисляет друзей и знакомых, арестованных за время его отсутствия. Сцена обычная для тех лет, с чередой грозных газетных кампаний, ночных арестов. Подобные новости в сентябре 1936-го встречали и Андреева.

После возвращения из Трубчевска он собрался ехать в Калинин, видимо на заработки, но работа нашлась в Москве. «Теперь очень много работаю, с 10 утра до 12 ночи, — сообщал он брату в октябрьском письме. — Так будет продолжаться, я думаю, еще месяца полтора, а потом войдет в норму. Дело в том, что со своей летней поездкой я сильно залез в долги и теперь надо их поскорее возвращать.

За прекрасное лето расплачиваемся ужасающей осенью: ранние холода и убийственная слякоть. Третьего дня даже снег шел»274.

О переживаниях осени говорили стихи:

Ты выбежала вслед. Я обернулся. Пламя
Всех наших страстных дней язвило дух и жгло,
Я взял твою ладонь, я осязал губами
Ее знакомый вкус и сонное тепло.

Я уходил — зачем? В ночь, по размытой глине,
По лужам, в бурелом хотел спешить — куда?
Ведь солнца ясного, садов и мирных лилий
В бушующей судьбе не будет никогда.

Стихотворение, заканчивавшееся строкой — «Зачем я осужден любить не так, как все?», — вошло в цикл, посвященный Галине Русаковой, ее фотография, несмотря ни на что, стояла на его столе.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

СТРАННИКИ НОЧИ. 1937—1941

1. Письмо Сталину

Не дожив получаса до Нового года, умер старый друг Добровых Николай Константинович Муравьев. Смерть спасла от ареста защитника преследуемых. «Даниил читал всю ночь над его гробом Евангелие — он всегда читал над усопшими друзьями Евангелие, а не Псалтырь. Как раз в это время явились с ордером на арест покойного и обыск. <...> Гроб с телом покойного стоял на его письменном столе, Даниил продолжал читать, не останавливаясь ни на минуту, а пришедшие выдергивали ящики письменного стола прямо из-под гроба и уносили бумаги»275, — рассказывала со слов Андреева его вдова. Так начался 1937 год в знакомом ему с малолетства доме в Чистом переулке. Не случайно в нем он поселил главных героев своего романа.

Год оказался страшным, но страшное становилось обыденным, многим казалось, что их репрессии не коснутся хотя бы потому, что они ни в чем не виноваты. Так днем считали те, за кем являлись той же ночью. Органы старались делать свое дело по ночам, не привлекая лишнего внимания, расстреливали тайно, родным сообщали не о казни, а о приговоре — «десять лет без права переписки». Существовало как бы две действительности: ночная, с арестами и расстрелами, страхами, и дневная, с надеждами на лучшее, с инстинктивным желанием не знать, с попытками разумного объяснения совершающегося, пока оно тебя не задело. Лион Фейхтвангер, в январе посетивший Москву, писал в молниеносно изданной по-русски книге «Москва 1937»: «Громадный город Москва дышал удовлетворением и согласием и более того — счастьем»276. Фейхтвангер присутствовал на процессе Пятакова — Радека и, по его словам, убедился в виновности обвиняемых, но признался, что их поведение на суде осталось ему непонятным. Роли определяли сценаристы и постановщики судилища, они же приглашали зрителей. А что могли понять те, кто узнавал о судах из газет?

Андреев писал тогда: «Нет победителей. Нет побежденных. / Над красными лужами — чертополох». И даже готовился к гибели:

Помоги — как чудного венчанья
Ждать бесцельной гибели своей,
Сохранив лишь медный крест молчанья —
Честь и долг поэта наших дней.

Стихи написаны в 1937-м. Но, видимо, не раньше осени. А зимой Даниил продолжает по просьбе брата, рвущегося из эмиграции, малоуспешные хлопоты. 18 марта пишет ему:

«Дорогой мой, родной мой Димуша, мной сделано все, от меня зависевшее. Не так давно было отослано письмо И. В. Сталину, и я думаю, что на протяжении апреля, может быть мая, дело вырешится окончательно. Если ты получишь какое-либо сообщение из консульства, пожалуйста, тотчас же напиши мне, чтобы я мог немного подготовить

ваше, так сказать, pieds á terre277 (во франц<узской> орфографии я не силен). Должен сознаться: неужели действительно приходит к концу двадцатилетняя разлука. Это так странно, так невероятно, что боюсь мечтать, и все-таки мечтаю беспредельно.

Мы живем по-прежнему. Только дядя что-то стал сдавать (с прошлого года). Грудная жаба часто не дает ему возможности двигаться, и иногда ему приходится лежать по целым неделям. Лежит он и сейчас, тихо читая у себя за занавесками.

Мама тоже, конечно, чувствует себя не блестяще, ведь надо учитывать, что им обоим уже под 70 лет. Бодрее и крепче держится тетя Катя. Алекс<андр> Викт<орович> страшно много работает, я его почти не вижу.

У меня в работе бывают перебои — исключительно по вине моей феноменальной практической бездарности. Исключая этой стороны жизни да еще того, не менее плачевного факта, что личная жизнь моя не устроилась и, вероятно, никогда не устроится, — в остальном этот год был для меня плодотворным и, если так можно выразиться, внутренно-щедрым. Читаю, впрочем, немного. Знаешь ли ты роман Бруно Франка “Сервантес”? Книга замечательная, настоящая большая литература. Она здесь имеет громадный успех.

Вчера был на Пушкинской выставке. Впечатление грандиозное. 17 зал, полных рукописями, документами, редчайшими портретами, великолепными иллюстрациями к Пушкину и т. п. Нечего и думать осмотреть все это за 1 раз. Выставка будет функционировать до 1 января, т<ак> ч<то> ты ее, надеюсь, еще застанешь и мы сходим на нее вместе».

Наивные надежды. Посетителей Пушкинской выставки встречал двойной портрет Пушкина с женой. Она смотрит в зеркало на себя, поэт мрачно оглядывается, а над его резким профилем парит отражение благодушной светской толпы. Советская толпа, запуганная, управляемая, на собраниях требовала беспощадно уничтожать врагов народа, предателей и убийц. Раскрывались троцкистские «военно-фашистские» заговоры, обнаруживались террористические организации.

Письмо Андреева Сталину написано по совету Пешковой, знавшей, от кого в СССР все зависит. Тем более что с Иосифом Виссарионовичем о желании Вадима Андреева вернуться вроде бы успел поговорить Алексей Максимович. Но письмо осталось без ответа.

Блестяще переведенная поэтом Александром Кочетковым книга о Сервантесе рассказывала о безуспешной и страдальческой борьбе гения с судьбой и эпохой — нищета, война, тюрьма, непризнание и — бессмертная победа — роман о Рыцаре печального образа. Восхитившийся книгой Бруно Франка Андреев не думал о том, что его ждет впереди то же — и война, и сума, и тюрьма.

2. Встреча

В начале 1937 года женился Ивашев-Мусатов, только недавно пришедший в себя после безумной любви к однокласснице Андреева — Зое Киселевой. Вот портрет Киселевой: «...античные черты лица, озаренные византийской духовностью; строгий профиль и правильный овал белого лица с легким румянцем; темно-каштановые косы обвивают голову двойным венцом; густые брови с грустным изгибом; излучающие внутренний свет серые глаза; губы классической формы очерчены индивидуально. Рост выше среднего, фигура стройная, пышная в расцвете молодости и здоровья. Одета в простое платье, никаких украшений»278. Художник потерял голову.

Старше Киселевой на восемь лет, Сергей Николаевич Ивашев-Мусатов родился в 1900-м. Родился незаконнорожденным и потому долго носил отчество, данное по крестному отцу — Михайлович. Отец его — Николай Александрович Мусатов. Мать — Ивашева, из рода декабриста, преподавала немецкий язык. После гимназии, где он учился в одном классе с Колмогоровым, дружил с ним, тоже увлекся математикой, окончил физико-математический факультет Московского университета. Недолго преподавал математику. Но увлечение живописью взяло вверх. Он стал учиться в студии Ильи Машкова.

Высокий и прямой, худощавый, светловолосый, в круглых очках, артистичный и красноречивый, он со знанием дела говорил о музыке и философии, часто о Сократе и Платоне, о литературе. Страстно любил музыку, музицировал.

Зое Киселевой родные запретили выходить замуж за неуравновешенного художника. И не потому, что тот представлялся им идеалистом, витавшим над немилосердной действительностью. Ивашев-Мусатов уже был женат, причем церковным браком, на Анне Егоровой, дочери известного историка, тоже выпускнице гимназии Репман. С ней он в 1934 году развелся, но требовался церковный развод, а получить его оказалось непросто. Семья Киселевых, истово православная, принадлежала к «тихоновцам», к «катакомбной» церкви. Противилась этому браку и Зоина наставница — Строганова, прочившая ее в монахини.

Ивашев-Мусатов разрыв переживал трудно. «Однажды Даня шел по какому-то делу мимо его дома, вовсе не собираясь заходить к нему. Но вдруг какое-то непреодолимое чувство заставило его повернуть к дому и войти в квартиру друга как раз в тот момент, когда тот был уже готов покончить с собой. Дане удалось отговорить его...»279 — так передает эту историю Ирина Усова. И вот Ивашев-Мусатов женился на художнице Алле Бружес, моложе мужа на пятнадцать лет, красавице.

Алла Бружес была дочерью физиолога, профессора Александра Петровича Бружеса, происходившего из петербуржской литовско-датской семьи. В юности он мечтал стать композитором, учился у Римского-Корсакова, и любовь к музыке прошла через всю жизнь,

передалась детям. Мать, Юлия Гавриловна, в девичестве Никитина, по семейному преданию, из рода ходившего за три моря Афанасия Никитина, была новгородкой «с цыганской примесью». Ее мечта стать певицей оборвалась с рождением дочери. Дочь, подрастая, в свою очередь мечтала стать актрисой, но стала художницей. В 1935 году поступила в Институт повышения квалификации живописцев и художников-оформителей при МОСХе. Институт, по ее воспоминаниям, создали «для того, чтобы те, кого испортил формалистический ВХУТЕМАС... переучились на реалистический манер». Учеба вместе с выпускниками ВХУТЕМАСа, а среди них были одаренные и почти сложившиеся художники, дала неплохую подготовку. Там же учился у на редкость независимого, тончайшего мастера Михаила Ксенофонтовича Соколова и будущий муж, уже выставлявшийся. Сблизили их и живопись, и любовь к музыке. Кроме того, Ивашев-Мусатов производил впечатление человека не просто талантливого, но и значительного, особенно когда, загораясь и не без театральности, говорил о греческой философии или о Граале. Ближайшим другом Ивашева-Мусатова был Даниил Андреев, и тот прежде всего познакомил жену с ним. «Он хотел показать ему меня как свое спасение, — вспоминала Алла Александровна. — Произошло это так: Сережа позвонил и вызвал Даниила на улицу... Начало марта. Было темно, крупными-крупными хлопьями шел снег. Стояла чудесная зимняя погода, когда холодно, но не мороз и не оттепель, а белые мостовые и падают мягкие хлопья снега. Такая погода мне всегда казалась блоковской...

И вот мы пришли в Малый Левшинский переулок, где стоял тот самый некрасивый маленький домик, дверь которого выходила прямо на улицу. Даниил был всегда очень точен. Поэтому в назначенное время, когда мы подошли, дверь открылась и из нее вышел стройный высокий человек.

С тех пор прошло 60 лет. А я помню — рукой — теплую руку Даниила, его рукопожатие»280.

Высокий и легкий человек со смуглым лицом и темными узкими глазами произвел на нее впечатление необычности. То, что он вошел в ее жизнь навсегда, узналось позже.

В доме Добровых Ивашев-Мусатов стал появляться с женой. Чаще они бывали у Коваленских, изредка заставая Даниила. Коваленские, редкостные домоседы, выходили из дому лишь по крайней надобности. Это было следствием не только болезней Александра Викторовича, но и характера. И к ним захаживали главным образом старые знакомые. Чаще всего Коваленский читал гостям свою прозу. Чтение начиналось после полуночи, новеллы мистического содержания требовали соответствующей обстановки. В доме всегда бывали художники, некоторые знали Добровых с дореволюционных лет, лечились у доктора. Федор Константинов одно время жил у них. Окончивший Строгановское

училище, он учился у Врубеля и Коровина, жил в Париже, участвовал в выставках «Мира искусства». В комнате Коваленских висели две его работы — портрет Шуры и натюрморт с пионами, украшали его картины и кабинет Филиппа Александровича. Уже совсем редко, но заглядывал Федор Богородский. До отъезда в 1928-м в Париж, откуда он уже не вернулся, заходил Николай Синезубов, иногда вместе с женой.

«У Добровых бывало и много других гостей, — вспоминала Алла Александровна. — За столом велись очень интересные разговоры (которых я никогда не слышала раньше) обо всем: о философии, Православии, католицизме, Бетховене... Не могу припомнить прямых антисоветских высказываний, но вся атмосфера была такой. <...>

Люди тогда редко собирались помногу — это одна из характерных черт времени. Добровский дом был исключением. К ним приходили помногу на Пасху, на Рождество. Раздвигался стол, и без того большой, и за ним легко умещалось человек двадцать. Накрывался он изумительной красоты скатертью, когда-то привезенной из Финляндии. Теперь я понимаю, каких стоило трудов содержать ее в чистоте. Но клеенка на праздничном столе была совершенно недопустима. Дверь из столовой всегда была открыта в переднюю, и когда семья собиралась за столом или приходили гости, дверь не закрывали, хотя уже было известно, что одна из соседок получила ордер на комнату от НКВД. К моменту моего знакомства с семьей Добровых многие из их друзей были арестованы, в том числе по “делу адвокатов”. Но люди с трудом отвыкают от прежних привычек, и за столом все так же говорили то, что думали...»[281]

3. Тоска и расколотость

27 февраля, в день открытия Пленума ЦК ВКП(б), политбюро утвердило первый подготовленный НКВД расстрельный список 1937 года и без всякого суда отправило на расстрел 479 человек. А страна широко отмечала столетие со дня гибели Пушкина. Историческая ирония, мрачное совпадение или тайный мистический умысел — ознаменовать расстрелами годовщину смерти поэта, призывавшего «милость к падшим»? В Историческом музее как раз к февралю открылась Пушкинская выставка, восхитившая не только Андреева, — очередь на нее не иссякала. При подготовке выставки со сто первого километра привозили для консультаций сосланного пушкиниста Виноградова. Издавались собрания сочинений, однотомники, исследования, проходили заседания и конференции — славили «загубленного царизмом» Пушкина.

Страна жила в напряжении и страхе, об арестах говорили или крикливым языком собраний — «смерть контрреволюционерам, вредителям, шпионам, троцкистским бандитам», или шепотом. Любой мог оказаться изменником, наймитом, пособником. В осажденной оцепенелой Цитадели неустанно искали внутренних врагов. Но за зимой

являлась весна, сходил снег, зеленели деревья. Люди шли на работу, с работы, надеялись, влюблялись, растили детей, стояли в очередях. Поздравляя брата с рождением сына, называя себя «счастливым дядей», Даниил жаловался на неприятные события: «К сожалению, я не могу описать тебе всей мучительно-нелепой, дикой, карикатурной канители, которую я выносил целый год. <...> Это, конечно, касается исключительно области так называемой личной жизни. <...> Слава Богу, теперь, как будто, самое трудное позади; я был доведен до состояния белого каления и все разорвал разом. Но все-таки это еще не конец: тут возможны самые дикие и неожиданные сюрпризы. Вся эта история не только ужасно измучила, но и состарила меня»282.

Возможно, речь идет о коротком романе со Скородумовой-Кемниц. Понятно, что отношения с женой доброго знакомого, разрыв с ней не могли не быть мучительны. О романе известно лишь со слов Аллы Александровны. Она, говоря об определяющем жизнь Даниила «тонком ветре “оттуда”», заметила, что «яснее и лучше других слышала эту его особенность, пожалуй, Анечка Кемниц»283. Умевшая чувствовать и «особенность» поэта, и чутко понимавшая поэзию, Анна Владимировна нервно переживала крушение балетной карьеры. После тяжелого гриппа, давшего осложнение на сердце, она оставила сцену, стала хореографом.

В том же письме он рассказывает о семейных неурядицах: «Дома тоже мало радостного. Дядя проболел 3 месяца (старческое ослабление сердечной деятельности); пришлось подать заявление о пенсии. <...> Сам он очень мрачно переносит падение своей трудоспособности, мучит сам себя измышлениями о своей бесполезности, дряхлости, ненужности и т. п. Мама тоже постоянно хворает. Вдобавок отношения между некоторыми членами нашей семьи оставляют желать лучшего»284.

Он устал от переживаний за близких, личных треволнений душного лета, от осточертелой работы, находившейся благодаря друзьям, помнившим о поэте и о его непрактичности. Не раз ему помогала Валентина Миндовская, ставшая художницей. Они дружили с отрочества. Иногда работали вместе, хотя, вспоминала Миндовская, Даниил бывал легкомыслен — пора сдавать написанные к празднику 1 Мая транспаранты, а он, увлеченный разговором и раскачивающийся на стуле, вдруг задевает банку с краской — и белила полились на кумачовое полотнище, труд целого дня пропал.

4. Янтари

В конце июня он писал Евгении Рейнфельд о том же, что и брату: «В личной жизни моей было очень много тяжелого, и хотя я Вас вспоминаю часто, но писать было трудновато... Теперь лучше, появилось нечто радостное, хотя, м<ожет> б<ыть>, и чересчур легкомысленное. Та тяжелая история еще не вполне, кажется, кончилась — возможны крупные неприятности — но все-таки самое мучительное как будто позади. Сейчас успешно работаю, к 15 июля думаю все закончить

и уехать сперва в маленький городок на Оке, потом в Крым и вернусь в Москву к 1 сент<ября>»285.

Видимо, уже в начале июля Андреев уехал в Судак. Уехал с Марией Гонтой, которая помогла ему одолеть «тоску и расколотость».

Мария Павловна Гонта (Марика или Марийка, как ее звали близкие знакомые) в 1920-е годы была женой поэта Дмитрия Петровского. Начинал Петровский с футуристами. Во время Гражданской войны партизанил с анархистами, потом с Щорсом. Известны его воспоминания о Велимире Хлебникове. А тот в рассказе «Малиновая шашка» изобразил Петровского, недоучившегося семинариста и живописца, «опасным» человеком, кокаинистом, три раза вешавшимся, «ангелом с волчьими зубами»286. Петровский дружил с Пастернаком, в 1929-м они разошлись. В феврале 1937-го певец червонного казачества выступил против Пастернака, не чураясь политических обвинений.

Петровские жили в Мертвом переулке (в 1937-м уже носившем имя Николая Островского), где Мария осталась одна. Петровский оставил жену летом 1926-го. Они казались странной парой. Петровский был старше жены на двенадцать лет. Угловатая сухопарая фигура кавалериста с вытянутым лицом возвышалась над бойкой, всевосприимчивой, смугловатой Марийкой, восторженно слушавшей поэтов — Мандельштама, Пастернака, Тихонова, Луговского. По несколько карикатурному описанию дочери Владимира Луговского, Гонта была «небольшого роста, очень изящная, с тонкой талией, крутыми бедрами и высокой грудью. Разговаривая, она ходила взад и вперед, заглядывая в большое зеркало, висевшее на стене, и поглаживая себя то по груди, то по бедру»287.

Гонта, журналистка и сценаристка, неожиданно стала и актрисой. В 1931-м снялась в кинофильме «Путевка в жизнь» сразу в двух небольших ролях — воровки и нэпманши. Съемки сопровождались пылким романом с режиссером фильма — Николаем Экком. В 1930-е она публиковала очерки об авиации.

Роман ее с Даниилом Андреевым начался в мае или июне, и все лето 1937-го оказалось окрашено «легкомысленной» страстью. В этом году острое чувство жизни, приступы бесшабашного веселья чередовались с ощущением, как писала Гонта в воспоминаниях о Пастернаке, что они «забыли и разучились смеяться», чувствуя себя «придавленными, сжатыми, согбенными». Может быть, этот роман, поездка в Судак — попытка убежать от согбенности и страха.

В цикле «Янтари», посвященном Марии Гонте и судакскому лету, он признавался: «Я любил эти детские губы, / Яркость речи и мягкость лица». И еще: «Ты, солнечная, юная, врачующая раны, / Моя измена первая и первая весна!» Но и под обещающим счастье южным солнцем, у моря, в горах, там, где вырезался знакомый силуэт генуэзской крепости, он не забывался —

И не избавил город знойный
От темных дум,
Клубя вокруг свой беспокойный,
Нестройный шум...

Он остался благодарен Марии за все, даже уверял ее: «...к несравненному раю / Свела ты старинное горе / Души моей терпкой...» Все время стремившийся в путь, Даниил нашел в ней легкую на подъем спутницу:

Хочешь — мы сквозь виноградники
По кремнистым перелогам
Путь наметим полуденный
На зубчатый Тарахташ:
Там — серебряный, как градинки,
Мы попробуем дорогой
У татар миндаль соленый
И вино из плоских чаш.

Судя по сюжету «Янтарей», они побывали в Отузах, Ялте, Форосе, Бахчисарае, но чаще бродили по окрестностям Судака.

Видимо, с Гонтой он провел лишь часть лета. А оставшись один, поселился у безвыездно жившей в Судаке Репман. Пользоваться гостеприимством старой учительницы вместе с Марией ему было бы неловко. В этот раз он встретился здесь со своим одноклассником, ее племянником, Юрием Владимировичем Репманом, ставшим математиком. Они не виделись со школы. Потом, в Москве, он несколько раз заходил к нему, жившему неподалеку — в Гранатном переулке. Позже Юрий Репман погиб на фронте, а его жену с маленьким ребенком как немцев выслали из Москвы.

В августе Андреев писал Любови Федоровне, жене художника Смирнова, с которым когда-то познакомился именно в Судаке, что думает вернуться в Москву в середине сентября. Признавался, что вторая половина отдыха оказалась гораздо лучше первой. И о том, что часто уходит в пустыню, начинающуюся почти сразу от дома, где живет, за холмами. «Она окаймлена горами, и в линии этих гор — что-то невыразимо-спокойное, мудрое и умиротворяющее. Должен признаться, и это разочарует Г<леба> Б<орисовича>, что в настоящее время для меня гораздо целебнее и плодотворнее эта пустыня, чем знаменитая генуэзская крепость...»288

О том, что не всегда уходил за молчаливые холмы в одиночку, он умалчивает. Мария Гонта стала прототипом одной из героинь «Странников ночи», из украинки и журналистки превратившись в романе в татарку и художницу — Имар Мустамбекову. В нее влюблен Олег Горбов, поэт, мятущийся в раздвоенности, отказывающийся от

«духовного» брака, поскольку «совсем иное чувство, простая земная страсть, связывает его с другой женщиной» — Имар, далекой от высоких мечтаний о работе над текстами Литургии. В конце концов он уходит к Имар. Олег в «Странниках ночи» — ипостась автора, и «раздвоенность», изображенная в романе, им пережита сполна и, видимо, не раз. В сохранившемся отрывке так или иначе описаны Имар — Мария, ее комната в Мертвом переулке и ставшее символом их отношений янтарное ожерелье:

«...Она действительно уже легла, потому, что, отворяя ему дверь квартиры на осторожный звонок его, оказалась в памятном для него бухарском халатике, фиолетовом с желтыми разводами. И когда, улыбнувшись ему исподлобья, она протянула ему руку гибким движением, он эту руку, как и всегда, поцеловал.

Угадал он и остальное: комната была уже приготовлена на ночь, лампа под пунцовым абажуром придвинута к изголовью, чистая постель постлана и уже слегка смята, а поверх одеяла брошены две книги: одна — с захлопнутым переплетом — том Маяковского, другая — раскрытая: очередная литературная новинка, “Лже-Нерон” Фейхтвангера.

— Хочешь поужинать?

Нет, он не хотел. Он вообще не хотел никакой суеты, ничего хлопотливого. Как он был доволен, что застал ее вот так: без посторонних. <...> Горячий полумрак сглаживал единым тоном ее смуглую кожу, яркие губы, косы, заложенные вокруг головы, и янтарное ожерелье...»

Алла Александровна рассказывала, что не раз просила Гонту написать о Данииле, но та, погруженная в воспоминания о дружбе с Пастернаком, о нем так ничего и не написала. Хотя в доме Марии Павловны на торшере всегда висело янтарное ожерелье — знак памяти о воспевшем ее поэте.

5. В коротком круге

По ночам провидцы и маги,
Днем корпим над грудой бумаги,
Копошимся в листах фанеры —
Мы, бухгалтеры и инженеры...

Всё короче круги, короче,
И о правде священной ночи,
Семеня по ровному кругу,
Шепнуть не смеем друг другу —

строки того же года. Аресты шли круг*о*м и кругами. Террор настигал не столько бывших, сколько сегодняшних — ответственных работников, партийцев, — кто оказался троцкистом и шпионом, кто вредителем.

Люди исчезали и совсем рядом. В тихом переулке погрохатывание подъезжающих «марусь», стук автомобильных дверец, скрип тормозов по ночам, когда он писал, резко приостанавливали время, обрывали мысль.

В соседних домах в Малом Левшинском взяты Вильпишевский, завпроизводством Мосгортранссоюза; Борзов, директор конторы Хлебпроект; Гутман, завотделом Гидрометиздата; Ефимов, директор сектора Госбанка; Трофимук, начальник отдела института; Белов, замдиректора камвольной фабрики, вместе с женой... Все осуждены за участие в террористических организациях, все расстреляны, легли кто в Бутове, кто в «Коммунарке», кто в Донском. Вряд ли Андреев был знаком с ними. Хотя кого-то, наверное, встречал на улице, с кем-то, полузнакомым, мог вежливо раскланиваться, хотя в большинстве это были жители, появившиеся в арбатских переулках в 1920-х, заняв квартиры «чуждых элементов», потеснив старожилов.

Летом, выдавшимся на редкость жарким, выслали из Москвы как жену врага народа Ламакину. Она вспоминала: «...придя с работы домой, я увидела встречающую меня Елиз<авету> Мих<айловну>, которая со странным волнением передала мне повестку и тут же стала успокаивать меня»289.

Узнал об этом Даниил, только вернувшись из Судака. Коваленский рассказал об аресте хорошо знакомого ему Сергея Клычкова... Но большинство старались жить так, словно ничего не происходит. Алла Александровна вспоминала о ритуальных собраниях в институте: «Нас собирают всех, закрывают дверь, читают нам материалы очередного следствия, очередного дела. Потом предлагают всем проголосовать за смертную казнь. Все мы поднимали руки. Я только никак не могу понять, почему только я это помню. <...> Я у подруги моей спрашивала: “Разве ты не помнишь?” Она — “Совершенно не помню”. А когда читали, то еще смотрели, кто поднял руку, кто нет. Известно: кто не поднял руку, вечером доставят на Лубянку»290.

2 ноября 1937-го арестовали, как говорили — за перевод Джойса, Игоря Романовича с женой. Ему дали десять лет лагерей, ей — восемь.

В том же году арестовали и расстреляли родителей жены его приятеля Юрия Беклемишева. Горько недоумевавший — тесть и теща, польские коммунисты, никак не могли быть врагами, — Беклемишев старался жить, как прежде, работал, гасил переживания писанием. Он писал «Танкер “Дербент”», свою вторую повесть. Первую, «Подвиг», отвергли все редакции. После неудачи его долго мучила неуверенность. Чересчур категоричные замечания матери, многоопытной литераторши, казались старомодными, он их не принимал. Это, видимо, и заставило идти за советами к Даниилу, единственному среди его тогдашних товарищей имевшему отношение к литературе. Трудно сказать, какую роль сыграли дружеские советы, но, видимо, лишними не стали. По крайней мере,

Алла Александровна говорила определенно: «Даниил помогал Крымову писать “Танкер ‘Дербент’ ”».

Многое сближало Даниила Андреева с Юрием — давнее знакомство с его матерью, общая любовь к поэзии и музыке, многое — разъединяло. Окончивший физмат, он стал деятельным инженером. Сочинения его были о летчиках и нефтяниках, занятых соцсоревнованием. А поэт и созерцатель Даниил увлекался древней Халдеей, Египтом и Индией. И важно, что Беклемишев, бывший моложе Андреева всего на два года, уже принадлежал к поколению советскому и был не только влюбленным в поэзию Блока романтиком, но и атеистом, не признающим никакой мистики. «Нет во мне и тени религиозности, — утверждал он. — Я — аналитик. Убеждения для меня важнее и прочнее любой веры. Каждый день и каждый час я проверяю убеждения фактами и факты убеждениями. До сих пор все сходилось»[291]. Безжалостности и фальши режима, не сходящейся с фактами, он не замечал. Казалось, рано или поздно все сойдется. Беклемишев и его товарищи, полные жизнестроительной силой молодости, надеялись на лучшее. Андреев жил в том же и совсем в другом мире, другими настроениями:

Еще, в плену запечатанных колб,
Узница спит — чума;
В залах — оркестры праздничных толп,
Зерно течет в закрома...
Кажутся сказкой — огненный столп,
Смерть, — вечная тьма.

В «Странниках ночи» во второй главе изображалась картина железнодорожного крушения. В него попадает возвращающийся из Трубчевска археолог Саша Горбов, переживший на Неруссе, как и автор, соприкосновение с «космическим сознанием». Катастрофа, произошедшая ночью, с человеческими жертвами, в романе описывалась безжалостно реалистически. О том, что она символизировала, можно предположить по написанным тогда же стихам:

Шумные дети учатся в школах.
Завтра — не будет этих детей:
Завтра — дожди на равнинах голых,
Месиво из чугуна и костей.

Скрытое выворотится наружу.
После замолкнет и дробь свинца,
И тихое зеркало в красных лужах
Не отразит ничьего лица.

«Красные лужи», не отразившие ни победителей, ни побежденных — это все, что останется от переживаемой «красной» эпохи. Значит, погибнет и «синее подполье», не дождавшись наступления времен небесного цвета.

6. Начало романа

В стихотворении, написанном героем «Странников ночи» Олегом Горбовым (позже озаглавленном «Из погибшей рукописи»), похожие настроения. Предстоящие грозные события должны ответить на неотступную жажду *делания* и ожидание *вести*. Жизнь «без любви, без подвига» не имеет смысла и грозит худшим — духовным падением:

Без небесных х*о*ров, без видений
Дни и ночи тесны, как в гробу...
Боже! Не от смерти — от падений
Защити бесправную судьбу.

Герои романа мучаются тем же, что и автор, — ждут вести, готовы к «бесцельной гибели». Странниками ночи автор считал себя, своих друзей. Потому «как только Даниил кончал очередную главу, он шел к своим близким друзьям и читал ее страницу за страницей», — свидетельствовала Алла Александровна. Он спешил к ним еще и потому, что автору необходим читатель — друг и соратник. Но внутренняя тема романа вырастала не только из переживаемого «сталинского» времени, но и за ним стоящего мистического — красно-синего. Замысел «Странников ночи», возможно, вырос из незаконченного романа «Эфемера» с всегдашней андреевской темой ожидания откровений.

Но, вкладывая в повествование свою жизнь, настоящий писатель неизбежно влияет и на будущее, накликает его. Роман через десять лет станет причиной трагического перелома судьбы автора и окружающих его. Угадать такое невозможно. Но в стихах предчувствия звучат как предсказания:

Я крикнул — в изморось ночи бездомной
(Тишь, как вода, заливала слух),
И замолчал: все, кого я помнил,
Вычеркнуты из списка живых.

Одна из глав романа, посвященная вычеркнутым, называлась «Мартиролог», в ней перечисляются арестованные, расстрелянные. Еще в 1940 году Степан Борисович Веселовский опубликовал (а написал в 1937-м) исследование «Синодик опальных царя Ивана Грозного как исторический источник». В ней — сведения о жертвах террора Грозного. Работа историка наверняка была знакома Андрееву и отозвалась и в этой

главе романа, и затем в поэме «Гибель Грозного», где не только говорится о «немых синодиках» тирана, но и звучит поминание:

О повешенных и колесованных;
О живьем закопанных в земле;
О клещами рваных; замурованных;
О кипевших в огненной смоле.
За ребят безотчих и за вдов...

От «Странников ночи» до нас дошли восстановленная по памяти во Владимирской тюрьме первая глава «Великая туманность» (трудно сказать, полностью ли) и три совсем небольших фрагмента. Знаем мы о романе по изложению его содержания, сделанному вдовой поэта, и по воспоминаниям его поклонницы Ирины Усовой. Она, по ее признанию, слышала роман только в чтении, еще до войны, и определяла как историю «духовных исканий ряда лиц, главным образом трех братьев, на фоне нашей действительности»292. Ни один из братьев Горбовых не стал автопортретом, но в каждом черты автора, его пристрастия, убеждения и вместе с тем то, что в его собственной жизни не сбылось, в характере отсутствовало.

В первой же главе появляется старший брат, Адриан Владимирович, — профессор астрономии и мистик, ищущий в звездном небе иные миры и ощущающий их присутствие. Космический мистицизм сочетается в нем с характером, напоминающим Коваленского педантичностью, лаконичностью и сухостью речи, и даже внешне — размеренностью движений, «механическим» пожатием изящной, но ледяной руки. И так же, как и Коваленский, старший Горбов загадочен, овеян значительностью приоткрытых ему тайн.

Следующая глава знакомит с другим братом — Александром. Он археолог, влюбленный не только в древность, таящуюся в трубчевских курганах, но и в боготворимую им природу. В роман вошел эпизод, который можно отчасти представить по описанным в «Розе Мира» первым соприкосновениям со стихиалями в Триполье и с «космическим сознанием» под Трубчевском. Он один, окруженный тихо шелестящими черными деревьями, над ним августовское звездное небо, может быть, рядом неслышно струится Нерусса. Здесь пережито неожиданное слияние с таинственной природой. Саша, как и автор, больше всего любит творог, восторженно превознося его как основу земной пищи, и мед. Возвращение его из экспедиции, пережитая им железнодорожная катастрофа, события той же ночи, которую брат его провел в обсерватории. Он человек действия, решительный и целеустремленный, как и его возлюбленная — Татьяна.

Еще один брат, Олег, — поэт, религиозно настроенный, влюбляющийся, раздваивающийся, ищущий. На хлеб зарабатывает тем же, чем и автор, — он художник-шрифтовик. Его блуждания и порывы

пережиты самим Андреевым, хотя и в другой форме. Вот эпизод, связанный с ним, рассказанный Усовой: «...Олег у себя в комнате. По оставшейся для меня непонятной или забытой причине он собирается повеситься... Уже все готово, но в последний момент он бросает взгляд на рукописи своих стихов. <...> Он сжигает один за другим все листы, пока от всего его творчества не остается лишь кучка пепла, над которой он склонился... И тут с ним происходит некий катарсис, и через некоторое время он встает с колен уже другим человеком...»293 Олег собирается жениться на Ирине Глинской — это должен быть духовный брак. У нее в комнате висит репродукция врубелевского «Демона поверженного», в глазах у которого читается «непримиримое — НЕТ». Картина описана в романе как некая «икона» Люцифера — так ее определяет Глинский. И, возможно, поэтому Олег никак не может разорвать страстную связь с ласковой Имар, изменяя высокому выбору. В образе брошенной Ирины, по свидетельству Аллы Александровны, угадывались некоторые черты Шуры Добровой.

Три брата в романе появились не без влияния «Братьев Карамазовых». Но дом Горбовых в Чистом переулке со стариками родителями и братьями, конечно, напоминал родной дом в Малом Левшинском.

Родственник Горбовых, их двоюродный брат Венечка Лестовский, в романе был в какой-то мере автошаржем. По словам Усовой, это жалкий, почти комический персонаж. «Тут уж мы были уверены, — рассказывает она, — что ничего общего у него с Даней нет, но Даня сказал, что и в Венечке есть частица его самого, а именно: “То, что есть во мне смешного и нелепого”»294. И в другого второстепенного персонажа — молодого архитектора Евгения Моргенштерна (немецкая фамилия не случайна, но какое-то значение имела в романе и двусмысленность «утренней звезды») он вложил и свою любовь к архитектуре, и свои представления о грядущем Храме Солнца Мира.

Но и один из важнейших героев — Леонид Федорович Глинский, брат Ирины, — тоже авторская проекция. Глинский воображался Андрееву как некий идеал человека, обретшего подлинное знание. Глинский организатор тайного мистического братства, куда входят почти все персонажи, кроме старшего Горбова. Два эпизода, связанных с Глинским, приводит Усова:

«...Глинский у себя в комнате молится перед сном. Не о себе, не о своих близких, но о России. Это довольно длинная молитва, слова проникновенные и возвышенные. Пауза. Земной поклон. И опять та же мольба о ней, о России. <...>

...Глинский уже арестован и находится в общей тюремной камере. Он (индуист), православный священник и мусульманин-мулла несут поочередно непрерывную вахту молитвы. Когда один устает, вступает второй, затем — третий, — чтобы молитва, подобно неугасимой свече, горела пламенем веры, не затухая ни на минуту, днем и ночью»295. Глинский арестован в очередную ночь за то, что отказался голосовать за

одобрение смертной казни подсудимым очередного политического процесса.

Действие романа происходило по ночам, которыми он и писался. Первая ночь связывает события на земле с происходящим в небесах, где-то в великой туманности Андромеды, куда всматривается из обсерватории старший Горбов. Наблюдаемая им картина написана романтически-восторженно:

«На черном бархате метагалактических пространств наискось, по диагонали, точно сверхъестественная птица, наклонившая в своем полете правое крыло и опустившая левое, перед ним сияло чудо мироздания — спиральная Туманность М 31. Золотистая, как солнце, но неослепляющая, огромная, как Млечный Путь, но сразу охватываемая взором, она поражала воображение именно явственностью того, что это другая, бесконечно удаленная вселенная. Можно было различить множество звезд, едва проявляющихся в ее крайних, голубоватых спиралях; и сам туман, сгущаясь в центре ее, как овеществленный свет, как царственное средоточие. И чудилась гармония этих вращающихся вокруг нее колец, и казалось, будто улавливаешь ликующий хор их рождения и становления».

В книге Джемса Джинса «Вселенная вокруг нас», увлекшей Андреева, помещена фотография М 31, очень похожая на это описание. Но ему удалось посмотреть на нее и в телескоп. Для этого он специально приходил к старому астроному, одному из основателей первого в России Астрономического общества — Василию Михайловичу Воинову. Тот продолжал заветный, потом признанный выдающимся труд десятилетий по изучению солнечных пятен.

За астрономической главой угадывается введение в мистический смысл событий. Дважды в ней встречаются ссылки на американского астронома Эдвина Хаббла, открывшего, что при увеличении расстояния до галактик красное смещение возрастает, а «скорости растут по мере удаления» туманностей. Отсюда могла вырасти и теория о красных и синих эпохах Глинского, героя, которому Андреев передоверил основные идеи недописанных «Контуров предварительной доктрины». Но и профессор Горбов, занятый измерением звездных параллаксов, потому что для изучения влекущих его внегалактических туманностей существующий в Советском Союзе астрономический инструментарий недостаточен, устремлен за пределы науки в область «еще более парадоксальных идей». Это область мистики. Выход «за горизонт трехмерного мира», в миры «недоступных нашему сознанию координат» автор ищет вместе со своими героями. Так, путь рыцарей «Песни о Монсальвате» к замку Грааля не прервался, а продолжился путем «Странников ночи», ставших главным делом его жизни на десятилетие. Вот отчего «Песнь о Монсальвате» осталась неоконченной. Хотя есть правда и в мнении Ирины Усовой: поэма «доходит до такого предела мистицизма, что дальше писать ее оказалось невозможным...»[296].

Метания, иногда болезненные, братьев Горбовых, мистические поиски и замыслы Глинского и его соратников в «сталинских» ночах — вот главное содержание романа. Но присутствовал в нем еще один герой, сделанный совсем из другого теста, нежели мечтательные мистики, окружающие Глинского. Герой, чья заговорщическая деятельность описана в самой крамольной главе «Странников ночи». Это Алексей Юрьевич Серпуховской, участник группы, строящей террористические планы, он даже связан с иностранной разведкой. Но эта глава, очевидно, написана после войны.

7. Ответа не надо

В Останкинском дворце-усадьбе графов Шереметевых еще в 1918 году открыли музей творчества крепостных. А в 1937-м в нем, не только в анфиладе роскошных гостиных и в театральном зале, но и в других помещениях, готовилась выставка, на которой следовало показать не только творчество, но и «различные формы эксплуатации крепостного крестьянства». В одной из комнат развернулась выставка, посвященная сталинской конституции, объявленной «единственной в мире подлинной демократической конституцией». Оформительской работы здесь оказалось много. Алла Александровна вспоминала:

«Мы с Сережей работали в то время в Останкинском музее, делали большую выставку, посвященную крепостному театру. В ней были макеты спектаклей. Помню, я лепила Парашу Жемчугову в роли Элианы в опере Гретри “Самнитские браки”. А Даниил работал с нами как шрифтовик. В Останкине мы виделись, поскольку он привозил работу, которую делал дома.

С Останкинским дворцом связан для меня один важный личный момент. Время было страшное. Сережу уже таскали несколько раз в НКВД и вызвали еще на какой-то день. Мы находились в помещении церкви, что рядом с Шереметевским дворцом. Теперь это Оптинское подворье, а тогда там располагалась канцелярия музея. Я выхожу из комнаты, поговорив с директором, и вижу — на скамейке сидит Даниил. Это было внутри церкви. Сидит он на скамейке и ждет, когда мы выйдем. И вот, когда я попадаю в его поле зрения, он вздрагивает, и лицо у него делается совершенно странным. Я подхожу и спрашиваю:

— Что с вами?

Мы были тогда еще на “вы”. Отвечает:

— Ничего, ничего.

И мы разговариваем уже о том, что нас так волнует, мучает, о том, как Сережу таскают в НКВД. Много лет спустя, в 45-м году, когда он вернулся с фронта и мы уже были вместе, я спросила:

— Ты помнишь тот момент в Останкине?

Он ответил:

— Еще бы не помнить!

— А что это было? Почему ты тогда так вздрогнул? И вообще так реагировал на меня?

— А потому, что я увидал, что это — ты. Та, которую я встретил. Но ты была женой моего друга.

А со мной было так. Из Останкина мы с Сережей ездили на трамвае. Там было кольцо, мы садились на места против друг друга и долго ехали. Я задумалась, как-то ушла в себя, пыталась разобраться в своем отношении к Даниилу. Оно было очень глубоким, никакого определения ему я не находила. Сережа, сидевший напротив меня, вдруг проговорил:

— Я знаю, о чем ты думаешь. Тебя тревожит то, как ты относишься к Даниилу.

Я сказала:

— Да.

А он мне на это ответил:

— Я очень высоко ставлю дружбу. Ничуть не ниже любви. Так что не беспокойся»297.

Незарубцевавшаяся первая любовь, поэтический идеал, не воплощавшийся в женщинах, тянувшихся к нему и даже нравившихся, некое предчувствие при встречах с женой друга, задевающей порывистой боттичеллиевской красотой, — переживания, сказавшиеся в вопросе-восклицании: «Зачем я осужден любить не так, как все?» И только писательство, как некий свыше предписанный долг, помогало сохранять душевное равновесие.

Все труды ради хлеба насущного, за которые Андреев старательно брался, так далеко отстояли от главного, что как бы и не мешали ночным бдениям. Во время работы он мог думать о своем, машинально выписывая слово за словом на диаграммах (больше всего ему нравилось делать картограммы) или транспарантах. Заработки его в этом году оказались преимущественно «театральными», осенью 1937-го он делал те же шрифтовые работы для Художественного театра. А начавший собственное развитие романный сюжет втягивал в себя то, что происходило с ним, и предопределял то, что должно было произойти.

В мае 1938 года он получил последнее письмо от брата. Сделалось очевидным, что возвращение на родину не только невозможно, но и смертельно опасно. Еще в 1936-м Вадим Андреев писал, обращаясь к отечеству:

Чем одиночество ночное злей,
Тем для меня неумолимее виденье
Твоих обезображенных полей.

И так заканчивал стихотворение:

Прости меня. Я знаю, ты — прекрасно.
Мне тяжело неверие мое.

Горит на знамени кроваво-красном
Нерукотворное лицо Твое.

Отвечая брату, он пишет короткое письмо, последние слова которого говорили обо всем:

«Дорогой Димуша,

все мы живы и более или менее здоровы. Часто, очень часто думаю о тебе и всех вас, хоть и далеких, но бесконечно милых моему сердцу. Как ни грустно, что все сложилось таким образом, но этому надо радоваться. Больше всего мне хотелось бы, чтобы ты нашел смысл и радость в той жизни, которая выпала на твою долю. Нежно целую ребяток и Олю.

Хотя живем мы там же, где и раньше, но ответа не надо.

Любящий тебя Д.»298.

Развеяны надежды, похоронены иллюзии, если они еще оставались. Следующее известие от брата Даниил получит после войны.

8. Усовы

В воспоминаниях Ирины Усовой говорится о том, что Андреев познакомился с ней и сестрой в 1937 году. Сам поэт назвал на допросе временем их знакомства 1939-й, точно обозначив место — «в доме арестованного Воинова»299. Старый астроном умер в 1943-м, речь шла о его сыне. Но сведениям, полученным на допросах, доверять трудно. Слишком много находилось причин у допрашиваемых не вспоминать точных дат, всех имен и событий, а у допрашивавших не искать правды, а добиваться подтверждений обвинения. Возможно, знакомство в 1937-м для Андреева было мимолетным и ничего не значащим, но памятным для сестер. Ирина Усова этот день запомнила подробно:

«Осенью 1937 года случайно узнали мы, что живет в Москве сын Леонида Андреева, что он “талантливее своего отца”, что он поэт, но никогда нигде не печатался и не печатается. Последнее как раз и заинтриговывало: раз не печатается, значит... Но как познакомиться? Невозможно! И опять-таки случай (а может быть, судьба). Он в то время работал, как мы уже потом узнали, над той главой своего романа “Странники ночи”, в которой действие происходит в астрономической обсерватории, и ему хотелось посмотреть на туманность Андромеды. Через общую знакомую для него была устроена встреча с астрономом, у которого дома был небольшой телескоп. А семья этого астронома была нам как раз хорошо знакома — мы у них бывали. Нам дали знать, когда он придет, и в назначенный день и час мы с сестрой были во дворике, возле дома, где был уже установлен переносной телескоп. <...>

Мы пришли якобы тоже посмотреть туманность, Луну, звезды и вообще все, что захочет нам показать старый “звездочет” (как мы его прозвали). Но смотрели, конечно, в основном на того, кто вскоре стал самой яркой и близкой звездой (солнцем) нашей жизни.

Внешность его впечатляла: высокая худая фигура, очень худое смуглое лицо (лицо “голодающего индуса”), великолепный лоб с откинутыми назад волосами, крупный, но тонкий, красивой формы нос, четко очерченные губы и две продольные бороздки у краев худых щек. Глаза карие — их нельзя было назвать ни большими, ни красивыми, но была в них какая-то особая значительность. <...> Он был сух, замкнут и строг, ни разу не улыбнулся, от настойчивых приглашений хлебосольных хозяев — зайти в дом попить чаю — решительно отказался. Наверное, эта его сухость была довольно понятной реакцией на слишком уж настойчивые атаки со стороны моей сестры: с места в карьер — приглашение к себе и фррр — с треском распускаемый павлиний хвост всяких соблазнов: она-де была знакома с Волошиным, и у нее есть его стихи, ее мать — переводит стихи, и даже что у нее есть коллекция интересных камешков... А он, буквально прижатый к забору дворика, каменел все более и отмалчивался. Все же ей удалось заполучить номер его телефона и всучить ему наш с просьбой позвонить — когда он сможет прийти»300.

Татьяна Усова позвонила ему сама, уговорила прийти в гости. Сестры вместе с матерью жили, по тогдашним московским меркам, от Малого Левшинского далеко — у старого Ботанического сада. Это были остатки дворянской семьи из городка Суджа Курской губернии. Ее мужская часть революционного времени не пережила. Отец, получивший агрономическое образование в Германии, хозяйствовал в имении, вынужден был бежать и умер от разрыва сердца. Сына, бывшего офицера, расстреляли. Возраст матери, Марии Васильевны, перетек за пятьдесят. Некогда она окончила Институт благородных девиц, после революции посещала Брюсовский литературный институт, занявшись переводами. В переводы Гельдерлина и Рильке, Бодлера и Верлена, публиковать которые почти не удавалось, она вкладывала свою любовь к поэзии. Писали стихи и обе дочери. Жили Усовы трудно. Мария Васильевна так и осталась дамой 1910-х годов, «поэтического облика», плохо приспособленной к советскому быту, и, по раздраженному замечанию младшей дочери, «до шестидесяти лет не научилась правильно сварить картошку или яйцо»301. Ирина Владимировна, из-за непролетарского происхождения, не сумела поступить в университет и работала лаборантом-микологом, а перед самой войной, окончив курсы, стала лесопатологом и с весны ежегодно уезжала на полевые работы. Старшая, Татьяна Владимировна, курносая, с коричнево-серыми живыми глазами, университет окончить сумела, стала переводчицей с английского, но работала младшим научным сотрудником в Институте геологии. Характером недружные сестры отличались непростым. Появившийся в их доме Даниил Андреев очаровал и дочерей, и мать.

Первое время он приходил к ним нечасто, «примерно раз в две-три недели. И каждый раз читал свои стихи — немного — около десяти, но с каждым разом они становились все откровеннее, все глубже и шире

вводили нас в его внутренний мир, — вспоминала Ирина Усова. — А мир этот был так необычаен...»302.

Чаще он стал навещать Усовых, когда они поселились на улице Станиславского, на углу Никитских ворот.

«Мы стали жить втроем в полутора комнатах, — рассказывает Усова. — В главной комнате было 17 м и во второй — 4 м. Эта последняя была выгорожена из лестничной площадки, и туда вела из нашей большой комнаты фанерная дверь сквозь дыру в капитальной стене. В этой кладовке, в которой было нормальное окно во двор с одиноким деревом, умещались двустворчатый шкаф и стоявшая стоймя длинная вещевая корзина. На кирпичах стояла железная сетка, на которой спала Таня, желавшая иметь отдельную комнату. Эта четырехметровая комната обладала звукоизоляцией, что давало нам возможность слушать стихи Даниила, не опасаясь постоянно любопытствующих соседей»303. В таких коммунальных углах жили тогда почти все.

Сестры влюбились в Даниила, младшая тогда же посвятила ему восторженные стихи, заканчивавшиеся так:

Прозревающий Духа рассвет
И нездешнего Солнца восход —
Благо тебе — Поэт —
Благословен твой приход!..

Набравшись смелости, прочла ему. Но сблизился он с Усовыми после месяца, проведенного с ними в Малоярославце. Лето выдалось грибное, хождения с Татьяной по грибы были частыми и долгими лесными прогулками. Младшая сестра, уехавшая на полевой сезон, не без ревности рассказала:

«Мама с Таней снимали комнату у их знакомой Е<фросинии> П<роферансовой>... а для Дани присмотрели светелку поблизости, так что питались они вместе. Вдвоем с Таней они совершали длительные прогулки по окрестным лесам и лугам, что, естественно, очень сблизило их. Видимо, могло казаться даже, что их дружба переходит уже в роман. По крайней мере, Е. П. сказала маме словами из “Евгения Онегина”: “Я выбрал бы другую, Когда б я был, как ты, поэт”. Когда Даня был увлечен своей работой и поэтому отказывался от прогулки, Таня, разумеется, не настаивала, а он говорил по этому поводу: “Какое всепрощение!” <...>

У Е. П. был крокет, и они иногда с увлечением играли в эту игру, теперь уже вышедшую из моды, но к которой Даня был пристрастен еще в детстве. В игре проявилась еще какая-то сторона Даниного темперамента. Однажды он “промазал” (видимо, какой-то ответственный ход) и от досады так стукнул молотком о землю, что сломал его! А потом очень “угрызался”... Да он и вообще склонен был “угрызаться”, иногда даже из-за пустяков»304.

Проферансова, по словам Ирины Усовой, «немного знакомая с оккультизмом», заметила как-то, что у Андреева такая походка, какая «бывает у людей, отмеченных некой сверхчеловечностью»[305]. Ровесница и подруга Марии Васильевны, Проферансова жила в Малоярославце в ссылке. Ее в 1937-м приговорили за недоносительство на сына «к трем годам лишения права проживания в 15-ти пунктах»[306]. Бывшего мужа Проферансовой, а затем сына осудили по делу анархистов-мистиков. Им вменялась принадлежность к мистической организации «Орден тамплиеров». Оба погибли: муж в ссылке, сын в лагере.

В Малоярославце жила и осиротевшая в 1937-м семья Шиков, очень близкая Малахиевой-Мирович, она часто гостила у них. Был знаком с Шиками и Андреев. Поэтому приезд его в Малоярославец вряд ли был связан только с Усовыми.

9. Пропавшие следы

В 1939 году Андреев знакомится с Ростиславом Митрофановичем Малютиным. В одном из протоколов допроса, под давлением «всезнающего» следователя, он рассказал об этом знакомстве. Малютин пришел в Малый Левшинский, признался Андреев, «как сотрудник Литературного музея, с просьбой сообщить ему некоторые сведения биографического характера о моем отце. Постепенно наши отношения утратили официальный характер, мы неоднократно встречались, главным образом у меня на квартире, беседуя на различные литературные и частично политические темы. До войны я один раз был на квартире у Малютина, где познакомился с его женой Верой Федоровной и ее родителями». В беседах они, как признался Андреев, соблюдали «определенную осторожность». Слишком мало были знакомы, чтобы позволить себе откровенность.

В мезонине небольшого дома на Якиманке вместе с сестрой жил герой «Странников ночи» Глинский. Там часто собирались его друзья. В описанном в романе доме одно время помещался Литературный музей. Конечно, это не связывает Глинского с Малютиным. Почти в каждом из действующих лиц романа узнавались если не черты, как в братьях Горбовых, то отсветы личности автора, его интересы. Глинский — индолог, но для него Индия и Россия мистически соединены, как они соединены для Андреева. Как и он, Глинский не любит холода, предпочитая палящий зной. Даже обреченность его, больного туберкулезом, переживалась автором как собственная (именно в эти годы он заболел спондилоартритом и вынужден был носить металлический корсет). Но способность Глинского собрать вокруг себя единомышленников, сплотить противостоящих диктатуре и безбожию — это редкое свойство он искал вне близкого круга. Представлялось, что должны существовать люди, подобные экономисту и подпольщику

Серпуховскому. Похожим на него мог показаться ему новый знакомый, Малютин.

Индология Глинского, его теория красных и синих эпох — давние и заветные темы Андреева. В 1930-е годы книг, посвященных Индии, а тем более ее религиям, издавалось немного. Чудом казались тома собрания сочинений Ромена Роллана под заглавием «Опыт исследования мистики и духовной жизни современной Индии». Правда, один из томов долго не выходил в свет, а идеи книги о Ганди объявлялись не только утопичными, но опасными и демобилизующими. Но к Роллану, продемонстрировавшему сочувствие к «исторической миссии СССР», после встречи в 1935 году со Сталиным относились предупредительно. Василенко вспоминал, что именно Андреев познакомил его с «индийскими» томами Роллана, и они зачитывались «Жизнью Рамакришны», «Жизнью Вивекананды», «Вселенским Евангелием Вивекананды». Слова французского писателя: «...если есть на свете страна, где нашли свое место все мечты людей с того дня, когда первый человек начал сновидение жизни, — это Индия», потому что в ней «процветают все виды богов, начиная от самых грубых до самых возвышенных»307 — Даниил Андреев считал безусловной, давно им выношенной истиной. Но для него путь в знойную землю, открытую мистическому небу, был закрыт. Оставалось искать Индию в трубчевских немеречах.

Алла Александровна сообщает, что последнее лето в Трубчевске он провел в 1940 году. Лидия Протасьевна Левенок неуверенно припоминала, что последний раз Андреев приезжал ненадолго, и называла весну того же года. Других сведений об этом нет, нет и «трубчевских» стихов этого года. Но есть помеченные 1939-м три стихотворения «трубчевского» цикла «Зеленою поймой». В одном из них появляется знакомый «дом у обрыва» в старом лесничестве и мелькает героиня, заставляющая вспомнить «Лесную кровь»:

Тайну ее не открою.
Имя — не произнесу.
Пусть его шепчет лишь хвоя
В этом древлянском лесу.

В том же лесу является ему «дивичорская богиня» или та же «темная ворожея»:

Вдоль озер брожу настороженных,
На полянах девственных ищу,
В каждом звуке бора — отраженный
Слышу голос твой и трепещу.

Возникает дочь лесника, правда, по логике сюжета, подмосковного, и в романе. Ей, Марии Муромцевой, живущей в Медвежьих Ямах, он придал некоторые черты Аллы Мусатовой. Можно только предполагать — встретилась ли она поэту в его «трубчевской Индии» или пригрезилась. Ответить некому. Но попробуем поверить в стихи о местах, где, похоже, он бывал счастлив:

Там, у отмелей дальних —
Белых лилий ковши,
Там, у рек беспечальных,
Жизнь и смерть хороши.

10. Предбурье

Зимой, после двух с половиной лет ссылки, неожиданно вернулась Анна Ламакина. Вернулась с ребенком, без мужа: ему жить в Москве было запрещено. Комнату пришлось возвращать через суд. Соседское участие ее поддерживало: «Добровы встретили меня ласково. Полюбили Алешу. Вспоминается — как по нашему коридору бежал маленький Алеша, который только что начинал ходить...

Потом за большим добровским столом... Алеша сидит на коленях Фил<иппа> Алекс<андровича> и вместе с ним из одного блюдца пьет чай, а Фил<ипп> Алекс<андрович> кладет ему в рот маленькие кусочки мармелада.

Вас<илия> Вас<ильевича> никак не прописывали в Москве. Мы с Алешей коротали это время вдвоем в холодной, можно сказать ледяной, комнате. Печка топилась плохо, в комнате пахло дымом, а на стене, выходящей на лестницу, лежал снег, который я счищала по утрам щеткой. В коридоре бегали крысы...»[308]

«А мир-то пуст... А жизнь морозна...» — андреевская строка 1940 года. Особенно лютым был январь — морозы до сорока, ветры. Зима финской войны. Он все дольше засиживался над разраставшимся романом.

Летом арестовали Андрея Галядкина. По воспоминаниям Василенко, Галядкина арестовали вот почему: «Живя подолгу в Никольском, он был дружен со старостой местной церкви. И Алла Константиновна Тарасова, актриса, его знакомая, попросила Андрея организовать венчание ее племяннику. Что он и сделал. А через два месяца его арестовали за то, как я потом выяснил, что он “совращал в религию” великую актрису»[309]. Неизвестно, так ли это, — поводом к аресту могло послужить что угодно. Но борьба с «религиозниками» продолжалась.

К делу Андреева приложена выписка из протокола допроса первой жены Галядкина от 30 августа 1940 года. На вопросы о политических настроениях мужа она отвечала, что его настроения и его родителей «были резко антисоветскими», и добавляла: «Припоминаю, особенно он был недоволен, что ему не дают свободно высказывать свои мысли,

что вот в Германии и других капиталистических странах каждый может говорить, печатать, что ему вздумается»[310]. Ее показаний (как они получены и в какие формулировки облечены старшим оперуполномоченным НКВД Гришуновым — это иное дело) было достаточно для ареста не только Галядкина. На вопрос, «в присутствии кого Галядкин А. Д. высказывал антисоветские настроения», — допрашиваемая отвечала, что тот высказывал их «в присутствии своих родителей, которые его в этом поддерживали, и близких друзей. Особенно близким человеком моему мужу были — сын священника Александр Ивановский и сын писателя Андреева, которые сочувствовали моему мужу и сами выступали с антисоветскими взглядами»[311].

Выбили показания на друзей и у самого Галядкина. Об Андрееве расспрашивали особенно подробно. Вот протокол допроса от 5 марта 1941 года:

«ВОПРОС: Когда вы последний раз встречались с Андреевым?

ОТВЕТ: Последний раз я с ним встречался летом 1939 г. Он приезжал ко мне в с. Никольское.

ВОПРОС: Для чего он был у вас в с. Никольском?

ОТВЕТ: Он приезжал в один из выходных дней просто провести свободное время.

ВОПРОС: Что вам известно о политических взглядах Андреева?

ОТВЕТ: Из неоднократных разговоров, которые у меня были с Андреевым, мне известно, что по своим политическим взглядам и убеждениям [он] является человеком антисоветским.

ВОПРОС: Вы с Андреевым были связаны по антисоветской работе?

ОТВЕТ: По антисоветской работе я с Андреевым связан не был»[312].

На допросе 10 марта давление на Галядкина усилено, показания на «сообщников» получены:

«ВОПРОС: Вы продолжаете быть неискренним и скрываете как свою преступную работу, а также и своих соучастников. Предлагаем рассказать об этом...

ОТВЕТ: Я также не намерен скрывать что-либо о своей преступной работе и честно заявляю, что не только проводил контрреволюционную агитацию против мероприятий советской власти, но писал статьи и очерки, в которых протаскивал антисоветские взгляды, в целях распространения которых я устанавливал связь с людьми антисоветскими и всецело разделявшими мои взгляды.

ВОПРОС: Кто эти лица? Назовите их.

ОТВЕТ: ...Андреев Даниил Леонидович... Ивановский Александр Михайлович... Усова Мария Васильевна. Все эти лица очень религиозные и люди антисоветские.

ВОПРОС: В чем состояла антисоветская связь с ними?

ОТВЕТ: Кроме антисоветских разговоров, которые у меня были с ними, я им читал свои очерки и статьи, где излагал враждебные

советской власти идеологические взгляды. Эти очерки ими охотно и с одобрением выслушивались...»313

Андреев давно состоял на особом учете, информацию о нем собирали впрок, и запротоколированные показания готовились как юридические основания для будущего «дела». Признаний Галядкина о том, кому он читал свои писания, для этого было достаточно. Главное — правильно сформулировать показания. Следователи Князьков, Меркулов, чьи подписи стоят под протоколами, делали это старательно.

11. Смерть доктора Доброва

Январь 1941 года Андреев был занят оформительской работой, как всегда, срочной. В письме Глебу Смирнову он просит назначенную встречу перенести «на любое число после 25-го», добавляя: «Очень я соскучился — моя жизнь в последние месяцы не дает возможности никого видеть, а я не создан для такого отшельничества!»314 Кроме трудов ради хлеба насущного он в эту зиму много писал. Не только роман. Закончил автобиографические записки «Детство и молодость (1909—1940)», писавшиеся давно, исподволь. И снова, вытеснявшиеся прозой, после затяжных пауз пришли стихи. Дописывался давно начатый — еще в 1928-м — цикл «Катакомбы».

Пасха в 1941 году пришлась на 20 апреля. Как всегда, в столовой на черном рояле краснелись в овсе крашеные яйца, на столе высился кулич. Но Пасхальная неделя для Добровых стала похоронной. 23 апреля в 10 утра умер Филипп Александрович. Умер в одночасье, от удара, после приема больного отправившись вымыть руки. «Помню, как Елиз<авета> Мих<айловна>, хватившись его, искала его по всей квартире, — вспоминала соседка. — <...> Несли его по коридору в комнату Дани, где он вскоре и умер. Служили панихиду дома. Все наше переднее и даже часть Малого Левшинского переулка была полна людьми — его больными, очень любившими Филиппа Александровича, и людьми, близкими его семье. Все стояли с зажженными свечами и пели “Христос Воскресе” <...> Мы, все жильцы, единодушно с Елизаветой Михайловной стояли у его гроба. <...> Помню, когда хоронили Фил<иппа> Алекс<андровича> на Новодевичьем кладбище, как радовалась Елизавета Михайловна, что рядом с его могилой растет куст сирени»315.

Отпевали доктора в приемной, где он столько лет принимал больных. В доме не только входная дверь, но и все окна были открыты; народ толпился и под ними. Ивашев-Мусатов жалел: собирался, но так и не написал портрет Доброва. Теперь нарисовал его в гробу. «...Получился изумительный рисунок. Какое было лицо у Филиппа Александровича! Оно просто светилось»316, — вспоминала стоявшая рядом Алла Александровна.

Присутствовала и Татьяна Усова, уже считавшая себя женой Даниила. Ее младшая сестра писала о докторе:

«Как-то, будучи у Дани, Таня услышала из другой комнаты через коридор звуки рояля.

— Кто это играет?

— Дядя.

— А что это он играет?

— Он импровизирует.

Филипп Александрович сказал:

— Музыка — это стихия, без которой невозможно существование моей души.

Ради того, чтобы прочитать древних авторов в подлинниках, он уже в преклонном возрасте выучил греческий язык.

Как-то он был у больного недалеко от Никитских ворот и зашел к нам. Он был уже глубокий старик, и у него было больное сердце. Мы жили на втором этаже, и все же заметна была сильная одышка, когда он вошел. А большинство же его пациентов жили в старых домах без лифтов, и многие еще выше, чем мы.

— Филипп Александрович, ведь вам уже слишком трудно при таком сердце взбираться по лестницам!

— Ничего, мы, старая гвардия, умираем стоя!

<...> На похороны съехалось много людей, частью даже никому из семьи не знакомых. И выяснилось, что Филипп Александрович многим помогал, чего даже жена его не знала»317.

Позже, когда началось «дело» Андреева, следствие охарактеризовало доктора как монархиста, утверждая: на квартире его «в первые годы после революции собирались монархисты, меньшевики и другие вражеские элементы, которые обсуждали активные меры борьбы с советской властью»318. Один из следователей заметил: «Этого вашего доктора первым надо было пристроить в наши места...»

С его кончиной семейству жить стало еще трудней. В мае Даниил забежал к Тарасовым. «Принес три бокала — образцы хрустального сервиза для вина. Загнала его необходимость как можно скорее обменять эти остатки прежнего благополучия семьи на сумму, которая дала бы возможность прокормиться в течение месяца. В романтическом восприятии жизни и сердца человеческого рассчитывал, что Алла, зная острую нужду в их доме и болезнь Александра Викторовича, который мог бы приискать какую-нибудь работу, бросится ему навстречу и растроганно, сочувственно-радостно вынесет тут же и вложит ему в руку 1000 рублей (так в скупочной оценили хрусталь). Этого не случилось. И Даниил подхватил чемоданчик с сервизом и унесся»319, — сочувственно писала в дневнике баба Вава.

Перед началом войны в Москве появилась Татьяна Морозова, остановившись у их одноклассницы Екатерины Боковой. Она с дочерьми на лето ехала в деревню Филипповскую, к родителям мужа. Они

увиделись. Ее огорчил его «скверный вид». Она писала о встрече одноклассников, кисовцев: «Один вечер собрались у Кати Даня, Галя, Тамара, Борис и я... Даниил в тот вечер беседовал с моими девочками, которые прилипли к нему, они ему понравились настолько, что ему захотелось приехать к нам в деревню. Жаль только, что с Даниилом как следует поговорить не удалось...»320

12. «Германцы»

Коваленский, в 1940 году удивлявшийся немецким победам, считал, что немцы ведут борьбу за крылатость европейского духа против материалистического сознания, господствующего в СССР, против мирового мещанства Америки и Англии и рано или поздно столкнутся со сталинской тиранией. К сообщениям о зверствах фашистов, как и многие, относился недоверчиво. Советская пропаганда давала обратный эффект, рождая не только невероятные слухи, но и мифы. В долгий мир СССР с Германией Гитлера, несмотря на договор о ненападении, мало кто верил.

Андреев войну предчувствовал и пытался «за грядущими войнами / Смысл разглядеть надмирный». В 1937-м писал:

Войн, невероятных, как бред,
Землетрясений, смут
В тусклом болоте будничных лет
Выросшие — не ждут...
Жди. Берегись. Убежища нет
От крадущихся минут.

В его библиотеке была, следует полагать, внимательно прочитанная книга польского генерала Сикорского «Будущая война»321, написанная в 1934-м, в русском переводе изданная в 1936-м. Генерал делал вывод, что война не за горами, что она будет всеобщей и для стран, в нее вовлеченных, станет «вопросом жизни и смерти», что малейшие упущения в подготовке к обороне приведут «к неминуемой гибели»322. Главным виновником войны предполагалась Германия. Сикорский цитирует «Мою борьбу» Гитлера, его слова о грядущем господстве германской империи на земном шаре. Фюрер называл пацифистов «слепыми» и «плаксивыми», говорил о победном мече «властвующей нации», стремящейся завоевать мир «во имя интересов внешней культуры». Книга Сикорского о близкой войне помогала представить ее приближение. В апокалипсических стихах Андреева 1937 года воздух не только расстрельных ночей, но и ожидание войны. В 1941-м, видимо до ее начала, он писал, ожидая, когда «засвищет свинцовая вьюга»: «Учи же меня! Всенародным ненастьем...»

Судя по одному из «Протоколов допроса», следствие заставило Андреева признаться в том, что он «в 1941 году знал о существовании

антисоветской организации, ставившей своей целью захват власти». Следователи обвиняли его в связях с неведомой организацией. Обвинение основывалось на знакомстве с Малютиным, и хотя доверять протоколу, ведшемуся майором МГБ Кулыгиным, а тем более его формулировкам нельзя, но разговоры с Малютиным действительно происходили, и отношение к войне в ее первые дни могло быть не таким, каким стало через несколько месяцев.

«В один из первых дней войны, — признался допрашиваемый, — ко мне на дом неожиданно днем явился Малютин и начал со мной вести более откровенный разговор о текущих событиях. Он констатировал общность наших антисоветских взглядов и заявил, что “настало время перейти от слов к делу”... Он заявил тогда мне, что считает фашистскую Германию призванной явиться историческим орудием, которое ликвидирует в России Советскую власть, в результате чего власть перейдет в руки антисоветских группировок, стремящихся к установлению в стране “парламентарного строя”. Поэтому он стоит за поражение Советского Союза в войне с фашистской Германией. Я высказал сомнение в том, что Германия может обеспечить создание парламентарного строя в России».

«Следствие располагает данными о том, что Малютин, — настаивал майор, — сделал вам конкретные предложения». На это Андреев ответил: «Вполне конкретных предложений сделано не было, но я из слов Малютина мог заключить, что он подразумевал мое участие в идеологическом или художественном руководстве в намеченном этой организацией правительственном аппарате». На следующий вопрос: «Как вы отнеслись к предложению Малютина?» — он ответил вполне искренно: «Отрицательно. Я заявил Малютину, что у меня для такой деятельности нет ни опыта, ни склонности, ни способности. Я указал, что считаю себя писателем и хотел оставаться таковым в дальнейшем. Кроме того, я выразил Малютину свои сомнения в том, что победа фашистской Германии может явиться вполне положительным фактором для России». На утверждение, что следствие знает, что он стоял «на пораженческих позициях» и рассчитывал «на фашистскую Германию как на силу, способную уничтожить Советскую власть», судя по протоколу, он признался: «Да, в дальнейшем я стоял на пораженческих позициях, но в начале войны я еще не мог определить своего отношения к событиям»[323].

С начала войны он стал писать поэму «Германцы». Его всегда увлекал, по слову любимого поэта, «сумрачный германский гений», внятный в «Нибелунгах» и в Гёте, а особенно в Вагнере. Когда гитлеровские армии двинулись на Россию, на СССР, «германский гений» превратился в смертоносный шквал, и над завоевателями мерещилось знамя беспощадного Одина. Поэма писалась, следуя ходу военных событий. Понимание происходящего менялось, делалось глубже. О впечатлении,

производимом поэмой, Ирина Усова, слышавшая «Германцев» в начале войны, вспоминала:

«Написана она была в самом начале войны, когда еще не доходили слухи о фашистских зверствах. А о Гитлере Даня знал только, что он мистик, вегетарьянец, что проводит какие-то мистические сеансы, на которых беседует с Гением немецкой расы... Это все сочувственно заинтриговывало его. В поэме сперва перечислялось все прекрасное, созданное этой многогранной нацией: Байрейтские музыкальные празднества, торжественно-радостное, как нигде в другой стране, празднование Рождества: “Если от Вислы до Рейна праздник серебряный шел”; образы Лоэнгрина и Маргариты: “где по замковым рвам розовеет колючий шиповник, где жила Маргарита и с лебедем плыл Лоэнгрин”.

Затем идет начало войны, с постоянным жутким рефреном: “К Востоку, к Востоку, к Востоку!”»[324]

Фрагменты поэмы войдут в главу «Русских богов» «Из маленькой комнаты», в первом варианте называвшуюся «Предбурье». За ней следовал «Ленинградский Апокалипсис». В нем его собственный военный опыт. Кроме четырех упомянутых Усовой стихотворений в поэму, видимо, еще входили «Враг за врагом...», «Не блещут кремлевские звезды» и, может быть, «А сердце еще не сгорело в страданье...». В поэме он называет немцев народом-тараном «чужих империй», народом, который «воет гимн, взвивает флаги». Война — мистический жернов возмездия, перемалывающий судьбы и народы.

Но в «Германцах» присутствовало и видение Германии Парсифаля, Гёте, судя по черновым, случайно уцелевшим строфам:

Германия взошла на небо
Не поступью ландскнехтов буйных,
Не бурей на ганзейском рейде,
Не шагом вкрадчивым купца:
Она взошла...
Тропой вдоль речек тихоструйных,
Где нянчил добрый фогельвейде
Осиротелого птенца.

На таких строфах и зиждились обвинения поэта на следствии в «пронемецких настроениях».

Написав «Германцев», Андреев читал поэму друзьям. Василенко, с которым после начала войны они встречались редко, запомнились строфы о «бесах, носящихся вокруг мавзолея Ленина». В начале войны, вспоминал Виктор Михайлович, «мы не верили в немецкие душегубки, в звериное лицо фашизма». Но Андреев знал высказывания Гитлера не только по советским газетам, но и хотя бы по цитатам Сикорского, и разглядел в нем демонические черты. Пусть вождь нацистов умел «в случае надобности говорить языком Иммануила Канта, автора трактата

о вечном мире»325, так ведь этот же язык при надобности использовал и Сталин. В начале поэмы появляется тот «страшнейший» демон, в котором угадывается уицраор «империи-тирании», как поэт определял государство Гитлера. «Стоногим спрутом» демон явился не сразу, вырастая из уязвленного ультимативным Веймарским миром национально-патриотического чувства, постепенно превратившись в загромыхавший над Германией «истошный рев Хайль Гитлер»:

Он диктовал поэтам образы,
Внушал он марши музыкантам,
Стоял над Кернером, над Арндтом
По чердакам, в садах, дворцах,
И строки, четкие как борозды,
Ложились мерно в белом поле,
Чтобы затем единой волей
Зажить в бесчисленных сердцах:

Как штамп, впечататься в сознание,
Стать культом шумных миллионов...

Образ Гитлера в поэме мог быть еще неясен, еще задаются вопросы, кто он:

Провидец? пророк? узурпатор?
Игрок, исчисляющий ходы?
Иль впрямь — мировой император,
Вместилище Духа народа?
Как призрак, по горизонту
От фронта несется он к фронту,
Он с гением расы воочью
Беседует бешеной ночью.

Гитлера, как и Сталина, Андреев считал порождением «демонического разума». Гитлер «не проходимец без роду и племени, а человек, выражавший собою одну — правда, самую жуткую, но характерную — сторону германской нации. Он сам ощущал себя немцем плоть от плоти и кровь от крови. Он любил свою землю и свой народ странною любовью, в которой почти зоологический демосексуализм смешивался с мечтою — во что бы то ни стало даровать этому народу блаженство всемирного владычества...». В то же время «другие народы были ему глубоко безразличны».

Во время войны, 20 января 1944 года, историк Веселовский, осмысляя связь событий, писал: «К чему мы пришли после сумасшествия и мерзостей семнадцатого года? Немецкий и коричневый фашизм — против красного. Омерзительная форма фашизма — в союзе с гордым

и честным англосаксом против немецкого национал-фашизма. <...> Все карты спутаны, над всем царит волевой авантюрист-проходимец без вчерашнего дня и без будущего»326. Но и Веселовский называет проходимцем не фюрера.

Особенно интересовали Андреева «слухи» о мистицизме Гитлера. В «Розе Мира» он говорит, что «противопоставление себя и своего учения всякой духовности» у него «не отличалось последовательностью и окончательностью». Гитлер «с благоволением поглядывал на поползновения некоторого круга, группировавшегося подле Матильды Людендорф, к установлению модернизированного культа древнегерманского язычества; вместе с тем он до конца не порывал и с христианством». Поощрял «распространение в своей партии очень туманного, но все же спиритуалистического мировоззрения (“готтглеубих”)...». Для Андреева Гитлер стал одним из главных демонических героев мистерии века. И в поэме «Германцы», и в «Розе Мира» он мифологизирован, представая человекоорудием для осуществления замыслов Противобога.

Предполагать, что перед войной и в ее начале Андреев надеялся, что «германцы» принесут освобождение от сталинского режима, никаких оснований нет. Пафос поэмы был не пораженческий и не германофильский, а патриотический. Другое дело, что патриотизм в поэме не советский, взгляд на историю — мистический. В 1943 году в автобиографии, говоря о своем отношении «к советской власти и к войне», Андреев искренне высказал свои взгляды: «Ясно, что германский фашизм я не могу рассматривать иначе как реакционную силу, посягающую на самое существование русской культуры, на самостоятельное бытие русского народа, живым членом которого себя чувствую и сознаю. Я глубоко люблю старую культуру Германии и Италии, немецкую музыку и поэзию, итальянскую живопись и архитектуру. Тем более страшной кажется мне раковая опухоль, возникшая на теле этих культур в лице фашизма и требующая удаления самым жестким хирургическим путем. Поэтому я не мыслю окончания текущей войны иначе, как только при условии полной и безвозвратной ликвидации фашистского режима, вызвавшего такие бедствия, какие были незнакомы до сих пор мировой истории».

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ВОЙНА. 1941—1944

1. Военное лето

В ночь на 24 июня раздался вой сирен, объявили воздушную тревогу. Утром радио разъяснило, что тревога учебная. Но война вместе с немцами стремительно надвигалась на Москву. В сообщениях Совинформбюро говорилось о тяжелых боях и сдаваемых городах: 9 июля — Псков, 16 июля — Смоленск, 15 августа — Новгород,

25 августа — Днепропетровск. К 8 сентября кольцо сомкнулось вокруг Ленинграда. Немцы начали операцию «Тайфун», фронт двинулся на Москву, уже привыкшую к авианалетам.

Первая бомбежка обрушилась на Москву в ночь на 23 июля, когда фугасная бомба попала в Вахтанговский театр, оставив развалины, фугасы и зажигалки падали в арбатских переулках — в Сивцевом Вражке, в Староконюшенном, в Плотниковом. На улицах пахло гарью. Эту ночь Андреев пережил в Переделкине, где в июне, еще до начала войны, Усовы сняли флигелек. Ирина Усова вспоминала:

«Через месяц после начала войны Даня приехал туда к нам с ночевкой, и как раз в этот день, когда стемнело, был первый налет на Москву немецких бомбардировщиков. Лучи множества прожекторов шарили по небу. Как гигантские хоругви, склонялись они то в одну, то в другую сторону, перекрещивались и расходились. И, поймав лучом самолет, уже не упускали его, передвигаясь вместе с ним. А на этот луч вперекрест ложился второй, и так высоко, высоко в небе летела в центре гигантской буквы Х крошечная серебряная стрекоза, несущая к Москве смерть. Зрелище было феерическое! Совсем близко от нашего дома, укрытая в лесу, стала бить зенитная батарея... Даня страшно беспокоился и нервничал. Его близкие, его семья там, а он не может туда ехать, так как из-за необходимости затемнения с наступлением темноты поезда уже не ходили.

Но вот там, где Москва, в одном месте появляется и все усиливается свет — зарево пожара! Стало быть, какой-то бомбардировщик прорвался через все ряды зенитных установок и сбросил на Москву бомбу. Данина тревога усилилась. Он пытался понять, над каким местом Москвы зарево, — не там ли, где его дом... Он почти не спал и чуть свет с первым же поездом уехал в Москву. Потом ему, как и всем другим, приходилось дежурить во дворе своего дома на случай попадания туда зажигалок... Когда однажды он был на дежурстве и услышал свист фугасной бомбы, — то кинулся к корпусу своего дома и прижался к его стене, чтобы, если бомба упадет туда, разделить участь всей семьи...»[327]

Ночами громыхал заградительный огонь зениток, несся ноющий звук «юнкерсов», вспыхивали прожектора. Бомбы на Москву падали и днем. Слухи оповещали: бомба попала в шедший у Манежа трамвай. Сброшен с пьедестала, правда, в тот же день поднят памятник Тимирязеву. Задет портик Большого театра. Бомба попала в университетский сквер, выбиты окна и двери, разрушена крыша Манежа... Стремительные фронтовые события, каждодневная, нараставшая тревога. Осложнившиеся отношения Даниила, лишенного всякой житейской хватки, с Коваленскими, болезненная беспомощность мамы Лили и Екатерины Михайловны, сразу сдавших, постаревших, — все это мучило, заставляло горько замыкаться. Дежуря по ночам на крышах в пожарной охране, он говорил: «За 20 лет первое дело, в котором чувствуешь себя нужным»[328].

В середине сентября киевская группировка наших войск попала в окружение. Киев сдали 19 сентября. 20 сентября погиб Юрий Беклемишев-Крымов. Незадолго перед тем Даниилу приснилось, как он погибнет. Крымов погиб геройски, под селом Богодуховка Полтавской области в рукопашном бою, прикрывая отходящих товарищей. Он пробивался из окружения с редакцией газеты «Советский патриот». Бился с той уверенной отвагой, с которой когда-то в юности выходил драться стенка на стенку на московских пустырях. Его нашли с семью штыковыми ранами. Но об этом стало известно позже, он считался пропавшим без вести, и мать Юрия никак не хотела поверить в его гибель.

Алла Александровна упоминала: одно время, в начале войны, Даниил был близок с Галиной Русаковой, но они быстро расстались. Юношеская любовь невоскресима. Хотя он любил «не как все».

«Даниил рвется в “надзвездные” края, — записала Малахиева-Мирович после разговора с ним, — и оттуда хочет увидеть и услышать “единое на потребу”. Иногда ему удается уловить звездный луч — обетование, радость, новые силы для крыльев. Но чаще он глубоко печален и как бы пронзен раз навсегда стрелой, которая так и осталась в незаживающей ране. Последний раз — три дня тому назад мы говорили о его детской и юношеской любви (“О, моя Голубая звезда!”). Он несет ее в душе и поныне, и все в том же голубом новалисовском, дантовском значении. Она (Г. Р.) замужем, овдовела, и у Даниила не было ни тени ревности к ее мужу и нет ни мечты, ни желания соединить в браке свою жизнь с нею. Судя по его последнему стихотворению, это чувство взаимное и у Г., такого же надзвездного характера. Никогда не приходило в него страстное влечение. А между тем влечение, и напряженное, не ослабело до сих пор. Но другой природы — лунный свет, надзвездные края»329.

Их запоздалый, «надзвездный» роман, очевидно, совпал с гибелью Юрия Попова, сентябрьской ночью дежурившего на высокой крутой крыше, и к всплывавшим болям прошлого добавилась вина перед соперником и другом. Но какая — понятно было только ему.

2. 16 октября

Осенняя Москва превратилась во фронтовой город, пустела. Над крышами в помрачневшем октябрьском небе — аэростаты воздушного заграждения. Оконные стекла в белых бумажных крестах. По окраинам встали надолбы, рылись траншеи. Даже на Садовом кольце появились противотанковые ежи. Сделали их из стали, предназначавшейся для каркаса начавшего строиться Дворца советов. Заметно поднявшийся к июню 1941-го на месте храма Христа Спасителя каркас разобрали. По ночам на улицах черно, ни огонька. Дежурившие на крышах видели, как небо, особенно на северо-западе, озарялось вспышками.

Киев пал. Все ближе знамя Одина.
На восток спасаться, на восток!
Там тюрьма. Но в тюрьмах дремлет Родина,
Пряха-мать всех судеб и дорог.
Гул разгрома катится в лесах.
Троп не видно в дымной пелене... —

так начинается один из «набросков к поэме» «Германцы» — стихотворение «Беженцы».

2 октября наш фронт был прорван западнее Вязьмы, 3 октября Гудериан захватил Орел и двинулся на Тулу, 6-го немцы взяли Брянск, 9-го вошли в Трубчевск... 12 октября ГКО решил строить третью оборонительную линию в самой Москве, шла эвакуация. Готовились подпольные группы для действий в оккупированной столице, на случай отступления минировались важные объекты, и не только военные. Заминировали даже Дом союзов. Москвичи привыкли к прерывистому вою сирен, гудкам, гулу бомбардировщиков.

Разведка группы немецких армий «Центр» оценивала положение в сводке 14 октября: «В настоящее время противник не в состоянии противопоставить наступлению на Москву силы, которые были бы способны оказывать длительное сопротивление западнее и юго-западнее Москвы. <...> Эвакуационные мероприятия в районе Москвы дают основания полагать, что противник считается с возможностью ее потери»330.

Вечером 14 октября неожиданно предложили эвакуироваться всем членам Союза писателей. Ни Андреева, ни Коваленского это не касалось. А 15 октября ГКО принял решение «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы». Сталин собирался уехать в Куйбышев: на Центральном аэродроме ждал самолет, на станции у завода «Серп и Молот» — спецпоезд.

16 октября 1941 года навсегда запомнилось всем, пережившим этот день в Москве. Из города на восток потянулись потоки навьюченных беженцев. Метро не работало, трамваи еле ползли. Вот свидетельства картины этого дня:

«Шагают врассыпную разношерстные красноармейцы с темными лицами, с глазами, в которых усталость и недоумение...

У магазинов огромные очереди, в магазинах сперто и сплошной бабий крик. Объявление: выдают все товары по всем талонам за весь месяц...

Ночью и днем рвутся снаряды зениток, громыхают далекие выстрелы. Никто не обращает внимания. Тревога не объявляется.

Многие заводы закрылись, с рабочими произведен расчет, выдана зарплата за месяц вперед.

Много грузовиков с эвакуированными: мешки, чемоданы, ящики, подушки, люди с поднятыми воротниками, закутанные в платки»331.

Садовая «вплотную запружена машинами, в них, согнувшись в три погибели, сидят на грудах вещей беженцы — пригородные обыватели, городские евреи, коммунисты, женщины с детьми. Втиснулись в поток автомобилей какие-то воинские части; пешеходы катят тележки с привязанными чемоданами, толкают тачки и детские коляски. Спрессованная масса течет по Садовому кольцу к трем вокзалам с утра до ночи непрерывно»[332].

«Шоссе Энтузиастов заполнилось бегущими людьми. Шум, крик, гам. Люди двинулись на восток, в сторону города Горького...

...Застава Ильича. Отсюда начинается шоссе Энтузиастов. По площади летают листы и обрывки бумаги, мусор, пахнет гарью. Какие-то люди то там, то здесь останавливают направляющиеся на шоссе автомашины. Стаскивают ехавших, бьют их, сбрасывают вещи, расшвыривая их по земле»[333].

У Казанского вокзала клокочущие, рвущиеся уехать толпы. В центре горклый запах горящей бумаги, ветер несет бумажный пепел — жгли какие-то невывезенные архивы, документы. В здании наркоматов на площади Ногина двери брошенных кабинетов распахнуты, бумаги разбросаны. Разор в Союзе писателей: окна настежь, двери заколочены досками. На одном из углов на Кузнецком Мосту, рассказывает очевидец, валялись красные тома сочинений Ленина, другой повествует о том, как закапывал те же «дорогие ему тома» в землю... И слухи — достоверные и нелепые. О немецких парашютистах на Воробьевых горах, о танках, прорвавшихся где-то на окраине.

В этот же день по приказу замнаркома внутренних дел Кобулова было расстреляно 156 человек, видимо самых опасных заключенных, начиная с мужа Марины Цветаевой и кончая женами маршала Тухачевского и члена ЦК Межлаука.

16 октября врезалось в память и Алле Александровне Андреевой:

«Утром 16 октября в Москве уже были только те, кому некуда и незачем бежать. Мы уже не расставались и старались держаться вместе.

Утром было объявлено, что в 12 часов передадут важное сообщение. Все знали, что это вступление к объявлению о сдаче города. И вот в полдень по радио сказали, что важное сообщение переносится на 16 часов. Не могу объяснить, каким образом, но я поняла — немцы не войдут. Москва не будет сдана. Когда я сказала об этом мужчинам, а мы с Сережей не расставались и все время звонили Коваленским и Даниилу, они на меня накинулись. Мужчины — народ логический:

— Ты что? Ну о чем ты говоришь?!

Я упорно повторяла, твердила одно:

— Не знаю почему, но Москва сдана не будет. Не знаю, что сейчас произошло, но то, что произошло, все изменит.

В 16 часов объявили, что где-то открывается магазин, а какой-то троллейбус пойдет другим маршрутом. Неизвестно почему, но права оказалась я, а не умные мужчины с их логическим мышлением.

Я знаю, что в те часы произошло чудо. Мне не надо было ничего видеть. Я ничем не докажу своей правоты. Но и спустя пятьдесят с лишним лет память чуда так же жива. Сейчас кое-что известно. Существует несколько версий. Я знаю такую версию: три женщины по благословению неизвестного священника, взяв в руки икону Божией Матери, Евангелие и частицы мощей, которые им удалось достать, обошли вокруг Кремля. Есть версия, будто самолет с иконой Казанской Божией Матери облетел вокруг Москвы. Не знаю... Мне, помнящей атмосферу того времени, более правдоподобной кажется версия первая — шли кругом Кремля. Матерь Божия отвела беду от Москвы. Значит, так было надо. И никто меня не убедит в том, что это не было чудом»[334].

Многие из переживших эти дни остались убеждены в том, что Москву не сдали именно благодаря чуду.

Казалось, сталинские вожжи провисли, власть растеряна и растерянность передалась всем нервными судорогами страхов и слухов. Вот как изображена эта растерянность в «Розе Мира»: «Наступила минута слабости. Та минута, когда у вождя, выступавшего перед микрофоном, зубы выстукивали дробь о стакан с водой. Та минута, растянувшаяся, увы, на несколько месяцев, когда в октябре 41-го года вождь с лицом, залитым слезами, вручал Жукову всю полноту командования фронтом Москвы, уже наполовину окруженной германскими армиями, и заклинал его голосом, в котором наконец-то появились некоторые вибрации, спасти от гибели всех и вся».

Известно, что когда Сталину доложили о событиях 16 октября, вождь сказал: «Ну, это ничего. Я думал, будет хуже...» На фронте этот день назвали «московским драпом».

«Беженцы» написаны Даниилом Андреевым после этого жуткого дня. Они о том, «что родина-острог / Отмыкается рукой врага»:

Не хоронят. Некогда. И некому.
На восток, за Волгу, за Урал!
Там Россию за родными реками
Пять столетий враг не попирал!..
Клячи. Люди. Танк. Грузовики.
Стоголосый гомон над шоссе...
Волочить ребят, узлы, мешки,
Спать на вытоптанной полосе.

19 октября в Москве объявили осадное положение.

3. Фронтовая Москва

В середине ноября началось новое немецкое наступление на Москву. Жизнь в осадной, вступавшей в зиму Москве становилась с каждым днем холодней, голодней и все более непохожей на мирную. Продуктовые карточки, 250 граммов хлеба в сутки на иждивенца. Изматывающие заботы о дровах. Комендантский час. Стылые, мертвые окна. Ожидание бомбежек и недобрых вестей. Эта Москва в его стихах, написанных в декабре 1941-го:

Не блещут кремлевские звезды.
Не плещет толпа у трибуны.
Будь зорок! В столице безлунной,
Как в проруби зимней, черно...

Давно догорели пожары
В пустынях германского тыла.
Давно пепелище остыло
И Новгорода, и Орла.
Огромны ночные удары
В чугунную дверь горизонта:
Враг здесь! Уже сполохом фронта
Трепещет окрестная мгла.

О том, как жилось ему в эти месяцы, известно из воспоминаний Усовой, кажется, не лишенных пристрастных преувеличений:

«Даня, как, впрочем, и все его семейство, был человеком очень непрактичным, запасов продуктов, хоть самых малых, у них никаких не было, так же, как и вещей для обмена. И уже очень скоро он стал страдать от голода. Мы старались, как только могли, подкормить его. Уж не помню, с какого времени установилось, что он стал приходить к нам регулярно два раза в неделю к позднему обеду, когда Таня возвращалась с работы. К этим дням приберегалось что получше. Я думаю, что только эти два раза в неделю Даня вставал из-за стола насытившимся. И так же регулярно, два раза в неделю, он садился после еды на диван и читал нам очередной отрывок из того, над чем тогда работал. Сначала это были его поэмы “Янтари” и “Германцы”, затем, и уже до самого отъезда на фронт, — его роман»335.

Среди работы над «Германцами» неожиданно написался цикл «Янтари».

В дни, когда над каждым кровом временным
Вой сирен бушует круговой
И сам воздух жизни обесцененной
Едко сух, как дым пороховой, —

В этот год само дыханье гибели
Породило память дней былых,
Давних дней, что в камне сердца выбили
Золотой, еще не петый стих —

так он объясняет, почему студеным военным январем ему вспоминался август в Судаке, черноглазая Мария. Гонта в это время находилась в эвакуации в Чистополе: «В непроглядных вьюгах ты затеряна, / В шквалах гроз и бурь моей страны». Оттуда она скоро стала рваться назад, в Москву, просила знакомых помочь в этом. Возможно, писала об этом и ему.

В конце января или начале февраля он узнал, что Малютин ранен, лечится в московском госпитале. Об этом сообщила Вера Федоровна, жена Малютина, и Андреев навестил его. Но о разговорах начала войны они не вспоминали.

Коваленский осенью и зимой 1941-го писал цикл «Отроги гор». Навестивший его давний знакомый, литературовед Леонид Иванович Тимофеев, на другой день (21 декабря) записал в дневнике: «Говорили о колдунах». В «Отрогах гор» слышатся отзвуки тех же символистских тем, что и в «Песне о Монсальвате» Андреева. «Никем не найден он» — в этом утверждении, с которого начинается цикл, угадывается намек на Грааль. Но звучит мистическая тема в арбатском переулке, сквозь прифронтовой снежный ветер:

Мороз. В осажденном пургой переулке
Январь выдувает обрывки симфоний
И очередь жмется, как злой хоровод.
Окончил поэму. Ни чая. Ни булки.
Что делать? Умолкли гудки в телефоне,
И стих замерзающий водопровод.

А дальше речь о незримой «охране», явленной «в злые дни», «в минуты роковые», о голосе строгом и тайном с вершины «в ледяной броне», где «выси всех высот». Он ведет спор со временем: «Смотри: воронкой вьется время, / Высасывает мозг и дух уводит в ночь». Видения его под еле различимый «ветер боя» и хор «невнятных голосов» смутны, отстраненны, но заключены в строгие формы. Сонеты перемежаются трехстрочными и пятистрочными строфами. Сочувствуя сосредоточенности на «пути самосозданья» ментора и друга, Андреев прислушивался к собственным голосам. В те же месяцы он пишет «Германцев». В них внятные голоса войны, оставленные города, беженцы.

Этой первой военной зимой Коваленский привлек зятя к литературной работе. Правда, роль ему отвел подсобную. В начале 1942-го Александр Викторович начал по заказу издательства «Художественная литература»

переводить Марию Конопницкую и тогда же вместе с Тимофеевым составлял сборник «Стихи о Родине». Андреев помогал ему, исполнял роль машинистки. Татьяне Морозовой, благодаря ее за ленты для пишущей машинки, он писал: «Вообще, с переходом моим к Ал<ександру> Викт<оровичу> окончательно на литер<атурную> работу, они становятся нашим “орудием производства”...»336 Закончив «работу по составлению сборника», он рассчитывал вместе с Коваленским заняться переводами с польского.

Морозова, застигнутая войной в Филипповской, на несколько дней появилась в Москве, вырвавшись в каникулы из сельской школы, где работала. Андреев незадолго перед тем переболел паратифом, был не совсем здоров, но помог разузнать о связи с Ленинградом, откуда она ждала вестей, куда рвалась. Сообщение «только через Вологду и не пассажирское, а товарное под вопросом»337 — вот что удалось узнать. Муж ее, оставшийся в Ленинграде, за несколько дней перед этим — 7 января — умер от голода, о чем она не знала. Морозовой Андреев пишет: «Все время грипплю, бюллетеню, вот и сейчас. Из-за этого не иду в военкомат, откуда уже давно лежит повестка. Дома все без перемен. Плохо, что кончились дрова, новых, вероятно, не будет — базы пусты, — а электричество стали выключать здорово. Двое суток не на чем было стряпать, не говоря уж о холоде и тьме»338.

Татьяне Морозовой жилось куда труднее. Больная, сказывались последствия энцефалита, от которого едва не умерла, не приспособленная к деревенской жизни, с двумя дочерьми, она работала не только в школе, но и в колхозе. Писала подруге: «В доме родителей мужа валяюсь на каких-то шубах на грязном полу избы. Зима. Ночь. Встаю в четыре утра и ощупью, если нет луны, иду на Караваевку, в школу. Там в темноте затапливаю печи, и начинаются слезы. А вечером, после занятий, пилим с Верой (дочерью, ей было 12—13 лет. — *Б. Р.*) дрова, пила тупая, сил нет...» Несколько раз она вырывалась в Москву, к школьным подругам, к двоюродному брату, от него забегала к жившему по соседству Даниилу.

В конце апреля из Малоярославца в Москву, благодаря справке о необходимости операции, сумела вернуться Малахиева-Мирович. Зашла к Добровым: «Елизавета Михайловна больна (воспаление легкого). Лежит восковая, похожая на покойницу. Но это ни ей, ни мне не помешало в торжественной радости встречи. Может быть, даже усилило ее. Очень исхудали младшие члены семьи, почернела Шура, позеленел Биша от “московского сидения”. Заострились все углы в лице и фигуре Даниила. Но у всех сохранилась душевная бодрость, чувствуется внутреннее горение»339. Горение горением, но в семействе начался разлад. На другой день Даниил признался ей «с видом трагического и чем-то стыдного признания: “Я ел собаку”. Оказывается, что и некоторые из его знакомых не только ели фокстерьеров, но и добивались этого как удачи. Где-то добывали за 5 рублей кило. Еще

стыднее было Даниилу сознаться, что настал такой период, когда он “ни о чем, кроме пищи, не мог думать”»[340].

В июле, после четырехмесячной тяжелой болезни, Елизавета Михайловна, мама Лиля, умерла:

Вторая мать, что путь мой укрывала
От бед, забот, любовью крепче стен,
Что каждый день и час свой отдавала,
Не спрашивая ничего взамен.

С ее смертью дома Добровых не стало.

«Когда мама его слегла, он ездил иногда на рынок — купить для нее один (!) стакан клубники за двадцать или тридцать рублей. Говорил, что она не понимает положения, в противоположность всегдашнему своему характеру, стала капризной и требовательной.

Коваленские отделились и стали питаться отдельно. Такие распады семьи из-за пищи случались тогда очень часто. Иногда даже муж и жена питались отдельно. За исключением двух раз в неделю, когда он бывал у нас, Даня был постоянно голоден. Да еще кузина его, как мне кажется, действовала на него паникерски. Он вообще был склонен поддаваться настроениям тех, к кому был привязан. Когда я, еще до войны, видела ее один раз, будучи у Дани, — она мне определенно не понравилась. Она удивительно дисгармонировала с общим стилем семьи: ярко накрашенные, большие, выступающие губы, длинные серьги до плеч, и одно плечо (действительно беломраморное), несмотря на зиму, обнажено...»[341] — с пристрастностью вспоминала Усова.

Тогдашняя запись Тимофеева (6 апреля 1942 года): «Голод в Москве чувствуется. Многие едят лишь хлеб да пьют кипяток. Слегка помогаем Коваленскому»[342].

4. Татьяна Усова

Домашний разлад опять приводил Андреева в семейство Усовых. Здесь его не просто любили — боготворили. Ну а Татьяна, судя по лишенным какой-либо снисходительности к ревнивым воспоминаниям сестры, вела любовную осаду, в конце концов увенчавшуюся временным успехом. «Лето 1942 года было первое при Дане, когда я оставалась в Москве. Но времени, да и сил для загородных прогулок не было», — повествует Ирина Усова, как будто бы Даниил и ее сестра проводили время на лоне природы, тогда как она, измученная службой, должна была «по многу часов выстаивать в очередях, чтобы отоварить продуктовые карточки, ездить на огород...». Рассказывает она об одной совместной «прогулке»:

«У Дани была определенная цель поездки: неким весьма состоятельным людям, живущим сейчас на собственной даче, предложить — не купят ли какую-то добровскую золотую вещицу? А мы с Таней поехали с ним за компанию. Не доходя до дачного поселка, мы

с Таней уселись в тени, за придорожной канавой, а он, предварительно обувшись, пошел к этим людям уже один. Вернулся через полчаса, не столько раздосадованный неудачей своей миссии, как пораженный и впечатленный уже непривычным для нас стилем барской жизни. “Представьте себе, — рассказывал Даня, — прекрасный ухоженный сад, <...> цветущие в изобилии розы, посыпанные песком дорожки, и в довершение всего звуки рояля из окон большого красивого дома!” <...>

Еще из этой поездки запомнилось, что на обратную дорогу у него не хватило папирос, и он страдал от невозможности принять очередную дозу этого наркотика. Было несколько грустно от сознания, что в глубине души он предпочел бы сейчас нашему обществу хотя бы одну-единственную папиросу!

С Таней же Даня чаще ездил за город. В одну из поездок они возвращались вдоль только что убранного картофельного поля, и Таня по пути собирала оставшиеся кое-где мелкие, с орех, картофелинки. На ее вопрос, почему он не собирает тоже, он ответил: “Не умею я так крохоборничать!” Однако голод поджимал, продавать ему было нечего... кроме книг. В конце концов, это и пришлось ему делать. С какой болью расставался он с ними! Особенно жаль ему было полного собрания сочинений Достоевского. И ведь тогда книги, сравнительно с едой, стоили гроши. В другой раз они вернулись после загородной прогулки оба какие-то значительно-серьезные. Скоро выяснилось, почему они обращались друг к другу уже на “ты”...»[343]

Малахиева-Мирович к Татьяне благоволила, в ней было некоторое сходство с ее покойной сестрой, «подруга Даниила» являлась к ней с «горячо обнимающими старую бабку глазами»[344]. Конец лета и сентябрь прошли в попытках добыть пропитание, названных им «хозяйственными экскурсиями», и подготовке к зиме. К зиме, не обещавшей быть легкой, в доме шел ремонт, ремонтировалась большая комната, занятая Коваленскими после смерти Елизаветы Михайловны.

5. Мобилизация

В октябре 1942 года Андреева призвали в армию. Перед тем как отправиться в военкомат, он поехал навестить Софью Александровну, сестру доктора Доброва, жившую в дачной Валентиновке. У нее в саду он решил зарыть рукопись «Странников ночи». Несмотря ни на что первая часть была закончена, почти дописана вторая.

Алексей Смирнов передает в своих весьма приблизительных воспоминаниях, что Андреев «рассказывал, как пришел в военкомат со своей портативной пишущей машинкой, мешком папирос “Беломорканал” и тремя книгами — буддийскими текстами, Евангелием и томом Шопенгауэра “Мир как воля и представление”»[345]. Образ похож, но чересчур литературен. Мобилизовали Андреева как нестроевого и отправили в 196-ю дивизию, в конце сентября, после боев под Сталинградом, выведенную в Московскую зону обороны.

Размещенная на станции Кубинка, дивизия, потерявшая две трети боевого состава, пополнялась и переформировывалась.

Во фронтовой автобиографии он писал:

«Для себя лично я считаю долгом и обязанностью включиться в нашу общую освободительную борьбу. Заболевание нервных корешков спины — так называемый спондилоартрит (я несколько лет носил железный корсет и снял его незадолго до мобилизации лишь потому, что не мог в военных условиях заказать себе новый) — это заболевание препятствует несению мною строевой службы, я освобожден мед<ицинской> Комиссией от марша и физ<ической> работы. Но я не мыслю для себя сейчас иного местопребывания и работы, как в армии. Мое место здесь. Здесь я полнее ощущаю хотя и маленькую, но реальную пользу, приносимую мною общему делу, и здесь буду делить все боевые опасности с цветом нашего народа — с Красной Армией.

Некоторые моральные взгляды, усвоенные мною с детства и укоренившиеся навсегда, диктуют мне не избегать ни опасностей, ни открытой борьбы. Но препятствуют участию в такой работе, где имеется элемент обмана, хотя бы и допустимого в условиях войны. Например, не хотел бы и не мог бы быть разведчиком».

В Кубинке, переполненной переформировывавшимися частями, Андреев приютился в снятой комнатушке, еще находясь на полуштатском положении, формы ему поначалу не выдали: в наступивших холодах пришлось ходить в тяжелом, еще отцовском пальто.

На Новый год он получил увольнение и поехал домой. Алла Александровна рассказывает:

«Мы всегда встречали Новый год у Коваленских. <...> Даниил был еще в Кубинке. Его отпустили в Москву на два дня, о чем мы с Сережей не знали. <...>

Мы пришли с Никитского бульвара в Малый Левшинский. Пришли мы ночью, значит, уже не было комендантского часа. На звонок дверь — я уже упоминала, что она шла из квартиры на улицу, — открыл Даниил. Ничего не произошло фактически и очень многое неуловимо. Прозвучали три голоса в темноте, и главным были интонации этих голосов, слова-то произносились самые простые. Из темноты прозвучала горячая радость в приветствии Даниила.

Скрытый темнотой, ответил на его радость мой голос, дрогнувший, вырвавшийся из постоянного, привычного владения собой. А Сережин прозвучал напряженно, собранно и скованно в ответных на приветствие словах.

В ту новогоднюю ночь мы с Даниилом перешли на “ты”, но, как ни странно, ни я, ни он не поняли до конца, что эта встреча Нового года была нашей с ним Встречей»[346].

Но в эту новогоднюю ночь с ним рядом могла быть и Татьяна Усова. Сестры несколько раз приезжали к нему в Кубинку. Ирине Усовой

запомнились две поездки в Кубинку, главная роль в которых не сестры, а ее:

«Я знала, что Даня любит и всегда отмечает Рождество, и решила устроить ему елочку. Седьмого января я захватила с собой несколько елочных свечей, а по пути от лесной дороги к поселку отломила большую, густохвойную и душистую еловую лапищу. Укрепила ее в углу комнаты, прикрепила к ней свечи и зажгла их. Пока они горели, мы сидели молча, смотря на эти огоньки и на таинственные густые елочные тени на стене и на потолке. Данино лицо было освещено снаружи этими свечами, а изнутри своим собственным, каким-то теплым, нежным и задумчивым светом. Когда свечи догорели и мы вновь зажгли электричество, он сказал с чувством: “Большое спасибо!”

В этот ли раз или в другой он, уже не помню, по какому поводу, а может, и вовсе без него, — заговорил о Тане. (Может быть, хотел узнать мое мнение об их взаимоотношениях или же вообще о ней?) Он сказал: “Я для нее единственный и неповторимый” — и посмотрел на меня значительно и несколько испытующе. “О, милый Даня, — подумала я, — да разве же только для нее? — вы и для нас всех и единственный и неповторимый. Уж ежели Есенин ‘цветок неповторимый’, что тоже верно, то вы-то — наинеповторимейший!” Но вслух не сказала ничего (и напрасно). Он помолчал выжидающе, затем продолжал: “Она согласится на любую роль возле меня”.

<...> Но жизнь сложилась иначе, и он довольно скоро сам убедился, что ее согласие на любую роль возле него было лишь хорошо сочиненной и хорошо сыгранной ролью.

И вот последнее мое посещение Кубинки: вдруг приходит от Дани телеграмма на мое имя (от Тани ему был потом выговор: почему не на ее). В телеграмме он сообщал, что его часть скоро отправляют дальше, и просил приехать, забрать его тяжелое отцовское пальто и еще кое-что из вещей. Я, конечно, моментально собралась и помчалась, хотя день уже клонился к вечеру. Не успела я пробыть с Даней и часу, как явилась Таня. Вернувшись со службы, она прочла телеграмму и помчалась вслед. Я почувствовала, что я лишняя, во всяком случае для Тани, и засобиралась обратно. Ушла в кухню, где стояла моя обувка, и, стоя на одном колене, завязывала шнурки. В полумраке дверного проема проявляется Данина фигура. “Не уезжайте, Ирина, вы обе мне одинаково дороги!” — “Спасибо, Даня”. И я все же уехала. Правда, что третьему и спать было не на чем и негде»347.

Стихи об этих проводах:

И вот закрывается теплый дом,
И сени станут покрыты льдом,

Не обогреет старая печь,
И негде будет усталым лечь.

Часы остановятся на девяти.
На подоконник — метель, мети!

Уже сухари, котелок, рюкзак...
Да будет так. Да будет так...

Но под стихами две даты — 1941—1958, посвящены они *А. А.* — Алле Андреевой. Ирина Усова ревниво отмечает, что Алла Мусатова провожала его только до метро. Всё может быть. Стихотворение могло быть первоначально обращено к Татьяне Усовой, оканчиваться по-иному. Последняя строка — «И только имя твое — со мной» — скорее всего появилась в 1958-м.

Уходя на фронт, он оставил рукописи Усовой. Среди них два экземпляра «Странников ночи». После ареста на одном из первых допросов ему предъявили ее письмо, где говорилось о «литературном завещании». «Находясь в армии, — признался он, — я послал в Москву Усовой письмо, в котором писал, что делаю ее своим душеприказчиком и поручаю ей после моей смерти издать оставленные у нее мои литературные произведения»348.

Татьяна Морозова писала в одном из писем той зимы: «Даня меня очень беспокоит. Он, не официально еще, женился на Татьяне Вл<адимировне> Усовой, [она] деятельная женщина, которая высоко ставит его. Она мне недавно сообщила о Дане. “Он пишет в вагоне, едет на север, сильно мерзнет, совсем охрип”. <...> Изумительный он человек, я все больше и больше восхищаюсь им». Мучаясь с дочерьми в Филипповской, зная — без посторонней помощи ей «из этой дыры не выбраться», она, что кажется удивительно наивным, надеется только на него, верного друга: «Даниил меня вытащит, если сам будет жить лучше»349.

6. Ладога

В начале 1943 года готовился прорыв Ленинградской блокады. Среди дивизий, отправленных на усиление фронтов, была и 196-я стрелковая дивизия, находившаяся в резерве. После 10 января дивизия погрузилась в эшелон и в ночь тронулась в путь. Только высадившись у станции Кобона и ступив на лед Ладожского озера, все поняли, куда прибыли. Дивизию, включенную во 2-ю ударную армию, с 10 февраля зачислили в резерв Ленинградского фронта. С декабря командовал дивизией генерал-майор Петр Филиппович Ратов, недавний генштабовец.

Сослуживец Андреева, Федор Михайлович Хорьков, вспоминал: «После изнурительных боев под Сталинградом нашу дивизию вновь пополнили и перебросили на другой фронт. Пополнение состояло в основном из казахов и узбеков, которые впоследствии храбро дрались, и нашу дивизию немцы прозвали “дикой”.

Нам не говорили, куда мы едем, но выдали по сумке сухарей и велели строго беречь.

О направлении мы узнали только на берегу Ладожского озера. Нам приказано было идти по ледовой дороге.

Группами и в одиночку солдаты шли на синие огоньки, мигавшие впереди и указывающие путь. Мимо нас проносились машины и исчезали в снежных вихрях. Слева ухали пушки, с воем проносились снаряды и плюхались в лед.

Иногда раздавался предостерегающий крик: “Внимание, воронка!” — и мы обходили ее по колено в воде. Валенки намокли, и ноги переставали слушаться. Я прошел четверть пути, проезжавшая машина затормозила. Шофер потребовал сухарь, соглашаясь перевезти на другую сторону. К его удивлению, я высыпал горсть сухарей и вскоре трясся в кузове, на ящиках со снарядами.

Ленинград был в какой-то серой дымке.

У Финляндского вокзала изнуренные женщины протягивали руки и жалобно смотрели в глаза бойцов. Через несколько минут моя сумка была пустой»350.

А вот воспоминания радиста 893-го стрелкового полка той же дивизии Николая Степановича Коврукова: «Приехали к Ладожскому озеру, дали лыжи, а в некоторых местах лед был пробомблен, дыры остались, вода, скользко. Поехали, ноги с непривычки расходятся, у всех паха заболели, лыжи покидали, и так вот пешком пошли»351.

Этот переход изображен в поэме «Ленинградский Апокалипсис», и в нем не только те же подробности, что у Хорькова и Коврукова, но и увиденные поэтическим зрением, начиная с берега в сумеречной буранной дымке, откуда они начали свой путь, где

Косою сверхгигантов скошенным
Казался лес равнин Петровых,
Где кости пней шестиметровых
Торчали к небу, как стерня,
И чудилась сама пороша нам
Пропахшей отдаленным дымом
Тех битв, что Русь подняли дыбом
И рушат в океан огня.

А дальше открывался ледовый простор, скрывавший «под снеговой кирасою» «Разбомбленные пароходы, / Расстрелянные поезда, / Прах самолетов, что над трассою / Вести пытались оборону...». И каждому на том ладожском пути, повторявшему про себя: «Вперед, вперед!» — могло казаться, что

...Быть может, к полночи
И мы вот так же молча ляжем,

Как эти птицы, фюзеляжем
До глаз зарывшиеся в ил,
И озеро тугими волнами
Над нами справит чин отходной,
Чтоб непробудный мрак подводный
Нам мавзолеем вечным был.

Переход в поэме описан документально точно, с немецкими ракетами, взвивавшимися на юге, над вечерней Ладогой, с крепнувшим ветром и с огнями фар встречных машин на трассе жизни, которые казались неестественно красивыми в синем снежном мраке — «Как яхонты на черном веере». Утро ледового марша, когда идущим открылись морозные дали, оказалось будничным:

В потемках ночи, от дивизии
Мы оторвались. Только трое —
Не командиры, не герои,
Брели мы, злобясь и дрожа.
Где отдохнуть? Достать провизию?
Мороз... бездомье... скудный завтрак.
И мы не думали про «Завтра»
У фронтового рубежа.

Наступление на Ленинградском фронте началось 12 января, когда ясное хрусткое утро взорвал орудийно-минометный гул, по немцам ударили 4500 орудий. Мороз трещал за минус двадцать. А уже 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились, блокада была прорвана. Через несколько дней и 196-я дивизия, после двухдневного перехода через Ладогу и Карельский перешеек, вошла в город. Вошла одной из первых, поздно вечером:

А ночь у входа в город гибели
Нас караулила. Все туже
Январская дымилась стужа
Над Выборгскою стороной...

«В Ленинграде расположили в 5-этажном доме, печки железные дали, мы вывели в форточку трубы и подогревали так жилье. Но дыма в комнатах стояло по пояс, маленько ляжем внизу, вроде нет дыма. Тем и спасались»352, — рассказывал Коврукoв. Но в дивизию входил не только 893-й стрелковый полк радиста Коврукова. Ее части расквартировали в районе Лесотехнической академии, Политехнического института, в его общежитии на Лесном проспекте353. С 20 апреля 1943 года дивизию передали в состав 55-й армии и через Ижоры перебросили на фронт. Под утро 23 апреля дивизия заняла оборону «на третьем армейском

оборонительном рубеже». Штаб находился в балке Петрославянки, второй эшелон штаба и тыла — в поселке Рыбацкое, ленинградском пригороде. «Каждый день начинался с налетов авиации и артобстрела, — вспоминал Хорьков, с 5 марта работавший секретарем военной прокуратуры дивизии. — В отдельные дни я насчитывал до двадцати трех налетов немецкой авиации на город. Но вражеские самолеты в город прорывались редко и беспорядочно сбрасывали бомбы на крыши поселка. Жители его терпели все лишения вместе с нами, но их мучил еще страшный голод. До слез больно было смотреть на их опухшие лица»354.

7. Битва уицраоров

Поздний вечер, дымящийся январской стужей, которым Даниил Андреев вошел в «город гибели», с пустынными улицами, заваленными неубиравшимся снегом, с мертвыми окнами, запомнился навсегда. «Во время пути по безлюдному, темному городу к месту дислокации, — рассказал он в «Розе Мира», — мною было пережито состояние, отчасти напоминавшее то давнишнее, юношеское, у Храма Спасителя, по своему содержанию, но окрашенное совсем не так: как бы ворвавшись сквозь специфическую обстановку фронтовой ночи, сперва просвечивая сквозь нее, а потом поглотив ее в себе, оно было окрашено сурово и сумрачно. Внутри него темнело и сверкало противостояние непримиримейших начал, а их ошеломляющие масштабы и зиявшая за одним из них великая демоническая сущность внушали трепет ужаса. Я увидел третьего уицраора яснее, чем когда-либо до того, — и только веющее блистание от приближавшегося его врага — нашей надежды, нашей радости, нашего защитника, великого духа-народоводителя нашей родины — уберегло мой разум от непоправимого надлома».

Третий уицраор, Жругр — демон сталинской деспотии, а дух-народоводитель — Яросвет. Не только демоническая воля третьего уицраора ведет бой со злобным уицраором Германии, но и хранящий Россию Яросвет, непримиримый противник Жругра. Битва идет и в иных мирах. Перед поэтом завеса приоткрылась, и он ужасается видению драконообразного чудовища. В мерных «русских октавах» видение осмыслено, обрело дорисованные воображением подробности:

В зрачке, сурово перерезанном,
Как у орла, тяжелым веком,
Тлел невместимый человеком
Огонь, как в черном хрустале...
Какая сталь, чугун, железо нам
Передадут хоть отголосок
От шороха его присосок
И ног, бредущих по земле?

<...>
Господь! неужто это чудище
С врагом боролось нашей ратью,
А вождь был только рукоятью
Его меча, слепой, как мы?..

Переживание, описанное в «Розе Мира», развернуто в «Ленинградском Апокалипсисе». А в поэме, замечает автор, «закономерности искусства потребовали как бы рассучить на отдельные нити ткань этого переживания. Противостоявшие друг другу образы, явившиеся одновременно, пришлось изобразить во временной последовательности, а в общую картину внести ряд элементов, которые хотя этому переживанию и не противоречат, но в действительности в нем отсутствовали. К числу таких произвольных привнесений относится падение бомбы в Инженерный замок (при падении этой бомбы я не присутствовал), а также контузия героя поэмы».

О том, что фронтовое небо поражало и завораживало, говорит запись во фронтовом дневнике Хорькова 21 июня 1943-го: «В ночном небе, как в гигантском аквариуме, плавали аэростаты! Мимо них, подобно красным червям, проносились вспышки снарядов, и где-то по-жучьи гудел немецкий самолет».

Ночь, описанная в «Ленинградском Апокалипсисе», не одна из блокадных ночей, а свирепая мистическая ночь великого сражения двух самых мощных в мировой истории драконов-уицраоров, с их демоническими полчищами. Когда орды чужеземной нечисти Клингзора обрушились на высившуюся на изнанке мира цитадель Российской державы, то ее свирепые защитники, забыв о противостоянии силам Света, всецело сосредоточились «на войне с врагом, еще более темным, чем они сами». И решающую схватку защитников не только сталинской Цитадели, но и России с гитлеровскими войсками Даниил Андреев изобразил так, как ему увиделось в январской ночи после двухдневного ледового перехода: «Наступила глубокая ночь. Силы Света обрекли себя на временное добровольное бездействие, пока не завершится схватка чудовищ. Только перипетии этой схватки были видимы всем на земле; точно духовный паралич сковал высшие способности людей и лишь напряженнейшие медитации да наивысший творческий взлет могли поднять иногда человеческую душу над непроницаемым кровом тьмы».

В надземной ночи разворачивалось мистическое сражение и продолжалось наступление наших войск, разорвавших огневые тиски блокады.

8. Ленинградский хлеб

Историю о том, как он едва не попал под суд, Алла Александровна назвала «смешным эпизодом»:

«Его, солдата, отправили в какой-то ларек торговать, по-моему, хлебом и еще какими-то продуктами. И, естественно, скоро обнаружилась недостача, за которую его и привлекли к суду. К счастью, попался следователь, для которого имя Леонида Андреева не было пустым звуком, да и без этого было ясно, что человек, который спокойно сидит перед ним, ни в чем не виноват. Дело было в том, что Даниил не мог не давать голодным детям остатки хлеба. Он стеснялся требовать мелочь, когда ее у человека не было, и в довершение всего кормил хлебом приходившего к палатке жеребенка»355.

В состав дивизии входила 423-я полевая хлебопекарня, к ней, видимо, и прикомандировали нестроевого рядового Андреева. Хотя блокада кончилась, нормы хлеба увеличились в несколько раз, никто не ел досыта. «Смешной эпизод» грозил трибуналом и расстрелом. Более подробно мы знаем о нем со слов одного из свидетелей и участников — Федора Хорькова. «В то время, после тяжелого ранения, меня направили на работу в прокуратуру дивизии секретарем, — вспоминал Хорьков. — Однажды к нам явился высокий солдат с осунувшимся худым лицом. Вежливо доложил следователю капитану Борисову: “По вашему вызову рядовой Андреев...” <...> Капитан Борисов стал его допрашивать. Я услышал, как солдат назвал себя: “Андреев, Даниил Леонидович, 1906 года рождения”.

— Вы не сын писателя Леонида Андреева? — спросил я. Он утвердительно ответил, тогда я попросил его выйти и объяснил следователю, что это сын крупнейшего русского писателя.

Капитан Борисов книг не читал, но поверил мне и согласился помочь Даниилу Леонидовичу.

Даниил (позвольте мне его называть так, ведь впоследствии мы стали большими друзьями) работал в военторге, и у него не хватило продуктов на сумму более семисот рублей»356. (В другом варианте рассказа говорится о сумме 300 рублей.) «А мы, — рассказывает Хорьков, — должны были его за это судить. Он не стал утаивать свою слабость и открыто рассказал все на допросе следователю Борисову»357.

В Ленинграде дороже клеклого хлеба, наполовину со жмыхом, целлюлозой и даже опилками, ничего не было. Проверка, проведенная под руководством помощника военного прокурора капитана Николая Борисова, показала, что Андреев давал голодным детям хлеб и сахар и, может быть, кого-то спас от голодной смерти. Кроме того, при хозяйственном взводе, где служили большей частью казахи, был жеребенок, которого кормить оказалось нечем. А он тыкался в руки, просил есть. Однажды жеребенок попался Андрееву, и тот не удержался, пожалел, дал горбушку. С тех пор тот стал ходить за ним, попрошайничать. Так появилась недостача. О разбирательстве следователь доложил командующему дивизией, рассказав и о том, что провинившийся — сын писателя Леонида Андреева. Появилась

резолюция: «В порядке приказа 0413 направить рядового Андреева бойцом в похоронную команду».

Солдаты и сами недоедали. «Помню, после снятия блокады, — писал Хорьков, — нам выдавали двойные порции еды, но мы не наедались. Чувство ненасыщенности у меня продолжалось лет двадцать после окончания войны»358.

Среди фронтовых перипетий из дома пришло печальное известие. Умерла последняя из сестер его матери — Екатерина Михайловна Митрофанова.

9. Команда погребения

В автобиографии, написанной 4 июня 1943 года, когда Андреев уже почти месяц пробыл в команде погребения, он перечисляет, где служил, в качестве кого: «В продолжение полугода работал старшим писарем-машинистом Политотдела 196 КСД (Краснознаменной стрелковой дивизии. — *Б. Р.*). После того, как эта должность стала внештатной, я был переведен на аналогичную должность сначала в штаб КАД (видимо, Краснознаменного артиллерийского дивизиона; правда, в состав дивизии входил не КАД, а 725-й артиллерийский полк. — *Б. Р.*), затем в штаб 863 СП (стрелкового полка. — *Б. Р.*), наконец переброшен в команду погребения при Отделе тыла 196 КСД.

Здесь я используюсь также на караульной службе. Своей теперешней работой очень доволен, так как работа канцелярского типа мне крайне надоела, да и вообще я не чувствую к ней ни малейшей склонности».

В командах погребения служили нестроевые и ограниченно годные. Их задача — собирать с поля боя и предавать земле тела убитых, именовавшихся в армейских документах списком безвозвратных потерь. Хоронили не только своих, но и немцев, бросавшихся в глаза черной формой. Работа тяжелая и страшная. Убитые с кишками, вывернутыми на землю, с оторванной рукой или ногой, со снесенным черепом... Нестерпимо тошнотворный запах. Трупы в теплую погоду быстро разлагались. Их укладывали на повозки, накрывали брезентом и везли к вырытым ямам. Здесь ужас войны виделся воочию, веял трупным запахом.

17 июня в дневнике Хорьков записал: «Разговаривал с сыном Леонида Андреева Даниилом. Хороший человек! Он сначала был у нас в части продавцом магазина, а затем хоронил убитых». В воспоминаниях он упоминает, что дивизия тогда располагалась на берегу Невы, напротив Шлиссельбурга, что жили они в соседних землянках. «Даниил каждую свободную минуту забегал ко мне и делился впечатлениями. Он вспоминал отца, родных, свою жизнь. Тогда я впервые узнал, что где-то во Франции живет его брат, Вадим Леонидович. <...>

Было очень голодно. Прокурор и следователь часто отлучались, и нам с Даниилом доставались их порции каши и щей.

Даниил еще больше похудел и осунулся. Каждый день он видел изуродованные трупы, которые на повозках доставлялись к большим ямам. Иногда я подходил к нему, он приподнимал на повозке покрывало, и я видел посиневшие трупы. На их животах химическим карандашом были написаны фамилии. А потом просил меня уходить: “Я не выдержу этого сам, уходи!”»359.

Рассказывая о подробностях тех месяцев, Хорьков упомянул, что не раз видел Андреева с иллюстрированным томом Анри Барбюса «Сталин». Позже он передарил его работнику политотдела. «Книга к Даниилу попала случайно. Нашу 196-ю стрелковую дивизию перебрасывали с места на место: то на Карельский перешеек, то под Колпино, то в Ленинград. Потом нас разместили на Невском пятачке. Я работал секретарем Военной прокуратуры дивизии и жил в землянке. Даниил хоронил убитых и в свободное время забегал ко мне поесть. Мы ели скудную пищу из одного котелка. Однажды в морозный день он вошел ко мне оживленный, раскрасневшийся и показал эту книгу “Сталин”, которую подарили ему артисты. Он обычно был сдержан в разговоре, замкнут, а тут улыбнулся и рассказал:

— Ездил в Ленинград с работниками политотдела за артистами. Ехали в санях, дурачились. Артистка (он назвал ее, но я не запомнил) запела вдруг: “Мерзнет носик, мерзнут щечки, негде губки отогреть...” Обняла меня и прижала к себе.

— А ты растерялся? — прервал я.

Глаза его засияли, излучая радость.

— А я поцеловал ее!

Улыбка вдруг исчезла, взгляд посуровел. Даниил снова стал неприступным, как бы ушел в себя.

— Садись есть! Я тебе оставил! — Я пододвинул ему котелок.

Даниил достал из голенища кирзовых сапог ложку и стал жадно хлебать жиденький суп. Я подал ему два сухаря.

Опорожнив котелок, он неторопливо облизал ложку и сунул обратно в сапог. <...>

Об отце он говорил мало. Не любил его рассказы “Рассказ о семи повешенных” и “Красный смех”. Я спросил Даниила, как он относится к роману “Сашка Жигулев”. Я искал этот роман, чтобы прочитать, и не мог достать. Тогда Л. Андреева не печатали.

Даниил ответил как-то неопределенно:

— Ничего особенного не нахожу!

Он никогда не говорил, что пишет стихи или прозу, но в литературе разбирался глубоко. Мы разбирали с ним творчество Паустовского. Я показывал ему свои стихи. Он похвалил, что у меня есть что-то свое, рассказывал о стихосложении и указывал на недостатки. Поэтом я не стал.

О политике мы никогда не говорили. Даниил был очень сдержан и, вероятно, боялся меня как работника прокуратуры. Тогда все боялись друг друга. Боялись лишнего слова. <...>

Даниил видел мой настрой, скрывал свои взгляды, маскируясь книгой Анри Барбюса»360.

Однажды Хорьков показал ему книги, подобранные у одного из разрушенных домов. Но и в разговорах о литературе Андреев оставался немногословен и, казалось Хорькову, сумрачно думал о чем-то своем. Служба в похоронной команде изнуряла. С появлением на пригорках мать-и-мачехи он старался на каждую могилу положить букетик, и вместе с травой, появившейся на развороченной снарядами земле, стали пробиваться неопределенные надежды.

«До чего живуча все-таки человеческая душа, — писал он 21 июля 1943 года Валентине Миндовской. — Правда, самых страшных и жестоких проявлений войны мне все еще не приходилось переживать, но все же я видел немало тяжелого и невыразимо печального. И несмотря на это в душе не умерли ни радость жизни, ни надежда, ни жажда творчества, ни вера. Наоборот, они горячее, чем когда бы то ни было раньше.

Внешне моя жизнь еще течет по тому руслу, в кот<орое> попала около месяца назад, но, очевидно, скоро опять последуют перемены, хотя мне неясно еще, в какую сторону.

Тишина, долгое время царившая вокруг, сменилась шумом, но это в некотором расстоянии от нас; на несколько километров — ровное, спокойное поле, покрытое нивами и огородами, где, несмотря ни на что, мирно копошатся в земле жители расположенного вблизи большого города. Трубы фабричные, трубы его окраин и отдаленные шпили четко вырисовываются на фоне закатных небес. Погода улучшилась, и хотя дождь ежедневно, но, по крайней мере, тепло. Физически чувствую себя далеко не так бодро, как в психологическом отношении, но все-таки передышка этого месяца улучшила общее состояние организма. Последнее время, под действием акрихина, ослабела даже малярия».

10. Госпиталь

В конце июля поступил приказ о передислокации, и в ночь на 3 августа дивизия перешла к лесу под Колонией Овцино на правом берегу Невы, а к 10-му — в район переправы у речки Черной. К 15 августа дивизия, переданная в состав 67-й армии, выступила на передовую к Синявинским высотам, на следующий день получив приказ о наступлении. Под утро 18 августа после артиллерийско-минометного обстрела немецких позиций, три полка дивизии поднялись в атаку, наступая на высоту 43,3, — так обозначались Синявинские высоты. Именно в эти дни Андреев попал в госпиталь. «Сегодня расстался с Даниилом Андреевым, у него расщепление позвоночника», — записал в дневнике как раз 18-го Федор Хорьков. В воспоминаниях рассказано подробнее: «Постоянный

голод и переживания тяжело отразились на его здоровье. Он не жаловался, стойко все переносил, а потом слег. Расщепление крестцового позвоночника приносило ему страшные мучения. В августе 1943 года его отправили в госпиталь. Он писал мне оттуда, что поправился, работает в операционной и тяжело переносит вид человеческой крови»[361]. Обострение давнишней болезни произошло из-за того, что Андреев надорвался на перетаскивании снарядов.

Когда дивизию, потерявшую на Синявинских высотах 2658 человек убитыми и ранеными, отвели на передислокацию, Андреева вместе со всеми 24 августа наградили медалью «За оборону Ленинграда». Медаль он получил уже в госпитале. Это был 595-й хирургический полевой госпиталь. Вставший на ноги, но болезненный нестроевой солдат стал санитаром, потом регистратором. Постепенно он прижился в госпитале: все-таки вырос в семье доктора. Встретил он здесь благосклонное расположение и начальника госпиталя Александра Петровича Цаплина, и главного врача Николая Павловича Амурова. К концу службы отношения их стали дружескими.

Здесь и служба оказалась легче, и появилась надежда вернуться в Москву. «Однажды он написал мне, — сообщает Хорьков, — что из ставки главнокомандующего в штаб дивизии должен поступить вызов о его откомандировании в Москву. В штабе тогда этот вызов был утерян, и Даниилу долго пришлось ожидать...»[362]

В госпитале, как и в части, он получал много, больше всех, писем. Много, как всегда, писал и сам. Нетерпеливо ждал писем от Аллы Мусатовой, но их переписка не уцелела, сожжена на Лубянке.

Письмо 31 октября 1943 года Валентине Миндовской: «Милая Валя, очень возможно, что мы увидимся в непродолжительном будущем. Мечтаю провести у вас целый день. Как только приеду, пошлю Вам открытку, и тогда звоните скорее по телефону. Впрочем, отнюдь не исключена возможность, что я проболтаюсь здесь еще энное количество времени. Не хочу об этом думать. Сейчас очень занят подготовкой к празднику: лозунги, стенгазета, чтение с эстрады отрывка из Шолохова и т. п. Живу надеждой».

В следующих письмах та же надежда: «Вопрос о моем откомандировании движется вперед, и осязаемые результаты уже не за горами. А пока существую в прежних условиях — хороших, насколько это может быть на войне. Сыт, в тепле, начальство хорошее, отношения с людьми сложились прекрасные. Работы очень много, но физически она не трудна. Только двух вещей не хватает: близости друзей и возможности работать над моей неоконченной вещью. Это-то и тянет так невыносимо в М<оскву> и заставляет считать дни и часы, оставшиеся до откомандирования. Читать не успеваю. Перед Новым годом оформлял выставку, а теперь засосала канцелярская работа. Но все это ничего, лишь бы скорей окончательная победа и конец войны»[363].

«Пока условия жизни прежние, чередуются периоды очень напряженной работы и передышки, во время которых удается отдохнуть, почитать, поиграть в шахматы. Но о творческой работе, конечно, остается только мечтать»364.

К лету 1944-го, когда началось новое наступление — Рижская операция, госпиталь перебазировали в район Резекне. Место оказалось живописным — зеленые холмы, сосновые леса, озера и озерки, реки и речушки. Латвийское лето стало передышкой.

Здесь, в Резекне, он попробовал приняться за «Странников ночи». «Милая Валя, виноват перед Вами: что-то никак не могу собраться написать Вам по-настоящему, — пишет он в очередном письме Миндовской. — Это главным образом потому, что сейчас я свободное время употребляю на литер<атурные> занятия — а это с писанием писем почти несовместимо (психологически)! Живу в общем хорошо настолько, насколько возможно в моем положении. Во второй половине июня собираюсь в командировку в Москву, но она будет короткой, и с горечью думаю о том, что не успею почти никого повидать, т. к. дел будет по горло.

Все еще надеюсь на сравнительно скорое окончательное возвращение к работе, ведь мы с Л<ьвом> М<ихайловичем> (речь идет о Тарасове, муже Миндовской. — *Б. Р.*) ближайшие соседи! Но, не зная № его части, найти его невозможно. Нахожусь от него км 20, в чудесной местности. Холмы, леса, озера. 2 раза ходил гулять, бродил по лесу, купался и наслаждался. Читать некогда и нечего, но “Странников ночи” двигаю все же вперед, хотя и медленно. Без основной рукописи, оставшейся в Москве, настоящая большая работа над ними невозможна. Из полученного за этот период жизненного материала и впечатлений многого не могу осмыслить.

<...> Кончив главу, вдохновлюсь, вероятно, на настоящее большое письмо»365.

Уже зная, что на днях отправится в Москву, в командировку, 10 июня 1944 года он писал Митрофанову: «Я перечитал “Преступление и наказание” и частично “Подростка”. <...> Физическое состояние мое посредственно, спина болит, слабость и вдобавок фурункулез и флюсы. Но настроение бодрое, хотя жизнь задает задачи и загадки, многие из которых не могу осмыслить».

Какие загадки загадала ему война, увиденная не из умозрительного далека, а явившаяся перед глазами с обезумевшими от голода блокадниками, с армейской неизбежной безжалостностью, с каждодневностью смертей и страданий? Жизнь в сырых землянках, казарменных углах среди самых разных людей, сведенных войною в роты и батальоны? Ощущение «я», втиснутого в обезличенное единой волей и шинельным сукном «мы», о котором он написал в «Ленинградском Апокалипсисе»:

Мы — инженеры, счетоводы,
Юристы, урки, лесники,
Колхозники, врачи, рабочие —
Мы, злые псы народной псарни,
Курносые мальчишки, парни,
С двужильным нравом старики.

Какие силы движут народным множеством? Что и куда ведет его самого? Он перечитывает Достоевского, ища ответы и у него. Рвется к незаконченному роману, видящемуся теперь по-иному. Опыт войны соединялся с опытом внутренним, с мистическими интуициями, но пока не разрешал громоздившиеся вопросы.

11. Командировка

В Москву он приехал 14 июня и пробыл дома неделю. Те полтора года, что они не виделись, Коваленский занимался переводами с польского. Закончив книгу стихотворений Словацкого, выхода которой с нетерпением ждал, тем летом работал над переводом «Гражины» Мицкевича и драмы Выспянского «Свадьба». Но меньше всего говорили они о переводах. Слишком многое пережито. Даниила волновало состояние Александра Доброва, перед войной пережившего рецидивы энцефалита. Теперь он попал в больницу с наркотической депрессией. Видевших его поражал болезненно трясущимся видом.

А для Аллы Александровны эти дни, озаренные летним солнцем, стали особенными, переломившими судьбу. Навстречу ей она устремилась без раздумий. Ничего, кроме июньского света и безоглядного бега по арбатским переулкам к новой жизни, ей не запомнилось:

«Стоял июнь 44-го. Это были самые светлые, самые прекрасные дни года. По всей Москве цвели липы.

Я вернулась откуда-то домой. Сережа сидел с тем застывшим выражением лица, которое я уже знала. Я вошла в комнату. Он поднял голову и сказал:

— Даниил приехал в командировку. Он сейчас дома в Малом Левшинском.

Я молча повернулась и побежала. Я бежала, как бегала двенадцатилетней девочкой, которая училась в Кривоарбатском переулке, не останавливаясь ни на секунду, через весь Арбат, Плотников переулок, Малый Левшинский.

Я бежала знакомым путем, как в школьные годы, только уже не с той беспечностью жеребенка, которому просто необходимо бегать. Теперь я бежала — буквально — навстречу своей судьбе. И на бегу отрывалось, отбрасывалось все, что меня держало, запутывало, осложняло Главное.

Бежала бы я так же, если бы знала, навстречу какой судьбе спешу? Думаю, что да, бежала бы. В этом ведь и заключается выбор —

беспрекословное подчинение своей предназначенности. Вот я и бежала, закинув голову, как в детстве, навстречу любви, тюрьме, лагерю и — главное — самому большому счастью на Земле — близости к творчеству гения. Это ведь, может быть, самая непосредственная близость к мирам Иным. Только не надо думать, что я тогда это знала. Ничего не знала.

Прибежала. Позвонила. Открыл кто-то из соседей. Я взлетела по ступенькам, пронеслась через переднюю, бросилась сразу в комнату Даниила, открыла дверь — комната пуста. Я повернулась, пробежала снова через переднюю, также без стука влетела в комнату Коваленских и застыла на пороге.

Даниил стоял спиной ко мне и разговаривал с Коваленскими, сидевшими на диване. На шум открывающейся двери он обернулся, увидав меня, на полуслове прервал разговор и пошел ко мне. Мы взялись за руки, молча прошли через переднюю, молча пришли в его комнату. И я абсолютно ничего не помню. Очень может быть, что мы ни одного слова и не сказали. Что мы просто вот так, держа друг друга за руки, сели на диван.

Спустя какое-то время так же, не разнимая рук, мы вошли к Коваленским, и Даниил сказал:

— Мы теперь вместе.

Александр Викторович взволнованно спросил:

— Совсем? Без всяких осложнений?

Он имел в виду, конечно, Сережу и Татьяну Владимировну. Но для нас на свете уже не было ничего и никого. Все окружавшее нас исчезло. Были — только мы двое, не разнимавшие рук, мы сказали:

— Ничего. Ни у кого. Ни с кем. Никаких осложнений. Никаких половинчатых решений. Мы вместе.

Тогда же все было сказано Татьяне Владимировне. Можно упрекнуть и меня, и Даниила в жестокости, в том, как мы рвали со всеми. Но это было то, что называют судьбой. Было четкое осознание, что все надо отметать. Переступать через все. <...>

Потом Даниил вернулся на фронт.

Удивительное дело, но Сережа, несмотря на уже довольно прочные отношения с Наташей, очень тяжело переживал мой уход. Он попал в психиатрическую клинику на Девичьем поле, и мы с Наташей ездили к нему по очереди»[366].

Их решение быть вместе не внезапный порыв. Но и не обдуманный, давно ожидаемый шаг. То, что жена друга, несмотря на их разлад, так безоглядно все порвет, без сожалений оставит за спиной, он не ожидал. Но нервная целеустремленность, свойство рвать не оглядываясь, никого и ничего не щадя, нетерпеливая припрыжка навстречу судьбе отличали характер его возлюбленной. Всю войну они переписывались, июньской встречи ждали. Этот день — 21 июня 1944 года — стал для них самым светлым днем в году. Их радость безоблачной не оказалась. Для

Ивашева-Мусатова это стало ударом, для Татьяны Усовой — катастрофой.

Ивашев-Мусатов попал в клинику не в первый раз, тяжелые приступы депрессии бывали с ним и раньше, он даже состоял на учете у районного психиатра. Но уход жены, несмотря на собственное увлечение Натальей Кузнецовой, он счел изменой, казавшейся незаслуженной.

Алла Александровна рассказывала, что именно во время войны началось их «внутреннее расхождение»: «Мне не надо было за Сережу Мусатова замуж выходить. Все замужество было построено на том, что вместе мы писали этюды и читали “Введение в философию” Сергея Трубецкого. А еще мы читали Плотина. В нем я ничего не понимала абсолютно. Вы понимаете, это все не основание выходить замуж. Семейная жизнь наша стала расползаться. В это самое время я получила от Даниила письмо: “Напиши мне подробно, что происходит у вас с Сережей? Ты не можешь представить, как это для меня важно”»[367].

Они не представляли, что их ждет. Еще в 1943 году она с всегдашним ее напором и решительностью писала ему: «У нас крылья достаточно сильны, чтобы их хватило на полет больший, чем любимая комната в Уланском, заставленная книгами — в Левшинском и синяя Коваленских»[368], — отметая стены «постыдного уюта».

«Измена» потрясла Татьяну Усову, самонадеянно ничего не замечавшую. Ее Алла Александровна запомнила в те дни «с цветком в волосах, некрасивой, но цветущей». В одном из писем Даниил, признавая, что в отношении к Татьяне, кроме сочувствия и благодарности, ничего не испытывает, написал ей, что «их взаимоотношения должны будут измениться»[369]. Та поняла эти слова противоположным образом. Ее сестра так передает обстоятельства тех дней:

«Насколько я могу судить по отрывочным фразам из маминых писем, внешне события происходили так: сразу же после моего отъезда Таня затеяла капитальный ремонт квартиры, и когда Даня внезапно приехал, в комнате был сплошной хаос и негде даже присесть. Тогда он сказал, что придет позже, и, видимо, пошел прямо к Алле.

Мне трудно судить, как и в какой последовательности развивались эти драматические события. Но вот (из письма мамы), как при вспышке зарницы, эпизод из того времени. Немного убравшись, Таня идет в церковь (стало быть, Даня сказал ей, что пойдет туда?!). И что же видит: Даня и Алла ставят вместе свечи. Не знаю, подошла ли она к ним или по выражению их лиц поняла, что уже поздно?.. Неизвестно мне также и то, когда, как и в каких словах Даня сказал о своем решении. Но не исключено, что он и не придавал такого значения той фразе, после которой Таня считала его уже своим женихом. <...> Я-то всегда считала, что она Дане совершенно не подходит, хотя бы уже потому, что в ней преобладали черты скорей не женского, а мужского характера. Даня же,

как, наверное, все поэты, очень ценил в женщинах именно женственность»370.

Разрыв Даниила с дочерью трагически переживала Мария Васильевна, смотревшая на предполагаемый союз ее с поэтом как на великое событие и в собственной жизни. «Здесь храм строился!» — восклицала она. Простить ни его, ни в особенности «коварную разлучницу», о коей жадно собирались все недобрые слухи, они не могли. Но Андреев иногда, в отсутствие Татьяны, категорически не желавшей его больше видеть, навещал Марию Васильевну, хотя ему приходилось всякий раз выслушивать от нее жестокие упреки.

Малахиева-Мирович, соглашаясь, что «брат из Салтвореры (Сальватэры!) / Изменой путь свой приземлил», напрасно призывала Татьяну «Собрату сломанные крылья / Лучом прощенья исцелить». А потом убедилась, что «...“вина” Даниила по отношению к Татьяне совсем не так велика, как ей (и мне) казалось. Вся вина сводится к тому, что “сбился с тона” — не тем голосом сказал то, что имел право сказать. А сбился потому, что был переутомлен фронтом и ошеломлен нахлынувшим чувством к женщине, которая давно влекла его и красотой, и своей унисонностью в вопросах искусства, и влюбленностью в его личность и творчество»371.

12. Возвращение в Москву

Андреев отбыл по месту службы. Алла Александровна описывает эту пору так:

«Я жила ожиданием Даниила. Единственное, что хорошо помню из того времени, — это “Гамлета”. Я начала с увлечением работать над эскизами к спектаклю, который, естественно, мне никто не заказывал и никогда бы не заказал. <...>

Я была очень увлечена этой работой. Писала ночами напролет, потому что днем ездила к Сереже в больницу и еще зарабатывала преподаванием в студии. Этими же ночами писала и письма Даниилу.

Работа над “Гамлетом” заполняла время, когда я еще жила одна в гоголевском доме. Потом Сережа вернулся домой из больницы, и Наташа переехала к нему, а я перебралась в комнату Даниила в Малом Левшинском и стала приводить ее в порядок, чтобы, когда он вернется, его ждал прибранный дом и я в этом доме. <...> Через какое-то время вышел указ отпускать с фронта специалистов для работы по профессии. Через Горком художников-графиков я стала добиваться, чтобы Даниила отозвали...»372

В начале осени фронтовой госпиталь, со службой в котором он свыкся, получил приказ о передислокации. Видимо, к этому времени относится эпизод, переданный, со слов самого Андреева, в воспоминаниях Бориса Чукова. У начальства госпиталя «не было письменного стола, и Д. Л. пошел в соседний дом и под честное слово

вернуть забрал полированный письменный стол у симпатичной барышни-латышки. При перебазировании <...> Д. Л. с ужасом увидел, что стол уже погружен солдатами на грузовик. Он потребовал возвращения стола хозяйке, что было встречено солдатами дружным смехом. Тогда Д. Л. вступил в драку с солдатами, те были поражены его решимостью и уступили. В итоге стол был возвращен»373.

Войска Прибалтийского фронта перешли границу, двигаясь на Будапешт и Вену. Госпиталь тронулся вслед за наступающей армией. А рядового Андреева, после долгих хлопот, в октябре 1944-го откомандировали в Москву, в Музей связи Красной армии для участия в оформлении экспозиции. Упорные хлопоты Аллы Александровны возымели действие. Она вспоминала о его возвращении:

«Рано утром в дверь позвонили. Я всегда знала его звонок. Ну, казалось бы, вскочила с постели, побежала, как есть, открыла... Ничего подобного. Я застыла. Села на диване и замерла, не в силах шевельнуться. Он поднялся по лестнице, вошел в дверь. Вид у него был ужасный. Нестроевой солдат — это жалкая картина: шинель, бывшая в употреблении, ни на что не похожая, обмотки и огромные жуткие башмаки. Единственное, что он в своей одежде любил, — это пилотку, во-первых, потому, что считал ее изящной, во-вторых, она закрывала его такой высокий красивый лоб, которого он стеснялся...

Эту жизнь надо было как-то устраивать. Музей связи — военный музей, и Даниил должен был работать в нем как профессиональный художник-оформитель, каковым не являлся. Он был хорошим шрифтовиком, любил и профессионально делал схематические карты, мог красиво, со вкусом сделать какие-то отдельные экспонаты, но этого было мало. Надо было что-то предпринимать»374.

Устраивать и предпринимать было в бойцовском характере Аллы Александровны, и она стала придумывать, «каким образом сделать, чтобы Даниил мог работать дома». «Принарядившись как могла, — вспоминала она, — приехала в Музей связи и явилась к начальнику. Понятия не имею, что я ему щебетала, как доказала, что моему мужу надо работать дома, но доказала, и он “откомандировал”, так сказать, Даниила домой, чтобы он там работал, а в музей являлся по определенным дням и привозил готовую работу. Таким образом, дома работала за него я. Правда, как раз шрифты я писала плохо, а делала работу художника-оформителя. Это были какие-то бесконечные диаграммы, схемы и что-то еще. Я все это придумывала, рисовала, наклеивала на планшеты, вообще вкладывала в работу весь свой уже довольно большой опыт. Даниил писал шрифты и отвозил работу в музей»375. Но до разрешения работать дома, полученного далеко не сразу, он вставал затемно, возвращался поздно, усталым, выдохшимся.

Алла Александровна рассказывала:

«С этими поездками возникло еще одно смешное осложнение, когда понадобилась моя способность щебетать, глядя в лицо мужчине, и получать то, что надо. — Был уже конец войны, шла зима 44/45 года, близилась последняя военная весна. И многих молодых мужчин, мобилизованных по возрасту, на фронт уже не отправляли. Им давали безопасную, но очень нудную работу. Они патрулировали на улицах, особенно много их было в метро на всех выходах.

<...> Для мальчиков-патрульных Даниил был, конечно, желанной добычей. Они его останавливали чуть не каждый раз, когда он ехал домой из Музея связи, и отправляли на гауптвахту, еще хорошо если мыть пол, а не чистить туалеты. Обычно ему приходилось там ночевать. Один раз его задержали за зеленые камуфляжные пуговицы. Когда я заменила их на блестящие медные, его остановили уже потому, что на шинели пришиты медные пуговицы, а должны быть защитного цвета. <...>

Вообще Даниил очень странно относился к себе. Как-то мы ехали на трамвае к моим родителям. Подъезжаем к Петровским воротам, я обращаюсь к нему с чем-то, а он отворачивается. Я ничего не понимаю, спрашиваю еще раз, думаю, может, не расслышал. Даниил опять отворачивается, еще более резко. Я замолкаю. Выходим у Петровских ворот, и тут я говорю:

— Что случилось? В чем дело?

И слышу невероятный ответ:

— Неужели тебе не понятно, что такая женщина, как ты, не может иметь в качестве спутника то, что я сейчас собою представляю»376.

Далеко не каждый вечер после работы в музее Андреев мог сесть за недавно ему переданную отцовскую «Корону». До войны пишущей машинки у него не было вовсе. Рукопись, закопанная в Валентиновке, пропала — бумага отсырела и слиплась, чернила расплылись. Экземпляра, оставленного у Татьяны Усовой, он, видимо, вернуть не смог и, по свидетельству Аллы Александровны, «Странников ночи» «начал писать заново буквально с первых строк...»377. Но главными причинами переписывания романа стали пережитая война, новое понимание людей и событий.

Писание всегда определяло его жизнь. Главным оно стало и для жены. Она со всей решительностью стала устраивать их общую жизнь, целеустремленно оберегая мужа и его творчество. «Обрубила», по ее словам, «подчиненные» отношения Даниила с Коваленскими, оградила от излишних, как она считала, посещений друзей. Атмосфера дома изменилась. Старым друзьям, раньше приходившим запросто и в любое время, а теперь встречавшим рядом с ним непреклонную охранительницу покоя и вдохновения, стало казаться, что перемены произошли разительные. Татьяна Морозова свое впечатление от

посещения Андреевых 20 декабря 1944-го выразила так: «дикая перемена окружения»[378].

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

СОЧЕЛЬНИК. 1945—1947

1. Сочельник

Стихотворение «Сочельник» написано в январе 1949 года, в тюрьме. Это воспоминание о Рождественском сочельнике 1945-го, о сочельнике счастья:

Речи смолкли в подъезде.
Все ушли. Мы одни. Мы вдвоем.
Мы живые созвездья,
Как в блаженное детство, зажжем.

Пахнет воском и бором.
Белизна изразцов горяча,
И над хвойным убором
За свечой расцветает свеча.

А на белую скатерть,
На украшенный праздничный стол
Смотрит Светлая Матерь
И мерцает Ее ореол.

Ей, Небесной Невесте, —
Две последних, прекрасных свечи...

В двух горящих в ночи свечах он видит «Божий знак» «затерянным, горьким, двоим».

«В той нашей комнатке кроме мебели <...> был еще маленький круглый столик. За ним мы обедали. Другой был не нужен — нечего было на него ставить. И вот Сочельник 45-го.

Тот столик я накрыла белой скатертью. Что на нем стояло праздничного, не помню, вряд ли что-нибудь особенное. Зажгли большую голубую лампаду у иконы Матери Божией. Украсили маленькую елочку шариками и свечами. Я нарядилась. Даниил очень любил смотреть, как я наряжаюсь. Он садился с сигаретой в руках и говорил, что это похоже на то, как распускается цветок. Что происходило на самом деле? Да я просто снимала каждодневную блузку и надевала единственную праздничную — белую с широкими рукавами, а юбка была одна на все случаи жизни. Пыталась немножко причесаться, что мне никогда не удавалось. И это-то Даниил воспринимал как распускающийся цветок! Вот я переоделась, причесалась, оглядываюсь

и вижу — он сидит на диване с глазами, полными слез. Я, конечно, подбежала. А он говорит: “Не пугайся. Это от счастья”.

Этот вечер — одно из самых счастливых воспоминаний моей жизни»379, — признавалась Алла Александровна Андреева.

Впервые за долгие годы, мучавшийся тем, что не может «любить, как все», он ощутил себя счастливым. Озаренное зажженными свечами любимое лицо, рождественский снежный отсвет в окнах, свечной запах, не перебивающий нежный хвойный, белоснежная скатерть, жар натопленной голландки остались в нем и в ней навсегда.

Он был благодарен за теплоту счастья, которого давно не ждал: «Ведь многие же считали меня маниаком, одержимым, а ты не испугалась полюбить и переплести свою судьбу с моей»380.

В первой редакции «Сочельник» оканчивался по-иному, молитвой Владычице Рая:

Роковую разлуку,
Роковое томленье прерви,
Слей их радость и муку
В общий пламень тоски и любви,
В синий пламень бессмертья,
Синий ирис у трона Отца,
Ты, Звезда Милосердья,
Ты, живая Любовь без конца.

И все-таки в стихах они счастливые, но «странники ночи», впереди — разлука. А эта рождественская ночь — недолгая, озаренная свечами передышка.

Война не окончилась, наши армии с тяжелыми боями продвигались по Европе, начиналась Восточно-Прусская операция. Гекатомба Отечественной войны продолжала расти. Сталин с ледяным бездушием, как сказано в «Розе Мира», продолжал бросать «в мясорубку миллионы русских», а Гитлер, «скрежеща зубами, с пеной у рта бросаясь на пол и грызя ковер от ярости, от досады и от горя о погибающих соотечественниках, всё же гнал и гнал их на убой...».

2. В «маленькой комнате»

«Душа Андреева как бы начиналась с его комнаты, — заметил Ивашев-Мусатов, описывая дом Добровых и его обитателей. — Его комната была средней по размеру. Прямо против входной двери в стене были два окна. Простенок между этими двумя окнами был весь занят многочисленными небольшими портретами (в размер открытки) близких по духу людей Андреева. Здесь были портреты Льва Толстого, Владимира Соловьева, Достоевского, Тютчева, Лермонтова, Гюго, Ибсена, Шопена, Шуберта, Шумана, Листа, Вагнера, Бетховена, Баха, Моцарта, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского. К стене направо от входа стоял

большой книжный шкаф, а над ним висела одноцветная большая картина, на которой был изображен Данте, навстречу которому шла Беатриче с юной девушкой. Перед простенком с портретами стоял письменный стол, на нем портрет отца Даниила Леонида Андреева.

<...> Никто не удивился бы, войдя в эту комнату, если бы, когда вошедший высказал бы какую-нибудь глубокую мысль, он услышал бы ответ, произнесенный одним из тех, портреты которых висели на стене. Это воспринялось бы вошедшим вполне естественно и не вызвало бы в нем никакого недоумения. <...> Такова уж была атмосфера комнаты Даниила, что в ней должно было случаться так!»381

«Маленькую комнату», где ютилось их беззащитное счастье, уцелевшую только в его стихах и воспоминаниях друзей, описала и жена поэта. «Она была маленькая, четырнадцать или пятнадцать метров. В ней стояли большой письменный стол Даниила, за которым он работал, и мой маленький дамский письменный столик. Я не припомню, откуда он взялся, но вспоминаю его как живое потерянное существо. Я так его любила! Над этим столиком висел образ Владимирской иконы Божией Матери — освященная фотография. Владимирская Матерь Божия — это любимая икона Даниила. Еще в комнате стояли большой диван, скорее матрац на ножках, на котором мы спали, маленький шкафчик, где помещались вся наша посуда и все продукты, да еще и место оставалось. У окна стояло большое кресло, и кругом, до потолка, книги. Еще там был вышитый ковер, закрывавший дверь в комнату, где при жизни стариков Добровых жили Коваленские, а потом поселились очень хорошие соседи. Они тоже прошли через тюрьмы и лагеря. На этой двери на нескольких гвоздях висел весь наш гардероб. <...>

Верхнего света не было. Даниил его не любил. В разных местах зажигались лампы. Еще у Даниила была такая особенность: мы никогда не закрывали дверь. Уходили, не запирая, оставляя горящую лампу. Он очень не любил приходить в темную комнату и, уходя, оставлял горящую лампу»382.

В комнате уже царила она. Рядом с фотографией Галины Русаковой, которую Даниил попробовал убрать, но она, по ее рассказу, не дала, появилась ее, шестнадцатилетней красотки — фотография известного мастера Паоло Свищова.

Вспоминается «Мастер и Маргарита»: «...громадная комната — четырнадцать метров, — книги, книги и печка. Ах, какая у меня была обстановка!» И такая же обреченная любовь, и пишется роман, предназначенный к сожжению, и та же боязнь темноты, и снящийся если не спрут, то змей, а впереди — тюрьма, да и психиатрическая клиника — Институт Сербского... И хотя Алла Александровна уверяла, что в Данииле не было ничего похожего на Мастера, а она вовсе не Маргарита, ставшая ведьмой, было, было что-то удивительно схожее в их судьбе, предугаданной Булгаковым.

Описания комнаты можно чуть уточнить. Рядом с фотографией Аллы Бружес стояла бронзовая статуэтка бодисатвы. На стенах кроме упоминавшейся репродукции картины Данте Габриеля Россетти «Данте с Беатриче на улице Флоренции» — «Джоконда». Икона находилась над перечисленными Ивашевым-Мусатовым портретами. Диван стоял слева от двери, над ним висела полка с книгами. Стену справа целиком занимали книжные полки. Дверь за ковром в комнату соседей была слева от окон, около левого окна стоял и рабочий столик Аллы Александровны.

Кухней в подвале перестали пользоваться еще во время войны и готовили в комнатах или в передней, где стояли керосинки, — берегли тепло. В заброшенном отсыревшем подвале, куда вела узкая деревянная лестница, напоминали о более щедрых временах большая запыленная плита и просторный сундук для куличей: их когда-то пекли на Пасху столько, чтобы хватило до Троицы.

Наверное, вспоминая о том времени, Алла Александровна рассказывала и о дворе добровского дома, где были клумбы, где в глубине росла трава, темнели дровяные сараи, которые сторожили два сенбернара — Султан и Норма.

«Мы с Даниилом, — вспоминала она, — топили печку, переделанную из голландки в шведку, — это одновременно печка для отопления и плита. Она закрывалась медными дверцами, и там был еще бачок с краном для кипятка. Это было волшебное место, живой огонь. Как его не хватает в жизни! Печку следовало топить каждый день. Однажды нас с Даниилом весь день не было дома. Потом мы пришли, в комнате — холодно. Даниил принес дрова, мы стали растапливать, я накинула на плечи его шинель.

— Господи! Сейчас же сними! Сию минуту сними шинель!

Я, конечно, сняла:

— А что такое?

— Никогда не бери шинель. Я достаточно нагляделся на фронте на женщин в шинелях. Ничего более страшного, более неестественного, чем шинель на женщине, не может быть!»[383]

Только после возвращения в Москву Андреев стал ощущать, как тяжело дались военные годы. Напряжение отпускало, давая знать хворями — старыми и новыми. Он не мог ни привыкнуть, ни притерпеться к войне — крови и смерти, человеческим страданиям, иноматериальными излучениями которых — гаввахом, сказано в «Розе Мира», — питаются демонические силы. Его мучили сами армейские безжалостные будни, когда ни днем ни ночью не принадлежишь себе. К тому же два фронтовых года он почти ничего не писал.

«Как-то он сказал, — заметила Алла Александровна, — что с войны человек не может вернуться целым, он обязательно будет ранен или физически, или психически, или морально. Он тоже вернулся раненным этой войной, и очень глубоко. Недаром через много лет он начнет “Розу

Мира” с тревожных мыслей о двух главных опасностях, грозящих человечеству: всемирной тирании и мировой войне»384.

3. Судьба Глинского

Зиму и весну 1945 года Андреев проходил в солдатской шинели. Служба в Музее связи продолжалась, за нее он получал паек. Жена получала паек в МОСХе. Брать работу домой ему разрешили далеко не сразу, подневольная занятость удручала. Подруга Елизаветы Сон, его одноклассницы, которую он в те месяцы навестил, запомнила его таким: «Пришел человек в шинельке, весь худой, вид очень несчастный»385. Топорщившееся шинельное сукно, серо-зеленое, под цвет шинели, усталое лицо, впалые щеки, болезненный взгляд.

У тридцатилетней его жены вид был не несчастный, а уверенный и деятельный, несмотря на худобу и бледность. Даниил, где-то вычитавший, что нежные и бледные анемоны, как и цикламены, в народе называют дряквами, смеясь, стал называть ее дряквой — «моя милая, нежно-весенняя дряква!».

Той зимой умерла Феклуша, которая, встречая Даниила, всегда вспоминала доктора. Ей было около восьмидесяти. Ламакина запомнила, как перед кончиной просила ее дать знать с того света, есть ли там жизнь. А после ее смерти увидела сон: идет по коридору Феклуша, улыбается ей и говорит: «Там все живы!»

12 мая Даниил писал Митрофанову: «Мое непростительно долгое молчание, правильнее сказать — исчезновение, вызывалось совершенно дико прожитой зимой — болезнями и полосами крайней загруженности, чередовавшимися в каком-то горячечном темпе. Сейчас я продолжаю вставать в шесть, возвращаться домой в десятом часу вечера и тут же валиться в постель. Но открытие музея, в котором я работаю, должно на днях состояться, и тогда все пойдет спокойнее. Но здоровье скверно, и надо предпринимать какие-то меры; впрочем, сам еще не знаю какие»386.

25 июня 1945 года, после открытия Музея связи, Анд_реева демобилизовали и признали инвалидом Великой Отечественной войны 2-й группы с пенсией 300 рублей. Диагноз: «маниакально-депрессивный психоз атипичной формы».

Теперь он мог снять гимнастерку с мятыми погонами, не остерегаться патрулей, мог сидеть над рукописями когда угодно. Правда, оставалась забота — на что жить. Его сочинения — не для советской печати. Примеру хваткого Коваленского следовать было нелегко.

Александр Викторович еще во время войны предпринял очередные попытки стать советским писателем, сочинив повести «Партизаны» и «Дочь академика». Но потерпел неудачу. Его выручала переводческая стезя, на которую он вступил, и почетная, и, при удаче, безбедная. Весной 1945-го он принялся за перевод любимого им Генрика Ибсена, драматической поэмы «Бранд». Ибсеном оказались овеяны для

Коваленского все послевоенные, предарестные годы. «Бранда» он завершил весной 1946-го, следом принялся за «Пер Гюнта». В Большом зале консерватории 6 марта исполнялся «Пер Гюнт» Грига. Совпадение для чуткого к символическим знакам и намекам Коваленского неслучайное. Ибсеновские монологи ненавязчиво перекликались с судьбой. «Мы приговор не знаем свой», — говорит Бранд в его переводе. Осенью 1946-го Коваленский сумел купить хороший радиоприемник и стал слушать зарубежное радио. Это было небезопасно. Но он не мог и предположить, что пишущийся в соседней комнате роман станет страшным приговором всем им.

Медленно, но неуклонно продвигавшиеся главы «Странников ночи» магически втягивали в себя жизнь автора, жизни его близких и дальних. Рукопись, перепечатываясь на отцовской машинке, видоизменялась, разрасталась. В первой редакции роман состоял из двух частей, или томов, и второй том Андреев считал незавершенным. Теперь в нем стало четыре части. Еще летом 1944-го, когда служба в госпитале стала оставлять время, он попробовал «двинуть» роман дальше. Наверное, тогда же задумал и продолжение — «Небесный Кремль». В нем уцелевшие герои должны были, вслед за автором, пройти через войну, с которой поэт Олег Горбов возвращался потерявшим зрение.

Даниил Андреев писал о сегодняшнем, о ночи над Россией. За военные годы ночь не отодвинулась, не отгорела с фронтовыми заревами, не сделалась историей. Странники ночи продолжали пополнять лагерные лесосеки. Но война и ее окончание, увидевшееся ему не только в майском победном салюте, а и в первых атомных грибах, приоткрыли опасности будущего, планы противобога. Роман становился совершенней, значительней. Но не от стилистической правки. Сказавшийся на нем опыт войны сказывался и на его героях, увидевшихся резче, объемней. Стало ясно, чем продолжатся их странствия.

«Первый черновик, в буквальном смысле сырой, мы сожгли своими руками. Мы потому его сожгли, чтобы было меньше, что прятать. Мы все время ощущали себя под лапой»[387], — говорила вдова Андреева. Она удивлялась тому, что он попросил у нее разрешения воспользоваться некоторыми ее чертами для образа одной из героинь — Марины. Алла Александровна считала, что обычно писатели делают это без спроса. Но Даниил, видимо, ощущал, что все, кто так или иначе соприкасается с романом, оказываются и в реальности связаны с его роковой логикой.

«Он писал каждую ночь. Я ложилась, засыпала, а Даниил садился за письменный стол, за машинку и страницу за страницей, главу за главой воссоздавал свой роман. В романе, помимо огромной глубины идей, мыслей, прекрасных образов, им созданных, совершенно удивительно была передана Москва, такая живая, реальная. <...> Каждый вечер

он читал мне главу романа, написанную предыдущей ночью. И не просто читал, а мы вместе переживали каждую строчку.

Вот когда пригодилась моя странная способность к сопереживанию. Нередко Даниил обращался ко мне, рассказывал ситуацию, возникшую в романе, и спрашивал (чаще о женских персонажах, естественно): “Скажи, а как она двигается, какой тут может быть жест, как она говорит?” И я старалась проникнуться состоянием героини, стать на какой-то момент ею и догадаться, как она поведет себя. Так мы и жили вместе как бы в пространстве романа, и герои его окружали нас, как живые»388.

Роман развивался вместе с судьбами героев, входящих в мистическое братство, сосредоточенное вокруг Глинского. Не потому, что Глинский обретший и посвященный. Нет, он, как и автор, ищущий и чающий. В нем много от автора — отнюдь не теософски рассудочная влюбленность в Индию, сосредоточенность на русской истории, на ее роковых вопросах. Его обреченность — он болен туберкулезом, — его кабинетность концентрируют страстную волю к деятельности, поэтому Глинский так стремится объединить и собрать вокруг своего мезонинчика на Якиманке единомышленников — «синее подполье». Существовали подобные мистические братства, вернее кружки, в сталинской Москве? Наверное. Точнее, их притаившиеся приверженцы. И немногие уцелевшие «мистические анархисты», к которым принадлежали Налимов и близкая знакомая Усовых Проферансова, и рассеянные остатки антропософов, и розенкрейцеры. Но Андреев, как и его герой, не разделял теософских доктрин, не состоял членом тайных обществ. Он ждал личного откровения. И в каждом из «странников ночи» присутствовал автор, искатель высшей истины и света.

Хотя поэта Андреев изобразил в другом герое — Олеге Горбове, в судьбе Глинского он отчасти предугадал собственную. Летом 1937 года его герой неожиданно арестован и попадает в переполненную камеру со спертым тюремным воздухом, с запахом параши.

Этот эпизод романа мы знаем из пересказа вдовы автора.

«Бесконечные, почти всегда ночные, допросы. Среди собранных в камере совершенно разнородных людей — православный священник и мулла. Они двое и Глинский, без слов понимая друг друга, образуют как бы треугольник защиты: по очереди, один из них молча молится о всех, находящихся в камере. Когда его вызывают на допрос или совсем покидают силы, он взглядом передает свою молитвенную стражу другому.

Какое-то время Леонид Федорович пытается вывернуться из предъявляемых ему обвинений, совершенно неопределенных, поскольку дело надо целиком “шить”, основываясь пока лишь на факте отказа от голосования за смертную казнь.

Была глава, посвященная очной ставке с одним из сослуживцев Глинского, взятым раньше. Эта глава называлась “Остатки человека”, и этим названием все сказано.

Наступает кульминация всей жизни этого героя.

На очередном допросе он бросает всякие увертки и начинает говорить. Не о своей группе, не о людях — ни одного имени он не называет. Остолбеневшим следователям, без их вопросов, он говорит все, что думает о советской власти, о погубленной России, о чудовище — Сталине, обо всей жуткой, вооруженной машине, против которой он стоит один, больной и безоружный. Говорит все ярче и горячее, постепенно понимая, что вся его жизнь была прожита для этой минуты, для того, чтобы в застенке сказать палачам и убийцам, что они — палачи и убийцы, приспешники Зла.

По условиям советской действительности эта речь должна была кончиться расстрелом, но для Глинского конец приходит иной: с сильным горловым кровотечением, начавшимся тут же, в кабинете следователя, его уносят в тюремную больницу, где он вскоре умирает»[389].

4. В Филипповской

Требовался отдых, и в начале июля они отправились в Филипповскую, куда Андреевых, а следом и Галину Русакову с мужем, зазвала Морозова. Хотя она сама в Филипповской, где прожила всю войну, осталась чужой. По воспоминаниям дочери, деревенские говорили, издеваясь над ее житейской неумелостью: «Хуже тебя нет человека на свете». Жила она с дочерьми в тесной пристройке трудно, голодно, к концу войны руки ее стали трястись, лицо подергиваться. Друзья ненадолго скрасили ее беспомощное одиночество.

Добираться пришлось долго, на перекладных — деревня находилась в сорока километрах от Загорска, по направлению к Вербилкам, в стороне от проезжей дороги. Места большей частью низменные и лесистые. За полями синели перелески, петлявшие проселки открывали пологие холмы, в недалеких чащах таились болота.

«Мы очень хорошо провели там месяца полтора, — вспоминала Алла Александровна. — Гуляли все вместе или вдвоем с Даниилом. Как раз тогда, 6 августа, американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Даниил это страшно переживал. Самым драгоценным в мире для него была культура, поэтому свершившийся ужас он воспринимал как возможное начало гибели мировой культуры. <...> Смешно и дико, что в ходе следствия именно Даниилу пытались приписать попытку подложить атомную бомбу под Красную площадь.

Мы много гуляли вдвоем. Вся деревня над нами смеялась, потому что не понятно, что за люди: грибов не собирают, вообще ничего не делают, а, как выражались деревенские, “хлыстают и хлыстают”»[390].

Прогулки получались дальними, многокилометровыми. Они шли проселками и лесными тропами, дышали вольным воздухом почти безлюдного простора, забредали в дикие малинники. В округе часто встречались пруды, большей частью заросшие кугой, в перелесках бурой водой мерцали бочаги. В непритязательной природе они находили что-то врачующее, успокаивающее. Здесь к нему возвращались стихи:

И если бывало мне горько и больно,
Ты звездную даль разверзал мне в тиши;
Сходили молитвы и звон колокольный
Покровом на первые раны души.

Возможно, о детских ранах души ему напомнило присутствие Галины Русаковой. Мучила невозможность помочь Татьяне Морозовой. Она тоже была из его детства, из счастливого младенчества. Внутреннее беспокойство заметно в письме из Филипповской Миндовской:

«Живем в абсолютной изоляции. Ни писем, ни газет — и совершенно не представляем, что делается среди друзей. За Вас как-то особенно тревожно. <...>

Очень трудна и утомительна была сама дорога, да и условия жизни оказались не вполне удобными. Во-первых, помещение лишено изоляции, во-вторых — чудовищное полчище блох и стаи мух, не дающие спать, в-третьих — погода, превратившая местность более или менее в болото и не позволяющая вдоволь насладиться солнцем и теплом. Спим очень мало и плохо, тем более что давно вышел весь люминал. Но все-таки стараемся не падать духом и взять от этой поездки все, что возможно. Гуляем каждый день; промокли до нитки только один раз. Ходим за ягодами (здесь уйма лесной малины), немного читаем и крохотулечную чуточку занимаемся. Только здесь выяснилась в полной мере степень нашей усталости. Такое чувство, что надо бы еще 2—3 месяца растительной жизни, чтобы опять превратиться в людей. Но это, конечно, нереально»391.

Вечерами мужчины отправлялись за водой на колодец и долго стояли там, что-то обсуждая. Их беседы жены, смеясь, стали называть «мужчины у колодца». Во время такого стояния у колодца они и узнали об атомном взрыве. Кто-то услышал сообщение по радио.

Дождливая погода с начала августа сменилась зноем, и засобиравшиеся было Андреевы остались еще на неделю.

«Очень вылезло старое... — делилась Татьяна Морозова в письме подруге, знавшей и Андреева, и Русакову, их давние отношения. — Погода наконец установилась, началась жатва, работаем целыми днями, т<ак> ч<то> Даню и Галю я почти не вижу. Только вечером, но они рано ложатся и пытаются уснуть, чему мешают блохи. Сегодня хороший вечер, Даниил мрачен, и Алла не отходит от него. Пошла к Галиному окну, предложила ей выйти, но она не может, моет посуду. <...>

Прекрасный она человек, я ее любила, мою “королеву”... Завтра все уезжают. Тяжело, даже очень»[392].

Гости уехали 19 августа.

5. Новая жизнь

Сразу после Филипповской они отправились в Измайлово, к Миндовской. Ее мужа все еще не отпускали из армии. Измайлово в те времена казалось загородом, хотя туда можно было добраться на метро или на 14-м трамвае. Место называлось с незапамятных времен Анны Иоанновны Измайловским зверинцем. Дачная улица — небольшие деревянные дома с мансардами и высокими крышами — располагалась у самого леса, ставшего Парком имени Сталина.

На втором этаже дома с балкончиком в 4-м Измайловском проезде, среди лиственниц и лип, уже разместились две гостьи. Они, как оказалось по недоразумению, заняли место Коваленских, которые сами же направили их к Миндовской. Это две замечательные женщины — Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт, бывшая жена поэта, и ее ближайшая подруга — Леля, Ольга Николаевна Анненкова. Они и жили, точнее доживали, вместе, в Хлебном переулке (подруг потом и похоронили рядом на Даниловском кладбище). Екатерина Алексеевна, узнав о смерти в Париже Константина Бальмонта, в 1944-м принялась писать о нем, потом, увлекшись, о другой своей давней любви — о князе Урусове, и закончила воспоминаниями о детстве. Видимо, в Измайлове она не оставляла этих занятий. Гуляя, отстраняла собеседников клюшкой, чтобы не нарушали ее ауры.

Андреева-Бальмонт была убежденной антропософкой, как и ее младшая подруга. Несмотря на разницу между ними в семнадцать лет, часто казалось, что они — ровесницы, несмотря на непохожесть: Екатерина Алексеевна — высокая, внушительная дама, Ольга Николаевна — небольшого роста, худощавая, подвижная. Обе с молодости искали разгадок «тайн бытия» по доктору Штейнеру. Анненкова слушала лекции доктора, строила Гётеанум и даже получила от него права «гаранта», то есть имела полномочия принимать в общество. В 1931-м ее арестовали по делу антропософов, но она отделалась трехлетней высылкой в Орел.

По свидетельству Аллы Александровны, эти милые старушки пытались увлечь антропософской верой и Даниила. Книгами Анны Безант, Рудольфа Штейнера, конфискованными при аресте, снабжали его они. Благодаря им он прочел неопубликованные «Воспоминания о Штейнере» Андрея Белого, упомянувшего в них Анненкову. Но Штейнер не увлек Андреева, и не только потому, что показался «великим путаником», а из-за «резкой антипоэтичности». Отсутствие поэзии, считал он, признак ложных построений.

В Измайлове Андреевы чаще всего гуляли по лесу, шли к Серебряному пруду, иногда, по аллейкам в акациях, выходили к

запустенью Государева двора, облепленного пристройками и давно забывшего богомольного Алексея Михайловича.

Здесь, в Измайлове, Андреева навестил Амуров. Они подружились в госпитале и вспоминали 1944 год. После того как Андреев уехал из Резекне в Москву, госпиталь оказался в Будапеште, потом в Вене. Амуров с грустной улыбкой рассказывал, как они, молодые, сработавшиеся и сроднившиеся за войну врачи, мечтали после победы устроиться работать вместе. И вот прошло совсем немного времени, а жизнь разбросала всех по городам и весям.

После беззаботных прогулок в начале сентября они вернулись домой, к будням. По ночам он писал. Тому, чтобы роман писался, мешало всё. Заботы о хлебе насущном, скудном и достававшемся трудно. Приступы депрессии. Вседневные, не кончавшиеся хлопоты. Но, когда не писалось, ему становилось еще тяжелее. Жене запомнились короткие отдохновения, вечера вдвоем. «Даниил читал вслух, я вышивала. Это называлось “мы читаем”. Как-то случайно я разыскала очень красивые разноцветные нитки — гарус, кусочек канвы и хорошие иголки. Даниил сказал, что все это принадлежало Бусеньке, Евфросинье Варфоломеевне. Он страшно обрадовался, когда я нашла эти нитки, канву и начала вышивать. Я вышила сумочку, потому что ее у меня не было»393. Он читал ей то, что писал. Читал «Преступление и наказание», «Тристана и Изольду», Мережковского, рассказы отца...

Тогда же они вместе стали бывать в консерватории. Слушали Вагнеровский цикл, потом Бетховенский. «Лоэнгрином» дирижировал Мравинский. Это запомнилось. Выросшая в музыкальной семье, Алла Александровна без музыки жить не могла.

«Так началась наша жизнь, — вспоминала она о послевоенном времени как о счастье. — Мы были очень бедны. К этому времени я уже стала членом МОСХа, но денег все равно не было. Поэтому мы не могли обвенчаться: не на что было купить кольца. <...> Расписались мы с Даниилом 4 ноября 1945 года. Важно, что мы были вместе, и, конечно, мы тогда думали, что вот еще немножко — и обвенчаемся. Обвенчались мы через двенадцать лет...»394

Поглощенный романом, стихов он писал немного. Одно из тех, в 1945-м написанных, — о детстве. После войны, после утрат, горьких для него размолвок с Коваленскими он все чаще вспоминал маму Лилю, дядю, свет добровского дома: «Наставников умных и спутников добрых / Ты дал мне — и каждое имя храню...» Стихи вырастали из благодарности — «За детство — крылатое, звонкое детство...» Были и встречи, напоминавшие о «звонком» детстве. Узнав, что наконец-то он женился, пришла посмотреть на Данину избранницу няня, когда-то выхватившая его из чернореченской проруби. Они не виделись с начала войны. Потом случайно встретился с Ириной Кляйне. «Как-то мы ехали в троллейбусе, перед нами, через два сиденья, сидела женщина с пышными белоснежными волосами, которыми мы с Даниилом залюбовались, —

рассказывала Алла Александровна. — Когда она вышла и Даниил глянул за окно, он узнал Ирину Кляйне. “Кляйне, Кляйне!” — закричал он. “Данечка!” — Она его узнала, но троллейбус уже покатил. Кляйне была теперь Ириной Ивановной (Яновной) Запрудской». Это была совсем не та Ирина Кляйне его детства, а уверенная, благополучная жена работника МИДа, «очень советская». Но общие воспоминания волновали и ее.

6. Встречи

«...Господь дал нам вместе услышать начало колокольного звона, когда ожил голос колокола Новодевичьего монастыря в Сочельник 1946 года. Мы шли на Новодевичье кладбище, на могилу матери Даниила, когда в одно мгновение воздух наполнился этим потрясающим звуком, а прохожие, тайком поглядывая друг на друга, тихо плакали»[395], — вспоминала Алла Александровна. После Рождества они опять собирались в Измайлово.

Мужа Миндовской в декабре 1945-го демобилизовали. Лев Михайлович Тарасов казался человеком тихим, но очень впечатлительным, болезненность подчеркивали сгорбленные плечи. Из армии, где, как и Андреев, служил в госпитале, Тарасов вернулся с нервным расстройством, мучился депрессиями. Волнуясь, молчал, курил, аккуратно держа двумя пальцами всегдашнюю «беломорину». Но внутренне сосредоточенный и твердый, верующий, производил впечатление значительное. «Кремень», говорили его знавшие. Тарасов был искусствоведом, писал стихи. Работал в издательстве «Искусство». Его независимость нравилась Андрееву. Еще с фронта он в одном из писем Валентине писал о Тарасове: «Я чувствую в нем близкого человека, никогда его не видав, — как это ни странно»[396]. Познакомившись, они подружились. Дружба стала семейной.

Поздравляя Тарасовых с Рождеством, Андреев спрашивал: «Удобно ли Вам, если мы нагрянем вечером 10 января? Если удобно — позвоните. В случае, если звонка не будет, мы будем считать, что эта комбинация, как принято выражаться, Вас “устраивает”.

Сейчас крутимся, сбиваясь с ног, с диспансером, ВТЭКом, обменом паспорта и т. п.»[397].

Начавшийся год легкой жизни не сулил. Москва жила трудно и скудно, по карточкам. Поэтому объявленное 26 февраля понижение цен в «коммерческой торговле» — подешевели хлеб, макароны, крупы, даже папиросы на 50 процентов — сулило облегчение. Но постоянной работы у них не было. «А зарабатывать на жизнь было надо, — повествует Андреева. — И вот друг Даниила Витя Василенко договорился со своим знакомым, работавшим в Третьяковке... Фамилия сотрудника Третьяковки была Житков. Мы ужасно нуждались в деньгах. Поэтому, когда я пришла в Третьяковку и Житков меня спросил: “Что вы могли бы сделать?”, я ответила: “Да все, что угодно”.

Я имела в виду, что буду копировать что угодно, лишь бы работать. А он воспринял мои слова совершенно иначе, рассмеялся и сказал:

— Мне ваша самоуверенность мила. Хорошо. Делайте “У дверей Тамерлана” Верещагина.

О Боже! Дверь, изображенную Верещагиным, я думаю, все помнят и могут мне посочувствовать, но никто даже не подозревает, как трудно было копировать штаны двух стражей, широкие, сафьяновые, узорчатые»398. После Верещагина писать копию юоновского «Марта» было отдохновением.

Увидевшая его той зимой (12 февраля) баба Вава писала в дневнике: «Был сегодня Даниил. Последние три года видимся не больше двух раз в году. Но внутренняя связь, надорвавшаяся было года полтора тому назад, восстановилась в прежней, с его детских лет, живой силе и правде. Но как постарел он, бедняжка! Изнурение и опустошение — точно по безводным пустыням среди миражей прошел эти годы»399.

Без друзей они не жили. Редко, но забегал Василенко, появлялся, бывая в Москве, ставший главным архитектором Курска Шелякин, бывали Ивановский, Ивашев-Мусатов с женой, Лиза Сон, Ирина Арманд. Заезжали сослуживцы по госпиталю — Амуров, Цаплин. Читались свеженаписанные главы. 6 марта Андреев писал Тарасовым: «Мы очень соскучились. Но все это время болела Алла, да и сейчас мы еще не в состоянии выбраться в такое путешествие, как к Вам. Если Вы — в более подвижном состоянии, то было бы изумительно, если б Вы выбрались к нам»400. И они выбирались.

В следующий раз Андреевы поехали в Измайлово после Пасхи, 2 мая, когда зелень стала распускаться. Приезд они назвали «набегом», а день приезда «штурмом». В этот день женился брат Аллы Александровны — Юрий. Его избранница настолько не понравилась матери, Юлии Гавриловне, что свадьбу решили отметить в гостях, у Тарасовых. Все вместе прогулялись в парке, еще только готовившемся к открытию сезона, потом сели за стол, украшенный цветами и пирогом, испеченным хозяйкой.

В «Розе Мира» Андреев не один раз скажет о травмированности войной. В те годы, вспоминала его вдова, «Даниил часто задумывался, а я, естественно, всегда спрашивала: “Ты о чем?” Однажды он очень глубоко задумался, а я свое:

— Ты о чем? О чем, Заинька?

Он сказал:

— Перестань. Перестань, я о фронте»401.

Фронтовые друзья не часто, обычно проездом, но появлялись в Малом Левшинском. Многие из них, как и сам Андреев, привыкнув на фронте к махорке, продолжали свертывать самокрутки. Фронтовики говорили, что с ней никакие папиросы не идут в сравнение, и «приходили в восторг, когда узнавали, что жена Андреева разрешает курить в доме и спокойно переносит махорку»402.

Этой весной он увиделся с Татьяной Усовой. Малахиева-Мирович 20 апреля записала как важное: «Даниил — просил на коленях прощения у Тани за грубую форму, с какой отошел от ее жизни 2 года тому назад. Назвал свои письма и все поведение того периода “гнусными”. Это уже равносильно покаянию Никиты в толстовской “Власти тьмы”». И через несколько дней, 25-го: «Радость: письмо Даниила к Тане, прекрасное по искренности и силе покаянного чувства»403.

Он был готов к покаянию. Но Татьяна простить не могла.

7. География

Андреев всегда любил географию. В детстве старательно рисовал карты выдуманной планеты Юноны. Карты иллюстрировали описания стран — преимущественно географические. Замечательно преподавала в гимназии Репман географию Нина Васильевна Сапожникова. Ее они часто вспоминали с Мусей, Марией Самойловной Калецкой. Она, как и ее муж — Сергей Николаевич Матвеев, работала в Институте географии Академии наук. Сергею Николаевичу, бодрому, подтянутому, всегда готовому в путь, перевалило за пятьдесят. «Два — под дождем алтайской непогоды», — упомянуты они в поэме «Немереча», где перечислены ближайшие друзья. Матвеевы, рассказывает Андреева, «несколько месяцев в году проводили то на Тянь-Шане, то на Алтае, словом, в горах. Смеясь, они говорили, что по полгода проводят не только вне советской власти, но и вообще без всякой власти. Мы всегда так радовались, когда они приезжали в Москву. Это были удивительной чистоты и ума люди, веселые, с каким-то чудным, прямо-таки музыкальным звучанием, какое бывает у людей, много времени живущих среди природы, особенно в горах. Но мне кажется, что будь они другими людьми, то и с гор бы тоже приезжали не такими чистыми, глубокими и обаятельными. И вот эти друзья решили помочь Даниилу. Сергей Николаевич дал ему материалы, относящиеся к русским путешественникам. И Даниил написал маленькую книжечку — биографии нескольких русских исследователей горной Средней Азии. На ней стояли две фамилии, потому что с Даниилом никто не заключил бы договора»404.

Матвеев был кандидатом географических наук, старшим научным сотрудником Института географии. В том же 1946 году у него вышла книга «Турция» — фундаментальное физико-географическое описание Азиатской части Турции — Анатолии. Над ним Матвеев работал долго, использовав все доступные источники. После ареста доскональное знание Турции выйдет ему боком. По воле следствия он получит роль организатора подготовки побега «террористической группы» Андреева через советско-турецкую границу.

В книжке «Замечательные исследователи горной Средней Азии» — четыре кратких биографических очерка. Их герои — Семенов-Тян-Шанский, Северцов, Федченко, Мушкетов — выдающиеся ученые, самоотверженные, значительные люди. Все они оставили столь

обширные труды, тома описаний и мемуаров (даже не доживший до тридцати Федченко, чье «Путешествие в Туркестан» опубликовано в пяти томах «Известий Общества любителей естествознания»), что без помощи Матвеева на их изучение ушли бы годы. Андреев увлекся судьбами русских путешественников. Его интересовали подробности знакомства Семенова с Достоевским, он возмущался позитивистским пылом Северцова, пропагандировавшего дарвинизм. Но времени недоставало, выдуманные герои, с каждым из которых он проживал часть своей жизни, теснили исторических, и книга получилась не блестящей. Но в Географиздате книгой остались довольны. Новый автор, не географ, но владеющий словом образованный литератор, сын знаменитого когда-то писателя, всех устраивал. Книга «Замечательные исследователи горной Средней Азии» в серии «Русские путешественники» вышла в сентябре, а он уже работал над новой книгой для той же серии. Теперь договор заключили с ним одним.

Уже после его ареста, в майском номере журнала «Наука и жизнь», появилась рецензия. Вполне положительная. «Книга написана очень увлекательно. <...> Здесь в общедоступной форме можно найти изложение главнейших теоретических трудов и достижений путешественников по Средней Азии»405.

Матвеев радовался успеху книги, тому, что помог друзьям. Чем их бескорыстная дружба чревата, никто предугадать не мог. «Сережу Матвеева мы погубили, — признавалась Алла Александровна. — Его арестовали по нашему делу. Оснований для ареста не было ровно никаких. Он получил срок и погиб от прободения язвы на каком-то этапе, кажется, его везли с лагпункта в больницу...»406

Чудом уцелели другие их друзья, тоже географы и путешественники — Авсюки — «Григорий Александрович и Маргарита Ивановна, которую звали Гулей, — вспоминала о них Алла Александровна. — По большим праздникам они приходили к Коваленским вчетвером, и мы к ним присоединялись. <...> Григорий Александрович был специалистом по ледникам, потом он, насколько я знаю, участвовал в первых антарктических экспедициях. Даниил был прямо без ума от него, в полном восторге от всего облика этого человека». Авсюки «рассказывали о горах, эти рассказы можно было слушать бесконечно»407.

В катастрофическом 1947-м, когда следователи настоятельно выспрашивали и об Авсюках и Андреев «лез из кожи», чтобы друзья не попали на Лубянку — «в Арктиду», Авсюк — крупный ученый, позднее академик — вступил в партию. Это казалось необходимым, чтобы спокойно заниматься наукой, и, может быть, помогло уцелеть, избежать «Арктиды».

8. Задонск

В июле 1946 года Андреевы вместе с Бружесами отправились на отдых в Задонск. Уезжали с Павелецкого вокзала, еле втиснувшись в грязный вагон, ехали долго, с частыми остановками — послевоенные поезда ходили плохо.

Задонск — южнорусский городок на левом берегу Дона при впадении в него почти пересохшей речушки Тёшевки — был не больше Трубчевска и одно время тоже входил в Орловскую область. Когда-то известный как «Русский Иерусалим», Задонск гордился монументальными храмами, четырьмя монастырями, а главное — святителем Тихоном Задонским. «Многие ли знают о Тихоне Задонском?» — спрашивал в «Дневнике писателя» Достоевский. В то послевоенное лето в разоренном Задонске еще находились жители, знавшие о Тихоне, помнившие о многолюдстве монастырей и благовесте пятиглавых соборов. Но знаменитый Рождество-Богородицкий монастырь лежал в запустении, занятый овощесушильным заводом. Правда, в нем уцелел белый Владимирский собор, и с его паперти открывались слепящие степные дали. Неподалеку, в Тюнинском монастыре, разместилась МТС.

Андреев так описывал друзьям житье в Задонске: «Перед глазами следующее: открытое окошко с геранью, за ним — уличка и сады, а дальше — даль по ту сторону Дона, с деревенькой и лесами. Лесами — увы — недоступными, ибо самочувствие наше не позволяет сделать ни одной настоящей прогулки. Это тем более досадно, что погода благоприятствует: много солнца. В результате за три недели осмотрели лишь ближайшие окрестности: интересный полуразрушенный монастырь, берега реки и недалекие, покрытые лесом холмы с живописными обрывами. Купаемся на мелком месте и развлекаемся по вечерам возможными petits jeux[408] с Бружесами, — начиная с блошек и кончая подкидным дураком. Мои занятия немецким идут крайне туго. Аликова живопись — гораздо успешнее. Собраны материалы для трех больших картин, кот<орые> она собирается писать в Москве. Вообще ее состояние получше, даже потолстела чуточку.

Мозги спят непробудным сном, — даже это письмо оказалось для отупевшей головы предприятием почти непосильным. Что-то зловещее! Как буду я осенью справляться с географическими книгами, не говоря уж о более серьезных задачах — одному Богу известно»[409].

Похожее впечатление от задонского отдыха в 1936 году осталось у жены Мандельштама: «...Мы прожили около шести недель на верховьях Дона, радуясь и ни о чем не думая»[410], пока радио не напомнило о новых процессах.

Алла Александровна вспоминала об этом лете идиллически. «Мы поехали <...> в Задонск всей семьей: мама с папой, мы с Даниилом и мой младший брат Юра с молодой женой Маргаритой. Жили на окраине Задонска, где мама сняла чистые беленькие комнатки. Мама

хозяйничала, готовила какие-то вкусные вещи. Папа, как всегда, добрый и немногословный, был центром притяжения для всех. Очень юная Маргарита и такой же мальчишка Юра ходили в каком-то растерянно-городском виде, она в красивом платье, в туфельках на высоченных каблуках и с красным зонтиком. А мы с Даниилом, как обычно — он в выцветшей гимнастерке, я в задрипанном сарафане, оба босые, с непокрытыми головами, — часами бродили по задонской степи. Солнце нам было только в радость, и чем больше, тем лучше. Все вместе мы ходили на Дон, очень любили купаться ночью. Дон был действительно тихий, во всяком случае в Задонске, в нем совсем не чувствовалось течение и изумительно отражались звезды. Мы входили в звездную воду.

Я ухитрилась покалечиться — засадить в ногу целую щепку. Папа ее вытащил, перевязал, но несколько дней я не могла ходить. Первую ночь от боли я не спала, и Даня читал мне вслух всю ночь. Потом они с папой, передавая меня с рук на руки через забор, выносили под тенистое дерево, и там произошла забавная сцена. Даниил рассказывал мне план продолжения “Странников ночи”. Война должна была быть и в романе. Один из самых близких Даниилу героев поэт Олег Горбов — одна из проекций его самого — с фронта возвращается слепым. Боже, как я плакала. Как плакала! <...>

И еще воспоминание. В Задонске было довольно много детей, одинаково одетых, которые всегда держались вместе. Нас удивляло, что эти дети были очень приветливы, никогда не хулиганили, были ласковы с животными. Мы узнали, что они из детского дома для сирот военного времени, все потерявших. Отчего эти дети были такими хорошими, не знаю: страшное ли несчастье, которое они пережили, а может, так счастливо сложилась судьба, что нашлись воспитатели, которые отнеслись к ним как к родным. Мы были поражены поведением детей и вообще всем их душевным обликом. Для Даниила это была еще одна подсказка, подтверждавшая давнюю мечту, которая так и прошла через всю его жизнь и не осуществилась: основать школу для этически одаренных детей, где их будут не просто учить что-то читать и что-то делать, а воспитывать из них тех, кого в “Розе Мира” он называет “человеком облагороженного образа”»411.

Здесь, в Задонске, наверное, он и написал стихотворение о детстве: «Ударив мячик биткою, дать сразу гону, гону, / Канавы перескакивая, вихрем, прямиком, / Подпрыгнуть, если целятся, — и дальше, дальше, к кону...»

Больше всего удовольствия ему доставляли купания в Дону. О них он вспоминал в тюрьме, называя «психофизическим» наслаждением. Сохранившийся в черновых тюремных тетрадях отрывок отзывается безмятежностью этого лета:

Тополя пирамидальные

Прячут белый тихий дом.
Степь в росе и тучи дальние
Оторочены дождем.

Есть в нем и такие строки:

Ржанье конское!
Степь задонская...

9. Письма

Неожиданно нашлась давно пропавшая шкатулка, где хранились письма Леонида Андреева. Письма, начиная с конца прошлого века, Добровым, письма сыну. После всех смертей, после пережитого за войну они сделались особенно дороги. А нашлись так. В голодные военные и послевоенные годы в доме развелись крысы, уже мало боявшиеся людей. Как-то, в погоне за ними, Коваленский забрался с палкой под рояль и, глянув ненароком вверх, увидел шкатулку.

Старые письма напомнили Андрееву о брате. Перед самой войной слухи о нем доходили от Ирины, первой жены Александра Доброва. Давно, видимо еще в 1929-м, она уехала в Кейптаун, там в 1938-м прочла «Повесть об отце» Вадима Андреева, опубликованную в «Русских записках», и сумела с ним связаться. Но с тех пор никаких вестей.

«После войны звонок в дверь, — свидетельствует Алла Александровна. — Пришел солдат, был во Франции на острове Олерон и привез известия о Вадиме, и Даниил написал ему открытку. Этого солдата потом тоже забрали в связи с делом Даниила. Даниил в открытке предупреждал брата, чтобы он не возвращался в Россию».

Солдат — Иван Максимович Фатюков, «бухгалтер маленького поволжского совхоза» из Саратовской области, попавший во время войны в плен, оказался вместе с еще двумя десятками русских военнопленных на Олероне, французском острове у Атлантического побережья. Там они приняли участие в Сопротивлении, готовили диверсии против немецких островных батарей. Вадима Андреева они называли «Друг Родины Вадим...». Знакомство с ними тот воспринял как встречу с русским народом, а о Фатюкове отзывался восторженно, ему он казался советским Платоном Каратаевым, писал о нем как о человеке «крепкого законченного характера», «душевной ясности и мужества»412.

Оказавшаяся после сдачи Парижа на Олероне семья Андреевых прожила там пять лет, всю войну. Вместе со свояком, Владимиром Сосинским, Вадим Андреев при первой же возможности включился в Сопротивление и в 1944-м был арестован немцами, но просидел недолго — война кончилась. А в победной эйфории, получив в 1946-м советское гражданство, опять засобирался в Россию.

Сразу же после посещения Фатюкова, в начале сентября 1946-го, Даниил отправил в Париж письмо:

«Дорогой, милый, родной брат!

Наконец-то смог я убедиться, что все живы и здоровы! Восемь лет я не получал от тебя ни единой весточки. И хотя вера в то, что ты жив, меня не оставляла, но причин для беспокойства за тебя и твою семью было более чем достаточно. С радостью узнал я о твоей партизанской работе в немецком тылу. Следовательно, мы боролись с тобой против общего врага на разных концах Европы.

Прежде всего, должен сообщить тебе печальную весть: в 41 г., как раз накануне войны, неожиданно скончался от кровоизлияния в мозг дядя Филипп; в следующем году, уже в очень тяжелых условиях, умерла мама (после мучительной болезни, длившейся 4 месяца), а через полгода за ней последовала и тетя Катя. (В это же время в блокированном Ленинграде умерла Римма413.) Наша семья распалась, старый добровский дом перестал существовать. Саша уже давно живет отдельно со своей женой. Шура и ее муж продолжают жить в нашей квартире, но хозяйство и вообще вся жизнь у нас отдельные; у нас — то есть у меня и моей жены Аллы. Женаты мы 2 года; женились в очень странных условиях, в совсем, казалось бы, неподходящее время: во время моей краткосрочной командировки с фронта в Москву. Наша встреча, любовь и совместная жизнь — величайшее счастие, какое я знал в жизни. Алла — художник, пейзажист и портретист. Оба мы работаем дома и никогда не разлучаемся больше чем на 2—3 часа.

Я долгое время был на фронте, участвовал в обороне Москвы и Ленинграда, был в Ленинграде во время блокады, переправившись туда по единственному пути — по льду Ладожского озера; потом был переброшен в район Великих Лук и Невеля и наконец в Латвию. Война сильно подорвала здоровье — и физическое, и психическое. Еще до ее окончания я был снят с воинского учета и направлен на лечение. <...> Усиленно мечтаем о вашем возвращении и общей жизни»414.

Письмо написано с оглядкой, с расчетом на непрошеных читателей. После войны патриотически настроенные прекраснодушные эмигранты возвращались в Россию, не зная, что многим предуготованы лагеря и ссылки. Решались ехать и Андреевы. Но, вспоминала дочь Вадима Леонидовича, «я попросила родителей задержаться, чтобы окончить лицей. И тут же мы получили открытку от дяди: мол, это правильное решение — подождать, пока Оля окончит Сорбонну». Они поняли — это предупреждение. Ольга Андреева была еще школьницей, и «Сорбонна означала только одно: ни в коем случае не езжайте!»415.

Июльское партийное постановление, ждановские анафемы Ахматовой и Зощенко ничуть не удивляли. Тут же бдительность повсюду повысили и диссертацию Ирины Арманд о Диккенсе, вполне невинную, не допустили к защите.

Как-то Андреев встретил Веру Федоровну, жену Малютина. Она рассказала, что о муже нет никаких вестей с лета 1942-го, хотя есть надежда, что жив и находится или в плену, или где-то в лагере для

перемещенных лиц. То, что из чужого лагеря путь на родину часто вел в свой лагерь, знали немногие.

10. Африка

После Задонска они оба разболелись. Выкарабкивались из простуд, из безденежья. В начале октября Андреева писала Тарасовым, у которых в сентябре родилась дочь и к которым они давно не могли выбраться: «Рады мы за вас обоих почти до зависти». О себе сообщала: «...я изо всех сил гоню копию, несмотря на повышенную температуру и отвратительное самочувствие, а Даниил, приблизительно через день, ходит в Ленинскую библиотеку в летних босоножках, а на другой день лежит в постели и кашляет».

Взявшись в сентябре за следующую географическую книгу — «О русских исследователях Африканского материка», Андреев просиживал подолгу в библиотеке. Но мечтал побыстрее вернуться к роману. Однажды из библиотеки «пришел сияющий и сообщил мне, что нашел сведения об африканской реке, названной именем Николая Степановича Гумилева»416, — вспоминала Алла Александровна. Он ей рассказывал и о том, о чем вынужденно умалчивал в очерках, например об Александре Булатовиче. Булатович путешествовал по неизведанным землям Эфиопии, оставил интереснейшие путевые записки. Потом стал афонским монахом, а во время Первой мировой сделался священником Красного Креста и в рясе не раз бесстрашно водил солдат в атаку. Булатович его восхищал. В «Новейшем Плутархе» он упоминает «отбытие русской миссии к Менелику II, научные экспедиции д-ра Елисеева, Булатовича, Артамонова, укрепление связей между русской и абиссинской церквями...».

В воспоминаниях Бориса Чукова передан рассказ о том, как в связи с этой работой Андреев «заинтересовался связями русского православия с православием Эфиопии». Стремясь узнать о их современном состоянии, он «отправился в небольшой старинный особняк в центре Москвы, где размещался Государственный Комитет по делам религий. Его принял со сдержанной вежливостью православный иерарх и в немногих словах рассказал о бедственном положении современной Эфиопской церкви. <...> На самом интересном месте рассказ был прерван появлением Карпова, председателя Госкомитета. К этому вальяжному сановнику поспешно устремился рассказчик-иерарх и вместе с коллегами подобострастно принялся расспрашивать Карпова об успешном зарубежном турне. На Д. Л. никто уже не обращал внимания, и он удалился»417.

Эфиопией или Абиссинеей, как она раньше называлась, он интересовался и раньше. Абиссиния мелькнула в поэме «Немереча», когда поэту в брянской глуши явился стог — «Округлый, желтый, конусоподобный, / Как в Африке тукули дикарей...» Герой его новеллы из «Новейшего Плутарха», педагог Ящеркин, пропадает в окрестностях

Харарры, исчезнув в направлении тропических лесов Шоа. А в «Розе Мира» упоминается Абиссинская христианская метакультура, безнадежно задержанная в своем пути. Абиссинией прошли все русские исследователи Африканского материка, в чьи биографии он погрузился. Последним туда путешествием доктора Елисеева, проведшего две недели в Харарре, заканчивался очерк о нем в написанной книге. И еще — по Хараррскому плоскогорью путешествовал Николай Гумилев. За Гумилевым, прошедшим по знойной Абиссинии, за русскими исследователями Андреев следовал по картам и описаниям в библиотечной тишине.

Прочел Андреев много: «Путешествие во внутреннюю Африку» Ковалевского, «Путешествие в Центральную Африку в 1875—1878 гг.» Юнкера, «По белу свету» Елисеева, «От Энтото до реки Барро» и «С войсками Менелика II» Булатовича, заглядывал в труды Рафаловича и Норова. Читал с увлечением: его влекли путешествия не только по иным мирам. Да и казалось, что книги о географии — то занятие, которым он как литератор сможет зарабатывать на жизнь. Появились и другие замыслы: написать биографию Минаева, знаменитого буддолога и индолога. Он встречался с племянницей Минаева418, а Матвеев по его просьбе стал хлопотать в Академии наук о пенсии для нее. Позже, в тюремной черновой тетради, намечая план будущей просветительской библиотеки, посвященной русской науке, один из томов он отведет исследователям Южного полушария, начиная с героев своей невышедшей книги — Ковалевского, Елисеева, Юнкера и продолжив именами Булатовича, Миклухи-Маклая и Альбова. Но, как бы ни влекла в эту зябкую зиму 1946-го Африка, ночами он возвращался к рукописи романа.

11. Романический канон

Всю жизнь Андреев перечитывал Достоевского. А в самом конце 1946-го или в начале 1947 года он перечел книгу Леонида Гроссмана «Творчество Достоевского»419. Многое в ней было ему близко. Гроссман писал о «фантастическом» реализме Достоевского, о его врожденном мистицизме, об интересе «к снам, галлюцинациям, бредовым видениям», промежуточным состояниям между сном и явью. И особенно интересны наблюдения литературоведа над мастерством любимого писателя, «втискивавшего» — словцо самого Достоевского — в свои страницы множество лиц и философских теорий, стали теперь, когда он заканчивал «Странников ночи».

С Гроссманом Андреев познакомился во время поступления в Литературный институт. Ему он отвечал на вопросы о Достоевском на приемном экзамене. Вряд ли знакомство сделалось близким. Хотя Гроссман о Достоевском беседовал еще с его отцом, а теперь и жил по соседству, в Малом Левшинском, в доме 1, во дворе, и они при редких встречах раскланивались. На этот раз он встретил профессора как раз

после того, как закончил перечитывание его книги, и так смутился, что говорить о ней, тем более что вышла она почти двадцать лет назад, не стал. Да и говорить ему часто казалось труднее, чем писать. И он написал:

«Глубокоуважаемый Леонид Петрович,

недавно мне случилось прочитать Ваши статьи о Достоевском — “Ставрогин и Бакунин”420, “Стилистика Ставрогина”, “Достоевский и Европа” и другие. Пользуюсь случаем выразить Вам сердечную благодарность за то глубокое наслаждение, которое испытал я при перечитывании — уже в 3-й или 4-й раз — этих замечательных работ. С течением лет они все более молодеют, значение их возрастает, их звучание становится все сильнее. Многое, что в статье “Достоевский и Европа” раньше не останавливало на себе внимания, — теперь в свете трагического опыта Европы за последнее десятилетие — поражает глубиной идей, широтой обобщения, остротою прогнозов. Мне кажется, что со времени издания Вашего собр<ания> соч<инений>, т. е. почти 20 лет, в советской литературе не появилось ничего, что могло бы быть сопоставлено с Вашими работами; во всяком случае, такого полета ума, высокой культуры слова и полного отсутствия провинциализма я не встречал нигде более.

Прошу прощения, что оторвал Вас этим письмом от занятий, но все последние дни я живу настолько под впечатлением Вашей книги, что, увидев Вас, не мог удержаться от выражения чувства глубокой признательности»421.

Гроссману было дорого это признание сына Леонида Андреева, особенно в ту пору. Уже больше десяти лет его работы о Достоевском не издавались, в 1937-м от него требовали отречься от «реакционного писателя», чего он так и не сделал.

Андреев встретил у Гроссмана понимание захватывавших его мыслей Достоевского. Тревожившие писателя судьбы Европы заставили его — говорилось в статье «Достоевский и Европа» — в конце концов обратить взгляды от Сены и Темзы «к джунглям священных рек» и призвать в Азию, к «великой матери всех религий, в подлинное “соседство бога”, в священную близость тысячелетних созерцательниц небесных откровений — Индии и Палестины...»422.

В предисловии к книге «Поэтика Достоевского» Гроссман писал, что «романический канон», созданный автором «Братьев Карамазовых», «еще неоднократно будет служить родственным писательским темпераментам»423. Но литературовед не мог и подумать о том, что увлеченный Достоевским сын Леонида Андреева пишет роман о современности, оглядываясь на восхищающий его «романический канон», устремленный «к откровениям новой мистерии»424.

На Варвару Григорьевну Даниил, с которым они виделись нечасто, в январе произвел грустное впечатление: «Очень болен, бедняжка. Назвал какие-то 4 болезни, от которых и ноги болят, и спина, и поясница,

и центральная нервная система “никуда”. Сначала волновался и чуть не втянул в разбирательство, кто прав, кто (включая и его жену) в чем-нибудь проштрафился в истории его разрыва с прежней женой (невестой? Может быть). Горячо — и вдруг детское-детское милое стало лицо — защищал вторую жену от возможных нареканий в нечуткости, нетактичности отношения к прежней его спутнице»425.

Он ощущал себя, как обычно, кругом виноватым. Но, сочувствуя оскорбленной Татьяне, не желал давать в обиду жену.

12. Обречены

Снежной зимой 1947 года Даниил Андреев написал «колыбельную» для любимой: «В гнездышке старого дома / Баюшки, Листик, баю!». Морозной зимой грезился «благостный зной»:

В ткань сновидений счастливых
Правду предчувствий одень:
Пальмы у светлых заливов
Примут нас в мирную тень.

Пальмы появились в стихах не только потому, что он писал о путешественниках по Африке, но и потому, что они предполагали поехать летом в Цхалтубо, мечтая о пальмах и море. Однако зазывание счастливых снов не отгоняло мрачных предчувствий.

«Наша судьба была уже решена. Даже странно, как, зная обо всем, что делается вокруг, мы совершенно не обращали внимания на многие вещи, — пишет о предарестных месяцах Андреева. — Не думаю, правда, что что-нибудь нам помогло бы. То вдруг неизвестно почему к нам заявился какой-то человек и начал уговаривать обменять комнату на другую на углу Остоженки. То внизу в подвале, в бывшей кухне Добровых, начали стучать, скрести... говорили, что там делают сапожную мастерскую. Конечно, никакой мастерской не было. Просто в пол нашей комнаты вделывали подслушивающий аппарат. То пришел без всякого вызова телефонный мастер и объявил, что нам надо чинить телефон. Телефон у нас работал, чинить ничего не надо было, а вот глаза этого “мастера” и какой-то странный холод, пробежавший у меня по спине, я даже сейчас помню»426.

Уже потом, оглядываясь назад, они удивлялись собственной невнимательности. То вдруг в Третьяковке, где она занималась копированием, к ней подошел «молодой человек с фотоаппаратом и попросил разрешения сфотографировать», то соседка замечала, как на наружный подоконник их комнаты «залез человек... и что-то делал с форточкой». Потом на следствии ей напоминали фразы, действительно произносившиеся. Всезнайство органов ошарашивало и подавляло.

Все это были обычные следственные «мероприятия» МГБ. Во время их проведения, как предписывали служебные инструкции, «преступник

секретно фотографируется со своими шпионскими и вражескими связями», проводятся «секретные обыски, выемки и фотографирование документов»427.

Остерегаться следовало. Одна из соседок, знали все в доме, связана с «органами». Андреева, находившегося до войны под административным надзором, перед большими советскими праздниками 1 Мая и 7 Ноября ежегодно арестовывали. Он числился в списке неблагонадежных. А к ним по-прежнему, часто не выбирая времени, не предупреждая, захаживали говорливые друзья. Настороженный и трезвый Коваленский предупреждал: это может плохо кончиться.

Ламакина рассказывала дочери, что как-то, незадолго до ареста, Даниил зашел к ним в комнату и пригласил послушать свой роман, который он читал друзьям, собравшимся за большим столом. Но Ламакины, наученные горьким опытом, сославшись на маленьких детей, отказались. Свой рассказ она закончила словами: «Слава Богу, что мы не пошли».

Но предчувствия стали понятны потом. Алла Александровна вспоминала: «...помню ощущение огромной змеи, которая кольцом свернулась вокруг дома — и то ближе, то дальше. И была еще одна странная вещь. Ночью. Я лежу на диване. Даниил сидит за машинкой, буквально рядом. И в самой середине ночи я слышу звонок и понимаю — пришли. Я совершенно застываю. Никто не входит. Мне опять почудилось».

В Измайлово они ни той осенью, ни зимой не выбрались. Сетуя, что не могут приехать, она написала Тарасовым об их полугодовалой уже дочери: «...того гляди, дождемся, что она сама выйдет нас встречать». Напряженный и дерганый «стиль жизни», на который ссылалась Алла Александровна в письме, не давал передышки: «Данина “Африка” едва позволяет урывать какое-то крошечное время для неудачных попыток лечиться»428, — сетовала она. И все же книга «О русских исследователях Африканского материка» в свой срок была сдана в издательство, а роман подвигался к завершению. Каждую законченную главу Андреев читал жене. Тут он вполне похож на отца. Тот тоже писал по ночам и написанное обязательно читал жене. Иногда уже под утро будил и читал. Но книги Леонида Андреева знала вся образованная Россия. А у сына читательский круг ограничивался домашними и друзьями. И чем ближе становилось окончание «Странников ночи», тем больше хотелось, чтобы роман прочли. Прочли друзья, потому что ни о какой публикации в досягаемом будущем не могло быть и речи. И друзья читали. Кто-то главы, кто-то завершенные части.

Роман открывался всматриванием астронома в звездное небо и заканчивался взглядом на утреннюю звезду. Завершался некий ночной круг, пройденный героями. Автор, не догадываясь об этом, завершал его вместе с ними.

18 апреля к ним заглянула Малахиева-Мирович. Она не зная, что это последняя встреча, но, что-то предчувствуя, писала в дневнике, что «было бы естественно» видеться с ним каждый день. Восхитила ее и жена Даниила, названная «нечеловечески красивой»429.

В начале апреля Андреев дал прочесть вторую часть романа Ирине Арманд. Через несколько дней она его возвратила, пробормотав, что ей нравится «горячее отношение автора к жизни». Ирина показала роман матери, и с той случилась истерика, перешедшая в сердечный приступ. После истории с диссертацией дочери, после слухов о новых арестах Тамара Аркадьевна ко всему относилась с опаской. Она тут же решила, что если этой ночью к ним явится опергруппа — ей уже чудились шаги на лестнице, — то они скажут, что нашли рукопись в метро, а от дочери потребовала утром же вернуть ее. Материнское сердце — вещун: в свое время за дочерью пришли.

21 апреля вечером Коваленских навестили Авсюки. В застолье говорили о многом, спорили. Потом, на допросе, Андреев, признаваясь в «преступных» мыслях и речах, рассказал, что в тот вечер «под влиянием вина» он высказался «в пользу поражения СССР в предстоящей войне с Америкой». Но Маргарита Ивановна, жена Авсюка, показал он, стала его стыдить: «Как не стыдно вам, русскому человеку, накликать на родину такое бедствие...»

Как раз в эти весенние дни Коваленский занимался хлопотами по приему в Союз писателей, начатыми еще в марте, готовил документы. Первый раз он предпринял попытку еще во время войны и получил рекомендацию от Алексея Толстого, но, как отметил в дневнике Тимофеев, «пал жертвой вражды Толстого и Фадеева». 16 апреля ему дали рекомендации критик Евгения Книпович, редактор его польских переводов, и переводчик Сергей Шервинский, 17-го — Николай Асеев и Константин Федин. Уже после ареста Даниила и Аллы, 24 апреля, Коваленский сдал документы в приемную комиссию. Среди них была автобиография. В ней он писал, что литературную работу считает своим «основным и любимым делом» и что она «запланирована уже на несколько лет вперед». Но у злых сил были иные планы.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

«ДЕЛО» ДАНИИЛА АНДРЕЕВА. 1947—1948

1. С. и Х.

Без информаторов «мероприятия» МГБ были бы невозможны.

О предарестных временах Андреева повествовала: «Мы познакомились с одним поэтом, точнее, поэтом и актером Вахтанговского театра. Человек он был интересный и как-то невероятно нужный Даниилу. Я могла только любоваться и радоваться, как они с полуслова понимали друг друга, как читали друг другу, как говорили, как совершенно, что называется, “нашли друг друга”, как два наконец

встретившихся очень близких человека. Я не знаю, как было дело: работал ли этот человек в ГБ или его просто вызвали, но он нас “сдал”. И еще нас “сдала” моя школьная подруга. Тут, я думаю, ее вызвали. Вряд ли она пошла бы сама, но если вызвали, пригрозили, напугали, она, конечно, рассказала о романе “Странники ночи”, о моих антисоветских воззрениях»[430].

Поэт и актер, правда бывший — Николай Владимирович Стефанович[431]. Он жил недалеко от Малого Левшинского, в Калошином, выходившем на Арбат прямо к театру, в прятавшемся за тенистым палисадником небольшом скошенном домишке, доживавшем век, какие еще встречались в арбатских переулках. В Калошином прошла почти вся его жизнь, тоже перекошенная и спрятанная. Отец умер перед революцией, он остался с беспомощными матерью и сестрой. В 1928-м, шестнадцатилетним, поступил на Высшие литературные курсы, на следующий же год закрывшиеся. Позже столь же недолго проучился в музыкальном училище. В 1934-м поступил в Вахтанговское, окончил, стал служить в театре. Началась война, и во время воздушного налета в дежурство Стефановича в театр попала полутонная бомба. Многие дежурившие вахтанговцы погибли. А он, контуженный, засыпанный обломками, стал инвалидом. Из театра пришлось уйти, и, вернувшись из Перми, из эвакуации, Стефанович стал искать литературную работу. Возможно, в этом ему помогали «органы». Трудно сказать, когда его сломали. Вряд ли он сам сделал первый шаг. Но в 1936-м, перед началом следствия по делу поэтов Даниила Жуковского и Натальи Ануфриевой — с ними Стефанович вроде бы дружил, — он, если верить лубянскому делу, написал донос: «Убедившись, что Ануфриева определенно обрабатывает меня для преступных действий, я счел своим долгом подать заявление в НКВД...»[432] Или его заставили написать заявление? В нем шла речь о террористических намерениях, и Стефанович выступил главным свидетелем обвинения. В 1937-м, уже после осуждения Жуковского, он писал: «— О, Господи! Пусто и страшно / Становится в мире Твоем!» Примерял ли он на себя Иудину участь? По крайней мере, в стихах:

Испуганно все замолчали.
Смотрели растерянно вниз,
Когда на разбухшей мочале
Иуда несчастный повис.

И тихо качался апостол,
И вздернулась вверх борода,
Все это не трудно и просто,
Все это не страшно, — да?

Страшно ли жить в кошмаре предательств? Всегда актерствовать? Он заботился о сестре, как и он, болезненно неуравновешенной и без него пропавшей бы, как и она о нем. Сестра, Людмила Владимировна, зарабатывала печатанием на машинке (тогда перепечатывала рукописи Пастернака). Жили они в одной комнате, и, работая, она запиралась в платяном шкафу, берегла нервного брата, не переносившего машинописного стука. «Стефанович жил бедно, горько», — рассказывала Алла Александровна.

Перед методами «органов» выстоять было трудно, тем более при психической неуравновешенности Стефановича. Но он понимал меру падения. Это видно из стихов, они — разговор падшего создания с Богом. В стихах он не актерствует. Поэтому в них есть проникновенность, оцененная и Даниилом Андреевым, и Пастернаком. Вот до войны написанное стихотворение Стефановича «Памяти отца»:

Мне от тебя осталось, как наследство,
Волос твоих отрезанная прядь.
А как же мы игрушечное детство
Рассчитывали вечно повторять?

Светился мир, раздвинут и приподнят,
Давая место вымыслам твоим,
И оттого, что мерзок я сегодня,
Не только мне, но жутко нам двоим.

И оттого, что сраму нет предела,
И оттого, что так и повелось, —
Внезапно в медальоне поседела
Коричневая прядь твоих волос.

Что стояло за стихами, какие обстоятельства вольного или невольного предательства, какие муки — знали только автор и его жертвы. Все преданные — посажены, погибли. Стефанович легко общался со многими — круг его знакомств был широк: с литературоведами Шкловским и Чичериным, с переводчиками Шервинским и Левиком, с Андреевым и Коваленским, с философом Александром Горским, в 1943-м умершим в тюремной больнице. Пока ими мало интересовались «органы», Стефанович был не опасен, мил, вызывал сочувствие. Одни — большинство — не хотели и слышать о его стукачестве, другие — меньшинство — были в этом уверены433.

Любовью к поэзии, религиозным мироощущением, возбужденной восторженностью Стефанович увлек Андреева. Он с блеском в глазах говорил о Достоевском и о Блоке, о просвечивающей через стихи иной реальности, о Владимире Соловьеве, о Вселенской церкви, о гностиках... Познакомились они перед войной, в мае 1941-го, у Ирины Арманд, но

сблизились в предарестные годы. Прихрамывающий, черноволосый, как и Андреев, высокий, с бледным истощенным, нервным лицом, Стефанович заходил по вечерам, и они засиживались до ночи. Заварив чай, подав к чаю сухарики, Алла Александровна уходила спать за ширму. Она привыкла к бдениям мужа с друзьями. В начале апреля Стефанович взял на прочтение роман — старательно переплетенный машинописный том. В те дни Стефанович написал стихотворение со строчками: «А дьявола утонченные плутни / Становятся особенно тонки».

На другой день после ареста Андреева, о чем жена еще не знала, он позвонил ей, необычайно взволнованный, спросил: «Как Даниил Леонидович? Что про Даниила Леонидовича?» — и услышав, что все в порядке, обрадованно, видимо, уверясь, что «все обошлось», сказал, что хочет принести роман.

Алла Александровна рассказывала:

«Я возразила:

— Да не спешите, Даниил же вернется через два дня, тогда придете.

— Нет, нет, я принесу.

Он принес книгу, не вошел даже, а просто с порога отдал ее мне в руки...»[434]

Стефанович искренне радовался телеграмме, полученной от якобы уехавшего Андреева. Тогда его суетливость, поспешное возвращение рукописи не показалось странным.

После первых допросов стало ясно, что о романе «органы» узнали не только от Стефановича, но и от Галины Хижняковой, давней, со школьных лет, подруги Аллы Александровны. Были и другие информаторы. В постановлении на арест говорилось: «Факты распространения нелегальной антисоветской литературы подтверждаются показаниями Хижняковой Г. В.». Правда, оказалось, что протокол ее показаний к делу не приобщен. Фамилии Стефановича в постановлении нет вовсе. Осведомители в официальных документах никогда не упоминались. Зато в постановлении указаны послужившие основанием к аресту Андреева показания от 10 марта 1941 года давно сидевшего в лагере Галядкина и его бывшей жены. Пришло время — их пустили в ход.

Абакумов так формулировал в донесении Сталину результаты первоначального этапа следствия: «В процессе агентурной разработки было выявлено, что АНДРЕЕВ Д. Л. и АНДРЕЕВА А. А. группировали вокруг себя вражески настроенных людей и среди них вели злобно антисоветские разговоры, распространяли клевету и измышления против Советской власти.

Кроме того, через агентуру установлено, что АНДРЕЕВ написал ряд антисоветских произведений и читал их своему близкому вражескому окружению.

МГБ СССР было секретно изъято антисоветское произведение АНДРЕЕВА под названием “Странники ночи” в 4 частях, в одной из глав

которого АНДРЕЕВ призвал к активной борьбе с Советской властью путем террора против руководителей Советского правительства»435.

В августе, когда разворачивалось следствие, Стефанович писал: «Ни чувств, ни совести, ни денег, / Земная ноша нелегка». Но о подлинной роли его в деле судить невозможно: это из лубянских тайн. Через годы Андреев писал жене из тюрьмы: «О С. и Х. я знал уже тогда. Сомневаюсь, жив ли он. Злобы на них у меня больше нет»436.

Стефанович пережил Андреева на двадцать лет.

2. Арест

Арест Андреевых — тщательно разработанная операция, в полном соответствии с практикой «ведения следствия по делам о шпионах, диверсантах, террористах и участниках антисоветского подполья» в органах МГБ. Об этой проверенной практике Абакумов, уже после ареста «террориста» Андреева, докладывал в спецсообщении Сталину 17 июля 1947 года:

«1. Перед арестом преступника предусматриваются мероприятия, обеспечивающие внезапность производства ареста — в целях:

а) предупреждения побега или самоубийства;

б) недопущения попытки поставить в известность сообщников;

в) предотвращения уничтожения уликовых данных.

При аресте важного государственного преступника, когда необходимо скрыть его арест от окружающих или невозможно одновременно произвести арест его сообщников, чтобы не спугнуть их и не дать им возможности улизнуть от ответственности или уничтожить уликовые данные, — производится секретный арест на улице или при каких-либо других специально предусмотренных обстоятельствах»437.

Поэтому Андреева, отправившегося в командировку, МГБ и организованную, арестовали на пути в аэропорт. Жена вспоминала: «Когда Даниил написал книгу о русских путешественниках в Африке, она уже была в гранках и должна была скоро выйти, ему неожиданно предложили по телефону полететь в Харьков и прочесть лекцию по этой книжке. Даниил очень удивился, но почему бы и нет? <...> Очень рано утром к нашему дому подъехала машина. Я вышла проводить Даниила. Он сел в машину, и она тронулась по переулку. Когда машина отъезжала, Даниил обернулся и посмотрел на меня через заднее стекло...»438 В автомобиле кроме водителя сидели еще два человека. Запомнились последние слова мужа: «Как хорошо, что все самое тяжелое мы уже пережили, у меня не хватило бы сил пережить все это еще раз...»

В тюрьме он вспоминал прощальную «злополучную фразу». Ему стало казаться, что он зря растревожил жену. Ощущения этого утра были такими, словно бы он оказался среди своих героев и, подчиняясь романному сюжету, принял совершающееся. И арест, и маршрут, каким его везли на Лубянку, он описал в романе. Ему запомнилось «на веки веков маленькое ярко-блестящее белое пятнышко в перспективе залитого

солнцем переулка: это ты стояла у подъезда в белой блузке. Я ведь тогда принужден был повернуть, пересев в другую машину, у самого аэродрома. И представь: Калуж<ская> площадь, Якиманка, мимо дома Глинских, и, наконец, монументальный, величественный, широкий и даже с настоящими чугунными перилами мост — украшение, гордость Красной столицы. Совпадение было потрясающим»439. Поэтому имена из «Странников ночи» в переписке с женой зазвучали как имена реальные.

Командировочное удостоверение Министерства высшего образования датировано 22 апреля. Постановление на арест подписано майором Кулыгиным тем же днем, 23 апреля, утверждено замминистра госбезопасности СССР генерал-лейтенантом Огольцовым и санкционировано генеральным прокурором. Ордер на арест и обыск выдан тоже 23 апреля. 23-м помечены все тюремные процедуры и протоколы. Жена поэта в разное время называла датой ареста 21 и 22 апреля 1947 года, но в документах значится 23-е.

Арестом занимались майор И. М. Кобцев, лейтенант И. С. Мамаев и младший лейтенант Бобров. Андреева подвезли к третьему подъезду Лубянки, куда всех арестованных и привозили. Отвели в бокс — камеру без окна, без нар. Потом — тюремные процедуры: душ, обыск, взятие отпечатков пальцев, фотографирование. Тюремщики действовали молча, заученно. Каждый арестованный, вдруг вырванный из привычной жизни, переживал их по-своему: кто с возмущением, кто с заторможенной покорностью. У него изъяли паспорт, пенсионное удостоверение, командировочное, путевку в город Харьков для чтения лекции, «Материал к лекции “Русские исследователи в Африке”», два письма, две записные книжки (одна с адресами и телефонами), тетрадь с черновыми записями, три книги: «Монголия и страна тунгусов» Пржевальского, «Первые люди на Луне» Герберта Уэллса, Англо-русский словарь и карту Африки. Он никогда не читал публичных лекций, потому готовился тщательно, с волнением. Для этого даже костюм — собственный никуда не годился — позаимствовал у тестя. Среди изъятых вещей в протокол — между запонками и столовым ножом — включены «иконки малые — 2 шт.».

Телеграмма из Харькова о благополучном прибытии, показавшаяся жене не совсем складной, пришла на следующее утро. Но она ничего не заподозрила. После обеда зашел Стефанович. Поздно вечером явились за ней. В документах дата ее ареста — 27 апреля, но предарестные дни после «отъезда» мужа слились для нее в один.

«Вошли трое. Капитан, возглавлявший визит, вел себя вполне корректно. Обыск был для него привычной и обыденной работой. Он длился четырнадцать часов. Всю нашу большую библиотеку перебирали по книжке: искали роман и стихи, о которых уже знали. В конце концов капитан сказал:

— Ну, сколько мы еще будем искать? Дайте рукопись.

Я подняла руку, взяла с полки “Странников ночи” и положила. Они бы не ушли без романа, но обыск продолжался бы не четырнадцать часов, а двадцать восемь. <...>

Меня из комнаты не выпускали. Один раз мне понадобилось в туалет, и меня провожал солдат. По дороге я сумела схватить свой тоненький дневничок. Даниил, как-то прочтя его, сказал, смеясь: “Ну знаешь, твой дневник ничуть не лучше ‘Странников’ ”. Я это запомнила, ухитрилась его стащить и в туалете уничтожить.

Хотелось спать, просто ничего не чувствовать. Я не плакала, отвечала на какие-то вопросы. <...>

Когда мы вышли в переднюю, в квартире стояла тишина. Меня провожала одна соседка. Муж ее отсидел, вернулся, и она сама тоже, так что уж кому бояться, так это им, а именно она вынесла мне кусок черного хлеба и несколько кусочков сахара: “Вам это пригодится”. Я ее поблагодарила и сказала в ответ: “Вот, Анна Сергеевна, мои керосиновые талоны, возьмите их”. Ведь не пропадать же талонам.

За мной подъехала легковая машина — не “воронок”, а бежевого цвета. И меня повезли на Лубянку в новом, очень красивом пальто, которое я успела поносить дня два. Мне его сшила мама. Книги, письма они увезли отдельно.

На Лубянке меня сразу повели вниз, в подвал, и я решила, что ведут пытать и расстреливать. Вот тут кончилось мое ошеломленное спокойствие, конечно, совершенно ненормальное, и я разрыдалась. А конвоиры смеялись. Они, видимо, привыкли к таким реакциям тех, кого тащат в подвал, тащили-то не пытать и расстреливать, как обычно ждали все арестованные, а просто брать отпечатки пальцев. Я была совершенно сломлена и заливалась слезами, плакала навзрыд. Я была убеждена, что Даниил уже расстрелян. И с того дня плакала несколько месяцев. Не сознательно, просто все время текли слезы»[440].

Полуторагодовое следствие только начиналось. На первый допрос Андреева привели в 11 часов 24 апреля. Он длился час, вел его майор Иван Федорович Кулыгин, заместитель начальника второго отделения «Т» («террор»). Он, как обычно, начался с анкетных вопросов.

Второй допрос после часового перерыва вместе с Кулыгиным вел еще один заместитель начальника отдела «Т» — полковник Михаил Андрианович Жуков. Они начали с изъятого письма Татьяны Усовой и планомерно подошли к роману.

«ВОПРОС: Какие литературные произведения вы оставили Усовой?

ОТВЕТ: Уезжая на фронт в 1942 году, я оставил Усовой сборник моих лирических стихов, поэмы “Монсальват” (она была не окончена), “Кримгильда” и “Лес вечного успокоения”. Название последней поэмы позднее, после возвращения из армии, я изменил на “Немереча”, что на брянском говоре означает — непроходимая чаща. Оставил Усовой я также начатый мною роман “Эфемера”.

ВОПРОС: Еще какие свои произведения вы оставляли Усовой?

ОТВЕТ: Больше Усовой я ничего не оставлял.

ВОПРОС: Это точно?

ОТВЕТ: Да. Совершенно точно.

ВОПРОС: Разве эти произведения по своему содержанию могли быть напечатаны в Советском Союзе?

ОТВЕТ: Ни в одном из перечисленных мною произведений ничего антисоветского нет.

В поэме “Монсальват” и “Немереча” имеются оттенки мистики. Такие же оттенки мистики имеются и в некоторых моих стихах. Эти произведения, конечно, сейчас напечатаны быть не могут. Такие мои стихи, как в циклах “Бродяга”, “Лесная кровь”, “Янтари” — могли бы быть напечатаны.

ВОПРОС: Вы утверждаете, что не писали антисоветских произведений?

ОТВЕТ: Да. Я это утверждаю.

ВОПРОС: Цитирую вам одно место из письма, о котором шла речь в начале допроса: “...такой огонь не может задеть ничто извне (как у Ирины Федоровны)”. Кто такая Ирина Федоровна?

ОТВЕТ: Ирину Федоровну я не знаю. Полагаю, что речь идет о МАНСУРОВОЙ, которую, кажется, звали Марией Федоровной. (Тут надо пояснить, что речь идет о жене церковного историка и священника Сергея Павловича Мансурова, в советские годы арестовывавшегося, ссылавшегося и умершего в 1929 году от туберкулеза; овдовев, она благоговейно хранила память о муже, в 1934-м была арестована и сослана. — *Б. Р.*) О Мансуровой я как-то рассказывал Усовой как о примере верности любимому человеку.

ВОПРОС: Вы лжете. Вам отлично известно, кого имела в виду Усова, упоминая имя Ирины Федоровны. Предлагаем говорить правду.

ОТВЕТ: Я повторяю, что Ирину Федоровну я не знаю.

ВОПРОС: А героям, описанным в ваших произведениях, вы не давали имя — Ирина Федоровна?

ОТВЕТ: Нет, не давал.

ВОПРОС: Прекратите запирательство. Следствию точно известно, что Ирина Федоровна — героиня одного вашего произведения. Говорите правду.

ОТВЕТ: Я прекращаю запирательство. Ирина Федоровна — это действительно имя героини одного моего романа.

ВОПРОС: Какого?

ОТВЕТ: Роман называется “Странники ночи”.

ВОПРОС: Этот роман вы тоже оставляли Усовой?

ОТВЕТ: Да, оставлял.

ВОПРОС: Почему, перечисляя то, что вы оставляли Усовой, вы не назвали этот роман?

ОТВЕТ: Потому, что в этом романе имеется критика советской действительности, которая может быть определена следствием как антисоветские высказывания.

ВОПРОС: Какие еще произведения вы написали, в которых имеются антисоветские взгляды?

ОТВЕТ: Это мои наброски к поэме “Германцы”, которые я написал в 1942 году, и еще несколько стихотворений.

ВОПРОС: Эти произведения тоже находились у Усовой?

ОТВЕТ: Нет. Эти произведения я оставлял в своей квартире.

ВОПРОС: Укажите, где находятся написанные вами антисоветские произведения?

ОТВЕТ: Этого я следствию не скажу.

ВОПРОС: Почему?

ОТВЕТ: Над романом “Странники ночи” я работал десять лет. Эта работа мне слишком дорога, и я не могу сознательно обрекать ее на уничтожение.

Другие мои антисоветские произведения спрятаны вместе с этим романом. Поэтому я не могу указать их местонахождение.

ВОПРОС: Значит, вы отказываетесь выдать свои антисоветские труды?

ОТВЕТ: Да, отказываюсь. Во всяком случае, сейчас я этого не скажу.

ВОПРОС: Следствие расценивает это как продолжение вашей борьбы против советской власти. Учтите это»441.

О романе всё уже знали, но, согласно методам дознания, подследственный должен с ужасом обнаружить, что от «органов» ничего скрыть нельзя, нужно сдаваться. Кроме того, Жуков задавал вопросы о сочинениях Коваленского, и задавал так, что стало ясно: о них знают в подробностях. Содержания поэм «Химеры» и «Корни века» не могли знать ни Стефанович, ни Хижнякова. Неужели Ш.?

Третий в этот день допрос начался в 22 часа 30 минут. Он закончился без четверти пять утра. Допрашивали два полковника — Иванов, сменивший утомленного Кулыгина, и Жуков. Опять шла речь о «произведениях антисоветского содержания». Вначале арестованного заставили их перечислить и указать место, где они хранятся, повторяя: «Учтите, что ваше запирательство бесполезно». Дать понять, что запирательство бесполезно, здесь умели.

И Андреев ответил:

«Я решил указать следствию место, где хранятся мои антисоветские произведения.

Они находятся в квартире, где я живу. При входе в квартиру имеется передняя, в которой находится лестница в семь ступеней. По бокам этой лестницы есть парапеты. С левой стороны парапет более широкий. На нем стоят вещи домашнего обихода. Если их убрать, то можно поднять доску, и тогда откроется углубление.

Именно в этом месте и хранятся все мои антисоветские произведения, за исключением тех, которые находятся в комнате»[442].

3. Группа Даниила Андреева

Делом Андреева занимался отдел «Т». Следствием руководили начальник следственной части по особо важным делам генерал-майор Александр Георгиевич Леонов и полковник Владимир Иванович Комаров. Оба — проверенные люди Абакумова. Леонов, проучившись два класса в высшем начальном училище в Симферополе, главную школу прошел в «органах», начиная с ВЧК, где начал карьеру чуть ли не с пятнадцати лет сотрудником для поручений. Его заместитель Комаров, после семилетки окончивший школу ФЗУ, пришел в НКВД в 1938-м.

Вопросы о «произведениях антисоветского содержания» подводили к убедительному подтверждению обвинения, в сущности, сформулированного сразу. Намеченный лубянскими драматургами сюжет предопределил многомесячную работу над монологами признаний и диалогами допросов.

На допросы — таковы правила — из камер вызывали шепотом: «на А» — значит Андреева, «на В» — Василенко, никогда не называя фамилию полностью. По коридорам вели два надзирателя, и так, чтобы заключенные друг друга ни в коем случае не увидели. Если направлялись вниз по лестнице, а потом длинным, без дверей коридором к лифту — значит, в основное здание.

Допрашивали по отработанным методикам и почти всегда добивались, чего хотели. Видимо, к первым допросам относится угроза Леонова: «Вы еще не знаете, Андреев, специальным ножом мы из вас кишки вытянем. Букваль-но!»[443]

Требовались выразительные доказательства работы организованной группы вражеского подполья, того, что она не просто занималась антисоветчиной, распространяя собственные сочинения, а готовила террористический акт против главы советского правительства. Для обвинения в «агитации и пропаганде» материала хватало с избытком.

«Террористы», замышлявшие покушение на товарища Сталина, находились и при Ягоде, и при Ежове, и при Берии. «Органы» умели обнаруживать и уничтожать «террористические группировки». Найдя кандидатов на роль «террористов», следствие начинало с того, что очерчивало сюжет сценария и дописывало его на допросах, выбивая подробности, поощряя импровизации, требуя убедительных самооговоров. Типовые сценарии разнообразием не блистали. И хотя, как правило, писатели шли по статье «антисоветская агитация и пропаганда», обвинение в подготовке теракта на основании художественного текста чекисты практиковали давно. К любым, самым нелепым фантазиям на тему покушений и нападений относились с беспощадной серьезностью. То набросок сценария принимался за план нападения, то приключенческая повесть, но чаще — неосторожные речи.

А случай с романом «Странники ночи» оказался из ряда вон. В одной из глав его второй части «в деталях в стиле Достоевского описывалось покушение на Сталина, — замечал опытный политзэк Налимов. — Получив этот материал, органы ахнули — в их интерпретации это было не художественное произведение, а инструкция к действию»444.

Изображенное в романе «антисоветское подполье» — группа Глинского, собравшего «единомышленников, объединенных неприятием всего, что было навязано стране: коммунизма, социализма, атеизма, ведущих к духовной гибели народа»445. В романе даже определялась задача группы: «...ночь над Россией неминуемо кончится рассветом, а рассвет этот обнаружит крайнюю степень духовного голода народа, и те, кто это понимает, должны быть готовы этот голод начать удовлетворять»446.

Об интеллигентских методах работы «конспираторов» говорил эпизод сбора группы вечером в мансарде особнячка на Якиманке, когда подпольщики, чтобы избавиться от присутствия соседа, покупают ему билет в Большой театр.

Герой романа с террористическими замыслами, да еще и связанный с иностранной разведкой — Серпуховской. Ему ненавистны туманные рассуждения в уютной мансарде о «синем подполье», он жаждет реальной борьбы. Серпуховской не имел прототипа в нашем окружении, рассказывала вдова Андреева: «Как-то вечером — по-моему, это был 1946 год — мы сидели вдвоем в нашей комнате и говорили о “Странниках”. Даниил высказал свою неудовлетворенность чем-то в группе Глинского из-за недопроявленности Серпуховского. Дальше разговор пошел о том, что невозможно, чтобы в наше время, кроме советского быдла, были одни мечтатели. Должны быть мужчины, должны быть люди действия, они найдут, как действовать. Вот так стал развиваться персонаж романа, который сыграл совсем особую роль во время следствия. Арестованных по нашему делу о Серпуховском допрашивали как о живом человеке: “Где и когда вы познакомились с Алексеем Юрьевичем Серпуховским...”»447.

Рассуждения героев романа о возможных методах борьбы с бесчеловечной властью принимались за реальные инструкции. На допросе приводились строки из второй части «Странников ночи» с указанием страницы рукописи — 311: «Первое — самая тщательная маскировка. Отказ от каких бы то ни было единичных антисоветских выступлений, чтобы не выдать себя. Второе — активная подпольная работа. Временный блок со всеми антиправительственными группировками, какие только удастся нащупать». Зачитав их, следователь спрашивал романиста: «Говорите, что практически вами сделано в этом направлении?»

Но Андреев с подпольщиками знаком не был, в газетах, писавших о «врагах народа», о них не сообщалось. Романист придумал решительного героя, предполагая, что такие люди должны быть. Но существовали ли в

действительности противники режима, готовившие покушение на Сталина?

Алла Александровна рассказывала о встреченной в лагере женщине, знавшей о некой антисоветской группе, собиравшейся именно на Якиманке. Это ее поразило. А вот что говорил о своем участии в такой группе Александр Зиновьев: «Я стал антисталинистом и в 1939 году был одним из организаторов группы, которая готовила убийство Сталина. Это были реальные планы, покушение мы планировали совершить во время майской демонстрации 1940 года. У нас лишь не было хорошего оружия — достать удалось только сломанный наган... Вскоре меня арестовали»448.

4. Роковой август

Сколько человек проходило по делу Даниила Андреева, сами обвиняемые не знали, друг друга за все время следствия, за немногими исключениями, не видели, а некоторые даже не были между собой знакомы. «...На следствии, когда меня допрашивали, — рассказывал Василенко, — знаю ли я такого-то или такого-то, а я отвечал, что не знаю, следователь мне заявлял: “Ну да, у него каждый четвертый не знал пятого!”»449.

Уже на первом ночном допросе на вопрос: «А кто читал этот ваш роман “Странники ночи”?» — Андреев перечислил, понимая, что большинство его читателей здесь известны, но не предполагая, что им грозит:

«1. УСОВА Татьяна Владимировна.
2. Ее мать — УСОВА Мария Васильевна.
3. МУСАТОВ Сергей Николаевич.
4. Его жена — МУСАТОВА Наталия Васильевна.
5. ХИЖНЯКОВА Галина Васильевна.
6. АРМАНД Тамара Аркадиевна.
7. Ее дочь — АРМАНД Ирина Львовна.
8. Моя жена — АНДРЕЕВА Алла Александровна.
9. СТЕФАНОВИЧ Николай Владимирович.
10. ДОБРОВ Александр Филиппович.
11. МАЛАХИЕВА-МИРОВИЧ Варвара Григорьевна.
12. БРУЖЕС Александр Петрович.
13. Его сын — БРУЖЕС Юрий Александрович.
14. КАЛЕЦКАЯ Мария Самойловна.

Кроме них читали роман “Странники ночи” следующие лица, теперь уже умершие:

1. ДОБРОВ Филипп Александрович.
2. ДОБРОВА Елизавета Михайловна.
3. МИТРОФАНОВА Екатерина Михайловна.
4. ФИНКЕЛЬШТЕЙН Варвара Дмитриевна.

Отдельные главы из романа я читал ИВАНОВСКОМУ Александру Михайловичу и его жене Марии Владимировне. Это были главы из самого раннего варианта романа. Читал я Ивановскому примерно в 1937 году.

Отдельные отрывки читал я также Василенко Виктору Михайловичу.

О существовании романа “Странники ночи” знали ХАНДОЖЕВСКАЯ-ДОБРОВА Галина Юрьевна, КОВАЛЕНСКИЙ Александр Викторович, а также его жена ДОБРОВА Александра Филипповна, МАТВЕЕВ Сергей Николаевич»450.

На последний вопрос, не забыл ли он, кто еще читал роман или знал о его существовании, Андреев ответил: «По-моему, я назвал всех. Если я вспомню еще, то назову дополнительно».

Арестовывать названных не торопились. Тем более что на Лубянке, усмехаясь, приговаривали: «Ваши эти переулочки арбатские, да их можно брать прямо подряд, целыми домами...» На подозреваемых собирали материал, не выпускали из виду. Кому-то везло. «Уцелели мои родители, которые не читали и не знали произведений Даниила, уцелела и Галя Русакова, очень близкий и любимый Даниилом человек, хотя она роман читала. При этом были арестованы люди, имевшие к нам совершенно косвенное отношение», — поражалась логике следователей Алла Александровна. Повезло Тарасовым, знавшим о «Странниках ночи», читавшим главы. Но из-за болезней и рождения дочери они больше года не бывали в Малом Левшинском. И Андреевы не появлялись у них с лета 1946 года.

В мае, прежде чем начались аресты, следователи составили «Схему антисоветских связей Андреева Д. Л. и Андреевой А. А.». В схеме тридцать шесть фамилий. Значатся в ней и Русакова с мужем, и 73-летняя мать Ивашева-Мусатова, и пожилые матери Арманд и сестер Усовых, и старуха Малахиева-Мирович, и отец с сыном Бружес, и даже Стефанович. Есть в схеме еще несколько человек, которых не тронули: художница Елена Саввишна Волынец, семейство Соколовых, Тарасов с Миндовской... Не все годились в члены террористической группы. Что за террористическая группа, состоящая из близких родственников и старух? Андрееву и в голову не могло прийти, что называемые им люди — тихие и интеллигентные — окажутся обвиняемыми в государственных преступлениях.

Первым 16 июня в Курске арестовали Алексея Павловича Шелякина. Ушедший на войну 22 июня 1941-го, он после демобилизации работал там главным архитектором. Крамола обнаружилась в его письмах школьному другу. Он любил литературу, сам пробовал писать. При аресте у него взяли дневники, большую пачку писем Даниила Андреева за многие годы. Как быстро выяснилось, Шелякин слышал чтение романа и крамольную главу о террористах, а значит, годился в

соучастники. Кроме того, в его дневниках, писавшихся на Кавказском фронте, нашлись строки, способствующие получению 25-летнего срока.

В августе арестовали Татьяну Усову. В начале ночи в квартирку на улице Станиславского пришли двое в форме, один в штатском. Татьяна Владимировна жила на даче, в доме оказались сестра с мужем, Василием Васильевичем Налимовым. В июне они вернулись из колымской ссылки, и паспорт у Налимова был «дефектный» — ему не разрешалось жить в Москве. Но, проведя тщательный обыск в бумагах, забрав письма Андреева к Ирине Усовой на Колыму и фотографии, лубянский наряд отбыл. На паспорт Налимова пришедшие внимания не обратили.

Татьяну Усову привезли на допрос вместе с изъятыми у нее рукописями. Допрашивали пять часов, провели очную ставку. И пока отпустили. Она передала сестре запомнившуюся фразу Андреева, брошенную следователю: «У меня с вами нет ни одной точки соприкосновения». Он потом сетовал: «...замечательно показала себя Тат<ьяна> Влад<имировна>, но я опростоволосился так, как ни с кем, и теперь, вероятно, она не хочет обо мне знать»451.

После предательской, как она и ее мать считали, женитьбы Татьяна Даниила не видела, и видеть не желала. Но это ее не спасло. Три года гордых переживаний, встреча в лубянском кабинете и внезапный арест. Арест грозил и сестре, ее пытались вызвать телефонным звонком на допрос, но она — помог опыт мужа — вовремя из Москвы уехала, а разыскивать ее не стали. В доме Усовых осталась Мария Васильевна, добитая несчастьем с любимой дочерью и до конца следствия не дожившая.

24 августа арестовали Ивашева-Мусатова и Василенко. Ивашева-Мусатова взяли дома, в комнатке на Никитском, Василенко — в поезде, когда тот возвращался из командировки в Баку. Он рассказывал о роковом дне и следствии:

«Попутчиком моим был какой-то мрачный тип, не вымолвивший за всю дорогу ни единого слова. И вот когда мы уже подъезжали к Подольску и я стоял, как и все, в коридоре у окна, глядя на только что взошедшее солнце, которое сияло над Окой, рядом со мной встал мой мрачный попутчик.

Поезд остановился в Подольске. И тут же попутчик исчез, когда ко мне подошли двое и потребовали паспорт. Я протянул паспорт, они взглянули на него и сказали: “Вы арестованы”. Моментально весь коридор опустел. <...>

На Курском вокзале меня вывели через калитку, которую я вижу и сейчас, когда еду на юг, и с нее началась моя новая жизнь. Меня вывели, посадили в такой большой автомобиль. Я поставил на колени мой чемоданчик и две чарджуйские дыни, которые вез из Баку. Дыни были пахучие. И я помню, как принюхивались к их сладкому запаху мои конвоиры.

Тронулись. И я услышал: “При любой попытке к бегству будем стрелять...” <...>

И вот два вертухая ввели меня с руками назад в огромную комнату, где за длинным столом сидели человек двадцать пять в военной форме. Горели яркие канделябры. В торце стола сидел военный высокого роста, с характерным худым лицом. Позже я узнал, что это был Леонов, начальник отдела по особо важным политическим преступлениям. <...>

Вертухаи ушли, и кто-то мне сказал: “А-а, Виктор Михайлович, как мы рады вас видеть!” Я удивленно посмотрел. А другой добавил: “Мы вас давно ждали. Интересно на вас посмотреть. Да-да. Ну, подойдите поближе”.

Я сделал два неуверенных шага. И молчу.

“Ну что же вы молчите? — спрашивает еще кто-то. — Рассказывайте, рассказывайте!”

Я говорю: “О чем?”

“Как это о чем? О ваших преступлениях, которые вы совершали всю вашу жизнь”.

Я им говорю: “Я никаких преступлений не совершал”.

А они мне: “Что вы? Да вы один из самых страшных преступников, каких мы только знаем. На вас посмотреть интересно, столько мы за вами гонялись, следили”.

“Да помилуйте, — говорю. — Отпустите меня, мне через десять дней нужно начинать лекции в университете...”

“Что вы, какие там лекции. Как вы не понимаете, где находитесь. Вы здесь потому, что вы огромный преступник. Да еще настолько опытный, что все время запираетесь. Ведь обычные преступники, они сознаются сразу же...” — говорят мне.

И тут вдруг встает Леонов, подходит ко мне: “Ну, говори”.

“Я же ни в чем не виноват. Я ничего не делал”, — отвечаю я. И неожиданно страшный удар. Я падаю на пол. У меня кровь. Выбиты три зуба. Я с трудом поднимаюсь. Он приказывает: “Уберите эту сволочь”. Меня уводят. А сзади я слышу только какой-то гогот. <...>

Через несколько дней меня повели к следователю. Он был высокорослый, холеный, женственного вида с вытянутой лисьей физиономией. Блондин. Одет он был с иголочки, и пахло от него прекрасными духами. Фамилию его я не помню. Он начал меня допрашивать, добиваясь, чтоб я рассказал о моих преступлениях.

Я говорил, что ни в чем не виноват, ничего не делал. Ну, читал стихи Гумилева...

Следователь кривился: “Да нет”. Наконец, на третий, по-моему, день, он сказал: “Вы обвиняетесь в том, что вы и Андреев хотели убить великого вождя”.

Я обомлел: “Кого?” — “Ну как. Великого вождя”, — повторил он. Интересно, что за все время полуторагодового следствия ни один из них не решился сказать: “Убить Сталина!” Они боялись даже произнести это.

<...> Наши следователи все время говорили о “Странниках ночи”. Как я понял, они считали, что главный герой — Олег — это я, что я был секретарем Андреева, и он меня вывел в этом Олеге»452.

Нет, не случайно, вспоминал Василенко в камере, каждый раз, когда он проходил мимо молчаливых стен Лубянки, сердце замирало от непонятного страха.

5. Последние дни дома Добровых

Очевидно, семья Добровых давно интересовала «органы», на допросах следователи аттестовали покойного доктора монархистом: «Этого вашего старичка надо было первым прибрать...»

Заставляя рассказывать о проведенной «вражеской работе», о начале «антисоветской деятельности», следователи использовали все способы, чтобы каждого из включенных ими в «группу Даниила Андреева» уличили и обличили подельники. Так строились допросы, писались протоколы.

Андреев отвечал на вопросы о своей «антисоветской деятельности», что началась она в 1928 году, и признавался в отрицательном отношении к советской власти, к ее гонениям на церковь и религию, к отсутствию свободы слова, к коллективизации. Понятно, что взгляды свои он высказывал в семье. Покойных приемных родителей привлечь нельзя, но в соучастники попали все члены семейства.

В чем виноваты осторожнейший Александр Викторович и его преданная жена?

Уже через год с лишним после начала следствия в протоколе появилось такое признание Андреева: «В 1930-м или 1931 году я как-то разговорился с КОВАЛЕНСКИМ по поводу его поэмы “1905 год”, в которой он выводил образ КАЛЯЕВА, убившего в 1905 году московского генерал-губернатора». Допрашиваемый не скрывал, что они восхищались «самопожертвованием Каляева», говорили: среди нынешней интеллигенции таких сильных характеров нет. Но протокол фиксировал: они сожалели, что «не находится такого решительного человека, который мог бы убить Сталина».

«КОВАЛЕНСКИЙ, будучи особенно озлоблен против Сталина, — признавался, если верить протоколу, Андреев, — в 1934 году после убийства КИРОВА заявлял, что покушение на КИРОВА не дало ощутимых результатов и не смогло вызвать изменений в стране. Если уж жертвовать собой, говорил КОВАЛЕНСКИЙ, так надо было стрелять в Сталина. КОВАЛЕНСКИЙ и впоследствии неоднократно высказывал мне террористические настроения и заявлял о личной готовности убить главу Советского государства. Жена КОВАЛЕНСКОГО — ДОБРОВА разделяла террористические намерения своего мужа и не раз в беседах со мной и моей женой АНДРЕЕВОЙ высказывалась о необходимости насильственного устранения Сталина».

После ареста Андреевых Коваленские оказались обречены. Александр Викторович предусмотрительно отдал свои рукописи, те, что считал крамольными, навестившему их Желобовскому. Как и прежде, болезненная чета — он в гипсовом корсете, у Шурочки язва — не только из дому выходила редко, а даже из своей комнаты. Но о том, что их судьба повисла на нити, планомерно перетирающейся следствием, напоминала соседняя опечатанная дверь.

Вадим Сафонов, услышав (от сына Туган-Барановского), что старый друг арестован, заглянул с женой в Малый Левшинский узнать подробности. Он не догадывался, что и его имя мелькнет в лубянских протоколах. Открывший дверь Александр Викторович, хмуро стоя на лестнице, в дом не пригласил: «Если войдете, и вас могут арестовать». Звонили, приходили еще несколько друзей Андреевых. Всем он отвечал одинаково сухо, без объяснений. Проницательный скептик еще надеялся, что обойдется.

Ламакина, единственная в мертвенно молчавшей коммуналке не побоявшаяся выйти попрощаться с арестованной Андреевой, вспоминала: «Помню, как мне приснился сон: как будто стоит в дверях Елизавета Михайловна Доброва и, укутавшись в черный платок, плачет. Я спрашиваю ее — о чем она плачет? Она мне отвечает — я плачу о своих, что с ними будет?

Действительно, события потом были ужасны. Арестовали и разослали всех членов семьи Добровых. При аресте Александры Филипповны забивали дверь большой добровской комнаты гвоздями. Забивали топором, мучительно долго. Невольно представлялся гроб... Все мы, старые жильцы квартиры, вышли в коридор. Александра Филипповна с горящими глазами, прощаясь с нами, издали крикнула: “Прощайте, не поминайте меня лихом”. Больше мы ее не видели, она умерла в лагере»[453].

Коваленских забрали 1 октября. Уже после их ареста постановлением президиума Союза советских писателей от 24 октября 1947 года Коваленского приняли в члены союза. Многолетние попытки обрести статус советского писателя увенчались успехом. Но об этом он узнал через девять лет, выйдя из лагеря.

Александра Доброва и его жену взяли через месяц после сестры с мужем. Позже арестовали Желобовских, у которых обнаружились рукописи Коваленского, этого оказалось достаточно. Аресты шли по кругу.

«Мне прочитали список людей, которые предположительно будут арестованы за связь с нами, — рассказывала Андреева. — В нем числилась, например, женщина, которая иногда приходила к нам помочь по хозяйству. Там был сапожник, которому я что-то отдавала чинить. Наконец, няня Даниила. <...> В ту пору ей было лет шестьдесят. Список оказался огромным. В нем значился буквально каждый, кто в наш дом входил и кто нам звонил»[454].

На Лубянке оказался биолог Дмитрий Ромашов. Одноклассник Ивашева-Мусатова, его знакомый с дошкольных лет, он, видимо, знал и Андреева. Как пишет в воспоминаниях Наум Коржавин, поначалу сидевший в одной камере с Ромашовым, тот сел «за слушание в чьем-то доме “террористической” повести Даниила Андреева»455. Генетика Ромашова могли привлечь и по иной статье, но ясно, что сети следствие раскинуло широко.

Кого-то вызывали на допросы и отпускали. Ольгу Александровну Веселовскую допрашивали пять часов, интересуясь близким окружением не только Андреева, но и Фаворского. Через несколько дней у нее случился инфаркт.

Кому-то везло. Когда долго не получавший от Андреева ответа Хорьков, его фронтовой товарищ, зашел в Малый Левшинский и спросил Даниила Леонидовича, открывший дверь мужчина, испуганно оглядываясь, зашептал: «Уходите! Такого не знаю!» Потом так же шепотом сообщил, что его вместе с женой арестовали, и повторил: «Уходите!»

6. Допросы

В спецсообщении Сталину, отправленном 17 июля 1947 года, когда следствие по террористическому делу набирало ход, Абакумов подробно докладывал о том, как в МГБ ведутся допросы:

«4. При допросе арестованного следователь стремится добиться получения от него правдивых и откровенных показаний, имея в виду не только установление вины самого арестованного, но и разоблачение всех его преступных связей, а также лиц, направлявших его преступную деятельность и их вражеские замыслы.

С этой целью следователь на первых допросах предлагает арестованному рассказать откровенно о всех совершенных преступлениях против советской власти и выдать все свои преступные связи, не предъявляя в течение некоторого времени, определяемого интересами следствия, имеющихся против него уликовых материалов.

При этом следователь изучает характер арестованного, стараясь:

в одном случае, расположить его к себе облегчением режима содержания в тюрьме; <...>

в другом случае — усилить нажим на арестованного; <...>

в третьем случае — применить метод убеждения, с использованием религиозных убеждений арестованного, семейных и личных привязанностей, самолюбия, тщеславия и т. д.

Когда арестованный не дает откровенных показаний <...> следователь, в целях нажима на арестованного, использует имеющиеся в распоряжении органов МГБ компрометирующие данные из прошлой жизни и деятельности арестованного. <...>

Иногда, для того, чтобы перехитрить арестованного и создать у него впечатление, что органам МГБ все известно о нем, следователь

напоминает арестованному отдельные интимные подробности из его личной жизни, пороки, которые он скрывает <...> и др.

5. Уликовые данные, которыми располагает следствие, как правило, вводятся в допрос постепенно, с тем, чтобы не дать возможности арестованному узнать степень осведомленности органов МГБ о его преступной деятельности. <...>

7. В отношении арестованных, которые упорно сопротивляются требованиям следствия, ведут себя провокационно и всякими способами стараются затянуть следствие либо сбить его с правильного пути, применяются строгие меры режима содержания под стражей»[456].

Но существовали и неписаные правила, отработанные изуверские приемы. В МГБ умели ломать даже приготовившихся к сопротивлению. Андрееву пришлось, может быть, тяжелее всех. Не только потому, что на него, как на главу заговора, навалилась вся чекистская сила. Он мучился тем, что стал виновником «жизненной катастрофы», страданий и гибели окружавших его. «...Самый тяжелый период моей жизни — 48-й год, время первого следствия, протекавшего в ужасающих условиях и доведшего меня до состояния глубокой депрессии. Не дай Бог даже врагу испытать что-либо подобное»[457], — признавался он. Видимо, в эти месяцы с ним в камере оказался студент-филолог Михаил Кудинов[458]. Позже, в Джезказгане, он неодобрительно рассказывал солагернику, как, «придя с допроса, Даниил, прохаживаясь по камере, старался вспомнить, кто еще слушал его роман», а на предупреждения, что «эти воспоминания будут дорого стоить», отвечал, что «его долг говорить правду»[459].

Мог ли он промолчать? Всегда терявшийся перед необходимостью говорить неправду, не готовый к сопротивлению, Андреев был буквально истерзан следователями, умевшими потрошить и закаленных борцов подполья. Но что он мог рассказать, чего здесь не знали? Речь шла лишь о подтверждающих признаниях. В конце концов Андреева заставили признать, что он организатор террористической группы. Еще проще добились показаний от его жены, которую досужая молва и простодушность собственных рассказов сделали едва ли не главной виновницей всего дела. Она писала об этом:

«Следователь звал меня по имени-отчеству, читал мне стихи. Он говорил:

— Алла Александровна, пожалуйста, расскажите, как такие люди, как вы, как те, другие, кто сейчас арестован, вы, русские люди, смогли дойти до такой вражды к строю своей страны, к тому, как живет наша Родина. Мы же хотим понять, что думает интеллигенция, мы хотим быть вместе с вами, но от нас все шарахаются. Нам никто ничего не рассказывает.

Я, дура, рассказывала. Больше года. И еще вот что важно. Я не могла забыть, что передо мной сидит и ведет допрос такой же русский человек, как я. Это мое чувство использовали, как ловушку. <...>

Следователь был очень спокоен, он записывал все, что я говорила: свои вопросы, мои ответы. Потом давал мне прочесть эти листки. Я читала, удивлялась и спрашивала:

— Ведь я же не так сказала. Вы иначе написали, чем я говорила.

А он отвечал:

— Алла Александровна, понимаете, есть, так сказать, бытовые формулировки. Я же обязан нашему разговору придать юридическую форму»460.

Этот следователь — Иван Федорович Кулыгин. Он добродушно рассказывал подследственной, как его, студента Лесотехнического института, сибиряка, по комсомольскому призыву направили на работу в органы. Отказываться нельзя. Выглядел следователь лощено, даже с неким оттенком интеллигентности. Мог ввернуть фразу о литературе. Беседовал спокойно, добродушно улыбался, рассказывал о маленькой дочке. Уже потом Андреева с удивлением узнала, как тот же Кулыгин на допросах неистово материл Ивашева-Мусатова.

Позже она характеризовала свое, и не только свое, поведение на следствии как глупое и «детское, чтоб не сказать больше». Это понимали все, прошедшие «дело Даниила Андреева». В 1956-м Шелякин писал ей из Сыктывкара: «Мне достаточно известен характер вымученных у Вас показаний, долженствующих, по замыслу следствия, доказать причастность мою к тем фантастическим преступлениям, на выдумывание которых было потрачено 17 месяцев и тонны бумаги»461.

Но знавшие о поведении жены поэта на следствии понаслышке или только с ее слов, судили беспощадно. Арестованная в 1948-м во второй раз Нина Ивановна Гаген-Торн, встретившаяся с Андреевой в лагере, передавала ее простодушные рассказы не только без снисхождения, но и с возмущенным комментарием:

«Неужели искренне восхищалась следователем? Утверждала, что понимает необходимость социальной борьбы, сообщила:

— Мы с ним сумели договориться, он убедил меня во многом: мы были не правы в своем скептицизме к советской власти.

— Ну, в чем же он вас убедил?

— Что растет иная культура. Такая, которая создала новую интеллигенцию, других убеждений, но понимающую то, что дорого нам. Он говорил: “Мы с вами политические противники, но это не значит — враги. Вы жили в московской интеллигентской ячейке, не зная жизни и стройки страны. Вспомните, что мы, коммунисты, выиграли войну с великими жертвами, и поймите необходимость бдительности. Имейте мужество говорить прямо, если у вас есть разногласия с нами!” И я поняла, что он прав! — воскликнула Алла, гордо подняв голову. — Следователь мой, во всяком случае, культурный человек. Вставал, когда меня приводили на допрос, предлагал: “Садитесь, пожалуйста, Алла Александровна”. Я сказала, что верю в Бога, в роль христианства. Он цитировал Блока: “Инок шел и нес святые знаки...” <...>

И Алла рассказала ему, как созревал замысел романа, кто слушал его чтение и какие высказывал мысли. По делу о написанном Даниилом Андреевым романе сели около 200 человек, получив сроки от 10 до 25 лет»462.

Характерно, что, непомерно преувеличив значение признаний Андреевой на следствии, Гаген-Торн двадцать арестованных превратила в двести.

7. Признания

Когда следствие определило состав андреевской группы, от него стали добиваться конкретных показаний: когда и о чем он говорил со своими сообщниками. По протоколам можно лишь догадываться, в чем на самом деле признавался допрашиваемый:

«ВОПРОС: — А к какому периоду относятся террористические проявления ИВАШЕВА-МУСАТОВА и ВАСИЛЕНКО?

ОТВЕТ: — С ИВАШЕВЫМ-МУСАТОВЫМ я обсуждал вопрос террора в 1939 году у него на квартире в Москве, по Уланскому переулку, № 12. Я говорил ему, что насильственное устранение Сталина от руководства страной облегчило бы нашу борьбу против советской власти.

На прямо поставленный мною вопрос — разделяет ли он террор против руководителей Советского правительства — ИВАШЕВ-МУСАТОВ ответил, что он отнесется с уважением к исполнителю террористического акта против Сталина.

Что же касается ВАСИЛЕНКО, то его в обсуждение вопроса о терроре я стал втягивать еще с 1937 года, по мере сближения с ним и установления доверительных отношений.

В беседах с ВАСИЛЕНКО я заявлял ему, что лично у меня не дрогнет рука убить Сталина, и ВАСИЛЕНКО, соглашаясь со мной, сам высказывал готовность совершить против него террористический акт.

ВОПРОС: — Теперь покажите о террористических проявлениях вашей жены АНДРЕЕВОЙ.

ОТВЕТ: — Еще в начале допроса я понял, что АНДРЕЕВА рассказала следствию о нашей совместной вражеской деятельности. С АНДРЕЕВОЙ у меня были наиболее близкие отношения, с ней я делился своими самыми сокровенными мыслями, она знала о моей ненависти к руководителям Советского правительства, полностью разделяла мои террористические намерения и являлась моей ближайшей и активной помощницей в проведении вражеской работы против советской власти.

Постоянно влияя на АНДРЕЕВУ, мне удалось привить ей ненависть к Сталину и подготовить ее для самых решительных действий.

В беседах со мной и другими участниками нашей антисоветской группы АНДРЕЕВА не раз заявляла, что она готова сама совершить террористический акт против главы Советского государства»463.

Еще в 1941 году вышла книга Вышинского «Теория судебных доказательств в советском праве», перед арестом Андреевых удостоенная Сталинской премии. В ней говорилось, что если обвиняемый в государственном преступлении признался, то других доказательств не требуется. Признания Даниила Андреева и его подельников следствие получило. Но для доложенного вождю террористического дела кроме возмутительного романа и признаний требовалась, по мнению режиссеров, достоверность деталей, «художественная» убедительность. И следователи работали не покладая рук. Наум Коржавин описал обитателей 60-й камеры, где встретил андреевского однодельца. Доцент Василенко был, вспоминал Коржавин, это бросалось в глаза — «мягкий, интеллигентный, тонкий, добрый, деликатный, беззащитный человек. Следователи быстро нащупали эту его слабость и на ней играли.

— Ты кто такой? — спрашивали они его. От одного этого “ты” он терялся.

— Я доцент... — начинал он лепетать очевидное, но его грубо обрывали:

— Ты говно, а не доцент! — и хохотали.

Он совсем терялся. И подписывал все, что ему совали. В конце концов он понаподписывал на себя черт-те что».

Позже из лагеря Василенко писал в прокуратуру жалобы, описывал, как следователи Григорьев и Новиков заставляли его подписывать всякий бред, признаваться в том, что они готовились к покушению на вождя с атомными пистолетами и атомной бомбой. Волевой сокамерник стал спасать Василенко, внушая: «Умный, образованный человек, а что делаете? Немедленно пишите заявление следователю и откажитесь от всех этих показаний. Скажите, что были не в себе. Ну, посадят вас в карцер <...> надо вынести. А то ведь всю жизнь погубите»464. Василенко после колебаний совет принял и попал в карцер, где твердил молитву «Господи, Боже мой, спаси меня...» и защищался от ледяной капели с потолка тем, что клал на плечи два носовых платка, у него оказавшихся. Но попытка противления следствию никакого значения не имела. Намеченная Василенко роль тянула на высшую меру, но смертная казнь тогда была отменена, и он получил свои двадцать пять лет.

Для Андреева следствие стало страшным испытанием не только из-за ночных пыточных допросов, но и потому, что приходилось подписывать протоколы с чудовищными обвинениями близких людей.

Может быть, после следствия началась у Андреева болезненная страсть «босикомохождения».

«Его как-то следователь избил сильно на допросе. И Даниил Леонидович, оказавшись в камере, потребовал бумагу и написал протест прокурору по поводу незаконных методов ведения допроса, избиений, издевательств... Прошло какое-то время, и вот его снова вызывают на допрос. В кабинете кроме следователя сидит незнакомый генерал.

“Я, — говорит, — прокурор, тут ко мне поступила ваша жалоба на якобы незаконные действия нашего следователя. Я должен выяснить, так ли это”. Тут встает следователь, подходит к Андрееву: “С чего ты взял, что у нас используются незаконные методы?” — и бьет Даниила Леонидовича сапогом по ноге. “У нас арестованных никто не бьет”, — и опять удар. “Значит, вместо того чтобы раскаяться, ты еще клевещешь на советские органы дознания?” — и снова бьет... В общем, он его избил страшно на глазах у того генерала. А генерал после всего и говорит: “Я, — говорит, — убедился, что следствие ведется законными методами, а вы, Андреев, клевещете на наши советские карательные органы”»[465].

Между интенсивными допросами отвлекало, давало передышку только чтение. После тюрьмы Ивану Алексеевичу Новикову, автору книги «Пушкин в Михайловском», прочитанной в камере, он писал: «Это было окно на свежий воздух из зловонного карцера, точно дуновение милого родного ветра, насыщенного запахами заливных лугов. Возвращаясь с ночных допросов измученным до предела и зная, что в камере не с кем будет перекинуться живым искренним словом, я утешался мыслью о книге, которая меня там ждет, как утешительница, друг и пробудительница самых светлых воспоминаний»[466].

8. Сюжеты

Кроме подробностей террористических замыслов следствие разрабатывало и другие сюжетные линии. Первая, подтверждавшая существование многолетнего вражеского подполья, — выявление прогерманских и пораженческих настроений перед войной. Здесь следствие припомнило встречи на квартире у четы Кемниц и у Евгения Белоусова. Кемница с женой арестовали в Пензе 10 февраля 1948 года, когда сценарий дела вчерне уже сложился. Следом, 12 февраля, в Каменск-Уральске арестовали Белоусова, где тот работал на эвакуированном в войну авиазаводе заместителем начальника конструкторского отдела. Тем более неожиданно, что накануне ареста ему вручили орден Красной Звезды. Показания Андреева фиксировали в протоколе допроса версию, продиктованную следствием:

«СКОРОДУМОВА и ее муж КЕМНИЦ — немец по национальности — с восхищением отзывались о порядках в Германии, превозносили Гитлера и его фашистскую партию и утверждали, что именно фашистская Германия явится освободительницей России от большевиков. СКОРОДУМОВА-КЕМНИЦ заявляла, что когда Германия нападет на СССР, то с советской властью все будет покончено».

После этого признания сюжет стал прорисовываться чуть подробнее:

«ВОПРОС: — И поэтому, когда Германия напала на Советский Союз, вы стали спешно готовить своих сообщников для перехода на службу к немцам?

ОТВЕТ: — Да, вторжение фашистской армии в Советский Союз все участники нашей антисоветской группы встретили с большой радостью и надеждой на скорое падение советской власти.

Я, не сомневаясь в победе германской армии, радовался, что сбываются мои долгожданные мечты, когда смогу принять непосредственное участие в свержении советской власти и создании вместе с немецкими оккупантами новых порядков в стране. <...>

С КОВАЛЕНСКИМ, ВАСИЛЕНКО, ИВАШЕВЫМ-МУСАТОВЫМ и УСОВОЙ мы договорились, что после занятия Москвы немцами сами пойдем к оккупационным властям и предложим им свои услуги.

ВОПРОС: — Какую предательскую деятельность вы собирались вести на стороне немцев?

ОТВЕТ: — Мы считали, что немцы используют нас в области пропаганды, где мы сумеем помочь вести борьбу с советской идеологией и привить населению новые взгляды, угодные немецким оккупантам. Наши взгляды и взгляды немецких оккупантов, как мы считали, едины.

Лично я готов был занять по указке немцев любой пост и выполнять их поручения. Для того, чтобы угодить гитлеровцам и снискать их доверие, я подготовил свою антисоветскую поэму “Германцы”, специально посвященную немцам, и усиленно работал над окончанием антисоветского романа “Странники ночи”, с тем чтобы с приходом их в Москву издать эти произведения.

Однако наши надежды на приход немцев в Москву не оправдались, что вызвало у нас немалую растерянность.

Не успев еще сориентироваться в этой обстановке и наметить какие-либо другие мероприятия для борьбы с советской властью, я был в 1942 году призван в армию и отправлен на фронт.

ВОПРОС: — Где и продолжали вести вражескую деятельность?

ОТВЕТ: — Нет, за время службы в Советской Армии я сделать что-либо в этом направлении не смог. <...>

Оставаясь непримиримым врагом советской власти, я на время притаился, но связи со своими сообщниками в Москве не порывал, рассчитывая вернуться в Москву и возобновить вражескую деятельность.

ВОПРОС: — Такая возможность вам представилась?

ОТВЕТ: — Да. Уволившись летом 1945 года по болезни из армии и возвратившись в Москву, я вновь установил связь с участниками нашей антисоветской группы КОВАЛЕНСКИМ, ДОБРОВЫМ, ДОБРОВОЙ, ВАСИЛЕНКО, ИВАШЕВЫМ-МУСАТОВЫМ, МАТВЕЕВЫМ, ДОБРОВОЛЬСКИМ-ТРИШАТОВЫМ и ИВАНОВСКИМ».

Как немец Кемниц во время войны был выслан из Москвы и жил с женой в Пензе. Белоусов с женой уехал с заводом на Урал. Но и они, оказывается, поддерживали с Андреевым агентурную связь и продолжали «оставаться активными врагами советской власти, с той разницей, что после поражения Германии они переориентировались

на англо-американцев». Шел 1948 год, началась холодная война.
И Андреев, согласно протоколу допроса, признался:

«На сборищах, которые возобновились у меня на квартире, КОВАЛЕНСКИЙ, ВАСИЛЕНКО и другие заявляли, что Англия и США заставят Советское правительство пойти на коренные преобразования вплоть до введения частной собственности, свободной торговли, роспуска колхозов и создания многопартийного демократического правительства.

Они утверждали, что Советский Союз вышел из войны с Германией настолько экономически ослабленным и обескровленным в военном отношении, что не сможет противостоять этим требованиям американцев.

Я держался другого мнения и доказывал им, что Советское правительство не пойдет ни на какие уступки и что его надо свергать насильственным путем, и поэтому Англия и США вынуждены будут начать войну против Советского Союза».

Отсюда следовал второй сюжет — связь подполья с заграницей. И тут следствие действовало уверенно. Вначале добились признания в том, что группа в ожидании новой войны против СССР, которую вот-вот начнут Англия и США, решила продолжать вражескую работу. В протоколах эта тема вначале звучала обобщенно:

«В беседе со своей женой АНДРЕЕВОЙ в конце 1946 года я заявил ей, что если во время войны США против СССР в Москве начнутся волнения, то я первым ворвусь в Кремль и убью Сталина. АНДРЕЕВА поддержала меня и заявила, что готова действовать вместе со мной.

Однако должен признать, что в последнее время я стал задумываться над тем, что за границей мне представились бы б*о*льшие возможности для вражеской деятельности против Советского Союза. Я считал, что там я сумел бы издать свои антисоветские произведения, над которыми работал в течение многих лет, и мог бы активно выступать с пропагандой против Советского Союза».

Но этого допрашивавшим оказалось мало, и его заставляют говорить дальше, продиктовав ответ и требуя художественных подробностей: «Вы не только задумывались, но и предпринимали меры к побегу за границу. Договаривайте до конца».

«ОТВЕТ: — Это верно. В конце 1946 года я намеревался вместе со своей женой АНДРЕЕВОЙ пойти в американское посольство в Москве и, выдав себя за противника существующего в СССР государственного строя, попросить у американцев убежища в расчете при их содействии перебраться за границу.

Обсудив детально наш замысел, мы с АНДРЕЕВОЙ пришли к выводу, что осуществить его очень трудно, так как мы наверняка будем выслежены и арестованы.

Отказавшись от этой мысли, мы решили бежать через кавказскую границу в Турцию, а оттуда пробраться в Париж. К разработке нашего

плана побега за границу мы с АНДРЕЕВОЙ привлекли участника нашей антисоветской группы МАТВЕЕВА, который, являясь географом, хорошо знал советско-турецкую границу»[467].

Хотя попытку убежать через американское посольство, по замечанию допрашиваемого, можно было обсуждать лишь «в юмористическом разрезе», а планы уехать в Батум и «с помощью контрабандистов» перейти турецкую границу могли показаться Матвееву только неумной шуткой, следствие упорно выясняло детали преступных замыслов. Тем более что в «Странниках ночи» о проектах бегства за границу говорилось в главах, посвященных архитектору Моргенштерну.

«ВОПРОС: — Почему именно в Париж вы намеревались бежать?

ОТВЕТ: — В Париже проживает мой брат писатель АНДРЕЕВ Вадим Леонидович, который в годы Гражданской войны вместе с белогвардейцами бежал за границу.

При помощи брата я намеревался завязать необходимые знакомства, издать свои антисоветские произведения и продолжать активную борьбу против Советского Союза.

Вот все, что я мог показать о своей вражеской работе.

ВОПРОС: — Нет, это не все. Вы еще не показали о своей связи с иностранными разведками и не назвали лиц, которые направляли вашу вражескую деятельность. Об этом вы еще будете допрашиваться»[468].

Вскоре ему предъявили неназванных лиц. Это были Александр Александрович Угримов с женой, Ириной Николаевной, старшей дочерью Муравьева. В конце 1947 года Угримова, участника Сопротивления, советско-патриотически настроенного, выслали из Франции на родину. После всех перипетий в марте 1948-го он приехал в Москву и получил направление на работу в Саратов. Семья последовала за ним и 1 мая на теплоходе «Россия» вместе с другими репатриантами прибыла в Одессу. Через две недели, 15 июня, в Саратове Угримова арестовали. Тещу и жену, едва успевших распаковать чемоданы, взяли на даче на Николиной Горе, а в Москве ее сестру. Через недолгое время после ареста Угримов из Лубянки, как и все подельники Андреева, переведенный в Лефортово, стал понимать, чего от него требуют следователи. «В двух словах, — пишет он, — это сводилось к следующему: Даниил Андреев здесь — крупный террорист; Вадим Андреев там — крупный агент американской и английской разведок; а я, также агент, приехал, чтобы установить связь между ними, и для этой цели меня и заслали в СССР под видом высылки»[469].

Занимавшийся делом Угримова следователь по фамилии Седов с недобрым белесым лицом добивался признаний в «шпионской и диверсантской деятельности». Допросы шли почти ежедневно. Однажды Седов, по определению подследственного, бессовестный и злобный, но выдрессированный пес, избил его резиновой палкой так, что, вернувшись под утро в камеру с черной, ставшей сплошным кровоподтеком спиной, он мог лечь только на живот. На одном из допросов, попав в кабинет

Леонова, Угримов увидел справа диван, накрытый белой простыней. Поймав его взгляд, Леонов, усмехаясь, сказал: «Это после вчерашнего. Да, мы гуманны, очень гуманны, но всему есть предел, и мы принуждены будем применять к вам жесткие меры...»[470]

Другим зарубежным связным попытались сделать Фатюкова, привозившего в 1945-м письмо от Вадима Андреева. Но главным обвинением оставался террор, чем-то серьезным подкрепить связи Даниила Андреева и его друзей с заграницей не удавалось.

9. Террористы

«Абакумов в пути наверх готов уничтожить любого», — доносил Сталину на своего недоброжелателя, назначенного в мае 1946 года министром госбезопасности, замнаркома внутренних дел Серов. Серов не догадывался, что вождю это качество министра на руку.

Но Абакумову успокаиваться не приходилось. За последний год ни об одном серьезном умысле покушения на хозяина министерство не сообщило. Разоблачение в 1946-м на Ставрополье группы «Союз борьбы за свободу», состоявшей из нескольких двадцатилетних комсомольцев и ученика 9-го класса, или американских шпионов, вроде литературоведа Сучкова, вряд ли относилось к существенным достижениям. Поэтому делу Андреева на Лубянке придавали особое значение. Одним из его режиссеров был полковник Комаров. Алла Александровна запомнила его как человека «крупного, плотного, тяжелого, черного, с тяжелыми черными глазами»[471]. Она увидела его в Лефортове, куда подследственных после первого этапа следствия перевели по приказу Абакумова. Тогда же министр государственной безопасности отправил спецсообщение:

«21 июня 1948 г.
№ 4248/а
Совершенно секретно.
Товарищу СТАЛИНУ И. В.

Об аресте в Москве террориста АНДРЕЕВА Д. Л. и ликвидации возглавляемой им антисоветской группы с террористическими намерениями. Всего по делу арестовано 16 человек»[472].

Читавший документ Сталин сделал отчеркивания на полях только там, где речь шла о местах предполагаемых терактов.

О замысле покушения на сталинской даче:

«Об этом АНДРЕЕВ показал: “Я неоднократно обдумывал различные варианты осуществления своих террористических замыслов против главы Советского государства. В частности, у меня было намерение искать возможность совершения покушения на главу Советского государства в его подмосковной даче в Зубалово”»[473].

В Большом театре:

«Об этом АНДРЕЕВ показал: “...Я неоднократно задумывался над возможностью осуществления своих террористических замыслов против главы Советского государства во время торжественного заседания или спектакля в Большом театре, но опять пришел к выводу, что это неосуществимо, так как во время торжественного заседания или представления свет в зале гасится и делать прицельный выстрел крайне затруднительно, а в антракте трудно улучить момент, чтобы остаться вне публики, стрелять же прямо из публики я считал бессмысленным самопожертвованием, так как для того, чтобы прицелиться и произвести выстрел, необходимо какое-то время, в течение которого всегда кто-либо из окружения заметит и помешает осуществлению моих намерений...”»[474].

На Арбате:

«Помимо этого, АНДРЕЕВ в тот же период часто ходил по Арбату, выслеживая маршрут движения автомашины И. В. Сталина».

Остальные подробности вождя не заинтересовали, но эти следовало тщательно выяснить. И в Лефортове следствие началось как бы заново, большинство вопросов повторялось, выстраивая и прорисовывая картину разветвленного и тщательно подготовленного антисоветским подпольем террористического заговора, о котором доложили Сталину.

Допрос «главы террористического заговора» 28 июля вел вместе с заместителем подполковником Сорокиным генерал-майор Леонов. Невысокий, большеголовый, Леонов вначале сидел, слушая вопросы Сорокина и ответы Андреева, потом начинал спрашивать сам, то громко, с театрально-патетической интонацией, то с презрительной усмешкой, иногда вставая и расхаживая по большому кабинету:

«— Являясь активным врагом, вы замышляли более гнусные планы борьбы против советского народа. Показывайте об этом.

ОТВЕТ: — Я не хотел бы говорить о своих более тяжких преступлениях, но вижу, что скрыть их мне не удастся»[475].

Сам слог протокола свидетельствует о том, что признания облекались в формулировки, необходимые обвинению, и отличить то, что действительно говорил допрашиваемый, а что ему приписано, затруднительно. Андреев признавался, что критически относился к методам коллективизации и индустриализации, а в протоколе говорилось, что он не соглашался «с решениями партии и правительства» и «озлобился против советской власти». Цель признаний — подтверждение главного пункта обвинения. Протокол звенел чеканными формулировками самообличений:

«Вся моя ненависть обратилась против Сталина, в лице которого я видел олицетворение советской власти, последовательного и твердого руководителя Советского государства. Поэтому, начиная еще с тех пор, я поставил своей целью убить Сталина.

Я был уверен, что смерть Сталина вызовет растерянность в Советском правительстве, активизирует в стране враждебные силы и ускорит падение советской власти.

Подготовляя себя к террору, я перечитал много литературы о террористах и, восхищаясь их решимостью, начал сам изыскивать возможность осуществления террористического акта против главы Советского государства»476.

Вариантов возможного покушения на Сталина рассматривалось по меньшей мере четыре. Можно предположить, что их обсуждали герои «террористической» главы «Странников ночи». То, что все они — художественный вымысел, следствие во внимание не принимало, слишком реалистически и убедительно была глава написана.

Первый вариант — покушение на даче Сталина, в Зубалове. Главной уликой стали летние поездки Андреева на дачу Муравьевых на Николиной Горе, находившуюся в нескольких километрах от Зубалова. Его друзья — дочь покойного адвоката и ее муж, Гавриил Андреевич Волков, в начале войны арестованный и в 1943 году умерший в тюрьме, попали в сообщники. То, что Сталин после гибели Аллилуевой в Зубалове бывать не любил, к делу не относилось, — заговорщики этого могли не знать.

«ВОПРОС: — ВОЛКОВА знала, с какой целью вы поселились у нее на даче?

ОТВЕТ: — Прямо о своих замыслах ВОЛКОВОЙ я не говорил, но она знала о моем враждебном отношении к руководителям партии и Советского правительства.

ВОПРОС: — Какими сведениями для осуществления вашего вражеского замысла снабдила вас ВОЛКОВА?

ОТВЕТ: — Совершая с ВОЛКОВОЙ и ее мужем прогулки в район поселка Николина Гора, я после изучения местности пришел к выводу о том, что, пользуясь природными условиями, можно было бы под покровом лесов и зарослей проникнуть непосредственно к даче Сталина и во время его прогулки совершить террористический акт.

Но когда от ВОЛКОВЫХ я узнал, что подходы к даче усиленно охраняются, а сама дача обнесена высокой каменной стеной, и полагая, что там, возможно, имеется какая-либо сигнализация, я понял, что пробраться к даче мне не удастся.

ВОПРОС: — Однако известно, что дачу ВОЛКОВОЙ вы продолжали посещать и в более позднее время.

ОТВЕТ: — Не оставляя мысли о покушении на Сталина, я в 1938 году снова посетил ВОЛКОВУ на ее даче в Николиной Горе и, окончательно убедившись в непреодолимых препятствиях к осуществлению моего намерения, решил действовать в другом месте».

Последовал вопрос: «Где?» И обвиняемый стал излагать *второй вариант* возможного покушения на Сталина «в то время, как он будет проезжать в автомашине по Арбату».

На Арбате в доме 9 жила давнишняя знакомая и пациентка доктора Доброва зубной врач Амалия Яковлевна Рабинович, в свою очередь, лечившая добровское семейство. То, что Андреев лечил у нее зубы летом 1939 года, стало решающим эпизодом. Он признавался:

«Ранее я также посещал РАБИНОВИЧ и знал, что окна ее квартиры выходят на Арбат. Я намеревался использовать это обстоятельство для того, чтобы произвести из окна ее квартиры выстрел во время прохождения по Арбату автомашины Сталина. <...> Я не посвящал РАБИНОВИЧ в свои замыслы. Приходил я к ней раза 3—4 под предлогом лечения зубов. Бывая в квартире РАБИНОВИЧ, я изучал, из какого окна лучше произвести выстрел и каким путем можно будет бежать после покушения. Наряду с этим, специально прогуливаясь по улице Арбат, я выслеживал автомашину Сталина, и мне несколько раз удавалось видеть, как его автомашина, не доезжая дома, в котором проживала РАБИНОВИЧ, сворачивала направо в Большой Афанасьевский переулок и через Малый Афанасьевский, минуя памятник Гоголю, выходила на улицу Фрунзе, направляясь к Кремлю. Из этого наблюдения я понял, что квартира РАБИНОВИЧ не может быть использована мною для осуществления своего замысла».

И здесь требовалась решающая улика — оружие. Его всезнающее следствие усиленно искало и — неужели всерьез? — рассчитывало найти.

«ВОПРОС: — Какое оружие вы имели при себе, выслеживая автомашину главы Советского государства?

ОТВЕТ: — Боясь возможного задержания охраной, я вел наблюдение за автомашиной Сталина, не имея при себе оружия. Я намеревался приобрести где-либо оружие после того, когда окончательно избрал бы место совершения террористического акта.

ВОПРОС: — Лжете. Следствию точно известно, что вы заранее искали оружие и готовились стать метким стрелком. Говорите правду.

ОТВЕТ: — Решив твердо, что террористический акт против Сталина совершу выстрелом из пистолета, я, чтобы не дать промаха и действовать наверняка, стал учиться метко стрелять.

Для этого я посещал созданный при горкоме художников-оформителей стрелковый кружок, занятия которого происходили в тире какого-то спортивного общества, расположенном в районе площади Ногина. На протяжении нескольких месяцев я усердно занимался, научился владеть оружием и метко стрелять.

Бывая в тире, я также присматривался, как можно было бы добыть оружие, но приобрести его мне так и не удалось»[477].

Третий вариант — покушение в Большом театре, задуманное в 1940 году.

«Зная расположение Большого театра, я обдумывал, — судя по протоколу, в отредактированном виде цитировавшемуся в

спецсообщении Сталину, признавался Андреев, — каким путем можно произвести выстрел, но опять-таки встретился с рядом препятствий».

«Вместе с этим моя ненависть к советской власти и лично против Сталина все больше и больше росла, и я продолжал изыскивать возможности осуществления задуманного мною террористического намерения. — Допрашиваемый перешел к *четвертому варианту*. — В том же 1940 году я решил каким-либо путем в один из праздников пробраться на Красную площадь и разведать обстановку — можно ли там во время демонстрации произвести покушение на Сталина. Дождавшись празднеств Октябрьской революции, я 7 ноября 1940 года вместе с коллективом служащих московского горкома художников-оформителей пошел на демонстрацию.

ВОПРОС: — В какой колонне вы шли?

ОТВЕТ: — В колонне Куйбышевского района.

ВОПРОС: — А какое место в этой колонне занимали?

ОТВЕТ: — Я находился на правом фланге и прошел Красную площадь в 50—60 метрах от Мавзолея.

При движении через Красную площадь в колонне чувствовалась большая уплотненность рядов, и я убедился, что при таком положении произвести выстрел очень трудно. Кроме того, я обратил внимание, что вдоль всей площади выставлена плотная стена охраны из военных»[478].

По свидетельству Василенко, следователи его спрашивали: «...бывал ли он на Красной пощади?» и к ответу — «...бывал, на майских и ноябрьских демонстрациях как преподаватель, вместе с университетом» — в протоколе добавляли: «...изучал место возможного покушения». Возникала даже нелепая версия, что террористы подумывали о возможности взорвать на Красной площади атомную бомбу...

Первый этап следствия длился, начиная с ареста Даниила Андреева, тринадцать месяцев.

10. Лефортово

Лефортовскую тюрьму открыли по соседству с Алексеевским военным училищем в год убийства террористами Александра II. Тюрьма предназначалась для осужденных военным трибуналом. Она расширялась до революции, достраивалась после нее, став следственной тюрьмой «органов», менявших аббревиатуры, начиная с ОГПУ. Лефортово славилось пытками и карцерами. В советское время страшнее ее считалась только Сухановка, следователями усмешливо называемая «дачей», где пытали еще серьезнее.

Алла Александровна вспоминала Лефортовскую тюрьму с ужасом:

«...страшное, чудовищное место. Камеры маленькие, больше трех человек втиснуть туда было немыслимо. Серый цементный пол, коричневые стены и черный потолок, двери железные. В камере унитаз, рядом раковина — все черное. Высокие потолки, напротив двери —

окошко. Моя койка была как раз под ним, но даже если я на нее вставала, то до окна не дотягивалась. Окна забраны “намордниками”. Света попадает совсем чуть-чуть, и в камере круглые сутки горит голая лампочка.

Приезжающих в тюрьму встречали старый сад и дивный фасад здания екатерининского времени с большими колоннами, но таков только фасад»[479].

Три соединенных тюремных корпуса располагались буквой К. На перекрестье коридоров с камерами стоял надзиратель — регулировщик с двумя флажками, который следил, чтобы заключенные не встретились, и когда из какой-то камеры выводили заключенного — «щелкал» флажками. Сразу закрывались «кормушки» (на Лубянке двери были глухие) — окошечки в дверях камер, куда слабо доносился звук шагов: цокали по железу подковки каблуков конвойных, скребли и шаркали подошвы узников. Три сквозных этажа, камеры выходят на галереи, между ними перекинуты мостки, между этажами железные лестницы, проемы затянуты сеткой — вниз не броситься.

«Было в Лефортове еще нечто, что так и осталось для меня тайной, — описывала Андреева. — По субботам и воскресеньям включалось что-то, наполнявшее грохотом всю тюрьму. Это напоминало тысячекратно усиленный звук вентилятора. Каждый человек, побывавший в те годы в Лефортове, помнит этот звук. Мы все холодели, потому что знали: раз включили, значит, пытают, и включили, чтобы не было слышно воплей. Люди здравомыслящие объясняли мне потом, что рядом находился институт ЦАГИ и это грохотала аэродинамическая труба. Но почему, если это труба, ее включали именно по субботам и воскресеньям, и то не каждую неделю?»[480]

Центральный аэродинамический институт во всю мощь начал действовать с конца 1930-х. Грозный воющий гул действовал на заключенных подавляюще. Казалось, рядом из-за стен пробиваются крики и стоны. Лисицына, у которой в ЦАГИ одно время работал муж, утверждала, что дело было не в ЦАГИ, что «когда включалась в тюрьме машина, все здание дрожало». «И вот однажды, — вспоминала она, — эта гуделка сломалась. <...> Прошло примерно полчаса, и начались крики, то мужские, то женские. Голоса кричали: “Помогите, убивают! Товарищи, убивают!” Выстрелов не было, но крики продолжались»[481].

В Лефортове, рассказывал Василенко, допрашивали так:

«Двое хватали под мышки и изо всех сил бросали от дверей вперед, на каменный пол следственной камеры. Когда со мной это проделали первый раз, я сильно разбился. Потом я уже готовился к этому броску. И следователь хохотал: “Научился?” И прибавлял непечатные слова. Этот лексикон там все время был в ходу.

Потом опять были допросы, меня били, бросали на пол. В ребре у меня появилась трещина, и уже в конце 1948 года в лагере я долго не мог спать на правом боку» [482].

Андрееву следователь, умевший изображать доброжелательность, не бил, поступая проще. «Те три недели, когда меня держали на допросах каждую ночь, — вспоминала она, — пришлись на июль. Он открывал окно во двор, и я слышала звуки ударов и вопли мужчин. Этого хватало. Все женщины в тюрьме это слышали, и, конечно, каждой мерещился голос мужа, сына»[483]. В Лефортове следствие вели по-иному, с целеустремленной жесткостью.

«Мне не давали спать три недели. Наверное, это была разработанная врачами система: спать разрешали один час в сутки и одну ночь в неделю. И человек сходил с ума, но не до конца. Вероятно, так можно было и совсем потерять рассудок, но им надо было поддерживать подследственного в полубезумном состоянии. Меня вызывали на допрос каждую ночь. И вот, никогда не забуду одного необыкновенно важного для меня эпизода. Однажды, не знаю, по какой причине, меня отпустили несколько раньше, чем обычно.

Я иду в камеру счастливая. В голове у меня только одно: “Спать. Я сейчас целый час буду спать”. И вот, когда я шла по переходу из следовательского корпуса в тюремный, по этим железным балконам, залитым ярким утренним солнцем, то вдруг поняла: если бы сейчас передо мной лежали два трупа самых любимых на земле людей — Даниила и папы, я бы переступила через них и пошла в камеру — спать! Я никогда этого не забуду. Это Ангел прикоснулся ко мне, и его неслышный голос, тот, что звучит в душе, сказал: “Запомни! Запомни! Ниже этого человек пасть не может, запомни и, когда будешь кого-то обвинять, вспомни об этом”. И я запомнила, знаю, что это — одно из самых важных воспоминаний в моей жизни. Благодаря ему я редко осуждаю тех, кто не выдержал следствия.

К этому времени я уже сказала и даже высосала из пальца все, что можно. На ночных допросах я умоляла:

— Дайте белую бумагу, я подпишу. Напишите, что хотите, потому что я уже больше ничего не могу!

А когда возвращалась в камеру, то сон был не сном, а бредом. Я куда-то проваливалась, и следователь начинал пихать мне в рот куски человеческого мяса. А потом целый день без сна; все время смотрят в глазок, и нельзя даже прислониться. И снова ночь допроса.

Следователь постоянно допытывался, было ли у нас оружие, и наконец заявил:

— Вы же врете. У вас было оружие.

— Ну не было!

— Ваш муж дал показание: было оружие.

Думаю: “Боже, бедный Даня! Значит, у нас было оружие, а он от меня скрывал. Просто берег меня, не хотел, чтобы я знала”.

— Так было оружие?

Отвечаю:

— Раз муж сказал, что было, значит, было... <...>

Тогда в нашей комнате устроили второй обыск. Простукиванием обнаружили в одной из стен замурованное окно. Представляю, с каким восторгом следователи раскидывали книги, чтобы до него добраться. Комната была угловая с двумя окнами, третье заложили за ненадобностью еще до Добровых, и никто о нем уже не помнил. <...> Разумеется, в замурованном окне ничего не нашли.

Потом я предположила, что, возможно, оружие хранилось в дровяном сарае, потому что муж туда ходил за дровами. Устроили обыск и там. Я была в ужасе, потому что представляла себе, как сейчас тяжело Даниилу, что он скрыл от меня, где оружие. Как он сейчас думает, что меня мучают напрасно. Лучше бы уж я знала и сказала, так было бы проще...

Под утро я уже начинала кричать все, что думала о следователе, о Сталине, о Ленине, о советской власти... Если бы у меня уже не было статьи 58/10, то ее вполне можно было получить. Как-то следователь сказал:

— Ну надо же! Доводишь вас до того, что вы орете и не соображаете, что говорите, но ведь ни разу не крикнули, где оружие спрятано!

Вот для чего он меня доводил. Как я уже сказала, мне не давали спать три недели. Видимо, я была в таком физическом состоянии, что когда опускала босые ноги на цементный пол, то он казался теплым, значит, ноги были ледяными. Не знаю, подмешивали что-нибудь к еде и питью, возможно. Я потом сообразила странную вещь: за девятнадцать месяцев следствия я только один раз попросилась в туалет. Это странно, ведь допросы шли целыми ночами. В туалет отвел меня конвоир. Он стоял у двери, и тогда я единственный раз за все девятнадцать месяцев увидела себя в зеркале. Хорошо помню это лицо, которое трудно назвать моим. Это была застывшая белая маска с огромными черными глазами. Глаза у меня совсем не огромные и голубые. А из зеркала на меня глядели в пол-лица черные, с разлившимися зрачками глаза. Тогда, по-видимому, у меня и началось что-то со зрением, то, что сейчас дало тяжелую глаукому и слепоту. <...>

И вот в Лефортово приехал министр Абакумов. Меня ведут к нему, а по дороге к кабинету через каждые полтора метра стоит солдат. Вводят в комнату, там сидят мой следователь и начальник отдела, а с ними очень крупный вальяжный и полный восточный человек в черном костюме. Начинает меня допрашивать.

— У вас было оружие. Почему вы не говорите, где оно?

— Потому что не знаю, — отвечаю.

— Но у вас было оружие?

— Так если вы, министр, говорите, что у нас было оружие, значит, оно было. Но я его никогда не видела.

Мне, столько лет прожившей при советской власти, не пришло в голову, что министр может врать. Он подошел ко мне близко, посмотрел:

— Какая молодая... Как же вы во все это влипли?»[484]

11. Очные ставки

В январе на следствие вызвали Галину Русакову. «Это была потрясающая встреча, какие бывают раз в жизни... — признавался Андреев, добавляя: — Она своим благородством едва не погубила себя совершенно попусту, будучи вызванной в качестве свидетеля»[485].

Свидетели ничего не могли знать. Кроме разговоров о романе, а он постоянно что-нибудь писал, или неосторожной критики советской власти, никаких подробностей о покушении на Сталина, ни об оружии узнать не удавалось. Поэтому на лефортовском этапе следствия постепенно арестовали всех остававшихся на свободе, но намеченных в соратники террориста. Не получивших ролей не трогали. Даже выпустили перепуганную и ничего не понимавшую старуху Рабинович. Затем началось окончательное прописывание сценария.

5 июня взяли Арманд, Ивановского и Матвеева.

15 июня — Татьяну Волкову. Она все шесть месяцев до приговора просидела в одиночке. В письме на имя Фадеева, вынесенном из Интинского лагеря под стелькой ботинка, Волкова с отчаянием писала: «Меня допрашивали 49 раз. Ровно месяц мне не давали спать, потому что допрашивали по ночам, а днем не позволяли даже прислониться к стене. Через месяц бессонницы я уже совершенно не соображала что к чему. Следователь (майор Новиков) беспрерывно стращал меня, угрожал избить. Принимая во внимание те ужасы, что творились по ночам в соседних кабинетах Лефортовской тюрьмы, страхи мои были вполне реальны...»[486]

19 июня арестовали Добровольского и Александра Доброва. Уже после спецсообщения Сталину, 23 июня, арестована Лисицына, жена Белоусова. После ареста мужа она уехала в родной Лихвин. Там за ней пришли в три часа ночи, чтобы отвезти в Москву, на Лубянку, и оттуда в Лефортово. Лисицына вспоминала, что поначалу она ощущала себя «как в кошмарном сне» и ждала расстрела.

Если Волкову за полгода допросили 49 раз, то Андрееву — 195, Коваленского — 173, Василенко — 126, Ивашева-Мусатова — 123... Конвейер еженощных мучений. Самое тяжкое говорить о других, понимая, что становишься причиной их страданий. Как бы ни выгораживались они в ответах, в протоколе любые слова превращались в формулировки, чреватые грозными обвинениями. Андреев, судя по протоколу, «чистосердечно» рассказал, как после войны он усилил свою «подрывную работу»:

«В послевоенный период я обработал и привлек в нашу антисоветскую группу ШЕЛЯКИНА Алексея Павловича — архитектора, бывшего моего соученика по гимназии, и АРМАНД Ирину Львовну — преподавательницу английского языка Московского государственного

университета, с которой был знаком с 1938 года по совместной литературной деятельности.

КОВАЛЕНСКОМУ в этот же период удалось привлечь в нашу антисоветскую группу адвоката ШЕПЕЛЕВА Сергея Дмитриевича, а ИВАШЕВУ-МУСАТОВУ — художницу КУЗНЕЦОВУ Наталью Васильевну, на которой он впоследствии женился.

Перед участниками возглавляемой мною антисоветской группы я ставил задачу проведения вражеской работы среди своего окружения, а наиболее активных из них продолжал обрабатывать в направлении использования их для террора.

ВОПРОС: — Для чего специально написали в своей антисоветской книге целую главу, посвященную террору?

ОТВЕТ: — Да, к этому времени я закончил свой роман “Странники ночи”, в котором уделил большое место террористической борьбе с руководителями Советского правительства.

По-прежнему считая террор наиболее действенным методом борьбы, я, читая главу о терроре своим единомышленникам, убеждал их, что убийство Сталина ускорит войну США и Англии против Советского Союза»487.

Называя имена друзей, он, конечно, знал, что те уже в тюрьме, о них упоминали следователи.

Чуков, со слов Андреева, рассказывал, что после проведения очной ставки с «беспрерывно плачущей» женой Малютина «избиения приняли изуверский характер. Его непрерывно били ногами по коленной чашечке, и колени превратились в незаживающие язвы. Следователи совали списки знакомых и незнакомых людей и требовали называть все новых “сообщников”.

Как-то его посадили в карцер: каменный, ледяной мешок, сантиметров на 20—30 наполненный водой. Между карнизами, выступавшими у подножия двух противоположных стен, была переброшена неширокая доска. На этой прогибающейся доске, без сна, чтобы не свалиться в воду, и сидел донага раздетый поэт»488.

Чтобы добиться признаний, мучили не только допросами, избиениями, карцерами. Некий Зубков, подсаженный к Андрееву, «ужасный человек», по его словам, стоил ему «не меньше крови, чем Леонов и Комаров»489.

История с Малютиным — перед ним особенно виноватой чувствовала себя Алла Александровна — показательна. Она его совсем не знала, но в «силу глупости», как признавалась мужу, упомянула. «Именно мне, — писала она ему, — принадлежит гениальная фраза о том, что тебе он предлагал вступление в какую-то организацию, и ты от этого отказался, сказав, что твое дело — писать, и больше ничего. Я же абсолютно ничего не знала о том, к чему он имеет отношение, и прекрасно знала, что тебе он тоже сказал каких-то туманных два слова, так что и ты не знал, в чем дело»490.

Лисицына вспоминала, что следователь, предъявив обвинение, показал ей протокол, подписанный мужем, в котором она прочла: «Еще одним членом нашей антисоветской группировки была моя жена...» На ночных допросах ее заставляли вспоминать, кто и что говорил во время читок глав из «Странников ночи» десять лет тому назад.

3 сентября взяли Хандожевскую. С ней у Аллы Александровны состоялась единственная за все следствие очная ставка. На ней она говорила Хандожевской: «Да я же хотела Сталина табуреткой стукнуть, Галина Юрьевна, не вы, а я: вы же даже внимания не обратили на эти мои слова!» Позже следователь прочел ей обвинение, среди которого была статья 58/8 — террор. «Это почему?» — недоумевала она.

«— А вот такая фраза — “я бы его табуреткой”?

— Да. Я сказала, что я бы его с удовольствием по башке табуреткой треснула за то, что он сделал с Россией!

— Так, Алла Александровна, ведь это же и есть подготовка террористического акта.

— Да будет вам, Михаил Федорович, какой террор? Где табуретка, а где Сталин?

— Да разберемся мы с этим. Вы поймите, существует юридическая форма. Вы так сказали. Я — следователь. Я записал. Я же не новеллу пишу и не роман. Пишу протокол допроса.

И он меня убедил. Я потом подписывала все эти листы протоколов, даже не читая»[491].

У Василенко очная ставка состоялась только одна — с Ивановским.

У Угримова ни одной — заграничный след не вытанцовывался, а потому и не особенно был нужен. В результате его с женой и тещей пустили по самостоятельному делу.

Почти через три года после того, как дело Андреева завершилось, в постановлении ЦК о практике тогдашних допросов говорилось: «В МГБ укоренилась неправильная практика составления так называемых обобщенных протоколов допроса арестованных на основании накопленных следователями заметок и черновых записей»[492].

Так, иезуитским канцелярским языком, характеризовалось литературное творчество лубянских следователей, сочинявших дела, выбивавших из подследственных подробности. Когда Абакумова арестовали, оправдываясь, он говорил, что исполнял указания товарища Сталина и ЦК выбивать признания из «врагов народа». Но обвинялись недавний министр госбезопасности и его подручные, в свою очередь допрошенные и расстрелянные, не в жестоких наветах и пытках, а, напротив, в том, что в преступной халатности или с умыслом не вносили в протоколы признания «законспирированных врачей», предателей и террористов.

12. Суд ОСО

Добровольский писал о днях перед судом:

«Следствие, собственно, уже кончалось. Я, совсем замученный, все подписывал, что мне давали, не глядя. Следователь подал мне еще одну бумагу со словами: “Вот и эту подпишите”. Я взял перо. Следователь сказал: “Да нет, вы же не прочли. Прочтите, а потом подпишите”.
В бумаге говорилось о моем согласии на то, чтобы все взятые у меня бумаги, записные книжки, дневники, литературные наброски, черновики и все рукописи законченных рассказов были сожжены.

Я подписал, но, наверно, на моем лице было видно мое страдание.

— Чего вы? — сказал следователь. — Чего вы страдаете?

Я сказал:

— А вы хотите, чтобы мать не страдала, подписывая приговор о казни своих детей?

— Ну, ну... — сказал следователь. — Ведь и Гоголь сжигал свои рукописи. Все равно вам бы пришлось сжечь ваши. Они никому не нужны. Вот мы и снимаем с вас эту работу и берем на себя.

Со мной все было кончено, и все дело мое сгорело»[493].

О страшном осознании того, что дело жизни стало пеплом, Добровольский-Тришатов написал в стихах как о собственном преступлении, а ведь это было почти таким же страшным, как уничтожение людей, преступлением власти:

Грех последнего преступления
Я в себе побороть не смог.
Дар, как гром говорящего пения,
Я зажал, завернув в платок,
Чтоб не ринулось ко мне Слово —
Огнезрачное колесо.

Вот такого-то, вот такого
И судило меня ОСО.

Сожгли все рукописи Белоусова, Василенко, Тришатова, Желобовских, Коваленского, Лисицыной, Шелякина, всю захваченную переписку, даже письма Леонида Андреева. Сгорело «письмо Леонида Николаевича о смерти матери Даниила, залитое слезами, — свидетельствовала Алла Александровна. — Его последнее письмо, совершенно потрясающее, мы перечитывали несколько раз. Оно, видно, было кем-то привезено, потому что по почте такие письма уже не отправляли. Это письмо о революции, и я могу его сравнить только с последними дневниками Леонида Николаевича, написанными перед смертью, когда он понял все, что произошло с Россией»[494].

Многие из сидевших на Лубянке запомнили едкий запах горелой бумаги. Сожженные рукописи — жизни, погубленные дважды. Сожгли все сочинения Даниила Андреева — поэмы и стихотворения, автобиографические записки, дневники. Сожгли, насмехаясь над

протестами автора, главное вещественное доказательство террористических замыслов подсудимых — роман «Странники ночи». Сожгли в той самой лубянской печи, над которой виделись Солженицыну летящие «черными бабочками копоти» следы «еще одного погибшего на Руси романа»[495].

Андреев просил передать в Литературный музей письма отца и прадеда (родственника Тараса Шевченко). Не хотел он верить и в гибель «Странников ночи»: «Когда абакумовские подручные предложили мне подписать (скрепить своим согласием) распоряжение об уничтожении всего моего архива, я подписал его с категорической письменной оговоркой, протестуя против уничтожения, во-первых, собрания сочинений Леонида Андреева в 8 томах, изд. 1913 г. (если эти ослы даже не знали, что это издание можно достать в любой публичной библиотеке, купить у любого букиниста), а во-вторых, странников. И думаю, они находятся при моей папке»[496].

«Статья была — террор, — рассказывал Василенко. — И всех нас хотели расстрелять. Я ведь даже ждал расстрела, четырнадцать дней сидя в одиночке. Следователь сказал: “Вас расстреляют”.

И когда ко мне входили в камеру ночью, было страшно. Очень страшно. Они входили втроем, вчетвером, приказывали: “Встать!” Я вскакивал.

“Повернуться спиной!” И молча за мной стояли. Я знал, что они стреляют в затылок.

Чувства страшные. Это знал Достоевский, он стоял на эшафоте. Правда, один раз... А я? Ну, я был обыкновенный человечек. Я стоял и шептал: “Господи, Боже, помилуй меня!”

Потом они так же молча уходили»[497].

Издевательство? Нет, продуманный способ сломить волю измученных многомесячным следствием. Через месяц после ареста Андреевых, 26 мая 1947 года, вышел указ «Об отмене смертной казни», она заменялась «в мирное время» 25-летним сроком. Указ действовал до 12 января 1950 года, когда высшую меру восстановили. Им, тем, кто выжил, повезло.

Лисицына позже утверждала, что видела резолюцию: «Судить особым совещанием. И. Сталин»[498].

30 октября 1948 года всем участникам «группы» Андреева зачитали постановление. Особым совещанием при МГБ СССР «глава группы» был осужден по статьям УК 19-58-8, 58-10 часть 2, 58-11 УК РСФСР. В постановлении говорилось: «Андреева Даниила Леонидовича, за участие в антисоветской группе, антисоветскую агитацию и террористические намерения заключить в тюрьму сроком на двадцать пять лет, считая срок с 23 апреля 1947 года. Имущество конфисковать».

Вместе с ним приговорили девятнадцать человек родственников и друзей. В тюрьму, как главного преступника, отправили только Андреева. Остальных приговорили к заключению в ИТЛ. Двадцать пять

лет с конфискацией получили Андреева, Василенко, Добров, Доброва, Ивашев-Мусатов, Коваленский, Скородумова-Кемниц, Шелякин.
По десять лет — Арманд, Белоусов, Волкова, Добровольский, Ивановский, Кемниц, Лисицына, Матвеев, Усова, Хандожевская, Шепелев. Они, говорилось в обвинительном заключении, признаны виновными в том, что являлись участниками антисоветской террористической группы, созданной и возглавляемой Андреевым, участвовали в сборищах, им проводимых, «на которых высказывали свое враждебное отношение к Советской власти и руководителям Советского государства; распространяли злобную клевету о советской действительности, выступали против мероприятий ВКП(б) и Советского Правительства и среди своего окружения вели вражескую агитацию».

Осужденных приводили по одному в небольшой кабинет и там каждому в отдельности зачитывали приговор. Они не все были друг с другом знакомы, и никто не знал: сколько всего приговоренных по делу. Среди привлеченных оказались, насколько известно, еще сослуживцы Андреева по госпиталю Цаплин и Амуров, художник Федор Константинов, Игнат Александрович и Мария Александровна Желобовские... Желобовские получили по восемь лет. Мужа увезли в Соликамск, жену в Чувашию. Наталью Васильевну, жену Ивашева-Мусатова, из следственной тюрьмы отправили в Казанскую психушку. Но в постановлении ОСО эти фамилии не значились. Их со «Странниками ночи» не связали.

Алла Александровна свидетельствовала: «Прочли приговор. Было три реакции. Я слышала, как кричала двоюродная сестра Даниила, услышав приговор: 25 лет. Я же никак не могла понять. Читал приговор какой-то ужасно противный тип. Я как-то совсем сразу не могла понять, о чем речь: “Я что, правильно слышу?” Он этак резко: “Правильно слышите” — и раздельно по слогам: “25 лет лагерей и 5 лет ссылки”. Я ему: “Перечитайте еще раз”. Вот так вот. А Даниил мне потом рассказывал, как он реагировал. И я знаю, что точно, это правда. Он рассмеялся. “Они воображают, — думал он, — что они продержатся 25 лет”. <...> И где-то он был прав, а если по большому счету, то и во всем был прав. Ведь у Бога времени нашего нету».

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

ВЛАДИМИРСКАЯ ТЮРЬМА. 1949—1954

1. Централ

Каждый из осужденных последовал своим гулаговским путем. Андреева, Добров, Коваленские, Арманд, Добровольский, Ивановский, Лисицына[499] — в Дубровлаг в Мордовию. Василенко и Шелякин — в Инту, где однодельцы наконец познакомились. Туда же угодила Волкова. Калецкая — в лагерь под Воркутой. Усова — в тайшетские лагеря. Скородумова-Кемниц — в казахстанский Степлаг, в Кенгир.

Ее муж, Белоусов и Ивашев-Мусатов попали в Марфинскую «шарашку». Андреев 27 ноября 1948 года прибыл во Владимирскую тюрьму № 2.

Владимирка в пешие времена — всеизвестная каторжная дорога из Москвы в Сибирь. Андреева провезли проложенным рядом с полузабытой Владимиркой железнодорожным путем, из вагонзака пересадили в «воронок» и высадили у дверей тюремного корпуса. Предыстория Владимирского централа, равнодушно принявшего очередного узника, — рабочий дом при Екатерине II, арестантская рота при Николае I, исправительно-арестантское отделение при Александре II. В каторжный централ тюрьма, переполненная политическими, превратилась в 1906 году. К тому времени в ней построили два новых корпуса. Весной 1918 года по случаю революции и бедности централ почти прикрыли, но уже в начале 1921-го он превратился в полит-изолятор. Сюда вслед за контрреволюционерами, белогвардейцами вновь последовали революционеры — эсеры, анархисты, меньшевики. Потом — священнослужители, троцкисты-бухаринцы, вредители, шпионы и прочие «враги народа». В конце 1920-х централ стал тюрьмой особого назначения ОГПУ. В 1938-м, при Ежове, достроили новый тюремный корпус, заключенных прибавилось. Большие, чересчур светлые окна в «царском» корпусе наполовину заложили кирпичом, в остальных прикрыли «намордниками», чтобы заключенные не видели неба. Второй раз тюрьму расширили в 1948-м, перед поступлением туда Андреева.

Тюрьма обнесена трехметровой кирпичной стеной и рядами колючей проволоки. На вышках часовые, по ночам горят прожектора. С одной стороны тюрьме соседствовала старая больница, с другой — кладбище с уцелевшей, действующей церковкой. Не слишком далеко на городской площади застыл памятник Фрунзе, когда-то безуспешно пытавшемуся бежать из централа.

В нем четыре корпуса.

Первым считался новопостроенный.

Второй, из темно-красного кирпича, сооруженный по американскому проекту, называли «больничным». На первом этаже корпуса находились камеры, где сидели номерные заключенные, на втором — психически больные и туберкулезники, на третьем — временно больные, на четвертом — располагались врачебные кабинеты, «медчасть». «Больничные» камеры небольшие, на двух человек, режим здесь считался помягче.

В третьем — четыре этажа, прямоугольные ряды окон, некоторые на треть заложены кирпичом. В нем и сидел Даниил Андреев.

В четвертом, самом старом, «польском» — в нем содержали участников Польского восстания (1863—1864) — клуб, устроенный в помещении бывшей тюремной церкви, и библиотека (тут на третьем этаже в хрущевские времена под фамилией Васильев отсиживал срок

Василий Сталин). Старые царские корпуса, по свидетельствам зэков, были теплее, чем новые — холодные и сырые.

После войны здесь во множестве появились пленные немцы и японцы — генералы и офицеры. Больше двухсот немецких офицеров, из генералитета — генерал-фельдмаршал Эвальд Клейст, последний комендант Берлина генерал Гельмут Вейдлинг, руководители разведки и контрразведки Ганс Пиккенброк и Франц Бентивеньи, начальник личной охраны Гитлера Иоганн Раттенхубер... Так что Андреев насмотрелся в тюрьме на немцев и признавался, что они его очень разочаровали.

Содержались в тюрьме и другие иностранцы, а еще — «номерные заключенные». Они не просто числились без имен и фамилий, не известных никому, кроме начальника тюрьмы, — сам факт их нахождения здесь являлся государственной тайной. Среди них — бывшие министры Литвы и Латвии, родственники Надежды Аллилуевой, брат Орджоникидзе. Сидел под номером 29 бывший бургомистр Смоленска Меньшагин, засекреченный потому, что кое-что знал о катынском расстреле. В 1950-е, по смутным слухам, Рауль Валленберг. Сидели здесь русские эмигранты из Югославии, Чехии, Харбина. Сидели убийцы-рецидивисты и сектанты, известные артисты и крупные партийцы. Позже — высокопоставленные сотрудники Берии. Много знаменитостей — от Лидии Руслановой до Яноша Кадара.

Не все заключенные выдерживали тюрьму — умирали. В одиночках, случалось, сходили с ума.

У всех выходивших на свободу брали подписку о неразглашении условий тюремного режима. Режим этот, по воспоминаниям узников, начал улучшаться после смерти Сталина и с 1954-го до 1958 года считался вполне сносным. В 1953 году Владимирскую тюрьму передали из МГБ в МВД. Лагерники, сюда попадавшие, в те годы называли ее «курортом». Но все равно режим в тюрьме, подчинявшейся Москве, отличался строгостью, даже жестокостью. Тюремщики говорили, что они действуют по инструкции. Но среди них были злые и добрые, садистски мелочные и снисходительные. Генерал Куприянов, сидевший по «ленинградскому делу», возмущался тюремщиком по прозвищу карцер-майор: «Надо только представить, как эта плюгавая обезьяна в погонах майора МВД кричит, брызжет слюной, угрожает карцером, обзывает академика за то, что он, г. майор, обнаружил пыль на карнизе шкафа». Но до этого майора, оказывается, «был другой, еще злее, он вытаскивал з/к в коридор за шиворот и там избивал»500.

Кормили плохо, все время хотелось есть. Получив в свои миски из кормушки обед, садились за голый деревянный стол и молча ели. Обед — жидкий суп, бывало, что с рыбой или килькой, и каша, иногда вместо каши картошка. На третье — чайник кипятку. Полагалось 13 граммов жиров в сутки на заключенного. Поймать жиринку в супе — редкая удача. Пайка черного хлеба — 500—550 граммов на день. У кого

водились деньги, пользовались тюремным ларьком. Но и тут действовали ограничения. Два раза в год разрешалось получать посылки.

Обязательные прогулки — после завтрака, по часу. Двадцать минут заставляли маршировать. Одно время заключенные гуляли «на небесах» — на крыше, куда доносился уличный шум и откуда были видны большие часы. Потом прогулки стали проходить между стенами, в глубоком каменном колодце. Зимой, в двадцати-, а то и тридцатиградусные морозы прогулки делались мучением — в ветхих бушлатах, надетых на грубую хлопчатобумажную тюремную робу, вначале темно-синюю, потом каторжно-полосатую. Шарфов и рукавиц не положено. В камерах не отогреться: меньше 13 градусов. (Свидетельство 1948—1950 годов.) Когда заключенные замерзали, «врач-женщина приходила в камеру в валенках, пальто и теплой косынке и говорила: “Ничего, закаляйтесь, это вам полезно”. А люди, посинев от холода, просили разрешения надеть бушлаты»[501].

Городские шумы в корпуса не долетали. Но рядом, за тюремным забором, прямо за третьим корпусом, находилось кладбище, и оттуда в камеры, выходившие в его сторону, доносились звуки похорон, колокольный звон — единственные вольные звуки. Там же хоронили заключенных.

Каждые десять дней водили в баню, меняли белье. Но часто и баня, особенно в холода, становилась испытанием.

Кровати — железные решетки из прутьев, во время сна нельзя выключать свет и прятать под одеяло руки. И стойкий запах параши.

Дважды в неделю обход врачей. На прием к врачу разрешалось записаться всем, а сам переход в больничный корпус сулил скромное, но развлечение. Здоровых заключенных быть не могло — туберкулез, болезни желудка от рациона: гастриты, катары, язвы, от малоподвижности — геморрои, и, конечно, нервы, и, конечно, сердце.

Газеты давали с двухмесячным опозданием: до сентября 1953-го — ежедневно владимирскую «Призыв», с 1 января 1954-го — «Правду» и разрешили подписываться на другие газеты. Славился централ самой крупной в СССР тюремной библиотекой — более десяти тысяч томов (в свое время ее пополнили собранием Суздальского политизолятора). В конце мая 1925 года под нее отвели закрытую тюремную церковь. Политзэки иногда старались попасть во Владимир, чтобы «позаниматься» в библиотеке. В ней имелось немало запрещенных изданий, на воле давно изъятых. Ведомства МГБ изъятия «устаревшей» литературы не касались.

Другое разрешенное развлечение — шахматы. Играли в них с азартом, устраивали турниры. У Шульгина осталось впечатление, что Андреев только и делал что играл в шахматы — «начинал... еще до побудки, а кончал с отбоем». Академик Парин, попавший сюда на несколько месяцев раньше Андреева, писал жене: «Если до сих пор я всегда жаловался на недостаток времени, то теперь я вынужден искать способ

убить его...»[502] Поэтому здесь не только до изнеможения играли в шахматы, но и много писали. Писали и сочиняя, и конспектируя прочитанное. «Конспектировалось все, даже труды по ирригационным сооружениям Древнего Египта, — сосредоточенность на письме отвлекала от мрачных мыслей»[503]. Немало конспектов, выписок сохранилось и в тюремных тетрадях Андреева. Но все они связаны с литературными замыслами, с работой над «Розой Мира».

Пишущие нашлись и кроме Шульгина в камере, куда Андреев попал вначале. Видимо, тогда же в ней сидел Иван Алексеевич Корнеев, сочинивший вместе с Шульгиным поэму «Земля». Камера была большая, с тесно стоящими койками, в ней находилось больше десяти человек. Дневного света из-под намордника попадало мало, у потолка на голом шнуре светилась лампочка. Но после лефортовских мучений здешние условия не могли не показаться сносными.

Особенно много литераторов оказалось в камере, прозванной академической, где кроме Парина и Андреева сидели Сулейман Азимов, один из партийных лидеров Узбекистана; историк Лев Львович Раков; Василий Витальевич Шульгин и Павел Александрович Кутепов; главный художник Бюробина (Бюро по обслуживанию иностранцев) Министерства иностранных дел Владимир Александрович Александров[504]; японский дипломат Куродо Сан; осужденный как японский шпион Зея Рахим; немецкие офицеры Крумрайт, Кейтель — сын генерала, Гаральд Нитц; «простой паренек» Петя Курочкин.
Но состав менялся, сокамерников не выбирали, попадали в «академическую» камеру и уголовники.

Каждого сюда привело собственное «дело». Сюжеты «политических» дел разнообразием статей не удивляли, но казались такими же причудливыми, как и дело террориста Андреева.

Знаменитого Шульгина, принимавшего отречение Николая II, автора книг «Дни» и «1920», изданных даже в Советской России, арестовали 24 декабря 1944 года. Незаметно жившего в тихих Сремских Карловцах Шульгина пригласили зайти «на минутку» в комендатуру и под конвоем отправили на родину. За стародавние грехи перед советской властью почти семидесятилетнему старику дали 25-летний срок.
Во Владимирскую тюрьму из Лубянской он прибыл 25 июля 1947-го вместе с Павлом Кутеповым, сыном генерала.

Злоключения Парина начались после возвращения из командировки в Америку. Поздно вечером 17 февраля 1947 года на заседании по делу «КР» (противораковой вакцины Клюева и Роскиной) в Кремле Сталин произнес фразу: «Я Парину не доверяю», и под утро за Париным пришли. Из только что отремонтированной квартиры в Доме на набережной он оказался на Лубянке и после длившегося больше года следствия получил 25 лет. Академика-секретаря Академии медицинских наук СССР, посланного в США для обмена научной информацией и передавшего коллегам по просьбе авторов «КР» и, естественно, с ведома

«компетентных» советских органов, рукопись их книги, обвинили в шпионаже505. Сначала его отправили в Норильск, но из Красноярска повезли обратно и препроводили во Владимирскую тюрьму. Когда Парин вошел в камеру, рассказывал Шульгин, «меня прежде всего поразило молодое лицо и совершенно белоснежная голова».

2. Встреча с Блоком

Здесь брались за перо и те, кому на воле это и в голову не приходило. Писание занимало время, в камере текшее по-иному, но главное, придавало смысл тюремному существованию, конца которому не предвиделось. Писать не запрещалось. Писали романы, повести, поэмы, стихотворения. Андрееву приходилось не только посвящать сокамерников в основы стихосложения, но и писать рецензии. В одной из них он разбирает сразу три сочинения, среди них пьесу. «Трудно сказать, удастся ли автору ценою упорного труда над словом, над стилем, над композицией, над психологическими характеристиками добиться в конце концов положительных результатов. С уверенностью можно сказать одно: это не удастся, если он будет свои ученические опыты расценивать как серьезные худож<ественные> произведения». (Пьесу «Месть», например, написал бывший депутат и кандидат в члены ЦК генерал Куприянов, кроме того корпевший над воспоминаниями «Так было».)

Говоря о Шульгине, сам ничего не писавший, в одиночке спасавшийся чтением, Меньшагин вспоминал, что тот в тюрьме «писал... — он сам говорил об этом. Еще бодрый старичок был. <...> Маленького роста, большая белая борода, лысый...»506. Шульгин считал себя прежде всего писателем, вел дневник, записывал сны, считая их вещими, сочинял — тысячами строк — стихотворения, поэмы, писал мемуары, романы. В его личном деле сохранился рапорт тюремного начальства об уничтожении рукописи исторического романа. Роман этот был «Приключения князя Воронецкого», вернее, его продолжение, над которым тогда корпел Шульгин. Андреева заинтересовала концепция романа, очевидно, не без мистики. Он даже написал о нем отзыв, о котором потом припоминал автор. Написанное Шульгиным забирали, что-то просто уничтожали, как три тетради с записями о Государственной думе, как тетради с текстом романа и материалами к нему. В тюрьме пропали и, видимо, навсегда тетради с началом трилогии «Сахар», «Мука», «Мёд» (или «Вода»?)507.

Потерю написанного не раз переживал и Андреев. Парин свидетельствовал: «Невзирая ни на какие внешние помехи, он каждый день своим четким почерком покрывал волшебными словами добываемые с трудом листки бумаги. Сколько раз эти листки отбирали во время очередных “шмонов” <...> сколько раз Д<аниил> Л<еонидович> снова восстанавливал всё по памяти»508.

Приходя в себя после Лефортова, Андреев возвращался к писанию, к стихам. «Вот в 47-м году я говорил тебе (а ты не верила): кончу

“странников” — за стихи. Это шевелилось в подсознании (отчасти уже в сознании) именно то, чему пришлось являться на свет уже без тебя. Последующие года способствовали его появлению только тем досугом и той сосредоточенностью, которые они мне подарили»509, — признавался он жене летом 1956 года, не без удовлетворения перечисляя написанное. Но стихотворений, датированных первым владимирским годом, не больше десятка. Виноваты «шмоны». Но не только. После пережитого начинается новое ожидание прорывов «космического сознания». Он чувствует близость откровений, обдумывает очередные «предварительные концепции». И главный, повторяющийся в стихах мотив — соседство иных миров, предощущение «Сверх-исторических вторжений, / Под-исторических пучин». Кажется, видения еще смутны, иные миры еще не открылись, но вот-вот откроются, и он живет напряженным ожиданием вести оттуда «Где блещущие водопады / Кипят, невнятные уму».

Задуман цикл «Святые камни», и он пишет о «восхождении» Москвы, о неземном Кремле. Москва — средоточие борения миров. Он только у истоков метаисторического эпоса. Он еще не обрел соответствующего языка, который услышится вместе с увиденным в ночных путешествиях сознания. Не всё написанное в 1949 году уцелело, что-то дописано и переписано позже, включив новые открытия, неожиданные слова, ставшие к середине 1950-х особенной терминологией. «Носители возмездия» — одно из уцелевших стихотворений — написано еще прежним языком:

Город. Прожектор. Обугленный зной.
Душная полночь ат*о*много века...
Бредит
под вздрагивающей пеленой
Поздних времен самозваная Мекка.
Страшное «завтра» столице суля,
Бродят они по извивам предчувствий
Пурпуром
в пятизвездьи Кремля...

Мысли о предстоящей войне «ат*о*много века» возвращали к пережитому на фронте. И увиденный в январе 1943-го сражающийся «третий» уицраор вновь явился в «больничном» корпусе, в сентябре 1949-го, ночью, когда единственный сокамерник спал. Сюда он был переведен из той камеры, где сидел с Шульгиным.

«Для “Розы Мира” недостаточно было опыта, приобретенного на таком пути познания. Но самоё движение по этому пути привело меня к тому, что порою я оказывался способным сознательно воспринять воздействие некоторых Провиденциальных сил, и часы этих духовных встреч сделались более совершенной формой метаисторического

познания...» — так оценивались им первые тюремные видения. Одно из них стало началом «Ленинградского Апокалипсиса». Напряженная чеканность восьмистрочной строфы, названной русской октавой, определила эпическую интонацию повествования о демонической битве в ленинградском небе.

Явление уицраора сопровождалось видением Александра Блока. Блок сделался его Вергилием, водителем по темным мирам. Он сопровождал его в Дуггуре — мире блужданий юности и не мог не появиться в тюремном бреду-озарении. В «Розе Мира» сказано об этой встрече:

«Я видел его летом и осенью 1949 года. Кое-что рассказать об этом — не только мое право, но и мой долг. <...> Я его встречал в трансфизических странствиях уже давно, много лет, но утрачивал воспоминание об этом. Лишь в 1949 году обстановка тюремного заключения оказалась способствующей тому, что впечатления от новых ночных странствий с ним вторглись уже и в дневную память.

Он мне показывал Агр. Ни солнца, ни звезд там нет, небо черно, как плотный свод, но некоторые предметы и здания светятся сами собой — все одним цветом, отдаленно напоминающим наш багровый...»

В январе следующего года начата поэма «Встреча с Блоком». В ней портрет поэта, каким он представлялся ему в юности: «Иссушающий зной, точно пеплом покрыли черты, / Только в синих глазах — / просветленное, синее море...» От поэмы уцелел отрывок, в нем брезжит мир инфернального Петербурга-Ленинграда с титаническим обликом Петра. В «Ленинградском Апокалипсисе» и в «Изнанке мире» всадник-призрак «на клубящемся выгнутом змее» несет в руке блоковский «бурно-чадящий факел».

Но, отправляясь с прежним вожатым в темные миры, он чувствует, что переполнен опытом *иного* и ему нужен другой язык, чтобы изложить «концепцию». Знакомыми словами трудно говорить о невероятных странствиях. Как утверждал незабытый Рамачарака, «высшие области астральных сфер очень плохо поддаются описанию, и у нас нет слов для этого и нет понятий». Ища соответственных слов, он обращался и к мифологическому языку, и к сакральному — церковнославянскому, поначалу только подступаясь к терминологии, возникавшей вместе с «концепцией». Он объяснит причудливую нерусскость вводимых имен и понятий так: русская метакультура одна из самых молодых, а многое из творившегося в иных мирах названо в эпохи, когда существовали языки прадревние, неведомые нынешним филологам.

3. Трубчевские октавы и московская симфония

1950-й — год возвращения к поэзии, самый плодоносный в его жизни — стихи писались каждодневно. Сохранилось около ста двадцати стихотворений, часть пропала. Он упоминал, что погибло много стихов о детстве. В том же году восстанавливались стихотворения из сожженных на Лубянке, делались их новые редакции.

Предвосхищавшие «Русских богов» циклы, названные «Над историей», выстраиваются, варьируются, подчиняясь одному углу зрения. Скоро этот взгляд будет назван метаисторическим. Из зернышка мироощущения, в котором поэзия и религиозное чувство нераздельны, он выращивал себя, свои сочинения. Теперь то, что называлось доктриной, концепцией начало приобретать очертания. Стихотворения «надисторические» и воспоминания о лесных трубчевских дорогах говорили о его странствиях, соединяя все измерения. В камере иные миры не отделялись от земного, ставшего почти ирреальным, существующим только за каменными стенами. То, что его искания и путь поэта привели в тюрьму, — логика русской истории и судьбы.

Ты осужден. Конец. Национальный рок
Тебя недаром гнал в повапленный острог.
Сгниешь, как падаль, тут. Ни взор, ни крик, ни стон
Не проползут, змеясь, на волю сквозь бетон.
Но тем, кто говорит, что ты лишь раб, — не верь:
В самом себе найди спасительную дверь!

Здесь должен открыться выход к духовидческим прорывам. В это он верил безусловно, и откровения явились — поначалу зыбкими полугрезами, потом все более содержательными снобдениями. Что в них от поэтических вдохновений, а что прорывы в иные миры — различить непросто, он это сознавал. Но поиск «спасительной двери» не раз возвращал на берега Неруссы, где его так потрясло соприкосновение с космическим сознанием. Ощущение перехода, как когда-то он прочел у Рамачараки, во время сна «Я» из физического в астральное тело пережито позже.

Февралем — сентябрем 1950-го датирована книга «Русские октавы». От нее в черновиках уцелело содержание семи частей: «Богам и соснам», «Пойма», «Гулянка», «Босиком», «Лесная кровь», «Немереча» и «Устье жизни». Все они из трубчевских странствий. Кроме вновь написанного сюда вошли стихотворения 1930-х, получившие новые редакции, — дополненный цикл 1936 года «Лесная кровь», завершенная поэма 1937-го «Немереча». «Русские октавы» должны были стать началом многокнижья, а затем трилогии, должной раскрыть «концепцию». Но «концепция» еще складывалась, состав книг менялся. Многое из «Русских октав» перешло в книгу «Бродяга», затем стал возникать поэтический ансамбль «Русские боги». Он открывался московской темой. Поэт видит три Москвы. Земную, историческую, с дорогими ему святыми камнями, затем ее темного двойника «в бездне» и ее «праобраз — в небе», увенчанный Небесным Кремлем, мечтой народа.

В «Русских богах» появляется образ Цитадели — Москвы сталинской, инфернальной, ставшей оплотом богоборческой власти. Вокруг нее

«Мчится с посвистом вихрь», и этот вихрь демонический: «Но тиха цитадель, / Как / Гроб» и в тучах над ней «Знамя — / Солнце ночи».

В «Железной мистерии» Цитадель — символ тоталитарной державы. Символ из статьи Сталина к 800-летию Москвы. Прочитавший статью Шульгин сделал из нее политические выводы. Один такой: «Заявление, что Москва остается цитаделью всемирной революции, равносильно объявлению войны всем буржуазным государствам... Следовательно, в ближайшие годы нельзя ожидать прочного мира»510. Он и позже считал, что страна живет «на грани войны». Так же думал его однокамерник Андреев. Столкновение Советского Союза с Западом он считал неизбежным. Апокалипсис недавней войны должен продолжиться в мистерии мировой истории новым ратоборством в душной полночи «ат*о*много века». Тирания и война — главные опасности для человечества.

Замыслы вытекали один из другого, очерчивалась поэтическая модель мироздания. Москва один из его центров, потому ее описанием открываются «Русские боги». Первая глава, «Святые камни», почти вся написанная в 1950-м, начинается с Кремля, «ковчега отечества», и с младенчества «приувязанного» «к церквам, трезвонящим навзрыд» автора-вестника. Поэт последовательно сакрализует все вокруг, весь мир, становящийся духовной, религиозной действительностью. Без искусства она немыслима. Культ и культура — взаимосвязаны и нераздельны. Библиотека и Большой театр — те же святые камни, что и собор Василия Блаженного или храм Христа Спасителя. А обсерватория — храм «у отверстых ворот Божества».

Стихотворение «Обсерватория. Туманность Андромеды» и первая глава «Странников ночи» «Великая туманность» — связаны. Возможно, в те же дни, когда написалось стихотворение, он попытался восстановить начало романа. Но надежда, что его рукопись хранится в недрах Лубянки вместе с его «делом», еще теплилась.

В стихах он вновь проходил кругами своей жизни: пречистенское детство, метания юности, трубчевские немеречи, ночи тридцатых, война. Ранние стихи в новых циклах-кругах соединяли вчерашнее с сегодняшним. «Роза Мира» вырастала из тех же кругов. Все, о чем он писал, не нафантазировано, а пережито — все «путешествия сознания» тюремными ночами, все видения. Личное неотделимо от «космического». Круг темных искусов заново пройден в трех дуггуровских циклах.

Написанная в конце года «Симфония городского дня» стала самым выразительным, может быть, в русской поэзии изображением сталинской Москвы, ее советского карнавала. Эту поэму он чаще всего читал сокамерникам. Слушатели воспринимали ее, как и цикл «Святые камни», по-разному. Он оставил горестную заметку:

«Улавливают традицию: “Все русские поэты писали о Москве”.

Не улавливают совершенно:

1) новизны технических средств (в особенности ритмики и строфики)

2) новизны самого жанра

3) того обстоятельства, что не только ни один русский, но и вообще никакой поэт не превращал образа какого-либо города в материал для всестороннего выражения своего мировоззрения, точнее — своей религиозно-историко-философской системы (поскольку вообще термин “философская система” применим к тому, что может быть выражено на поэтическом языке)».

Декабрь стал самым напряженным месяцем 1950 года. 8—22 декабря написана «Симфония городского дня». 23-го — начата «Железная мистерия» (названная первоначально «Русской мистерией»), 24-го — «Роза Мира». О работе над ней он потом писал: «Я начинал эту книгу в самые глухие годы тирании, довлевшей над двумястами миллионами людей. Я начинал ее в тюрьме, носившей название политического изолятора. Я писал ее тайком. Рукопись я прятал, и добрые силы — люди и не люди — укрывали ее во время обысков. И каждый день я ожидал, что рукопись будет отобрана и уничтожена, как была уничтожена моя предыдущая работа, отнявшая десять лет жизни и приведшая меня в политический изолятор».

Горячка вдохновений вызвала нервное истощение и депрессию, правда, на этот раз в легкой форме. Как замечал умевший владеть собой, регулярно занимавшийся гимнастикой йогов Шульгин, «нервы в тюрьме легко расстраиваются». Тюремный распорядок, казенная еда — суп-баланда да каша, ритуал ее получения из «кормушки», камерный полусумрак, особенно тягостный осенью и зимой, когда в окнах, полускрытых «намордниками», поздно светало и быстро темнело, — выматывали душу самым стойким. Угнетало отсутствие известий — что с женой, что с друзьями? В 1949 году он отправил жене два письма, но они вернулись за ненахождением адресата. Как впоследствии оказалось, в номерном адресе отсутствовала одна цифра.

Заключенные с адресом «г. Владимир (областной), п/я 21» имели право писать и получать два письма в год. Регламентировался и размер писем. У Андреева долгое время имелся только один адрес — родителей жены. Ответила ему теща — Юлия Гавриловна. Она отказалась сообщить адрес дочери — перепуганная, преждевременно состарившаяся от переживаний женщина не знала, имеет ли такое право. Еще она боялась, что дочь разрешенные два письма в год станет писать не родителям, а ему. Несчастье с дочерью перевернуло жизнь. Мужа, заведовавшего созданной им лабораторией, уволили: дочь — «враг народа», ее мать — в эмиграции. Зятя она просила писать до востребования. На несколько лет теща стала единственной связью с внешним миром, единственной родной душой, самоотверженно ему помогавшей. Она присылала деньги, посылки. Благодаря, он писал: «Решаюсь обратиться к Вам с просьбой, т. к. я не знаю Ваш<их> денежных обстоятельств: если бы Вы смогли высылать мне в

наступающем году по 25—30 руб. в месяц, это дало бы мне возможность удовлетворять свои насущные потребности. Разумеется, если для Вас это обременительно, прошу Вас забыть о моей просьбе, как если бы ее не было.

Другая просьба — сообщить мне адрес моей жены. Когда я обращался к Вам с ней в феврале 1950 г., Вы мне в ответ указали, — что сомневаетесь, имеете ли право эту просьбу удовлетворить. Но дело в следующем. Еще летом <19>49 г. я получил из соответствующей инстанции, в ответ на мой запрос, адрес моей жены, но смог воспользоваться этим адресом только в январе 1950 г. Мое письмо жене пришло назад, т. к. она к этому времени переменила адрес. Этот новый ее адрес мне узнать абсолютно не от кого, как только от Вас. Представьте, каково мне почти 4 года ничего не знать о своей жене и не иметь возможности воспользоваться предоставленным мне правом на переписку с нею»[511].

Но этим правом он смог воспользоваться из-за опасливости тещи нескоро.

Не надеясь дожить до освобождения, он думал о смерти:

Если назначено встретить конец
Скоро, — теперь, — здесь —
Ради чего же этот прибой
Всё возрастающих сил?

И почему — в своевольных снах
Золото дум кипит...

«Русские октавы» заключал цикл «Устье жизни». Речь в нем о «конце личного будущего»: «Смертной тоски в этот миг не скрою / И не утешусь далью миров: / К сердцу, заплакав, прижму былое...» Он безусловно верил в то, что, как утверждал Рамачарака, «великое веянье жизни проходит по всей цепи планет», что жизнь непрерывна в звеньях перевоплощений.

Оглядываясь на эти переживания, он впоследствии писал жене: «В 50-ом году собственная судьба (в ее метаисторическом или метафизическом смысле) не была еще ясна. К тому же неверно, чтобы людям, столько проискавшим друг друга на этом свете, пришлось продолжать эти поиски еще и на том. Да и представление о том свете было тогда еще совершенно общее, нерасчлененное»[512]. Тогда цикл заканчивался обращением к «Последнему другу» с просьбой поставить над его могилой «в зелени благоуханной» «простой, деревянный, / Осьмиконечный крест».

4. Над историей

Замыслы должны были стать законченной частью словно бы еще в предыдущей жизни намеченного целого. В январе 1951-го начата «Утренняя оратория». Жанр, «за неимением более близкого», определен: «оратория для чтения». «От произведений драматических ее отличает, прежде всего, отсутствие определенной зрительной данности, — объяснял Андреев. — Зрительному воображению читателя или слушателя предоставляется свобода, ограниченная только краткими ремарками да звучанием переговаривающихся голосов и содержанием их реплик». Но автор «получает возможность “выводить на сцену” такие инстанции, которые, в силу их космической или вне-физической природы, нельзя мыслить ни в каком антропоморфном образе».

Его стихотворения складываются в циклы, в главы метаисторического эпоса. В черновиках видна непрекращающаяся работа над его меняющимся составом и композицией. Циклы делаются поэмами, поэмы — действом с оркестровым многозвучьем, перерастая в формы, которым он дает музыкально-театральные определения — симфония, оратория, мистерия.

Намеченный раздел «Над историей» предполагалось открыть ораторией «Феврония», состоящей из пяти частей: «I. Древнее, стихиали, князья; II. Суховей, Велга; III. Моск<овский> холм; IV. Зач<атие> Уицр<аора>; V. Рожд<ение> Уицр<аора>». Оратория «Феврония», видимо, написана не была, а стихотворение «Феврония и Всеволод» не уцелело.

Не полностью сохранилась и «Утренняя оратория», начинающаяся с хора демиургов-народоводителей у предгорий Мировой Сальватэрры. В хоре — демиурги Древнего Двуречья, эллино-римского сверхнарода, Дальнего Востока, юный демиург стран Запада и демиург России Яросвет. Стройная система метакультур, сверхнародов и их демиургов только намечена. В «гениях» — угадываются даймоны и вестники, в Гое — соборная душа России. Под первой половиной сохранившегося текста дата — апрель 1951-го. Затем работа прервалась, закончил он ораторию в сентябре.

Наверное, тогда же, перед Пасхой, перед 20 апреля, на Страстной неделе он вернулся к стихотворению «Двенадцать Евангелий», написанному двадцать лет назад. Теперь совсем по-другому переживалась служба Страстного четверга и евангельские слова: «— *Прискорбна есть душа Моя до смерти; / Побудьте здесь / и бодрствуйте со Мной*». Страстные муки озаряли высшим смыслом всё — и суд ОСО: «Вторгается крик — Виновен! — / В преторию и синедрион»; и чье-то предательство, и собственную нестойкость на допросах: «И в измене он сберег совесть, / Срам предательства не тая»; и спуски в миры возмездия тюремными ночами: «Вот теперь нисходит Он в пучину — / К мириадам, стонущим в аду».

Нисхождения в бездны противоположны светлым видениям: «Капища» (позже цикл назван «Темное видение») — «Святым камням», «Вампиры» — «Заступникам». Но темных видений больше, в них облечены решающие события русской метаистории.

В разных вариантах циклов намечены стихотворения об Иоанне IV, о Самозванце и о Великой Смуте. Поэма «Гибель Грозного» стала одним из первых сочинений о мистерии русской истории. Необоримый фатум тирании предопределяет «трансфизическую» судьбу Иоанна Грозного. Царь, призванный стать родомыслом, сделался тираном.

«Некоторые свойства натуры сделали его легко доступным бессознательным духовным подменам, а неограниченная власть разнуздала его эмоции, развратила волю, расшатала ум, нанесла непоправимый ущерб его эфирному телу и превратила излучины его индивидуального пути, вернее, падения, в цепь несчастий для сверхнарода и в катастрофу для государства» — так объяснена мрачная судьба Грозного в «Розе Мира»513. Она — урок современности, явившей очередную попытку «превращения в зону абсолютной тирании всей страны, хотя бы ценой истребления целых классов и того стремительного и ужасающего снижения общего творческого и морального уровня, которое сопутствует всякому тиранническому народоустройству». Земные события — следствие борьбы демиурга сверхнарода с демоном великодержавия, взаимосвязаны с процессами, происходящими в мире демоническом.

Пока не все понятия терминологически определены, не все явленные сущности поименованы. Поэт ищет их, пытается угадать, конструирует. Сочиненные имена не всегда удачны. «Демросвер — демиург российского сверхнарода», позже он получит имя Яросвет. «Велга — Великая Гасительница». «Ваяплона — Ваятельница плоти народа». Свою ономастику он объяснял: «Есть несколько (не более десятка) названий и терминов, которые я выдумал сам, в том числе Навна, Яросвет, метакультуры, Велга и др. И сотни две названий, которых я не выдумывал и не изобретал, но слышал в тех или иных состояниях, причем некоторые из них — многократно. Их транскрипция русскими буквами — только приближение. А некоторые из них я вообще никак не мог расслышать отчетливо. Среди них есть и очень неприятно звучащие, например, Ырл, Пропулк... Но и эти очень выразительны и уместны»514.

В появляющихся записях о «демонической карикатуре на монастырь — в Александровой слободе», о том, что творили темные силы «через агентов Уицраора царей московских, внедрившись в Московский Кремль, исказив и осквернив его застенками, тюрьмами и плахами», закреплялось то, что войдет в текст «Розы Мира». Но в первых набросках — приблизительность непоименованного.

Свой поэтический метод Даниил Андреев определил как «сквозящий реализм», или метареализм. В июле 1951 года он набрасывает начало

предисловия к намеченной трилогии. Само время, пишет он в этом наброске поэтического манифеста, «породило эту книгу: время головокружительных исторических сдвигов, время событий всемирного масштаба, разворачивающихся в нарастающем темпе, — время, когда обвалы древних пластов в обществе, в культуре и в сознании обнажают перед созерцающим “я” пучины подчеловеческого и надчеловеческого, а разум убеждается в несоизмеримости привычных для него категорий со сверхразумным содержанием мирового процесса: он обращается к другим методам познания и творческого претворения мировой действительности — методам духовной интуиции и метареалистического искусства».

В октябре 1951 года Андреев писал теще: «За текущий год мною получено от Вас, глубокоуважаемая Ю<лия> Г<авриловна>, 350 руб. Слова лишь в малой степени способны выразить мою благодарность и вряд ли могут они дать Вам понятие о том значении для моего здоровья и вообще жизни, какое имеют эти деньги»515.

Денег на ларек разрешалось тратить не больше определенной суммы. Можно было купить кое-что из еды, зубной порошок. Но главное — бумагу и курево. Курили в тюрьме много. Андрееву, как и всем, выдаваемой махорки не хватало.

Юлия Гавриловна сообщила о новом адресе: Бружесам, в довершение всех бед, пришлось перебраться из большой квартиры в просторную, но коммунальную комнату в Подсосенском переулке. О жене она не писала, на просьбу о ее адресе не отзывалась. Для нее он — главный виновник несчастья с дочерью. В черновике письма Андреев пытался найти слова не для оправданий, пытался хоть что-то узнать о жене:

«Если Вы будете писать мне, не откажите в любезности сообщить...

Мне очень хотелось бы знать, у Вас ли находятся картины моей жены, в частности, проект декораций к “Гамлету”, и появилась ли за последние годы хоть одна новая.

Мысли о ней, [любовь], над которой совершенно бессильна и разлука, и что бы то ни было, заставляет жить».

Он писал о том, о чем не раз думал: «Но если когда-нибудь дело повернулось бы таким образом, что она смогла бы и захотела бы устроить свою личную жизнь без меня, — я принял бы это как заслуженное наказание за то, что не сумел сберечь ее. Если же при этом жизнь послала бы ей хоть относительное счастье — отблеском этого счастья был бы счастлив и я». Эта фраза вычеркнута.

И сам он пропал для оставшихся на свободе. Запись 82-летней Малахиевой-Мирович в сентябре 1951-го: «Как всегда, когда разжалобишься по поводу своего “все не то, и все не так”, встают в душе образы Ирис или Тани, Даниила — если он жив. И других. И тех, имена их “Ты же, Господи, веси”».

5. Бабочка и поэт

Трех незаурядных узников судьба свела вместе в 45-й камере третьего корпуса, получившей наименование «академической». Разных по взглядам, темпераменту, профессии, их объединила, сделала друзьями и соавторами талантливость. «Дольше всего Василий Васильевич, вероятно, пробыл вместе с Львом Львовичем Раковым и Даниилом Леонидовичем Андреевым»516, — сообщает жена Парина.

Ракова привезли в тюрьму 9 ноября 1950-го. Сидел Раков не первый раз, в ноябре 1938-го его арестовали по обвинению в «терроризме», и он год пробыл в Крестах, в одиночке, доведенный до попытки самоубийства. Но после смены Ежова Берией Ракова выпустили, и даже карьера его продолжилась. Некогда он близко общался с Михаилом Кузминым, писал стихи, но главной его специальностью стала история. Раков работал в Эрмитаже, преподавал в Ленинградском университете. Записавшись в 1941-м добровольцем в народное ополчение, был определен лектором политотдела. В 1943-м участвовал в боях по прорыву блокады. Тогда же создал выставку «Героическая оборона Ленинграда» и до 1947 года занимался преобразованием выставки в музей. К концу войны получил звание майора и два ордена, после войны — подполковника. В 1947-м — назначен директором Публичной библиотеки. В 1950-м, за две недели до ареста, женился. Арестованный 20 апреля, 31 октября получил приговор Военной коллегии Верховного суда СССР — 25 лет тюрьмы и пять лет поражения в правах.

Пристегнутый к «ленинградскому делу», Раков не мог и подумать, что Музей обороны Ленинграда, любимое детище, станет его главной виной. Судя по тогдашним отзывам, музей стал памятником сражавшемуся блокадному городу. Но «органы» не обнаружили в нем надлежащего отражения роли партии и лично великого Сталина.

В музейной витрине были выставлены блокадная 125-граммовая пайка малосъедобного хлеба с целлюлозой и опилками, список двадцати двух блюд из свиной кожи... «Так вы считаете, — спрашивал следователь, — что в Ленинграде голодали?» — «Позвольте, разве нет?» — удивлялся подследственный. «Нет, — заявлял хмурый следователь, — существовали временные продовольственные трудности, а затем по указанию товарища Сталина мы их преодолели». Но этого мало, в музее, оказывается, было подозрительно много оружия, а значит, заявляло следствие, готовился на случай посещения товарища Сталина террористический акт. Экспонаты — орудия без замков, с просверленными стволами, снаряды, лишенные зарядов, разряженные мины и гранаты — тайный арсенал «антипартийной» группы.

Литературовед Владимир Марков, бывший перед войной аспирантом Ракова, вспоминал его: «...высок, строен, сдержан, презрителен, что-то собачье в лице (породистая собака)...»517 Любимец студентов и женщин, восхищавший элегантностью, блеском эрудиции, жизнелюб — Раков на следствии вел себя мужественно. В централ он попал, как и Андреев,

из Лефортова, измордованный следствием, презрительности в нем не замечалось, хотя за нее можно было принять сдержанность и насмешливое остроумие. Выслушав приговор, Раков иронически усмехнулся: 25 лет тюрьмы — куда ни шло, но потом пять лет не голосовать — это слишком! С Раковым, как и с Париным, Андреев сдружился. В «академической» камере Раков появился 20 августа 1951 года. Вскоре в ней случилось происшествие с бабочкой.

Известно множество историй о привязанности заключенных к живым тварям — к птицам, подлетающим к зарешеченным окнам, к прикормленным мышам, даже к тараканам. Шульгин рассказывал: «Дело шло о спасении пчелы. Она залетела к нам в камеру и, обессиленная, упала на столик. Я рассыпал вокруг нее сахарный песок, зная, что им подкармливают пчел. Но у нее не было сил есть сахар. Она умирала. А у Шалвы сохранилось немного меду. Он помазал им стол около пчелы. Она зашевелилась, подползла к меду и стала есть. И ожила, начала махать крыльями, пока наконец не улетела сквозь решетку. <...>

А нам остались одни мыши. Мы и их подкармливали, сострадая любовью ко всякой твари»[518].

Уже в конце лета в «академическую» камеру влетела бабочка — махаон. Она то замирала, то опять, трепеща крылами во всей их траурной красе, тщилась одолеть преграду тусклого стекла. Бабочка — символ души, рвущейся на свободу. И Андреев полез вернуть ей свободу. К окну подходить разрешалось только для того, чтобы открыть или закрыть форточку. Высовываться в нее, взбираться на подоконник строго воспрещалось. Неусыпные надзиратели следили через «волчье око», что происходит в камере, по коридору ходили они бесшумно, надевая на казенные ботинки мягкие тапочки. Любое нарушение правил, любая придирка — не так лежит подушка — могли кончиться наказанием. Спасителя бабочки застукали. Результат — трое суток карцера.

Спуск в карцер — так называли это заключенные — жестокое испытание, тюрьма в тюрьме. Кормят через день, окна не видно, лампа под потолком еле мерцает, сесть негде, спать почти невозможно, холод, теплой одежды не положено. Нельзя курить. Это Андреева мучило больше всего. В его описаниях спуска в слои возмездия сквозь мистические видения сквозят карцерные дни и ночи с потерей чувства времени и реальности:

Казалось, тут я жил века —
Под этой неподвижной сферою...
Свет был щемящим, как тоска...

Бывало, что в карцере связывали, избивали сапогами, приговаривая: «У нас не забалуешь». Врачиха Скоробогатова проверяла пульс и кивала: «Ничего, выдержит»[519].

Подъем из карцера — возвращение в камеру — казался подъемом почти «к России Ангелов». Однокамерники соболезновали, но происшествие не могло не стать для них событием литературным. Пока он сидел в карцере, Парин и Раков сочинили посвященный событию цикл с пародийными эпиграфами, комментариями и насмешливыми отсылками к классике. Солнечный день 5 сентября 1951 года способствовал шутливым вдохновениям. Сущность происшествия описал Парин в басне «Бабочка и поэт»[520]:

...Однажды бабочка такая,
Как легкомыслия образчик,
Беспечно вдоль стены порхая,
Попала в наш почтовый ящик...
Сидел в той камере поэт
С душою сумрачной, но милой,
Он бабочку на белый свет
Решил вернуть хотя бы силой...

Но бдителен надзор и чуток —
Поэт застукан en delit,
И вот его на трое суток
Уж в темный карцер увели.
Читатель ждет морали внятной.
Ужель она вам непонятна? —
Не надо помогать тому,
Кто сдуру лезет сам в тюрьму!

Раков завершил цикл после выхода Андреева из карцера ироническим резюме:

И за одно прикосновенье
Ты трое суток просидел...
О, человек! Ты поседел,
Но мудрость все не в поле зренья:
Внутри тюрьмы ты сесть сумел!

В «академической» камере и была написана остроумнейшая книга «Новейший Плутарх» тремя соавторами. Инициатор создания «Иллюстрированного биографического словаря воображаемых знаменитых деятелей всех стран и времен от А до Я» Раков стал самым азартным автором, главным редактором, иллюстратором. На свободе занятый преподаванием, учеными и административными заботами, он в заключении писал много. Начал сочинять цикл рассказов «В капле воды», писал литературоведческие эссе — «Судьба Онегина» и «Письма о Гоголе», стихи, чаще иронические. Любивший и превосходно знавший

русскую поэзию, поэтом себя Раков не считал, утверждая, что лишен «поэтического мышления».

Когда-то Михаил Кузмин задумал и начал романом «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» серию жизнеописаний — «Новый Плутарх». Кузмин был влюблен в студента Ракова, посвятил ему книгу стихов «Новый Гуль». И Раков, высоко чтивший поэта, прекрасно знал о кузминском замысле. Он и подвиг сокамерников на эту пародийную книгу. Возможно, толчком к проекту «Новейшего Плутарха» и стал цикл о «жертве Махаона».

Даниил Андреев с детства любил сочинять в шутливом роде. А биографический жанр испробовал еще во времена написания книжки об ученых-изобретателях. Сочинение новелл для «Новейшего Плутарха» стало и для него увлекательной забавой, хотя и в них он верен заветным темам и мыслям.

«Основатель издания» торопил и воодушевлял соавторов. Используя тюремные лиловые чернила и «сок хлебной корки», рисовал иллюстрации и сам написал большинство биографий. В герое одной из них, предваряемой узнаваемым портретом, в Цхонге Иоанне Менелике Конфуции изображен Даниил Андреев. Цхонг — мыслитель, педагог и общественный деятель республики Карджакапты исповедует и воплощает в жизнь взгляды и идеалы автора «Розы Мира» — предмет споров и обсуждений ученых соавторов. Характеристики деятеля в новелле и шутливы, и серьезны. «Фундамент философских взглядов Ц., — характеризует мыслителя Цхонга биограф, — образовывало убеждение о всеобщем родстве возвышенных и бескорыстных устремлений человеческой души к совершенству. Далекий от узких рамок догмы, он в каждой религии чувствовал постижение единого Бога, в каждом искусстве видел поиски единого, по существу, идеала, в каждой философской системе — служение единой истине...» Ц. последовательно отрицал «концепции, связанные с “угашением духовного начала”, т. е. основанные на рационализме и материализме». И еще, Ц., как и Проповедник в «Железной мистерии», не только похож на «идеального руководителя государства, мечтавшегося некогда Платону», но и, следуя своим идеалам, запрещает «занятие охотой и потребление мясной пищи», а главное — утверждает целительную необходимость «босикомохождения». Изложены в новелле и педагогические взгляды Андреева.

Ц. умирает, пав жертвой своей ненависти к обуви, наступив на осколок стекла левой пяткой. Но к насмешкам над «босикомохождением» Андреев привык, приучив к тому, что не терпит обуви, даже тюремщиков. А на дружеские насмешки ответил стихами, предлагая Ракову весеннюю прогулку: «Лёвушка! Спрячь боевые медали, / К черту дела многоважные брось: / Только сегодня апрельские дали / По лесу тонкому светят насквозь». Лесные прогулки могли быть лишь воображаемыми. Даже вносивший раз в десять дней в тюремное

житье ожидаемое разнообразие путь в баню — мимо больничного корпуса, по закатанному асфальтом двору, где не пробивалось ни травинки, — не дарил взгляду ни краешка живой природы — вокруг каменные стены, мутные решетчатые окна, и лишь небо вверху в счастливый день сверкнет синевой и солнцем. Даже Раков, петербургское дитя, не питавший андреевской страсти к природе, писал из тюрьмы дочери: «Как я теперь вспоминаю немногие часы, проведенные среди природы! Припоминаю все подробности вида, запахов, звуков; все это для меня — вроде потерянного рая»521.

Насмешливый Раков шутил и над собой, описав свое увлечение историей русского военного костюма в биографии военного педагога Пучкова-Прошкина, в жизнеописании основоположника научной дисциплины «Сравнительная история одежды» Хиальмара аф Хозенканта. Сочинительство помогало не думать о 25-летнем сроке, коротать «горькие дни». «А все же, как ни странно, — удивлялся Раков, освободившись, — эти дни бывали и прекрасными, когда мы подчас ухитрялись жить в подлинном мире идей, владея всем, что нам было угодно вообразить»522.

Всё написанное Андреевым почти за два года, всё, что удалось восстановить из погибшего на Лубянке, изъяли при неожиданно проведенном «шмоне». Катастрофа. В третий раз написанное вспоминалось труднее. Жаль было многого, особенно цикла «Московское детство», от которого уцелело два стихотворения, написанных в 1950-м, — об игрушечном Мишке и «Старый дом». А «в четвертый, — обреченно сетовал он, — пожалуй, и совсем почти все забудется»523.

«Новейший Плутарх», забава и отдохновение, сочинялся не сразу. Раков старался увлечь всех: по некоторым сведениям, в книге что-то написано даже японцем, а что-то немцем. Возможно. Но в рукопись вдохновенный проект превратился позже, когда к писаниям зэков стали относиться снисходительнее. Это происходило после смерти Сталина и уже в другой камере, 35-й, куда Ракова перевели 3 апреля 1953 года.

6. Темное видение

В тюремную тетрадь Андреев выписал из статьи детской писательницы Веры Смирновой (Литературная газета. 1951. 10 мая) две фразы: «Никому в голову не придет теперь выделять мастеров литературы в какую-то особую “касту жрецов”, владеющую тайной воздействия на умы и сердца»... «И если читатель, даже родившийся в советское время, не верит ни в бога, ни в черта... и т. д.».

Газета попалась ему на глаза именно в то время, когда у него складывается теория вестничества. Он размышляет именно о «касте жрецов», об особенных творцах, названных им вестниками. Вестники в образах искусства свидетельствуют о иной реальности, они и после земной смерти продолжают в небесных мирах служение и подвиг.

Читатель, не верящий «ни в бога, ни в черта», для него не читатель — он лишен духовного слуха и зрения. Вестям о мистических мирах «Как рожденный слепым калека, / Презирающий всех, кто зряч, / Усмехнется рассудок века — / Знанья собственного палач».

Даниил Андреев противостоит «рассудку века». Он вступает в спор с Маяковским потому, что ценит поэтическую силу Маяковского, ставшего одним из символов режима. Стихотворение «Гиперпеон» — литературная декларация и принципиальный спор с поэтом, идеологом Доктрины. Помня «железки строк» поэмы «Во весь голос», он противопоставляет им «нержавеющий» стих, «транс-урановые размеры», чтобы говорить о той же эпохе, что и певец коммунистического далека. Он сообщает о страшной правде: «О триумфах, иллюминациях, гекатомбах, / Об овациях всенародному палачу, / О погибших / и погибающих... под расплющивающей / пятою...»

В пантеоне сталинско-советской мифологии Маяковский стоял в паре с Горьким. И в «Розе Мира» их имена поставлены рядом. В главу «Русских богов» — «Темное видение», куда включен «Гиперпеон», вошло стихотворение «К открытию памятника». В тюрьме Андреев из газет узнал об открытии 10 июня 1951 года памятника своему крестному. Памятник у Белорусского вокзала был воздвигнут «от правительства Советского Союза». Но, как и Маяковский, Горький для Андреева не только тот, кто бросал газетные лозунги об уничтожении «врагов народа», которые не сдаются. Сутулящийся бронзовый силуэт — трагический герой, не вынесший груза высокого предназначения, потерпевший поражение: «...чуждый полдневному свету, / Он нем, как оборванный звук: / Последний, кто нес эстафету / И выронил факел из рук».

Судьбы Горького и Маяковского связаны с «кармою страны». Ею «скован по рукам дух». Но есть те, кто не прекращает борьбы с кармой, — в ней участвуют не только гении, но и полузабытые подвижники, и праведники прошлого. Они — «белый покров» над горестною страной.

В поэтическом мире Даниила Андреева есть погибшие души, мертвых — нет. И хотя светлые иерархии ему понятнее, объяснимее, но, как вестник, он захвачен борьбой с демонической тьмой, спускается в нее, как в карцер, пытаясь разглядеть и описать населяющие ее силы. Пережив соблазны Дуггура, тьму рядом с собой он ощущал постоянно. Опьяненный блоковскими видениями и кощунствами, он говорил о ней символистским языком, не находя соответствующих понятий. Потом пытался придумать, пока они не стали слышаться в тюремных ночах. Понятнее становился смысл когда-то соблазнявших голосов и образов.

Он описывает действие силы, названной «Афродитой Всенародной» и даже «Афродитой Страны». Платоновское противопоставление двух образов богини любви занимало символистов. У Вячеслава Иванова есть стихотворение «Афродита Всенародная и Афродита Небесная». Но,

чувствуя мифологическую тяжеловесность этого имени, Андреев ищет другое имя «Той, которой еще нет имени в языке».

С детства неистощимый на выдумывание имен планет и городов, правителей и героев, имена русских богов и насельников демонических пучин он хочет услышать. Не всегда убежденный, что и услышанное расслышано верно, понимая, что человеческий язык не может передать неземные созвучия, он не претендовал на истинность своих наименований.

Уверенный, что карма русской истории предопределяет страшный апокалипсический выход, он возвращается и возвращается к видениям гибели всего, что ему дорого. Без очищающей огнем гибели ему трудно представить освобождение русской души, условно названной Навной:

И разум мечется в бреду,
Предвидя свист и рокот пламенный
На страшных стогнах Белокаменной,
В осуществившемся аду.

Навна, казалось ему, выйдет из заточения на радиоактивное пепелище. Русская держава, превращенная в сталинскую демоническую цитадель, может освободиться только под беспощадными ударами извне. Так в острожных стенах тогда думал не он один. Ошеломившее его у деревенского колодца известие о Хиросиме казалось началом апокалипсиса.

Стынь, всероссийская полночь, стынь:
Ветры, убийственные, как цикута,
Веют
из радиоактивных пустынь.

7. Трактат

Заглавный мотив «Русских богов» — «карма страны», проявляющаяся в истории. Как демоническое начало влияет на ход истории, как один Жругр — демон государственности — сменяет другого, какие неземные силы проявляются в земных событиях и народных судьбах, рассказано в «Розе Мира». Но не только об этом. И каждому стихотворению надлежало значимым звеном войти в поэтический ансамбль. Всеобъемлющий образ бытия мог вместить только миф. Религиозное миросозерцание и есть миф. Поэтому Даниил Андреев утверждает: метаистория всегда мифологична.

Его миф — не рациональное следствие теорий, наблюдений, а опыт озарений и откровений. Их он ждал, на них надеялся, они входили в размышления и в стихи. В них ищет равноценного откровению слова, в которое бы вместилось блистание «тех сфер», «отзвук правды». Его поэзия программна, его лирические высказывания всегда части

осмысленного целого. Но теоретические построения как таковые его никогда не увлекали. Однако и без теорий, объяснений он обойтись не мог с его врожденным, почти маниакальным стремлением к систематизации и завершенности. Миф — непротиворечивое в самом себе целое.

В сущности, «Роза Мира» — книга, к которой он подступался многажды, обдумывал и писал всю жизнь. В 1933 году она называлась «Контурами предварительной доктрины», в конце 1950-го «Трактатом», позже — «Метафизическим очерком». Да и таблица смены красных и синих эпох из этого же ряда. «Трактат», писавшийся как вступление и первая часть метаисторической трилогии, последовательно втягивал в себя всё. Не только представления о многомерном мироустройстве и мистических силах истории, но и всю жизнь автора.

Он всегда жил предчувствием своих прорывов к инобытию, к видениям Небесной России. Но понимал, что это будут прорывы и в непознанную глубь собственного сознания, в тайник, где «бодрствуют праобразы».

Сомнения в достоверности духовидческого опыта, б*о*льшие или меньшие, у него бывали. Преодоление сомнений требовало некоей теории. В предлагавшихся еще не утраченной традицией мистических учениях Андреев не видел безусловной истинности, находя множество противоречий. Решающим мог быть только собственный опыт, и он складывался не столько в учение, сколько в мифологический эпос. Эпос мистический и утопический, вмещавший все сущее с прошлым и будущим, с вечным. Сосредоточен он на будущем, ясно разделенном на три первоначальных этапа.

День завтрашний — кровавый, «день побоищ, день бурь и суда», живущий надеждой, потому что он — «ступень между будущим братством всеобщим / И гордыней держав, разрушающихся навсегда».

Послезавтрашний — напоминает «пустоши после потопа», но в нем воздвигнется «сень / небывалых содружеств Европы, / Всеобъемлющий строй единящихся материков».

В *день третий* наступит эпоха Розы Мира, сотворчества «всех на земле сверхнародов».

Но его эпос религиозен, а потому эсхатологичен, и за обозначенными этапами наступления эпохи Розы Мира бесстрашному вестнику видится приход Антихриста и завершение истории.

Прошлое так же значительно, как и будущее, не только потому, что в нем складывается карма истории, но и потому, что историческое вчера во всей полноте входит в завтра.

Трактат предполагался введением в поэтические главы, которые к сентябрю 1952 года начали складываться в поэтический ансамбль «Русские боги». Главной демонической силой русской истории и персонажем книги представлялось чудовище, названное странным скрежещущим словом — уицраор. Уицраор — мистически

персонифицированная государственная власть, демоническая по своей природе. Постижению таинственной жизни уицраора, проявляющейся в человеческой истории, и посвящен «скрытый труд метаисторика».

Видимо, все же зимой 1952-го, а не 1951-го, как обозначено в одной из машинописей, написана поэма «Гибель Грозного»[524], где изображено одно из решающих метаисторических событий русской истории.

В работе над поэмой все отчетливее и жизненнее представляется поэту демоническая династия русских уицраоров — Жругров. Следующая поэма — «Симфония о русской смуте» «Рух» — продолжение метаисторического эпоса. Ее он начал писать в сентябре, следом за «Гибелью Грозного». Тогда же наметился предварительный состав книги «Русские боги».

8. Сокамерники

После освобождения на простодушное пожелание написать о годах тюрьмы Андреев ответил: «Об этом другие напишут». Но и другие узники 1950-х о Владимирской тюрьме написали немногое. И дело не столько в подписке «не разглашать условий тюремного режима» — мучительно вспоминать тюремные годы и почти невозможно объяснять не испытавшим на себе, чем тяжела острожная неволя. Передающие тюремный ужас воспоминания написаны уже послесталинскими узниками, диссидентами.

92-летний Шульгин, надиктовавший в 1970 году обрывочные воспоминания о своем заключении, названные «Пятна», о многом, видимо помня подписку «не разглашать», поведать и не пытался. «Сокамерники там бывали разные, — рассказывал он, — одни были непроходимые мерзавцы. Так что если говорить совершенно чистую правду, то они были хуже, чем тюремщики. По крайней мере, мы от них больше страдали»[525].

Одного такого уголовника-убийцу по фамилии Базаров описал Раков, назвав «настоящим нигилистом». Этот Базаров, озлясь, становился зверем. А ненавидел он «всех, кого знал и кого не знал». Ненавидел истерично, и ему нравилось убивать. Зверство в нем пробудила война. Он с удовольствием рассказывал, как подростком добивал раненых немцев, на машинах застрявших в зимнем снегу рядом с их деревней: «Ну мы их всех и перебили. Прямо по голове автоматом — раз и нету! Как орехи щелкали... Смеху было...»[526]

Политические страдали от уголовников. Так было везде — на пересылках, в лагерях, в тюрьмах. О том, как политические жили с уголовниками в «академической» камере, явно идиллически рассказала жена поэта:

«Можно себе представить, что это были за уголовники, получившие тюрьму, а не лагерь. <...> Так вот, тех уголовников, севших за что-то очень серьезное, и привели в камеру к Даниилу, Парину и Ракову. Те встретили вновь прибывших очень дружелюбно и просто. А вскоре стали

проводить с ними занятия. Василий Васильевич читал им лекции по физиологии; Лев Львович — лекции по русской истории, особенно по истории обожаемого им русского военного костюма; Владимир Александрович[527] — историю искусств; а Даниил сочинил специальное пособие по стихосложению и учил уголовников писать стихи»[528].

Андреев сближался с теми, в ком находил хотя бы нечто близкое. Встретить не то чтобы разделяющих его миропонимание, а даже сочувствующих было трудно. Шульгин, интересовавший его как исторический деятель и как литератор, оказался человеком религиозным, с мистическими настроениями, для которого «загробная жизнь — реальность». Василий Витальевич даже отчасти разделял его индуистские увлечения, веря не только в опыты йогов, но и в «карму», находя в самом звучании близость с русским словом «кара». Но и с Шульгиным, вызывавшим симпатию честностью и ясностью ума, настоящей духовной близости не сложилось. А Парин и Раков, широкообразованные, глубокие и тонкие люди, не сочувствовали его религиозности, казавшейся им маниакально-болезненной. Но не могли не оценить Андреева. «От этих лет у меня осталась непреходящая любовь к Даниилу Леонидовичу, преклонение перед его принципиальностью, перед его отношением к жизни как к повседневному творческому горению, — писал Парин, радуясь первой посмертной публикации стихотворений сокамерника. — Он всегда читал нам — нескольким интеллигентным людям из общего населения камеры (13 “з/к”) — то, что он писал. Во многих случаях с его философской (метаисторической) трактовкой нельзя было согласиться, мы спорили страстно, подолгу, но с сохранением полного взаимного уважения. И даже в таких случаях в конце концов у всех нас оставалось глубокое убеждение в том, что перед нами настоящий поэт, имеющий свое индивидуальное неповторимое видение мира, выношенное в сердце, выстраданное»[529].

Гаральд Нитц, вспоминая Андреева и Ракова тех времен, когда сочинялся «Новейший Плутарх», рассказывал: они написали «что-то очень занимательное и, видимо, смешное... Все смеялись. Мне повезло быть с ними... Интереснейшие люди! Оба так скрасили мое пребывание там...»[530]. Нитц и сам сочинительствовал, писал стихи. Видимо, это он перевел тогда несколько стихотворений Даниила Андреева на немецкий. В июне 1952-го, когда Раков получил фотографию дочери и радостно показывал сокамерникам, Нитц написал стихотворение «Маленькой дочери друга». В нем он писал о семерых узниках, чья жизнь течет заунывно, как песок в часах, давно забывших женскую ласку и обрадованных вместе с другом этим девичьим письмом и фотографией.

Часто Андреев спорил с Раковым, особенно на исторические темы. Конек Ракова — история военной формы в России (перед арестом он успел издать «Очерк-путеводитель по выставке “Русская военная форма”»). Она стала темой его рассказов-лекций в «академической»

камере. Но не только она. Блестящая эрудиция Ракова была широкой — от Античности до трудов Отцов Церкви, от статей Константина Леонтьева до истории русского флота.

В тогда же написанном Раковым рассказе-эссе «Судьба Онегина» истина выясняется, как в платоновских диалогах, в спорах. Четверо больных (понятно, заключенных) в одной палате (камере) несколько вечеров обсуждают десятую главу «Евгения Онегина»: «У нас сложилась традиция открывать собеседования за ужином».

Трое спорящих узнаются безошибочно, это — Андреев, Парин и сам автор. Андреев в тексте назван Никитой Ивановичем. «Никита Иванович, — сообщает Павел Павлович, персонаж, представляющий автора, — мой большой друг, редкий писательский и поэтический талант которого был известен и признан только обитателями нашей палаты, он ничего не успел напечатать». Парин назван Петром Николаевичем, о нем говорится: «...ученый физиолог, казавшийся старше своих пятидесяти лет благодаря окладистой серебряной бороде, похожей на бороду адмирала Макарова...» В тюрьме Парин переболел гепатитом. Кто такой четвертый собеседник — Федор Алексеевич, названный специалистом по истории русской литературы, определенно сказать трудно. Но вероятнее всего, это Борис Леонтьевич Сучков, профессиональный литературовед, правда, больше, чем русской литературой, занимавшийся зарубежной — немецкой и французской. В тюрьму он, перед арестом бывший директором Издательства иностранной литературы, попал как американский шпион. Сучков и в камере отстаивал идейные позиции советского литературоведения. Замечание Ракова, что «Федор Алексеевич Пруста не любил за “бергсонианство”, “архиснобизм”, “аполитичность”, “бесконечное копание в себе”», наверное, не случайно, позднее Сучков писал и о Прусте. Прустом увлекался сам Раков. Тюремные беседы и споры о Пушкине тоже не придуманы. Их отзвуки попали на страницы «Розы Мира», посвященные Пушкину.

После тюрьмы называвший Льва Львовича Левушкой Андреев не случайно испытывал к нему дружеские чувства. Их многое сближало. Почти ровесники (Раков был на два года постарше), оба они помнили счастливое предреволюционное детство, оба росли без отцов, среди любящих женщин, оба говорили на языке одного круга и одной культуры — начала века. А различия — успешная деловитость Льва Львовича и практическая беспомощность Даниила Леонидовича — в камере не имели значения. Ну а единомышленники-мистики вообще могли встретиться лишь в трансфизических странствиях. По крайней мере, именно Ракову Даниил Андреев с особенным чувством читал «Ленинградский Апокалипсис». Что происходило в осажденном Ленинграде, Раков знал как очевидец, участник прорыва блокады. Да и мало кто даже в их «академической» камере мог оценить эпическую мощь «русских октав» поэмы так, как приятель Михаила Кузмина.

Слушавшего их споры «простого паренька» Петра Курочкина «старшие товарищи интеллигенты учили началам наук». Курочкина привела в централ собственная страшная история. Он о ней рассказывал так:

«Арестован я был в 1950 году, 16-летним парнем. Я жил тогда в Ленинграде. Как-то зашел с дружками в кафе, мы крепко выпили, повздорили, у одного из нас оказался наган, и он два раза выстрелил в портрет Сталина. Нас судили и дали по 25 лет тюрьмы, пять лет ссылки и пять лет поражения в правах. Я попал в лагерь в Мордовии — сперва в лагерь для несовершеннолетних». В лагере Курочкин оказался замешан в драке, в которой был убит «бандеровец», и после суда получил «10 лет закрытой тюрьмы строгого режима»[531].

Запомнил он и свое появление в 49-й камере централа в январе 1952-го:

«Когда открыли дверь камеры, все обитатели ее уже стояли. Так положено по уставу: если кто-либо входит в камеру, все должны встать, пока надзиратель гремит затворами. Я помню, что вошел и сказал:

— Здорово, братцы!

Поздоровался со всеми за руку и сразу заметил недоумение на лицах. Потом они объяснили, что мое появление ввергло их в огромное изумление. Все они солидные мужи, “матерые преступники”, а тут к ним мальчика привели. Я был щуплым маленьким 18-летним пареньком. Узнав, какой мне назначен срок, они изумились еще больше.

Мое место оказалось рядом с местом Василия Васильевича. Он высокий, худой, с длинной седой бородой, добродушно посмеивался над моим появлением и почему-то сразу мне понравился. Кровати были вделаны в пол, не кровати, а топчаны, поверхность из продольных и поперечных металлических прутьев. Мне принесли тощий тюремный матрац, наматрасник (простыней не полагалось), одеяло, и я стал полноправным обитателем этой камеры 49. <...>

Камера была довольно большая, вдоль стен кровати-топчаны, всего шестнадцать штук, посередине стол и скамейки, на которых днем можно было сидеть за столом, можно было также ходить, но одновременно могли ходить не больше двух человек, лежать же днем категорически запрещалось»[532].

Андреев относился к Курочкину товарищески, и тот к нему привязался, всю жизнь вспоминая «интересного и необычного человека», гордясь его вниманием: «Я, Парин, Александров, Раков и Андреев держались вместе: это была наша группа»[533].

Александрова Андреев называл типом из Достоевского «со всеми его плюсами и минусами». В свою очередь тот, вскоре после их знакомства в 1950 году, говорил о сумасшествии Андреева, причем «искренне и с соболезнованием», как с грустной иронией замечал объявленный сумасшедшим.

С неизменной приязнью вообще любивший деятельных и сильных людей — себя он таковым не считал — Андреев относился к Гогиберидзе. С ним он сидел в одно время с Шульгиным в камере 3-го корпуса.

Впрочем, тот вызывал симпатию у всех, восхищал грузинской жизнерадостностью. Арестованный в 1942 году Симон Леванович Гогиберидзе, прямой и открытый, в тюрьме не скрывал ни своего «дела», ни взглядов. «Высокий, широкоплечий, со жгучими карими глазами», красивый «даже с остриженной головой, в наряде арестанта»534, — вспоминал оказавшийся в 1947-м на соседней койке сокамерник. В юности став социал-демократом, в 1921 году Гогиберидзе воевал за Грузинскую республику, в 1924-м участвовал в восстании за независимость, затем оказался в эмиграции, в Париже. В 1942-м Жордания послал Симона Гогиберидзе в Грузию для противодействия попыткам абвера вызвать там восстание, сказав, что сейчас не время бороться с большевиками... Его арестовали и не расстреляли лишь потому, что следствие установило: Гогиберидзе вел подпольную агитацию за советскую власть.

Социал-демократическим идеалам Гогиберидзе оставался неколебимо предан. «От общения с ним делалось светлее»535, — вспоминал Револьт Пименов, сидевший с ним в 1960-х.

Другой сокамерник Андреева — Исаак Маркович Вольфин. Арестованный в 1946 году и обвиненный в связях с иностранцами вместе с другими преподавателями Военного института иностранных языков Красной армии, где преподавал шведский язык, он свои 25 лет получил за шпионаж. Перед войной Вольфин работал в Швеции, под началом Коллонтай, на которую у него пытались выбить показания. В 1943-м, после заявлений с просьбой отправить на фронт, он попал в морские части. Повидал многое, рассказывал, как видел на Северной Двине трупы детей высланных кулаков...536 Андреев так описывал Вольфина жене: «Это — человек другого круга, с которым мы с тобой сталкивались очень мало. Он моряк, очень много колесил по морям и портам, большой любитель swing’а, обожает и просто живет музыкой, но внешне грубоват, любит рискованные остроты; а душа у него сильно изранена, и человеческое отношение он ценит до болезненности высоко. А наряду со всем этим — много еще неизжитого юношеского (хоть ему 44) легкомыслия и, по-моему, некоторого авантюризма (не в дурном смысле)»537.

Зея Рахим (или Рахим Зея Абдул-Хаким-Кирим-Оглы) — самая таинственная личность из сокамерников Андреева. Арабист и японист, он попал в заключение как японский шпион в 1946 году. По происхождению, по его словам, египтянин, выросший в мусульманской семье. По документам — родившийся в Мукдене татарин. Знакомым после освобождения представлялся как Харун ибн Кахар, шейх Уль-Мюлюк, эмир Эль-Каири и рассказывал о себе, что родился

в Александрии, учился японскому в Токио, бывал в Женеве и Лондоне, а арестован в Мукдене, где был владельцем двадцати четырех фабрик и банка[538]. Начитанный, эрудированный в разных областях — от истории Востока до современной физики, оказавшись с Андреевым в одной камере, Зея с ним сдружился, относясь с восточной предупредительностью, как младший к старшему, — ему было тогда около тридцати. Парин и Александров очарованности Зеей не разделяли, и не только они. Но Андреева убедить не могли. Он считал «абсурдной версией» предположение Александрова, что Зея — стукач.

В добрых отношениях с Рахимом поначалу был и Курочкин, которого Парин предостерегал от этой дружбы. «Потом я узнал нехорошее о нем, и наши отношения разладились, — вспоминал Курочкин. — Взяли его в Маньчжурии, он то ли скот продавал японцам, то ли шпионил на японскую разведку. Хорошо знал японский, русский, арабский языки, все быстро схватывал, у него было умное, интеллигентное лицо».

Упоминает Курочкин и немцев с японцами. По его словам, сидевший с ними сын генерала Кейтеля был неприятным, высокомерным, «с гонором относился к русским. Кейтель повздорил с Кутеповым, кажется, выясняли, кто из них родовитее, дошли до взаимных оскорблений, я вмешался, нагрубил немцу. Потом его убрали от нас, чтобы не было более подобных эксцессов.

Еще раньше, по рассказам Василия Васильевича, в камере был немец Крумрайт, его обвинили в уничтожении в Австрии 10 тысяч евреев. Он этим ужасно возмущался, писал жалобы, требовал пересмотра дела. Он говорил, что его обвинили несправедливо, ибо он уничтожил 6—8 тысяч евреев, но никак не десять».

«Еще с нами был японец, дипломат Куродо Сан, очень культурный человек, упорный. Французский язык одолел за 3—4 месяца самостоятельно, русский знал хорошо, хотя говорил с акцентом»[539].

Кроме «академиков» и уголовников сидели в камере и пламенные коммунисты, из тех, что попали в «ленинградское дело».

Но Андреев общался не только с сокамерниками. Тюремная связь со своими каналами и приемами действовала и при самом жестоком режиме. Заключенные перестукивались, обменивались посланиями, умудрялись знакомиться. Внизу в те годы существовало восемь прогулочных дворов, разделенных забором. Дворами назывались «маленькие клетки-отсеки»: «...два ряда узких отсеков. Поверху ходят два часовых, следят, чтобы никто не пытался общаться с гуляющими из других камер (каждый отсек на камеру). Дотронуться даже до стены нельзя — немедленно вся камера лишается прогулки. Идем друг за другом по кругу, — рассказывал о тогдашних прогулках Курочкин, — полчаса в одну сторону, полчаса в другую, чтобы голова не закружилась...»[540] Но в заборе отыскивались щели. Как вспоминал сидевший в одиночке Меньшагин, когда постовой оказывался от него в другой стороне, он мог с гуляющими соседями перекинуться

несколькими фразами. «И они то же самое — видят, что человек смотрит, спрашивают: кто? Давно ли? Откуда? Какая статья? Сколько сидишь?»541

После тюрьмы Андреев рассказывал жене о некоем юристе, сидевшем, как и Меньшагин, в одиночке. Несмотря на это, они знали друг друга: «Когда его одного выводили на прогулку, он выходил с пайкой хлеба, чтобы кормить голубей. Все голуби слетались ему на плечи, а он давал им этот хлеб — единственное, что имел»542.

9. Снобдения

В снобдениях, в тысячах ночей на казенном ложе, отправляясь в трансфизические путешествия, как Даниил Андреев называл свои состояния, ему открывалось и неизвестное, и знакомое, но с неожиданной стороны. В записях о путешествиях в потустороннем есть раздел «Личное». Личное также входило в стихи, попадало на страницы разраставшегося трактата. И то, что казалось совсем не личным, часто исходило именно из личного. Многие записи, как кажется, вырастали не из небывалых откровений, а из давних переживаний.

Одна из записей — история предсуществований, предыдущих жизней, — в них он верил безусловно. Это комментарий к давнишним строкам — «...я умер. Я менял лики, / Дни быванья, а не бытие...», ко всему циклу «Древняя память», написанному почти двадцать лет назад. Он пишет об Атлантиде и о Гондване. Причем под Гондваной имеет в виду не легендарный материк, а некую метакультуру, включающую остров Яву, Суматру и Южную Индию. Помечает, что жил в странах Наири. Припоминает о жизни в Индии — то на севере ее, во времена империи династии Гуптов, при которых процветали литература и искусства и где он был заклинателем змей, то в XVII веке в Траванкоре, где видит себя брамином-поэтом, живущим на побережье, у озер или у гор, у синей вершины Анаймуди. Именно там, на юге Индии, предопределился его путь поэта в последующей жизни: «Дар поэт<ической> ген<иальности> был решен, еще когда ты умирал в Траванкоре».

Он записывает воспоминание о встрече с девушкой, изображенной им некогда в поэме, и тут же возникает давнишний соперник Ю. (Юрий Попов): «Ради ее любви ты отдал сомнит<ельные> блага. Исключен из касты и изгнан. Встречался и в других слоях, но в одном из них Ю. соверш<ил> тяжкую ошибку». «Вызволить Ю. стоило огромных усилий. Он же падал ниже Агра...» Агр, четвертый из слоев чистилищ, слой «черных паров», где грешники искупают свою карму, подробно описан в «Розе Мира». Одно из мучений Агра — «чувство бессильного стыда и созерцание собственного убожества. Другое мучение в том, что здесь начинает впервые испытываться терпкая жалость к другим подобным и приходит понимание своей доли ответственности за их трагическую

судьбу». Похожее мучение и переживал Андреев, все время возвращаясь к вине — действительной или мнимой — перед Поповым.

Так все его трансфизические путешествия оказывались связаны с собственной жизнью и были путешествием по мирам прошлого, вновь и вновь переживаемого глубинами подсознания. Он пишет о чаемой встрече с другом юности: «Сердце остановится. Он бросится к тебе сам. Будет безумно любить, и ты его так же. <...> Поэтому прост<ится> все, при условии, что это не повр<едит> миссии. Станет чудесн<ым> художн<иком>: роспись одного из замечат<ельных> храмов С<олнца> М<ира>».

В записях живые и ушедшие рядом. Под заголовком «Судьбы посмертные» он делает пометы, не все из которых понятны. Первыми обозначены судьбы самых близких — Добровых. Саше Доброву нечто «ускорит смерть», но он «спасет мать из Морода», то есть из третьего слоя чистилища, царства абсолютной тишины, где пребывающих мучает тоска великой покинутости. Рядом с именем Елизаветы Михайловны два слова: «Мород. Тайна». Какая семейная тайна здесь скрыта, мы не знаем. Дяде, Филиппу Александровичу, назначены «лучезарный покой» и «творчество во время смены эонов». Ниже перечислены те, о которых ничего пока не сообщено. В списке: Ирина Усова и ее муж — Налимов, Татьяна Усова, первая его жена Александра Гублёр, Мария Васильевна Усова, Ивашев-Мусатов, Аня — видимо, Егорова, Зоя Киселева...

О Коваленском Андреев никогда не забывал, ведя с ним воображаемый диалог и спор, дорожа «тонким хладом» дружбы, как он определил их отношения. В октябре 1950 года, в стихах обращаясь к нему — «незабвенный, родной», не получая «ни вестей, ни ответа», писал:

И промчались безумные годы,
Обольстив, сокрушив, разметав,
Заключив под тюремные своды
И достойных, и тех, кто не прав.
Где же встреча? когда? меж развалин?

Андреев постоянно вспоминает стихи Коваленского, цитирует. Судьба его открывается ему в новом метаисторическом свете: «Ков<аленский>. Несу ответств<енность>. Сейчас сдел<ать> нич<его> нельзя, а потом увижу. <...> Надеюсь, нисх<одящего> посм<ертия> не буд<ет>. Осталась способн<ость> писать хор<ошие> стихи, но нич<его> первокласс<ного> не созд<аст>. Ему предназнач<ена> опр<еделенная> роль во II э<оне>, до этого обречен на малую активность.

Была миссия, кот<орая> снята в <19>45, независимо от его вины».

10. Смерть Сталина

Свежие газеты заключенным не полагались, а с начала марта их перестали давать вовсе и не давали месяца полтора. Но о смерти Сталина тюрьма узнала сразу. Вот как о ней узнал Андреев:

«В ночь с 5 на 6 марта 1953 года камера спала, а Василий Васильевич Парин не мог заснуть от какой-то очередной болезни — все они были больны, ведь тюремная камера — место, где и здоровый заболеет. И вот Василий Васильевич, мучившийся без сна, услышал в ночной тишине обрывки слов, звучавших по репродуктору на близлежащей улице: “...вождь мирового пролетариата... скорбь народов всего мира...” и т. д. Он догадался, в чем дело, и утром поспешил сообщить об этом Даниилу. Но как? Сказать в камере, где сидят несколько человек, в том числе и стукач, означало в лучшем случае карцер, а может, и второй срок. Василий Васильевич сообщил так: подошел к Даниилу, изобразил рукой усы и показал пальцем в пол. Даниил ахнул. Василий Васильевич повторил пантомиму. Потом, кажется, в 2 часа дня, по всему Советскому Союзу завыло все, что могло выть»543.

Среди осужденных на 25 лет нашлись коммунисты, зарыдавшие о «вожде народов». Но и они понимали, что надо ждать больших перемен. Отношение к заключенным не сразу, но стало помягче.

То, что переживал тогда Даниил Андреев, в «Розе Мира» превратилось в метаисторическую картину, написанную с босховским размахом. Смерть Сталина стала в ряд судьбоносных событий русской метаистории. В тюремных тетрадях есть запись: «Яр<освет> сражался с У<ицраором>: <18>55, <18>81, <1>904, <19>23, <19>33, <19>49, <19>53 (дважды)». Смерть деспота изображена им так, словно бы из тюремной камеры поэт воистину переносился туда, где шла битва нечеловеческих сил зла. В черновых записях к «Розе Мира» он набрасывает метаисторический портрет Сталина и ситуацию среди его присных:

«Ст<алин>.

Лицо. Голос.

1) Мучительство. 2) Путь к абс<олютной> тир<ании>. 3) Кесарское помешат<ельство>: кровопускание, мания преследов<ания>, самопрославление...»

«С<талин> вовсе не обл<адал> мистич<еской> слепотой. Материализм был лишь маской. Был момент (<19>51), когда он даже молился в великом ужасе: ему приоткрылась грядущ<ая> перспектива — вплоть до судьбы Антих<риста>. Но упорство и безум<ная> беспред<ельная> жажда власти превозмогли.

Он надеялся, что наука успеет дать ему физич<еское> бессмертие. А мечта была с детства. — Пав уже до Шим-бига, он, уже в клочкообразн<ом> теле, вырвался при помощи анг<елов> мрака. Он же еще был очень силен и страшен (окт<ябрь> 53). В битве с ним трое из бр<атьев> Синклит<а> были пленены и до сих пор находятся в задней темн<ице> Друккарга (в том числе Якубович-Мельшин)».

«С<талин> умер в результате обрыва канала инвольт<ации> во время поражения Ж<ругра> в битве с дем<иургом>. Это выглядело как удар. За время от уд<ара> до смерти М<аленков>, Б<ерия>, М<икоя>н (знал, но непосредственного участия не принимал) и Х<рущев> постарались, чтобы не выздор<овел>. Б<ерия> не оставил другого выхода, кроме переворота, п<отому> ч<то> был разоблачен. <...>

У него была тем<ная> миссия, но сознание плоское, как стол. На следств<ии> он разоблачил всех, это была его месть, а мстить он умел. Они сидели друг перед другом как оплеванные. Среди них нет никого, кто не знал бы преступ<лений> других. Пауки в банке».

Картина сложилась не сразу. Из официозных сообщений газет, наконец попавших в камеру, из ручейков слухов, бежавших отовсюду. Смерть человекоорудия демона государственности представлялась Даниилу Андрееву не обычной смертью старого и больного человека, а результатом действия метаисторических сил.

«В первых числах марта 1953 года произошел решительный поединок между Яросветом и Жругром. Канал инвольтации, соединявший существо уицраора с его человекоорудием, был перерезан во мгновение ока. <...> Это совершилось около двух часов ночи. Через полчаса его сознание угасло, но агония продолжалась, как известно, несколько дней. Урпарп подхватил оборванный конец канала инвольтации и пытался сам влить в погибавшего силу и сознание. Это не удалось — отчасти потому, что несколько человек, сновавших у смертного ложа, постарались, чтобы он не вернулся к жизни. Мотивы, руководившие этими людьми, были различны. Некоторые боялись, что, если он останется во главе государства, он развяжет войну, а война рисовалась им как великое бедствие для всех и смертельная опасность для Доктрины. Но был среди приближенных и тот, кто столько лет стоял у руля механизма безопасности; он знал, что вождь уже наметил его как очередную жертву, очередную подачку глухо ропщущему народу; на него должна была быть возложена в глазах масс вся ответственность за миллионы невинно погибших. <...>

Наконец великая минута настала: Сталин испустил дух.

От этого удара дрогнула Гашшарва. Друккарг огласился воплями ужаса и гнева. Жругр взвыл от ярости и боли. Полчища демонов взмыли из глубин в верхние слои инфракосмоса, стараясь затормозить падение умершего в пучину магм.

Горестное беснование передалось в Энроф. Похороны вождя, вернее, перенос его тела в мавзолей, превратились в идиотическое столпотворение. Морок его имени и его дел был так велик, что сотни тысяч людей восприняли его смерть как несчастие. Даже в тюремных камерах некоторые плакали о том, что же теперь будет».

Начинали веять иные времена. 26 июня арестовали Лаврентия Берию, 23 декабря казнили. Уже с августа 1953-го заключенным разрешили писать по письму в месяц. 1 сентября отменили ОСО. Начались первые освобождения невинно осужденных.

События 1953 года в снобдениях Андреева превращались в эпизоды схваток на изнанке мира, где решались исторические судьбы. 22 октября он записал:

«Раругги совсем сбесились. Буйствуют. Окружили капище, не дают игвам входа. Свергли статую. Игвы не хотят в<ойны>... Раругги способны на мас<совое> самоуб<ийство> в случае, если шансов на миров<ую> победу не останется.

Хр<ущев> много дней не вых<одил> из дому; страх. Но должен быть скоро на засед<ании> пр<езидиума> ЦК. Там будет буря, неизвестно чем кончится...» В «Розе Мира» Андреев объяснял эти события тем, что «демонический разум» отказался от идеи третьей мировой войны, схватка кончилась победой умеренных. А «нежестокий от природы характер» Хрущева «оставлял в существе его как бы ряд щелей, сквозь которые могла простроиться <...> инвольтация светлых начал».

Перемены сразу отозвались в лагерях и тюрьмах. 29 октября 1953 года вернулся домой Василий Васильевич Парин, которому покойный правитель отказывал в доверии. Раков 25 ноября написал заявление в Президиум ЦК КПСС. Он писал об абсурдности обвинений и просил о встрече с работником ЦК как бывший член партии, чтобы рассказать о своем «деле». «Только очень прошу, — писал Раков, — не вызывать меня на Лубянку или в Лефортово, не возвращать (уже третий раз в жизни) к пытке следствия». Но ответа не получил.

С ноября энергичные хлопоты за дочь начал Александр Петрович Бружес.

11. Право на переписку

Юлия Гавриловна, всегда взвинченная, живущая в кольце страхов, пляшущих вокруг нее ночными тенями, что было, по словам дочери, ее естественным состоянием, при всей неутомимости в служении семье втягивала близких в свое мучительное нервное поле. На просьбы зятя сообщить адрес жены отвечала резко: «Повторяю, что я не знаю, имею ли право на это, и у меня нет решимости идти спрашивать об этом. Очень я потрясена страшным ударом до сих пор и, по-видимому, навсегда»544. Андреев обращался к ней сдержанно, обдуманно, тем более что мог писать лишь два небольших письма в год. В апреле 1952 года Андреев благодарил тещу за ежемесячно присылаемые 50 рублей. Совсем небольшая сумма в тюрьме, где всё — не только деньги — измерялось совсем иными масштабами, чем на воле, существенно улучшала жизнь. «С сентября прошлого года до 1 апр<еля> мною было получено от вас 350 руб<лей>... — отчитывался он. — Здоровье мое по-прежнему. В последнее время очень мучаюсь с зубами.

Следующее письмо Вам надеюсь послать в марте и<ли> апреле 1953 г.»[545].

Она отвечала немногословно и определенно: «Подумайте серьезно, очень серьезно о моем отказе дать вам адрес дочки»[546]. А дочери 5 марта 1953-го писала: «Даня жив и здоров, я ему посылаю деньги, так же, как и тебе, и такую же сумму. Относительно его адреса, тебе не сообщаю не только потому, что ты нам перестанешь писать, а потому, что не знаю, могу я это сделать или нет...» И 7 мая: «Сегодня я написала Дане о том, что ты жива-здорова и больше ничего, так-то вот, моя ненаглядная...»

Та все понимала, ища слова утешения родителям, но тон утешений, как ей свойственно, энергично наступательный:

«Любимые мои, мои хорошие!

Какие же мне найти слова, чтобы успокоить вас хоть немножко? Правда же, я не обманываю вас: я здорова, спокойна, весела, я умею всегда найти смысл и радость в жизни, во всем, что мне приходится переживать, а это — самое главное. <...>

Моя судьба закрыла вам весь свет в окошке, но даже ее — эту судьбу, вы не имеете возможности правильно оценить. Берегите же себя, любимые, вы должны иметь для себя какую-то точку опоры, вы должны хранить и беречь себя, мы увидимся, мы будем вместе, мы с Даником сумеем хоть немножечко заплатить вам за все страшное, что вы из-за нас перенесли и переносите, и за всю вашу заботу о нас, мои бедненькие, мои ненаглядные! Я очень плохо пишу, мне слов не хватает, поймите.

Если б вы знали, как я благодарна вам за помощь ему! Я не смела просить вас об этом, но меня день и ночь мучило, как он живет. Вы не имеете никакого представления о том, какое это имеет значение.

Как вы могли думать, что я, узнав его адрес, перестану вам писать? Я всегда была очень плохая по отношению к вам, но все же не настолько! Мой Даник лучше всех поймет, что, пока положение с письмами таково, как сейчас, я буду писать вам, но ведь все, что я пишу вам, интересно и важно и для него, потому что это моя жизнь, поэтому надо мое письмо, прочтя, послать ему. Его я тоже прошу писать только вам, наши адреса могут измениться, а ваши письма я всегда получаю очень аккуратно, только ради Бога не забывайте надписывать обратный адрес. Милые, я понимаю ваш страх и вашу осторожность, но не слишком ли это теперь, в этом вопросе? Вы никогда не имели никакого отношения к нашему, с позволения сказать, “делу”, а помочь двум любящим людям через столько лет немножко знать друг о друге — никаким законом, по-моему, не запрещается».

Письмо родителям переходило в письмо мужу:

«Даник, мой любимый! Я столько лет ждала твоего письма, и дождалась, и увидела тебя именно таким, каким все время молилась, чтобы ты был. Будь спокоен, я прошла трудный и сложный путь, и сейчас я тоже такая, какой ты меня хочешь видеть, мечтая обо мне,

я это знаю. Я не хочу сейчас вспоминать плохое, что я сделала на своем пути — я за него платила, плачу́, и буду платить, и тебя прошу: не мучай себя воспоминанием о твоем, никогда не существовавшем, невнимании ко мне — для меня наша с тобой прошедшая жизнь не имеет ни одного темного пятна. Как бы я хотела Дюканушке и маме передать нашу с тобой глубокую веру и душевные силы!»

И опять к родителям: «Солнышки мои, любимые, ненаглядные, я всегда с вами, и я гораздо лучше, чем была прежде! Жизнь моя, хоть мамочка и не верит, все-таки спокойна...» Она писала о том, как замечательно живется ей в лагере: «Работаю, читаю, вышиваю (декоративных птиц на сером холсте), немножко играю на рояле, аккомпанирую, оформляю. “Театральные” дела немножко застопорились, потому что больше нет режиссера, но художественное чтение не брошу, тем более что оно для меня труднее, чем любая роль, значит, надо это одолеть. У нас много очень красивых цветов, и я немножечко вожусь с ними — это тоже радость. Ненаглядные, можно жить в Москве, нарядной и веселой, и меньше чувствовать глубину и смысл жизни, чем иногда здесь. Даня это знает, потому что идет той же дорогой, а вы уж поверьте на слово...»[547]

1953 год — год перемен, и после смерти Сталина самым важным событием для Андреева стала переписка с женой. Ее адрес в конце концов он узнал сам и первое письмо написал 21 июня 1953 года, еще не получив от нее ни строчки:

«Бесценная моя, ненаглядная девочка!

С трудом могу представить, что в ответ на это письмо придут строки, написанные твоей рукой, и я буду читать их наяву, а не в бесконечных, бесчисленных снах о тебе. Боль за тебя — самая тяжкая из мук, мной испытанных в жизни, — вряд ли нужно говорить об этом, ты знаешь сама. В каких ты находишься условиях и в чем черпаешь силы — эта мысль без конца гложет и сознание, и душу, и в этом смысле каждый день имеет свою долю терзаний. Семь лет я думал, что моя любовь к тебе велика и светла. Но каким бледным призраком представляется она по сравнению с тем, что теперь! Если бы тогда она была такой как теперь — не знаю, смог ли бы я уберечь тебя от страшных ударов — в этом было слишком много независимого от моей воли — но, во всяком случае, наша совместная жизнь была бы другой. Каждый вечер после 10 часов я мысленно беседую с тобой или вспоминаю наше общее. <...> Что касается здоровья, то для правильной оценки нужно было бы очутиться в прежних условиях и сравнить; а без этого могу сказать следующее. — Еще с Москвы хожу без палки. Могу пройти час, но после этого отдохнуть. Впрочем, в легкой обуви или босиком, как любил я гулять в деревне во дни оны — мог бы пройти и больше. <...>

Почти каждый день отдыхаю за шахматами или просто за болтовней; как это ни странно, понемногу научаюсь вновь шутить, говорить глупости и иногда даже смеяться. Вообще стараюсь не терять бодрости;

чувствую еще огромный запас внутренних сил и энергии; острота, глубина и даже — как это ни парадоксально — свежесть восприятия возросли.

<...> Господь с тобой, обнимаю и целую тебя несчетное число раз и молюсь за тебя постоянно. Главное, самое главное — старайся не падать духом. Чувствую, что не сумел выразить самого главного, но оно вообще невозможно в словах!

Твой Даниил».

Приписка: «То, что любовь вечна — совсем не “слова”».

Следующее письмо жене по тюремным правилам он мог написать в феврале или марте следующего года. Но ответ получил еще позднее, через восемь месяцев.

12. Великие братья

Лето 1953 года стало завершением некоего этапа. Закончены две поэмы — долго не отпускавший «Ленинградский Апокалипсис» и «Рух». В главном, хотя и предполагалась еще не одна глава, сложились «Русские боги». Но метаисторический трактат о Розе Мира писался то продвигаясь вперед, то стопорясь. Он все еще не уверен — открылись ли «духовные органы», сопричастен ли он «космическому сознанию»?

«Открытие дух<овных> орг<анов> состоит в обнаружении способности лицезреть и беседовать, не забывая. Потом — странствие, вместе с телом, кот<орое> в это время становится иным, — записывал он. — <...> Мой даймон здесь, они его видят, но я только потом. В сквере у хр<ама> Христа (<19>21) было его первое вторжение. Практич<еские> способн<ости> и знан<ия> придут...»

Состояния «снобдений» в тюремных стенах не что-то совсем необычное. В тюрьме их испытывал не только Андреев. Шульгин записями снов заполнил около сотни тетрадей. В ночь на 5 марта 1953-го ему, например, приснилось, что «пал великолепный конь, пал на задние ноги, опираясь передними о землю, которую он залил кровью»[548].

Шульгин и всегда-то был склонен к мистике, но тюрьма болезненно обостряла психику, прислушивание к себе.

Осенью 1953-го перед Андреевым открылось необычайное, то, чего он ждал всю жизнь, хотя подобные состояния, пусть в меньшей степени, испытывал с 1950 года. Позже в дневниковых записях (7 февраля 1954 года) он попытался зафиксировать и оценить случившееся:

«Октябрь и особенно ноябрь прошлого года был необычайным, беспрецедентным временем в моей жизни. Но что происходило тогда: откровение? наваждение? безумие? Грандиозность открывшейся мировой панорамы, без сравнения, превосходила возможности не только моего сознания, но, думаю, и подсознания. Но панорама эта включала перспективу последних веков и в следующей эпохе отводила мне роль, несообразную абсолютно ни с моими данными, ни даже с какими-либо потенциями. Со стороны могло бы показаться, что здесь налицо mania

grandiosa в сочетании с религиозн<ой> манией; но с этим не вязалось как будто бы два факта: то, что я не мог до конца поверить (а страдающие mania grandiosa непреложно верят) внушаемому мне представлению и колоссальности моего значения, и все-таки то, что истинность этого значения подтвердилась бы только в том случае, если бы подтвердился целый ряд прогнозов и общего, и личного характера. Должно пройти много месяцев, пожалуй, даже год, чтобы стало возможным судить об этом. Некоторые мелочи отчасти, правда, уже выяснились, но подтвердились зато и некоторые мелкие предсказания. Все это сопровождалось потрясающими переживаниями, ощущением реальной близости великих братьев из Синклита России. <...>

Этот период оборвался вместе с переводом в другую кам<еру>. Декабрь я был поглощен работой над трактатом, отчасти в него вошел и материал, почерпнутый в ноябре м<еся>це».

Он чуть ли не дословно повторил в «Розе Мира» эту запись. Великие братья из Синклита России, с благоговением и опаской не названные по имени, те, кто сопровождал его всю жизнь, чье присутствие он ощущал всегда. «Видел ли я их самих во время этих встреч? Нет. Разговаривали ли они со мной? Да. Слышал ли я их слова? И да, и нет. Я слышал, но не физическим слухом. Как будто они говорили откуда-то из глубины моего сердца» — так он определил эти встречи-видения. Первый, им встреченный, конечно, Серафим Саровский, чья иконка всегда находилась при нем: на фронте в кармане гимнастерки и здесь, в тюрьме. Святой являлся ему однажды, в 1933-м, в церкви Святого Власия, и это видение он никогда не забывал. Три других — можно предположить — Достоевский, Лермонтов и Владимир Соловьев.

Теперь, казалось ему, получили объяснение, сделались четче и понятней давние, редкие и обрывистые прорывы сознания.

Жене он писал: «Я лично встретил за эти годы и людей, с котор<ыми> роднила действительная внутр<енняя> близость, и таких, с которыми связывала просто горячая симпатия, уважение, общность некоторых интересов. Конечно, первых было мало (пожалуй, в сущности, один), а из остальных — каждый близок какой-нибудь стороной»549. Он в каждого встречного всматривался с доверчивым интересом, а если встречал хоть малейшую духовную близость, то на все остальное мог и закрыть глаза. Но чувство глубинного одиночества, как ком к горлу, подступавшее в периоды депрессии, его не оставляло. А произошедшее осенью усилило нервное напряжение. Он ждал очередных озарений — они не приходили.

«А с нов<ого> года наступила реакция, — записывал Андреев 7 февраля в дневнике, начатом для того, чтобы выкрикнуть на бумаге мучившее на грани сумасшествия. — Увеличивающаяся тягостность состояния коренится в следующем. Внутренняя связь прервалась, и прервалась, очевидно, столь же неожиданно для той стороны, но и для меня: во всяком случае, я не был об этом предупрежден. Ночные “встречи” прекратились. Обещанное мне, томительно ожидавшееся

со дня на день открытие внутр<еннего> зрения и слуха, когда я не буду уже смутно ощущать, но увижу, услышу великих братьев духовными органами, буду беседовать с ними и они меня поведут в странствие по иным слоям планетарного космоса — это открытие до сих пор не состоялось. Для оправдания или опровержения внешних предсказанных сроков прошло слишком еще мало времени. Я вишу между небом и землей, не зная, что в происходящем со мной — истинно, что ложно, не понимая, как мне жить, что делать, к чему готовиться, *как* готовиться, да и готовиться ли вообще. Если весною не оправдается предсказанное, то в моих представлениях наступит настоящий хаос, т. к. я не буду знать твердо даже таких, основных для меня вещей, как создание Р<озы> М<ира>, ее историч<еской> роли, моя миссия, мое будущее, смысл моей литерат<урной> и религиозной деятельности; начатая раскрытием великая концепция останется лишь приоткрытой, совершенно недостаточно для проповедания — ни письменного, ни устного. Да и вообще опрокинется всё... Между тем я чувствую, что отречься от своей миссии я не могу и не захочу. <...> Давно, о, давно не было так тяжело. Страшна не внешняя тюрьма, а внутренняя, душевная: закрытость органов духовного восприятия, отсутствие связи с духов<ным> миром, жалкая ограниченность кругом сознания. <...> Великие братья Синклита, дайте знак! Не покидайте, я изнемог от сомнений, незнаний, блужданий и жажды. Поддержите на пути, на этом страшном отрезке пути — в двойном заключении. Отче Серафиме, открой мне духовные очи. Великие братья — Михаил, Николай и Федор, откройте мне духовный слух! Если правдой были слова, что “дверь не закрыта, а только прикрыта”: отчего же третий месяц очи не отверзаются? Великий брат Владимир, родной брат Александр, явитесь душе, дайте знак, дайте хоть какой-нибудь знак!»

«В первый раз за последние 20 лет появляется потребность вести записи, нечто вроде дневника, — писал он на следующий день, продолжая анализировать свое состояние. — Причины попытки: интенсивность внутр<енней> жизни в сочетании с абсолютным одиночеством. Кругом — 3 человека, но не с кем перекинуться простым словом. Празднословие окружающих <...> не удается прекратить хоть на мертвый час — о пытка! Одно из тягчайших мучений тюрьмы — отсутствие уединения. <...> Читать после 5 ч. дня почти невозможно из-за недостатка света; внутренно изолироваться для занятий или просто для размышлений, даже хотя бы для мило-беспредметных мечтаний, невозможно, когда над ухом 3 человека трещат в полный голос то о проблемах бумажной промышленности, то о тюремных девушках — раздатчицах пищи, которых мы видим иногда через кормушку, то, еще хуже, о посылках или о болезнях — полунастоящих, полувыдуманных. <...> Сейчас мои трудности усугубляются двумя обстоятельствами: во-первых, кончается творческий период, начавшийся с <19>49 г.; я выдохся и даже кончить “Рус<ские> боги” не могу. Возможно, идет

конденсация с Бустрича, а это вызывает страшнейшее напряжение и тревогу».

Бустрич — четвертый слой нисходящих миров, там происходит гниение заживо узников, находящихся в духовной летаргии, их мучает неодолимое отвращение к самим себе. Надвигался очередной приступ депрессии, настигавшей его почти ежегодно. Депрессии мучили и его отца, наверное, это было наследственным...

В тот же день пришло письмо от Юлии Гавриловны, сообщавшей о начавшихся хлопотах о дочери и требовавшей, чтобы и он начал писать жалобы о пересмотре дела.

«Вчера положение осложнилось письмом, — записал Андреев 9 февраля 1954 года, — составленным в весьма сильных выражениях. То, чего она хочет и требует, идет настолько вразрез с моими желаниями и намерениями, настолько противоречит личным моим “установкам”, насущно мне необходимым в интересах “Р<озы> М<ира>”, что я не стал бы и задумываться над этим письмом, если бы не призыв к моей совести: ведь страдал, мол, не один я, но жизнь ломается у ряда людей...

Она и он, несомненно, единственные люди, имеющие внутр<еннее> право, настолько сильное и бесспорное, что я не могу просто пройти мимо... В конце концов, многое, если не всё, зависит от дальнейшего хода вещей на протяжении ближайшего месяца. До 10 марта не буду предпринимать ничего. <...> Ах, если бы уцелеть всему или “С<транникам> Н<очи>”!»

Следующая запись —18 апреля, в Вербное воскресенье:

«Вчера пришлось оборвать работу над трактатом: выдохся. Сделано, правда, много, но 99 шансов за то, что всё это погибнет. Теперь буду учить наизусть “Ж<елезную> М<истерию>” и остальное. Депрессия разбушевалась. Этому способствует окружение. Это такие утилитары, такие материалистически-самодовольные тупицы, такие удушливо-приземистые житейские умы, что я задыхаюсь, как в могиле. За все 5½ лет здесь ни разу еще не оказывался на такой длительный срок в таком вопиющем одиночестве. Да и очень уж страдает самолюбие. Ежеминутно. Иногда по ночам, при воспоминании о прошлом, видишь свою глупость в тысяче мелочей: именно глупость и самую обыкновенную глупость. Ну а что как в большом я ее просто не вижу, а со стороны она так же ясна? В житейском отношении я глуп бесспорно. И это несмотря на всю грандиозность “Русских богов”, “Ст<ранников> ночи” и т. д.».

Эти самоуничижительные признания заставляют вспомнить Александра Блока, говорившего о себе: «Я человек среднего ума», а в январе 1918 года записавшего: «Сегодня я — гений».

ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ

СКВОЗЬ ТЮРЕМНЫЕ СТЕНЫ. 1954—1957

1. Ход вещей

Надежды на ход вещей отчасти оправдывались. Улучшался режим: прогулки стали проходить в одно время, а раньше, рассказывал номерной узник Меньшагин, могли вызвать гулять и ночью. В 1954-м сняли намордники, непрозрачные стекла в окнах щедрее стали процеживать дневной свет, а иногда удавалось глянуть в открытую форточку.
В том же году, в сентябре, полосатую тюремную одежду сменили на темно-синюю, выдали брюки и куртки.

2 мая Раков написал новое заявление, на имя Ворошилова, председателя Верховного Совета, а 15-го его неожиданно выпустили. Перед освобождением он увлеченно писал «Письма о Гоголе», так и оставшиеся недописанными. Получил свободу Павел Кутепов, сын генерала.

19 мая 1954 года был определен порядок пересмотра приговоров осужденным по политическим делам. Осужденные тройками ОСО освобождались из лагерей. Справедливость торжествовала, но выборочно, частично и неспешно. Система, приученная сажать и карать, отступила недалеко. Подельники Даниила Андреева тоже стали взывать к справедливости. Шелякин, отбывавший срок в Минеральном лагере, в мае 1954-го в заявлении генеральному прокурору писал: «В романе Андреева один из персонажей обрисован автором как террорист, а стало быть, и меня, выслушавшего эту главу романа из уст автора, следователь считал соучастником этого персонажа». Получивший 25 лет за то, что оказался «соучастником персонажа», Шелякин просил «проверить фактический материал, по которому вынесено столь суровое решение»550. Проверять прокуроры не спешили.

В начале лета во Владимирской тюрьме появились признанные организаторами участники мятежа в Горлаге — Норильском лагере. Один из пятерых — Петр Власович Николайчук551, за участие в восстании получивший десять лет, попал в 23-ю камеру, где сидел Андреев. Он всегда тянулся к людям действия и с прямым, сдержанным Николайчуком подружился.

В тюрьме самое пустяковое послабление улучшает существование, любая мелочь может стать событием. Для Андреева главные события — путешествия сознания, выходы из-под тюремных сводов в «моря души». Но это — ночное, потаенное, а режимные дни наполняло житейское. Переписка с женой гасила тоску одиночества, прибавляла света. Она писала: «Мои воспоминания о нашей прежней жизни — безоблачны, и я всегда чувствую тебя как свою защиту, покой и опору. Боюсь только, что мы были виноваты тем, что слишком сильно друг друга любили, слишком эгоистично. Мне кажется, что сейчас я люблю тебя умнее, лучше и еще сильнее»552.

«Нечего говорить о той боли, с которой переживал все, на тебя обрушившееся, — ты сама это знаешь, а в словах все равно не выразить. Но незыблемая вера в тебя была и моей точкой опоры. А вот что до сих

пор не дает мне покоя, так это мысль о запасе твоих чисто физических сил, о твоем здоровье. Об этой стороне жизни ты почти совсем не пишешь, и, надо сказать, это мало способствует успокоению. Прошу тебя, мой зелененький ракитовый листик, не избегай в будущем этой темы...» — отвечал он жене, требуя подробностей, интересуясь всем в ее жизни, сообщая о своей: «15 мая у меня был праздник, — я получил от мамы великолепный, на 33 тысячи слов, хинди-русский словарь. Я прыгал от восторга, как безумный, бросил все другие занятия и полтора месяца не поднимаю головы от этого кладезя премудрости. Ты понимаешь, что занятия никаким другим языком не могут доставить столько наслаждения, да и не могут идти такими темпами. За это время я, во-первых, освоился с транскрипцией, — а она, мягко выражаясь, достаточно причудлива. <...> Во-вторых, я выписал свыше 2 тыс<яч> слов, кот<орые> надо выучить в первую очередь, и зубрю их. В-третьих, начал знакомиться с кратким грамматическим очерком, приложенным к словарю»553.

Только в тюрьме можно с детской безоглядностью взяться изучать хинди по словарю. И только при андреевской любви к Индии. Уже осенью он шутливо обращался к жене: «Моя *прия* (что значит по-индусски любимая), *ри*(удар!)*и* (милая), *ляллии* (девочка, дочурка)!» И объяснял: «Мне кажется, что изучение хинди — лучшее, что сейчас я могу делать. Ты же видишь из газет, какими темпами и как широко протекает культурное сближение с Индией (я готов лезть на стену, что не вижу индийских фильмов!). С хинди переводятся сотни художеств<енных> произведений, в том числе и поэзия. И разве изучение этого языка не может, помимо всего прочего, принести конкретную практи<ческую> пользу? Но беда в том, что если даже я к моменту нашей встречи изучу язык настолько, чтобы потом осталось только углублять и шлифовать эти знания (что весьма сомнительно!) — то все же непонятно, как я смогу приложить эти знания в каком-нибудь райцентре, где нет даже издательств»554.

2. Депрессия

В жаркие дни он, солнцепоклонник, всегда чувствовал подъем, а этим июнем солнце прокалило прогулочный двор, заглядывало в камеру, согревая цементный пол. Летнее письмо заканчивалось преувеличенно бодро: «...питаюсь великолепно благодаря непрерывным заботам мамы, очень сильно загорел, любую жару и духоту переношу превосходно. Умств<енной> энергии — хоть отбавляй. Что же касается физ<ических> сил, то об этом трудно сказать что-нибудь»555. На самом деле солнце светило над тюрьмой нечасто и на пятачке двора не торчало ни травинки. В другом письме: «Я даже верхушки деревьев вижу лишь по нескольку секунд издалека, несколько раз в году. Особенно мучительна эта тоска в летнее полугодие — доходит Бог знает до чего, до ночных плачей в подушку — признаюсь в этой слабости только тебе»556.

Но дождливой осенью ему стало худо. Он дотошно и тревожно расспрашивает о здоровье жену, заключая: «Хороши мы будем, если выйдем в жизнь неработоспособными инвалидами...» Беспокоясь о ней, он не скрывал свои хвори, обычные для большинства тюремных сидельцев, замечая, что они должны без прикрас знать состояние друг друга, чтобы правильнее представлять «реальное будущее». Свое состояние, бегло перечислив «мелочи», описал подробно: «Более или менее серьезных недомоганий у меня 3: радикулит, гастрит и маниакально-депрессивный психоз. В прошлом году радикулит вздумал выкидывать новые номера, возникали беспричинные острые боли то в икре, то в паху, и т. д. Кварц, соллюкс и еще кое-что загнали этого распоясавшегося хулигана обратно в его нору — в поясницу. С июля я чувствую себя в этом отношении даже лучше, чем в 46 году: могу пройти без всякой усталости 10—12 км (конечно, только босиком). <...> Благодаря замечательным посылкам я прибавил в весе и сейчас, несомненно, тяжелее, чем 8 лет назад. Между прочим, все это наталкивает меня на мысль, что в случае нашей жизни где-нибудь в районном центре хорошо было бы поступить на первых порах на должность почтальона.

Второе: гастрит. Этот сувенир судьба неожиданно преподнесла мне этим летом. <...> И, наконец, твой старый знакомый — ман<иакально>-депр<ессивный> психоз. У меня была депрессия в 50-м году, но в легкой форме; все обошлось без каких-либо специальных мер. В этом году вышло хуже. Сейчас я помещен в условия, которые, в смысле борьбы с депрессией и с учетом реальных возможностей, можно назвать идеальными. Кроме того, с нервно-психи<ческой> угнетенностью я борюсь испытанным способом, помогавшим мне во всех аналогичных случаях: физической системой, основанной на хождении босиком. Ты знаешь мое исконное, с раннего детства, инстинктивное отвращение к обуви и кое-какие навыки, которые я получил еще мальчишкой. И взрослым уже я ведь недаром столько тысяч, если не десятков тысяч, километров отстукал босыми пятками по Брянским лесам, Крыму, Украине и другим чудесным местам. Я ощущаю совершенно отчетливо, что поверхность земли отдает какое-то излучение, кот<орое> проникает через открытые подошвы в организм, оказывая на него, в особенности на нервную систему, благотворнейшее действие. <...> В помещении я уже давно обхожусь без обуви круглый год, радуясь бодрящей прохладе цементного пола (вместе с обувью расстался я и с гриппами, навещавшими меня раньше по 3—4 раза за зиму), а теперь хожу [на прогулки][557] только босиком и чувствую каждый раз такой прилив бодрости, энергии, жизнерадостности, что прямо-таки становлюсь другим человеком»[558].

В тюрьме за возможность «босикомохождения» пришлось бороться. Попав с депрессией в больничный корпус и получив запрещение

выходить на прогулки босым, он написал заявление начальнику тюрьмы. В нем заметно нервное состояние:

«Моя просьба к Вам... имеет необычный характер. Поэтому, чтобы быть правильно понятым, я вынужден подробно объяснить, в чем дело.

Моя жизнь сложилась таким образом, что и в детстве, и взрослым я привык очень много ходить босиком. Всегда страдал ощущением сухости кожи в подошвах, я всегда тяготился обувью и употреблял ее редко — либо в зимн<ие> морозы, либо в особых официальных случаях.

В тюрьме я круглый год хожу разутый в помещении, а летом и на прогулках.

В настоящее время я нахожусь в больничном корпусе в одиночке, куда помещен в связи... с рецидивом моего нервно-психического расстройства. Оно характеризуется угнетенным состоянием, отвращением к окруж<ающим>, боязнь шумов и т. п.

Еще задолго до тюрьмы я убедился, что хождение босым, в особенности в холодную погоду, действует на меня благоприятно — не только в смысле закалки организма, но и в смысле повышения общего жизненного тонуса. Теперь, после прогулки, я возвращаюсь в камеру буквально другим человеком, испытывая прилив бодрости и энергии, и могу после этого несколько часов нормально заниматься.

Однако сейчас это начало вызывать возражение со стороны некоторых корпусных на том основании, что время уже не летнее и приходится выходить на прогулку обутым.

А я уже не ребенок! В моем возрасте человеку свойственно самому разбираться в том, что вредно и что полезно для его здоровья.

Этот мелкий на первый взгляд вопрос имеет для меня огромное значение — и физическое, и психологическое, и нервное.

Обращаюсь к Вам с убедительной просьбой освободить меня от обуви, разрешить мне употреблять ее только тогда, когда я в ней чувствую нужду...»559

Босикомохождение казалось ему панацеей и, понятно, вошло, получив теоретическое обоснование, в учение «Розы Мира». Он обдумывал, как будет ходить босым по московским улицам, не смущая прохожих: ведь Москва не Мадрас, где босиком ходят почти все. Даже придумал для этого фасон костюма «вроде рясы». Надежды на пересмотр дела и свободу с каждым днем становились зримей, и в переписке они с женой все подробнее обсуждали будущее. Алла Александровна вынесла из месяцев следствия понимание роковой неизбежности случившегося с ними. «Я очень боюсь твоего чувства вины по отношению ко всем “нашим”, — признавалась она. — Я уже писала тебе, родной мой, что детей и слабоумных среди нас не было. Все, что произошло, совершенно логично и иначе не могло быть. Какой смысл обижаться на историю и искать виноватого в катастрофе, которой не могло не быть. Твоего же чувства виноватости перед “друзьями”

боюсь потому, что оно может помешать тебе здраво и спокойно обдумать будущую, может быть, даже наступающую, жизнь»560.

Но Андреев не хотел ни отмахиваться от друзей, ни отрекаться от вины перед попавшими в его «дело». «Мои отношения к прежним друзьям остались прежними, да и с чего бы они могли перемениться? — отвечал он. — Никто ни в чем передо мной не виноват. Другое дело, что я сам себе не прощу некоторых вещей никогда, как и всякий человек на моем месте хоть с миллиграммом совести. Все это думано и передумано 1000 раз. И хотя многие частности мне тут неясны и кое-что может проясниться лишь при личных встречах, но самый факт моей виновности перед некоторыми из них ясен как день. И если в будущем удастся встретиться с ними, и если они при этом, грубо говоря, не пошлют меня к черту — величайшее счастье заключалось бы в возможности им чем-ниб<удь> помочь...» Он считал, что виноват кругом, особенно перед родными. «Вот уж перед кем я виноват так, что и в 10 существованиях не искупишь», — восклицал он, говоря о двоюродном брате. И о Коваленских: «...перед Шурой и А<лександром> В<икторовичем> тоже хорош получился. Не представляю, каково теперь их отношение ко мне (если они живы) и захотят ли они от меня помощи хоть с горчичное зерно».

Он опасался забрезжившей свободы, не сулившей ни покоя, ни благополучия: «Что можно решить или даже хоть вообразить заранее? Слишком оторвались от действительности и слишком будут сужены наши собственные возможности. Боюсь, например, что в первый период не мы будем помогать старикам, а наоборот. И сколько я ни беснуюсь при такой мысли, простой здравый смысл подсказывает ее правоту. Когда оперимся — другое дело, но как и сколько времени будем оперяться? А ведь есть же у меня гордость, Алла, и, представляя себя в виде 50-летнего птенчика, которому сердобольные родичи суют в клюв поминутно по червяку, — откуда тут возьмешь энтузиазм, скажи, пожалуйста?»561

Он и сейчас зависел от родителей жены. «Огромное спасибо за чудные посылки и деньги, — благодарил Андреев тещу. — Но недавно я узнал вещь, кото<рая>привела меня в ужас. По-видимому, для отправки продуктовых посылок Вам приходится ездить в Лосиноостровск. Если это так, я прошу Вас *немедленно прекратить отправку продуктовых посылок*!!! Ведь ясно же как день, что при Вашем здоровье подобные поездки — просто самоубийство! И, главное, без всякой необходимости! Сахар я всегда могу купить здесь, часто бывают также масло и сыр.

После того, как я это узнал, мне никакие присланные продукты уже не полезут в горло»562.

Старики неутомимо хлопотали. Юлия Гавриловна писала дочери «сумбурные и отчаянные» письма, нервные послания зятю, настойчиво требуя подавать все новые заявления в инстанции. Он, уже отправивший заявление, по примеру Ракова, на имя Ворошилова, отвечал: «Второе

заявление я напишу, как вы советуете, на имя Предс<едателя> Сов<ета> министров; сделаю это после праздников. Думаю <...> что и без этого дело будет пересматриваться, — вопрос только во времени. Важно, мне кажется, другое, к чему этот пересмотр приведет: к немедленному освобождению (это, по-моему, сомнительно), к сокращению срока при условии пребывания в теперешних условиях или к сокращению сроков и <изменению> условий. Признаюсь, последняя возможность представляется мне мало привлекательной. До тех пор, пока я не смогу вернуться к норм<альной> жизни, мне решительно никуда отсюда не хотелось бы».

Он боялся не свободы, а лагеря. Там о писании не могло быть и речи. Не лучше казалась и ссылка, где выжить больному нелегко. Все это невозможно объяснить теще, думавшей только об освобождении дочери. Но старался быть готовым ко всему, даже к лагерю. На этот случай просил прислать некоторые вещи. «Дело в том, — писал он в том же письме, — что кое-какие состав<ные> части моего нехитрого ”имущества” не выдержали испытания временем. А именно — рубашки уже не подлежат никакой чинке. Кроме того, в случае переезда куда-либо, даже в случае перехода на несколько сот метров, я окажусь в безвыходном положении в смысле тары. Поэтому прошу Вас, если можете, выслать вот какие вещи:

1) пару каких-нибудь, самых простых сатиновых рубашек, например, — косовороток, все равно какого цвета, лишь бы дешевле.

2) Большой, крепкий мешок с пришитыми к нему лямками, наподобие рюкзака, но без металлич<еских> частей.

3) Пару маленьких мешочков — для сухарей, сахара и т. п.

4) Щетку — простую, возможно более крепкую и грубую.

Больше мне теперь ничего не надо. Излишек вещей только затруднил бы мое передвижение...»563

3. Письмо Маленкову

10 ноября 1954 года Андреев написал заявление на имя председателя Совета министров СССР Маленкова. «Изложил все значительно подробнее и, т<ак> сказать, многословнее, чем в 1-й раз, больше всего заботясь при том о точности и об абсолютной правдивости. И остался доволен»564, — сообщил он жене. Но «абсолютная правдивость» только осложнила освобождение и реабилитацию, за подобные заявления в стране, «где так вольно дышит человек», сажали. Андреев писал: «Мое враждебное отношение к советской системе имело в основе своей отрицание не столько экономической стороны этой системы, сколько политической и культурной. В частности, я не видел в нашей стране подлинных демократических свобод, и, увы, моя собственная судьба подтвердила это. Теперь, как и раньше, мое отношение к советской власти зависит от той степени свободы слова, печати, собраний, религиозной деятельности, какую советская власть осуществляет

фактически, не в декларациях, а на деле. Не убедившись еще в существовании в нашей стране подлинных, гарантированных демократических свобод, я и сейчас не могу встать на позицию полного и безоговорочного принятия советского строя»565.

В начале декабря, чувствуя, что депрессия проходит, Андреев успокаивал жену: «О здоровье моем ты волнуешься совершенно напрасно. Некоторое неважное состояние, продолжавшееся с мая до октября, окончательно прекратилось, голова еще вялая и пустая, но я стал несравнимо спокойнее». И все же он жил в нервном напряжении. Заявление Маленкову далось нелегко.

В декабре стало совсем плохо, оказалось — инфаркт. Из 49-й камеры 30 декабря его опять перевели в больничный корпус, в 52-ю. Здесь он встретил новый, 1955 год, отсюда писал жене:

«Родненький мой цветик, весенняя проталинка, мой ласковый летний ветерок! Снежок, тихо опускающийся на белую рождественскую землю! Случайные обстоятельства, по существу не имеющие значения, задержали мое письмо: не только с Нов<ым> годом, но даже с Сочельником поздравить тебя могу только теперь». Свою болезнь, чтобы не пугать жену, он скрыл, назвав «гриппиком», хотя и сообщал, что пишет письмо лежа, с усилием. Он писал о самом важном — «внешнее из этого письма изгоняется»:

«Мы не беседовали много лет. Письма — почти ничто, это клочки, лишенные связи. <...> Естественно, что многое в моем состоянии и взглядах кажется тебе странным, и ты склонна заполнять пустые промежутки представлениями о том Данииле, с которым была близка 8 лет тому назад. <...> То, что тебе кажется растерянностью перед жизнью, в действительности является законным беспокойством человека, не имеющего такой специальности, какая сейчас помогла бы ему жить. А незримое препятствие есть только одно, и называется оно моей личностью.

<...> Ты, например, пишешь: если мы выйдем с твердой и суровой установкой жить — мы жить будем. Да, но для меня и в 20-летнем возрасте, и в 50-летнем, и, если суждено дожить, в 70-летнем вовсе не всякие формы жизни имеют безусловную ценность и смысл. А только те, кот<орые> дают возможность прямо или косвенно работать в пользу того, что я считаю своим долгом, делом, смыслом, оправданием. <...> К тому же для меня совершенно неприемлемо представление о такой форме существования, где мне пришлось бы лгать перед самим собой или перед другими. Этого одного достаточно, чтобы я предпочел остаться там, где нахожусь (если бы это от меня зависело) еще ряд лет. Здесь я могу не лгать ни единым словом, ни единым движением. Здесь я могу не презирать себя. Я могу, хотя бы отчасти, делать то, для чего вообще живу. В борьбе же за прозябание я утрачу все это, хотя и приобрету такую великую радость, как жизнь с тобой. Пойми меня! Не осуждай меня! <...> Но жизнь не стоит на месте; я верю, что доживу

до дней, когда не нужно будет ни лжи, ни борьбы за прозябание. Я хотел бы, чтобы наши судьбы воссоединились именно в такие дни. Я хотел бы выйти под широкое небо и идти, куда ведет меня мое сердце, моя вера и мой талант».

В обсуждении практических сторон общего будущего он, верящий в правду всех сказок, оказался куда трезвее жены, считавшей себя очень рассудительной, и никаких иллюзий не питал. Она готова была ехать с ним куда угодно — в сибирскую тайгу или на целину, в казахстанские степи, а он возражал, объяснял, что там лишится «единственной возможности к подъему: возможности литерат<урной> работы, художественной или научно-популярной. <...> Конечно, и в степи можно быть почтальоном и с этим придется, б. м., примириться. Но — по собственному желанию? Зачем?». Она писала о своей мечте детства — о сцене! Он резонно отвечал: «Ты говоришь про мечты о новом театральном коллективе. Но, радость моя! Приходит моя очередь воззвать к реальному взгляду на вещи. Помню, в 44 году на фронте, в моем госпитале, несколько врачей мечтали после войны соединиться и работать в одном врачебном коллективе. А что получилось? Через два года они только с горькой улыбкой вспоминали о подобных планах, накрепко бросив якорь в разных городах и республиках. Тех, кто сейчас мечтает вместе с тобой, жизнь скоро разбросает по всей стране; и даже если двое-трое из вас окажутся вместе где-нибудь в Барабинской степи, неужели этого достаточно для создания собственного театра?»566

К началу февраля, приходя в себя после инфаркта, он постепенно возвратился к занятиям. Поддерживала необходимость завершить то, к чему, не сомневался, предназначен: принести весть о мирах Шаданакара. Но и совершавшееся рядом задевало. В письмах он с жаром обсуждал намерение жены читать с лагерной эстрады Щипачева — «олицетворение самой серой духовно-сытой посредственности», индийские фильмы, которых, увы, не мог видеть. «Зима у нас выдалась очень мягкая, — писал он с иронией. — Даже с оттепелями. Но оттепели посреди зимы, это, как говорится, “для бедных”. Теперь, кстати говоря, они уже в прошлом; мороз хватил с новой силой. Этого и следовало ожидать. Ты читала Эренбурга? Вещь посредственная, напрасно вокруг нее ломалось столько копьев. Но за одно ему честь и хвала: в его положении разглядеть в реальной жизни, а тем более — изобразить такие явления, как этот чудесный художник-пейзажист, верный самому себе и мужественно несущий крест своего творчества. О существовании таких феноменов огромное большинство и не подозревает.

А у меня полоса невезения. Не одно, так другое. Сейчас лежу с прострелом, пишу в самой нелепой позе, поэтому и каракули такие.

<...> За меня не беспокойся, все кончится хорошо, в этом я уверен. Но “хорошо кончится” — это не значит, что не будет больше никаких потрясений. Если бы планетарный космос не представлял собой систему разнозначных, разномерных миров, от Мировой Сальваттеры до

люциферического антикосмоса, и если бы путь монады не пронизывал их все выше и выше, до ступени демиургов галактик и еще выше, до самого Солнца Мира — тогда бы могло быть место отчаянью. Мною пережито в этом направлении за последние годы нечто огромное. И что составляет мою особенную радость, так это то, что я нашел для некоторых тем этого порядка форму выражения. Странную, ни с чем не схожую, но, кажется, бьющую в цель без промаха. Когда кончится бесплодный год, начавшийся прошлой весной, займусь окончательной обработкой»567.

Родители жены, слыша об амнистиях, о выходивших на свободу, продолжали отправлять заявления куда только можно, обивали доступные пороги. На активные действия они подвигали и зятя, после письма Маленкову в феврале обратившегося к Хрущеву. Жена писала ему о «деле»: «Оно пересматривается, очевидно, целиком, т. е. тебя касается так же, как меня. Если твои возможности писать официальные бумаги не ограничены, то учти следующее: наше дело пересматривает Главная военная прокуратура, главный военный прокурор генерал-майор Тарасов, очень большой смысл имеет писать в ЦК, там “нами” ведают: секретарь ЦК КПСС Суслов и в административном отделе ЦК — Дедов. Я сегодня написала маленькие заявления двум первым, на днях напишу третьему. Мало понимаю, почему ты писал именно Хрущеву, но и это неплохо»568. Особенно бодро был настроен тесть. Но Андреев в настоящую «оттепель» не верил и спрашивал: «Основаны ли оптимистические выводы А<лександра> П<етровича> на наблюдениях и соображениях общего порядка или же на последних сведениях?»
И сообщал: «Никакого ответа на мои заявления, посл<анные> в центр, я до сих пор не получил, даже не дано уведомления о судьбе самого заявления. А ведь прошло уже 4 месяца»569.

4. Хорошая полоса

Из больничного корпуса в 49-ю камеру он вернулся только 12 марта. В ней оказался и Зея Рахим, с которым они больше года находились в разных камерах. Здесь Андреев почувствовал себя гораздо лучше. В начале апреля писал жене: «У меня началась, очевидно, хорошая полоса. Здоров отлично. Во-вторых, кончился наконец период “бесплодия”, длившийся свыше года. Это стимулируется еще и тем, что теперь у меня на руках черновики, которые я не видел несколько лет и на 3/4 забыл. А в-третьих, — я встречаю к себе человеческое отношение, и сказалось оно, между прочим, и в том, что близкий человек, о кот<ором> я упоминал и общение с которым для меня очень важно и ценно, теперь со мной». Он даже сравнивает Рахима, открыто восторгавшегося его сочинениями и таинственно намекавшего, что он чуть ли не египетский принц, с сиятельным покровителем Вагнера: «В моей жизни он — отчасти — кто-то вроде Людвига Виттельсбаха».

Улучшение самочувствия Андреев приписывал терапии босикомохождения: «Исключая короткое время, когда я лежал из-за сердца или с прострелом, я всю зиму проходил босиком, хожу, конечно, и теперь, и только в сильные морозы надевал, на половину прогулочного времени, тапочки на босу ногу. Воздействие этого, в особенности хождения по свежему снегу, на здоровье совершенно поразительно». Он даже надеялся, что от босых прогулок «преодоляются и сердечные недуги». Стало писаться. «...Мне не хватает времени, — воодушевленно отчитывался жене. — Литерат<урные> занятия, хинди плюс прогулка, краткий отдых за шахматами — и дня уже нет. Еще 2—3 часа лежишь без сна, но и это время весьма продуктивно».

Хинди-русский словарь воскресил индусскую часть его души. Вдохновляло, что об Индии чаще и чаще писали советские газеты. Он просит родителей жены разыскать грамматику хинди и недавно изданные — «Историю Индии» Синкха и Банерджи и «Древнеиндийскую философию» Чаттерджи и Датта.

Оправившись от болезни и вновь взявшись за словарь, он обнаружил, что две трети слов забылись. «Это открытие привело меня в крайнее уныние», — сокрушался Андреев, но упорно продолжал занятия. Получив от тестя только что вышедшую «захватывающе интересную книгу» — «Введение в индийскую философию» Чаттержди и Датта, он делился с женой впечатлениями: «Она написана ясным, четким языком, объективна и очень обстоятельна. Я одолел пока введение, пробежал забавную систему чарваков — в стиле наивного материализма (схожую отчасти с эпикуреизмом, но более грубую) и проштудировал изумительную (особенно в отношении этики) философию джайнизма. <...> Теперь я перешел к философии буддизма. Всем этим я занимался раньше, в <19>30—<19>35 гг., но тогда я пользовался преимущественно работами по истории религий, а в таком сугубо философском разрезе сталкиваюсь с этим впервые. А впереди еще 6 ортодоксальных философских систем индуизма: йога, веданта и др. Представляешь, какое наслаждение!»[570]

Присылаемые книги, издававшиеся одна за другой в те годы сближения СССР и Индии, — «История Индии» Синкха и Банерджи, «Открытие Индии» Неру, рассказы Тагора, индийские народные сказки, «Дневники путешествия в Индию и Бирму» Минаева, репродукции с картин советских художников, посетивших Индию, по-детски его радовали. Запоем прочитав книгу Джавахарлала Неру, при всех несогласиях, оценил ее высоко: «Он <...> односторонен, рационалист, благоговеет перед научным методом, собственного мировоззрения у него так и не выработалось; но в каждой странице чувствуется огромная культура, широта и крупный масштаб личности. А главное — он прекрасный человек, гуманист в настоящем смысле слова, и заслуги его перед Индией колоссальны. Словом он владеет блестяще...»[571] «Представляешь “гамму моих ощущений”! — делился он

с женой. — Нет, у меня этот комплекс не ослаб, а углубился, хотя в текущий период центр тяжести моих интересов — в другом, в формировании кое-каких обобщений. От слепого поклонения Индии я далек, отдаю себе отчет в ее слабых и темных сторонах, а также в духовно-историч<еских> опасностях, кот<орые> ее подстерегают внутри нее самой. Но она мне интимно близка так, как ни одна страна — кроме, разумеется, России»572.

Неожиданное возвращение тетрадей, казалось навсегда изъятых при «шмоне», стало поводом для оптимизма. И он уверял жену: «В будущем году нашей жизни наступит резкий перелом»573. Ожили надежды, что рукопись романа уцелела. Он даже принялся обдумывать его новую редакцию, собираясь «ввести еще два лица и несколько глав». Но главным оставался трактат о Розе Мира.

5. Две поэмы

В октябрьском письме жене он отправил начало поэмы «Навна». Навна — имя Соборной Души российского сверхнарода. А в его концепции каждый сверхнарод имеет светлого Водителя-демиурга (у России это Яросвет) и светлую Соборную Душу. Она — одно из проявлений Вечно Женственного в историческом процессе. Имя Навна — условно. Но сама она, безусловно, реальна. Навна то, «что объединяет русских в единую нацию; то, что зовет и тянет отдельные русские души ввысь и ввысь; то, что овевает искусство России неповторимым благоуханием; то, что надстоит над чистейшими и высочайшими образами русских сказаний, литературы и музыки; то, что рождает в русских душах тоску о высоком, особенном, лишь России предназначенном долженствовании...». Навна — душа русского народа, томящаяся под властью деспотии, и будет освобождена, когда восторжествует Роза Мира. А пока она пленница в обиталище российского античеловечества. Ее освобождение — цель русской метаистории. Так Владимир Соловьев был озабочен, по словам Блока, делом «освобождения пленной Царевны, Мировой Души, страстно тоскующей в объятиях Хаоса...»574.

Поэма вначале именовалась сюитой. Музыкальное начало — в прихотливой строфике, интонации, в разработке темы. Умозрительное, по сути, понятие Соборной Души в поэме превращается в мифологический образ. Андреев следует Владимиру Соловьеву, прозревшему «нетленную порфиру». Соловьевское видение изображено в «Трех свиданиях» «в пурпуре небесного блистанья». И Навна возникает в слиянии сини небесной и синего простора глаз. Но Андреев не говорит о видениях, его умозрения соборности в поэтической плоти ожили в образах и представлениях о процессах метаистории.

Пришла пора дать имена явленому. В стихотворных изображениях миров просветлений условность чюрлёнисовских композиций (в них Андреев, кстати, находил намеки на трансфизическое) — звездные моря

и фонтаны поющих комет. Они исключают земные краски — небесное сияние слепит, уничтожает оттенки. Другое дело светлые стихиали. Арашамф — обиталище деревьев, веселая рать Ирудруны — с грозами, ливнями и ураганами. Нивенна — область духов снегов. Это стихи программные, сочиненные с целью изобразить обозначенные в атласе Розы Мира области иных измерений.

Темные миры всегда и у всех поэтов живописнее светлых, человеческий язык пригодней для их описания. У Данте ад зримее рая. По демоническим слоям и лабиринтам Андреев проходит многажды. Задумана и начата поэма в прозе «По ту сторону» («Изнанка мира»), написана поэма «У демонов возмездия». Изображения слоев мучилищ не повторяют друг друга. Мрачные подробности и жуткие детали каждого из слоев-ярусов ада сопровождают повествование о посмертных муках заслуженного чекиста, мечтавшего «блистать лампасом генерала».

Это не форма мести палачам: «Мой стих — о пряже тьмы и света / В узлах всемирного узла». Речь идет об узлах исторической народной кармы. Теперь одни бериевцы неожиданно оказались рядом со своими жертвами в централе, других, как раз руководителей андреевского террористического дела — Абакумова, Комарова, Леонова, арестованных еще при Сталине, расстреляли. Обвинялись они не в беззаконии и жестокости, а в том, что «смазывали» сигналы о террористической деятельности против руководителей партии и правительства. Известия об арестах и расстрелах чинов МГБ мгновенно долетали до зэков сквозь все затворы. Освобождение осужденных бериевскими преступниками, верилось, не за горами.

Но Андреев и о свободе думал исходя из миссии — дописать, донести весть. Получив уцелевшие черновики 1950 года, он завершал начатое, продолжал трактат, разворачивавшийся в учение о Розе Мира. Чувствовавшая его настроения сквозь тюремные стены и лагерную ограду жена волновалась: «...боюсь, что ты пишешь в Прокуратуру и дальше не то, что надо, а лирико-психологические поэмы, т. е. продолжаешь наше с тобой детское, чтоб не сказать больше, поведение 47—48 года. Я тебе уже писала: если в силу каких-то глубоких внутренних причин иначе не можешь — ничего не пиши, я одна буду писать»575.

Жена считала свое «мироотношение» реалистичнее. «Допускаю, — соглашался он. — Мое же — не реалистично, а реально. Это не игра словами. Верно, что я ошибался во времени, сроках и т. п. Вполне могу ошибаться теперь и вовсе не претендую на дар прорицаний. Я только уверен, что не ошибаюсь относительно духовной стороны некоторых явлений и процессов и в их направленности. Всякий специализируется на чем-нибудь, я — на метаистории. Все может сложиться даже совсем печально для нас, но это нисколько не поколеблет моего отношения к вещам, ибо оно основано не на том, хорошо нам с тобой или плохо, а на высшей объективной реальности»576.

Теперь он имел право на одно письмо ежемесячно, и в 1955-м писал жене неукоснительно в первых числах каждого месяца, пропустив лишь май и июль: отвечал ее родителям. Писал с черновиками: «Когда можешь писать так редко, а материала так много, черновики помогают сделать письмо более вместительным и толковым»577, — объяснял он. Счастье, что стало возможно пересылать стихи, и каждое письмо завершалось стихами, переписанными ровным убористым почерком. Он писал о мечтах, о том, как они будут «со временем читать по вечерам вслух, сидя на уютном диване, “Святые камни”, “Симфонию городского дня”, “Ленинградский Апокалипсис”, “Александра Благословенного”, “Гибель Грозного”, “По ту сторону” и многое, многое другое. Уверен, что тогда у нас хватит времени прочитать вслух и такую махину, как “Железная мистерия”, и даже “Розу Мира”»578.

Еще не все перечисленное завершено, но уже обдумано. Жена удивляется количеству написанного, а он сообщает: «Можно было бы прибавить “Святые камни”, “Сквозь природу”, и “Афродиту Всенародную”, “Яросвета”, большую симфонию о великом Смутном времени (новая форма, действительно имеющая много общего с музыкальной симфонией), “Миры просветления”, “Навну”, “У демонов возмездия” и мн<огое> другое»579. Они пишут друг другу о Достоевском и о второй части «Фауста» (его Андреев перечитывал в тюрьме дважды, в тюремной тетради переписан фрагмент «Пролога в небесах» в оригинале, а рядом подстрочный перевод), об архитектуре и балете.

Получая стихи, вначале немногие, жена, при всей ее чуткости, не зная стоящей за ними концепции, восприняла их не сразу. Смущали непонятные имена, терминология, сама поэтика, нагруженная новыми смыслами. Он пытался объяснять. «Ты — на мой взгляд — и права, и не права. Дело в том, что никому не приходит в голову требовать от математика, чтобы он ухитрялся теорию относительности или векториальный анализ излагать языком понятий, доступных школьнику V класса. В искусстве тоже есть свои векториальные анализы, и непонятно, почему об этом забывают. Выражение “кабинетная поэзия” — нарочито снижающее, вроде слова “боженька” с маленькой буквы. Ведь надо бы и II ч<асть> “Фауста” считать тогда кабинетной поэзией, а между тем кабинетного в ней не больше, чем в IX симфонии Бетховена, тоже остававшейся долгое время малодоступной. <...> Главное же, в данном случае налицо — задача беспрецедентная, и ее нужно представлять хотя бы в общих чертах, чтобы судить о допустимой степени упрощения, о праве на такое упрощение»580.

Получив начало «Навны», она спешит высказаться: «По звучанию и по своеобразию это — чудо. Просто великолепная и совершенно своя вещь. <...>А зачем и откуда взялись имена, которых ты знать не можешь, я не понимаю. И эти имена, а также строчки (плохо говорю, не строчки, а иначе надо сказать), как:

— То стихиали баюкали космос
Телесного слоя. —

звучат для меня доктором Штейнером.

И вот вся вещь для меня — смесь настоящего, огромного, недосягаемого искусства с совершенно сомнительными вещами»[581].

«О “Навне” подожди судить, — просил он. — Ведь это, с одной стороны — только начало, а с другой — само по себе, все в целом, является лишь серединой. Возможно, что относительно д-ра Штейнера ты останешься и в будущем при особом мнении, но дело в том, что к Штейнеру это не имеет никакого отношения, а имеет к некоторой концепции, лежащей под или за всеми текстами и постоянно проявляющейся в различных рядах слов и образов. Это не случайные ляпсусы, а штрихи системы. Именно в качестве штрихов, дополняя друг друга, они имеют свою raison d’être[582] и воспринимаются совсем иначе, чем взятые изолированно. Существует, как данность, некий новый жанр, называемый поэтическим ансамблем. <...> Что же до названий, то почему ты так уверенно пишешь, что я не могу их знать? А если я все-таки знаю? Представь — именно знаю, да притом еще много десятков, и не только названия, но и “ландшафты”, и смысл их, и звучание (там, где оно есть), и категории их обитателей, и многое другое. Я все твержу, а ты все не хочешь услышать: недаром же я пролежал, в общей сложности, 1500 ночей без сна. Мало ли какие бывали состояния»[583].

Он старается убедить, что за написанным не фантазии, а сокровенное знание.

Следующие главы «Русских богов» опять требовали пояснений: «Термины Шаданакар, Нэртис и мн<огие> другие — оттуда же, откуда так перепугавшие тебя Лиурна и Нивэнна. На протяжении ряда лет я воспринял их в определенных состояниях, кот<орые> со временем постараюсь пояснить тебе в разговоре, если Бог даст нам свидеться. А 242 — сумма всех слоев разных материальностей, с разным числом пространственных и временных координат; все вместе они составляют Шаданакар, т. е. систему различных материальностей планеты Земли. Такие системы наз<ываются> брамфатурами. Их — множества, т<ак> к<ак> брамфатуру имеют весьма многие звезды и планеты. Имеются мета-брамфатуры галактики, со многими сотнями и даже тысячами различных материальных планов. — Напр<имер>, одномерное дно Шаданакара представляет собой как бы линию, упирающуюся одним концом в звезду Антарес (α [альфа] Скорпиона), в кот<орой> скрещиваются одномерные миры всех брамфатур нашей галактики. Впрочем, такие жалкие обрывки огромной концепции вряд ли могут тебе что-нибудь дать»[584].

Обо всем в письмах не напишешь. Лето 1955-го оказалось плодоносным. Ожидания, что именно это лето станет очередным

рубежом прозрений, не вполне оправдались. «Но обогащение произошло огромное. Теперь лишь бы подольше тянулся период досуга да не мешали бы болезни. И дело будет в шляпе»585, — делился он с женой. Но после инфаркта состояния снобдений не возвращались.

6. Мучительные темы

В июне на свидание — они стали разрешены — приехала теща. На поездку она решилась ради хлопот по пересмотру «дела», беспокоясь, что зять пишет не те заявления и не туда. После тридцатиминутного свидания Юлия Гавриловна сообщила дочери о том, что он «очень худ», и потребовала: «Даня пусть никому не пишет». На тещу, а через нее на жену повлияли мнения выпущенного в июне 1955-го по указу об амнистии сокамерника — Александрова. Он, по словам Андреева, человек в некоторых отношениях редкий, но слишком самоуверенно толкует ему непонятное.

Жена прямо писала об «оторванности от жизни и о потере чувства реальности». Он отвечал: «Верно твое представление о моей оторванности только касательно некоторых практических деталей, но не общего и целого. Я читаю газеты, журналы, новые книги, иногда вижу новых людей, переписываюсь, и у меня на плечах все-таки есть голова. Не зная, на чем основаны, как на камне, мнения другого человека, не совпадающие с вашими мнениями, неправильно прибегать к самому примитивному объяснению: потерял-де чувство реальности. <...> В этой связи — и о том, как я писал заявления. Никаких поэм в прозе и никакой достоевщины. <...> Могу, впрочем, успокоить тебя тем, что вообще не собираюсь писать куда бы то ни было»586.

Его письма пестрят взволнованными расспросами о родных, друзьях, знакомых. В конце лета он посылает деньги, из тех, что получал от ее родителей, двоюродной сестре, к его огорчению, удалось послать только 80 рублей. До него дошли известия о ее болезни, и он спрашивает, «как она выглядит, чем ее лечат»587. Ответ жены, видевшей Александру Филипповну последний раз в 1951 году, не утешал: «Это не человек, а трагическая развалина — и физически, и душевно. <...> Недавно мне описывали ее внешность: угловатая, черная, очень странная фигура с потухшими глазами, похожая на Мефистофеля»588. Он упорно возражает жене, болезненно воспринимавшей любой укор подельников, просит узнать об Усовых, о матери Ивашева-Мусатова, о Волковой, об Угримовых. Спрашивает: «Скажи, между прочим, ты ничего не слыхала о Добровольском-Тришатове? Ему же 72 года; к тому же человек в полном смысле слова “ни сном, ни духом...”»589.

Волнуют его известия о Коваленском. Когда он узнает, что тот опубликовал в лагерной многотиражке два стихотворения, настоятельно просит прислать. Получив первое, огорчается: «Ну кто бы мог поверить, что автор когда-то обладал крупным талантом? <...> Ни единого свежего образа, ну хоть интересного ритмического хода, выразительного

звучания, яркой рифмы! Подобная халтура исчисляется сотнями тысяч... И это — автор таких шедевров!.. Очень жду второго, может быть, хоть в нем мелькнет хоть что-нибудь. Вот это так трагедия. А не кажется ли тебе, что спад начался уже очень давно, примерно в 43 году? Вспомни “Партизан”, “Дочь академика”... Даже последние главы “Корней” значительно уступали первым главам. Но, конечно, это могло быть временным явлением, если бы не последовавшая за этим катастрофа. Несчастье еще и в том, что он оказался в твоих условиях, а не в моих: мне представляется, что в твоих условиях гораздо труднее сохранить достоинство и просто самого себя»590.

Он считал, и небезосновательно, что тюрьма с нерушимыми стенами куда меньше лагеря покушается на внутреннюю свободу. Не всуе Варлам Шаламов, прошедший всеми зэковскими кругами, заявил: «Тюрьма — это свобода». Поверивший в брезжущее освобождение, Андреев его опасался, трезво оценивая свое нездоровье, предвидя бездомье и безденежье. «Начинает казаться, что наша с тобой встреча ближе, чем я раньше предполагал, — воодушевляет он жену. — ...Но при этом обозначаются некоторые такие сложности и трудности, перед которыми я останавливаюсь в полном недоумении: как же я должен себя вести и что делать. Ты, безусловно, некоторых из этих сложностей даже и не подозреваешь. Надо полагать, пенсия инвалидов Отечественной войны будет восстановлена...»591

Больное сердце давало о себе знать — стало трудно одолевать тюремные лестницы. Приходилось принимать нитроглицерин, несколько раз понадобились уколы камфары. «Вообще, пока я остаюсь на одном месте и без особых волнений, все идет отлично, — успокаивал он жену. — Усиленно работаю; много сделал за последние полгода. Душевное состояние довольно устойчиво и было бы еще лучше, если бы я мог быть уверен, что останусь здесь до весны. Ко всем переездам я испытываю глубокое отвращение, и прежде всего потому, что плохо представляю, как я с ним справлюсь. Ведь сейчас я не могу даже поднимать или носить собственного багажа, хотя он вовсе уж не так громоздок»592.

Юлия Гавриловна навещала его еще дважды — в августе и в октябре. Он ничем не мог отплатить ей за самоотверженную заботу. Семидесятилетняя старуха, бледная, вымотанная дорогой и поклажей, всяческими опасениями, жила, движима собственным пониманием должного. Он ее состояние понимал: «Держит себя в руках она очень хорошо, но, конечно, нельзя не видеть, что в сущности это — комок нервов, каждый из которых пронзительно кричит на свой лад»593. Она рассказала, что за могилами бабушки с матерью и Добровых, за которыми он просил присмотреть, ухаживает Митрофанов, передала от него посылку. Это растрогало, Владимира Павловича он привык считать холодным человеком. Узнал и о слухах, что Зея Рахим к нему подсажен, может погубить все старания добиться пересмотра дела.

Слухи оказались не последней причиной приезда тещи. Жену он уверял: «...ты сама, светик мой, знаешь, как легко возникает и как трудно затухает абсолютно ничем не заслуженная нехорошая молва о человеке». Писал, что «обязан своему другу такой огромной помощью», что если «благополучно переживет этот и еще 2—3 года», то в значительной мере благодаря Рахиму. А сплетня исходит от Александрова. «Сам по себе, он хороший, прекрасно ко мне относящийся, как и я к нему, человек, но сложный, болезненный, противоречивый и с огромным самолюбием. Плюс к тому — недоверчивость, подозрительность...»[594] Но похожее мнение о Рахиме высказывал и Парин, а позже выяснилось, что не он один.

7. «Железная мистерия»

Поздравляя в начале декабря жену с близившимся Новым годом, поскольку следующее письмо предназначалось теще, он предсказывал: «...радость моя, я абсолютно уверен в том, что в наступающем году мы увидимся, — а ты знаешь, я ведь не такой уж безоглядный оптимист. Может случиться так, что ты навестишь меня здесь...»[595]

Алла Александровна, в праве переписки не ограниченная, на каждое его письмо отвечала несколькими. В ноябре прислала свои фотографии. После восьмилетней разлуки они оживали под взглядом. В лагере разрешили фотографироваться, правда, без лагерных примет, в вольной одежде. Что ж, и зэчки хотели на снимках выглядеть понарядней. В тюрьме фотографироваться запрещалось, и он в ответ набросал словесный автопортрет, «дабы ты, — пояснял он жене, — через несколько месяцев при виде столь экстравагантной фигуры не издала легкого крика. Правда, ты увидишь ее в несколько смягченном, так сказать, виде; но все же... Итак, вообрази в стареньком лыжном, когда-то синем костюме длинную фигуру, худоба которой скрадывается множеством наверченных под костюмом шкур. Вечно зябнущая голова украшена либо темно-синим беретом, не без кокетства сдвинутым набекрень, либо полотенцем, повязанным á la bedouin[596]. Ввалившиеся щеки и опухшие веки доказывают, что их владельцу скоро стукнет полстолетия. Взгляд — мрачен, лоб — ясен. Однако воинственный нос свидетельствует, что немощна только плоть, дух же бодр. Ноги всегда босы, и местные жители созерцают уже без изумления, как внушительные ступни, как бы олицетворяя вызов законам природы, мерно вышагивают по снегу положенный им час»[597].

К концу зимы он выслал ей второй автопортрет: «Мою знаменитую шубу еще в прошлом году переделали: укоротили, сделали хлястик, и получилось нечто вроде полупальто. Очень легко и симпатично. А из отрезанной полы сделана шапка, вернее, шлем необычайного, мною самим изобретенного фасона, с мысиком на переносицу и с плотно прихватывающими уши прямоугольными выступами. Ничего более теплого и удобного я на голову никогда не надевал. К сожалению,

однако, я в ней почему-то делаюсь похож на “великого инквизитора”. А один человек прозвал меня “нибелунг-вегетарианец”»598.

Зимой навалилась депрессия. «Состояние “бездарности”, кот<орое> я вообще переношу с трудом, если только не нахожусь среди природы, сейчас окрашивает для меня почти все, — сетовал он. — ...Бесенок депрессии зудит, что, дескать, упадок не закономерен, т. к. наступил слишком скоро, что это — конец искусству, да и жизни вообще — и т. п.: хорошо знакомая тебе песня. <...> Восемь с ½ лет одних и тех же впечатлений вызывают все чаще мозговую тошноту. Но беда в том, что ее вызывает и многое другое, Даже, в каком-то смысле, моя излюбленная Индия. Фотография Тадж-Махала в газете привела меня в состояние, напоминающее чувства Адриана (герой «Странников ночи». — *Б. Р.*), когда он из трамвайного вагона поспешил, чуть не попав под грузовик, к разгуливавшему по тротуару парню. Фиолетовые круги, и все зазвенело каким-то тонким комариным гудом»599.

Имена героев «Странников ночи» давно стали для них шифром, непонятным для цензорских глаз. Себя Андреев в письмах называл Олегом — так звали одного из братьев Горбовых, поэта, в роковом романе.

В конце года в Дубровлаг перевели однокамерника Андреева — Николая Садовника. «Нельзя не уважать глубоко человека героического склада, абсолютной честности и к тому же обладающего удивительно нежной душой, обнаружения которой тем более трогательны, что обычно на виду — мужественная, грубоватая сила, кажущаяся совсем примитивной»600, — восхищенно писал о нем Андреев. С собой Садовник увез тетрадь стихов Даниила Андреева, тщательно, мелкими буковками переписанных. Тетрадка в клетку вместила семь глав «Русских богов». В начале января Садовник смог передать ее по назначению — жене поэта. Она отозвалась сразу: «Ни одного слова, кроме радости. Кажется, больше всего нравится “На перевозе”, потом “Шаданакар”, потом “Нэртис”, потом “Ливень”, но это — просто так, без причин»601.

В наступившем году Андреев занимался трактатом и завершением «Железной мистерии». 2 мая сообщил о ее окончании: «Сегодня кончил курс занятий, начатый еще в 50 г. Не станцевали буги-вуги или джигу только из-за сердца». К письму приложил вступление:

...И, не зная ни успокоенья, ни постоянства,
Странной лексики обращающаяся праща
Разбросает
добросозвучья
и диссонансы,
Непреклонною
диалектикой
скрежеща.

Оно написано «размером, никогда никем не употреблявшимся, читать надо медленно, плавно и широко, — пояснял он. — Размер этот — гипер-пеон»602.

Начатая вместе с «Розой Мира» мистерия изображала события русской метаистории XX века. Возрождение мистерии — сакрального жанра — одна из задач его «поэтической реформы». Мистерия, считал он, непременно расцветет в будущем и станет частью культа «Розы Мира». Уроки вагнеровской мистериальной драматургии, символических драм Ибсена, драматических поэм Блока для него подступы к новому жанру. Помнил он мистерию Коваленского — «Неопалимая Купина». И даже «Мистерию-буфф» Маяковского.

Метаисторическое действо, развернутое в двенадцати актах, стало не столько переосмыслением прошлого и настоящего, сколько пророчеством о событиях конца века. Исторические персонажи, чья энергия питается силами тьмы, в мистерии стали гротескно-символическими образами, олицетворяя тайную суть событий. А жертвенные герои сил света — праведники, проповедники, как и символический автогерой, поэт-вестник — носители высшей правды.

Необычность «Железной мистерии», мифологически преображающей историю, ее многоголосие требовали изощренной работы воображения. Первыми читателями стали громко восторгавшийся Зея Рахим и жена. Она не скрывала и критики. Автор встречал замечания с вниманием, но стоял на своем: «...не понимаю, за что ты могла ворчать под конец на “Мистерию”. Именно в конце... непостижимо. <...> Я не считаю, что “Мист<ерия>” кончена, вижу кучу недостатков, потребуется порядочное время на их устранение, но эти дефекты — не там»603.

8. Узлы прошлого

Состояние, о котором Андреев писал жене в начале декабря, к новому году ухудшилось. «Бо́льшую часть времени лежу, и не ради профилактики, а по необходимости. Три-четыре часа в день сидения за столом — это потолок моих возможностей. Нитроглицерин приходится глотать почти ежедневно, сейчас прохожу опять курс вливания глюкозы, но результатов пока не заметно. Голова, конечно, ясная, читать и заниматься могу, но ¼ часа походил по камере — и опять те боли, с которых год назад начался знаменитый приступ. <...> Все-таки лучше переждать еще 2—3 месяца и потом докуда-нибудь доехать, чем сорваться с места сейчас и не доехать нидокуда. Поэтому в затяжке решения прокуратуры есть, как ни странно, и своя хорошая сторона. Кроме того, самый факт затяжки является скорее хорошим, чем дурным признаком, так как отрицательные решения обычно выносятся быстро. <...> Подсосенский (переулок, где жили родители жены. — *Б. Р.*) не кажется мне пустой мечтой, а 101 км — тем более. Лично передо мной

маячит еще и другой вариант: инвалидный дом где-нибудь поблизости...»[604]

1956 год он встречал с Зеей Рахимом. «Я улегся, когда полагается, в расчете на то, что если я постоянно не сплю по полночи, то в новогоднюю ночь тем более не пропущу 12 ч. Боролся-боролся со сном и — задремал. А когда друг, услышав 12-часовые звуки, произнес поздравление, я, ничего не соображая, пробормотал почему-то “Спокойной ночи!”, только тогда понял, в чем дело, развеселился и потом не мог уснуть и в самом деле, думая о тебе и о всяких наших с тобой делах»[605], — элегично описывал он жене новогоднюю ночь. А в январе пришло решение по его заявлению. Выписка из протокола гласила: «Центральной комиссией статья УК 19-58-8 переквалифицирована на 7-58-8, наказание по статьям 17-58-8, 58-10 ч. 2, 58-11 оставлено прежнее — на срок 25 лет тюремного заключения».

«Это меня не очень взволновало, — утешал он жену, — хотя, конечно, можно было ожидать всего, чего угодно, кроме этого. Оно находится в плачевном противоречии с: 1) фактами, 2) здравым смыслом, 3) духом сегодняшнего дня — как я этот дух понимаю. Очевидно, под этими недолговечными “духами” лежат некие гораздо более устойчивые и живучие принципы. Очень тревожно за стариков, особенно за маму, как она это перенесет. Сама понимаешь, как напряженно жду известия от тебя — каково решение на твой счет, а также о других. Все же надеюсь, что к тебе проявят иное отношение. <...> У меня есть подозрение, что призрак Якиманки до сих пор оказывает свое влияние на наши судьбы»[606], — предположил он.

В особнячке на Якиманке жили его герои, измыслившие покушение на вождя. Но оказывается, — об этом Алла Александровна услышала в лагере, — что там, «точнее, кажется, на Ордынке», жил человек, похожий на организатора изображенной в романе группы. «А конец ясно какой — хуже нашего. И знаю я это от женщины, которая “по долгу службы” способствовала этому концу, а потом сама влипла».

Следователи, писала она мужу, «не могли не считать нас разветвлением, остатками и пр. этой очень большой группы. В их “здравые” мозги не укладывалось, что ты мог писать так похоже на то, что было в действительности, “из головы”»[607].

Александр Петрович в начале февраля спешно поехал на свидание к дочери: помочь написать новые заявления. Она сообщала мужу:

«Сочинили огромное заявление Булганину. Я напишу тебе основные тезисы этого грандиозного эпоса, чтобы ты имел представление о том, чего именно я прошу.

Так вот — самое основное, это — то, что я жаловалась на фальшивые, в условиях застенка полученные, протоколы, а за два года пересмотра нас не допросили ни разу (это могло быть сделано и на месте) и осудили вновь по тем же протоколам, сфабрикованным настоящими преступниками — Абакумовым, Комаровым, Леоновым. Теперь я

настаиваю именно на составлении новых, справедливых протоколов и на нормальном суде (а не всяких совещаниях). Что касается статей обвинения, то тут дело обстоит так: 8 должна быть абсолютно снята. По ней мы совершенно не виноваты, это все — чистое творчество Артемова, Леонова и пр. Я вообще ничего делать не собиралась, а все, что можно по этому поводу найти в твоих записках, относится к образам романа — такие люди должны были быть. П<ункт> 11 4 тоже незаконен, поскольку мы не представляли собой ничего организованного. Ну, а что касается 10 5, то он разделяется: часть была справедливой критикой и сейчас высказана ведущими лицами по радио и в газетах, часть, в том числе и основная линия романа, была вызвана ежовщиной (не было бы этих, осужденных Правительством, явлений, не было бы ни романа, ни большой части нашего недовольства). Если б меня спросили, как я расцениваю еще остающуюся часть 10 пункта, я бы ответила, что, пока существуют такие дела, как наше, и такие пересмотры — я имею право быть кое-чем недовольной. <...> Привожу два примера: как мы говорили Тане В<олковой>, что не поедем к ней на дачу, потому что там “неуютно”, а из этого сделали, что мы выспрашивали у нее местоположение и условия. А пример — как я под диктовку вписывала в протокол название, которого не знала (и сейчас не помню). <...> Я не знаю всего, что ты писал в 54 году, а кое-что, что знаю, напрасно написано — донкихотство...»608

«Что ж, мой друг, — отвечал он, — содержание твоего заявления очень близко совпадает с содержанием моего в ноябре 54 г. <...> Теперь я напишу еще обстоятельнее и сделаю все, что могу, чтобы по отношению к старикам было выполнено все, что в моих силах. <...> Так или иначе, мне в величайшей степени хотелось бы выйти и пожить с тобой хоть несколько месяцев. Заявление я напишу дней через 10—15: надо обдумать и выждать подходящего состояния. В Москву я ехать не могу, в особенности же не смогу вынести всех перипетий и режима преследствия и поэтому, ссылаясь на свое состояние, буду просить произвести мое дознание здесь»609.

18 февраля Андреев снова оказался в больничном корпусе, причем вместе с ухаживавшим за ним Рахимом. «Друг ухаживает за мной, как нянька. Он и сам, бедненький, совсем болен — сердце, ревматизм и общее истощение, но его отношение и забота тем трогательнее. <...> Двигаюсь очень мало, гуляю совсем редко (к великому сожалению). Принимаю всякие снадобья. Голова, однако, совершенно ясная, и занятий я не оставляю, хотя теперь их пришлось замедлить. Главное — не могу подолгу сидеть за столом. Вот и это письмо будет писаться из-за этого дня 3»610.

В марте жена написала о смерти Добровой, умершей 9 февраля от рака в лагерной больнице. Рядом с ней последние две недели провел муж.

«Вышло так, что, узнав о самом факте смерти Шуры, я 4 дня томился, не зная ничего о сопутствовавших ей обстоятельствах. Это было нелегко.

Но я как-то внутренне был подготовлен и почти ждал подобного известия. Слава Богу, что Биша был рядом, и что он находится именно в таком состоянии. Писем от него <...> я не получал и сомневаюсь, что получу. Поэтому — особое спасибо тебе за посредничество. Сейчас мне не хотелось бы касаться всех мучительных узлов прошлого...»611 — отвечал жене Андреев, хотевший удостовериться, что ни у Коваленского, ни у сестры по отношению к нему не осталось «никакого злого чувства».

Письма Коваленского, описывавшего болезнь и смерть любимой Каиньки, как он ее называл, с рвущими душу подробностями, со знаменательным, выраженным теми же словами определением выпавших испытаний — «развязывание узлов», Андреев получил позже. У постели умирающей жены, еще надеясь на чудо, Коваленский писал: «Не знаю, увидимся ли мы с Вами, вероятно — нет. Но я заверяю Вас самым определенным образом, что чувство, которое, естественно, было у меня в начале к Вам, — давно отошло. <...>

Сам я много поработал за эти годы в бухгалтерии и техчасти, очень много читал — была под рукой основательная философская библиотека. Но сейчас уже полтора года лежу в стационаре — несколько расшалился спонделит и постепенно развилась сильнейшая гипертония. <...>

Полтора года назад у нас было свидание: уже и тогда я понял, какой огромный путь пройден ей, особенно это усилилось за последний год — это был полный отказ от себя и полное всепрощение»612.

Одна из солагерниц вспоминала, как познакомилась с Добровой, восхитившей ее аристократической походкой: «Я увидела женщину, идущую по нашему лагерному тротуару. Вернее, она не шла, а плыла, выставляя прямую ногу на носок, незаметно плавно перенося все тело...» Как-то Александра Филипповна прочла блоковское:

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет...

На восхищение слушательницы: «Изумительно» — она произнесла: «Не изумительно, а ужасно...»613 Четвертью века исчислялся ее лагерный срок, исхода она не видела. Блок сказал обо всем в ее жизни.

«...Я совершенно уверен, — писал Коваленский, — что, кроме тепла, у нее не осталось к Вам другого чувства. Во всем случившемся она видела именно развязывание узлов, завязанных нами самими и ей в том числе — но как и почему, я говорить сейчас, конечно, не в состоянии...»

Для Коваленского жена была буквально воплощенным идеалом. В одну из ночей у ее постели он услышал потрясший его молитвенный вздох: «Господи, хоть бы еще немножечко... немножечко, но не как я хочу, а как Ты...» «Ну что же Вам сказать еще? — писал он в исповедально-трагическом письме. Его он просил не показывать никогда

и никому — «В нем вылилось слишком много личного». — Да, я видел то, что дается немногим. И под этим Светом меркнет все без исключения. Я не понимаю и, вероятно, никогда не пойму, почему именно мне, такому, как я был и есть, дан был такой неоценимый дар? И пока я пыжился что-то понять, читал, изучал, сочинял схемы, кропал стихи и прозу — она шла и шла по единственно прямой, кратчайшей дороге. И пришла туда, куда я не доползу без ее помощи и через 1000 лет. Но я знаю, я чувствую, что эта помощь есть...»614

Все, что писал Александр Викторович — о нем и о сестре Андреев не переставал думать все тюремные годы, — отзывалось тяжестью вины перед ними. Так он считал.

Сраженный смертью жены, Коваленский подал заявление в Зубово-Полянский дом инвалидов. Туда же определялся его свояк Добров. Дом, находившийся под присмотром МВД, сделался пристанищем больных и престарелых освобождающихся зэков Дубровлага, кому возвращаться было некуда.

9. Лето 1956-го

Новое заявление на имя Булганина Андреев отправил в начале апреля, требуя переследствия. В феврале прошел XX съезд КПСС, следом пленум с закрытым докладом Хрущева о «культе личности». Новая волна ожиданий прокатилась по лагерям и тюрьмам, а потом из «страдалищ», как они названы в «Розе Мира», стали выпускать тысячами. Пересмотр «дела» Даниила Андреева пока не подвигался, но в судьбе однодельцев начались перемены. Прежде всего выпускали тяжело или безнадежно больных, актировали. Так, в 1954-м актировали Добровольского. Перед самой смертью актировали жену Коваленского. Его самого как инвалида, «страдающего неизлечимым недугом», освободили 24 января 1956 года, затем Александра Доброва и его жену. Следом выпустили Ирину Арманд, Кемница, Ивановского, в мае — Татьяну Волкову. На свободу выходили измученные, больные, постаревшие.

2 апреля на свидание к зятю вновь приехала Юлия Гавриловна. На этот раз она привезла передачи от его друзей, и было радостно думать, что их отношение к нему осталось прежним. Это вселяло бодрость. А бодрости не хватало. Первые полгода после инфаркта казалось, что обошлось. Потом началось ухудшение. «Теперь в плохие дни (правильнее — недели) я принужден лежать, почти не вставая, — признавался он жене. — В хорошие — двигаться немного, причем подъем по лестницам и тогда остается для меня затруднительным, всякое поднятие тяжестей или физическое усилие — невозможным, а малейшее волнение вызывает перебои, боли и заставляет ложиться в постель с грелками спереди и сзади (наглотавшись, кроме того, нитроглицерина и пр.)». Требовалось спокойствие. Но его волновали и письма, и газеты. В мае в тюремном дворе установили громогласные репродукторы — веяние «оттепельного» времени. Радио, лишавшее тишины и

сосредоточенности, включавшееся в 6 утра и гремевшее до 12 ночи, стало пыткой. Он пробовал затыкать уши ватой, хлебными катышками. «Умирать я, дитя мое, не собираюсь, — утешал жену. — (Хотя и стараюсь быть к этому готовым.) Возможно, что в условиях идеальной безмятежности (не в городе) удалось бы проскрипеть еще несколько лет. Мне чрезвычайно улыбался бы инв<алидный> дом...»

Спасает его, считал Андреев, босикомохождение: «...если я стану обуваться — я умру»615. В Страстную неделю, начавшуюся 1 мая, он попытался бросить курить и какое-то время курил меньше — «5—6 сигарет в день (вместо 20—25)»616.

В тюрьме, несмотря на строгости режима, праздновали Пасху. В камеры, когда открывалась форточка, доносился звон колоколов. В Пасху Андреев всегда вспоминал дом, добровский праздничный стол и страшную Пасхальную неделю 1947-го. К Светлому воскресенью Юлия Гавриловна старалась подгадать посылку, прислать творожную пасху и кулич. Пасху 6 мая 1956-го запомнил сидевший в одиночке Меньшагин: «Я, как обычно, форточку не закрывал, слышу звон Успенского собора. И вдруг слышу — в камерах запели: “Христос воскресе!” Заключенные там были — женщины, какие-то старухи, вот они запели: “Христос воскресе!” Значит, ночью почти, первую половину ночи не спали. На другой день я посмотрел в окно, смотрю — эти украинки в хороших платьях (не так, как всегда) ходят. Я, значит, говорю: “Христос воскресе!” Значит, они мне запевали: “Воистину воскресе!” Руками стали махать. Потом посмотрел: Шульгин ходит и с ним грузин Бериашвили. Я, значит, опять сказал: “Христос воскресе!” А Шульгин снял шляпу: “Воистину воскресе!” — махает шляпой»617. Эта Пасха вселяла и земные надежды.

Аллу Александровну одолевали предчувствия. «Я, — писала она, поздравляя мужа с именинами, — ...опять видела во сне церковь, а это, кажется, плохо. Я их видела бесконечное количество за эти годы, и самых разных. А накануне переезда в Лефортово — слышала во сне “Величит душа моя Господа” и видела зажженные свечи. На этот раз, вероятно, от страшной нервной усталости, <...> я видела нечто совершенно фантастическое. Посредине Москвы возвышался Лондонский Тауэр, причем назывался он Вестминстерским аббатством»618.

Но времена, как сновидения, менялись. Отец писал ей, побывав в Военной прокуратуре: «Дочурочка, вот некоторые подробности вчерашнего приема у Терехова. Дело, верней, его пересмотр он назвал “безобразно затянувшимся”. <...> Длительность прохождения и все взлеты и провалы он объяснил крайней и (дал понять) нарочитой запутанностью дела, а также разношерстностью “однодельцев”: от полностью советских лиц до таких, антисоветские высказывания которых могли бы считаться основательно установленными. Но последнее усложнено тем, что ряд “высказываний” фиксированы лишь

на косвенных уликах в виде “свидетельских показаний”, многие из которых получены в, так сказать, особых условиях. <...> Второе затруднение заключается в том, что основной материал, роман Даниила, “не обнаружен, несмотря на длительные и основательные розыски”, и “по-видимому, действительно уничтожен по распоряжению Абакумова”, причем в деле имеются лишь выписки из романа, явно подобранные в нужном для обвинения характере.

Итак, все сводится к обвинению в “антисоветских высказываниях”, т. е. к п. 10-му.

Здесь мне было сказано, что “время играет в пользу вашей дочери”, т. к. ряд высказываний, которые еще несколько месяцев могли считаться антисоветскими, теперь таковыми не являются...»619

Она разгадывала путаные сны, а его живописные снобдения прекратились вовсе. Но работа над трактатом продолжалась. «Должен сказать, что сейчас я отчаянными усилиями заканчиваю курс своих занятий, потому что в новых условиях мне не удастся углубиться в них очень долго, м<ожет> б<ыть>, и никогда. К сожалению, дело осложняется опять-таки недостатком чисто физических сил (я не могу долго сидеть за столом) и, кроме того, ужасной духовной тупостью, апатией, которыми ознаменованы 2 последних месяца. Дело в том, что из-за сердца мне пришлось изменить повседневный ритм и отказаться от тех ночных бдений, кот<орые> являлись чем-то вроде моего духовного питания. Каждый вечер мне дается снотворное, благодаря которому я сплю подряд 8—9 часов, это очень хорошо, даже просто необходимо в настоящее время, но зато в остальное время я туп, бессмыслен и вял, как взор идиота. А чуть малейшее впечатление — моментально перебои и сердечн<ая> слабость, либо теснение в груди, грелки, нитроглицерин и пр<очее>. Сам себе стал отвратителен, и мучит мысль, каково будет тебе жить бок о бок с таким “фонтаном” жизненных сил»620.

Из опустошающего многолетнего однообразия острожных стен он вырывался в стихах и в снах. Ему снились трубчевские леса и курганы, Нерусса... Снились архитектурные сны, Москва: Кремль, храм Христа Спасителя, наяву давно не существовавший... Почему-то особенно часто снилось то, чего он совсем не видел, — новопостроенные высотные здания.

Колеса запущенной юридической машины вращались неравномерно, с обычными бюрократическими заминками и неразберихой. Но лагерные ворота распахивались. В лагпункте, где сидела Андреева, в апреле работала комиссия — и «$^{4}/_{5}$ — уехали домой». Оставшихся в лагере — около семидесяти политзэчек — попросили из зоны, поселив рядом — в казарме, на их место привезли «бытовичек». Расконвоированные политзэчки после работы в переменившейся зоне — там закипела уголовная жизнь с драками и чефиром — гуляли по лесу, собирали

ягоды, ходили на речку. Потом Андрееву с остальными неотпущенными отправили в другой лагпункт — на сельхозработы.

Освобождения не обходили и централ. Выпустили Вольфина. 4 мая Андреева из больничного перевели в 4-й корпус, потом вновь вернули в больничный. Но с Зеей Рахимом они разлучились. Предполагалось, что надолго, если не навсегда: Рахима освобождали. Терзало то, о чем боялся и думать: ближайшая участь написанного и незаконченного. «Переживать историю с С. Н. («Странниками ночи». — *Б. Р.*) вторично — нет сил. Ну, даст Бог — как-нибудь. Во всяком случае, у меня есть нечто вроде чувства исполненного долга. Говорю “нечто вроде” потому, что для того, чтобы долг был выполнен полностью, нужно еще какое-то время, minimum год-полтора при благоприятных обстоятельствах»621.

Июнь ничего не изменил. Появились надежды на июль, в июле во Владимирской тюрьме ожидалась комиссия по пересмотру дел. В размышлениях об инвалидном и бездомном будущем он неожиданно подумал о возможности — понимая, что «шансы ничтожны», — уехать к брату. Он даже стал обсуждать это с женой. «Спрашиваю серьезно, очень подумай и ответь, согласилась ли бы ты уехать со мной к Диме, причем вдруг, внезапно»622. Но комиссия в июле не появилась.

Издерганный неизвестностью, он пытался продолжать занятия, но больше читал. Чтобы отвлечься, читал Брема, прочел только что вышедшую книгу Ермилова о Достоевском. Книга возмутила рьяной антирелигиозностью: «Боюсь, что Федору Михайловичу приходится вертеться в гробу безостановочно, как мельнице». Без писания жизнь казалась бессмысленной. «Если дело опять затянется и я задержусь здесь на N-ное количество месяцев, попробую заняться “Розой Мира” (этот курс пока что пройден наполовину), но боюсь, что каким бы то ни было занятиям будет очень мешать радио. Во всяком случае, о писании стихов под этот аккомпанемент не может быть и речи»623. С утра до ночи бубнящий и рычащий репродуктор торчал рядом с окнами. «По этому поводу я уже написал жалобу министру внутренних дел, потом Булганину, и вот жду ответа, — делился он с женой. — А пока — ежедневные головные боли и изрядная трепка нервов»624.

Состав «Русских богов» продолжал меняться, хотя предисловие к ним было написано в октябре прошлого года. Поэтический ансамбль складывался постепенно, одни части менялись, другие исключались, и эта работа, так и не завершенная, продолжалась до конца. «Метаисторический очерк» — поначалу мыслившийся поэмой в прозе и вводивший читателя в метаисторическое видение светлых и темных миров, в результате стал частью «Розы Мира». Она и сделалась теперь главным трудом.

Наконец долгожданное известие: 10 августа жену освободили.

«Юлия Гавриловна, родная моя, сегодня получил одновременно телеграмму от Алиньки — об ее освобождении и Вашу открытку —

о том же, — восторженно написал он теще. — Ну, поздравляю вас всех с великой радостью!»625

Фактическим днем освобождения Алла Александровна считала 13 августа, когда ее с выданным в Зубовой Поляне паспортом посадили на «кукушку» и отправили в Потьму, переполненную вчерашними зэками. Их отчаянные толпы осаждали набитые поезда.

15 августа она вернулась в Москву, в расконвоированную жизнь, в свободу. Через день написала мужу: «Родной мой! Ты, конечно, недоумеваешь, почему я до сих пор не приехала к тебе. Я тоже думала, что едва поставлю в Москве чемодан — прилечу во Владимир. Многолетняя привычка жить без документов! Конечно, пришлось сразу заняться делами»626. И она, чуть побыв с родителями, жившими на даче в Звенигороде, побежала по Москве — за пропиской, и тут же — хлопотать, сказав себе и мужу, что из прокуратуры не вылезет, пока не добьется толка. В четверг, 23-го, попала на прием в прокуратуре, на другой день приехала во Владимир.

Через девять с лишним лет разлуки они встретились в тюремной комнате свиданий. «Меня ввели в крохотную комнатушку, — вспоминала Алла Александровна. — В ней стоял самый обыкновенный стол, два пустых стула, на третьем сидела женщина с автоматом. Туда и привели Даниила. Он выглядел таким же, как прежде, только очень похудевшим и седым. Мы так обрадовались, что не заметили измученности друг друга. Ни о какой болезни никто в эту минуту не думал — Даниил подхватил меня на руки».

Казалось, что охранница с автоматом радуется вместе с ними.

«А Даниил тут же под столом передал мне четвертушку тетради со своими стихами. Я взяла тетрадку и спрятала в платье. Так через десять дней после моего и за восемь месяцев до его освобождения, — не без гордости замечала Алла Александровна, — мы принялись за то же, за что и сели»627.

10. Направлено на доследование

Сразу после недолгого свидания, дожидаясь автобуса, она пришла на взгорье у собора и стала писать ему письмо. «Перед глазами — извивающаяся река и огромная заречная равнина удивительной и очень русской красоты. Кругом меня бродят только белые куры, а люди где-то далеко...» Пыталась читать полученные от него стихи, чтобы успокоиться, прийти в себя, и продолжала: «Хороший мой, хоть бы ты так же успокоился, как я сейчас! Как я, глупая, вчера отчаянно боялась и как нужно нам было увидаться!»

Он ей написал через несколько дней. «Родное мое солнышко, я думаю, что оба мы показались друг другу в лучшем состоянии, чем это есть в действительности: это — результат нервного подъема. Теперь я с ужасом думаю о том, в каком вихре ты сейчас находишься. Вместо абсолютно необходимого отдыха ты все эти 2 недели мечешься между Москвой,

Звенигородом и Владимиром или же по Москве». Но существовать в деятельном вихре, втаскивая в него окружающих, было ее обычным состоянием. И восхитивший его счастливый, «почти цветущий» вид жены не иллюзия, как он стал думать, — состояние души, безотчетно радовавшейся свиданию, свободе, открывшейся жизни. Болезни, бесконечные заботы навалятся следом.

Он писал о недосказанном: «Листик, может быть в моем возрасте и положении неуместно признаваться в таких вещах, но молчать с тобой об этом я тоже не могу. Дело в том, что сверх всех оттенков чувства и отношения, какие у меня к тебе есть, я, после нашего свидания, опять влюблен в тебя, как мальчишка. Смешно, но факт. Хочу быть с тобой, и больше ничего.

А между тем надо, на всякий случай, запастись терпением»628.

Радио не давало ни на чем сосредоточиться. Вот в эти-то дни, что так запомнилось некурящему и хладнокровному Шульгину, Андреев играл с утра до ночи в шахматы, стал, как прежде, много курить. «“Не вынесла душа поэта”, — с грустной иронией жаловался он. — А это очень обидно, тем более что скоро придется, так или иначе, бросать сызнова»629.

После свидания с женой он в тот же вечер написал новое заявление на имя Ворошилова. А почти сразу после его отправки получил постановление, вынесенное Комиссией Президиума Верховного Совета СССР 23 августа: «Считать необоснованным осуждение по статьям УК 19-58-8, 58-11, снизить меру наказания до 10 лет тюремного наказания по статье 58-10, ч. 2». Статью «антисоветская агитация и пропаганда» не отменили. Досиживать оставалось восемь месяцев.

Всех его однодельцев уже освободили, они добивались реабилитации. «...Машинка начинает крутиться сначала, — писала жена. — Дело в том, что многие из наших знакомых, сплетенные с нами в один противоестественный узел, начали хлопоты о полной реабилитации. Они, конечно, совершенно правы, я хлопочу о том же». То, что ему оставили статью об агитации, ее возмущало: то «критическое», что они высказывали, «снято и перекрыто тем, что говорилось на XX съезде»630.

Хлопоча, Алла Александровна встретила в приемной прокуратуры Василенко и приехавшую из Сыктывкара жену Шелякина. Реабилитация требовалась, чтобы получить жилье, пенсию, вернуться к работе, Василенко — в университет, Шелякину — в архитектуру, ей самой — в МОСХ. Пересмотр шел трудно, поднимались старые обвинения, изучались и обсуждались. Приходилось объяснять их абсурдность. Она передавала мужу разговор в прокуратуре: «Я понимаю своего собеседника в его недоумении — как же я могла соглашаться со всей этой ерундой; труднее было, чтобы он меня понял: самый обыкновенный человек <...> попадает в очень умные и хитрые руки: существует ведь принуждение двух родов: методы Лефорт<ова>, которые больше не вызывают даже вопросов, <...> и хитрая и тонкая провокация,

на которую я попалась вначале. С глупой доверчивостью, именно потому, что я всегда была самым обыкновенным человеком, я принялась рассказывать все свои мысли, сомнения, ничего не стоящие разговоры, а из всего этого осторожно и тонко было состряпано всё: из растерянности 16 октября — преступное ожидание, которого не было, из фантазий над фотографиями городов — предполагаемая поездка в Батум (вряд ли ты и помнишь эту чепуху), а каждое стихотворение о природе, которое случайно видел какой-нибудь приятель, превратилось в “распространение” и т. д. Причем, конечно, очень важно то, что вещи, казавшиеся недопустимыми тогда, — допустимы теперь. Я просто сказала, что почти все стихи можно печатать, да и роман был бы через несколько лет напечатан и прочтен с большим интересом». Для таких бесед с прокурорами нужна была выдержка, ей не свойственная. «К сожалению, я вспылила посередине разговора, — признавалась она, — главным образом, разойдясь во взгляде на произведения и соотношение идеализма и демократии, я была не права, злиться и орать никогда не надо, опять подвели нервы, как всегда»631.

О своих хлопотах она рассказала ему на следующем свидании — через месяц. В этот раз удалось передать ей тетрадь с «Железной мистерией». От нее не укрылось его состояние. «Не могу успокоиться оттого, какие у тебя были плохие и грустные глазки», — писала она и передавала сплетни, услышанные от бодрой, несмотря на годы, Пешковой. К ней она ездила посоветоваться: что еще можно предпринять. Сплетен набралось много, Екатерина Павловна сообщила две: «1) Даниил ходит босой по снегу с большим крестом на груди; 2) в меня влюбился следователь, хотел меня освободить, просил, чтобы я назвала всех, кто может в этом помочь, и, когда я их назвала, их всех взяли. На первое я сказала, что никакого креста ты не носишь, а хождение босиком не имеет той окраски, которую придали дураки, а связано, очевидно, с нарушением кровообращения, из-за которого тебе трудно обуваться.

Про сплетню обо мне я могла только сказать, что это — страшная чушь. Что же еще можно сказать?»632

Неправда растет из правды — он действительно носил в тюрьме пластмассовый крестик и ходил босым, а его жену следователи заставляли признаваться в помыслах убить вождя и называть имена. Алла Александровна бегала в прокуратуру, в другие высокие приемные, советовалась с юристами, собирала подписи под письмом генеральному прокурору. Письмо помогла написать жена Шкловского. В нем просили ускорить пересмотр дела «сына знаменитого русского писателя Леонида Андреева» и ходатайствовали о его освобождении, чтобы тот не умер в тюрьме. Кроме самого Шкловского письмо подписали девяностолетняя Александра Яблочкина, Корней Чуковский, Константин Симонов, Константин Федин, Иван Новиков, Павел Антокольский, Тихон Хренников.

Видимо, в сентябре и после обсуждений с женой Андреев написал главному военному прокурору. Он заявлял о несогласии с решением комиссии, оставившей ему десятилетний срок, обосновывая несогласие тем, что «невиновен по п. 58-10, как был невиновен и по остальным пунктам обвинения», поскольку:

«1) Незаконченный роман “Странники ночи”, являющийся основой моего обвинения, не был антисоветским. Он был направлен против отдельных уродливых явлений действительности, получивших ныне заслуженное осуждение под названием “культа личности” и превышения власти органами МВД. Я писал художественное произведение, отображающее сложную и полную противоречий жизнь старой московской интеллигенции в период 1937 года. Различные персонажи романа являлись носителями различных сторон психологии интеллигентного человека того времени. Ни один персонаж не описан целиком “с натуры”, хотя иногда я пользовался отдельными чертами окружающих меня людей, иногда же “выдумывал” персонаж целиком. Таким, не имеющим никакого прототипа среди моих знакомых, действующим лицом был один из отрицательных персонажей романа — Серпуховской. Именно в уста этого отрицательного персонажа было вложено высказывание террористических точек зрения, не только не соответствующих моим подлинным взглядам, но и опровергаемых в этом же романе положительным героем — Глинским.

Роман не был закончен и никогда не рассматривался мною как агитационный материал, зовущий на какие-либо враждебные действия. Моей целью было: написать правду о жизни очень узкого круга людей, очень различных, ищущих индивидуальных путей в условиях трудной и далеко не стабилизировавшейся действительности.

Роман не был написан с целью распространения, и мною не делалось никогда никаких попыток его опубликования. Доказательством этого является то, что книга находилась у меня дома в двух единственных экземплярах, и даже самым близким знакомым были известны из нее только отрывки.

2) Не признаю себя виновным в антисоветской агитации, потому что никогда и никого, в том числе ни одного человека из моих однодельцев, не призывал ни к террористическим, ни к каким-либо иным враждебным советскому строю действиям. Ни одно из моих высказываний даже и критического характера, если б была возможность восстановить подлинный текст сказанного, а не то, что получилось в протоколах следствия, ни в какой мере не может рассматриваться как антисоветская агитация.

3) Следствие, которое велось согласно инструкциям преступника Абакумова и под его непосредственным контролем, не было объективным и с самого начала имело своей целью фабрикацию “дела”.
<...>

Я не был человеком вполне здоровым со стороны нервной системы, поэтому ночные многочасовые допросы и вся атмосфера насилия и провокаций, царившая в МГБ 47— 48 года, очень скоро привели меня в состояние неспособности точно контролировать то, что делалось там под названием “ведения следствия”.

По этим причинам я подписывал фальсифицированные протоколы, совершенно искажающие мои высказывания, и мои взгляды, и вообще всю мою личность.

Не говоря уже о полной юридической несостоятельности отождествления точек зрения литературных персонажей с точками зрения автора и незаконности использования художественного произведения в качестве обвинительного материала, указываю, как на пример пристрастного отношения следствия к моей рукописи, на то, что разговор террориста — Серпуховского с Глинским в так называемой “Сцене у библиотеки Ленина” оборван в протоколах именно так, что выброшена та часть, где видна оценка точек зрения двух персонажей.

Таким же пристрастным является уничтожение рукописи, с оставлением в деле только специально подобранных цитат. Роман уничтожен вопреки моему категорическому протесту, показывающему, что еще в 1947—48 году я считал, что рано или поздно эта рукопись не только перестанет быть обвинительным материалом, но, напротив, послужит со временем к снятию с меня всех обвинений.

Прошу о новом пересмотре дела и о полной реабилитации».

11. Круг последних мытарств

«Напрасно ты жалуешься, Проталинка, на малую активность светлых сил: противоположные тоже очень могучи, особенно в этом мировом периоде. Вообще, что делается, что делается!» — писал он жене в эти дни. Объяснить подробнее в письме было невозможно. В «Розе Мира», касаясь метаистории современности, он говорил о хрущевской политике: «Два шага вперед — полтора назад». А в стихах заглядывал в дни завтрашние:

В недрах русской тюрьмы
я тружусь над таинственным метром
До рассветной каймы
в тусклооком окошке моем.

Дни скорбей и труда —
эти грузные, косные годы
Рухнут вниз, как обвал, —
уже вольные дали видны, —
Никогда, никогда
не впивал я столь дивной свободы,
Никогда не вдыхал всею грудью такой глубины!

В круг последних мытарств
я с народом безбрежным вступаю...

По указу 14 сентября 1956 года начались досрочные освобождения. 23 сентября на свободу вышли Шульгин, Симон Гогиберидзе, Шалва Беришвили[633] и еще шесть заключенных. По тюрьме, где в камерах улавливались все коридорные шорохи и шепоты, это разнеслось мгновенно. При выходе Шульгину дали подписать обязательство не разглашать условий тюремного режима. Гогиберидзе, с поседевшими висками, но еще бодрый, считал, что Шульгин к тому времени, в сравнении с несгибаемостью в 1949—1951 годах[634], сломался. Шульгину исполнилось 78 лет, отсидел он двенадцать. Узнав, что его выпускают, он попросил валерьянки. Шульгин и Шалва дали, по словам Гогиберидзе, подписку «отрекающегося толка», а он отказался. Но через месяц, в октябре, после начала венгерских событий Беришвили и Гогиберидзе объявили, что освободили их по ошибке. Срок у Гогиберидзе закончился в 1967-м, за три года до смерти.

19 сентября Андреева вернули в 3-й корпус, в 46-ю камеру. Здесь он вновь взялся за тетради, занимаясь «систематизацией материалов». «А как справлюсь я с радио, когда дело дойдет до более серьезной стадии, — посмотрим»[635], — сообщал он жене. В октябре принялся за краткое руководство по стихосложению «для уголовников» — так он в шутку называл эту работу. Стиховедением Даниил Андреев занимался и раньше. В «трактатике о сквозящем реализме» он начинал с определения «спондеики» как некоего нового принципа стихосложения, утверждая, что она «раздвигает шкалу русской поэтической метрики». Увлеченный спондеями и пеонами, строфическими и метрическими экспериментами, он собственные опыты привел в систему, классифицировал свои «метро-строфы».

Метаисторический миф включал в себя все, чем бы его творец ни занимался, чем бы ни увлекался — от босикомохождения до спондеев. Миф предполагал и новую поэтику сквозящего реализма, и новые подходы к стихосложению. Но в руководстве он излагал традиционные основы русского стихосложения, усвоенные с юности, приводил образцы из любимых поэтов. Просвещая сокамерников, осваивал педагогический опыт. А о педагогике будущего, о воспитании человека «облагороженного облика» он не только размышлял, но и разрабатывал учебные планы, программы, даже режим дня составил для воспитанников колледжей эпохи «Розы Мира».

Он все больше сосредоточивается на учении, выраставшем из его труда. Жене писал: «Какой у тебя прием встретит “Роза” — не знаю; боюсь, ты скажешь, что это — не мое дело и т. п. Но ради Бога, подготовься к тому, что я считаю это самым своим заветным делом и, если хочешь, венцом всего. Все остальное — подготовка или

популяризация...»636. В «Розе Мира» стал приобретать внятные очертания «ослепительный миф», «весть», которую необходимо поведать людям.

В одном из начальных вариантов трактат состоял из четырех больших частей. Первая — от «миров просветления» до «миров трансмифов», вторая — «демонические миры», третья — от стихиалей до «мира даймонов» и «наивысших миров Шаданакара» и четвертая — «Дополнения» — состояла из глав «Структура человека», «Космическое», «Смена эонов», «Демонический план», «Пространство и время», «Карма», «Мета-биографии», «Метаистория современности» и «Личное». Последняя глава в задуманном виде, судя по черновым записям к ней, в «Розу Мира» не вошла.

В тетради с набросками к трактату есть аккуратный, без поправок, список — словно бы неким верховным систематиком миров продиктованный — всех 242 слоев Шаданакара. В списке нет наименований лишь десятка обозначенных номерами слоев.

Работать под радиогул он так и не научился: «Что же касается “Розы”, то даже цветы любят тишину, не переносят громкоговорителей, а если их облучать непрерывно потоком громких звуков — хиреют и теряют тот аромат, который мы вправе ждать от них. Это — факт, о котором можно прочитать в физиологии растений»637.

Предчувствие, что круг мытарств завершается, не подвело. 17 ноября определением Военной коллегии Верховного суда СССР постановление ОСО было отменено, «Дело Д. Л. Андреева» направлено на доследование. Пришла пора перемены участи единственного остававшегося в заключении осужденного по делу. Но «определение» дошло до Владимирской тюрьмы не сразу, и, раздумывая о брезжившем конце срока, Андреев не строил далекоидущих планов. «Считаю, что все идет очень хорошо, — писал он жене, — а если затянут до февраля, то буду этому даже рад по причинам, о которых тебе уже говорил; главная из них — поменьше быть вынужденным сидеть на дюко-маминых плечах и перешептываться с тобой за шкафами. Такая перспектива, по правде говоря, меня не слишком обнадеживает. Кстати, чтобы не забыть: когда получишь мою телеграмму о выходе отсюда, приезжай сразу же, захватив какой-нибудь чемодан, т. к. мне не в чем везти книги, которых у меня накопилось порядочно, да и тетради»638.

Не знала о решении Верховного суда и жена. Она писала ему: «Моя справка о реабилитации уже у меня на руках, и я знаю постановление. Дело прекращено за отсутствием юридического обоснования обвинения. Фальшивые показания были получены потому, что следствие велось с нарушением основ социалистической законности — насильственно. Кроме того, нарушением социалистической законности является уже и то, что трое из обвиняемых — психически больные люди, которых не подвергли медицинскому обследованию до следствия. Это — ты, Сережа и, по-видимому, Саша. С тобой всё было бы так же, как со всеми, т. е.

реабилитация, если б сколько-то времени тому назад ты не написал заявления, в котором подтверждаешь прежнее (частично, в отношении мнений) и пишешь, что в настоящий момент придерживаешься таких же взглядов. Из-за этого тебе оставлен п. 10 и срок — 10 лет, т. е. ты должен попасть под амнистию. Но это не всё. Учитывая твою старую болезнь (ман<иакально>-депр<ессивный> [невроз]), представитель прокуратуры <...> выдвинул еще одно соображение: он сомневается, был ли ты полностью “в себе”, когда писал это (давнишнее) заявление. (Я тоже сомневаюсь, прости меня, Заинька.) Вот этот-то момент и должна Прокуратура “доследовать”»639.

«Определение» Андрееву вручили 2 декабря, и он тут же сообщил жене: «Только что прочитал решение Верховного суда. Практически (вернее, психологически) готовлюсь к возможной поездке в Москву, хотя очень надеюсь, что обойдется без этого — приедут ко мне. Слишком уж не хочется очутиться в стенах, напоминающих веселые переживания 9 лет назад, а еще менее хочется к Сербскому. Но что поделаешь, тут уж не поможет ничего, кроме фатализма... Буду смотреть на эту поездку как на последнее мытарство»640. «И не только потому, что не знаю, как осилю все это физически, но еще и потому, что все связанные с этим передряги могут крайне плачевно отразиться на здоровье Розочки, а ты ведь понимаешь, как она мне дорога»641, — объяснял он жене.

12 декабря Андреев написал заявление «Начальнику следственного отдела Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров СССР». Главное в нем — протест против доследования, на которое его дело направили, припомнив «вызывающее» письмо Маленкову. «В моем заявлении, написанном свыше 2 лет назад, я указывал, что абсолютное, всестороннее принятие советского строя для меня невозможно до тех пор, пока у нас не осуществлена на деле свобода печати, слова, религиозной пропаганды. Но с тех пор произошли крупнейшие сдвиги в жизни страны: произошел XX съезд, и множество фактов показывает, что между режимом, который существовал (несмотря на свободы, декларированные в Конституции) для печати и для личной свободы слова в период культа личности, и тем режимом, который существует теперь, — нет никакого сравнения. В чем же дело? Какие неправильные или, тем более, противозаконные мысли высказал я в моем заявлении? Единственным пунктом, по которому у меня еще сохранилось критическое отношение к существующему порядку вещей, является вопрос о свободе религиозной пропаганды. Но разве иметь по этому вопросу собственное мнение есть преступление?! Не сомневаюсь, что и этот вопрос будет решен со временем в положительном смысле. И что уже окончательно превышает мое понимание, так это следующее: я не агитировал, не пропагандировал, я не высказывал эту мысль (к тому же совершенно не заключающую в себе ничего криминального) ни на площади, ни в общественном собрании; я честно и прямо высказал ее в закрытом письме на имя председателя Совета Министров.

Спрашивается: где же и в чем состав моего “преступления”?!

На каком основании меня держат в тюрьме 10-й год, раз установлена уже моя полная невиновность по всем прежним пунктам обвинения?!»

16 декабря Андреева отправили в Москву, во внутреннюю тюрьму КГБ, а оттуда в Центральный институт судебной психиатрии им. В. П. Сербского. Все вещи, все тетради остались во Владимире: за ними приехала жена, которую провели к заместителю начальника тюрьмы капитану Давиду Ивановичу Кроту. Разговор с ним запомнился ей навсегда:

«— Знаете, увезли вашего мужа.

— Знаю, но ведь он ничего не может поднять, значит, должен был оставить вещи.

Крот вызвал каптерщицу (то есть кладовщицу):

— Что, Андреев оставил что-нибудь?

— Целый мешок.

— Принесите.

Она принесла мешок. И тут сработала моя лагерная привычка: должен быть шмон. Я стала выкладывать из мешка вещи. Крот сказал:

— Да не надо, оставьте.

А я:

— Да как же, гражданин начальник!

Он тогда отослал каптерщицу, посмотрел на меня очень внимательно и сказал:

— ЗАБИРАЙТЕ ВСЕ И У-ХО-ДИ-ТЕ.

Только тут я поняла. Я схватила мешок, пролепетала какие-то слова благодарности и убежала. <...>

Возвращаясь из Владимира, в автобусе я сунула руку в мешок, в который были свалены тетрадки, книжки, тапочки, белье, открытки... Я вытащила первое, что попалось, и стала читать. Это была одна из тетрадок с черновиками “Розы Мира”»642.

12. Институт Сербского

1957 год для Даниила Андреева начался в палате Института судебной психиатрии, в его четвертом отделении. Институт находился в Кропоткинском переулке — он попал в родные места, совсем рядом с Малым Левшинским. Больничный корпус, куда помещали политических, от тюремного отличался. В вестибюле — стол, стулья, регистрационное окошко, няни в белых халатах. Небольшой коридор, несколько палат. Большие, светящиеся зимним солнцем окна из непробиваемого стекла, зарешечены только узкие форточки. Пациенты — в больничных фланелевых халатах. Срок психиатрической экспертизы по закону — один месяц, но обычно экспертиза затягивалась. Попал сюда Андреев стараниями жены. Спасая мужа, она писала в заявлениях, что ни при аресте, ни после него тот не проходил «психоневрологической» экспертизы.

Когда его привезли, в отделении находилось двадцать с небольшим человек. Все они обвинялись по политическим статьям, как правило, по 58-й — антисоветской.

Подружившийся здесь с Андреевым Родион Гудзенко так описывал его появление в палате: «...весь насквозь тонкий, звонкий и прозрачный. Интеллигентный, беззубый, высокий, седой, тощий. Босой. Босиком, хотя всем тапочки давали. В кальсончиках, в халатике. И — в слезах, заплаканный! Улыбается, стесняется, слезы. “Что такое? Почему вы плакали?” — “Ой, простите, — он сказал. — Вы знаете, я в первый раз за десять лет увидел дерево!” — “Как — дерева не видели?” — “Я в тюрьме был, во Владимирской, там прогулки в крытом дворике, цемент, я деревьев не видел вообще. И тут я вдруг увидел во дворе, когда меня провели, живое, настоящее дерево, и, знаете, просто потекли слезы”»643.

Среди тех, с кем он оказался вместе и с кем общался в эти недели, были кроме молодого художника Родиона Гудзенко вчерашний ярославский школьник Виталий Лазарянц, восемнадцатилетний москвич Борис Чуков, недавний техник-лейтенант Юрий Пантелеев, студент из Ульяновска Валерий Слушкин, учитель истории Рафальский644.

Гудзенко удивлялся, что Андреев ухитрялся знать всех. По его мнению, простодушный поэт считал, что и остальные также «интересуются судьбами друг друга». Его занимала молодежь, которую всколыхнуло послесталинское оттаивание. В тюрьме он такой не встречал.

Оказалось, осенние венгерские события не все встретили безмолвно-безучастно. Десятиклассник Виталий Лазарянц, примерный ученик и комсомолец, на демонстрации 7 ноября поднял плакат «Руки прочь от Венгрии» и, понятно, был сочтен не вполне вменяемым. Андреев, узнав историю Лазарянца, назвал его не вовремя прокукарекавшим петушком. Другим протестантом оказался готовившийся стать студентом и кипевший революционным задором Борис Чуков. Его обвиняли не только в попытке создать антисоветскую группу и намерении связаться с иностранной разведкой, но и в том, что на заводе, где он работал, предлагал желающим «вступить в католическую лигу сексуальных реформ»!645

Гудзенко, высоколобый, с умным сосредоточенным взглядом, был взят меньше чем полгода тому назад. В 1947 году исключенный из художественной школы, он заочно учился в Московском полиграфическом институте. Увлеченный французской живописью, в особенности Дега, подражая которому писал балерин, он стал учить язык, знакомился с посещавшими Эрмитаж французами. Рассказывают даже о его попытке убежать во Францию в гардеробном ящике актрисы театра «Комеди Франсез», приехавшего на гастроли, и о том, что Гудзенко арестовали чуть ли не на корабле, отплывавшем с декорациями в Гавр646. Обвинялся он в антисоветчине, поскольку не стеснялся

говорить то, что думал о свободе творить. Самонадеянного и нервного, его на всякий случай отправили на экспертизу. Здесь он узнал о рождении сына и, как потом Андреев писал жене Гудзенко, пытаясь приободрить ее, воспрял духом.

Самый пожилой среди них, художник Ефим Шатов, написал в ЦК КПСС письмо с просьбой дать народу «хотя бы» свободу творчества. Еще Шатова обвиняли в том, что он по почте разослал пять листовок. Листовки были со стихами, призывавшими советский народ подниматься на бой за свободу, поскольку: «Властители сняли народ со счетов, их шкура всего им дороже, и правят страною вельможа Хрущев и всякая Фурцева тоже»647.

Родиону Гудзенко было двадцать пять, на год меньше — Юрию Пантелееву, автору другого письма в верха. Он, в отличие от ленинградца Гудзенко и москвича Чукова, вырос в деревне и не был таким шумным и самоуверенным. Отца его репрессировали, войну вдвоем с матерью он пережил под немцами, помогал партизанам. Окончив военное радиотехническое училище, служил в армии, а после демобилизации, в ноябре 1956-го, его неожиданно арестовали. Пантелеев написал письма в ЦК КПСС, Госплан и еще куда-то (как утверждало следствие, даже в американское посольство) со своими соображениями об экономике. Самодеятельный экономист указал на причины, по его мнению, мешающие эффективности социалистического хозяйствования.

«Даниил Леонидович очень необычно и точно выделял интересных и достойных людей», — вспоминал Гудзенко, называя Пантелеева удивительным человеком. «И гуманитарно был очень образован, — восхищался он. — Когда мы говорим о Блоке, о Цветаевой, тоже участвует в разговоре, да на таком уровне — все знает! “Странно, — говорю я Даниилу Леонидовичу, — когда? Это же военное училище — встать, лечь, подъем, побежали — больше ничего. Да и моложе меня на пару лет. Когда он это все успел?” — “И не только это, — говорит Даниил Леонидович. — Вы обратили внимание, какие у него лапки?” — “Как это — лапки?” Он говорит: “Посмотрите руки, это очень важно! — А у Юры короткие такие пальчики. — У него же добрые лапки!”»648.

Сам Пантелеев вспоминал:

«Только там я почувствовал себя в коллективе гармоничных людей, не единомышленников, ибо это скучно, но гармоничных, хотя и по-разному мыслящих. Гармоничность мировосприятия, мироощущения создавал среди нас Даниил Леонидович. <...> Все мы обвинялись в антисоветизме. Попали в психушку, пройдя до десятка пересылок, психушек, внутренних тюрем. Многие были больны и психически неадекватны. Создать из такой толпы гармоничный коллектив, дать ему занятие, оптимизм — задача почти не выполнимая. Ежедневно у нас что-нибудь происходило. Или лекция кого-либо из товарищей по несчастью, или же инсценировка самими же придуманного спектакля, или беседы на разные темы. Боря Чуков, помню, очень яркие лекции читал о поэзии 20-х годов.

<...> Но больше всего нам дал Даниил Леонидович. Он обладал энциклопедическими знаниями и потрясающей памятью. <...>
Но особенно мне запомнились чтения Даниилом Леонидовичем отрывков из своей [книги] “Русские боги”.

Читал он превосходно, завораживал самых скептически настроенных. Он мог быть и серьезным, и очень веселым. Много рассказывал о веселых проделках отца на даче. Создавалось впечатление, что все, или большинство, тайн вселенной ему известны. <...> Мне показалось, что он знает много больше, чем говорит. <...> Даниил Леонидович был не просто терпим к чужому мнению, но и чрезвычайно деликатен. Как-то я сделал замечание, что строчка его поэмы, ”По засекреченным лабораториям бомбардируются ядра тория”, не соответствует реалиям. Я сказал, что в училище нам говорили, что в атомном проекте используются Уран 238, 235, 233 и плутоний, а торий не используется. Даниил Андреевич промолчал, чтобы не ставить меня перед другими в неудобное положение. Потом я узнал, что прав-то был он. <...>
Оригинальны его мысли о порче русского языка терминами, не соответствующими сути выражаемого понятия. И не только термин типа “пролетариат”, но и такой, как “национальность”. Искусственное внедрение этого термина сделало “нациями” даже мелкие северные племена и мешает складыванию русской нации, состоящей из более чем сотни народов. Особенно меня поразили его мысли о сущности большевизма и капитализма — либерализма. Он говорил, что это ипостаси одного и того же бесовского подхода к человечеству. Ведь даже с точки зрения рациональной науки — и большевизм, и либерализм основаны на неограниченном потреблении и росте численности населения, что не может не привести к катастрофе»649.

Самым опытным сидельцем «психушек» среди них оказался Виктор Парфентьевич Рафальский. Его, директора школы, учителя истории в селе Конюхов Львовской области Украины, взяли в 1954-м за участие в подпольной организации «Украинский революционный центр». При аресте у него кроме листовок и воззваний изъяли рукописи, среди которых был роман «Вопли ярости».

Андреев и здесь, еще не зная, удастся или нет получить свои тетради из тюрьмы, по памяти восстанавливал тексты «Русских богов», читал новым знакомым. Больше всего их поразила «Симфония городского дня». «Мне кажется, — вспоминал Рафальский, — Андреев мало верил (либо совсем не верил) в эту хрущевскую “оттепель”. Во всяком случае, когда наиболее башковитые юнцы заучивали наизусть, он просил не распространять строфы поэмы...»650

Самым восторженным слушателем поэта стал двадцатилетний Валерий Слушкин, по словам Чукова, арестованный за то, что попытался проникнуть в посольство Индии.

«Из всех наших совместных шумных и веселых собраний более всего запомнилось <...> пародия на проходившие тогда выборы в Верховный

Совет, — вспоминал Чуков. — <...> Из расчески с туалетной бумагой вырывалась ликующая музыка. Непрерывно и взахлеб вещающее “радио” извещало о сто двадцати процентной явке избирателей еще до восхода солнца. Мир тонул в народном энтузиазме. От переполнявшего счастья и любви к родной партии рыдал свинарь из Молдавии и хлопковод из “солнечного Туркменистана”»651.

Все, входившее в жизнь Даниила Андреева, становилось значимым, к каждому знакомцу протягивались душевные нити. После освобождения он пишет ободряющие письма молодым друзьям, оказавшимся в тюрьмах и лагерях, живя на скудную пенсию, нуждаясь, кому-то высылает деньги. Узнавший о его смерти Валерий Слушкин писал вдове: «...потеря человека, перед которым я искренно восхищался, единственной личности, которая понимала меня, — огромная потеря... Даниил Леонидович много сделал для меня, для моей души, особенно в дни совместного пребывания... мне он дорог, как близкий человек, перед которым мне не стыдно было и исповедаться... его жизнь — подвиг».

Руководил четвертым отделением небезызвестный психиатр Даниил Романович Лунц. Лунца в диссидентских мемуарах называют и «полицейским профессором», и «доктором тюремных наук», и полковником КГБ в белом халате. Не умевший лгать и увиливать Андреев и перед ним не скрывал свои умонастроения. Многоопытный Даниил Романович, по свидетельству Чукова, предложил Андрееву изложить свои взгляды в письменном виде. Взявшись было просто и лаконично изложить свои представления о мироздании, поэт понял, что ничего хорошего ему подобный труд не сулит, и уничтожил написанное. А в беседах с психиатрами все же говорил то, что думал, мистических воззрений не скрывал.

В середине марта после экспертизы, впрочем, на исход дела не повлиявшей, Андреева вернули на Лубянку.

ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

РОЗА МИРА. 1957—1959

1. Освобождение

Когда Алле Александровне в конце марта в Институте Сербского объявили, что муж переведен в тюрьму, она ринулась выяснять — куда. Позвонила следователю, ведшему пересмотр дела, тот заявил, что ничего не знает. Побежала в Матросскую Тишину, в Бутырку, в Лефортово. Нигде нет.

«А я-то, зная состояние Даниила, подумала, что он просто умер. В морге надо искать! — вспоминала она дни неизвестности. — В конце концов прибегаю в справочную ГБ на Кузнецкий, 24, кидаюсь к дежурному:

— Боже мой, ведь у него же был инфаркт, он ведь умирает! Мне не говорят, где он. Ну что, где он — в морге?!

Я совершенно обезумела, готова была стену лбом пробить. И дежурный, перед которым катились волны таких дел, при мне звонил следователю, но следователь и ему не сказал. <...> И вот я прихожу 22 апреля, прямо перед окончанием срока, и дежурный мне говорит:

— Успокойся, жив, завтра выйдет. Завтра придешь сюда, вот придешь, и он сюда придет. <...>

На следующий день, 23 апреля, я пришла, в руках у меня была книжка “Наполеон” Тарле, я листала ее, не в состоянии прочесть ни единого слова, и никогда больше не смогла взять эту книгу в руки. Даниил вошел в приемную, где я ждала. Я встала, мы взялись за руки и пошли к маме, потому что больше идти нам на свете было некуда. Стоял солнечный день, такой же, как тот, когда Даниила арестовали»652.

Пересмотр «Дела Д. Л. Андреева» кончился ничем, и это было не худшим исходом. Никто не решался ему простить слов из письма Маленкову об отношении к советской власти в зависимости «от той степени свободы слова, печати, собраний, религиозной деятельности, какую советская власть осуществляет фактически, не в декларациях, а на деле». Жена умоляла вести себя осторожней, «но он твердо стоял на том, что всегда будет говорить правду, — рассказывала она. — И в какой-то момент я не то сказала, не то написала ему: “Не выступляй”. Он потом, смеясь, рассказывал мне, что это слово все вдруг поставило на свои места. И он старался “не выступлять” на допросах». Но на переследствии сорвался. Следователь спросил об отношении к Сталину. «...“Ты не представляешь себе, — рассказывал он мне потом, — я, не умеющий говорить, обрел такой дар красноречия, разлился так обстоятельно, так обоснованно разложил ‘отца народов’ по косточкам, просто стер в порошок... И вдруг вижу странную вещь: следователь молчит, и по его знаку стенографистка не записывает”. Именно в это время у трясущегося от бешенства следователя посредством телефонного звонка от имени Шверника вырвали из рук дело, которое он благополучно “шил”»653. Неутомимые хождения жены по инстанциям спасли от нового срока. Но десять лет он отсидел день в день.

Из внутренней тюрьмы КГБ Андреева выпустили со справкой № 455, где говорилось: «23 апреля 1957 года из-под стражи освобожден по истечении срока наказания». 10 мая на основании справки ему выдали паспорт.

Поселиться пришлось у родителей жены. Дом — деревянный купеческий особняк. Сравнительно большая комната в многолюдной коммунальной квартире во весь второй этаж когда-то была игорной, и на потолке мореного дуба осталась роспись с цветистым изображением игральных карт с драконами. Немалыми усилиями Юлия Гавриловна устроила в комнате небольшую кухню-прихожую с чуланчиком.

В первые же дни он отправился к Коваленскому, жившему у Нелли Леоновой в Лефортове. Осенью 1956-го вышло собрание сочинений Ибсена с переводом «Бранда», и гонорар выручил Коваленского, оказавшегося в положении, как он сам говорил, «нахлебника». В ноябре его реабилитировали, в январе 1957-го восстановили в Союзе писателей. Болезненно пополневший, одышливый, он жил прошлым, тосковал о Каиньке, писал поэму о детстве, воспоминания, «касающиеся периода отсутствия». Встреча получилась трудной. Утраты, вольные и невольные вины стояли между ними, за десятилетие наросли как лед. В этой жизни его не растопить.

Через несколько дней в Подсосенский прибежала Ирина Усова. «Несмотря на прежнюю живость движений, инфаркт Дани, случившийся около двух лет назад, все же сказывался; уже скоро ему пришлось лечь на диван, а я села возле него, — рассказывала о встрече Усова. — Разговор не клеился»654. Встречи со старыми друзьями оказались и радостными, и тягостными. Тюремное десятилетие, как запотевшее стекло, мешало видеть и понимать друг друга.

Встретился он с Александрой Львовной Горобовой. Время сгладило обиду. Она помогала хлопотать о его освобождении, писала ходатайства в Союз писателей, посылала в тюрьму посылки. И теперь участливо смотрела на него большими темными глазами.

Навестил Татьяну Морозову, ютившуюся со взрослыми дочерьми в коммунальной комнатушке в Марьиной Роще.

Наконец они собрались в Малый Левшинский. Повидались с Ламакиными и Межибовскими. Их детей поразило, что высокий, сутулящийся гость ходит по квартире в носках. Дом стал чужим. В большой добровской комнате жила многодетная семья, занимавшаяся клеянием каких-то коробочек, в квартире стоял тошнотный запах клея. Глава семьи, инвалид, время от времени напивался и грозился Ламакиным, что снова их посадит. Другие пили не реже инвалида и тихо ненавидели «паршивую интеллигенцию».

Нереабилитированным жить в Москве не полагалось, их место — за 101-м километром. Стали искать, где прописаться. В конце апреля Андреевы вместе с племянницей Вольфина, Аллой Смирновой, поехали в родную деревню ее матери, Вишенки. Дорога через Серпухов: деревня за Окой.

«Мы приехали на станцию, пошли по направлению к деревне и сели на пригорке, — описывала поездку Андреева. — Аллочка шутя надела на Даниила венок из каких-то больших листьев, и мы очень веселились, потому что в этом венке, похожем на лавровый, в профиль он и вправду походил на Данте. Потом мы вдвоем остались на пригорке, а Аллочка пошла к тете спросить, можно ли прийти бывшим заключенным, из которых один еще не реабилитирован. Тетя возмутилась:

— Да ты что! О чем ты спрашиваешь? Веди сейчас же.

Нас приняли, угостили, мы там даже переночевали. Потом попробовали Даниила прописать, но из этого ничего не получилось — слишком близко к Москве»655.

Следующий маршрут — в Торжок. Там жили Кемницы, там Виктор Андреевич работал на авиационном заводе, и туда из Караганды приехала к нему жена, а следом ее лагерная подруга Вера Литовская. В их двухкомнатной квартире удалось прописать и Андреева. В Торжке оказалось немало вчерашних зэков.

У Кемницев он читал стихи. Глуховатый и негромкий голос звучал воодушевленно. Читал друзьям, стихи его любившим, понимавшим, прошедшим той же дорогой. «Даниил читал там “Рух”, — вспоминала жена поэта. — Слушали Верочка, Кемницы и кто-то из их торжковских друзей. Даниил вообще читал свои стихи хорошо, но в тот раз — поразительно хорошо»656.

Он не мог не читать друзьям стихи. Как и прежде, это не были большие сборища — три-четыре человека.

2. Встречи

После тюремной неподвижности началось скитальчество. Поездки в Торжок, встречи требовали сил. За три недели он многих повидал, натолкался в электричках, натрясся в автобусах.

Но и о вчерашних друзьях не забыл. 11 мая написал жене Гудзенко, стараясь узнать о его судьбе — предстоял суд, — сообщил о своей: «За два коротких месяца жизни с Вашим мужем я его искренно полюбил, глубоко уверовал в его замечательное дарование и буду с тревогой, беспокойством и надеждой следить за дальнейшими этапами Вашей с ним общей борьбы за справедливое решение его дела»657.

Написал Курочкину, оставшемуся досиживать, получил от него письмо и фотографию с надписью: «На память дорогому Даниилу Леонидовичу» с обозначением места: «Владимир — областной».

В мае стараниями Парина его положили в больницу Института терапии. С собой он взял книги, подаренные Новиковым. На книге стихов тот написал: «Когда-то надписывал книжку Вашему папе — Леониду Николаевичу Андрееву, а ныне Вам — его сынку...»
Из больницы он благодарил: «Дорогой Иван Алексеевич, до сих пор не удалось навестить Вас после десятилетнего промежутка: лежу в больнице и подвергаюсь пока не столько лечению, сколько всевозможным исследованиям и обследованиям. Диагноз не очень благоприятен: стенокардия, атеросклероз аорты и мн<огое> другое. <...>

Жена мечтает к 1 июля увезти меня отсюда на Оку, в деревню, в красивые есенинские места, славящиеся к тому же дешевизной жизни. А к осени решится окончательно и мое дело в пленуме Верховного суда. И думаю, к тому времени отпадут все внешние и внутренние препятствия, тормозящие мою поездку к Вам.

Еще раз сердечное спасибо за Вашу поддержку, которую я чувствовал несколько раз в жизни — даже в такие минуты, когда Вы сами не сознавали, что ее оказываете»658.

В больнице его почти каждый вечер навещали. На больничной территории, в глубине, он облюбовал скамейку. Туда все и приходили. Татьяна Морозова, как всегда, выполняла его поручения, тем более что на жену свалились все неисчислимые житейские заботы. Появились Ивашев-Мусатов, Зоя Киселева, Зея Рахим, приехавший из Грузии. В мае, женившись на девушке, работавшей на текстильной фабрике, поселился на подмосковной станции Правда и, видимо с помощью Парина, нашел заработок — переводы японских научных статей.

Повидался с Галиной Русаковой. «В воскресенье была Галя, — сообщал он Морозовой. — Но народу, ради праздничного дня, привалило столько, что мы в саду сидели на лавочке так: слева от нас — 3 посторонних человека, справа — 2. О многом ли можно поговорить в такой обстановке?»659 Не удавалось и писать: «В палате шумно, бестолково и заниматься нельзя ничем. <...> Нетерпение, с которым я жду выписки отсюда и отъезда в Копаново, возрастает с каждым днем и часом. Я уверен, что в этой обстановке и поправка пойдет быстрее. Главное — природа, свобода и покой. И чтобы Алла была рядом»660.

Его выписали 22 июня. Диагноз не утешал: последствия инфаркта миокарда, стенокардия, атеросклероз аорты. Впрочем, нового о своем состоянии он узнал немного. Осталась надежда на одно лекарство — природу. В тот же день, сев отвечать на письма, он писал Ракову: «На днях мы с Аллой уезжаем, наконец, в деревню, на Оку (в Рязанскую обл<асть>, недалеко от есенинских мест), на 2 месяца. Буквально — уедем в считаные дни и часы: стосковался я о природе нестерпимо, да и вместе с женой мы еще как следует не пожили вместе из-за сутолоки первого месяца и из-за моей больницы. Она измучена до предела, т. к. последний период перед моим возвращением оказался для нее особенно тяжелым»661.

В предотъездные дни он побывал в Кремле: «Впечатление огромное и глубокое, хотя ни в Грановитую, ни в Оружейную мы не попали. А интерьер Василия Блаженного! Чудо!»662

Пришло известие о суде над Гудзенко, получившим пять лет лагерей по 58-й статье. Такого исхода Андреев не предполагал и писал его оставшейся с полугодовалым сыном жене: «Насколько я понимаю, оснований для подобного приговора нет, и, конечно, надо упорно бороться, чтобы допущенная несправедливость была исправлена»663. Но Гудзенко ждал Дубровлаг. А Шатова освободили ввиду безнадежной болезни.

Накануне отъезда сообщили о пересмотре андреевского дела и отмене обвинения пленумом Верховного суда СССР. Теперь он мог прописаться в Москве. Но заняться этим решили осенью. Во-первых, нужно получить справку о реабилитации. Во-вторых, на Москву надвигался Всемирный

фестиваль молодежи и студентов, и уже начались проверки неблагонадежных, высылки за 101-й километр. И 1 июля в десять вечера на Южном речном вокзале у Данилова моста Андреевы сели на теплоход.

3. Копаново

В Копаново — село на правом окском берегу между Рязанью и Касимовом — они доплыли за двое суток и поселились в избушке вдовы по фамилии Ананькина, тети Лизы. Первыми впечатлениями и планами Андреев делился с Раковым: «Сейчас я пишу Вам, сидя в деревенской комнатке в 2-х минутах ходьбы от Оки, которая здесь великолепна (шириной — вроде Невы у Дворцового моста). Комфорта здесь абсолютно никакого, уровень быта — есенинских времен, даже электричества нет; но это в некоторой степени уравновешивается тишиной, покоем и красотой природы. Впрочем, мы здесь еще только 2 дня и, при моей ограниченности теперь в движениях, успели посмотреть только самые ближайшие окрестности. А я так истосковался по природе, что сейчас меня радует вид любого дерева, а тем более те массивы их, которые по-русски называются лесом.

Собираемся пробыть здесь июль и август, отдыхая и работая. А<лла> А<лександровна> сегодня уже ходила на этюды, невзирая на грипп и совершенно хулиганскую погоду. Я же собираюсь продолжать начатое ранее и, между прочим, думаю подготовить маленькую книжечку стихов о природе (в сущности, уже написанных, но требующих некоторой отделки и перестройки общей композиции), с которой осенью попробую сунуться в печать. Уверенности в удаче, конечно, не может быть, но попробовать не мешает»664.

Андреевых «завлекли» в Копаново рассказы о здешних красотах и дешевизне. Дешевизна — не последний аргумент. У них не было ничего — ни жилья, ни вещей, ни работы, ни денег. «Нам помогали мои родители, а кроме того, собирали деньги друзья Даниила по гимназии, — рассказывала Алла Александровна о том, как им жилось после освобождения. — Кто-нибудь из них приходил и клал конверт на стол, мы даже не знали, от кого. Знаю, что в этом участвовала Галя Русакова, думаю, что Боковы, помогал и математик Андрей Колмогоров...»665

Заросшие травой улицы, плетни, огороды, Ока и старый лес. Но не повезло в Копанове с погодой, похолодало. И деревенская жизнь с керосиновой лампой, с русской печью, со стиркой на речке для больных измученных людей стала сомнительным отдыхом. «Почта и телеграф — в 4 км, причем дорога по голому полю. Аптеки никакой, вернее — ближайшая — в 12 км, и тоже извольте пешком. Вдобавок отвратительная погода, — писал Андреев Морозовой через неделю. — Вчера был единственный хороший день, но сегодня опять хмуро и северный ветер. О купании не может быть и речи. Оба мы прихварываем, у Аллы разыгрался полиневрит, болит спина и ноги. В

довершение всего, около дома ни единого деревца, негде полежать. Приходится тащиться в лес. Правда, дальше он очень красив и разнообразен, богат грибами и цветами, но это далеко, а поблизости он кишит муравьями, изрывшими буквально всю почву, так что сидеть на земле почти невозможно. Значительную часть времени приходится проводить дома. Алла чуть-чуть ходит на этюды, я тоже работаю, но очень мало, часа по 2 в день»666.

Здесь он расслышал имя выразительницы Вечной Женственности. Ее, неназванную, Пресветлую и Благую, узрел Владимир Соловьев в Египетской пустыне. Это утро запомнилось Алле Александровне: «Я встала, делала что-то по хозяйству. Даниил медленно просыпался: это был тот миг, когда нет ни сна, ни бодрствования. И вдруг я увидела его удивительно светлое счастливое лицо. Он проснулся и сказал:

— Ты знаешь — услышал! Ну как же я раньше не понял: Звента-Свентана»667.

Через неделю погода установилась, заиграло июльское солнышко. Пришло известие: в Москву приезжает брат. Через сорок лет разлуки Вадим Андреев, с 1949 года работавший в издательском отделе ООН в Нью-Йорке, с женой и детьми приехал на родину. Они приплыли из Лондона в Ленинград на теплоходе «Молотов» как раз в день разоблачения «антипартийной» группы (возвращались они на том же самом теплоходе, уже переименованном в «Балтику»).

Братья не могли не увидеться. «Родные, драгоценные — не знаю, какие еще подобрать слова — до последнего дня не верилось, что это возможно!!»668 — обращается Даниил к брату и его жене, подробно объясняя дорогу. О том, чтобы возвращаться в Москву им, не могло быть и речи. «Состояние здоровья у обоих неважное, но бывает и хуже, — объясняет он вдогонку. — Алла все время температурит по непонятным причинам. <...> Однако она ходит на этюды и, перемогаясь, хозяйничает. Прости, родной, за почерк: до обеда я лежу в тени на огороде и пишу лежа»669.

Опять начались дожди, и Андреев простудился, как он считал, оттого, что помногу лежал на земле. Жена подозревала воспаление легких. Температура то поднималась до сорока, то падала. До больницы и врачей не добраться.

Вадиму Андрееву, чтобы попасть в Копаново, потребовалась решительность. Без ведома властей зарубежный гость выезжать из Москвы не имел права. Поэтому ни пароходом, ни поездом он не поехал, а отправился на такси до райцентра Шилово, откуда оставалось километров сорок проплыть по Оке. Десятилетиями мечтавший о возвращении в Россию, он оказался в ее глубине, рядом с есенинскими местами.

«Я никогда в жизни не бывал в этих краях, но я узнавал их, — описывал он плавание по Оке и встречу с братом, — каждый поворот реки открывал мне до боли знакомое и родное: серые ветлы раскинули

над рекой свои коряво-грациозные ветви; серо-голубые поймы блестели среди заливных лугов; вдали чернели скелеты заброшенных церквей; над крытыми соломой крышами редких деревень кружилось воронье — все это было мое, родное, все это вошло в меня с русскими книгами, русскими стихами, все это стало моей кровью.

В Копаново я приехал уже поздно вечером, в серой, густой мгле, охваченный неизъяснимым волнением. Волнение нарастало с каждой минутой: широкая, еле видная улица, перерезанная глубокими колеями, черные плетни, провал глубокого оврага, а с поднадгорья — звуки шарманки, смех, женский визг и проникающие в самое сердце таинственные шепоты»670.

Поздним вечером на пристани Алла Александровна узнала его сразу — так он напоминал Даниила.

«Я вошел в избу. В комнате, уставленной фикусами, на кровати, подпертый подушками, под маленькой лампой-коптилкой — лежал я. Действительно большое сходство двух родных братьев в первые минуты показалось мне абсолютным. Те же седеющие волосы, тот же лоб, то же худое лицо, тот же андреевский нос и складки у углов рта...

Никто не помнит первых слов, произнесенных после долгой разлуки. Да их и немного, этих бессвязных слов: главное — ощущение живых губ, небритость щек, костлявое плечо, которое не могут отпустить скрюченные пальцы, и сквозь слезы, в затуманенном зеркале — родное лицо.

В тот вечер у Дани упала температура, и мы долго говорили — и тут произошло последнее чудо этого неповторимого дня: очень скоро мы ощутили оба, что мы понимаем друг друга с полуслова, что начатая одним фраза заканчивается другим, как будто мы прожили всю жизнь вместе. Вдруг оказалось, что нет и не было сорокалетней разлуки, что две судьбы, столь непохожие, в сущности одна судьба одной русской семьи.

Потом Даня читал мне свои стихи, и я был поражен тем, каким цельным, уже сложившимся поэтом оказался мальчик, которого когда-то я силком тащил на пожарную лестницу. Поразило меня его мастерство, то, с какою уверенностью и свободой он обращается со словом, — трудолюбивый хозяин на своей родной земле. Но самым удивительным было то, как совпало Данино ощущение России с моим, как в его стихах я нашел выход тому огромному волнению, с которым я подплывал к Копанову»671.

«Сходство братьев по первому впечатлению было поразительным. Однажды мы с Вадимом гуляли по лесу, собирали грибы. К нему подошел кто-то из деревенских, пожал руку и сказал, принимая его за Даниила: “Как я рад, что Вы выздоравливаете!”»672, — вспоминала Андреева о четырех днях, проведенных братьями вместе. Тогда же приехала в Копаново и ее лагерная подруга Джонни — Валия Круминьш.

Отсюда, оправившись от простуды, он успел еще раз написать брату в Москву: «Здесь мы гуляем почти каждый день по несколько километров. Третьего дня попали под здоровенный дождище и промокли до нитки, но — сошло! Вчера отдыхали, а сегодня собираемся съездить на катере в одно место, более интересное, чем Копаново. Там берега кудрявые, все в ветлах, тополях и лозняке, лужайки со стогами и леса с огромными деревьями»673.

Возвратиться в Москву оказалось непросто. Трудности преодолевала Алла Александровна. «Я пошла за билетами, но их не было. А нас уже знала вся деревня, вся пристань. И мне сказали: “Приходите завтра, будет теплоход ‘Григорий Пирогов’, там, среди пассажиров, — Александр Пирогов, брат Григория, известный певец Большого театра. Мы вас пропустим без билетов. Подойдете к Пирогову и попросите его помочь”.

Вечер. Тьма и дождь. Кто-то помогает мне нести вещи. Я веду Даниила, которому плохо. К пристани надо спускаться вниз по косогору. И прямо посередине этого спуска в темноте под проливным дождем Даниил начинает падать мне на руки, как это бывало, когда он терял сознание от сердечного приступа. Я кричу в темноту: “Помогите! Помогите!” И сразу из этой темноты буквально со всех концов бегут люди, подхватывают Даниила и каким-то образом переправляют нас на теплоход, который тут же отчалил. Я оставляю Даниила, едва пришедшего в себя, внизу, где-то на полу, и иду разыскивать Пирогова. Подхожу к нему и рассказываю: “Я — жена Даниила Леонидовича Андреева, сына Леонида Андреева. Он только что из тюрьмы, я из лагеря. Он очень тяжело болен. Нам надо вернуться в Москву, но у нас нет билетов”. И сейчас же Пирогов дал распоряжение. Кажется, нас поселили в каюте медсестры, которую куда-то перевели»674.

В Москву приплыли 12 августа, через день после окончания фестиваля. Встречало их семейство брата. Сын Вадима Александр вспоминал, как впервые увидел дядю на пароходе, подходящем к речному вокзалу: «Поразило внешнее сходство с отцом и возникшее сразу же чувство родства...»

«Органы» с опозданием, но узнали о поездке Вадима Андреева. «К нашей чудной хозяйке тете Лизе явились сотрудники ГБ, — рассказывала Алла Александровна, — и стали расспрашивать:

— У тебя жили москвичи?

— Жили.

— А к ним приезжал кто-нибудь?

— Да, приезжал кто-сь.

— А кто?

— А я не знаю.

— Ну как не знаешь? Ну как фамилия тех, кто у тебя жил? И кто к ним приезжал?

— Да ня знаю я никаких фамилий. Хороши люди жили, хорош человек приехал, нямножко побыл, уехал, они тоже уехали. А я ня знаю куда. И фамилий ня знаю»675.

4. Бездомная осень

Пока они находились в Копанове, пришли бумаги о реабилитации. В справке из Военной коллегии Верховного суда говорилось: «Постановление особого Совещания при МГБ СССР от 30 октября 1948 года и определение Военной коллегии Верховного суда СССР от 17 ноября 1956 года в отношении АНДРЕЕВА Д. Л. отменены и дело прекращено». Начались хождения, добывание справок, чтобы прописаться, добиться жилья. Жить было негде и не на что.

Копановская болезнь даром не прошла. Он сетовал: «Что за мерзость — сердечные приступы с тяжелой рвотой, обмороки (неожиданно, например, в метро), а главное — безобразная ограниченность в движениях»676.

Пользоваться гостеприимством родителей жены Андреев хотел как можно реже. Двоюродному брату он так рисовал ситуацию: «Ал<ексан>др Петрович работает большей частью дома, в той же комнате; а у Аллы громоздкая оформительская работа; а мне для работы нужен покой и тишина; а нервы у всех никуда не годятся; а у нас с Юлией Гавр<иловной> были уже инфаркты; <...> а... еще 10 “а”»677. Теща, самоотверженно заботясь о дочери и зяте, все же поговаривала: «Избави нас, Боже, от гениев!»

Через неделю, проводив брата, они перебрались в Перловку, на дачу к Смирновым. Здесь он гащивал до войны в странноприимном флигельке с верандой. По словам их сына, с Андреевым дружили не только его родители, но и «бабушка по отцу, урожденная Долматова, и все их друзья и знакомые»678, и даже дед, некогда «сочувствовавший эсерам» и любивший книги Леонида Андреева.

У них продолжался «организационный», как Андреев его называл, период, так при жизни и не закончившийся. После прописки нужно хлопотать о компенсациях, о восстановлении пенсии, об инвалидности, о комнате — этим занималась жена. Езда в Москву из Перловки ее выматывала. Постоянной работы у нее не было. Наконец удалось найти — в Медучебиздате, но с заработком более чем скромным — на чай, хлеб и сахар. Удалось получить компенсацию, но сумма оказалась смехотворной. Планы не обнадеживали. Составленный в Копанове сборник «Босиком» — единственная соломинка, за которую он мог ухватиться, чтобы «всплыть на поверхность литературы». Но она казалась «попыткой, заранее обреченной, почти наверняка, на неудачу»679. В сборник он включил пятьдесят два стихотворения из разных циклов о природе, главным образом «трубчевские». «Роза Мира», ставшая первоочередным делом, продвигалась медленно, но почти ежедневно.

«Вечером, совершенно уже выдохнувшиеся, коротаем время у лампы, причем жена что-нибудь шьет или вяжет, а я читаю вслух Тагора или Диккенса»680, — сообщал он о дачной жизни.

«Должен признаться, вообще, что настроение очень пониженное, депрессия, свойственная маниакально-депрессивн<ому> психозу, началась на этот раз в апреле и до сих пор не поддается преодолению, тем более что внешние обстоятельства мало ему способствуют»681, — писал он Юрию Пантелееву, после экспертизы отправленному в Потьминский лагерь. Посылая ему деньги, извинялся: «Простите меня, пожалуйста, за микроскопичность денежн<ого> перевода. Как только наладится работа и мы хоть немного вылезем из всех дыр, я с огромной, величайшей радостью постараюсь быть Вам полезен»682.

Еще откровеннее письмо Морозовой: «Дорогая Татьяша, я не писал главным образом потому, что был загружен работой и каждый день после ее окончания был уже не способен ни на что. <...> Теперь на днях надо ехать к Чуковскому, но он живет в Переделкине, и я никак не могу собрать сил, необходимых на такую поездку. В Москве я за это время был один раз и потом едва донес ноги до Перловки. <...> Алла получила работу, приносящую мало денег, но неимоверное количество хлопот, разъездов и т. п. Она героически пытается совместить рисование плакатов, поездки в Москву, живопись (иначе ее выставят из МОСХа), уход за мной и хозяйство. В последнем огромную помощь оказывает Ир<ина> Усова, но через несколько дней она возвращается в Москву.

Настроение все время угнетенное...»683

Сыну Смирновых Андреев запомнился отчаянно курящим «дешевые крепкие пролетарские папиросы», с тронутыми табачной желтизной пальцами. «...Около его письменного стола всегда стояло ведро, полное окурков». И поскольку очень любил кошек, вспоминал Алексей Смирнов, «наши кошки все стаей собирались к Андрееву во флигель и постоянно сидели у него на спине, когда он писал, и спали на нем...»684.

Ирина Усова самоотверженно решила помочь, взяв на себя «возню с керосинками». Она, по ее словам, перенесла на это время отпуск, нашла в Перловке комнатушку поблизости от смирновской дачи. «К определенному часу они приходили ко мне обедать, после чего Алла уходила к себе, а мы с Даней отправлялись в ближайший лесок (Даня, конечно, босиком, несмотря на начавшиеся сентябрьские заморозки), расстилали одеяло, усаживались, и Даня читал мне свои “Миры возмездия”...»685

В солнечный день конца сентября Андреевы поехали к Чуковскому. Беседовали на верхней открытой террасе дачи. Корней Иванович, как всегда с гостями, был красноречив. На присутствовавшего при встрече поэта Льва Озерова Андреевы произвели впечатление людей изрядно намытарившихся. Портрет Даниила Андреева нарисован Озеровым через десятилетия, сквозь дымку времени и, очевидно, под воздействием

стихов «смуглого поэта», прошедшего огонь, воду и медные трубы. Но портрет верен.

«Передо мной сидел незнакомый мне человек, необычайно привлекательный даже при незнании того, кто он и какова его судьба. Было сразу же видно, что этот человек много страдал. Более того, все его непомерные страдания соединились, сплавились, ссохлись и перешли в новое качество. Это качество можно было определить как сосредоточенную духовность. Как выход от великомученичества и долготерпения к победоносному владению собой, своей судьбой, к прозрению путей России и мира.

Не скажу, что взгляд Даниила Леонидовича был отрешен и не интересовался встречей у Корнея Ивановича. Нет, Даниил Леонидович был здесь, он не только присутствовал, но и молча был включен в происходившее действо. Более того, его молчание было говорящим, быть может, даже незримо влияющим на ход беседы. Есть редкие характеры среди людей, характеры, которые обладают не столько искусством, сколько силой влияния на присутствующих. Ученые пустили в ход словцо — биополе. Можно это назвать и по-другому. Взгляд Лермонтова, по свидетельству современников, был словом, был действием самым решительным. Даниил Леонидович молчал. Алла Александровна молчала. Я помалкивал»[686].

Корней Иванович рассказывал о знакомстве с Леонидом Андреевым живописно и с пафосом, показал его письма. Помочь обещал и помог. Чуковский покорил Даниила Андреева: «человек очень добрый, отзывчивый и в высшей степени интеллигентный»[687]. Он передал ему повесть брата «Детство», с помощью Чуковского ставшую книгой. Вадим Андреев очень хотел издать ее на родине. Повесть — лучшее его сочинение. «Для меня самого знакомство с этой книгой имело очень большое значение, — писал Даниил брату. — В первый раз я уяснил себе трагедию чернореченского дома во всей ее глубине, многозначительности и сложности. Написана вещь превосходно...»[688]

В начале октября жизнь в Перловке осложнилась. «С наступлением холодов это местообиталище оказалось чревато рядом неудобств, — писал он Ракову. — Я из-за сердца могу ездить в Москву очень редко и только на несколько дневных часов. Каждая такая поездка — для меня целое предприятие. Зато Алла Ал<ександровна> героически мечется между Перловкой и Москвой, пытаясь продвинуть наши дела...»[689]

Благодаря протекции Чуковского появилась надежда на литературный заработок: обещано редактирование перевода для Издательства иностранной литературы. Но Даниил Андреев поглощен «Розой Мира». «Пока эта (или подобная) работа еще не отняла у меня досуга, спешу использовать его на работу для души; но это — нечто до того нескончаемое, что даже привставая на цыпочки, не вижу вдали ничего, кроме уступообразного нагромождения глав»[690], — сообщает он Ракову.

О том же пишет и двоюродному брату: «О Владимирском периоде я не жалею. Он дал мне столько, сколько я, суетясь в Москве, не получил бы и за 30 лет, но беда в том, что я принадлежу к тому сорту людей, которые, приобретя что-нибудь ценное, жаждут придать этому подходящую форму и поделиться с другими. Вот теперь и стоит передо мной задача — выполнить это при минимуме благоприятных внешних условий»691.

«Сухое, выточенное лицо аскета, седеющие волосы, трагический взгляд. Читал стихи глухим, слегка надтреснутым голосом, но он был полон жизни, энергии. Речь Андреева была одним сплошным монологом пророка»692 — таким запомнился поэт двадцатилетнему Алексею Смирнову, видевшему его не только читающим стихи, но и босым, убирающим листья в осеннем саду, идущим в лес в обвисшем плаще-реглане и с зонтом-тростью.

6 октября Андреевы поехали на Новодевичье. Коваленский добился разрешения на перезахоронение жены, привез из Потьмы прах Шурочки, и урну опустили в могилу ее родителей. Горькая церемония, известие о безнадежном состоянии Александра Доброва в инвалидном доме, не только о поездке к которому не могло быть и речи, но и о сколько-нибудь существенной помощи, встреча с молчаливым, болезненно задыхающимся Коваленским — все рвало душу.

В середине октября они перебрались в Москву. Сразу после этого Алла Александровна заболела и неделю пролежала с бронхитом.

5. Ащеулов переулок

С ноября они поселились в Ащеуловом переулке. Борис Чуков так описывал «местообиталище» Андреевых в доме 14/1: «Темный, неосвещенный двор в лабиринте сретенских трущоб, заваленный снежными сугробами. По краям сараи и двухэтажные развалюхи. Узкая, обледенелая тропинка приводит к перекошенной, резко хлопающей на сильной пружине двери. Темная, очень крутая, с резкими поворотами лестница. За узенькой площадкой крошечная комнатка с низким потолком»693.

Квартира, снятая в домишке, каких еще много оставалось в старых московских переулках, была тесной, но удобной — комнатка и кухня с втиснутой в нее ванной, газ, телефон. Стоила она дорого. «Долго вытянуть мы это не сможем, — писал Андреев Пантелееву. — Поэтому у нас созревает решимость — уехать на 1 ½ —2 месяца в Кишинев: там дешевле, теплее (жена все время хворает, ей противопоказаны холод и сырость) и спокойнее»694.

Здесь начавшейся зимой по вечерам он выходил, чтобы, не привлекая внимания, прогуляться босым. Эти прогулки вливали в него, как он уверял, новые силы. Но б*о*льшую часть дня приходилось работать полулежа.

Ноябрь и начало декабря продолжались хлопоты. Чтобы восстановить пенсию инвалида Великой Отечественной войны, пришлось пройти ВТЭК. 22 ноября Андреева признали инвалидом второй группы по причине, «не связанной с пребыванием на фронте», и дали пенсию — 347 рублей. Но только комната стоила 900. И у них не было ничего: «ни стула, ни стола, ни кофейника или сковородки — все чужое, временное»695. Они написали заявление в КГБ в связи с ничтожной суммой компенсации за конфискованное имущество. «Наиболее ценной частью нашего имущества была библиотека, состоявшая примерно из 2000 томов», — писали Андреевы, обращая внимание на то, что в официальных описях «отсутствует множество книг, представляющих наибольшую ценность».

Благодаря Чуковскому Андреев получил работу — перевод книги рассказов японской писательницы Фумико Хаяси. «Мне вручается приблизительный, не вполне подстрочный перевод рассказов одного японского писателя, а я должен придать этому переводу художественность. Задача не из легких, т. к. японский язык очень своеобразен: совершенно не схожий с нашим синтаксис, конструкция фраз, ассоциации, идиомы, — короче говоря, не вполне уверен, что смогу одолеть к 1 июля 20 печатных листов»696, — делился он с Пантелеевым. Подстрочным переводом занялся Зея Рахим. Работа шла со скрипом. Зея переводил косноязычно, упрощенно. Но его, твердившего о собственных талантах, издательству рекомендовал он сам, и отступление исключалось. Работа, привычная для литераторов-поденщиков, легко изготавливавших из подстрочников приемлемые тексты, для Андреева оказалась сложной. Да и не мог он, отложив «Розу Мира», день и ночь сидеть над рассказами Фумико Хаяси.

С изданием стихотворений не сумел помочь и Чуковский. Как передает Алексей Смирнов, Корней Иванович будто бы говорил, что для напечатания стихов нужно «два ваших подлинных стихотворения, а два — подленьких». На что Андреев отвечал: «А подленьких у меня нет»697.

В комнатку в Ащеуловом приходили друзья: Ивашев-Мусатов, Морозова, Киселева, Бокова, дочь Веселовских — Анна. С некоторыми он не виделся десятилетия. Заходили новые знакомые: восторженная, всегда приносившая гостинцы Алла Смирнова, в начале марта появился Борис Чуков.

В тюрьме Андреев соскучился по кино. «Как я мечтал увидеть хоть несколько кадров какого-нибудь хорошего фильма! И вот, представьте, — писал он жене Гудзенко, — за полгода, когда появилась возможность удовлетворить эту потребность, мы удосужились побывать в кино всего два раза — на “Дон Кихоте” и на “Лебедином озере”. Просто не хватает времени и сил: днем — времени, вечером — сил. И один раз побывали в Большом театре на “Ромео и Джульетте” с Улановой. Восхищению нет границ. Это не балерина, а что-то

большее»[698]. Еще видели мультфильм «Снежная королева» по Андерсену и цветной документальный фильм «100 дней в Бирме»: «Совершенно изумительна бирманская архитектура, — красота прямо-таки невообразимая, но, к сожалению, в фильме она показывается только мимоходом»[699]. Рядом на Сретенке находился кинотеатр «Хроника», и там они смотрели фильмы о Камбодже, Египте, Цейлоне.

Побывали в кукольном театре Образцова, где «смеялись до колик». В консерватории слушали Одиннадцатую симфонию Шостаковича. Жена вспоминала: больному Андрееву разрешили подняться в зал не по лестнице, а на служебном лифте. «Господи, как Даниил рассердился! Он сказал мне:

— Ну как ты не понимаешь, что не нужно мне этого лифта! Как ты не понимаешь, что, только поднявшись по этой белой лестнице, я почувствую, что вернулся из тюрьмы, только тогда будет освобождение. И мы пошли пешком. Он тяжело опирался на мое плечо, мы останавливались через каждые несколько ступенек, но поднялись — освободились, вернулись из заключения»[700].

Мнения их разделились: Алла Александровна была в восторге, а ему по-настоящему понравились «только отдельные места».

В начале декабря пришло горькое, впрочем, ожидаемое известие: 30 ноября умер Александр Добров. «Последние месяцы его жизни были превращены в сплошную цепь мучений благодаря сочетанию туберкулеза легких с циррозом печени. Умер, однако, тихо — спокойнее, чем можно было ожидать»[701], — писал Андреев брату в Нью-Йорк.

В декабре у Аллы Александровны стала расти опухоль, удаленная три года тому назад в лагере. В начале января ей сделали операцию, определив опухоль как фиброму. К тому же у нее обнаружились малокровие и базедова болезнь.

6. Письмо в ЦК

Рассказами Фумико Хаяси Андреев надеялся заняться в Доме творчества писателей в Малеевке, куда они приехали 14 января 1958 года. Путевку ему дали как сыну Леонида Андреева. Алла Александровна в Малеевку отправилась сразу же после снятия швов, чуть ли не из самой больницы, и первые дни по приезде лежала в постели. Потом поднялась и даже ходила на этюды. «Конечно, нас разглядывали: сын Леонида Андреева!.. Вышел из тюрьмы... — вспоминала она малеевские недели. — И все с изумлением смотрели, как я бегала зимой на этюды. Почти десять лет я прожила без живописи и теперь не могла остановиться. С нами вместе жил в Малеевке кто-то из Кукрыниксов, и он мне сказал: “Видно, до чего же Вы по живописи изголодались!”

С Малеевкой связано несколько забавных эпизодов.

Даниил там читал свою поэму “Рух”. На чтение к нам в комнату пришло человека четыре, из которых я помню только чью-то жену, тоже писательницу. Кто-то из них очень смешно отреагировал:

— Позвольте, это что... монархическая вещь?

Даниил ответил:

— Нет, это русская вещь.

Неожиданный переполох в писательской среде вызвало Данино хождение босиком. Он очень любил ходить босиком по снегу. Даже в тюрьме ему это разрешали. В Малеевке в те дни, когда Даниил чувствовал себя лучше, мы уходили подальше в лес, чтобы никто не видел, как он разувается.

Однажды в конце прогулки, когда Даниил уже обулся, недалеко от малеевского дома, выяснилось, что мы что-то потеряли. Я вернулась в лес, потом той же дорогой пошла обратно и вижу: стоит группа писателей, человек шесть, носами вниз: что-то разглядывают. Что же? Следы босых ног на снегу! Совершенно обмерев, прохожу мимо, а они серьезно рассуждают.

— В чем дело? Кто мог ходить по снегу босиком?

Наконец один из них догадывается:

— Знаете что? Кто-то пишет о войне, о гитлеровских пытках, о том, как водили на казнь босиком. Он хотел это прочувствовать сам, разулся и прошел!»[702]

От добропорядочных членов Союза писателей Андреев отличался, как марсианин. Худое индусское лицо, выражение нездешности, «босикомохождение», поэтическая симфония со святорусским синклитом, уицраором и демонами. А кроме того, он курил махорку, которую курить в Доме творчества было немыслимо, рассказывала Алла Александровна. «Что делать? В то время продавались пустые гильзы. Я их покупала, а Даниил набивал махоркой и складывал в коробку от дорогих сигарет. И вот мы сидим в холле вдвоем. Даниил курит махорочную “сигарету”. Мимо проходят какие-то писательские дамы, и я слышу, как одна говорит другой: “Какой прекрасный табак!”»[703]

Из Малеевки Андреев прежде всего написал Шульгину, адрес которого наконец-то удалось узнать. Письмо начиналось с вопроса: «В чем Вы нуждаетесь?»

Малеевка показалась ему райским уголком, где все создано для творчества. Он писал Татьяне Морозовой о «райской жизни»:

«Встаем часов в 9; сперва — всякие туалеты, завтрак и пр., потом идем на процедуры и на прогулку, причем Алла — с этюдником, а я — с пустыми руками. Она находит где-нибудь живописное местечко и располагается там со своим художническим скарбом, а я разуваюсь и ухожу бродить по лесу. Места здесь дивные, но санаторий с трех сторон, как подковой, окружен маленькой речкой, протекающей по очень глубокому оврагу. Это очень красиво и мило, тем более что склоны оврага поросли лесом, но с моим сердцем я предпочел бы более плоскую местность. Гуляю я минут 40, после чего иду работать. В третьем часу — обед, потом опять работа — до ужина. Перед ужином опять прогулка. После ужина, по большей части, смотрим кино. Видели несколько

хороших фильмов: “Искусство друзей” (о фестивале), “Фанфан-Тюльпан” и в особенности итальянский фильм “Вор и полицейский”: изумительная картина!

Читать — не хватает времени. За 11 дней я успел только перечитать “Князя Серебряного”, случайно попавшегося в здешней библиотеке.

Кормят очень хорошо. Мы стараемся съедать все, что дают, но это не всегда удается. <...>

Публика здесь (как и персонал) — вежливая, — вечные улыбки и раскланивания, — но малоинтересная. Из “знаменитостей” — Кукрыниксы, ленинградская писательница Марич, обогатившая нашу литературу беспомощным романом “Северное сияние”, и один известный кинооператор»[704].

Читая здесь поэму, он не мог не почувствовать настороженное отношение и не задуматься о том, что мнение «Даниил Андреев пишет монархические вещи» может мгновенно дойти до «органов». И хотя времена изменились, стали издавать Достоевского и Леонида Андреева, можно, пусть вполголоса, говорить о Пильняке, Клюеве и Мандельштаме, новое «дело» реально. Второго ареста они не переживут, все написанное последует за «Странниками ночи» в казенные печи. А лубянские тени, кружившие в Малом Левшинском переулке, возможно, уже кружат и в Ащеуловом.

«Даниил требовал, чтобы я уничтожала все письма, которые мы получаем, — признавалась Алла Александровна. — Он говорил: “Если заберут еще раз, не хочу, чтобы хоть один человек попал с нами. Ты понимаешь, что одно письмо от твоей подруги может стоить ей второго срока?! Все жги! Все уничтожай! Нам никто не пишет. С нами никто не связан. Вот кто-то заходит из москвичей, приносит картошку, деньги — и все”.

Как потом оказалось, Даниил был прав. Недолгое время, пока мы жили в Ащеуловом переулке и он мог еще ходить, у нас бывала Аллочка, милая молодая девушка, <...> жившая неподалеку. Поздними вечерами она выводила Даниила на прогулки. В темноте он мог гулять босиком. Аллочку начали вызывать в ГБ с расспросами о нас. Она тогда ничего нам не сказала, просто потихоньку отошла, перестала у нас бывать и рассказала мне об этом много лет спустя.

Даниил требовал, чтобы я никому не говорила о том, что он пишет, особенно о “Розе Мира”»[705].

По свидетельству Чукова, рукописи самых крамольных стихотворений Андреев уничтожал. Но крамольным казалось чуть ли не все написанное.

Он решил хоть как-то обезопасить себя. По возвращении из Малеевки написал письмо в ЦК КПСС и отправил туда, кроме прочитанного писателям «Руха», рукописи поэм «Гибель Грозного», «Немереча», «Навна», циклов «Святые камни», «Зеленая пойма», «Босиком», «Древняя память», «Лирика» и «Миры просветления». Выбор продуман:

«Симфония городского дня» или «У демонов возмездия» стали бы самодоносом. Продумано и письмо:

«Я обращаюсь в ЦК КПСС со столь необычным делом, что должен сопроводить свои рукописи, об ознакомлении с которыми прошу ЦК, письмом, излагающим причины такого обращения.

Почти вся моя сознательная жизнь была связана с литературным творчеством. Я был художником-оформителем, позднее написал для Географического издательства две научно-популярные книги, а в настоящее время редактирую сборник рассказов, переведенных с японского. Но всегда, параллельно с этой работой, я занимался художественной литературой. При этом я писал так, как мог, и то, что мог, не сообразуясь с конъюнктурой, и о печатании своих вещей я долгое время не задумывался, так как не считал их доведенными до надлежащего художественного уровня.

В 1947 году я был арестован, а все рукописи мои сожжены. После 10 лет тюремного заключения я был освобожден и реабилитирован.

Среди моих погибших рукописей было несколько тетрадей с лирическими стихотворениями и поэмами и большой роман, над которым я работал много лет. Восстановить эту вещь, конечно, невозможно: память не может хранить столько времени такой объемистый материал. Некоторую часть погибших стихотворений я восстановил по памяти еще в тюрьме и доработал их. Их снова у меня отбирали и уничтожали — или просто теряли, — я их снова восстанавливал и, кроме того, писал новые вещи. В условиях тюремного режима, созданного Берия и его сообщниками, некоторые из этих вещей тоже погибли.

Кроме черновиков и набросков у меня сейчас имеется ряд рукописей, приведенных в доступный для прочтения вид. Копии наиболее законченных из этих вещей я представляю в Центральный Комитет вместе с этим письмом, надеясь, что с моими вещами ознакомится кто-либо из ответственных работников ЦК. При этом, однако, надо иметь в виду, что некоторые из моих вещей (поэмы “Гибель Грозного”, “Рух”, “Навна” и др.) со временем должны войти как составные части в большую книгу. По форме она будет представлять собой поэтический ансамбль, а тематика ее связана с проблемами становления русской культуры и общественности.

Поэтому перечисленные поэмы следует рассматривать не как замкнутые в себе, автономные произведения, а скорее как звенья в единой цепи, хотя эта цепь — будущий поэтический ансамбль — еще весьма далека от завершения.

Причина моей просьбы об ознакомлении Центрального Комитета с моими работами — то фальшивое и психологически невыносимое положение, в котором я нахожусь.

Я не могу забыть, что в 1947 году на основе моего уничтоженного, к сожалению, романа было выстроено абсурдное обвинение, стоившее

многих исковерканных лет мне и целому ряду людей, виновных в том, что они знали кое-что из написанного мною. Двум из моих близких эта история стоила жизни. Этот факт никогда не сможет стереться из моей памяти. Я вышел из тюрьмы больным, с совершенно расшатанной нервной системой. И хотя я вполне отдаю себе отчет в благотворных переменах, происшедших за эти годы, и в строгом соблюдении законности, отличающем теперь деятельность органов Госбезопасности, но травмированность пережитым часто вызывает в душе беспокойство и тревогу: неужели когда-нибудь смогут возобновиться слежка и травля: “А что это пишет у себя ‘тайком’ Даниил Андреев”.

“Тайком” я не пишу ничего. Но я теряюсь: имею ли я право читать свои вещи, до публикации большинства которых дело дойдет нескоро, хотя бы самому ограниченному кругу слушателей — людям, причастным литературе и чей критический разбор был бы мне нужен и полезен. Больше того, — я даже не понимаю, что я должен отвечать на естественные вопросы окружающих: пишу ли я, и если — да, то что пишу.

Вряд ли нужно объяснять, что жить, не разговаривая с людьми и скрывая буквально от всех свое творчество, — не только тяжело, но и невыносимо. Это и вредно, — во всяком случае, для автора и для его творчества.

Этим и объясняется моя просьба к ЦК — ознакомиться хотя бы с основными моими поэтическими произведениями».

Письмо он отправил 12 февраля, а 26-го его вызвали в ЦК. На другой день он писал Ракову: «Разговор велся в самом благожелательном тоне. Мне было указано, что нет никаких оснований мне “таиться” с теми фрагментами большой книги, которую я давно начал, окончу, вероятно, года через два-три. Печатать отрывки, вроде “Грозного” или “Руха” — не стоит, пока книга не закончена, но не нужно и вредно избегать ознакомления с этими вещами тех литературных кругов, где я могу встретить товарищеский разбор и серьезную квалифицированную критику. Должен признаться, что эта беседа сняла с моей души порядочный груз».

Другим грузом стала болезнь жены. После возвращения из Малеевки они узнали, что удаленная опухоль — раковое образование. Началась рентгенотерапия, и она две недели ездила на другой конец Москвы на процедуры, а возвращаясь, ложилась без сил.

Дела с получением комнаты не двигались. Множество реабилитированных, получивших бумагу, что их безвинно и бессудно держали в лагерях и тюрьмах, толкались по приемным, стояли в очередях, писали заявления. Для маломальского восстановления справедливости требовались влиятельные ходатайства, связи, начальственные звонки. 31 марта они отправили заявление «В президиум сессии Верховного Совета СССР пятого созыва», в нем писали: «Состояние здоровья лишает нас возможности с необходимой энергией

настаивать в Райжилотделе на немедленном предоставлении полагающейся нам по закону жилплощади».

Денег — не хватало. «Живем фактически в долг, причем без сколько-нибудь четких надежд, на что и как вылезем из этой трясины. Пока что погружаемся в нее глубже и глубже», — писал Андреев Гудзенко и жаловался на неудачу с японскими рассказами: «Абсолютно не понимаю, кому и для чего нужен их перевод на русский. Работа скучная, поглощающая много времени, оплачиваемая весьма скупо, а временами противная.

Опора — только внутри себя. Внешние тяготы жизни остаются тяготами, но я далек от тенденции придавать этим трудностям космическое значение. Есть внутреннее пространство, есть страны души, куда не могут долететь никакие мутные брызги внешней жизни»706.

7. Больница

Весной началось обострение стенокардии и атеросклероза, и 16 марта он слег. В одной комнатке оказалось двое больных. Ему запретили двигаться, заниматься рекомендовали не больше часа в день. Жена после рентгенотерапии лечилась от ожога и еле ходила. Выручали друзья и неутомимая Юлия Гавриловна. Японские рассказы измотали, он жил надеждой к 1 мая сдать в издательство законченные четыре рассказа — отработанный аванс и, если возможно, расторгнуть договор. Воодушевляло, что их денежные дела неожиданно поправились.

Через Союз писателей удалось выхлопотать Даниилу Андрееву, как сыну Леонида Андреева, персональную пенсию. А еще, несмотря на то, что право наследования истекло, получить гонорар за отцовскую книжку рассказов, правда, совсем небольшую. С 1956 года после многолетних перерывов Леонида Андреева стали издавать все чаще. «Очень многое делала для нас Шурочка, первая Данина жена. А по инстанциям ходила я, — свидетельствует Алла Александровна. — Мы получили деньги весной 58-го года, сорок тысяч. Их хватило на последний год жизни Даниила»707. Пенсию назначили — 900 рублей.

Получив деньги, Андреев отправил 300 рублей матери Слушкина, чтобы она могла съездить к сыну, 200 — жене Гудзенко. Он не забывал ни о ком. Просил Чуковского помочь Шульгину вернуть конфискованные рукописи романа «Чудесные приключения князя Воронецкого» (они были сожжены по указанию начальника тюремного управления МВД еще в 1948-м), и тот написал Ворошилову708. Правда, письмо, пересланное в КГБ, осталось без ответа.

С середины апреля Андреев опять оказался в Институте терапии. «Обстановка здесь сносная, но мне так опостылела всякая казенщина (вспомним Владимир), что я жду не дождусь дня, когда меня отсюда выпишут, — писал он Ракову, его понимавшему, тот и сам, попав в больницу, соседей по палате называл сокамерниками, — Алла Ал<ександровна> навещает меня через день и через силу. <...> Меня же

пичкают всякими медикаментами, колют в вены и мускулы (хотя, казалось бы, таковых уже не осталось), и мало-помалу я начинаю вставать с одра»709.

Алла Александровна не только навещала мужа, но и неутомимо, стиснув зубы, выхлопатывала комнату. Добилась резолюции председателя Президиума Верховного Совета Шверника, организовала ходатайство Союза писателей, подписанное Сурковым и Леоновым, относила заявление за заявлением в нервно-психиатрический диспансер, в райсобес, начальнику районного жилищного отдела, председателю райисполкома.

Уже в больнице Андреев получил ответ из журнала «Знамя», куда отнес в начале марта стихотворения из сборника «Босиком». Поэт Константин Левин, сам не избалованный печатанием, в отзыве многое отметил точно: «Странное впечатление производят стихи Даниила Андреева. С одной стороны, нисколько не сомневаешься в том, что перед тобой по-настоящему талантливый поэт, и удивляешься тому, что никогда не встречал в печати это имя». С другой, рецензент, процитировав: «Моя веселая заповедь: / Обувь возненавидь!» — высказывал удивление, что «больно уж настойчиво возвращается Андреев к “вопросу об обуви”». Взглянувший лишь на фрагменты, обрывки его «поэтического ансамбля», он не мог воспринять их как целое и увидел в призыве к «общению с природой» «оттенок преувеличенности». Сопровождавшее отзыв Левина письмо завотделом поэзии Дмитриевой отказывало вежливо, с недвусмысленными подчеркиваниями: «невозможны стихи без визы времени», «необходимо пополнить сборник новыми сегодняшними стихами». «Как и следовало ожидать, из моих попыток в этом направлении ничего не получается, — констатировал Андреев, понимавший, что время его стихам не пришло, что он вестник — иного дня. — А что я им еще покажу? “Грозного”? “Рух”? “Навну”?»710 На последующее письмо в редакцию Дмитриева ответила еще определеннее: «Журналу нужна поэзия с четким пульсом времени, актуальная и поэтически, и политически».

В больнице было тихо, покойно. Он любил глядеть в большое окно, на ветки раскидистого клена, которые неприметно стали набухать почками, а перед его выпиской зазеленели. Здоровье за два с лишним месяца лежания и лечения улучшилось ненамного: «Если и встаю, то на самое малое время, и не для того, чтобы ходить, а чтобы сидеть, — жаловался он Тарасовым, мечтая еще раз побывать у них в Измайлове. — А всего хуже то, что столь же ограничен я сейчас в своих возможностях работать и — что еще глупее — общаться с людьми. Врачи требуют, чтобы я возможно меньше разговаривал. <...>

И все-таки месяц, проведенный в больнице, принес некоторое улучшение. Через недельку меня, кажется, выпишут...»711

8. Плаванье

Когда-то их венчание задержало отсутствие колец, потом арест. Теперь наконец кольца, «самые дешевые, тоненькие», куплены, на 4 июня назначено венчание. В шаферы пригласили Бориса Чукова, в дружки — дочь Татьяны Морозовой Веру.

Чуков описал день венчания: «В означенный час я вручил А. А. в Ащеуловом переулке огромную охапку выращенных моей мамой тюльпанов. А. А. была в белом подвенечном платье. Д. Л. и А. А. отправились в церковь Ризоположения на Донской улице, согласно древнему обычаю, разными путями. Д. Л. и я прошли из Ащеулова до тогда еще не снесенной Тургеневской библиотеки пешком и сели в стоявший ЗИМ (такси на стоянке не было). В машине Д. Л. мне сказал, что накануне они исповедовались и причащались, и после каждого посещения церкви сердечные боли, которые не оставляли обычно его в покое, сразу же на некоторое время проходят»[712]. Чуков замечает, что, когда они ехали в храм, Даниил Леонидович попросил водителя выбрать такой маршрут, чтобы не проезжать мимо здания КГБ...

Храм конца XVII века был нарядным и тихим. Венчал протоиерей Николай Голубцов. Старый знакомый Малахиевой-Мирович и Веселовской, а значит, и Андреева. «Низким контральто замещала хоровое пение дьяконица, Вера и я держали тяжелые венцы над головами брачующихся. Более никого на венчании не было, — повествует Чуков. — По завершении венчания я побежал за такси и наткнулся на стоявший рядом все тот же ЗИМ, на котором мы вчетвером отправились обратно в Ащеулов переулок». Мнительному шаферу даже показалось, что дождавшийся обвенчанных автомобиль подослан вездесущей Лубянкой.

Вернувшись, «сели за крохотный обеденный стол, — вспоминает Чуков подробности. — Скудная еда — что — не помню. Кубинского рома в пол-литровой бутылке едва хватило на четыре рюмки. Да и рюмок не было: разрозненные чашки и граненый стакан. Чтобы придать всем бодрости, Д. Л. обратил наше с Верой внимание на фигурку туземца в речной пироге с цветастой бутылочной этикетки»[713].

Какие бы «еретические» картины ни изображал Даниил Андреев в «Розе Мира», к православной церкви он относился с благоговением. И венчание для них стало таинством особенным, осенив и вместе пережитое, и грядущее, и вечное церковным светом. Об этом написала Алла Александровна: «Мы предстали пред Господом для венчания, уже пережив все: и десять лет дружбы, и войну, и тюрьму, десятилетнюю разлуку, встречу после разлуки, осознанное единомыслие, потому что я всегда была рядом и понимала, с кем я рядом. Поэтому наше венчание было настоящей клятвой перед Богом»[714].

Через день они отправились в свадебное путешествие. Провожали их несколько друзей. Татьяна Морозова принесла букетик ландышей. Пароход «Помяловский» по маршруту Москва — Уфа отплывал

из Южного порта, отсюда же они плыли в Копаново. Рейс — по Москве-реке, Оке, Волге, Каме, Белой и обратно.

Подплывая к Уфе, он писал Татьяне Морозовой:

«Плывем... плывем!.. плывем!!!

Б*о*льшую часть времени стоит чудесная, солнечная, даже жаркая погода, хотя были и ненастные дни. Берега сказочной красоты. Такой красоты, что мы не в состоянии ни читать, ни писать, ни работать, а только смотрим по сторонам, стараясь впитать это великолепие. Неинтересен был только первый отрезок пути — до Шилова. Волга грандиозна, Кама сурова и великолепна, а Белая так прелестна, что в любом месте хочется остановиться и пожить там. К сожалению, это невозможно прежде всего потому, что нечем питаться. В смысле продуктов пристани так пусты, будто здесь прошел Мамай.

Из городов нам понравились Касимов, Муром и в особенности Горький. Совершенно разочаровала Казань. А дальше идут не города, а жалкие дыры. Исключение составляет, кажется, только Уфа.

Питание на пароходе очень неважное и безумно дорогое. Живем не то что впроголодь, но, во всяком случае, недоедаем. Жалеем, что пренебрегли мудрыми советами и мало взяли из Москвы.

Другое несчастие — радио. Часть пассажиров против него, часть индифферентна, а команде скучно стоять на вахте в тишине. Поэтому значительную часть времени мы едем, оглашая речные просторы какофонией»715.

Уфа исключением не стала: «Местоположение ее изумительное, но город сам по себе малоинтересен; великолепная Белая загажена нефтью и мазутом. Есть хороший музей с картинами Нестерова, Левитана, Поленова, Головина и с небольшой, но, по-моему, очень ценной коллекцией икон»716, — писал он уже после Уфы Грузинской, тете Шуре, первой незабвенной учительнице. В Уфе пробыли две ночи и день, оказавшийся занятым добыванием обратных билетов, запасанием продуктов.

В плавание они познакомились и подружились с Ириной Владимировной Бошко, учительницей литературы из Киева. Андреев читал ей стихи. Довоенный ученик Бошко поэт Наум Коржавин в мемуарах называет ее порядочнейшим и тонким человеком из «старинной интеллигентной семьи»717.

Собираясь в дорогу, рассчитывали поработать: взяли и пишущую машинку, и этюдник. Но на машинке писались главным образом письма, а Алла Александровна сумела сделать лишь несколько небольших этюдов темперой. Чаще всего они с восторгом глядели по сторонам, переходили с борта на борт, стараясь увидеть как можно больше.

В письме брату он так описал плавание: «Необозримые заливные луга сменялись песчаными обрывами, белыми утесами, лесистыми горами и красными кручами. Возникали и исчезали старинные города с дивными церквами, большие речные порты с кипучей жизнью, деревушки

на гребнях холмов или на зеленых полянах, и всюду хотелось остановиться, поваляться по этой мягкой траве, пожить среди этого народа. Горький, Уфа, Казань, Кострома, Ярославль, Углич — сейчас все эти картины кажутся уже прекрасным сном. Особенно пленил нас Ярославль — тихий, с тенистыми бульварами, изумительной архитектурой, необыкновенно индивидуальными, полными очарования улицами — чистый, заботливо содержимый, насыщенный историческими воспоминаниями и в то же время живущий всей полнотой жизни. А какие храмы 15—17-го века! Когда подплываешь к нему с востока, он возникает во всей своей русской красоте, как чарующая сказка, как Китеж»718.

Впечатлило утро у Ярославля. «Если рано утром снизу подплывать к Ярославлю, то первое, что видишь, — это дивные ярославские храмы. Так как они стоят на высоком берегу реки, а утром от воды поднимается туман, то кажется, что храмы эти появляются в небе, прекрасные, белые, совершенно неземные. Чтобы увидеть это, нужно подниматься к Ярославлю по Волге снизу и обязательно очень рано утром. Оба мы радостно замерли и долго молча сидели, пока не миновали это чудо»719, — вспоминала Алла Александровна.

В то утро и явился замысел предпоследней главы «Русских богов» — «Плаванье к Небесному Кремлю». Плаванье по русским рекам мимо небольших пристаней и молчаливых деревень, мимо заливных лугов и сосновых лесов на высоких берегах, мимо древних волжских городов — Углича, Ярославля, Костромы и тех, что на Оке, Каме и Белой, на Днепре... Мимо Трубчевска и Новгорода-Северского по Десне... Там должны были струиться и совсем малые речки, такие как Нерусса и Навля... Их течение вместе с течением поэмы выводило речную Русь к Небесному Кремлю — средоточию Небесной России. Позже Ирине Бошко он писал в Киев о замысле поэмы: «Реализма в ней будет очень мало, а во второй половине он и вовсе заместится фантастикой — лучше сказать — метаисторией и трансфизикой. Только в начале предполагаются кое-какие приятные ландшафты, похожие на то, что все мы видели по берегам»720.

А заключительная глава поэтического ансамбля — поэма «Солнечная Симфония» — должна была ввести Русь во Всечеловеческое Братство и Всемирную Церковь.

9. Последние кочевья

В Москву они вернулись 23 июня и отправились в Измайлово. Дописывалась одиннадцатая книга «Розы Мира», «К метаистории последнего столетия», под ней дата — 5 июля 1958. «Помню, что Даня в основном лежал на раскладушке на открытой террасе в саду. Погода была солнечная, теплая... Он просматривал рукописи, отпечатанные на машинке...»721 — так запомнился их приезд дочери Тарасовых. После Измайлова три дня они прожили у родителей.

Еще перед отплытием строились дальнейшие планы. Квартирка в Ащеуловом покинута навсегда. Несколько дней в Москве на неотложные дела, и снова в путь. Планы, куда ехать, все время менялись: то на Сенеж или в Звенигород, то в деревню в Смоленскую область, а в начале сентября в теплые края — на Кубань или в Молдавию, где неплохо пробыть до ноября. Но так же неожиданно, как отплыли в Уфу, они отправились в Переславль-Залесский, увлеченные «поэтическими преувеличениями Пришвина и некоторых знакомых художников»722.

Переславль-Залесский, куда они приехали 6 июля, разочаровал, окрестности показались голыми. Алла Александровна к выставке «Советская Россия» должна была написать несколько подмосковных пейзажей. Но писать, оказалось, здесь нечего, кроме превращенного в музей монастыря и старых храмов, а они для выставки — как стихи Даниила Андреева для советской печати — не годились. Они едва не отправились обратно. Но деньги на дорогу были потрачены, представили нелегкий для больного сердца путь в душном автобусе — и остались, перебравшись через два дня в деревню Виськово на берегу Плещеева озера. Не радовала первые дни и погода, нахмуренная, прохладная, плохо на него действовавшая.

Новое кочевье он описал в письме Ирине Бошко: «Весьма возможно, что при Невском этот городок и стоило прославлять (от тех времен сохранился, по крайней мере, белый одноглавый собор и еще нечто, о чем местные патриоты в один голос говорили нам так: “Вы непременно должны посмотреть вау”. — “Что значит ВАУ? — спрашивали мы. — Что это за сокращение?” — “Да нет, нет: вау, вау, городской вау”. Оказалось, что речь шла о земляном вале, похожем на железнодорожную насыпь, но датируемом XIII веком). Позднейшие эпохи, вплоть до XVIII столетия, оставили после себя несколько чудесных церквей, ныне требующих немедленного ремонта и наказания тех безобразников, которые превратили их в мастерские и хлебозавод, и целых 4 монастыря, — из них один теперь называется музеем, а остальные мало-помалу превращаются в руины. <...>

Комнатка у нас чистенькая, хозяева очень симпатичные. Окна выходят на поросшую травой улицу. Большой недостаток — отсутствие сада. Из-за этого приходится все то время, которое не удается посвящать прогулкам за 3—4 версты, проводить в комнате, за пиш<ущей> машинкой или с книгой. Что же касается Аллы, то она первую неделю носилась по всей округе с этюдником, по своему обыкновению не соразмеряя своих желаний со своими силами, а теперь под действием наступившей пасмурной погоды приуныла и мучается невритными болями»723.

Как и в Копанове, электричества в Виськове не было, вечерами зажигали керосиновые лампы, готовили на керосинке. Здесь Алле Александровне самой пришлось делать мужу уколы. Она рассказывала: «В одно из пребываний Даниила в больнице медсестра сказала мне:

“Если Вы при таких сердечных приступах, которыми он страдает, будете вызывать неотложку и рассчитывать на ее помощь, вы потеряете мужа через неделю. Давайте-ка я Вас научу делать уколы. Если сами будете колоть, как только ему становится плохо, сколько-то он еще проживет”.

Она учила меня делать уколы в подушку. И вот когда мы попали в Виськово, мне пришлось сделать мой самый первый укол. Даниил сказал:

— Листик, мне плохо, нужен укол.

Я вскипятила на керосинке шприц и иголку, набрала лекарство, как мне показывали, протерла руку спиртом и уколола первый раз в жизни живого человека, и еще какого — любимого. Уколола, громко заплакала и выдернула иголку. Было очень страшно. А Даниил меня успокаивал:

— Ну, чего ты испугалась? Делай укол спокойно, все правильно.

Так я, всхлипывая, сделала первый укол. Потом я колола еще много, иногда по два раза в день»[724].

Когда погода наладилась, облака унесло, воцарило июльское солнце. Окна смотрели на широкую, поросшую клочковатой травой улицу, шедшую к озеру, на светящиеся закаты. Андреев б*о*льшую часть дня сидел за пишущей машинкой, отдыхая, брал книгу. Ходить далеко ему стало трудно, а рядом не росло ни деревца. Не манил и плоский берег пообмелевшего озера. И все же иногда он отправлялся с женой на этюды. «Гуляя как-то в ближнем лесу, — рассказывала она, — мы встретили дикую горлинку на дороге. Там, в оврагах, были удивительные иван-чай и летняя медуница. Цветы стояли выше нас ростом. Господи! Как Даниил радовался! Как он всем этим цветам радовался!»[725] В том же лесу он обнаружил «часовню, построенную ровно 400 лет назад Грозным на том самом месте, где родился Федор Иоаннович»[726].

Однажды они отправились в монастырь Даниила Переславского, в честь которого крещен Даниил Андреев. Монастырь занимала воинская часть. «На нас очень строго и неприязненно смотрели вахтенные в воротах, — описывала Алла Александровна это паломничество. — Разумеется, о том, чтобы попасть внутрь, не могло быть и речи. В воротах мы увидели только остатки облупленных фресок и часть лика, смотревшего на нас удивительными глазами»[727].

В начале августа небо заволоклось, начались дожди, ему стало хуже. Слегла на неделю с жестокой простудой жена. Но все полтора месяца в Виськове он занимался «Розой Мира» и, как сам считал, наверстал упущенное, к зиме собираясь «отдаться поэзии». Радовался работам жены: «Алла везет в Москву 4 картины и десяток этюдов. К сожалению, 2 по-настоящему удачные картины никак не подходят для выставки по своей тематике; одна — старинный монастырь, другая — буйные заросли иван-чая и пресловутой медуницы в глубоком овраге»[728].

Занятый работой, он здесь успел прочесть роман Веркора «Люди или животные?», «в утопической форме ставящий ребром вопрос о грани между животным и человеком и о том, есть ли какой-нибудь совершенно

бесспорный признак — физиологический или психологический, — отличающий человека от остальных видов». В нем, писал он Пантелееву, «выдвигаются, анализируются и отбрасываются один за другим всевозможные признаки, пока автор не приходит наконец к заключению, что единственным признаком приходится признать религиозный дух в самом широком смысле этого слова, со включением науки в круг охватываемых им понятий»729.

Мысль французского романиста о «религиозном духе» как о главенствующем человеческом свойстве казалась ему само собой разумеющейся. Роман-размышление его не увлек. Сам он в «Розе Мира», в главе «Отношение к животному царству», шел дальше. Необходимо совершенно новое этическое отношение к живому, говорил он и выдвигал программу духовного просветления животного мира, перед которым люди очень виноваты. Нужны новые направления науки — зоопсихология и зоопедагогика. «Лев, возлежащий рядом с овцой или ведомый ребенком, — отнюдь не утопия. Это будет. Это — провидение великих пророков, знавших сердце человечества».

В Виськове он работал над завершающей книгой «Розы Мира», начинавшейся с главы «Воспитание человека облагороженного образа». Это главная задача человечества — гармонизироваться на пути к Розе Мира. Здесь Андреев следует Достоевскому, мечтавшему «о положительно прекрасном человеке». В мае он посмотрел фильм «Идиот» и восхитился главным героем: «Мышкин совершенно бесподобен, едва ли даже не лучше, чем у самого Достоевского. Это настоящий шедевр. Ничего подобного я в кино еще не видал»730.

Последовательно нравственный человек грешным людям кажется сумасшедшим, идеал подобного человека — наивным. Осознавая утопическую сверхчеловечность своих поэтических проекций, автор «Розы Мира» стоит на своем, он провидит «такого человека»: «В легкой одежде по цветущей земле идет он, ее сын, ее друг и ее преобразователь, старший друг птиц и зверей и собеседник ангелов, строитель прекраснейших городов, совершенствователь гор, лесов и пустынь, хозяин планеты-сада».

Перед отъездом ему сделалось совсем плохо. В Москву он вернулся в полулежачем состоянии и в Подсосенском слег. Уколы и лекарства должны были восстановить силы для дальней дороги. Они собирались на осень в Горячий Ключ, куда Алла Александровна получила путевку от Союза художников, рассчитывая, что при ровной южной погоде мужу станет лучше.

Лежа на диване тестя, Андреев начал читать недавно вышедший в Ашхабаде перевод «Махабхараты» академика Смирнова и был буквально в восторге. «...Перед бездонной философской глубиной и колоссальностью всей концепции “Махабхараты” меркнет не только Гомер, но и решительно все, что я знаю, исключая, пожалуй, “Божественную комедию”, — делился он позже впечатлением со своей

старой учительницей. — Но то — создание одного лица, великого гения, глубокого мыслителя и притом воспользовавшегося религиозно-философской концепцией, в основном сложившейся уже до него. Здесь же — фольклор, обширное создание множества безымянных творцов из народа, и это особенно поражает. Что это за беспримерный, ни с кем не сравнимый народ, способный на создание таких сложнейших философских, психологических, религиозных, этических, космогонических философем и на облечение их в ажурную вязь великолепного, утонченного стиха! Перестаешь удивляться тому, что именно Индия выдвинула в наш век такого гиганта этики, как Ганди, единственного в новейшие времена государственного деятеля-праведника, развенчавшего предрассудок о том, что будто бы политика и мораль несовместимы»731.

Перед отъездом его навестил Борис Чуков. «Низковатый, глухой, с хрипотцой голос говорил мне, — вспоминал он, — насколько мучительны терзающие его сердце думы об опасности мировой войны, гибельной для нашей цивилизации»732. Он передал Чукову цикл «Предварения», тот взялся переснять машинопись и размножить. Потом, «превозмогая острую сердечную боль, задыхаясь», прочитал ему «Ленинградский Апокалипсис».

10. Горячий Ключ

Горячий Ключ — поселок в предгорьях Кавказа к югу от Краснодара. Место курортное, живописное — горы, поросшие дубовыми лесами, речка Псекупс, приток Кубани, сбегающая с гор и успокоенно петляющая у их подножий по долине. Название поселку дал термальный источник.

Дом творчества художников размещался внизу и рядом с источником, от испарений которого Андрееву стало плохо. А кроме того, писал он Гудзенко, «жить в этом доме оказалось невозможно; неумолчное радио, по вечерам — баян, — словом, условия, не совместимые с лит<ературной> работой. В конце концов, поселились на горе над городком Горячий Ключ, напоминающим отчасти станицу, отчасти курорт. Здесь воздух чище и суше, меньше вредных для сердечника испарений сероводорода, стелющихся по долинам»733.

Переехали они в дом семьи Гречкиных, в комнату с кухней и отдельным входом. После Виськова условия казались идеальными. Отсюда открывался сине-зеленый с начинающими появляться вблизи желтинками горный простор, с долиной внизу. Вдоль нее, у подножий, вытягивались тонкие волокна тумана.

Он уже почти не мог ходить. «К сожалению, к букету моих недугов присоединилось еще одно прелестное заболевание: астматический бронхит, не дающий нормально дышать и спать... — описывал он свое состояние. — Мне нельзя умирать, не закончив хотя двух частей моей работы. Ведь я располагаю таким худож<ественным> материалом,

которого нет больше ни у кого, и это накладывает определенные обязательства. Если ничего катастрофического не случится, I часть я закончу совсем скоро, но для второй требуется еще год жизни в состоянии не худшем, чем теперь. Третья часть потребовала бы тоже года или полутора. Поэтому приходится гнать, если к тому есть хоть малейшая физическая возможность.

В дни улучшения и хорошей погоды (а эти 2 явления находятся в тесной взаимосвязи) я лежу на топчане под яблоней (вот и сейчас так), любуюсь на дальние горы, одетые пожелтевшим лесом, и, сколько могу, стрекочу на машинке»734.

Первые дни здесь он «увлекся стихами», признаваясь, что на них уходит весь запас энергии. Выстраиваемый ансамбль «Русских богов» менял состав глав, одно исключалось, другое дописывалось. Он считал, что для завершения книги нужно четыре или даже пять лет, и чувствовал, что этого времени у него нет. Здесь он закончил задуманную три года назад, в тюрьме, поэму в прозе «Изнанка мира». В письме Льву Ракову назвал ее «совершенно фантастической». Поэма начинается с изображения демонической изнанки России, Друккарга. В средоточии его — инфернальный двойник Медного Всадника, он, как и Белый Всадник, существует в «системе разнозначных зеркал», в смежных нашему мирах. Две расы античеловечества — игвы и рарруги, Жругр — уицраор России, плененная Навна — действующие лица метаистории. В поэме часть картины русского мироздания. А о Свете, о Небесной России и «белом колоссе» задуманы поэмы «Александр» и «Плаванье к Небесному Кремлю». За них он собирался приняться зимой.

Цикл «Миры просветления» он перестроил, выделил из него главу «Святорусские боги», написал два новых стихотворения — «Затомисы» и «Уснорм». Завершение ансамбля требовало описания светлых миров, но изобразить их без поэтических условностей не удалось. Свет слепит, лишь тьма живописна. Посылая цикл Шульгину, он заметил: «Пока перепечатывал, постепенно разочаровывался в написанном и под конец пожалел, что обрушил на Вас этот каскад. Я совершенно лишен возможности судить, как воспринимаются со стороны эти странные опусы. Конечно, для подавляющего большинства это — бред, но, мне кажется, отдельным единицам сквозь этот необычный подбор слов брезжит нечто подлинное. Так ли это?»735 Шульгин жил во Владимирском доме инвалидов, писал книгу «Опыт Ленина». Писал тайком, даже жена знала лишь заглавие. Миры Даниила Андреева были от него так далеки, что о присланных стихах он мог сказать только то, что «их понимать весьма трудно».

Вновь взявшись за главу «Предварения», переданную Чукову, Андреев написал ему: «Если вы еще не начали фотографирования, о котором говорили, — повремените. Дело в том, что необходимы некоторые добавления (они уже сделаны)»736.

Но главное — «Роза Мира». Он спешил ее дописать. Жалея времени, почти не читал. Правда, по ночам, во время бессонницы, когда не помогало снотворное, открывал «Махабхарату». Писал он сразу на машинке, полулежа или сидя на кровати. Иногда выбирался в сад, устраивался на топчане под яблоней. Бо́льшую часть октября погода стояла прекрасная — сияло солнце, лесистые отроги быстро становились золотыми, палевыми и рдяными, оттеняя дымчатую синеву вершин.

Начало трактата, написанное заново, звучало как завещание: «Я заканчиваю рукопись “Розы Мира” на свободе, в золотом осеннем саду. Тот, под чьим игом изнемогала страна, давно уже пожинает в иных мирах плоды того, что посеял в этом. И все-таки последние страницы рукописи я прячу так же, как прятал первые, и не смею посвятить в ее содержание ни единую живую душу, и по-прежнему нет у меня уверенности, что книга не будет уничтожена, что духовный опыт, которым она насыщена, окажется переданным хоть кому-нибудь...

Я тяжело болен, годы жизни моей сочтены. Если рукопись будет уничтожена или утрачена, я восстановить ее не успею. Но если она дойдет когда-нибудь хотя бы до нескольких человек, чья духовная жажда заставит их прочитать ее до конца, преодолевая все ее трудности, — идеи, заложенные в ней, не смогут не стать семенами, рождающими ростки в чужих сердцах».

Он переработал и дописал первую книгу — «Роза Мира и ее место в истории». Две начальные главы «Преобразование сущности государства» и «Роза Мира» заменил одной — «Роза Мира и ее ближайшие задачи». Закончил последнюю книгу, большей частью написанную в Виськове. В ней первоначально было шесть глав, стало пять. Составил краткий словарь имен, терминов и названий.

«Как-то я пришла с этюдов, — вспоминала эти октябрьские дни жена поэта, — прибежала в сад, где Даниил работал. Он был там удобно устроен. Перед ним стояла машинка, лежали тюремные черновики “Розы Мира”, рядом всегда стояли фрукты. Я подошла. Даниил сидел со странным выражением лица. Я очень испугалась, спросила:

— Что? Что с тобой? — Он ответил:

— Я закончил “Розу Мира”. Помнишь, у Пушкина:

Миг вожделенный настал:
Окончен мой труд многолетний,
Что ж непонятная грусть
Тайно тревожит меня?

Вот и я сейчас это чувствую: окончил работу и как-то опустошен. И не рад.

Я стала утешать его:

— Ну, я понимаю: ты кончил “Розу”, но еще столько работы!

И вроде бы все еще оставалось по-прежнему: были лекарства, уколы, врач приходил, кругом стояла все та же золотая осень. А болезнь Даниила с той минуты начала развиваться стремительно. Мне потом врачи говорили, что это я держала Даниила на этом свете. Может, и так... Только не я, Ангел его держал на земле до тех пор, пока он не завершил то, что должен был сделать»737.

Несмотря на усиливавшуюся болезнь, на ясное понимание, что жить остается недолго, в уныние он не впадал. Труд не закончен, чтобы закончить, нужно еще два года. Он должен дописать три главы «Русских богов». Друзей просил подыскать комнату, которую они могли бы снять, вернувшись. Писал Гудзенко в лагерь: «Не хочу распроститься с надеждой дожить до личных встреч с Вами. Ведь мы только начали сближаться и чувствовать друг друга. Впереди еще столько нерассказанного друг другу...»738

В конце октября писал Чукову: «...наша жизнь здесь не лишена уюта и поэтичности. Особенно по вечерам, когда топится печка, а мы читаем, работаем или просто разговариваем. Не последнюю роль играет и то, что кругом, даже прямо с крыльца нашей кухоньки, открываются чудесные ландшафты на горы и долину Горячего Ключа. Мы застали горы зелеными, потом они стали ржаво-золотистыми, потом бронзово-красными, а теперь кажутся сиренево-голубыми. А сегодня А<лла> А<лександровна> видела издали даже снежные вершины Кавказа»739.

Алла Александровна то искала врача, то бежала в аптеку, то ставила банки или горчичники, то делала уколы — муж держался на каждодневных уколах. На этюды всякий раз убегала с тревогой. Как он признавался, «исключительно жене обязан я тем, что вернулся к жизни и даже, как ни странно, к литерат<урной> работе»740. Беленые стены комнаты украсили ее писавшиеся урывками этюды, пахнущие свежей масляной краской, шла работа — в ненастную погоду — над тремя холстами.

Заканчивался октябрь, погода портилась — похолодало, задули ветры, пошли дожди. С ухудшением погоды и ему становилось хуже.

«Мы еще некоторое время прожили в Горячем Ключе, — писала о памятных днях Алла Александровна. — Даниил напечатал “Розу Мира” в двух экземплярах, и второй экземпляр я зарыла на вершине хребта, который перегораживал ущелье с запада на восток. За спиной у меня был Горячий Ключ, впереди — река, а за дальними горами — море. Я увидела триангуляционную вышку и, решив, что от нее хоть насыпь останется, отмерила тринадцать шагов до раздвоенного дерева, на котором перочинным ножичком вырезала крест. Под ним я и зарыла рукопись в бидоне, и думаю, что больше ее никто никогда уже не найдет. Лес там давно разросся»741. Но нет, рукопись уже в новом тысячелетии нашлась. Сопровождала ее просьба к нашедшему его работу, которой он «посвятил восемь лет своей жизни», «сохранить рукопись... до того момента, когда созреют объективные условия для ее обнародования».

Он писал: «Я предпочел бы, чтобы “Роза Мира” была напечатана анонимно». Дата под «Просьбой» — 12 октября 1958.

Через неделю после завершения «Розы Мира», бессонной ночью 19 октября, им написано последнее стихотворение. В нем беспокойство о главном:

К листам неконченых, бедных книг
Там враг исконный уже приник:
Спаси их, Господи! Спрячь, храни,
Дай им увидеть другие дни.

Помня об обязательствах, он принялся за опостылевший перевод. Подстрочник рассказа «Бриллианты Борнео» оказался невнятным, с фразами, смысл которых едва брезжил. О темнотах текста он написал Рахиму. Дружба кончилась разрывом. Зея Рахим оказался отнюдь не благородным восточным принцем. По крайней мере, Борис Чуков рассказывает о нем такую историю. Приглашенный в дом Бружесов, за чаем «Зея околдовал широкой эрудицией и личным обаянием Александра Петровича, который убедился в правоте зятя: в тюрьму попадают и высокоинтеллигентные, порядочные люди». А наутро после визита Рахима профессор не обнаружил своей шубы. В милицию Бружесы обращаться не стали. А не пойманный за руку, «Зея повел себя вызывающе и стал терроризировать Аллу Александровну...»742. Но не только Бружесов мог «околдовать» Зея Рахим, попавший и к Чуковскому, а позднее уверенно вращавшийся в переводческих кругах, переводивший с японского вместе с Аркадием Стругацким, бывавший у Даниэля с Синявским.

Письмо Рахиму Андреев завершил горько и резко: «Т. к. мы больше не встретимся, по крайней мере, на этом свете, хочу сказать тебе следующее. За все доброе, что ты сделал по отношению ко мне, — спасибо.

Какие мотивы руководили тобою при этом — это, в конце концов, твое дело, и отчитываться тебе придется не передо мной! Дурное, что ты сделал по отношению ко мне, я простил. Что касается Аллы, то ты не можешь не знать, как чудесно она к тебе относилась, пока ты сам своими действиями не погубил эти отношения. И предупреждаю тебя — хоть я не знаю, каковы теперь твои философские (в широком смысле) воззрения: если ты поступишь по отношению к ней или к моей памяти (ты понимаешь, что я имею в виду) недолжным образом — я тебя прокляну в другом мире, и не будет тебе ни счастия, ни покоя — ни здесь, ни там»743.

В эти дни он прочел «Приключения авантюриста Феликса Круля» Томаса Манна. «Написано просто великолепно. И хотя образ героя довольно-таки антипатичен, но кончаешь книгу с сожалением, тем более что смерть не дала автору довести свой замысел до конца и роман

обрывается почти на полуслове», — делился он с Грузинской, не скрывая своего состояния: «Хотя мне еще только 52, но к своему концу я приближаюсь, кажется, довольно энергичными темпами. Во всяком случае, здесь, в Горячем Ключе, было уже 3 случая, когда окружающие и я сам думали, что мои дни и часы сочтены»744.

Здесь он встретил 52-й день рождения. Алла Александровна в этот день написала этюд — вид на долину Горячего Ключа с того места, где она зарыла машинопись «Розы Мира»: «Это был мой последний подарок ему. Я сказала:

— Вот тут зарыта “Роза Мира”»745.

Андреевы хотели уехать в начале декабря, но надвинулось ненастье, утренники задевали траву инеем. Ему становилось хуже, нужно было собираться с силами, чтобы доехать до Москвы, дотянуть до больничной палаты.

«В купе мы оказались втроем — четвертое место пустовало, — описывает их последнее путешествие Алла Александровна. — Наш попутчик был в темно-синей форме. Я решила, что это железнодорожник, а он оказался сотрудником краснодарской прокуратуры. С ним мы ехали до Москвы.

Поразительная помощь со стороны разных людей продолжалась. <...> На каждой станции, даже если остановка была десять-двенадцать минут, я хватала кислородную подушку и бежала в станционную санчасть. Врывалась, протягивала подушку, кричала: “Скорей! Скорей! Мужу плохо”.

А прокурор из Краснодара, который, может, и распорядился, чтобы к нам не сажали четвертого пассажира, оставался в купе и ухаживал за Даниилом...»746

11. Устье жизни

14 ноября прямо с вокзала Андреева отвезли в хорошо знакомую ему больницу Института терапии, в 28-ю палату. В ней он пролежал три месяца.

Ежедневные уколы поддерживали, он даже пробовал вставать. Но лекарства одурманивали, вызывали слабость. Жену к нему пускали через день. Встречи в больничной палате, пропахшей лекарствами, среди невольных соглядатаев были недолгими. Говорить и даже дышать ему стало трудно. После первого же свидания он написал ей:

«Дитятко мое,

Ты уехала, а у меня разрывается сердце оттого, что я недостаточно нежно простился с тобой, дал уехать тебе грустной, и теперь ты, моя бедняжка, весь вечер будешь скитаться по городу, а под конец ляжешь в темноте на наш диванчик и будешь тосковать обо мне в своем одиночестве. Ангельчик мой, в официальных условиях у меня часто прилипает “язык к гортани”, и когда я нахожусь с тобой на людях (и особенно — при людях антипатичных), я не могу найти ни нужных слов,

ни интонации, ни движений. Мне все хочется закрыть ото всех мое отношение к тебе, как святыню...»747

И в следующем письме та же горестная нежность: «Светик, просто покою нет от мыслей о тебе, вернее, от воображения, рисующего тебя то в Подсосенском у круглого стола, то на нашем диване, то на улицах, в метро, в учреждениях и т. д. — и нигде, ни в одном из этих мест тебе не может быть хорошо. Бедняжечка моя, пока мы были вместе, мне думалось, что я для тебя — поневоле ужасный груз, с моей болезнью. Но теперь мне кажется, что как ни тяжело было тебе со мной в последнее время, но без меня теперь еще труднее»748.

Ей было очень трудно. Дела с получением комнаты не двигались. К январю нужно представлять картины выставкому. Бегать по магазинам, аптекам, торопиться к мужу и не признаваться себе, что положение его безнадежно. Они надеялись, что обойдется, пусть придется пролежать еще месяц или даже два. Предполагали, что после выписки отправятся в Дом творчества писателей в Голицыно, им обещали путевку.

Через полторы недели Андрееву стало чуть лучше, он рассчитывал, что ему разрешат понемногу подниматься. Пока же спасался чтением, перечитывал «Бесов». Но вставать и выходить в коридор на четверть часа врачи разрешили только через две недели.

Читал газеты. Из литературных событий задело выступление против Пастернака на учредительном съезде писателей России, оно показалось неслучайным. «Гнусный Соболев гнусно лягнул гнусным копытом Пастернака. Вообще есть от чего расстроиться»749, — написал он жене. Но кое-что радовало. В Литературном музее с весны готовился вечер памяти Леонида Андреева, посвященный шестидесятилетию начала литературной деятельности. Планировалось, что они вместе с Аллой Александровной прочтут отрывки из книги брата об отце. Беспокоясь, он из больницы пишет организаторше вечера, напоминает жене, кому передать пригласительные билеты. Советует ей: воспоминания читать нужно «не в плане “художественности”, а просто — четко, ясно и “с выражением”, как радиодиктор читает репортаж»750.

С нетерпением ждал от жены и друзей описаний вечера, отзывов. Вечер стал событием. Кроме литературоведов Чувакова и Афанасьева с воспоминаниями выступили Пешкова, Чуковский, Куприна-Иорданская, Гроссман. Участвовали артисты — Журавлев, Плятт, Полевицкая.

Немного придя в себя, он пытался продолжить работу над постылыми переводами. Но из попыток заниматься мало что выходило. «Даже письма невозможно тут писать: над ухом непрерывные разговоры, не дающие сосредоточиться ни на чем»751, — жаловался он.

Недолгие улучшения сменялись приступами. Жену он старался успокоить, а Гудзенко писал откровенно: «Видеть других мне пока еще запрещено, гл<авным> образом вследствие того, что я могу очень мало

разговаривать: начинается одышка, на сцену выносятся шприцы, кислородная подушка и т. п. достижения науки и техники.

Писать тоже могу очень мало. Под писанием разумею только писание писем: о другом пока нет и речи. А между тем, злосчастные японские рассказы висят над душой. В папке под подушкой лежат подстрочники двух таких новелл <...> и я заливаюсь краской стыда при одном воспоминании о своей моральной задолжности Из<дательст>ву иностр<анной> литер<ату>ры»752. В письме он привел написанное в 1950 году стихотворение:

Кто и зачем громоздит во мне,
Глыбами, как циклоп,
Замыслы, для которых тесна
Узкая жизнь певца?

Он пояснял: «Ведь я, дорогой друг, закоснелый и непереубедимый дуалист! (не в философском, а в религ<иозном> смысле), и в моих глазах вся жизнь, все мироздание — мистерия борьбы провиденциальных и демонических сил. Конечно, я верую в конечную — космическую победу Благого начала. Но на отдельных участках и в отдельные периоды времени (иногда, с точки зрения человеч<еских> мерил, весьма длительные) победы могут оставаться и за темными силами. Не представляю, как иначе можно объяснить историю. Впрочем, у меня это — не результат логических рассуждений, а выводы из метаисторического созерцания»753.

Думая об итогах, о написанном и недописанном, о задуманном, он иногда приходил в отчаяние. «Плохо и то, что обнаружилось теперь с моей способностью писать стихи, — сетует в письме Ирине Усовой. — Я ведь не писал их 2½ года, будучи занят другим. <...> И вдруг... что же оказалось теперь? Из написанного этой осенью 3/4 никуда не годится. Ну, кое-что можно отнести за счет обострения болезни, кое-что за счет заржавленности всего стихописательского механизма»754. У него вырывается: «Все стихи кажутся никуда не годными, кроме (как это ни дико) “Лесной крови”»755.

Никого, кроме жены, к нему не пускали, он ждал ее с нетерпением: «Я слышу — угадываю — твои шаги еще издалека по коридору: вот мой ангелочек спешит»756. Но в январе, в связи с эпидемией гриппа, в институте объявили карантин, и общение с миром свелось к письмам, не всегда легко дававшимся. Жена прибегала в больницу каждый день, передавала письма, еду, расспрашивала нянь, перехваченных на лестнице.

Новый год он встретил с робкой надеждой: «Слава Богу, переехали в Новый год, нечетный. Я их больше люблю»757. 23 января они получили ордер на комнату. Это казалось чудом. Комнату давать не хотели. Заявляли: «Метража хватает. Потеснится ваш отец-

профессор». По словам Аллы Александровны, помог краснодарский попутчик-прокурор, позвонивший кому-то влиятельному. Им дали пятнадцатиметровую комнату в двухкомнатной квартире в самом конце строившегося Ленинского проспекта. Дом стоял на углу улицы, которой еще не было. Дальше белело снежное поле.

Теперь есть куда выписываться из больницы, ему даже приснился сон о новоселье. «Я жду не дождусь, когда за мной приедут, чтобы ехать домой, — написал жене, узнав долгожданную новость, — ...живу воображением скорого переезда нашего в новый дом. Думаю о ряде вопросов, на которые ты могла бы ответить мне уже теперь. Например: 1) на юг или сев<ер> выходит окно; 2) что из него видно, кроме соседнего корпуса; 3) легко ли вбить в стену гвоздь; 4) подъезд наш выходит во двор или на улицу?

По ходу всех моих дел можно заключить, что меня отпустят на новоселье вроде середины февраля»758.

Во всех последующих письмах из больницы он обязательно писал о комнате: просил нарисовать план, спрашивал о соседях, прикидывал расстановку мебели.

Одно из последних писем заканчивалось словами:

«Благодарю всех за все.

Больше не могу. Спасибо за все»759.

12. Роза Мира

Из больницы его выписали 17 февраля. Подняться на второй этаж самостоятельно Андреев не мог, в комнату его внесли на руках, усадив на стул.

Из больницы, по просьбе жены, он прислал планчик, обозначив на нем — где должен встать диван, где письменный стол, где овальный, где гардероб. Комната ее стараниями выглядела уютно: «Мне хотелось, чтобы он попал в свой дом. И я кое-что купила, что-то привезли и сделали друзья. Главное, я купила письменный стол, чтобы Даниил увидал, что, как только встанет, ему есть, где писать. Он уже не смог сидеть за этим столом, но видел его. Видел шкаф, в который были поставлены первые купленные мною для него книги. На стенах комнаты висели мои работы»760.

Соседская комната была побольше. В ней, рассказывала Алла Александровна, «жила рабочая семья: муж, жена и двое детей. Аня, соседка, на целый день уезжала куда-то с детьми, оставляя меня одну в квартире, чтобы дети не шумели»761.

Больной полулежал на диване рядом с письменным столиком, стоявшим в левом углу у окна. Обои на стенах были желтые, с серебряными полосками и маленькими розами. Первое время, несмотря на запрещение врачей, он иногда вставал и, впервые подойдя к окну и взглянув на проспект, по-зимнему унылый, с серыми однообразными коробками домов и торчащими прутьями редких саженцев, назвал

заоконный пейзаж «сном идиота». Жене сказал: «Ты потом переезжай отсюда...»

Каждый день навещали друзья, чаще всего располагавшиеся на кухне. Особенно радовался он друзьям из детства — сестрам Муравьевым, Ирине Угримовой и Татьяне Волковой, Ирине Кляйне, Татьяне Морозовой. Приходили Митрофанов, Ивашев-Мусатов, Ирина Усова, появлялся Чуков. Больной говорить долго не мог, минут пятнадцать, потом уставал.

«Даниил поражал всех тем, что никогда не говорил ни о себе, ни о своей болезни, а всегда беседовал с людьми, приходившими его навестить, об их делах, здоровье, детях, родственниках, — рассказывала о его последних днях Андреева. — Он никогда никому ни разу не пожаловался. Удивительно было, что у него с ослаблением физического состояния все яснее, глубже и четче проявлялось то, что можно назвать настоящим сознанием человека, — сознание поэта и сознание отмеченного Богом вестника, через которого льется свет Иного мира.

Помню, как приехал Сережа Мусатов со своей последней женой Ниной. До ареста Сережи она училась у него в студии и потом ждала его весь срок. Они пробыли недолго. Нужно было уходить, Сережа и Нина встали, и Нина несколько растерянно сказала:

— Ну, как мы попрощаемся?

Даниил спросил:

— Вы верите в загробную жизнь?

Она ответила:

— Да.

Тогда он протянул ей руку и, улыбнувшись, сказал:

— Так до свидания.

Нина пожала ему руку, они вышли, и она разрыдалась уже в коридоре у входной двери.

Когда мы оставались вдвоем, Даниил иногда просил, чтобы я читала его стихи, и слушал их уже как бы совершенно не отсюда. Хорошо помню, как он попросил, чтобы я ему прочла цикл “Зеленою поймой”. Я читала, естественно, не поднимая глаз, с машинописи. А потом, когда посмотрела на Даниила, то увидала у него слезы на глазах. Он сказал:

— Хорошие стихи. Я их слушал уже не как свои.

А еще он перечитывал “Розу Мира”. Сначала попросил, чтобы я перечитала книгу и пометила все места, где я с чем-нибудь не согласна, что-то меня останавливает и вообще, где мне что-нибудь неясно. Мои галочки и сейчас сохранились на этой машинописной рукописи. И почти против каждой галочки есть его поправка, какое-нибудь уточнение, что-то дополнено.

Однажды Даниил перечитывал “Розу Мира”, а я что-то делала по хозяйству, выходила на кухню, потом вошла. Даниил закрыл папку, отложил ее и сказал:

— Нет. Не сумасшедший.

Я спросила:

— Что? Что?

— Не сумасшедший написал.

Я обомлела, говорю:

— Ну что ты!

А он отвечает:

— Знаешь, я сейчас читал вот с такой точки зрения: как можно к этому отнестись, кто написал книгу: сумасшедший или нет. Нет, не сумасшедший»[762].

С каждым днем ему становилось хуже, учащались приступы. Иногда — рассказывал жене — перед глазами являлись чудовища оливкового цвета, с хоботками, питающиеся его мучениями. Он был убежден: «страдание посылается отнюдь не Провидением, Которое излучает свет, любовь и благодать, а его антиподом (или антиподами). Страдание живых существ дает излучение, которым демонические начала восполняют убыль своих сил. Отсюда же — войны, всевозможные кровопролития, массовые репрессии и т. п.»[763].

Но мучения не искажали его лицо, а просветляли. Это заметно на последних фотографиях, сделанных Борисом Чуковым 24 февраля. С утра ему стало получше, он мог сидеть. «Яркий свет перекальной лампы обострил его страдания, — описывал этот день фотограф. — Только первый снимок был сделан, когда Д. Л. еще не успел почувствовать боли в сердце, поэтому его лицо получилось таким благостно добрым. На втором портрете он выглядит суровым и отчужденным. С. Н. Ивашев-Мусатов заметил впоследствии, что у автора “Гибели Грозного” и должно быть только такое возвышенно суровое лицо»[764].

Все сорок дней предсмертной болезни в комнате на Ленинском проспекте для Аллы Александровны были мучительным испытанием. Начались осложнения — болела печень, появилась сильная отечность. Из-за нее не разрешали пить, он говорил: «Даже когда я заблудился в Брянских лесах, я не страдал так сильно от жажды, как сейчас!»[765]

Но, выбиваясь из сил, она жила в неотступной нервной готовности действовать: «Держать, держать, выхватывать из гроба, еще, еще тянуть». И она действовала — делала уколы, давала кислородные подушки, без которых последние дни он не мог дышать. «Когда я не могла справиться одна, приходилось бежать на улицу к автомату и вызывать неотложку. Никогда не забуду, как бежала ночью по Ленинскому проспекту от автомата к автомату: все трубки были сорваны. Бог знает, откуда я тогда позвонила»[766].

Вот что о последнем разговоре с умирающим поэтом вспоминала Ирина Усова: «В последних числах марта, когда я собиралась уходить, Даня взглянул на меня каким-то живым взглядом и сказал: “Ириночка, ну вот, я сегодня чистый, меня помыли, и я могу попрощаться с вами”. Я присела на краешек кровати и взяла его за руку. Он склонился и

несколько раз поцеловал мою. Когда он поднял голову, в его глазах стояли слезы! Я поняла, что прощается он не до следующего моего прихода, а вообще... Он прошептал: “Жалко расставаться...”»[767].

«28 марта я был у живого Андреева в последний раз, — вспоминал Чуков. — Он попросил почитать ему свежие газеты, но уже почти не слушал. Меня неприятно поразило потемнение его лица. Пришли проститься его давние друзья: Лев Раков, бывший директор библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, и сам Александр Викторович Коваленский. Оба грузные, тяжело опиравшиеся на трости, преждевременно состарившиеся люди, пережившие многолетние тюремные сроки. Я поспешно вышел из комнаты, чтобы не мешать их разговору. Минут через десять ко мне на кухоньку пришел Раков. Коваленский ушел из квартиры сразу же, категорически не желая даже мельком видеться с Аллой Александровной. У Д. Л. начался очередной сердечный приступ»[768].

«Очень незадолго до смерти Даниила исповедовал отец Николай Голубцов. По условиям нашей жизни деваться во время исповеди мне было некуда. Я осталась в той же комнате, стояла на коленях и молилась. Поэтому знаю совершенно точно, что в создании “Розы Мира” Даниил не каялся, как и во всех остальных своих произведениях.

Даниил скончался в день Алексия, человека Божия, 30 марта 1959 года в четыре часа дня. Умирал он очень тяжело. Вероятно, оттого, что я мешала. Я отчаянно не хотела его отпускать.

Мне врачи говорили:

— Он жить не может. Вы его держите.

Часа за два до смерти Даниила что-то случилось: то ли это было ощущение чьего-то присутствия, то ли откуда-то взявшееся понимание. Я встала на колени у его постели и сказала:

— Я не знаю, что мы искупаем или обретаем этим мучением, только чувствую, что это страдание осмысленно.

Он приподнялся и молча обнял меня уже очень слабыми руками, присоединяясь к этим словам. Говорить он уже не мог.

Еще успела зайти врач, к счастью, самая симпатичная из всех. Сделать было уже ничего нельзя. Он не терял сознания до последних мгновений, даже прошептал какие-то слова симпатии и благодарности врачу.

Умер он буквально на моих руках: я, обняв, держала голову и плакала. Ничего я не читала, не говорила, ни вслух, ни про себя, ничего не думала. Когда, после коротких хрипов, все было кончено, поцеловала в губы, чтобы уловить (принять) последнее дыхание».

О похоронах, оставшихся в ее памяти неким сном, Алла Александровна и рассказала, как о сне: «Я надела белое платье, то, в котором венчалась с Даниилом, завила волосы и не стала покрывать голову платком. Ко мне подходили:

— Ну, пожалуйста, Вас просят старушки верующие, платочек надо надеть... И почему белое платье?

Я отвечала:

— Потому, что я буду на Даниных похоронах в подвенечном платье. И ни с чем ко мне не приставайте, скажите спасибо, что фату не надела. Эта смерть связана с нашим венчанием.

Я уверена, что была права. Эти два события были связаны и для него. Он мне сказал как-то:

— Ты знаешь, наше венчание все же необыкновенное, потому что венчаются двое, из которых один уже умирает. Мы же не можем быть мужем и женой, можем только сколько-то времени побыть на земле обвенчанными, а потом это венчание уже там...

И гроб стоял в том же храме и на том же самом месте, где мы венчались, и отпевал Даниила тот же протоиерей Николай Голубцов»769. После отпевания он говорил о том, что «новопреставленный Даниил был наделен свыше даром Божиим — даром Слова. И обратил внимание даже и на то, что цветы у гроба только живые — ни одного искусственного»770. Похоронили его на Новодевичьем, где когда-то для жены и себя купил участок отец, где упокоились бабушка и мать, где неподалеку лежали Добровы. Перед смертью он продиктовал жене список тех, кого хотел видеть на своих похоронах. Пришло не меньше шестидесяти человек.

Апрельское небо нависало тяжелое, сырое, искоса моросил дождь со снегом. Тело в гробу накрыли половиной узорчатого индийского сари, пахло весной, мимозами и разрытой оттаивающей землей.

Для Даниила Андреева наступило время Розы Мира.

ЭПИЛОГ

Я вестник другого дня...

Даниил Андреев

Посмертие поэта — новая жизнь, воистину «иноматериальная», говоря словами Даниила Андреева. Не только жизнь книг, но и автора. Образ его на наших глазах укрупняется, делается частью истории, участвует в сегодняшних событиях. Долгое время жизнь поэта-вестника, — сам себя Даниил Андреев так называть избегал, остерегаясь самозванства, — оставалась потаенной. Поэт умер, не опубликовав ни строки заветных сочинений. Но от узкого круга друзей, от верной хранительницы, вдовы поэта, стали приходить сокровенные строки с редкими, обрывочными, искромсанными цензурой публикациями, а больше через «самиздат», к читателю — и стихотворения, и «Роза Мира». А образ автора, узника Владимирской тюрьмы, витал над машинописными страницами легендарной тенью, с профилем, напоминающим дантовский, с перекличкой имен: Даниил Андреев — Данте Алигьери.

Крамольные рукописи были спасены стараниями вдовы — Аллы Александровны Андреевой (1915—2005), посвятившей этому жизнь.

Даниил Андреев перед смертью обращался к ней, хранительнице «оборвавшегося труда»:

Если нужно — под поезд
Ты рванешься, как ангел, за ним;
Ты умрешь, успокоясь,
Когда буду читаем и чтим.

Все сбылось. Теперь книги Даниила Андреева читаются, принимаются и отвергаются, толкуются и перетолковываются, ищут нашего душевного соучастия и понимания.

Его ставшая знаменитой, переведенная на многие языки «Роза Мира» — книга поэта и пророка. В ней и атлас открытой им духовной вселенной, и размышления о роке русской истории, грезы о грядущем, о многом. В ней, как и в стихотворениях и поэмах, — его увлечения, заблуждения, страсти — его жизнь и его эпоха, его провидения. Поэтому рассказ о судьбе поэта — земных дорогах, друзьях, спутниках необходим для понимания сочинений, несущих весть о светлых и темных мирах иных измерений, неотрывных от мира нашего, от истории России.

Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович, близко знавшая поэта с детства, 22 июня 1932 года, когда он еще только подступался к своим главным сочинениям, записала в дневнике: «Не помню, вошел ли в предыдущие тетради образ Даниила. Я верю, что в свое время будет о нем биографический очерк. Может быть, даже целая книга»771.

В биографии Даниила Андреева остаются бегло пролистнутые страницы, туманные места, прочерки — современники оставили не много воспоминаний, доарестные рукописи, дневники и письма уничтожены, свидетелей почти не осталось. Пытаясь рассказать о жизни Даниила Андреева в меру сил достоверно, автор опирался на документы, на живые свидетельства и там, где только возможно, предоставлял слово самому поэту, его друзьям и сопутникам, с тем чтобы в их разноголосице услышалась правда времени. Минувшего, страшного, родного.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Д. Л. АНДРЕЕВА

1906, 20 октября (2 ноября н. ст.) — родился в Берлине, в семье писателя Леонида Николаевича Андреева (1871—1919) и Александры Михайловны Андреевой (урожд. Велигорской; 1881 —1906).

15 ноября (28 ноября н. ст.) — от послеродовой горячки скончалась А. М. Андреева.

Декабрь — увезен Москву в семью сестры матери, Елизаветы Михайловны Добровой (урожд. Велигорской; 1868—1942) и Филиппа Александровича Доброва (1869—1941), которых Д. Андреев считал приемными родителями.

1907, 11 (24 марта н. ст.) — крещен в храме Спаса Преображения на Песках на Арбате.

1909/10, зима — живет в семье отца на Черной речке (Ваммельсуу).

1915, весна — написано первое стихотворение «Сад»; в этом же году написаны первые рассказы «Путешествие насекомых» и «Жизнь допотопных животных».

1917, сентябрь — поступил в Московскую прогимназию Е. А. Репман (с 1918 года — 23-я школа второй ступени, с 1923 года — 90-я).

1919, 12 сентября — в деревне Нейвола умер отец Л. Н. Андреев.

1923, 19 июня — окончание школы.

1924 — поступил в Институт Слова. Начало работы над романом «Грешники».

1925 — Институт Слова вместе с Высшим литературно-художественным институтом им. В. Брюсова преобразованы в Высшие государственные литературные курсы (ВГЛК).

1926 — вступил во Всероссийский союз поэтов.

Конец августа — женитьба на однокурснице Александре Львовне Гублёр (псевдоним Горобова; 1907—1985).

Конец октября — начало ноября — разрыв с Гублёр.

1927, февраль — развод с А. Л. Гублёр; уход с ВГЛК.

1928, лето — в Тарусе вместе с А. В. и А. Ф. Коваленскими.

1929, июль — август — гостит с писательницей В. Г. Малахиевой-Мирович (1878—1952) на даче семьи актрисы А. К. Тарасовой в Посадках близ Триполья.

1930, август — сентябрь — первая поездка в Трубчевск. Выход книги «Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева». Под редакцией Д. Л. Андреева, В. Е. Беклемишевой (М.: Федерация, 1930).

1931, лето — в Трубчевске и его окрестностях.

1932, февраль — март — работает в редакции многотиражки «Мотор» завода «Динамо».

Лето — в Трубчевске и его окрестностях.

1933, февраль — июль — работа над сборником биографий ученых-изобретателей для Энергоиздата.

1934, октябрь — поездка в Крым, посещение Коктебеля, знакомство с М. С. Волошиной.

1935 — вступление в московский Горком художников-оформителей.

8 сентября — начало работы над поэмой «Песнь о Монсальвате».

23—25 сентября — поездка в Троицкий Белозерский монастырь с А. В. Коваленским.

1936, 9 июля — середина августа — в Трубчевске и его окрестностях.

1937, февраль — март — по совету Е. П. Пешковой пишет письмо И. В. Сталину с просьбой содействовать возвращению брата В. Л. Андреева из эмиграции.

Начало марта — знакомство с Аллой Александровной Ивашевой-Мусатовой (урожд. Бружес). Начало работы над романом «Странники ночи».

Август — середина сентября — поездка в Судак с Марией Павловной Гонтой (1904—1995).

Осень — знакомство с сестрами Усовыми — Ириной Владимировной (1905—1985), Татьяной Владимировной (1908—1992) и их матерью, Марией Васильевной (1885—1948).

1938 — окончание работы над поэмой «Песнь о Монсальвате».

1939, лето — поездка в Малоярославец.

1940 — последнее посещение Трубчевска.

1941 — работа над поэмой «Германцы»; завершены цикл стихотворений «Катакомбы» (1928—1941) и автобиографические записки «Детство и молодость. 1909—1940».

1942, январь — написан цикл «Янтари».

Октябрь — призыв в армию; служба в воинской части в Кубинке (Московская область).

1943, январь — переход в составе 196-й Краснознаменной стрелковой дивизии по льду Ладожского озера и по Карельскому перешейку в осажденный Ленинград.

Август — перевод в 595-й хирургический полевой госпиталь, размещавшийся в районе Резекне (Латвийская ССР).

24 августа — награжден медалью «За оборону Ленинграда».

1944, 14—21 июня — приезд с фронта в командировку, встреча с А. А. Ивашевой-Мусатовой, во время которой они решили стать мужем и женой.

Октябрь — откомандирован в Москву, в Музей связи Красной армии.

1945, 25 июня — признан инвалидом Великой Отечественной войны второй группы с пенсией 300 рублей.

Конец июля — 19 августа — с А. А. Ивашевой-Мусатовой в деревне Филипповской Константиновского района Московской области.

4 ноября — зарегистрирован брак с А. А. Ивашевой-Мусатовой.

1946, июль — август — поездка в Задонск с семейством Бружес.

Сентябрь — начало работы над книгой «О русских исследователях Африканского материка». Выходит написанная в соавторстве с географом С. Н. Матвеевым книга «Замечательные исследователи горной Средней Азии» (М.: Географгиз, 1946).

1947 — завершает работу над романом «Странники ночи», обдумывает второй роман предполагаемой трилогии — «Небесный Кремль».

21 апреля — арест Д. Л. Андреева.

23 апреля — арест А. А. Андреевой.

1948, 21 июня — спецсообщение В. С. Абакумова И. В. Сталину об аресте террориста Андреева Д. Л. и ликвидации возглавляемой им антисоветской группы с террористическими намерениями (16 человек).

30 октября — осужден Особым совещанием при МГБ СССР к тюремному сроку на 25 лет «за участие в антисоветской группе, антисоветскую агитацию и террористические намерения».

27 ноября — прибыл во Владимирскую тюрьму № 2 из Лефортовской тюрьмы МГБ.

1950, февраль — сентябрь — завершена работа над составом книги «Русские октавы» и поэмой «Немереча» (1937—1950).

8—22 декабря — написана поэма «Симфония городского дня».

23 декабря — начало работы над «Железной мистерией».

24 декабря — начало работы над «Розой Мира».

1951, январь — сентябрь — работа над «Утренней ораторией».

1952, февраль — написана поэма «Гибель Грозного».

Сентябрь — начало работы над составом книги «Русские боги». Написана поэма «Рух».

1953 — работа над новеллами для книги «Новейший Плутарх», написанной совместно с сокамерниками В. В. Париным и Л. Л. Раковым. Завершение работы над поэмой «Ленинградский Апокалипсис» (1949—1953).

Июнь — составлен первый вариант книги «Русские боги».

1954, 10 ноября — заявление на имя председателя Совета министров СССР Г. М. Маленкова. Перенес инфаркт миокарда.

1955 — работа над поэмами «Навна», «У демонов возмездия».

1956, 2 мая — завершена «Железная мистерия».

10 августа — освобождение из лагеря А. А. Андреевой.

23 августа — постановление Комиссии Президиума Верховного Совета СССР: «...считать необоснованным осуждение по статьям УК 19-58-8, 58-11, снизить меру наказания до 10 лет тюремного наказания по статье 58-10, ч. 2».

24 августа — первое после ареста свидание с А. А. Андреевой во Владимирской тюрьме.

26 августа — заявление на имя К. Е. Ворошилова.

17 ноября — определением Верховного суда СССР постановление ОСО от 30 октября 1948 года отменено, «дело Д. Л. Андреева» направлено на доследование.

16 декабря — переведен во Внутреннюю тюрьму КГБ (Москва), затем помещен в Центральный институт судебной психиатрии им. В. П. Сербского.

1957, январь — начало марта — экспертиза в Центральном институте судебной психиатрии им. В. П. Сербского.

23 апреля — освобождение из-под стражи.

Около 22 мая — 22 июня — пребывание в больнице Института терапии АМН СССР.

21 июня — пересмотр и отмена обвинения Д. Л. Андреева пленумом Верховного суда СССР.

11 июля — реабилитация.

4 июля — август — проживают с А. А. Андреевой на берегу Оки в деревне Копаново Рязанской области. Свидание со старшим братом после сорока с лишним лет разлуки.

Сентябрь — октябрь — живут с А. А. Андреевой в Перловке на даче семьи Смирновых.

Ноябрь — поселяются в комнате, снятой в Ащеуловом переулке (д. 14/1, кв. 4).

22 ноября — восстановлена пенсия — 347 рублей.

30 ноября — в Доме инвалидов в Потьме от туберкулеза умер А. Ф. Добров, двоюродный брат Д. Л. Андреева.

1958, 14 января — 8 февраля — с А. А. Андреевой в Доме творчества писателей в Малеевке.

Январь — ноябрь — работа над переводом рассказов японской писательницы Фумико Хаяси (переводы трех рассказов, выполненные Д. Андреевым совместно с З. Рахимом: *Хаяси Ф.* Шесть рассказов. М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1960).

12 февраля — письмо «В Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза».

26 февраля — вызван в ЦК КПСС в связи с переданными туда рукописями.

Март — май — обострение болезни, пребывание в больнице Института терапии АМН СССР.

4 июня — венчание с А. А. Андреевой в Ризоположенском храме на Шаболовке и отъезд на пароходе «Помяловский» по маршруту Москва — Уфа — Москва.

23 июня — возвращение в Москву.

5 июля — закончена «Книга одиннадцатая. К метаистории последнего столетия» «Розы Мира».

Около 6 июля — приезжают в Переславль-Залесский, через два дня в деревню Виськово на берегу Плещеева озера.

Около 20 августа — возвращение в Москву.

Около 12 сентября — отъезд в Горячий Ключ.

12 октября — завершена «Роза Мира».

Октябрь — завершены цикл стихотворений «Сказание о Яросвете», поэма в прозе «Изнанка мира».

Ночь на 19 октября — написано последнее стихотворение «Когда-то раньше в расцвете сил...».

Начало ноября — составлен цикл стихотворений «Святорусские духи».

14 ноября — возвращение из Горячего Ключа в Москву. В тот же день Д. Л. Андреев помещен в больницу Института терапии АМН СССР.

1959, 23 января — А. А. Андреева получает ордер на комнату в коммунальной квартире (Ленинский проспект, д. 82/2, кв. 165).

17 февраля — выписан из больницы.

30 марта — кончина Д. Л. Андреева.

3 апреля — отпевание в храме Ризоположения на Шаболовке. Похороны на Новодевичьем кладбище.

ЛИТЕРАТУРА

Андреев Д. Ранью заревою: Стихи / Предисл. В. Лидина. М.: Советский писатель, 1975.

Андреев Д. Русские боги: Стихотворения и поэмы / Сост., подг. текста А. А. Андреевой; предисл. М. Дудина; послесл., прим. Б. Романова. М.: Современник, 1989.

Андреев Д. Железная мистерия: Поэма / Предисл., прим. В. Грушецкого. М.: Молодая гвардия, 1990.

Андреев Д. Роза Мира: Метафилософия истории / Предисл. А. Андреевой; послесл. В. Грушецкого. М.: Прометей, 1991.

Андреев Д. Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М.: Московский рабочий, Фирма Алеся, Присцельс, Урания, 1993–1997.

Андреев Д. Неизданное / Сост. А. А. Кутейникова, Б. В. Чуков. М.: Мир Урании, 2006.

Андреев Д. Собр. соч.: В 4 т. / Предисл. А. А. Андреевой; сост., послесл., прим. Б. Н. Романова. М.: Русский путь, 2006.

Андреев Д. Стихотворения и поэмы / Предисл., подг. текста, коммент. Б. Н. Романова. М.: Эксмо, 2011.

Андреев Д. Л., *Парин В. В.*, *Раков Л. Л.* Новейший Плутарх: Иллюстрированный словарь воображаемых знаменитых деятелей всех стран и времен от А до Я / Основатель издания, гл. ред. и иллюстратор Л. Л. Раков. М.: Аграф, 2016.

Андреев В. Детство. М.: Советский писатель, 1966.

Андреева А. Плаванье к Небесной России / Предисл. Б. Романова. М.: Аграф, 2004.

Бежин Л. Даниил Андреев — Рыцарь розы. М.: Энигма, 2006.

Даниил Андреев: pro et contra / Сост., вступ. ст., коммент. Г. Г. Садикова-Лансере. СПб.: РХГА, 2010.

Даниил Андреев в культуре XX века. М.: Мир Урании, 2000.

Дашевская О. А. Жизнестроительная концепция Д. Андреева в контексте культурофилософских идей и творчества русских писателей первой половины XX века. Томск: Изд-во Томского университета, 2006.

Кузькин С., *Пасин В.* «...По зеленым певучим дорогам»: Трубчевский край в жизни и творчестве Даниила Андреева. Брянск, 1996.

Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930–1954 / Автор проекта, предисл. Н. Громова; подг. текста, комм., именной указатель Г. Мельник. М.: Изд-во АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2016.

Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой: 1916–1925 / Вступ. ст., подг. текста, сост. Н. Г. Громовой. М.: Эллис Лак, 2010.

Павлова Г. Н. Леонид Андреев и семья Велигорских // Русская литература. 2000. № 3.

Павлова Г. О Пушкине, о Репманах и Данииле Андрееве // Брянские известия. 2002. № 15. 12 апреля.

Померанц Г. Поэзия духовного опыта. Тюремная лирика Даниила Андреева. Подступы к «Розе Мира» // *Померанц Г.* Страстная односторонность и бесстрастие духа. СПб.: Университетская книга, 1998.

Потупов Е. Брянские дали Даниила Андреева: Эссе. Воспоминания. Дневники. Интервью. Хроника Андреевских чтений: 1994—2012. М.: Кругъ, 2018.

Романов Б. Крылатый миф: Даниил Андреев и поэты-вестники. М.: Кругъ, 2019.

Романов Б. Путешествие с Даниилом Андреевым: Книга о поэте-вестнике. М.: Прогресс Плеяда, 2006.

Романов Б. След под камнем: Об авторе «Розы Мира», его современниках и не только. М.: Русскій міръ, 2020.

Только одна ты, подруга и спутник...: К 100-летию со дня рождения А. А. Андреевой / Сост., подг. текста, прим. Б. Романова. М.: Кругъ, 2015.

Феномен Даниила Андреева: Материалы российской научной конференции. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2015.

Чиндин И. Даниил Андреев: Эволюция романтической мистики. М.: МАТИ, 2006.

ПРИМЕЧАНИЯ

Андреев Л. Собр. соч.: В 6 т. М., 1990. Т. 1. С. 575. — *Здесь и далее примечания автора.*

Реквием: Сборник памяти Леонида Андреева. М., 1930. С. 76, 77.

Андреев Л. S.O.S. М.; СПб., 1994. С. 393.

В разные времена и у разных ветвей рода фамилия писалась по-разному, но ветвь черниговских Корде-Велигорских со времен Екатерины II носила фамилию в современном написании, так она значится и в метрическом свидетельстве А. М. Велигорской (Русский архив в Лидсе (Leeds Russian Archive) (Великобритания). MS. 606/G. 8.i. — Далее РАЛ).

Алексеевский А. П. «Герцог Лоренцо» (из воспоминаний журналиста). Цит. по: *Кен Л., Рогов Л.* Жизнь Леонида Андреева, рассказанная им самим и его современниками. СПб., 2010. С. 386.

Андреев В. Детство. М., 1966. С. 98.

Андреев В. Детство. М., 1966. С. 98.

Фатов Н. Н. Молодые годы Леонида Андреева. М., 1924. С. 115.

Письмо В. С. Миролюбову // Литературный архив. М., 1960. Т. 5. С. 80.

Андреев Л. Н. Дневник: 1897—1901 гг. М., 2009. С. 82.

Фатов Н. Н. Молодые годы Леонида Андреева. М., 1924. С. 164.

Баранов В. Время — мысль — образ: Статьи о советской литературе. Горький, 1973. С. 140.

Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка //Литературное наследство. М., 1965. Т. 72. С. 139.

Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка //Литературное наследство. М., 1965. Т. 72. С. 140, 141.
Белый А. Начало века. М., 1990. С. 120.
Телешов Н. Все проходит: Из литературных воспоминаний. М., 1927. С. 67.
Реквием: Сборник памяти Леонида Андреева. М., 1930. С. 153.
Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка //Литературное наследство. М., 1965. Т. 72. С. 273.
Письмо Н. Д. Телешову // *Телешов Н.* Все проходит: Из литературных воспоминаний. М., 1927. С. 69, 70.
Письмо М. Горькому <13... 14/26... — 27 октября 1906> // Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка //Литературное наследство. М., 1965. Т. 72. С. 274.
Андреев В. Детство. М.: Советский писатель, 1966. С. 13.
Письмо С. С. Голоушеву. Цит. по: *Кен Л., Рогов Л.* Жизнь Леонида Андреева, рассказанная им самим и его современниками. СПб., 2010. С. 404.
Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка //Литературное наследство. М., 1965. Т. 72. С. 283.
Горький М. Полное собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. М., 1973. Т. 16. С. 346, 347.
Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка //Литературное наследство. М., 1965. Т. 72. С. 565.
Архив А. М. Горького. ИМЛИ РАН.
Письмо В. Ф. Боцяновскому // Забытым быть не может: Сборник. М., 1963. С. 199.
Книга о Леониде Андрееве. Пб.; Берлин, 1922. С. 73.
ИРЛИ. Ф. 9. Оп. 2. Ед. хр. 6.
Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. 1870—1906. Беседы с памятью. М., 1989. С. 412.
Андреев Л. Н. Дневник: 1897—1901 гг. М., 2009. С. 215.
Марков А. «Храните у себя эту книжку...» М., 1989. С. 149, 150.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 28.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 228.
Андреев Д. Собр. соч.: В 4 т. М., 2006. Т. 2. С. 463, 464. Все цитаты из сочинений и переписки Д. Л. Андреева приводятся, как правило, по этому изданию и специально не оговариваются.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 117.
Цит. по: *Ройцына О.* Письма из детства. (Архив А. А. Андреевой.)
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 147, 148.
Андреев В. Детство. М., 1966. С. 98.
Андреев В. Детство. М., 1966. С. 94, 95.
Фатов Н. Н. Молодые годы Леонида Андреева. М., 1924. С. 215.

1 Письмо Ю. Г. Бружес [1955].
Андреев В. Детство. М., 1966. С. 99.
Андреев В. Л. Из воспоминаний // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 369.
Морозова (Оловянишникова) Т. И. Из детских воспоминаний // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 379.
Митрофанов В. П. Леонид Андреев и семья Добровых // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 372.
Андреев Л. S.O.S. М.; СПб., 1994. С. 22.
Андреев Л. S.O.S. М.; СПб., 1994. С. 25.
Андреев В. Детство. М., 1966. С. 130, 131.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 123, 124.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 124.
Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 2006. Т. 12. С. 241.
Морозова (Оловянишникова) Т. И. Из детских воспоминаний // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М.,1997. Т. 3. Кн. 2. С. 380.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 194.
Андреев В. Детство. М., 1966. С. 97.
Андреев В. Детство. М., 1966. С. 18.
Ивашев-Мусатов С. Н. [Дом Добровых: Из воспоминаний] (Архив А. А. Андреевой.)
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 28.
Чуковский К. Дневник. 1922—1935. М., 2011. С. 84.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 223.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 154.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 181.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 202.
Угримов А. А. Из Москвы в Москву через Париж и Воркуту. М., 2004. С. 449.
Колмогоров в воспоминаниях. М., 1993. С. 15.
Семпер-Соколова Н. Е. Портреты и пейзажи: Частные воспоминания о XX веке. М., 2007. С. 129.
Семпер-Соколова Н. Е. Портреты и пейзажи: Частные воспоминания о XX веке. М., 2007. С. 130.
Семпер-Соколова Н. Е. Портреты и пейзажи: Частные воспоминания о XX веке. М., 2007. С. 130.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 69, 70.

Цит. по: *Тихомиров В. М., Абрамов А. М.* Как сделаться великим человеком // Первое сентября. 2003. № 30.
Цит. по: Явление чрезвычайное: Книга о Колмогорове. М., 1999. С. 185.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 44.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 44.
Канн С. И., Богоров Г. В., Богоров Л. В. Вениамин Григорьевич Богоров. М., 1989. С. 9, 10.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 124.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 25.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 28.
Отрывок из этого не сохранившегося письма приводит по памяти А. А. Андреева; см.: *Андреева А. А*. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 29.
Письмо В. В. Шульгину 21—24 октября 1958 г. // *Андреев Д*. Неизданное. М., 2006. С. 119.
Йог Рамачарака. Основы мировоззрения индийских йогов. СПб., 1913. С. 37.
Йог Рамачарака. Основы мировоззрения индийских йогов. СПб., 1913. С. 34.
Йог Рамачарака. Основы мировоззрения индийских йогов. СПб., 1913. С. I.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 306.
Андреева Н. Письма к Римме Николаевне Андреевой // Ренессанс (Киев). 2008. № 3. С. 88.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 337.
Малахиева-Мирович В. Хризалида: Стихотворения / Сост., подгот. текста, ст., коммент. Т. Нешумовой. М., 2013. Далее все цитаты из стихотворений Малахиевой-Мирович приводятся по этому изданию.
Зайцев Б. Москва. Мюнхен, 1973. С. 85.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 337.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 348.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 384.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 441.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 21.
Свидетельство Е. А. Арнольдовой.
Андреева Н. Письма к Римме Николаевне Андреевой // Ренессанс (Киев). 2008. № 3. С. 83.

Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 274, 275.
Морозова (Оловянишникова) Т. И. Из детских воспоминаний // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М.,1997. Т. 3. Кн. 2. С. 380.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 186.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 265.
Морозова (Оловянишникова) Т. И. Из детских воспоминаний // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М.,1997. Т. 3. Кн. 2. С. 381.
Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 430.
Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 424.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 609.
См.: *Носова О. П.* В объятиях удава: Воспоминания узницы ГУЛАГа. СПб., 2001. С. 129.
Блок А. А. Письма к жене //Литературное наследство. М., 1978. Т. 89. С. 107.
Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 431.
Мигунов Е. Т. Воспоминания: О, об и про... ВГИК, 1939 // Киноведческие записки. 2004. № 68. С. 337.
Письмо Д. Л. Андрееву 24 июня 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 июля 1956 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 81.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 80, 81.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 173.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 647.
Лучишкин С. А. Я очень люблю жизнь: Страницы воспоминаний. М., 1988. С. 76.
См.: *Верховский Ю.* Струны: Собр. соч. М., 2008. С. 737.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 554.
Шенгели Г. Иноходец. М., 1997. С. 24.
См.: ЦАЛИМ. Ф. 67.
Баранская Н. Странствие бездомных. М., 1999. С. 336. О Высших литературных курсах см. также: *Голицын С.* Записки уцелевшего. М., 1990. С. 290—320; *Нейман Ю.* Особая примета // «Я жил и пел когда-то...»: Воспоминания о поэте Арсении Тарковском. Томск, 1999. С. 9; *Сафонов В.* «Дом Герцена» в двадцатые // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 383, 384.
Петровых М. Избранное. М., 1991. С. 347.
Фатов Н. Н. Молодые годы Леонида Андреева. М., 1924. С. 186.

Нейман Ю. Причуды памяти. М., 1988. С. 173, 179.
Безбожник. 1928. 9 сентября.
Баранская Н. Странствие бездомных. М., 1999. С. 355.
Г. А. Шенгели был председателем Всероссийского союза поэтов в 1925—1927 годах, а также преподавал на ВГЛК с осени 1925-го по осень 1927 года.
Андреев В. История одного путешествия. М., 1974. С. 327.
Петровых М. Избранное. М., 1991. С. 347.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 644.
Соловьев С. Воспоминания. М., 2003. С. 53. О семействе Коваленских см. также: *Бекетова М. А.* Шахматово. Семейная хроника // Литературное наследство. М., 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 716—723.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 431.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 429.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 432.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 163.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 472.
Одного вместо другого (*лат.*).
Письмо А. А. Андреевой 28 января — 22 февраля 1956 года.
Ивашев-Мусатов С. Н. [Дом Добровых: Из воспоминаний] (Архив А. А. Андреевой.)
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 496.
Марина Цветаева — Борис Бессарабов: Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915—1925). М., 2010. С. 614.
См.: *Романов Б. Н.* Хор химер // Путешествие с Даниилом Андреевым. М., 2006. С. 378—380.
Письмо В. Л. Андрееву 21 мая 1936 года.
Письмо Е. М. Добровой В. Л. Андрееву 5 марта 1927 года // Звезда. 2000. № 3. С. 127.
Об этом вспоминала В. Г. Сафонова, подруга А. Л. Гублёр тех лет.
Письмо Е. М. Добровой В. Л. Андрееву 5 марта 1927 года // Звезда. 2000. № 3. С. 127.
Из черновых вариантов «Розы Мира» // РАЛ.
Иванов В. Собр. соч. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 740.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 82.
Письмо В. Л. Андрееву 9 мая 1927 года.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 65.

Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 163.
Письмо В. Л. Андрееву 9 мая 1927 года.
См.: *Ренц И.* [Вознесенский А. С.] Океан или баня. (Памятка о Леониде Андрееве) // Красная газета. Веч. вып. 1925. 14 октября.
Письмо А. И. Андреевой 1 октября 1927 года.
См.: *Вострышев М.* Патриарх Тихон. М., 2004. С. 337, 360, 375.
См.: *Вострышев М.* Патриарх Тихон. М., 2004. С. 355, 356.
См.: *Вострышев М.* Патриарх Тихон. М., 2004. С. 375.
Письмо Е. М. Добровой В. Л. Андрееву 5 марта 1927 года // Звезда. 2000. № 3. С. 128.
См.: *Смирнов А.* Вокруг «Розы Мира» // Зеркало. 2007. № 29. С. 108.
Пришвин М. М. Дневники. 1928—1929. М., 2004. Кн. 6. С. 59, 60.
См.: *Чуков Б. В.* О последних перекатах жизни Даниила Андреева // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 299, 300.
Оттен Н. Дань. М., 1980. С. 106.
Письмо В. П. Митрофанову [8 августа 1928 года].
Письмо В. Л. Андрееву 25 сентября 1928 года.
Письмо В. Л. Андрееву 14 февраля, 5 марта 1928 года.
Касаткин Ив. Тарусяне // Журнал для всех. 1929. № 8. Стб. 78—82.
Письмо В. Л. Андрееву 25 сентября 1928 года.
См.: Минувшее: Исторический альманах. М., 1991. № 4. С. 44.
Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Даниил Андреев в культуре XX века. М., 2000. С. 307.
Письмо В. Л. Андрееву 25 сентября 1928 года.
Алексей Глебович Смирнов (1937—2009) — художник, писатель; сын друзей Д. Андреева — Г. Б. и Л. Ф. Смирновых; см.: *Смирнов А. (фон Раух).* Полное и окончательное безобразие: Мемуары. Эссе. 2015.
Смирнов А. Вокруг «Розы Мира» // Зеркало. 2007. № 29. С. 100, 101.
Реальная основа за этими рассказами, очевидно, есть, но их подробности представляются мифическими, как, например, утверждение, что Андреев «ездил по адресам их единоверцев в глухие места Брянской, Петербургской и Новгородской губерний» и т. п.
Письмо О. В. Андреевой [весна 1929 года].
Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 2016. Т. 18. С. 513.
Оттен Н. Дань. М., 1980. С. 43.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 82.
Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 25. С. 36.
Шенталинский В. Рабы свободы: Документальные повести. М., 2009. С. 35.
Письмо В. Л. Андрееву 14 февраля, 5 марта 1929 года.
Письмо В. Л. Андрееву 4 июля 1930 года.
Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 105.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 315.

Известия. 1930. 2 марта.
Беседа с А. А. Андреевой. Запись неустановленного лица. 1990 г. Машинопись.
Письмо В. Л. Андрееву 4 июля 1930 года.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 56.
Письмо В. Л. Андрееву 25 августа — 6 сентября 1930 года.
В «Красной нови» (1931. № 10/11) поэма озаглавлена «Пятый год», но и сам автор, и Д. Андреев называют ее «1905 год».
Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1992. Т. 5. С. 254.
Красная новь. 1931. № 10/11. С. 156.
Письмо В. Л. Андрееву 25 августа — 6 сентября 1930 года.
Письмо Ю. С. Беклемишева А. М. Исаеву 20 августа 1930 года // Юрий Крымов в воспоминаниях, письмах, документах. М., 1988. С. 171, 172.
Письмо В. Л. Андрееву 25 августа 1930 года.
Петр Петрович Лидов (1881—1938, расстрелян) был не градоначальником, а присяжным поверенным и членом Московской городской думы; защищал революционных деятелей, в частности В. В. Маяковского.
Протокол допроса Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 103.
Выписка из показаний арестованного Малянтович Владимира Павловича от 13 января 1938 года // Даниил Андреев в культуре XX века. М., 2000. С. 264, 265.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 55.
Евгения Николаевна Рейнфельд (Рейнефельд; Федулова) (1908—?) — востоковед.
Письмо Е. Н. Рейнфельд 14 декабря 1933 года.
Джемс В. Разнообразие религиозного опыта / Пер. с англ. В. Г. Малахиевой-Мирович, М. В. Шик; под ред. С. В. Лурье. М., 1910. С. 388.
Евгения (1899—1975 или 1976), Всеволод (1906—1985), Анатолий (1909—1997), Лидия (1911—?), Олег (1916—2015), Зинаида, Ольга, Игорь (1921—1950).
См. о нем: *Чубур А. А., Поляков Г. П., Наумова Н. И.* Трубчевский самородок: К 100-летию со дня рождения Всеволода Протасьевича Левенка. Брянск, 2006.
Письмо В. Л. Андрееву 8 апреля 1932 года.
Письмо В. Л. Андрееву 8 апреля 1932 года.
Выписка из протокола допроса Черкасовой Зои Валентиновны от 30 августа 1940 года // Даниил Андреев в культуре XX века. М., 2000. С. 268.
Галядкин А. Д. Памяти Даниила Андреева и сродников его // Брянская учительская газета. 2007. № 12. 30 марта.

Василенко В. М. Далекие ночи // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 386—388, 391.
Василенко В. М. Далекие ночи // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 388.
Письмо Е. Н. Рейнфельд 22 июня [апреля?] 1933 года.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 52.
Джемс В. Разнообразие религиозного опыта / Пер. с англ. В. Г. Малахиевой-Мирович, М. В. Шик; под ред. С. В. Лурье. М., 1910. С. 383.
Письмо В. Л. Андрееву [осень 1932 года].
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930–1954. М., 2016.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 76.
Письмо В. Л. Андрееву [осень 1932 года].
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 127.
Межибовская В. Из воспоминаний // Брянская учительская газета. 2006. № 35. 8 сентября.
Письмо В. Л. Андрееву [осень 1932 года].
Письмо Е. Н. Рейнфельд 22 июня [апреля?] 1933 года.
Семпер-Соколова Н. Е. Портреты и пейзажи: Частные воспоминания о XX веке. М., 2007. С. 129.
Письмо Е. Н. Рейнфельд 22 июня [апреля?] 1933 года.
Письмо Е. Н. Рейнфельд 22 июня [апреля?] 1933 года.
Здесь: увеселительную прогулку (*фр.*).
Письмо Е. Н. Рейнфельд 14 декабря 1933 года.
Письмо Е. Н. Рейнфельд 14 декабря 1933 года.
См.: *Гумилевский Л.* Судьба и жизнь. М., 2005. С. 145, 146.
Письмо М. С. Волошиной от 23 декабря 1934 года // Вопросы литературы. 2012. № 6. С. 382.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 146, 147.
Андреев Д. Собр. соч.: В 4 т. М., 2006. Т. 4. С. 77.
Свидетельство А. А. Андреевой.
Письмо О. В. Андреевой 23 июля <19>36 года.
Смирнов А. Вокруг «Розы Мира» // Зеркало. 2007. № 29. С. 101.
«Стой в завете своем...»: Николай Константинович Муравьев: Адвокат и общественный деятель: Воспоминания, документы, материалы. М., 2004. С. 168.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 157, 158.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 157.

Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 176.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 178.
Письмо М. С. Волошиной от 23 декабря 1934 года // Вопросы литературы. 2012. № 6. С. 382.
Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 109.
Ламакина А. С. Вспоминая старый дом. (Архив О. В. Виноградовой.)
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 210.
Василенко В. М. Далекие ночи // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 390, 391.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 211.
Письмо М. С. Волошиной от 22 февраля 1935 года // Вопросы литературы. 2012. № 6. С. 385.
Копелев Л. Утоли мои печали. М., 1991. С. 236.
Копелев Л. Утоли мои печали. М., 1991. С. 235.
Протокол допроса Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 111.
Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 458.
Шопенгауэр А. Полн. собр. соч. М., 1903. Т. 2. С. 525.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 223.
Барт А. Религии Индии / Пер. под ред., предисл. С. Трубецкого. М., 1897. С.VI, VII.
Минаев И. Материалы и заметки по буддизму. СПб., 1897. III. С. 95.
Василенко В. М. Далекие ночи // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М.,1997. Т. 3. Кн. 2. С. 388.
Великий йог Тибета Миларепа / Пер. с англ. О. Т. Тумановой. М., 2001. С. 26.
Цыбиков Г. Ц. Буддист-паломник у святынь Тибета. Пг., 1918. С. 113.
Цыбиков Г. Ц. Буддист-паломник у святынь Тибета. Пг., 1918. С. 219.
Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 129, 130.
Письмо В. М. Василенко Б. Н. Романову 23 августа 1988 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 70, 71.
Гёте И. В. Тайны: Фрагмент / Пер. А. А. Сидорова; предисл. Г. А. Рачинского. М., 1914. С. XIX.
См.: *Веселовский А. Н.* Где сложилась легенда о святом Граале. СПб., 1900; *Дашкевич Н. П.* Сказание о святом Граале. Киев, 1877; *Михайлов А. Д.* Артуровские легенды и их эволюция // *Мэлори Т.* Смерть Артура. М., 1974. С. 813—825.
Василенко В. М. Далекие ночи // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 389, 390.

Письмо В. Л. Андрееву 21 мая 1936 года.
Письмо Е. Н. Рейнфельд 15 мая 1936 года.
Письмо В. Л. Андрееву 21 мая 1936 года.
Письмо В. Л. Андрееву 21 мая 1936 года.
Письмо В. Л. Андрееву 21 июня 1936 года.
Письмо В. Л. Андрееву 21 мая 1936 года.
Письмо В. Л. Андрееву 21 мая 1936 года.
Письмо В. Л. Андрееву 21 июня 1936 года.
Письмо Ольге Вадимовне Андреевой 23 июля <19>36 года.
Письмо В. Л. Андрееву 23 июля 1936 года.
Андреев Д. Собр. соч.: В 4 т. М., 2006. Т. 2. С. 684.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 294.
Бонзельс В. В Индии. М.; Пг., 1923. С. 67.
Письмо В. Л. Андрееву 2 октября 1936 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 124.
Фейхтвангер Л. Москва 1937. М.,1937. С. 10.
Здесь: устойчивое положение (*фр.*).
Семпер-Соколова Н. Е. Портреты и пейзажи: Частные воспоминания о XX веке. М., 2007. С. 128.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 208.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 99.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 102, 103.
Письмо В. Л. Андрееву 17 июня <19>37 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 160.
Письмо В. Л. Андрееву 17 июня <19>37 года.
Письмо Е. Н. Рейнфельд 25 июня <19>37 года.
Хлебников В. Собр. соч.: В 6 т. М., 2004. Т. 5. С. 219.
Громова Н. Узел: Поэты: дружбы и разрывы: Из литературного быта конца 20-х — 30-х годов. М., 2006. С. 52.
Письмо Л. Ф. Смирновой 20 августа 1937 года.
Ламакина А. С. Вспоминая старый дом. (Архив О. В. Виноградовой.) Беседа с А. А. Андреевой.
Оттен Н. Дань. М., 1980. С. 129.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 213.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 214, 215.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 213.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 215.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 216.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 104, 105.

Письмо В. Л. Андрееву [1938?].
См.: Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 24 апреля 1947 года // Даниил Андреев в культуре XX века. М., 2000. С. 291.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 141—143.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 184.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 143.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 145.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 179.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 150.
Налимов В. В. Канатоходец. М., 1994. С. 435, 447.
Роллан Р. Собр. соч.: В 20 т. Л., 1936. Т. 19. С. 8. Том вышел не в 1936 году, как указано на титуле, а в конце 1937 года.
Ламакина А. С. Вспоминая старый дом. (Архив О. В. Виноградовой.)
Василенко В. М. Далекие ночи // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 385.
Даниил Андреев в культуре XX века. М., 2000. С. 268.
Даниил Андреев в культуре XX века. М., 2000. С. 268, 269.
Даниил Андреев в культуре XX века. М., 2000. С. 272.
Даниил Андреев в культуре XX века. М., 2000. С. 273.
Письмо Г. Б. Смирнову 15 января 1941 года.
Ламакина А. С. Вспоминая старый дом. (Архив О. В. Виноградовой.)
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 127.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 161, 162.
Спецсообщение В. С. Абакумова И. В. Сталину об аресте «террориста» Д. Л. Андреева // Лубянка: Сталин и МГБ СССР: Март 1946 — март 1953. М., 2007. С. 199.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 433.
Письмо Т. И. Морозовой неизвестному лицу 16 июня 1941 года. (Архив В. В. Палицыной.)
Ген. Сикорский. Будущая война / Пер. с польск. Я. А. Кротовской; предисл. М. Бобровского. М., 1936.
Ген. Сикорский. Будущая война / Пер. с польск. Я. А. Кротовской; предисл. М. Бобровского. М., 1936. С. 167.
Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 6—7 мая 1947 года // Даниил Андреев в культуре XX века. М., 2000. С. 309—311.

Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 217, 218.
Ген. Сикорский. Будущая война / Пер. с польск. Я. А. Кротовской; предисл. М. Бобровского. М., 1936. С. 37.
Веселовский С. Б. Дневники 1915—1923, 1944 годов // Вопросы истории. 2001. № 2. С. 78.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 188, 189.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 455.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 491.
См.: *Безыменский Л.* Битва за Москву: Провал операции «Тайфун». М., 2006. С. 148.
Вержбицкий Н. Дневник // *Безыменский Л.* Битва за Москву: Провал операции «Тайфун». М., 2006. С. 180.
Семпер-Соколова Н. Е. Портреты и пейзажи: Частные воспоминания о XX веке. М., 2007. С. 147.
Записи Г. В. Решетина // *Безыменский Л.* Битва за Москву: Провал операции «Тайфун». М., 2006. С. 184, 185.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 132, 133.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 190, 191, 193, 194.
Письмо Т. И. Морозовой 11 марта 1942 года.
Письмо Т. И. Морозовой неизвестному лицу 14 января 1942 года. (Архив В. В. Палицыной.)
Письмо Т. И. Морозовой 10 марта 1942 года.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 487.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 488.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 197, 198.
Тимофеев Л. Дневник военных лет // Знамя. 2002. № 6.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 194—197.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 510.
Смирнов А. Вокруг «Розы Мира» // Зеркало. 2007. № 29. С. 109.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 141, 142.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 201, 202.
Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Даниил Андреев в культуре XX века. М., 2000. С. 291.

Письмо Т. И. Морозовой неизвестному лицу 3 марта 1943 года. (Архив В. В. Палицыной.)
Хорьков Ф. М. Даниил Андреев в 1943 году // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 452.
Ковруков Н. С. Воспоминание ветерана / Интервью и лит. обработка Ю. Трифонова //www.miscatalog.ru/uvao/ru/regions/n_16160_97676.
Ковруков Н. С. Воспоминание ветерана / Интервью и лит. обработка Ю. Трифонова //www.miscatalog.ru/uvao/ru/regions/n_16160_97676.
Здесь и далее ряд сведений опирается на описание боевого пути дивизии в кн.: От батальона до армии. Боевой путь. М., 2007.
Т. 1. *Куропатков Е. П., Сухенко И. П., Иванов В. П.* Боевой путь 196-й Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии.
Хорьков Ф. М. Даниил Андреев в 1943 году // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 452.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 144.
Хорьков Ф. М. Даниил Андреев в 1943 году // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 452, 453.
Хорьков Ф. М. Воспоминания о Данииле Андрееве (1999. Рукопись).
Хорьков Ф. М. Письмо в редакцию журнала «Урания» 21 марта 1999 года. (Архив А. А. Андреевой.)
Хорьков Ф. М. Даниил Андреев в 1943 году // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 453.
Хорьков Ф. М. Воспоминание // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 127, 128.
Хорьков Ф. М. Даниил Андреев в 1943 году // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 453.
Хорьков Ф. М. Даниил Андреев в 1943 году // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 453.
Письмо В. Л. Миндовской 8 января <19>44 года.
Письмо В. Л. Миндовской 5 марта <19>44 года.
Письмо В. Л. Миндовской 8 июня <19>44 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 144—146.
Беседа с А. А. Андреевой.
См. письмо А. А. Андреевой Д. Л. Андрееву 14 января 1955 года.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 206.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 206, 207.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 580.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 146—148.
Чуков Б. В. О последних перекатах жизни Даниила Андреева // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 277, 278.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 148, 149.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 149, 150.

Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 150—152.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 149.
Письмо Т. И. Морозовой неизвестному лицу 21 декабря 1944 года. (Архив В. В. Палицыной.)
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 163, 164.
Письмо А. А. Андреевой 14 января 1955 года.
Ивашев-Мусатов С. Н. [Дом Добровых: Из воспоминаний]. (Архив А. А. Андреевой.)
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 153, 154.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 152, 153.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 158.
Сообщено В. Н. Кудиновой.
Письмо В. П. Митрофанову 12 мая 1945 года.
Беседа с А. А. Андреевой.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 162.
Андреева А. А. Роман «Странники ночи» // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 4 т. М., 2006. Т. 4. С. 82.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 157, 158.
Письмо В. Л. Миндовской-Тарасовой 27 июля <19>45 года.
Письмо Т. И. Морозовой неизвестному лицу 18 августа 1945 года. (Архив В. В. Палицыной.)
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 161.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 154.
Андреева А. Даниил Андреев и его книга // *Андреев Д.* Роза Мира. М., 1991. С. 6.
Письмо В. Л. Миндовской-Тарасовой 8 января <19>44 года.
Письмо В. Л. Миндовской-Тарасовой 5 января <19>46 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 161.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 627.
Письмо В. Л. Миндовской-Тарасовой 6 марта <19>46 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 280.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 294.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 633.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 167.
Мурзаев Э. М. Д. Л. Андреев, С. Н. Матвеев. Замечательные исследователи горной Средней Азии... // Наука и жизнь. 1947. № 5. С. 35.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 167.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 168.
Салонными играми (*фр.*).
Письмо В. Л. Миндовской-Тарасовой 11 августа <19>46 года.
Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М., 1989. С. 190.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 170—172.

Андреев В. История одного путешествия. М., 1974. С. 366; *Андреев В., Прокша Л., Соснинский В.* Герои Олерона. Минск, 1965. С. 85.
Р. Н. Андреева.
Письмо В. Л. Андрееву [Отправлено 12 сентября 1946 года].
«Больная Россией»: Ольга Андреева, внучка Леонида, дочь Вадима // Культура. 1997. 17 апреля. С. 14.
Андреева А. А. Жизнь Даниила Андреева, рассказанная его женой // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 4 т. М., 2006. Т. 1. С. 14.
Чуков Б. В. О последних перекатах жизни Даниила Андреева // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 273, 274.
См. об этом: *Романов Б.* След под камнем. М., 2020. С. 42—47.
Гроссман Л. Творчество Достоевского: Поэтика Достоевского. Проблемы творчества / Собр. соч.: В 5 т. М., 1928. Т. 2. Вып. 2.
У Д. Андреева, видимо, описка: речь идет о статье «Бакунин и Достоевский».
Письмо Л. П. Гроссману [начало 1947?].
Гроссман Л. Творчество Достоевского: Поэтика Достоевского. Проблемы творчества / Собр. соч.: В 5 т. М., 1928. Т. 2. Вып. 2. С. 213.
Гроссман Л. Творчество Достоевского: Поэтика Достоевского. Проблемы творчества / Собр. соч.: В 5 т. М., 1928. Т. 2. Вып. 2. С. 8.
Гроссман Л. Творчество Достоевского: Поэтика Достоевского. Проблемы творчества / Собр. соч.: В 5 т. М., 1928. Т. 2. Вып. 2. С. 322.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 663.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 172.
Лубянка: Сталин и МГБ СССР: Март 1946 — март 1953. М., 2007. С. 52, 53.
Письмо А. А. Андреевой В. Л. и Л. М. Тарасовым 2 марта <19>47 года. (Архив Ю. Л. Мининой.)
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 675.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 173.
См.: *Стефанович Н.* Стихотворения и поэмы. М., 2012.
См.: *Шенталинский В.* Донос на Сократа: Документальные повести. М., 2011. С. 346.
См.: *Берковская Е. Н.* Судьбы скрещенья: Воспоминания. М., 2008. С. 377, 378.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 175.
Лубянка: Сталин и МГБ СССР: Март 1946 — март 1953. М., 2007. С. 198.
Письмо А. А. Андреевой 3 августа 1955 года.
Лубянка: Сталин и МГБ СССР: Март 1946 — март 1953. М., 2007. С. 52.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 174, 175.
Письмо А. А. Андреевой 3 октября 1955 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 175—177.

Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 24 апреля 1947 года // Даниил Андреев в культуре XX века. М., 2000. С. 291—293.
Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 24 апреля 1947 года // Даниил Андреев в культуре XX века. М., 2000. С. 295.
Чуков Б. В. Из воспоминаний о Д. Л. Андрееве // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 467.
Налимов В. В. Канатоходец. М., 1994. С. 226.
Андреева А. А. Роман «Странники ночи» // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 4 т. М., 2006. Т. 4. С. 75.
Андреева А. А. Роман «Странники ночи» // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 4 т. М., 2006. Т. 4. С. 76.
Андреева А. А. Роман «Странники ночи» // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 4 т. М., 2006. Т. 4. С. 78.
«У нас уже был настоящий коммунизм»: Ученый и писатель Александр Зиновьев беседует с публицистом Игорем Михайловым // Литературная газета. 1997. № 49. 3 декабря. С. 3.
Василенко В. М. Далекие ночи // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 386.
Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 24 апреля 1947 года // Даниил Андреев в культуре XX века. М., 2000. С. 296, 297.
Письмо А. А. Андреевой 3 августа 1955 года.
Василенко В. М. Далекие ночи // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 392—395.
Ламакина А. С. Вспоминая старый дом. (Архив О. В. Виноградовой.)
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 179.
Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи: Воспоминания: В 2 кн. М., 2005. Кн. 1. С. 773.
Лубянка: Сталин и МГБ СССР: Март 1946 — март 1953. М., 2007. С. 53, 54.
Письмо И. А. Новикову 31 мая 1957 года.
Михаил Павлович Кудинов (1922—1994) — поэт, переводчик.
Трубецкой А. В. Пути неисповедимы: Воспоминания 1939—1955 гг. М., 1997. С. 306.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 180—182.
Письмо А. П. Шелякина А. А. Андреевой // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 4 т. М., 2006. Т. 4. С. 416.
Гаген-Торн Н. Memoria: Воспоминания, рассказы. М., 2009. С. 299—301.
Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 109—111.
Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи: Воспоминания: В 2 кн. М., 2005. Кн. 1. С. 728.

Гудзенко Р. С. Слово о Данииле Андрееве // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 462, 463.
Письмо И. А. Новикову 31 мая 1957 года.
Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 111—115.
Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 111—115.
Угримов А. А. Из Москвы в Москву через Париж и Воркуту. М., 2004. С. 123.
Угримов А. А. Из Москвы в Москву через Париж и Воркуту. М., 2004. С. 134.
Письмо А. А. Андреевой Д. Л. Андрееву10 апреля 1956 года.
Лубянка: Сталин и МГБ СССР: Март 1946 — март 1953. М., 2007. С. 198—202. (Подлинник хранится в Архиве Президента РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 208. Л. 22—31.)
Лубянка: Сталин и МГБ СССР: Март 1946 — март 1953. М., 2007. С. 200, 201.
Лубянка: Сталин и МГБ СССР: Март 1946 — март 1953. М., 2007. С. 201.
Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 105.
Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 106.
Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 106—108.
Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 108.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 187.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 188.
Лисицына Е. Путешествие по антимиру (воспоминания о лагерях). (Машинопись. С. 4.)
Василенко В. М. Далекие ночи // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М.,1997. Т. 3. Кн. 2. С. 394, 395.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 187.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 183—186.
Письма А. А. Андреевой 3 августа и 2 сентября 1955 года.
Поэзия узников ГУЛАГа: Антология. М., 2005. С.746, 747.
Протокол допроса арестованного Андреева Даниила Леонидовича. От 28 июля 1948 года // Урания. 1999. № 2 (39). С. 114.
Чуков Б. В. О последних перекатах жизни Даниила Андреева // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 290.
Письмо А. А. Андреевой 9 октября 1956 года.
Письмо Д. Л. Андрееву 20—21 марта 1956 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 182.
Лубянка: Сталин и МГБ СССР: Март 1946 — март 1953. М., 2007. С. 345.

Тришатов А. / Сост. А. Ф. Грушина, Н. А. Добровольская, В. Б. Муравьев. М., 2014. С. 378.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 195.
Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. М., 1990. Т. 1. С. 103.
Письмо А. А. Андреевой 3 октября 1955 года.
Василенко В. М. Далекие ночи // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 395.
Лисицына Е. Путешествие по антимиру (воспоминания о лагерях). (Машинопись. С. 4.)
Е. Ф. Лисицына затем попала в Магадан, а оттуда в Тайшет.
Куприянов Г. Из тюремного дневника // Воля. 1997. № 6—7. С. 309.
Куприянов Г. Из тюремного дневника // Воля. 1997. № 6—7. С. 309.
Парина Н. Д. Вместо послесловия // *Андреев Д. Л., Парин В. В., Раков Л. Л.* Новейший Плутарх: Иллюстрированный словарь воображаемых знаменитых деятелей всех стран и времен от А до Я / Основатель издания, гл. ред. и иллюстратор Л. Л. Раков. М., 1991. С. 297.
Парина Н. Д. Вместо послесловия // *Андреев Д. Л., Парин В. В., Раков Л. Л.* Новейший Плутарх: Иллюстрированный словарь воображаемых знаменитых деятелей всех стран и времен от А до Я / Основатель издания, гл. ред. и иллюстратор Л. Л. Раков. М., 1991. С. 299, 300.
Александров был арестован 18 февраля 1948 года и осужден ОСО 30 июля 1949 года на 20 лет по обвинению в измене родине, во Владимирскую тюрьму прибыл 5 сентября. Освобожден 9 июня 1955 года.
См.: Дело «КР» // Наука и жизнь. 1988. № 1. С. 101—112.
Меньшагин Б. Г. Воспоминания: Смоленск... Катынь... Владимирская тюрьма... Paris, 1988. С. 106.
См.: Тюремная одиссея Василия Шульгина: Материалы следственного дела и дела заключенного. М., 2010. С. 301—303.
Парин В. В. Из письма в редакцию журнала «Звезда» // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М.,1997. Т. 3. Кн. 2. С. 455.
Письмо А. А. Андреевой 30 июля — 2 августа 1956 года.
Шульгин В. В. Пятна // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1996. Вып. 7. С. 389.
Черновик письма Ю. Г. Бружес [декабрь 1950 — январь 1951 года] // РАЛ.
Письмо А. А. Андреевой 2 июня 1955 года.
Д. Андреев был знаком с крупнейшим специалистом по русскому средневековью и эпохе Ивана Грозного и Смутного времени С. Б. Веселовским (за него в 1927 году вышла замуж О. А. Бессарабова), который резко выступал против оправдания опричнины и тирании Грозного, но посвященные этому основные работы историка были изданы лишь посмертно. См.: *Веселовский С. Б.* Исследования по истории опричнины. М., 1963.

Письмо А. А. Андреевой 29 апреля — 3 мая 1956 года.
Черновик письма Ю. Г. Бружес // РАЛ.
Парина Н. Д. Вместо послесловия // *Андреев Д. Л., Парин В. В., Раков Л. Л.* Новейший Плутарх: Иллюстрированный словарь воображаемых знаменитых деятелей всех стран и времен от А до Я / Основатель издания, гл. ред. и иллюстратор Л. Л. Раков. М., 1991. С. 299, 300.
Богомолов Н. А., Малмстад Дж. Э. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. М., 1996. С. 248.
Шульгин В. В. Пятна // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1996. Вып. 7. С. 385.
См.: *Куприянов Г.* Из тюремного дневника // Воля. 1997. № 6—7. С. 317—319, 321.
Полностью цикл см.: *Андреев Д.* Собр. соч.: В 4 т. М., 2006. Т. 4. С. 505—507.
Лев Львович Раков: Творческое наследие. Жизненный путь. СПб., 2007. С. 365.
Парина Н. Д. Вместо послесловия // *Андреев Д. Л., Парин В. В., Раков Л. Л.* Новейший Плутарх: Иллюстрированный словарь воображаемых знаменитых деятелей всех стран и времен от А до Я / Основатель издания, гл. ред. и иллюстратор Л. Л. Раков. М., 1991. С. 302.
Письмо А. А. Андреевой 8 декабря 1956 года.
В авторской машинописи стоит дата «Февраль 1951», но в тетради со списком поэмы, переданной Н. Садовником в январе 1956 года А. А. Андреевой, дата иная: «I—II 1952», представляющаяся более достоверной.
Цит. по: *Галаншина Т., Закурдаев И., Логинов С.* Владимирский централ. М., 2007. С. 84.
Лев Львович Раков: Творческое наследие. Жизненный путь. СПб., 2007. С. 158.
Владимир Александрович Александров (1896—?) — художник, искусствовед.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 266, 267.
Парин В. В. Из письма в редакцию журнала «Звезда» // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 455.
Лев Львович Раков: Творческое наследие. Жизненный путь. СПб., 2007. С. 105.
Резник С. Академик Парин и «дело КР» // Семь искусств. 2011. № 7 (20).
Резник С. Академик Парин и «дело КР» // Семь искусств. 2011. № 7 (20).
Резник С. Академик Парин и «дело КР» // Семь искусств. 2011. № 7 (20).
Газарян С. Это не должно повториться // Литературная Армения. 1988. № 8. С. 45.
Волин О. С бериевцами во Владимирской тюрьме // Минувшее: Исторический альманах. М., 1992. № 7. С. 363.
Куприянов Г. Из тюремного дневника // Воля. 1997. № 6—7. С. 313.

Письмо А. А. Андреевой 2 декабря 1956 года.
См.: *Воронель Н.* Без прикрас. М., 2003. С. 131—134.
Резник С. Академик Парин и «дело КР» // Семь искусств. 2011. № 7 (20).
Резник С. Академик Парин и «дело КР» // Семь искусств. 2011. № 7 (20).
Меньшагин Б. Г. Воспоминания: Смоленск... Катынь... Владимирская тюрьма... Paris, 1988. С. 107.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 272.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 267, 268.
Из черновой тетради Д. Л. Андреева, в которую он переписал письмо Ю. Г. Бружес // РАЛ.
Письмо Ю. Г. Бружес [апрель 1952 ?].
Из черновой тетради Д. Л. Андреева, в которую он переписал часть письма Ю. Г. Бружес // РАЛ.
Письмо А. А. Андреевой А. П. и Ю. Г. Бружес и Д. Л. Андрееву 12 июля 1953 года (архив А. А. Андреевой); часть письма, обращенная к Д. Л Андрееву, см.: *Андреев Д.* Собр. соч.: В 4 т. М., 2006. Т. 4. С. 288.
Шульгин В. В. Пятна // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1996. Вып. 7. С. 360.
Письмо А. А. Андреевой 14 января 1955 года.
Архив В. И. Шелякиной.
См.: *Валюм А. А.* «...у нас было только два выхода: свобода или смерть» // О времени, о Норильске, о себе... М., 2005. Кн. 6. С. 122—150.
Письмо Д. Л. Андрееву 19 апреля 1954 года.
Письмо А. А. Андреевой [конец июня — начало июля 1954 года].
Письмо А. А. Андреевой 1 октября 1954 года.
Письмо А. А. Андреевой [конец июня — начало июля 1954 года].
Письмо А. А. Андреевой 14 января 1955 года.
Слова в квадратных скобках вымараны цензурой.
Письмо А. А. Андреевой 1 октября 1954 года.
Тюремные тетради Д. Л. Андреева // РАЛ.
Письмо Д. Л. Андрееву 22 августа 1954 года.
Письмо А. А. Андреевой 1 октября 1954 года.
Черновик несохранившегося письма Ю. Г. Бружес [3 ноября 1954 года] // РАЛ.
Черновик несохранившегося письма Ю. Г. Бружес [3 ноября 1954 года] // РАЛ.
Письмо А. А. Андреевой [начало декабря 1954 года].
Цитируется по выписке, сделанной прокурором Барановым в 1957 году при реабилитации Д. Л. Андреева // Главная Военная Прокуратура. Надзорное производство № 35701-47 Андреева Д. Л. и др. Т. 3. Л. 163.
Письмо А. А. Андреевой 14 января 1955 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 марта 1955 года.
Письмо Д. Андрееву 16 марта 1955 года.
Письмо Ю. Г. Бружес [июль? 1955 года].
Письмо А. А. Андреевой 5 апреля 1955 года.

Письмо А. А. Андреевой 3 октября 1955 года.
Письмо А. А. Андреевой 3 августа 1955 года.
Письмо А. А. Андреевой 5 апреля 1955 года.
Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 451.
Письмо Д. Л. Андрееву 26 июня 1955 года.
Письмо А. А. Андреевой 3 августа 1955 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 марта 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 июня 1955 года.
Письмо А. А. Андреевой 3 августа 1955 года.
Письмо А. А. Андреевой 3 августа 1955 года.
Письмо Д. Л. Андрееву 21 октября 1955 года.
Здесь: разумную основу *(фр.)*.
Письмо А. А. Андреевой 2 ноября 1955 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 марта 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 сентября 1955 года.
Письмо А. А. Андреевой 3 августа 1955 года.
Письмо Д. Л. Андрееву 11 сентября 1955 года.
Письмо А. А. Андреевой 28 января — 22 февраля 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 3 октября 1955 года.
Письмо А. А. Андреевой 3 октября 1955 года.
Письмо А. А. Андреевой 3 октября 1955 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 сентября 1955 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 ноября 1955 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 декабря 1955 года.
Здесь: под бедуина (*фр.*).
Письмо А. А. Андреевой 2 декабря 1955 года.
Письмо А. А. Андреевой 28 января — 22 февраля 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 декабря 1955 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 марта 1956 года.
Письмо Д. Л. Андрееву 14 февраля 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 29 апреля — 3 мая 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 декабря 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 3 января 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 3 января 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 28 января— 22 февраля 1956 года.
Письмо Д. Л. Андрееву 14 декабря 1955 года.
Письмо Д. Л. Андрееву 10 февраля 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 марта 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 марта 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 29 марта — 3 апреля 1956 года.
Письмо Д. Л. Андрееву 2, 3 февраля 1956 года. (Архив А. А. Андреевой.)
См.: *Носова О. П.* В объятиях удава: Воспоминания узницы ГУЛАГа. СПб., 2001. С. 128, 129.
Письмо Д. Л. Андрееву 18 февраля 1956 года. (Архив А. А. Андреевой).

Письмо А. А. Андреевой 29 апреля — 3 мая 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 30 июля — 2 августа 1956 года.
Меньшагин Б. Г. Воспоминания: Смоленск... Катынь... Владимирская тюрьма... Paris, 1988. С. 107, 108.
Письмо Д. Л. Андрееву 17 апреля 1956 года.
Письмо А. П. Бружеса А. А. Андреевой. (Архив А. А. Андреевой.)
Письмо А. А. Андреевой 29 апреля — 3 мая 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 29 апреля — 3 мая 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 июля 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 июля 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 июля 1956 года.
Письмо Ю. Г. Бружес 13 августа <19>56 года.
Письмо Д. Л. Андрееву 17 августа 1956 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 265.
Письмо А. А. Андреевой 31 августа 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 31 августа 1956 года.
Письмо Д. Л. Андрееву 1 сентября 1956 года.
Письмо Д. Л. Андрееву 5 сентября 1956 года.
Письмо Д. Л. Андрееву 26 сентября 1956 года.
Шалва Нестерович Беришвили (1898— ?) — меньшевик; эмигрант, в 1942 году приехал в Грузию, в 1943-м был арестован и осужден на 25 лет.
См.: *Волин О.* С бериевцами во Владимирской тюрьме // Минувшее: Исторический альманах. М., 1992. № 7. С. 363.
Письмо А. А. Андреевой 9 октября 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 20 ноября 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 декабря 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 20 ноября 1956 года.
Письмо Д. Л. Андрееву 24 ноября 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 2 декабря 1956 года.
Письмо А. А. Андреевой 8 декабря 1956 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 280, 281.
Гудзенко Р. С. Слово о Данииле Андрееве // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 459.
Родион Степанович Гудзенко (1931—1999), Виталий Эммануилович Лазарянц (р. 1939), Юрий Иванович Пантелеев (1932—2003), Виктор Парфентьевич Рафальский (1918—1998), Валерий Ильич Слушкин (р. 1936), Борис Владимирович Чуков (р. 1938).
5810: Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде. Март 1953—1951. М., 1999. С. 283.
См.: *Кривошеина К.* Работа «за шкаф» // Звезда. 2008. № 6. С. 120, 121.
5810: Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде. Март 1953—1951. М., 1999. С. 326—327.

Гудзенко Р. С. Слово о Данииле Андрееве // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 463.
Пантелеев Ю. Русский пророк // Брянская учительская газета. 2006. № 3. 27 января.
Рафальский В. П. Репортаж ниоткуда (Фрагмент) // Брянская учительская газета. 2006. № 3. 27 января.
Чуков Б. В. О последних перекатах жизни Даниила Андреева // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 270, 271.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 284.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 283.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 222.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 287, 288.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 288.
Письмо Г. Л. Гудзенко 11 мая 1957 года.
Письмо И. А. Новикову 31 мая <19>57 года.
Письмо Т. И. Морозовой 11 июня 1957 года.
Письмо Т. И. Морозовой 11 июня 1957 года.
Письмо Л. Л. Ракову 22 июня 1957 года.
Письмо Л. Л. Ракову 6 июля 1957 года.
Письмо Г. Л. Гудзенко 22 июня 1957 года.
Письмо Л. Л. Ракову 6 июля 1957 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 285.
Письмо Т. И. Морозовой 11 июля 1957 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 290.
Письмо В. Л. и О. В. Андреевым 24 июля 1957 года.
Письмо В. Л. Андрееву 26 июля 1957 года.
Андреев В. Л. Из воспоминаний // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 369.
Андреев В. Л. Из воспоминаний // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 370.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 291.
Письмо В. Л. и О. В. Андреевым 6 августа 1957 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 291.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 292.
Письмо Р. С. Гудзенко <?> сентября 1957 года.
Письмо Л. А. Андрееву (Алексеевскому) [12 октября 1957 года].
Смирнов А. Вокруг «Розы Мира» // Зеркало. 2007. № 29. С. 97.
Письмо Т. И. Морозовой 20 сентября 1957 года.
Письмо Г. Л. Гудзенко 22 сентября 1957 года.
Письмо Р. С. Гудзенко <?> сентября 1957 года.
Письмо Ю. И. Пантелееву 25 сентября 1957 года.
Письмо Т. И. Морозовой 20 сентября 1957 года.
Смирнов А. Вокруг «Розы Мира» // Зеркало. 2007. № 29. С. 100.

Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 227.
Озеров Л. А. Безмерность мира: Даниил Андреев // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 474, 475.
Письмо В. В. Шульгину 30 марта 1958 года // Звезда. 2009. № 3. С. 155.
Письмо В. Л. и О. В. Андреевым 20 октября 1957 года.
Письмо Л. Л. Ракову 4 октября 1957 года.
Письмо Л. Л. Ракову 4 октября 1957 года.
Письмо Л. А. Андрееву (Алексеевскому) [12 октября 1957 года].
Смирнов А. Г. Даниил Андреев и его окружение // *Андреев Д.* Собр. соч.: В 3 т. 4 кн. М., 1997. Т. 3. Кн. 2. С. 471.
Чуков Б. В. О последних перекатах жизни Даниила Андреева // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 294.
Письмо Ю. И. Пантелееву 30 ноября 1957 года.
Письмо В. В. Шульгину [28 мая] 1958 года // Звезда. 2009. № 3. С. 157.
Письмо Ю. И. Пантелееву 30 ноября 1957 года.
Смирнов А. Вокруг «Розы Мира» // Зеркало. 2007. № 29. С. 471.
Письмо Г. Л. Гудзенко 9 ноября 1957 года.
Письмо Ю. И. Пантелееву 30 ноября 1957 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 118.
Письмо В. Л. и О. В. Андреевым [декабрь] 1957 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 293, 294.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 294.
Письмо Т. И. Морозовой 25 января 1958 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 286, 287.
Письмо Р. С. Гудзенко 9 марта 1958 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 295.
Текст письма К. И. Чуковского см.: Тюремная одиссея Василия Шульгина: Материалы следственного дела и дела заключенного. М., 2010. С. 300.
Письмо Л. Л. Ракову 9 мая 1958 года.
Письмо Л. М. Тарасову 31 мая 1958 года.
Чуков Б. В. О последних перекатах жизни Даниила Андреева // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 298.
Чуков Б. В. О последних перекатах жизни Даниила Андреева // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 298, 299.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 295.
Письмо Т. И. Морозовой 14 июня 1958 года.
Письмо А. М. Грузинской 18 июня 1958 года.
Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи: Воспоминания: В 2 кн. М., 2005. Кн. 1. С. 183.
Письмо В. Л. и О. В. Андреевым 26 июня <19> 58 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 17, 18.
Письмо И. В. Бошко 18 авг<уста> <19>58 года.

Из воспоминаний Ю. Л. Мининой (урожд. Тарасовой). (Архив Ю. Л. Мининой.)
Письмо И. В. Усовой 9 июля 1958 года.
Письмо И. В. Бошко 17 июля <19>58 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 296.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 297.
Письмо В. В. Шульгину 14 июля 1958 года // Звезда. 2009. № 3. С. 159.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 296.
Письмо И. В. Бошко 18 авг<уста> <19>58 года.
Письмо Ю. И. Пантелееву 19 авг<уста> 1958 года.
Письмо В. Л. Андрееву 11 сентября <19>58 года.
Письмо А. М. Грузинской 13 окт<ября> <19>58 года.
Чуков Б. В. О последних перекатах жизни Даниила Андреева // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 309.
Письмо Р. С. Гудзенко 1 октября 1958 года.
Письмо Р. С. Гудзенко 1 октября 1958 года.
Письмо В. В. Шульгину 21—24 октября <19>58 года.
Письмо Б. В. Чукову 2 окт<ября> <19>58 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 297, 298.
Письмо Р. С. Гудзенко 1 октября 1958 года.
Письмо Б. В. Чукову 31 окт<ября> <19>58 года.
Письмо Б. В. Чукову 31 окт<ября> <19>58 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 298, 299.
Чуков Б. В. О последних перекатах жизни Даниила Андреева // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 294.
Письмо З. Рахиму 21 окт<ября> <19>58 года.
Письмо А. М. Грузинской 31 окт<ября> <19>58 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 299.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 299, 300.
Письмо А. А. Андреевой [ноябрь 1958 года].
Письмо А. А. Андреевой 24 ноября 1958 года.
Письмо А. А. Андреевой 8 декабря 1958 года.
Письмо А. А. Андреевой 12 декабря 1958 года.
Письмо А. А. Андреевой 24 ноября 1958 года.
Письмо Р. С. Гудзенко 12 декабря 1958 года.
Письмо Р. С. Гудзенко 12 декабря 1958 года.
Письмо И. В. Усовой 16 декабря 1958 года.
Письмо А. А. Андреевой 7 декабря 1958 года.
Письмо А. А. Андреевой 12 декабря 1958 года.
Письмо А. А. Андреевой 1 февраля 1959 года.
Письмо А. А. Андреевой 26 января 1958 года.
Письмо А. А. Андреевой 10 февраля 1958 года.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 301.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 302, 303.

Письмо В. В. Шульгину 21—24 октября <19>58 года.
Чуков Б. В. О последних перекатах жизни Даниила Андреева // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 310.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 245.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 301.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 246.
Чуков Б. В. О последних перекатах жизни Даниила Андреева // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 310.
Андреева А. А. Плаванье к Небесной России. М., 2004. С. 305, 306.
Усова И. В. Даниил Леонидович Андреев в моей жизни // *Андреев Д.* Неизданное. М., 2006. С. 247.
Малахиева-Мирович В. Маятник жизни моей...: Дневник русской женщины: 1930—1954. М., 2016. С. 76.

НАД КНИГОЙ РАБОТАЛИ

16+

Редактор *Е. В. Смирнова*
Художественный редактор *К. В. Забусик*
Технический редактор *М. П. Качурина*
Корректоры *Т. И. Маляренко*, *Г. В. Платова*

Издательство АО «Молодая гвардия»